

*Евтушенко*

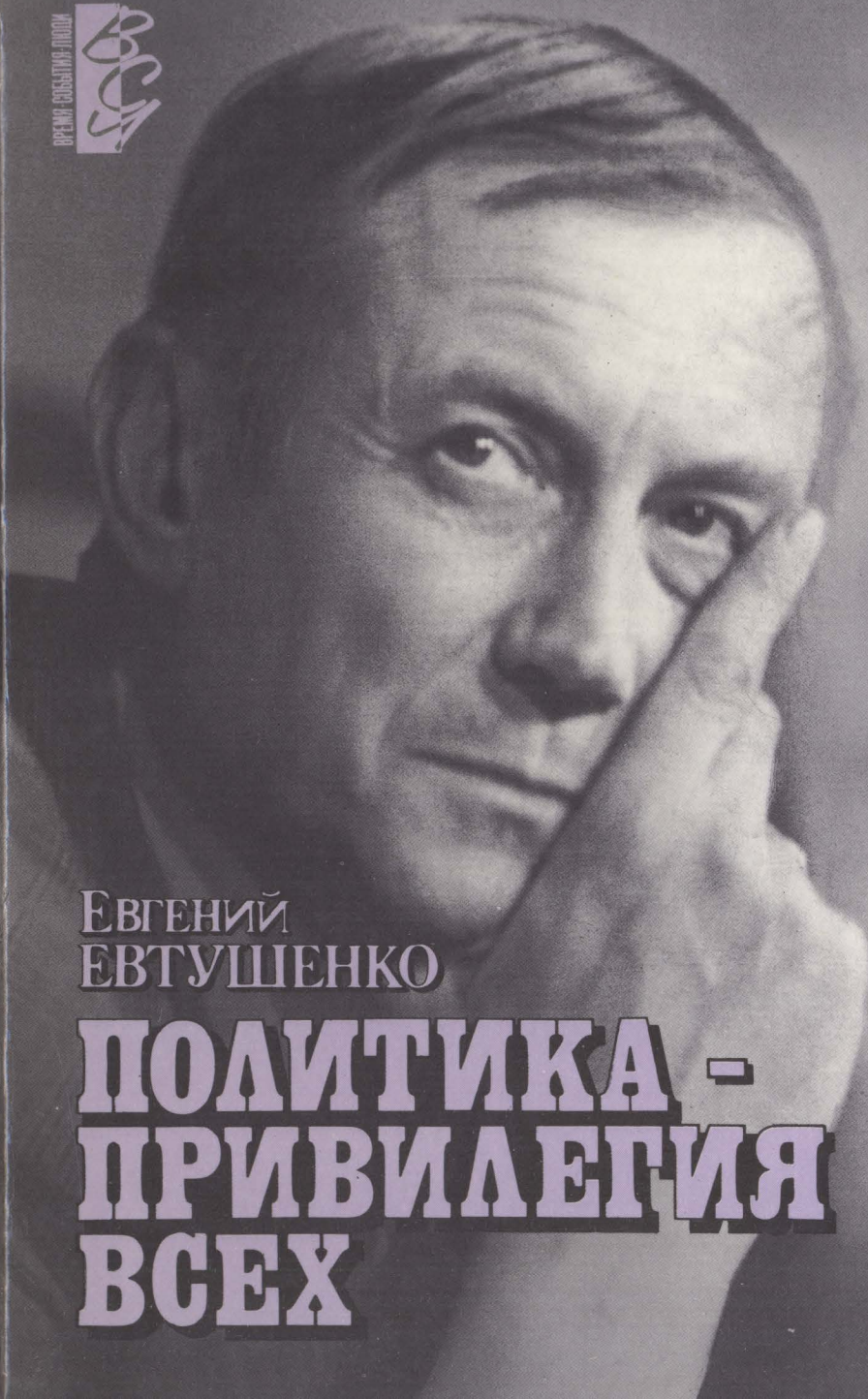
ВРЕМЯ СОБЫТИЙ-ЛОСКИ

**ПОЛИТИКА - ПРИВИЛЕГИЯ ВСЕХ**

ВРЕМЯ СОБЫТИЙ-ЛОСКИ

ЕВГЕНИЙ  
ЕВТУШЕНКО

**ПОЛИТИКА -  
ПРИВИЛЕГИЯ  
ВСЕХ**





Chelym

---

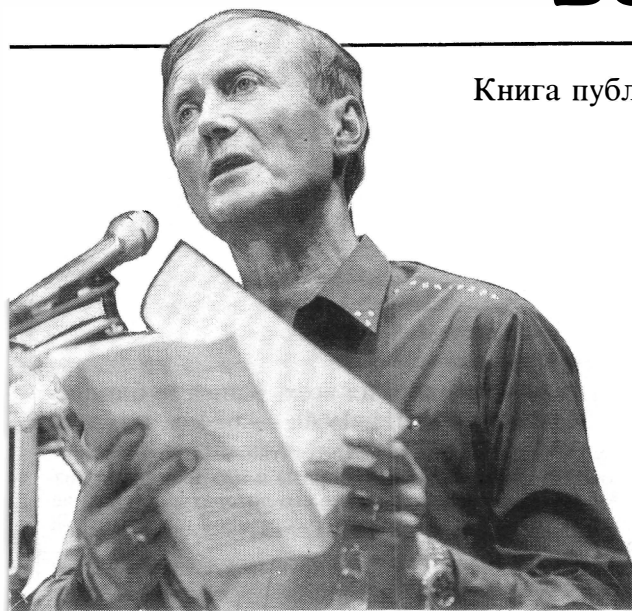
Евгений Евтушенко

---

# **ПОЛИТИКА - ПРИВИЛЕГИЯ ВСЕХ**

---

Книга публицистики



Издательство Агентства печати Новости  
Москва, 1990

**ББК 84Р7**  
**Е27**

**Евтушенко Е.А.**

**Е27** Политика — привилегия всех. Книга публицистики. — М.: Изд-во АПН, 1990. — 624 с., ил.

В книгу входят публицистические статьи, выступления, интервью последних лет, фрагменты прозы и поэтических произведений Евгения Евтушенко, а также его литературно-критические эссе о выдающихся деятелях отечественной и зарубежной культуры.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

ISBN 5 — 7020 — 0048 — X

**Е** **4502010000**  
**067(02)-90** Без объявл.

**ББК 84Р7**

© Евг. Евтушенко, 1990

© Оформление Издательства Агентства печати Новости, 1990

## К читателям

Ни одну книгу я так долго не составлял, не редактировал, как эту. Это "дайджест" (выжимка), концентрат моей сорокалетней работы в поэзии и в прозе, в публицистике и в критике.

Эта книга — мой сгущенный в слова жизненный опыт. Эта книга — попытка посоветовать кое-что своим опытом.

В книгу вошли иногда полностью, иногда фрагментарно многие статьи, которые я писал для советских и зарубежных газет и журналов. Но я беспощадно вымарывал из этих статей то, что считаю сейчас устаревшим, а такого в них много. Кое-что уточнял. Но многое было и предугадано и даже напророчено.

С 1949 года, с которого я начал печататься, я был как будто несколькими людьми, прожившими совершенно разные жизни. Будущий автор "Наследников Сталина" в ранней юности искренне писал стихи, воспевающие Сталина. Было ли это моим двурушничеством, хамелеонством? Нет, это было развитием личности. К счастью, мое личное развитие совпало с развитием исторических событий. А если бы нет? Если бы я пришел к антисталинскому мышлению при жизни Сталина, то конец мой был бы однозначен — расстрел или лагеря. Если бы я продолжал писать ему оды или, в случае прихода к власти Берии, стал лауреатом бериевской премии, то физически я бы остался жив, но как поэта меня бы не было. При таком историческом раскладе Солженицын мог бы умереть, никому не известный, где-нибудь на Колыме от пеллагры, Ростропович мог бы играть на концертах, где из правительственной ложи поблескивало пенсне Лаврентия Павловича, а Тенгиз Абуладзе ставил бы пышные исторические фильмы не современнее, чем о царице Тамаре.

История меня спасла и от пыток, и от палаческих ласк. Но она не спасла меня от множества иллюзий, за которые я жестоко заплатился своими разочарованиями.

Я был с детства романтиком, легко поддающимся влюбленной ослепленности. Романтика меня часто предавала. Но, к счастью, одновременно я был спасительно зрячим реалистом. Реализм не давал мне превратиться в неизлечимого слепца, в его самую худшую разновидность — в пропагандиста слепоты.

Составляя эту книгу, я безжалостно старался отшелушить все ложно романтическое, что сейчас мне кажется или преступно наивным, или высокопарно смешным. Но тем не менее я не старался выкинуть все романтическое, ибо без этого не было бы меня. Именно по этим причинам я все-таки оставил фрагменты "Преждевременной автобиографии", которая, несмотря на обвинения ее в очернительстве, является романтическим идеализмом. Но, горько усмехаясь над собственным и чужим риторическим романтизмом,

я в то же время жалею, как неполноценных людей, всех, лишенных романтического дара.

Да, ложная политическая или религиозная романтика приводила в истории к преступным, кровавым результатам. Но и все лучшее в политике, религии, искусстве, да и в личных человеческих чувствах было бы невозможно без чистой, одухотворяющей романтики. Эта книга представляет собой попытку особой исповеди — накапливавшейся годами. На этой книге лежит грустная тень моих многих разбитых надежд, оказавшихся иллюзиями. Их невозможно было сократить или отредактировать до неузнаваемости, как нельзя отредактировать гены, не прибегая к опасным сомнительным экспериментам. Но в этой книге есть и надежды сохраненные, пронесенные мной сквозь цинические перипетии жизни, и в первую очередь надежда на возможность человеческого братства. Великий философ-идеалист Николай Федоров всю историю определял как борьбу двух тенденций: братства и небратства.

Надеюсь, что в этой борьбе пригодится мой жизненный опыт, который по фразам, по строчкам и составил эту книгу.

# КОЛЫБЕЛЬ ГЛАСНОСТИ

---

1

Народоразвратители!  
Вы ласками  
и страхом нас хотите развратить,  
и нашу гласность —  
в шлюху полугласности  
из Орлеанской Девы —  
превратить!





## КОЛЫБЕЛЬ ГЛАСНОСТИ

Гласность не была гомункулюсом, выведенным в пробирке. Гласность была тем ребенком, которым была беременна наша страна даже в самые страшные времена, и этого ребенка не смогли выбить из чрева никакие чекистские сапоги, как они это сделали в тридцать седьмом году с ребенком беременной ленинградской поэтессы Ольги Берггольц. Удары по чреву, в котором была еще нерожденная гласность, не могли не деформировать ее еще до рождения. Появившийся на божий свет слишком переносенный ребенок был хилый, внушающий опасения, что не выживет. День смерти Сталина стал днем рождения гласности. Но Сталин оказался еще живым и после своей смерти и умирал медленно, иногда притворно — и до конца не умер до сих пор. Отравленное дыхание тирана проникало в легкие младенца, разъедало их. Воздух "оттепели" — это дыхание новорожденного младенца, смешанное с дыханием еще не окончательно умершего тирана. Младенец был слаб в мышцах, хрупок в кости, но одно у него оказалось сильным — это голос. Младенец заорал так, что стал слышен не только на всю страну, но и за ее пределами. Младенец закричал не просто, а рифмованно. Крик шел стихами.

Ранняя поэзия моего поколения — это колыбель гласности. В пятьдесят третьем году двадцатилетний поэт с сибирской станции Зима начал впервые осмысливать сразу две трагедии: трагедию второй мировой войны и трагедию войны Сталина и его приспешников против собственного народа. Конечно, это осмысление не могло быть глубоким из-за недостатка внутренней зрелости самого поэта и недостатка точной информации. Осмысление первоначально было половинчатым, потому что этого поэта в течение всего его детства воспитывали в духе любви к "лучшему другу советских детей". Этот поэт, будучи подростком, сам посвящал свои наивные детские стихи Сталину, плакал, когда он умер. Откуда же возник в этом поэте антисталинизм? Только ли после смерти Сталина? Нет, как ни парадоксально, этот антисталинизм был и раньше, но он сосуществовал в юной душе параллельно со сталинизмом. Даже дети тех времен не могли не видеть арестов, подхалимства перед вождём и повального страха. Инстинкт страха проникал внутрь детей, заставляя их не думать обо всех преступлениях, которые творились вокруг. Но инстинкт правды оказался сильней ин-

стинкта страха. Смерть Сталина рассвободила инстинкт правды.

Когда я начал писать свою поэму "Станция Зима" — первую правдоискательскую поэму после стольких лет официальной лжи, то еще не было ни Солженицына, ни Сахарова, ни романов Пастернака, Гроссмана, Дудинцева, не было никаких диссидентов, никаких художников-абстракционистов, ни фильма "Покаяние", слово "джаз" было запрещено и еще не было никаких частных поездов советских граждан за рубеж. В 1953 году поэзия была сразу всеми диссидентами. В 1957 году я заявил в своей юношеской декларации:

Границы мне мешают.  
Мне неловко  
не знать Буэнос-Айреса,  
Нью-Йорка.

После долгих лет сталинизма, когда все границы были закрыты, это было первым криком мятежа против оторванности от мира. В 1961 году я написал "Бабий Яр" против антисемитизма, в 1962 году — "Наследники Сталина" с призывом сбросить с нашей страны давящую тень притворившегося мертвым тирана.

Покуда наследники Сталина живы еще на земле,  
мне будет казаться —  
что Сталин еще в мавзолее.

Но из этого не следует, что вся моя ранняя поэзия была насквозь политической. Это было бы неправдой. Первыми моими стихами, получившими огромный читательский отклик, были стихи о любви. Но и эти стихи в какой-то степени, независимо от моей воли, стали политикой, ибо в них я защищал великое право человека на частную собственность своих индивидуальных чувств и мыслей и восставал против преступной коллективизации человеческих душ. Глядя сегодня на свои ранние стихи, я вижу в них много слабостей, наивностей. Некоторые из них напоминают антологию моих утраченных иллюзий. Но все-таки есть и такие стихи, которые я могу назвать антологией осуществленных надежд.

Когда я писал "Бабий Яр", то под Киевом еще не было памятника жертвам фашизма. Теперь это стихотворение превратилось в памятник. Превращается в памятник жертвам сталинизма и другое мое раннее стихотворение "Наследники Сталина". Но самым лучшим памятником ранним стихам нашего

поколения является освобождение от тирании цензуры, от тирании наблюдающего глаза оруэлловского Большого Брата. Это освобождение мы и называем — Гласность.

1987

## ПРОПАСТЬ — В ДВА ПРЫЖКА?

**И**дея создания мемориала, посвященного жертвам культа личности, возникла не сейчас, а после отважной, исторически переломной речи Хрущева на Двадцатом съезде партии. Эта идея звучала во многих речах на конференциях, собраниях и просто так — в частных квартирах, в трамвайных вагонах, в очередях... Эта идея прозвучала и на Двадцать втором съезде, однако потом была замотана, заболтана, задвинута, — а грубо говоря, похерена. Среди тех, кто этой идеи испугался, был и человек, ее не прямо, но косвенно выдвинувший, — сам Хрущев. Почему? Да потому, что, по выражению Черчилля, он был человеком, пытавшимся перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Одна нога Хрущева, как он ее ни пытался выдрать, прочно завязла в сталинском времени. Ему не хватило смелости признать на Двадцатом съезде, что во многих ошибках и преступлениях был виновен и он сам. Конечно, если бы он это признал, он бы мог быть снят. Но зато, очистив свою совесть, он бы мог стать совсем другим лидером совсем других перемен. А, избегнув исповеди, он продолжал оставаться человеком половинчатым, то есть нравственно легко уязвимым. Хрущев был снят правильно, но неправильными людьми. Брежнев не был сталинистом — он плакал, когда Галина Серебрякова рассказывала о своей лагерной жизни на встрече интеллигенции с правительством. Однако он совершил несколько инерционных сталинских ошибок. Все остальное — самонаградительство, утрата чувства реальности — лежит на плечах его окружения. Но одна из низших безнравственностей Брежнева и его окружения — это то, что идея создания мемориала была прочно забыта за устройством чурбановых и щелоковых на постах, якобы охраняющих Родину. Идея создания мемориала вновь воскресла вместе с идеями перестройки. Эта идея шла "снизу", и ее первые энтузиасты были разрозненными и вначале выглядели донкихотами. Но они постепенно начали объединяться — не на основе беспринципной мафиозности, как объединяются противники перестройки, трусливо выставившие впереди себя Нину

Андрееву и превращающие живого человека просто-напросто в пробный шар — пройдет или не пройдет. Объединение вокруг идеи создания мемориала происходило, как слияние маленьких ручейков и речушек в величественную реку, становящуюся символом нации. Первыми ко мне обратились с этой идеей уральские писатели. Затем приходили рабочие, врачи, инженеры, студенты. Идея эта возникла повсеместно, но повсеместно возникло и сопротивление. Как же оно могло не возникнуть, если даже на XIX партконференции некоторыми людьми произносились речи, толкающие назад от гласности в безгласное прошлое, под которыми могла бы подписаться пресловутая Нина Андреева?

Дело не в любви к Сталину. Еще года два-три назад это могло быть любовью, происходящей от незнания, от исторической наивности. Сейчас в нашей печати опубликовано столько материалов, разоблачающих тогдашнюю тотальную войну против народа, что даже если девять десятых — это преувеличение, то хватит одной десятой, чтобы не быть наивными. Но ведь некоторым людям выгодно оставаться слепыми: они любят не Сталина, а свою слепоту. Наивность чистосердечная более или менее оправдываема. Высокооплачиваемая наивность — это исторический цинизм. Идея мемориала поддерживается сейчас уже большинством народа. Это не идея реванша. Это не идея капитуляции. Это идея очищения. Нечистая совесть перед прошлым загрязняет настоящее, может загрязнить будущее. Мы хотим быть чистыми перед строгим взглядом наших детей. Памятники Сталину и его окружению были мемориалом бессовестности. Мемориал жертвам культа личности — это мемориал совести. Мемориал — это мост через пропасть. Учтем горький исторический урок: преодолеть пропасть в два прыжка невозможно.

1988

## МАНИФЕСТ "МЕМОРИАЛА"

Почти нет в нашей стране семьи, где бы хоть кто-нибудь не погиб или не был ранен на войне с фашистами. Почти нет в нашей стране семьи, где хоть кто-нибудь не погиб, не был арестован, сослан или ранен всевозможными унижениями на войне, которую вели с собственным народом те, кто говорил от имени народа.

А если даже есть нетронутые этими двумя войнами семьи, то разве весь наш многонациональный народ не есть единая семья и разве наша память не должна быть нашей общей семейной печальницей? Скорбеть о жертвах только одной из этих проклятых войн — это так же до преступного неестественно, как позволять сострадание только одной половине сердца, настолько пережив артерии другой половине.

Война нашего народа с фашистами длилась четыре года, и мы потеряли, по официальным данным, двадцать миллионов человек, а по предполагаемым — даже больше.

Война тех, кто вел ее от имени народа с самим народом, длилась десятки лет, и сколько миллионов человек мы потеряли — до сих пор точно никем не подсчитано.

Есть теория, что репрессии якобы были суровой необходимостью, а иначе мы бы не устояли в схватке с фашизмом. Но эта теория основана либо на историческом невежестве, либо на историческом цинизме. Можно ли предвоенное уничтожение народа считать подготовкой к защите народа от уничтожения?

Вот цифровые данные генерал-лейтенанта Тодорского о кровавой вырубке командных кадров Красной Армии перед войной: из 5 маршалов были репрессированы 3, из 5 командармов 1 ранга — 3, из 10 командармов 2 ранга — все, из 57 комкоров — 50, из 186 комдивов — 154, из 16 армейских комиссаров 1 и 2 рангов — все, из 28 корпусных комиссаров — 25, из 64 дивизионных комиссаров — 58, из 456 полковников — 401.

Но ведь были еще и лейтенанты, и рядовые, попавшие в гитлеровские концлагеря, а затем — в сталинские. Когда они бежали из гитлеровских концлагерей и воевали против фашизма вместе с итальянскими или французскими партизанами, это не спасало их от зачисления в "предатели". Неумело, по складам учимся мы азбуке исторической памяти.

Мы начинаем чтить память выдающихся революционеров, полководцев, ученых, писателей, погубленных в тюремных подвалах, за колючей проволокой. Бывшие когда-то знаменитыми имена, произносившиеся столько лет шепотом, снова звучат громко. Но ведь народная совесть, народный талант не есть привилегия знаменитостей. Наш долг чтить память невинно погубленных хлеборобов, рабочих, инженеров, врачей, учителей, людей всех профессий, всех национальностей и вероисповеданий, каждый из которых — это частичка убиенной народной совести, народного таланта.

В разных концах страны, перекликаясь, горят вечные огни, зажженные в память павших на войне против фашизма.

В разных концах страны, согласно воле народа, должны взойти мемориалы — памятники жертвам репрессий, словно каменные вечные огни. Половинчатая память приводит к половинчатой совести.

Не может быть перестройки без перестройки памяти.

Поэтому — помогайте "Мемориалу"!

Дети на берегах Колымы до сих пор иногда приносят голубику в найденных ими человеческих черепах и в невинном беспомоществе улыбаются.

Как теперь расшифровать "Б-13", "В-41" или "Я-178" на безымянных покосившихся колышках с табличками в тайге? Как разобрать надпись химическим карандашом на фанерной бирке, привязанной к исхудалой босой ноге, когда вечная мерзлота в тундре вытаскивает весной одну из своих страшных тайн?

Белорусские крестьяне в Куропатах с ужасом смотрят на ров, заваленный человеческими скелетами как свидетелями обвинения на суде истории.

Москвичи содрогаются, узнав о существовании в самом сердце Москвы, на Калитниковском кладбище, страшного потаенного оврага — московского Бабьего Яра, куда темными ночами тридцатых годов в фургонах свозили голые трупы со сквозными дырками на головах, заткнутыми тряпицей.

Наш нравственный закон "Никто не забыт и ничто не забыто" должен относиться к обоим страшным войнам — и к Великой Отечественной, и к войне с собственным народом.

Та память, которой мы обладаем сейчас, не вмещает ни слез, ни крови, ни надежд. Невооруженность знанием истории может привести к безоружности перед лицом истории.

От истории нельзя отделаться памятниками — как бронзовыми или каменными взятками. Самый лучший памятник — это память. В понятие "Мемориал" мы включаем воздух исторической памяти вокруг самих памятников. Мемориалы задуманы нами не только как архитектурные комплексы, а как своего рода духовные комплексы — как библиотеки фактов, как трибуны общественной мысли.

Общество "Мемориал" должно стать организатором перестройки памяти, а это дело общенародное, общечеловеческое. Воссоздание народной памяти без помощи народа невозможно.

Поэтому — помогайте "Мемориалу"!

Ржавая колючая проволока бывших лагерей, притаившаяся в бурьяне, — это та змея, которая еще может смертельно ужалить. Ядом, скрытым в колючках лагерной проволоки, отравлены те, кто видит путь к будущему не в демократии, а в на-

сильственном подчинении, не в плюрализме, а в конвейерной одноликости. Этой лагерной проволокой было опутано столько талантливейших сынов и дочерей всех национальностей нашей Родины — и крестьян, и пролетариев, и интеллигентов, и партийных, и беспартийных, и священников, и просто верующих. Кто знает, если были бы они живы, может быть, демократия, гласность получили свое естественное развитие еще в двадцатых, и тогда не было бы стольких преступлений, и война с фашизмом была бы выиграна гораздо быстрее, а может быть, и фашисты не смогли бы захватить власть, как они это сделали, ссылаясь на угрозу "красного террора" в мировом масштабе, и вся политическая экология мира могла бы стать иной. У нас выкрали наше будущее на несколько десятков лет. Мы должны знать, как это произошло, чтобы никогда никто не смог выкрасть наше будущее снова. Изучение прошлого — это спасение будущего, его гарантия. Задача "Мемориала" — не изучение прошлого ради архивистской точности, а ради точности в определении перспектив будущего, ради невозможности повторения трагедии наших недавних предков нашими близкими или далекими потомками.

Поэтому — помогайте "Мемориалу"!

После трагических лет, когда в заключении были совесть, справедливость, правда, необходимо нравственное пожизненное заключение "сталинизма" как антинародного явления. Дело не столько в самой личности Сталина и его близкого окружения, сколько именно в сталинизме как в практике, когда государство ставится выше человека, а классовые интересы — выше общечеловеческих ценностей. Результат сталинизма оказался парадоксально трагичен — ибо от этого пострадали и государство, и человек, и классовые интересы, и общечеловеческие. Анализ попрания демократии в прошлом — это обеспечение защиты демократии в будущем. "Мемориал" в Москве должен быть общесоюзным лекционным и исследовательским центром, где на основе выверенных фактов прошлого вырабатывается нравственность настоящего как фундамент будущего. Исследовательская деятельность не должна идти по односторонней линии вылавливания только негативных фактов и нарочитого нагромождения ужасов. Мы должны сделать известными не только преступления и предательства, но и мужество противостояния, подвиг милосердия и духовную гигиену несоучастия. Именно в эти страшные годы были написаны многие великие книги, выдвинуты многие замечательные технические идеи. Но талантливой, честной работой многих людей в те го-



ды мы не должны оправдывать одновременно творившегося самогеноцида.

Задачи общества "Мемориал" лишены мстительности. Мы не стоим на позициях физического преследования тех, кто так или иначе замешан в кровавых преступлениях сталинизма. Мы считаем глубоко безнравственным непроверенно обвинять еще живых или уже мертвых. Однако если существуют непроверяемые доказательства виновности перед судом истории, то пусть общественной карой будет обнародование правды о конкретных преступлениях конкретных людей, соучастников войны против собственного народа. Соккрытие правды о преступлениях есть потенциальная опасность их повторения.

Общество "Мемориал" должно стать одним из центров активнейшего содействия перестройке, гласности, новому мышлению, демократии.

Общество "Мемориал" должно крепить внутринациональные связи между братскими народами нашей страны, ибо ничто не сплачивает так крепко, как общие пережитые страдания.

Общество "Мемориал" надеется, что ему будет оказана интернациональная поддержка, ибо демократизация, полная десталинизация нашего общества есть один из главных исторических аргументов во имя ядерного разоружения, взаимодействия между народами.

Поэтому — помогайте "Мемориалу"!

1988

## **МЫ НЕ МОЖЕМ ИСПРАВИТЬ ПРОШЛОЕ**

**М**ы трагически не можем исправить прошлое, чтобы предупредить о том, что ждет его в скором будущем, которое тоже сейчас стало прошлым.

Мы не можем из сегодняшних дней силой ретроспективного внушения предостеречь революцию от темных разрушительных сил, поднявшихся со дна взбаламученного болота и начавших пожирать революцию.

Мы не можем подсказать ни Бухарину, ни Кирову, ни стольким другим, что они не должны поддерживать своего потенциального убийцу, медленно, но верно карабкавшегося на

вершины власти, при этом вставая на услужливо подставленные плечи потенциальных жертв.

Мы не можем подсказать неразумным комбедовцам, опьяненным, как сивухой, придуманной классовой ненавистью, что расплатой за варфоломеевские кресты раскрестьянивания на дверях ни в чем не повинных изб будут голод, потеря общего языка с землей, а потом позорно заискивающие закупки у "проклятых капиталистов" зерна, лицемерно упаковываемого нами в антикапиталистические лозунги.

Мы не можем ни поделиться ломтем хлеба с умершим, как лагерный доходяга, Мандельштамом, ни защитить от оскорблений Шостаковича, Ахматову, Пастернака, умерших вроде бы на воле, но по сути за невидимой колючей проволокой.

Мы не можем воскресить ни миллионы наших соотечественников, убитых фашистами на войне, разрушительное начало которой допустил Сталин, преступно поверивший Гитлеру, ни воскресить миллионы уничтоженных отечественными убийцами на войне с собственным народом, превратившейся в невиданный доселе самогеноцид.

Мы не можем ничего поделывать, чтобы поруганные, разрушенные божьи храмы сами по себе срослись из обломков.

Мы не можем ничего поделывать, чтобы грязно-кровавым пятном в истории не остались антисемитский шабаш разгрома так называемых "космополитов", затем дела "врачей-вредителей", позор выселения чеченцев, крымских татар, отправки целых эшелонов с людьми из Прибалтики...

Мы не можем опустить долу дула винтовок в руках отуманенных диким приказом наших солдат, стрелявших в своих братьев и сестер в Новочеркаске.

Мы не можем повернуть наши танки, пересекавшие по тупой воле струсивших бюрократов границы Чехословакии, и не можем возратить несчастным матерям их мальчиков, убитых в песках Афганистана.

Мы не можем сделать так, чтобы вехами позора не остались в истории запихивание в тюрьмы и "психушки" так называемых инакомыслящих, чтобы не было ни ссылки в Горький Сахарова, ни насильственного вталкивания Солженицына в самолет, который, может быть, никогда уже не повернет обратно.

Но если мы не можем спасти никого и ничто в прошлом, то мы еще можем спасти настоящее от повторения трагических ошибок и преступлений, поставивших нашу страну на грань духовной и экономической катастрофы. А это повторение продолжает оставаться возможным, пока дубинку и слезоточивые

газы кто-то осмеливается применять сегодня при поминовении невинно убиенных, пока некоторые органы печати и некоторые писатели позволяют себе нападки на гласность.

Перестройка — это наша надежда, наш последний шанс. Мы любим нашу страну не рабской любовью слепцов, а любовью патриотов "с открытыми глазами", как было нам завещано одним из духовных учителей Пушкина — Чаадаевым.

Пусть наша молодежь, родившаяся уже после смерти Сталина, примет на себя ту историческую вину за сталинизм, в которой молодые люди лично невиновны. Но самодовольно-равнодушное ощущение собственной невинности ни в чем — это уже тяжкая вина перед Отечеством. Гражданственность начинается с чувства исторической вины, с чувства ответственности за все, что было у нас в стране и на всем земном шаре. Спасая настоящее памятью о прошлом, мы спасаем и будущее наше собственное, и будущее детей наших детей. Итак, спасение истории исторической памятью. Это, по-моему, главная задача общества "Мемориал" и задача нашего общества в целом.

1988

## ЦИНИЗМ — ТОРМОЗ ПЕРЕСТРОЙКИ

Перестройка испытывает сразу несколько сопротивлений. Сопротивление сложившегося мусора наших ошибок и преступных глупостей, заваливших дорогу вперед. Сопротивление пассивностью тех, кто потерял веру в слова и ждет дел, но не от себя, а от других. Сопротивление саботажем тех, кто до смерти боится, как раскрытия государственной тайны, собственной неспособности, некомпетентности. Сопротивление мимикрией вчерашних преуспевавших "застойщиков", которые сегодня играют в "перестройщиков". Сопротивление идиотским энтузиазмом тупого исполнительства, когда не перестраиваются, а подстраиваются. Сопротивление опошлением, когда антизастойные идеи выражаются тошнотворно застойным пропагандистским языком. Сопротивление незамечанием критики по принципу "васькизма" (а Васька слушает да ест). Сопротивление притворной самокритикой, под которой тот же самый "васькизм". Сопротивление запугиванием гласностью.

Тем не менее, несмотря на всю эту далеко не полную сумму сопротивлений, у перестройки есть уже явные завоевания. Одно из этих завоеваний — гласность. Гласность еще неполная, не-

опытная, неумелая, иногда неловкая или в своей застенчивости, или в своей беззастенчивости, гласность, еще только становящаяся на ноги, но растущая у нас на глазах, да так, что становится видна из самых далеких уголков земного шара.

Многие недовольны тем, что гласность вырвалась вперед по сравнению с экономикой. Некоторые считают, что гласность даже зарвалась. Гласность сейчас подобна буксирному катеру, который тяжело тащит за собой гигантскую неповоротливую баржу экономики, где в это время происходит перестройка на ходу. В России гласность всегда начиналась с писателей. Затыкая глотку писателям, затыкали глотку и рабочему, и крестьянину, ибо литература — их голос. Когда Платонову не дали возможности напечатать вовремя, по горячим следам написанные "Чевенгур" и "Котлован", то этим скрыли рвущийся со страниц народный крик о творящемся беззаконии.

Сегодня исторически стало ясно: экономическое развитие без гласности невозможно. Если позволительно замалчивать человеческие бессмысленные жертвы, то почему нельзя замалчивать жертвы экономические?

Нравственность и экономика взаимосвязаны. В результате мы оказались в незавиднейшем положении, когда от народных нужд отстает практически все: сельское хозяйство (при таких природных богатствах мы покупаем пшеницу, мясо, масло за границей); тяжелая промышленность (нуждается в замене устарелого оборудования, в гибкой модификации, автоматизации); электроника (далеко отстали от мировых стандартов); легкая промышленность (скомпрометирована уже тем, что наши собственные потребители гонятся за всем иностранным). Единственно, чем прославилась наша сфера обслуживания — это своей знаменитой ненавязчивостью. До сих пор существуют закрытые и полужакрытые распределители, не совместимые с понятием "социализм". Бюрократические штаты страшно раздуты, но я не верю, что бюрократия начнет сама себя добровольно сокращать. Инстинкт выживания у бюрократии чрезвычайно силен. Когда на хвост бюрократии наступает пята общественности, новый хвост, как у ящерицы, отрастает снова. Для того чтобы бюрократия не разрасталась, надо закономерно ограничить ее права, одновременно закономерно расширяя права производителей материальных и духовных ценностей.

А ведь мы так плохо знаем наши собственные права, наши собственные законы и позволяем их попираť. Финорганы не слишком встревожены малозарплатными профессиями, зато

всеми силами стараются не дать людям заработать, по их мнению, слишком много. По какому, собственно, праву? Разного рода инспекции неизвестно по какому праву диктуют людям высоту потолков их собственных дачных домиков и даже заколачивают иногда вторые этажи. Неизвестно, по каким законам люди, выезжающие за границу, до сих пор проходят унижительную бюрократическую тяготиину. Следователи могут держать подозреваемых ими честных людей в изоляторах месяцами, вымогая у них показания.

Ежедневные уроки демократии невозможны без знания собственных прав и умения их отстаивать. Человек, не знающий собственных прав, не сумеет серьезно относиться и к своим обязанностям. Гласность — великая учительница и защиты собственных прав, и гражданской серьезности к собственным обязанностям.

Но плазма консерватизма будет сопротивляться. Не все, кто заражен общественной пассивностью, реакционеры. Они боятся попасться на удочку обещаний, как в прежние годы, а потом... "а потом суп с котом". Их можно понять. Здоровый скепсис может быть и конструктивен. Сегодняшним скепсисом мы расплачиваемся за вчерашнее вранье. Но повальный скепсис так же разрушителен, как повальный оптимизм. Преодоленный скепсис — это высвобожденная энергия. Но процесс этот медленный. В гласности за эти годы мы сделали поистине гигантские шаги, хотя далеко не все, а в сфере материальной такие же быстрые перемены, как в сфере идеологической, невозможны. Надо набраться терпения. Сейчас главный вопрос — это вопрос взаимодоверия личности и государства. Если удастся это взаимодоверие, удастся и перестройка. Не удастся перестройка, не удастся и социализм.

Сейчас стоит вопрос о жизни и смерти одной из величайших идей человечества. Если эта идея умрет, то даже при условии экономического процветания мы превратимся в ничтожное бездуховное общество, где правят деньги и вещи. Но высокое духовное общество с продовольственными талонами, стычками из-за итальянских сапог и с тысячами других дефицитов невозможно. Когда столько сил уходит на доставание, то их не остается для духовности.

Формула желаемого общества такова: экономическое процветание, но не за счет духовного. Духовное процветание, но не за счет экономического. Для этих двух процветаний, соединенных в одно, нам нужна гласность, и не спазматическая, не припадочная, а стабильная, надежная. Если нам снова

начнут пережимать кислородные шланги, то общество может задохнуться. Попытки такого пережимания существуют. Борьба против гласности бюрократов — это борьба скорее не идеологическая, а биологическая. Но есть одно парадоксальнейшее явление: борьба против гласности некоторых писателей. Уму непостижимо — писатели ностальгируют по цензуре!

Боюсь, что и здесь явление не столько идеологическое, сколько биологическое: зависть. Еще несколько лет назад читатели расхватывали в библиотеках беллетристику не первого сорта, особенно если она экранизировалась. Теперь внимание к такой беллетристике слабеет на фоне появления мощных произведений из литературного наследия, из письменных столов наших современников. Некоторые вчерашние популярные писатели занервничали, чувствуя, что читательский интерес переключается на другие имена. Надо бы из этого сделать выводы, задуматься — почему? Но для таких выводов необходимо личное мужество. Гораздо легче обвинить своих коллег в дешевой сенсационности, в заигрывании с читателем, а то и с Западом. На одном из писательских собраний я слышал горестное восклицание: "Нормальную, спокойную литературу никто читать не хочет!" Когда, в кои веки русская классика была "спокойной"? Разве не было раз и навсегда сказано: "Уюта — нет. Покоя — нет"? На другом собрании один оратор назвал ряд центральных газет и журналов проповедниками "капитуляции перед Западом". Нет! Капитуляцией перед Западом будет наша гражданская трусость, если с позиций отвоеванной нами гласности мы снова сползем на позиции умолчания, приписочности. Нельзя революцию делать без революционных преобразований. Нельзя осуществлять перестройку, ничего не перестраивая.

Есть и тревожные симптомы. К ним я отношу оскорбительный тезис "некрофильства" по отношению к возвращению нашему народу его литературного наследия, тезис "необходимости нового Сталинграда", где проводится недопустимая параллель между наступлением врага в первые месяцы войны и нашей сегодняшней отечественной критикой. Открываешь журнал и глазам своим не веришь, читая шовинистическое оплевывание таких дорогих для нас поэтов, как Багрицкий, Светлов, а заодно издевательство над целой плеядой погибших на войне поэтов. Критиковать такие тезисы почему-то считается "расколом", мешающим писательской консолидации, а вот сами тезисы в разряд "раскольнических" почему-то не попадают. Консолидация нам действительно необходима, но принципиальная, а

не беспринципная. Мы действительно должны повышать культуру дискуссий, не превращая творческий спор в грызню и взаимооскорбления. Но без полемики выяснение истины невозможно. Отказ от принципов во имя ложного "на Шипке все спокойно" несовместим с перестройкой. Перестройка провела не линию раскола, но линию нравственного разделения.

У перестройки есть враги, и самые опасные из них — это враги, замаскированные словами о перестройке, циники. Цинизм — тормоз перестройки. Насмотревшись на циничную подхалимскую манипуляцию историческими фактами в зависимости от конъюнктуры, циниками стали и некоторые бывшие идеалисты. Корни нравственного и экономического цинизма — в застое истории как науки. Восстановление исторической правды — это восстановление народной нравственности. Не надо бояться того, что народ "неподготовлен" к правде. Да, неподготовлен, ибо его приучали столько лет к подсахаренной тюре лжи, и трудно дается горбушка правды его зубам, размягченным привычной, заранее разжеванной пищей. Многие жалуются, даже возмущаются. Называют поэму Твардовского "По праву памяти" клеветнической, роман Рыбакова "Дети Арбата" — очернительским. Искусство как приглашение к самостоятельному мышлению их отпугивает — они ведь не умеют мыслить, и самое страшное, что некоторые и не хотят. Чего же они хотят? Хотят, разумеется, "лучше жить". Но уразуметь, к сожалению, не могут, что не будет улучшения нашей жизни без улучшения нашего мышления. Новое мышление, комплексно охватывающее сразу все отечественные и глобальные проблемы, — вот что драгоценно воспитуется сегодня в нас. Новое мышление и есть нравственная перестройка.

1987

## ПАРТИЯ БЕСПАРТИЙНЫХ

Есть такая партия. У этой партии нет ни Политбюро, ни обкомов, ни райкомов. Она не организована, и в этом ее слабость, но она не заорганизована, и в этом ее сила. Партия беспартийных сильна тем, что у нее нет номенклатуры. Под партией беспартийных я подразумеваю не любой общественный планктон, а только тех, кто вместе с лучшими членами партии сегодня входит в неоформленный, но реально существующий Народный фронт Перестройки.

Этот народный фронт не просто фронт сопротивления бюрократии, но фронт наступления на нее. Это фронт борьбы с мрачными призраками прошлого, чтобы они не воскресли в настоящем. Это фронт борьбы за такую жизнь в нашей стране, когда нам не будет стыдно ни за одну очередь. Партия беспартийных многочисленней коммунистической и является гигантской, еще полностью не осознавшей себя исторической силой.

В слове "беспартийный" тасователи кадровых колод слышат пугающее их слово "неуправляемый". Но история показывает, что многие ее трагедии и преступления произошли именно по вине "управляемых" людей, а так называемые "неуправляемые" люди часто оказываются в конечном счете подлинными героями истории. Человек, легко управляемый бюрократией, по сути антипатриот, ибо бюрократизм — это война против собственного народа. Человек, управляемый собственной совестью, даже при своей беспартийности небеспартиен, ибо он — в партии народа.

Ни беспартийность, ни партийность не есть еще нравственное определение человека. Партия тоже набита общественным планктоном. С детства запомнили мы выражение: "Партия — авангард рабочего класса". Но формула эта ни в коем случае не должна восприниматься как механическое зачисление каждого члена партии в авангард, а каждого беспартийного — в арьергард. Берия был тоже членом партии, но его можно зачислить в авангард мерзавцев. Партийный билет — это еще не справка о передовом мышлении, о чистой совести. Партийный билет сам по себе не может быть пропуском в первые ряды нашего общества, ибо тогда первые ряды незаметно для самих себя могут оказаться задними. В таком случае, по жесткому, но справедливому выражению Ленина, "партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, — именно, в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное". (Речь на праздновании его 50-летия 23 апреля 1920 г.)

Вернемся к выражению "авангард рабочего класса". На нынешнем этапе современного общества это выражение расширилось, ибо наша интеллигенция не есть некая оторванная от рабочего класса элита, а представляет собой духовный рабочий класс. У настоящего интеллигента кровавые мозоли не на ладонях, но зато на сердце. Разве беспартийные Циолковский, Вавилов, Чайнов, Платонов не были авангардом духовного рабочего класса? Можно ли исключить из авангарда рабочего класса тех беспартийных ученых, которые бесстрашно входили в от-



равленные зоны Чернобыля? Можно ли исключить из авангарда рабочего класса беспартийных учителей, врачей, медсестер или, скажем, беспартийного седенького, кристально честного бухгалтера, через руки которого проходят миллионы и миллионы рублей при его собственной грошовой зарплате? Разве не рабочий класс вся та армия трудящихся, которая почему-то называется унизительным словом "служащие"? Разве обладать чистой совестью даже при отсутствии партбилета — это не означает быть в авангарде? Разве не авангард рабочего класса наши лучшие писатели, художники, актеры, о чьей легкой жизни ходят завистливые обывательские легенды? (Для утешения скажу — средний заработок члена Союза советских писателей — 162 руб. в месяц.) А разве наше многострадальное, измученное, исковерканное крестьянство, лучшие сыны которого, несмотря на муки мученические, все-таки чудотворно сохранили талант перешептываться на одном языке с тоже измученной матерью-землей, — это не авангард рабочего класса? Почему пришельцам с заводов и фабрик, многие из которых и горсти-то живой земли в ладони не держали, было поручено когда-то поучать хлеборобов, как пахать и сеять, тем самым ставя крестьянство как бы в положение низшего класса по сравнению с рабочим?

Неуважение к крестьянству искусно прикрывалось подсаживанием в президиумы бессловесных фигур Марии Демченко, Мамлакат Наханговой. Бессловесен был и замечательный самородок — шахтер Алексей Стаханов, варварски оторванный от родного отбойного молотка и выдвинутый "наверх" в виде общественного манекена, создающего видимость диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата была на самом деле подменена диктатурой бюрократии. Фраза "Партия — авангард рабочего класса" стала лицемерной в устах Сталина и его окружения, ибо они, уничтожая и партийных, и беспартийных, сделали бессловесными и партию, и народ. Внутри самой партии восторжествовала партия посредственностей. Режиссер Михаил Калатозов рассказывал мне, что Сталину очень нравился американский фильм про старого пирата, запиравшегося в своей каюте и игравшего с самим собой в шахматы. Играл он фигурками других пиратов, мастерски вылепленными из хлебного мякиша. Когда старый пират смахивал проигранную фигуру с доски, то убивал очередного соумышленника. В конце фильма пират остался один и с диким хохотом, прихлебывая из бутылки, повел корабль на возникший из тумана айсберг. Сталин, несмотря на робкие просьбы ссылавшихся на усталость

членов Политбюро, заставил их смотреть фильм второй раз подряд. "Поучительная картина..." — сказал он, слегка усмехаясь.

Сталин, уничтожив лучшие революционные кадры и затем уничтожив многих из тех, кто их уничтожал, держал партаппарат в страхе, но в то же время и подкупал его разными привилегиями: спецмагазинами, пайками, дачами, персональными машинами, наконец, "синими пакетами" (ежемесячное спецжалованье, не облагаемое налогами). Сталин и его окружение, разлагаясь сами, морально разлагали и партию. Личный аскетизм, скромность, бескорыстие Сталина — лживая легенда. Уровень нравственности, талантливости членов партии катастрофически упал. Во время войны грань между партийными и беспартийными стиралась, когда они были в общей партии Победы. Но после Победы разница в выдвижении на ответственные посты между партийными и беспартийными опять начала резко чувствоваться. В партию стало проникать все больше карьеристов. Многие талантливые люди не хотели вступать в партию, ибо вместе с возможностью скорейшего выдвижения это подразумевало и большую зависимость, порабощенность.

После Двадцатого съезда в партию влились новые свежие силы, надеявшиеся, что внутри партии они будут активной действующей демократизации. Нелегко им пришлось. Некоторые сломались, оциничились, продались. Но наиболее стойкие, скрепя сердце и порой скрипя зубами от стыда, все-таки не оставляли надежды на революционную перестройку, вынашивали ее в себе. Именно эти люди героически повернули руль корабля Отечества из болота застоя в открытое море гласности. Но многие и сами оболотились, и ожидать от них любви к бушующим волнам гласности не приходится — чего доброго, смочат с палубы. Такие же трусы-выжидатели есть и среди беспартийных.

Линия раздела проходит сейчас не между партийными и беспартийными, а между борцами за перестройку и ее саботажниками. Это руками саботажников было написано письмо так называемой Нины Андреевой. Это их руки пытались наложить вето на фильм "Покаяние", на телефильм "Процесс". Это их руки стараются удушить кооперативы налогами и всяческими другими ограничениями. Это их руки невидимо благословляют антисемитские вспышки. Чего они так боятся и почему запугивают других? Потому что в условиях гласности может открыться страшная государственная тайна — их бездарность, неспособность к руководству.

Многие вступают в партию для того, чтобы помочь перестройке, бороться внутри партии против тех, кто ее загрязняет. Но свиновый балласт карьеристов существует и будет существовать в партии, пока не исчезнут преимущества в продвижении по служебной и общественной линии, связанные не со способностями, а с красной книжечкой партбилета. Партия становится слабее, когда членство в ней избавляет от равноправного соревнования с беспартийными. Государство само обедняет, обворовывает свои кадры, не доверяя руководящие посты министров, директоров заводов и фабрик наиболее талантливым беспартийным. Неужели наши трудящиеся строят два разных социализма: один — для партийных, а другой — для беспартийных?

Часть партии беспартийных — верующие. В знаменательный для мировой культуры праздник тысячелетия христианства на Руси руководители православной церкви встретились с лидером нашей партии, выразив свою поддержку перестройке. В Конституции записаны слова о свободе вероисповедания. Но если свобода вероисповедания конституционна, то незаконно любое преследование верующих. Исключение из комсомола, из партии не за веру, а только за посещение церкви, за венчания, за крещения безнадежно устарели — это рудимент двадцатых годов. Разве невозможно быть верующим в бога и одновременно верующим в социализм? Свобода атеизма должна сочетаться со свободой религии. Опрокидывая вульгарные теории, история показала нам, что религиозность может сочетаться с патриотизмом, с гражданским мужеством. Русская православная церковь, благословляя наши войска, собирала средства для обороны, включая даже венчальные кольца верующих. В Иркутской синагоге есть стена с Вечным огнем, где на мраморе выбиты имена верующих евреев, павших в борьбе с фашизмом. Рядом, как братья, сражались мусульмане из Средней Азии, католики и протестанты из Прибалтики. Сейчас все церкви нашей страны ведут самое активное участие в борьбе за мир, за ядерное разоружение. Почему же, если узнают, что советский человек — верующий, его стараются не выдвигать на работе? Советы народных депутатов без представителей верующих вообще не могут представлять наш народ. Илья Николаевич Ульянов был глубоко верующим человеком. Несколько лет назад, будучи в Ульяновске, я был возмущен тем, что чьи-то бестактные руки замазали краской рельефный православный крест на его надгробии. Но крест все равно проступал. Надо усилить уголовную ответственность за оскорбление верующих. Главная

опасность нашего общества — это не те, кто верует в бога, а те, кто не верует ни во что.

Сейчас в нашей стране происходит Великая Реабилитация не только имен, но и идеалов. Мы уже добились огромных побед в гласности. Сейчас нам предстоит превратить гласность в материальные ценности. Героическая борьба нашей прессы против тирании дефицитов будет бессмысленной, пока те люди, от которых зависят лекарства, продукты, вещи, не будут сами стоять в очередях вместе со всем народом. Дефициты не исчезнут и до той поры, пока будет дефицит доверия к беспартийным. Без доверия к беспартийным народное самоуправление невозможно, ибо большинство народа — это беспартийные.

Все лучшие люди нашей страны — и партийные, и беспартийные — должны быть равны внутри партии, объединяющей всех нас, — Партии Перестройки. Есть такая партия.

1988

## ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Понятие "народ", "человечество" состоит для нас прежде всего из личностей. Но не только из знаменитых, ибо знаменитые люди не всегда лучшие представители своего народа, человечества.

Личное мнение иногда дорого стоит. Но без личного справедливого мнения нет личности, а без личности нет народа. Личное мнение дорастает до народного, когда оно смело идет наперекор трусливой соглашательской обезличенности. Личное мнение дорастает до народного, когда в нем не личная корысть, а забота о народе. Личное мнение, заткнутое внутрь, саморазрушительно. Бесстрашно высказываемое во имя других личное мнение созидает личность. Такое личное мнение перестает быть чисто личным, а становится голосом всех других. Разумеется, лишь в том случае, если своим личным мнением не пытаются подавить все остальные мнения. Свежий ветер гласности — это и есть свобода творчества, но не в узколитературном смысле, а свобода творчества всего народа, включая и литературу. Сегодняшний свежий ветер состоит из личных мнений, как из дыханий множества людей, чье имя — народ. Но для того чтобы этот свежий ветер личных мнений не прищемляли канцелярскими скрепками, нельзя мириться с любыми фор-

мами обезличенности. На слепых стенах новых зданий малевали и до сих пор малюют уродливые гигантские фигуры с бодрым псевдооптимизмом на лицах и с фальшиво-увесистыми снопами и молотами в руках. В лучшем случае на эту "агитацию" не обращают внимания, но в худшем случае она работает наоборот, порождая усмешечный скептицизм, а то и цинизм. Пора заменить косметическое декорирование реальности деловым решением реальных проблем. Таково сейчас главное направление нашей жизни. Некоторые ораторы, по старинке пытающиеся подмешать в деловой дух льстивый елей, по заслугам одергиваются. Назойливые апелляции "наверх" по поводу вопросов, которые при элементарной самостоятельности могут быть решены на других уровнях, натываются на справедливый, твердый совет "не взваливать все на плечи правительства", а решать самим. Обнадеживающее знамение нового времени — конструктивно-критический подход, осуждение приписочной парадности, развитие демократической гласности. Гласность немыслима без драгоценного права ненаказуемого личного мнения.

Если личное мнение ошибочно, то оно может быть и должно быть скорректировано мнением коллективным, но без грубого администрирования, без зажима — путем доказательного товарищеского убеждения. Но без права на личное мнение не существует коллективного мнения народа. Мнение народа — это не спущенный "сверху" циркуляр, а сумма именно личных мнений. Эту мысль когда-то гениально выразил Андрей Платонов: "Без меня — народ неполный".

Было время, когда поощрялось преувеличение роли лишь одной личности, а роль остальных сводили к печально пресловутой роли "винтиков". По одному-единственному мнению, зачастую некомпетентному, выверялась не только внутренняя и внешняя политика, но и биология, лингвистика, кибернетика, музыка, литература. Другие личные мнения, даже если это были мнения ведущих специалистов в данных областях, игнорировались, а иногда бывали и наказуемы, как мнения, якобы противостоящие "мнению народа". Из-за подключенности лишь одного мнения к рычагам реализации идей и отключенности многих других немаловажных мнений от этих рычагов произошло немало ошибок, за которые нам и по сей день приходится расплачиваться отставанием ряда отраслей науки и производства. Вряд ли все эти трагические ошибки были порождены злым умыслом. Но субъективное волевое "Так надо!" не имеет морального права

становиться приказом, если перед ним не было вопросительного "Как надо?", обращенного к миллионам народных мнений.

В опаснейший период Великой Отечественной знаменитое обращение Сталина к народу началось несколько неожиданным, человеческим: "Братья и сестры", — и это тронуло множество сердец, на которых было столько еще незаживших ран от незаслуженных потерь и обид. Мнение "Враг будет разбит. Победа будет за нами!" не было тогда просто личным — оно было народным. Слияние государственного и народного — вот в чем секрет этой великой Победы. Но после Победы мнение этих вчерашних "братьев и сестер" стало как бы несущественным. Если бы тогда спросили личное мнение крестьян, то они сказали бы, что нельзя забирать семенной хлеб только для плановой похабухи, нельзя отбирать домашний скот, нельзя расплачиваться бумажными трудовыми, ибо все это подорвет и без того многострадальное наше сельское хозяйство. Но у них не спросили их личного мнения. Если бы спросили личные мнения наших читателей, наших любителей музыки, то они сказали бы, что нельзя обвинять в ненародности ни Анну Ахматову, написавшую во время войны "Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет", ни Шостаковича, чья Ленинградская симфония стала всемирным символом непобедимости духа нашей Родины. Но у них не спросили их личного мнения.

Сейчас делается очень многое, хотя еще далеко не все, для скорейшего поднятия нашего сельского хозяйства, уровня жизни наших хлеборобов, и Ахматова, и Шостакович всенародно признаны нашей советской классикой, но вправе ли мы забывать горькие уроки, преподанные историей, показавшей насколько губителен разрыв между мнением "сверху" и мнением народа?

Развитие экономического мышления не получится без развития мышления как такового. Смелые преобразующие решения неосуществимы при нравственной негативности к радикальным переменам, при трусости, ибо такая трусость создает болотную непроходимость для ценнейших инициатив. Народ должен тоже помогать руководству и трудом, и откровенной гласностью своих личных мнений, высказываемых не ради острого словца, а ради общего дела, неделимого на мнение "сверху" и мнение "снизу". "Кабычегоневышлисты" пугают нас тем, что гласность может превратиться в анархию. Правда из рук друга — лекарство, из недобрых рук — яд. Сейчас,

когда наше государство выросло, окрепло, мы тем более не должны опасаться собственной критической откровенности личных мнений, ибо эта откровенность — признак нашей зрелости, силы, а сглаживание острых углов — признак слабости. "Кабычегоневышлистская" боязнь "потери лица" чаще всего ведет именно к потере лица. Общественное умолчание есть скрытая форма анархии. Нет ничего вреднее, когда все послушно голосуют, но формально поднятые руки вскидываются не по велению сердца и разума, а по инерции. Такое формальное голосование затем переходит в вольный или невольный саботаж тех самых постановлений, за которые только что голосовали. Гласность, конечно, не должна быть самоцелью. Гласность не должна превращаться в громогласность людей, которым нечего сказать. Мы не за гласность болтливого безмыслия, а за гласность мыслей, которые можно превратить в энергию действий.

Но на фоне призывов к гражданской смелости, к правдивости существует постоянное сопротивление "кабычегоневышлистов", стремящихся снивелировать, сбалансировать, усреднить взгляд на многие исторические явления и на сегодняшнюю жизнь. Всячески мешая писателям, режиссерам, художникам, ученым, рабочим выражать их личное мнение, такие безнадежно устаревшие динозавры ложного охранительства тем не менее пытаются ставить свое личное мнение выше всех других. Если техническая комиссия выносит негативное решение по поводу конструкции нового самолета, а самолет, несмотря на это решение, все-таки выпускается и летит во славу нашей Родины, то такая техническая комиссия не должна оставаться вне общественного, морального контроля. Пора ввести в нашу практику правило, что те люди, которые становились на пути ценных изобретений, мешали публикации литературных произведений, постановке спектаклей, фильмов, выставке картин, затем получивших всенародное признание, должны признаваться некомпетентными.

Незапланированно берущий слово на собрании слесарь и нелицеприятно говорящий рабочую правду в лицо неуютно передергивающего плечами начальства; доярка, забывшая подsunутую ей бумажку и выдыхающая каждое слово из своего крестьянского многострадального сердца; ученый, принципиально ведущий бой против лженаучных, тормозящих передовую мысль концепций; писатель, с трибуны съезда российской словесности выражающий глубокую озабоченность судьбой северных рек, — все мы равны и ответ-

ственны перед историей, и наши личные мнения и есть мнение народа.

Великая сила личного мнения — это рычаг коллективной демократии.

Демократия коллективная невозможна без демократии индивидуальной.

1986

## ИНВАЛИДЫ И СТАЛИН

**В** своем письме читатель А. Лубенец упрекает меня "в уничтожении тех, кто сражался на той войне, кто создавал ценности до и после войны" и в "возвеличении, восхвалении инвалидов лагерей": дескать, то были люди, а инвалиды "той войны" — так себе. Вопрос: может ли поэт, якобы уничижающий инвалидов войны, считающий их людьми "так себе", написать песню "Хотят ли русские войны?" и многие другие стихи, воспевающие подвиг нашего народа в Великую Отечественную? Лубенец пишет: "Евтушенко сдержанно, но довольно прозрачно издевается над доверчивостью, наивностью и слепой любовью инвалида к Вождю..."

Во-первых, я не издеваюсь, а говорю об этой слепой любви с болью и сожалением. Лозунг "За Родину, за Сталина!" был предписан сверху политуправлением, но тем не менее многие фронтовики верили в него искренне, ибо не знали тогда гигантских размеров сталинских злодеяний по отношению к собственному народу. Я не издеваюсь над их наивной искренностью, но я не могу простить тому человеку, кто этой искренностью так цинично пользовался, отправляя, например, героев Брестской крепости за колючую проволоку. Многие инвалиды войны стали затем инвалидами лагерей. У нас много памятников ветеранам войны, но вот памятников ветеранам лагерей еще нет — и разве нельзя поэту "возвеличить" их если не бронзой, так словом?

Если не все инвалиды войны догадывались о масштабах трагической правды, то инвалиды лагерей сохранили правду,

---

Ответы читателям карельских газет "Ленинская правда" и "Комсомолец".



горчайшую, но драгоценную для истории. Вот в чем смысл этого стихотворения. И не стоит упрекать меня в неточности, что я называю Сталина Генералиссимусом, а не главнокомандующим. Генералиссимус — это последнее воинское звание Сталина, и инвалид войны так называет его не во время войны, а сейчас.

Но если письмо т. Лубенца продиктовано, как я надеюсь, лишь досадным недопониманием моего замысла, то письмо т. Александра в "Комсомольце" построено на железной логике антигласности. Александров, конечно, оговаривается: "Я тоже решительно осуждаю имевшие место (! — *Е.Е.*) произвол, нарушение социалистической законности, черные дела Берии... Но трудящиеся шли к новой жизни неизведанными путями, и ошибки естественны". Так что же, значит, убийства многих выдающихся революционеров были "естественны"? Значит, варварские жестокости по отношению к середнякам под видом борьбы с кулаками — тоже "естественны"? Значит, миллионы ни в чем не повинных людей в лагерях — это "естественно"? Значит, публичное шельмование Шостаковича, Ахматовой, Зощенко — "естественно"? Значит, дело врачей — "естественно"? И во всем этом виноват только один Берия? Нет, такое отношение к исторической гласности, как у Александрова, чревато повторением прежних ошибок и преступлений, ибо и новые ошибки легко тогда будет назвать "естественными".

Тов. Александров заявляет: "Не стыжусь истории своей страны". Я тоже не стыжусь победы над фашизмом, ибо это гордость нашего народа. Но есть и то в истории нашей страны, чего необходимо стыдиться. Гражданский стыд есть двигатель общественного прогресса, есть гарант неповторения прежних ошибок. Большая литература невозможна ни без гражданской гордости, ни без гражданского стыда.

**ГЕНЕРАЛЬНОМУ  
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
тов. ГОРБАЧЕВУ М.С.**

*от секретаря  
правления Союза писателей СССР  
лауреата Государственной премии СССР  
поэта Евтушенко Е.А.*

*Дорогой Михаил Сергеевич!*

*Переправляю Вам письмо с просьбой о реабилитации несправедливо обвиненных в свое время и казненных деятелей партии и среди них в первую очередь — Николая Ивановича Бухарина, которого Ленин называл "законным любимцем партии". Это письмо подписано представителями передовой части нашего рабочего класса с КамАЗа. Под этим письмом могли бы подписаться и все лучшие представители нашей интеллигенции. Все те, кто не только поддерживают на словах перестройку и гласность, а проводят их в жизнь, безусловно разделяют мнение авторов этого письма. Реабилитация Бухарина давно назрела, и год семидесятилетия нашего государства — самое лучшее для этого время. Мы, как наследники революции, не имеем права не вспоминать добрыми словами всех, кто ее делал.*

*С искренним уважением*

*Евг. Евтушенко*

*1987, июнь*

## ОПОРОЧИТЬ ОПОРОЧЕННЫХ?

**Я** счастлив тем, что являюсь одним из свидетелей и участников Великой Реабилитации: реабилитации революционных идеалов, ленинской демократии, социалистической гласности, реабилитации нашей веры в самих себя. Эта Великая Реабилитация невозможна без осуждения бывших "судей", их недозволенных методов, без осуждения насильственно навязанных лже-теорий — политических и научных, превращавшихся в антинародную практику. Эта Великая Реабилитация невозможна без конкретной реабилитации конкретных людей, конкретных книг, теорий, которые должны превращаться в народную практику демократии.

Начало этой Великой Реабилитации положил XX съезд партии. Затем в стрелку на часах истории вцепились руки тех, кто боялся правды. Но стрелку удалось только замедлить, а не сломать. Сама История голосом апрельского Пленума объявила продолжение Великой Реабилитации.

На стороне перестройки все лучшие силы нашего общества, ибо только перестройка есть гарант развития духовного и материального, и все прогрессивное человечество, ибо только перестройка есть гарант безопасности всех народов. В негативном отношении к перестройке смыкаются реакционеры Запада и наши внутренние догматики, которые переходят ко все более агрессивным действиям. Я приветствую справедливую отповедь, данную "Правдой" антиперестроечному манифесту в "Советской России". Под этим манифестом стояла только одна фамилия, но могли бы стоять и другие немалочисленные фамилии врагов перестройки, с которых постепенно спадает маска политической мимикрии.

Есть две лакмусовые бумажки для выяснения отношения к перестройке. "Скажите мне, что вы думаете о тех, кто сажал, и о тех, кого сажали, и я вам скажу, что вы думаете о перестройке". (Из понятия "те, кого сажали" я, разумеется, выбрасываю уголовников, фашистских подручных и прочих сброд.) На первой лакмусовой бумажке люди ловятся иногда по недостаточной информированности о преступлениях тех, кто сажал, хотя пора бы перестать оправдываться наивностью. Чаще всего это не наивность незнания, а нежелание знать. На второй лакмусовой бумажке ловятся, когда проявляют недоброжелательство к реабилитируемым. Что может быть неблагороднее, чем опорочить уже опороченных, плескаться чернильными кляксами на репутации тех, кто погиб в соб-

ственной крови! Такие антигуманные попытки прикрываются обычно тем, что мы, дескать, за реабилитацию, но не за идеализацию...

Но представьте, что в наш дом после множества лет мыканий за колочей проволокой возвращается невинно осужденный, когда-то названный шпионом, убийцей, вредителем человек? Первая естественная реакция, если мы люди, — это наша радость, счастье, что он жив, что мы можем прижаться к его груди, в которой, к счастью, еще бьется сердце. Возможно, у этого человека, пока он был на свободе, были свои недостатки. Возможно, когда-то однажды в пылу дискуссии он несправедливо отозвался об одном писателе, иногда ошибался и в теории, и в практике... Но все-таки с нашей стороны была бы безнравственной такая первая реакция на возвращение реабилитированного, если бы мы обрушили на него наши упреки и обвинения в адрес его когда-то совершенных ошибок, вместо того чтобы перво-наперво порадоваться его оправданию, его возвращению!

Мелкие попытки опорочить Великую Реабилитацию в конечном итоге обречены на провал. Но только в том случае, если мы каждый раз вовремя будем противопоставлять этим попыткам бережно и мучительно собираемую нами по крупинкам правду. Нельзя позволить снова опорочить уже однажды опороченных.

1988

## ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА

По части памяти мы квиты с Н. Грибачевым, ибо она подвела и его, и гораздо крупнее: назвать встречу руководителей партии и правительства во главе с Н. Хрущевым с творческой интеллигенцией в марте 1963 года "каким-то — сейчас не помню — совещанием в Кремле" является прискорбной забывчивостью. Н. Хрущев сделал и немало доброго, начав реабилитацию незаконно репрессированных честных советских граждан, начав открывать дорогу гласности по отношению к прошлому. Но на этой встрече он поддался собственному нервозному настроению, созданному услужливой дезинформацией

---

Ответ на письмо Н.М. Грибачева в "Огонек", которое явилось откликом на материал "И были наши помыслы чисты...", опубликованный в журнале.

о якобы антипатриотических настроениях внутри нашей творческой интеллигенции. Замечу, что эта дезинформация, в частности, исходила и от группы писателей, которые, теряя с развигтением гласности свои посты и влияние, пытались монополизировать патриотизм, пытались обвинить во всех смертных грехах других неугодных им писателей и среди них поэтов нашего поколения. В своем интервью я говорю: "Наша популярность раздражала и многих собратьев по перу". Я ошибся лишь в том, кто начал полемику на тему "мальчиков", но Грибачев, справедливо доказав, что полемику начал он, а не Рождественский, еще более аргументирует мой тезис об этом раздражении и ставит себя в еще более уязвимую ситуацию, смягченную моей невольной ошибкой. Итак, цитирую стихи Грибачева "Нет, мальчики".

Вот в чем Грибачев обвинил представителей нашего поколения:

Порой мальчишки бродят на Руси,  
Расхристанные, — господи, спаси! —  
С одной наивной страстью — жаждой славы,  
Скандалной, мимолежной — хоть какой.  
Их не тянули в прорву переправы,  
И "мессер" им не пел за упокой...

Да, мы были детьми во время войны, но "мессеры" пели и за наш упокой, ибо столько детей было ими убито... Как было можно упрекать наше поколение в том, что мы не воевали? Это было так же вопиюще несправедливо, как если бы кто-то стал обвинять поколение Н. Грибачева в том, что оно не воевало в гражданскую войну!

Цитирую далее:

И хоть борьба кипит на всех широтах  
И гром лавины в мире не зatih,  
Черт знает что малюют на полотнах,  
Черт знает что натаскивают в стих...

Есть такая хорошая пословица: "Не бей лежачего". Так нравственно ли было, Николай Матвеевич, в то время, когда глава правительства оскорблял молодых художников и писателей, вы, вместо того чтобы по-отцовски их защитить, еще и добивали — лежачих. Ведь Хрущев, находясь на пенсии, извинился за это. А вот вы — нет. Цитирую вас далее:

И, по зелени еще не зная,  
Какая в этом пошлость и тоска,  
Подносят нам свои иноиздания,  
Как на вершину славы пропуска.

Но у кого же из молодых поэтов тогда, в 1963 году, выходили эти "иноиздания"? Да только у тех четверых\*, изображенных на обложке "Огонька". Значит, по ним вы били, по ним, Николай Матвеевич, и, как доказали своим письмом-поправкой, начали атаку, а мы лишь отбивались.

Да и как же было не защищаться, если дальше в вашем стихотворении шли почти оскорбительные строки:

Нога скользить, язык болтать свободен,  
Но есть тот страшный миг на рубеже,  
Где сделал шаг — и ты уже безроден,  
И не под красным знаменем уже...

Зачем же было ставить под политическое сомнение сразу столько из поколения лишь потому, что они не воевали и писали свои стихи и картины так, как не нравилось вам? Как человек, получивший после двух Сталинских премий высшую в стране, Ленинскую, за журналистский репортаж о поездке Н.С. Хрущева в США, вы должны бы, казалось, помнить, что происходило на этом "каком-то — сейчас не помню — совещании в Кремле". А там происходила борьба за неотвратимо зарождавшуюся в недрах нашего общества гласность — и борьба против этой гласности. К сожалению, как доказывает цитируемое мной стихотворение, вы были тогда не на стороне гласности, якобы охраняя безопасность нашего общества от якобы сотрясателей его основ из преступно "невоевавшего" поколения.

Сейчас гласность становится нормой жизни, и это веление самой истории. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сведение счетов. Все мы совершаем ошибки — от них не было свободно ваше поколение и не свободно мое. Свою фактическую нечаянную ошибку я признал. Но не лучше было бы, если бы и вы, ловя меня на ней, нашли в себе мужество признать хотя бы одну свою прошлую ошибку?

1987

---

\* Имеются в виду А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский и автор этих строк.

## СОБСТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ НА ЧУЖОЙ КРОВИ?

**Ч**итатель петрозаводского "Комсомольца" упрекает меня (а имеются в виду, очевидно, и другие писатели) в том, что мы выплескиваем вместе с водой ребенка. Говоря о горьких эпизодах из нашей истории, зачеркиваем наши великие победы. Неправда. Наша литература только начинает сегодня раскрывать нашу историю. И в этом уже одна из великих побед нашего общества. Даже Сталин говорил о том, что умение признавать свои ошибки — важнейшее качество революционера. Говорил, но сам своим словам не следовал. Однажды, уже после войны, коснулся, почти сказал о репрессиях... И все-таки в последний момент отступил. Покаяние тогда так и не состоялось...

Нашей сегодняшней гласностью мы вправе гордиться. В ней — доказательство жизнеспособности нашего общества. Но не надо затыкать рот и противникам гласности. Это и есть тот плюрализм мнений, без которого мы не сдвинемся с мертвой точки.

Сейчас мы узнаем — и об этом говорят сами ветераны, что даже знаменитый клич "За Родину! За Сталина!" предписывался свыше. Говорят еще, что при Сталине цены снижали. Да, снижали. Но одновременно падала цена человеческой жизни, человеческой совести, и это самое страшное.

Теперь мы уже достаточно мудры, чтобы понять: обман в сфере духовной неизбежно отражается в сфере экономической. Это, увы, взаимосвязано. Я родился на станции Зима. Недавно прочитал в "Литературке" о родине своей неприятные вещи. Первая реакция — неприязнь к автору статьи. Ведь речь шла о людях, которые мне дороги. А потом подумал: "Но ведь это правда". А раз так, значит, она нужна. Гласность имеет много общего с медициной. Человеку приходится делать больно, чтобы его спасти.

Представляю, как сейчас на моей родине пишут письма с опровержениями. И тоже понимаю это. Ведь противник гласности сидит и во мне самом. Меня тоже воспитывали на готовности терпеть любую грязь, лишь бы о ней ни слова... По принципу: можете подтирать мною пол, только не называйте меня тряпкой.

В 1957 году "Комсомольская правда" напечатала письмо

старого большевика, которому не понравилось, что в поэме "Станция Зима" я написал не только о светлых сторонах жизни моих земляков, но и о беспробудном пьянстве, нищете... Подобные отклики заполонили и местную газету. Меня обвинили в том, что я оплевал свою родину. Ни больше ни меньше. Прошло более 30 лет. И сейчас в откликах на мои стихи — те же аргументы. Еще одно доказательство, насколько глубоко в нас проникла порча...

Но еще хуже — молчание и равнодушие. Часть молодых людей не верит взрослым — мы это заслужили. Недостаточное участие молодежи в нынешней революции духа — тоже наша вина. Но сколько можно просить извинений? Прошло уже достаточно времени, чтобы они сами разобрались, что к чему. Ведь это же проще простого: без их помощи мы ничего изменить не сможем. И если молодые все еще отворачиваются от нас, теперь уже они начинают обрастать виной. Перед нами и нашими потомками. И явление это заслуживает своего названия — историческое иждивенчество.

Почему не просто иждивенчество, а историческое? Некоторые молодые люди уходят с фильма "Покаяние". Мол, мы-то какое отношение имеем ко всему этому? Но истинная культура — это когда человек принимает всю историю своей страны, всю вину. Даже ту, в которой лично он неповинен. Юноши из ФРГ приезжают в Англию восстанавливать разрушенные во время налетов люфтваффе всемирно известные памятники культуры. Бомбили не они, а их отцы, но чувство вины за свой народ гонит их в чужую страну после войны платить по счетам истории. Лучшие из американцев создавали такую общественную обстановку у себя на родине, что войска США вынуждены были уйти из Вьетнама. Я не провожу прямых аналогий. И все же...

Да поймите же: только прошлого не существует! Мы мучимся прошлым — в настоящем. А пока мы мучимся, мы — люди. Нас учат в школе плохие учителя: человек создан для счастья, как птица для полета. Ну и вырастают кандидаты в счастливики, как на подбор. Не готовы они к страданию. А еще страшнее — к состраданию.

Многие из молодых людей стесняются проявлять свои чувства. Боятся, что нарекут их сентиментальными. Но с каких пор слово это стало ругательным? Ведь означает оно полноту чувств. Но нет, некоторые молодые корчат из себя суперменов. Чепуха, конечно, но душу разъедает. И мы все чаще говорим о необъяснимой патологической жестокости подростков. Поверь-



те, я не против счастья. Пусть будет счастье. Но не за счет других. Не на чужой крови, разбитых надеждах, исковерканных судьбах...

1988

## О ЧЕМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ЧЕРНОБЫЛЯ?

Цитата из Джона Донна, взятая Хемингуэем для его знаменитого романа "По ком звонит колокол", все чаще и чаще приходит нам на память после стольких трагедий двадцатого века, как будто бы соединенных, как звенья, в одну нескончаемую цепь. Сейчас много спорят о проекте памятника на Поклонной горе. Я не специалист, но из всех памятников, посвященных погибшим в Великой Отечественной, мне нравится Хатынский комплекс своей суровой скупой печалью, где колокола на печных трубах пепелища сами позванивают от ветра, осторожно прикасающегося к ним. Чернобыльские колокола звонят далеко — их эхо донеслось за моря-океаны и в большинстве человеческих сердец вызвало не политическое злорадство, а тягостные раздумья о взаимосвязанности всех человеческих судеб под знаком атомной угрозы. Колокола Чернобыля звонят не только по тем, кто погиб в результате этой катастрофы, не только по тем, кто может погибнуть завтра или послезавтра от ее прямых и косвенных последствий, но и по тем, кто может никогда не появиться на свет, ибо света не будет.

"Авария в Чернобыле еще раз высветила, какая бездна разверзнется, если на человечество обрушится ядерная война... Мы понимаем: это еще один удар колокола, еще одно грозное предостережение..." — эти слова были сказаны точно, и сами стали еще одним ударом колокола.

Факты сейчас высыпаются буквально ворохами, горами на страницы нашей печати, а вот обобщающих мыслей маловато. Какая же главная мысль напрашивается? Мысль о том, что преступление, в результате которого гибнут люди, может быть нечаянным, невольным, частью будничной деловой текучки, частью самого искреннего старания помочь так называемому "производственному процессу", его ускорению. Страшновато слышать спокойный, усталый комментарий работника станции Голубева: "Во всей этой истории обидно то, что в общем-то звоночки эти были уже раньше. Выпускались решения... бумаги писались, но ни черта не было сделано, совершенно. И мы в

конце концов пришли уже к серьезному делу, а пришли с голыми руками, и все уже пришлось в процессе работы здесь прямо выдумывать, что-то изобретать...”

О, нечаянная мать стольких преступлений — беспечность! “Выпускались решения, бумаги писались...” Мы с вами, особенно в последнее время, громогласно обвиняем тех бюрократов, которые “решения”, “бумаги” ставят выше человека. Но давайте задумаемся о том, почему же тогда эти решения все-таки не выполняются, а “бумаги” остаются бумагами. Да потому что бюрократ, ставящий “бумагу” выше человека, и саму “бумагу” ни во что не ставит. Такой бюрократ вообще ничто ни во что не ставит, кроме самого себя. Но сам себя он в то же время эгоистом не считает, ибо он в собственных глазах — воплощение государства, и все свои амбиции, своеволие, эгоизм маскирует под интерес и волю государства. Вот тут-то и лежит начало нечаянных преступлений.

Люди, которые, несмотря на запрет, все-таки ловят в отравленной реке рыбу — разносчицу радиоактивности, — разве это не пример беспечности, которую ничто и никто не могут вынуть из преступно бездумных голов.

Выдающийся гематолог А.И. Воробьев говорит так: “Думаю, что на этой аварии закончится средневековое мышление человечества. Вывод должен быть сделан однозначный: не только ядерная война, но война между ядерными державами становится нереальной. Человечество должно покинуть средневековую психологию навязывания своей воли с помощью кулака. И ничего другого для нас не остается, потому что, если мы разбомбим только атомные электростанции просто боеголовками без ядерных зарядов, и только в Советском Союзе, — Европы не будет, не будет Северной Африки...”

Чеховский крестьянин-злоумышленник, отвинчивавший с железнодорожных рельсов гайки, конечно же, не думал, что может стать невольным убийцей стольких людей. Но непонимание собственной преступности при совершении преступления не есть невинность. Невинных убийц не бывает. Изощренных злоумышленников, злодеев с бармалейской психологией не так уж много в истории. Но недоразвитость сознания, тупость, упрямство превращаются в злодейство. Упаси нас, господь, от злоумышленников благонамеренных! Наша страна до сих пор еще полностью не стала страной, где так вольно дышит человек, но я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит злоумышленник. Поезд нашей страны потерпел столько крушений именно потому, что с перенапряженных, перекален-

ных рельсов истории мы своими собственными невежественными руками поотвинчивали столько необходимейших гаек на грузила. А к тому же мы по-холопски позволили самих себя превратить из живых существ в гайки — то бишь в винтики, и почти безропотно позволяли себя перевинчивать то из вишневого садика в бараки Колымы, то из Кремля в подвалы Лубянки, то из Академии наук в обнесенную колючкой лагерной "шарашку" для крепостных мозгов. Чернобыль не есть только трагическая случайность — а результат планомерного, по-пятилеточного обесценивания человека как индивидуума. А для чего это делалось? Чтобы лишить человека независимости, возможности сопротивления. Раскулачивание было не столь экономической акцией, сколь идеологической — потому что крепкое зажиточное хозяйство было основой независимости от государства. Раскрестьянивание, расказачивание шло вместе с распротетариванием, с разинтеллигентиванием. Шло уничтожение мастеров своего дела — профессионалов, делателей ценностей. Профессионалы, с одной стороны, вроде и были нужны государству, но с другой стороны — опасны, ибо творческий профессионализм подразумевает опять-таки независимость. Поэтому профессионал Тухачевский, понимавший значение авиации, танков, современных методов войны, был заменен на Ворошилова, Буденного, мыслящих допотопными кавалерийскими категориями, профессионал Вавилов — на агрессивного дилетанта Лысенко — этого инквизитора от биологии.

Воробьев, работавший вместе с доктором Гейлом, пишет: "Мы пожинаем богатый урожай, посеянный диктатурой, когда чины и звания раздаются кучкой малограмотных людей, убравших настоящих ученых. Именно поэтому аварийность у нас является не случайностью, а она — закономерность. А может быть, и дальше так будет? Будет, если неспециалисты наконец не одернут так называемых специалистов, перегруженных званиями, наградами, но не знаниями и не заслугами перед своим народом..."

Позволю себе гипотезу: если бы не было в результате невиданного самогеноцида уничтожено столько мыслеробов и хлеборобов, то, может быть, не было бы ни чернобыльского апокалипсиса, ни аварии с "Нахимовым", ни взрывов в Арзамасе, в Свердловске, ни пожара поезда возле Бологого, ни уничтожения Арала... Все эти разрушения произошли от разрушения профессионализма.

Преступный дилетантизм дутых авторитетов, объединившихся в мафиозный союз злоумышленников, привел к тому,

что они тем выше взбираются по карьерной лестнице, чем ниже уровень их компетентности. Некомпетентность на ответственном посту есть потенциальное злодеяние. Одним из признаков творческого профессионализма, за исключением профессионализма мошенников, наемников, убийц, всегда была совесть. Академик Сахаров, один из творцов атомной бомбы, однажды ужаснулся опасностям, таящимся в творении рук своих, и именно эти муки сделали его великим гражданином и нашей страны, и человечества, а город Горький, куда его сослали, стал столицей свободной мысли. Мы уже никогда не выскребем чернобыльский воздух из наших легких, хотя, по выражению Ивана Драча, современные понтии пилаты уже умыли свои руки от радиации. Не хочется верить в то, что по невеселому предсказанию Чаадаева наш народ существует лишь для того, чтобы дать страшный урок человечеству. Не позволим друг другу поддаться разрушительной радиации гражданского пессимизма, будем профилактическими пожарниками всех новых чернобылей. Но наш быт с его дефицитами, ежедневными мытарствами доставания тоже превратился в своего рода ежедневный бытовой Чернобыль. И если благонамеренные злоумышленники в форме спецвойск будут применять саперные лопатки и химические гранаты, то это приведет лишь к нравственному Чернобылю. Будем бдительны к тем, кто под видом спасения нашего исторического пути от открученных гаек закручивает их так, что намертво прищемляет и свободу, и живых людей. Нет — всем чернобылям — и атомным, и бытовым, и нравственным! Нет — рабскому преклонению перед атомом! Да — уважению к каждому атому человеческого тела и души!

1987

## РЕЛИГИЯ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

Слишком легко в последнее время считается интеллигентом. Достаточно университетского ромбика в петличке, и этим ты уже как бы бесспорно культурный человек. Если мы подсчитаем количество людей с высшим образованием, то получится, будто наша страна буквально затоплена интеллигенцией. А так ли это на самом деле? Сколько людей, кончающих вузы, попадают туда вовсе не по любви к той или иной профессии, а потому что "родители так решили", скольким не отказывают благодаря родственному или другому нажиму, снисхождению при

вступительных и выпускных экзаменах... Проблема иная — затопленность страны непрофессионалами.

Непрофессионал-врач при самом незлобивом личном характере — это потенциальный убийца. Но в каком-то смысле любой непрофессионал — убийца. Непрофессионал-писатель — это убийца ни в чем не повинной бумаги, непрофессионал-экономист — это убийца народных денег, непрофессионал-строитель — убийца стройматериалов, непрофессионал-перекраиватель природы — убийца рек и озер, непрофессионал-лектор — убийца нашего с вами времени.

Однако узкая профессионализация тоже еще не культура. Можно быть неплохим врачом или неплохим инженером, но если круг их интересов не выше профессиональных, то это всего-навсего технари, а не интеллигенты. Выдающимся гениальным врачом или выдающимся гениальным инженером при общей ограниченности стать нельзя. Только люди высокой разносторонней культуры могут совершать качественные революционные изменения в своей собственной работе и в истории в целом.

Печальные доводы, доказывающие недостаточный уровень культуры, — успех дешевых коммерческих фильмов, низкопробных песенок, душещипательной псевдопоэзии, ловко состряпанных читабельных романов. Истинная культура — это вкус, не позволяющий клонуть на сомнительного червячка. Такой вкус нельзя искусственно привить. Истинная культура — это знание опыта, накопленного за все существование человечества. Этот опыт состоит из истории, народной мудрости, философии (включающей в себя знание религии), науки, искусства. Будем честными друг с другом — многие ли из наших дипломированных выпускников пройдут экзамены по этим пяти предметам?

Когда на спектакле "Диктатура совести" в Театре имени Ленинского комсомола, набитом, казалось бы, интеллигентной публикой, актер задавал вопрос в зал: "Кто такой был Андре Марти?" — аудитория, как правило, отвечала молчанием. А ведь об Андре Марти писал Хемингуэй — вроде бы один из самых читаемых у нас зарубежных писателей. Какое поразительное несоответствие сотен тысяч портретов Хемингуэя в современных квартирах и незнания его творчества. Попробуйте начать цитировать пушкинское "Чем меньше женщину мы любим..." и девяносто процентов наших новоиспеченных интеллигентов, радуясь возможности подтвердить свою причастность к культуре, охотно продолжат "...тем больше нравимся

мы ей”. А ведь у Пушкина было ”...тем легче нравимся мы ей”. Гигантские очереди на выставки некоторых отнюдь не бессомненных художников, которые наивной толпе кажутся чуть ли не первооткрывателями, свидетельствуют о незнании первоисточников — начиная от Нестерова и Рериха. Незнание первоисточников приводит к источникам весьма сомнительным.

Истинный верующий не превращает крест в бижутерию. Ставшее модным вываливание крестов поверх рубах или блузок говорит об элементарном непонимании того, что такое распятие, а вовсе не о религиозном фанатизме. Что же опаснее — незнание религии или религиозный фанатизм? А может быть, эти два явления глубоко связаны, только мы не пытаемся в этом разобраться. Когда в пасхальные ночи, чтобы отвлечь молодежь от созерцания крестного хода — ничего не скажешь, красивого и поэтичного, как ни одно из общественных собраний! — наше изобретательное телевидение запускает ночные развлекательные шоу, я вижу в этом только нашу слабость. При всех многочисленных потугах организовать во дворцах бракосочетаний нечто, что своей красотой затмило бы обряд венчания, пока ничего путного не получилось. Иногда в церквях венчаются или крестят детей вовсе не из-за ”религиозного фанатизма”, а потому что красиво. Церкви привлекают внутрь множество людей, не только верующих, потому что архитектура покоряет волшебством, а лики святых, написанные народными гениями, более впечатляют, чем каменно застывшие лица на досках почета.

Источник нравственности — культура. Но из исторического опыта нравственности — позитивного и негативного — нельзя выбрасывать религию, ибо ее история неотделима от истории как таковой.

Вспомним хотя бы, что во времена Римской империи христианство сыграло безусловно революционную роль: не случайно проводников идей ”Не убий!” и ”Полюби ближнего, как себя самого!” на клочки разрывали императорские львы. Не будем забывать и о жестокости крестовых походов, о кострах инквизиции, с кровавым лицемерием извративших постулаты христианства. Но разве так было в истории только с одним христианством? Вспомним ГУЛАГ, вспомним геноцид в Камбодже, когда полпотовцы объявили ”красный террор” своему собственному народу.

Конституция в нашей стране ясно и четко говорит о свободе вероисповедания. Церковь у нас отделена от государства, и это справедливо. Но нигде в наших законах не записано, что от го-

сударства неотделим атеизм. Атеизм — это явление добровольное, а не насильно навязываемое. Атеизм должен быть одним из проявлений свобод нашего общества, как и вероисповедание, но не проявлением насилия. Сейчас наше государство тратит колоссальные деньги на реставрацию церквей, превращенных атеистическим варварством в овощные склады и коровники.

Некоторые атеисты защищают свой атеизм скучнейшей догматической риторикой: "Наш атеизм базируется на фундаменте научного мировоззрения, и он так же незыблем, как это мировоззрение". Полемика с любыми догмами несостоятельна, если она ведется при помощи других догм. Именно от таких скучных атеистических лекций молодежь и сбегает посмотреть на крестный ход.

Библия — это великий памятник культуры. До сих пор не понимаю, почему государственное издательство издало Коран, а вот Библию нет. Без знания Библии наша молодежь не может понять многое в Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом. Весь ранний Маяковский пересыпан библейскими метафорами. Библия стоит в букинистических магазинах и на "черном рынке" огромные деньги. Если атеисты хотят, чтобы все стали атеистами, то как же ими можно стать, не зная Библии? Мировоззрение не должно быть замкнутой в себе философской системой, выросшей на пустом месте. Мировоззрение должно впитать в себя все нравственные поиски человеческой мысли во имя человека, включая то лучшее, что есть в христианской морали. Чтобы общество развивалось, оно должно уметь подытоживать, отфильтровывать, но ничто ценное из опыта мысли нельзя отбрасывать.

Религию, стоящую на службе у социального гнета, справедливо назвали опиумом для народа. Но можем ли мы забывать, что во время войны с фашизмом наша церковь собрала огромные средства для общей победы? Можем ли мы забывать о том, что настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон был одним из основателей движения за мир?

Примитивное деление мира на верующих и атеистов, как на нечистых и чистых, предлагаемое антирелигиозными экстремистами, не выдерживает никакой критики, даже исходя из научного материализма. Один из них, профессор Крывелев, пишет, впадая в алогическую вульгарность: "Нравственность не только не противопоказана атеизму, она ему органически присуща". Значит, быть атеистом — это индульгенция от безнравственности? Если бы все было так! Но, к сожалению, многие так называемые атеисты бывают ворами, залезающими в на-

родный карман, бюрократами, подхалимами, мздоимцами, несунами, политическими хамелеонами и ничем не лучше тех попов, которые обкрадывают простодушных верующих.

Атеизм сам по себе не есть источник нравственности. Источник нравственности — культура. Культура человеческого поведения. Культура совести, не нуждающаяся в научных дипломах. Культура души, даже необразованной, но инстинктивно чувствующей, где правда, а где ложь. Но если инстинктивное правдолюбие сливается с образованностью, то такой источник нравственности не замутить никакими лжетеориями — ни религиозным фанатизмом, ни атеистическим варварством.

Не призываю к тому, чтобы биться лбами о церковные плиты. Источник нравственности не может пахнуть только иконным ладаном или архивной пылью. Источник нравственности — прежде всего сама жизнь и сами люди, как многоликий, но единый Бог, состоящий из тех, кто борется за освобождение людей от ложных кумиров.

1986

## ПРИТЕРПЕЛОСТЬ

Не упомяну, от кого и когда я впервые услышал это русским-русское, трагически емкое слово. Но недавно это слово вновь напомнило о себе.

”Извините за подарок, Евгений Александрович, но по нынешним временам — вещь драгоценная...” — сказала дальняя родственница моих домашних, ставя на первомайский стол пачку сахара, почти исчезнувшего. Это на семьдесят-то первом году Советской власти, это через сорок с лишним лет после войны! И вдруг я поймал себя на том, что радуюсь маленькой бытовой хищной радостью доставания, подменившей для многих нас полноценную радость бытия. А женщина, подарившая мне сахар, вздохнула: ”Вот до чего дожили... А ведь всему виной притерпелость наша проклятая...”

Точнее не скажешь.

В словаре Даля такого слова нет, и приводится только однокоренной глагол: ”У кузнеца рука к огню притерпелась”. Здесь в глаголе — уважение к терпению. Но если одна женщина спрашивает другую: ”Ну как у тебя с мужем-то? Все бьет да бьет?” — а та отвечает, опустив глаза: ”Да ничего, притерпелась”, — то никакого уважения к своему терпению уже нет, а



есть сплошная, ни на что не поддающаяся безысходность, подавляющая сила привычки.

Есть терпение, за которое стоит уважать, — терпение в муках рожаящих матерей, терпение истинных творцов в работе, терпение оскорбляемых за правду, терпение пытаемых, не выдающих имена друзей... Но есть терпение бессмысленное, унижительное. Неуважение к своему терпению, переходящее в гражданский гнев, — это воскрешение личности или нации. Но страшно, когда неуважение к своему терпению превращается в отупелую притерпелость. Какое уж тут самоуважение! Да и как можно уважать самих себя, если мы ежедневно позволяем столько неуважительного к нам? Каждая очередь, каждый дефицит — это неуважение общества к самому себе.

Недостатки общества мы привыкли спасительно списывать на других, в частности на правительство. Сейчас мы, слава богу, заговорили не только о личной вине Сталина, но и о вине его ближайшего окружения за преступление против народа. Я не сторонник панически поспешного переименования всех городов и улиц, но все-таки не могу понять, почему, например, от дверей ЛГУ не может до сих пор отлипнуть надпись "имени Жданова", оскорбившего великих ленинградцев — Ахматову и Зощенко, и почему ни в чем не повинный Мариуполь должен носить это постыдное имя? А когда я иду в Москве по проспекту Калинина, то невольно думаю о том времени, когда "все-союзный староста" вручал в Кремле ордена, а его объявленная "врагом народа" жена, по свидетельству очевидца, выковыривала вшей из швов рубах заключенных\*. Но давайте будем честными и признаемся, что перед лицом народа была виновата не только правящая кучка, но и сам народ, позволивший делать с ним все, что она хотела. Позволять преступления есть вид соучастия в них. А мы исторически привыкли позволять — притерпелись. Хватит и сейчас все спихивать только на бюрократию. Если мы ее терпим — значит, нам поделом. По словарю Даля, одно из значений слова "терпеть" — это потакать. Притерпелость — это потакание, соучастие.

Возьмем кажущуюся "мелочь" — исчезновение сахара. Это, конечно, поправимо, и, возможно, ко дню опубликования статьи несладкая сахарная проблема будет решена. Но кто в ней виноват? ЦК? Совмин? Конечно, и они тоже. Но разве и не

---

\* Сейчас имя Жданова снято с ЛГУ. Город Жданов переименован в Мариуполь. Проспект Калинина ждет другого имени.

мы с вами? Разве не партия? Разве не народ? Сегодня мы притерпелись к исчезновению то одного, то другого продукта. Впрочем, можно ли удивляться этой притерпелости по столь сравнительно малому поводу, если еще вчера мы терпели исчезновение стольких людей? И вот из жизни исчезает крупнейший ученый, в расцвете сил покончивший самоубийством, а мы боимся вслух всенародно подумать: что же с ним случилось, почему мы его потеряли? Притерпелость к молчанию о причинах приводит к повторению следствий.

Разберемся хотя бы в причине того, почему сахар стал печально драгоценным подарком к Дню международной солидарности трудящихся.

Новое руководство, в отличие от предыдущих, остро осознало ключевое значение статистики в народном хозяйстве. Не пряча голову по-страусиному под крыло, наши руководители впервые бесстрашно взглянули в глаза цифровой правде об алкоголизме и его последствиях и ужаснулись. Было принято резкое, радикальное решение. Но справедливые эмоции, к сожалению, не были подкреплены дальнзорким, скрупулезно разработанным планом. Решили от чистой души, но поспешили.

Долг руководителей — служить народу. Но народ иногда забывает, что и его долг — помогать руководителям. Почему наша хваленая общественность не помогла правительству советом не спешить, не настояла на элементарном социологическом анализе, на всенародном обсуждении мер борьбы с алкоголизмом, прежде чем эти меры были приняты? Видимость обсуждения была организована по старинке, по методу рыбной ловли голосов в поддержку.

Иногда я с горечью думаю: а что, если бы в первоапрельском номере "Правды" вышло постановление партии и правительства о борьбе против трезвости? Наверняка нашлись бы "верные солдаты партии", которые немедленно организовали бы "многолюдные митинги трудящихся" в поддержку сего "исторического решения". Было бы создано всесоюзное общество "Пьянство", и весьма возможно, что одним из его руководителей оказался бы скорехонько "перековавшийся" бывший трезвенник, как сейчас некоторыми руководителями в обществе "Трезвость" становятся якобы перековавшиеся алкоголики. Слова "непьющий", "морально устойчив" оказались бы антирекомендацией при поездках за границу. Бравые инспекторы ГАИ с энтузиазмом взялись бы за отбирание водительских прав у всех шоферов, от которых не пахнет водкой. Воображаю товарищеские показательные суды над непьющими, доносы на

членов партии, замеченных в аморальном употреблении боржома в ресторанах!.. Вся эта абсурдная фантазмагория, к сожалению, легко представима. Я уверен в том, что если в том же первоапрельском номере меня или кого-то другого назовут шпионом страны, скажем, Рикки-Тикки-Тавии, то немедленно найдутся добрые люди, которые подтвердят это с патриотическим упоением. О, как глубоко укоренилась в нашем обществе притерпелость к перевертышам, хамелеонам, готовым подладиться под любое решение, идущее "сверху". Но и "верхи" они не уважают и готовы предать любого, с этого "верха" падающего.

Чего, например, стоит напускающий на себя маститость литератор, который при одном партийном руководителе столицы подделывался под его консервативные взгляды, при другом — под его ультрарадикальные, а сейчас, на всякий случай, подделывается под взгляды усредненно-скалькулированные (кто знает, куда еще повернет время).

Иногда и коллективные письма в поддержку перестройки некоторыми подписываются с тайной надеждой, что перестройка сорвется.

Первый метод торможения перестройки — саботаж под видом поддержки.

Второй метод — это удушение объятиями.

Правильную в принципе идею борьбы с алкоголизмом задушили именно восторженными объятиями, сорвали фальшивым, лицедейским энтузиазмом, вместо того чтобы помочь всенародному серьезному думанию над серьезной хронической болезнью нашего общества. Хронические, застарелые болезни не лечатся оперативным вмешательством с наскока. Многие наши кампании и реформы рушатся потому, что мы подменяем постоянную общественную профилактику доморощенной социальной хирургией.

Парижские верхолазы в обеденный перерыв сидят на арматуре Эйфелевой башни, преспокойно запивают легким красным вином традиционный длинный батон с сыром и, представьте себе, не падают, и их не стягивает за ноги никакая профсоюзная или партийная организация, обвиняя в аморальности. Кавказские долгожители тоже пьют, но не "табуретовку", не "бормотуху", а натуральное чистое вино, и с гор в канавы не сваливаются. Профилактика алкоголизма, на мой взгляд, должна заключаться не в пуританской полициейщине, а в общем повышении культуры.

Бутылка "табуретовки", "бормотухи" может быть отрави-

тельницей. Бутылка хорошего вина может быть хорошей собеседницей. Но производство вина стали автоматически сокращать, нещадно вырубая драгоценные виноградные лозы. Алкоголизм, доходящий до общественно опасного состояния, надо лечить принудительно. Но у кого есть право отбирать у человека, который не алкоголик, его право на кружку пива после работы, на бокал натурального сухого или шампанского?

Почему весь народ повально оказался заподозренным в алкоголизме и после других достаточно унизительных очередей вброшен в новые многочасовые очереди? Были дикие случаи исключения из комсомола за шампанское на свадьбах. Из фильма "Судьба человека" некоторые полуспятившие от общественного рвения прокатчики вырезали эпизод, где советский солдат выпивает стакан водки в знак презрения к гитлеровцам. Актерам не рекомендовали читать пушкинское "Поднимем бокалы, содвинем их разом!".

Причина — наша притерпелость к бездумному выполнению любых решений.

Но это только кажущееся выполнение. Бездумность выполнения — саботаж нового мышления. Есть и положительные результаты: покончили с "бормотухой", меньше пьяных, валяющихся на улицах. Но в очередях гибнут не только время и нервы людей, но и сами люди. Первые крутые меры сыграли положительную роль шоковой терапии. Но социальная шоковая терапия не может быть ежедневной в течение долгого времени — нервная система общества разрушается, появляется много непредугаданных язв. Бабушки, продавая несколько очередей в день по пятерке, получают зарплату докторов наук. Бутылка водки в ночном такси стоит уже четвертной. Государственная цена и так достаточно жестокая, а на нее еще накидывают и накидывают все те, кто греет руки на любом дефиците. Мало ли твердых дефицитов, чтобы добавлять еще и жидкий? Все это страшным образом бьет не столько по самим пьяницам, сколько по их женам и детям, из-за дороговизны выпивки влачащим подчас полуголодное существование.

Борьба против алкоголизма подменена борьбой против легальной водки, легального вина, легального пива. Государственные водка и вино, значительно ухудшившиеся за последние годы, но все-таки более или менее проверенные, уступили место самогону, делаемому порой черт знает из чего, лосьонам, мозольной жидкости. Это будет иметь и уже имеет тяжелейшие генетические последствия. Каким будет ребенок, зачатый под антифриз? Сальвадору Дали было далеко до такого

инфернального сюрреализма, когда сапожный крем намазывается на ломоть хлеба, когда дихлофос блаженно вдыхается под целлофановым мешком, брошенным на голову, когда погружаются в нирвану при помощи клея "Момент".

Каюсь, продрогнув до самых костей на Камчатке, хватанул местного самогона из томатной пасты. На следующий день у меня раздуло суставы ступней от артрита так, что я чуть не выл, и доктор, спасая меня инъекцией гидрокортизона, поставил точный диагноз: "Наша фирменная томатовка". В бухте Провидения делают, на мой взгляд, лучшее в нашей стране пиво, не уступающее чешскому, но его по-ханжески, как и в других городах, заставляют сводить до минимума. В результате в прошлом году 7 ноября местный пограничный оркестр играл праздничные марши под аккомпанемент взрывающихся на подоконниках трехлитровых банок бражки, от чего вздрагивали соседские берега США. На Севере самые популярные люди — это обладатели спирта: вертолетчики и доктора. Соболиная шкурка стоит всего-навсего бутылку. Но спирт — редкость, вроде французского коньяка, не только на Севере, но и по всей стране. Сколько драгоценного рабочего времени тратят сейчас наши врачи, обязанные выписывать рецепты на любую пустяковую микстуру или капли даже с крошечным содержанием спирта. Спиртовые или водочные компрессы запрещены к рекомендации. Как же можно удивляться, что сахар вдруг исчез? Он же должен был исчезнуть. И разве все общество в целом, все мы с вами, а не только правительство, не обязаны были это предусмотреть?

Обществу нужны не только впередсмотрящие, но и предусматривающие.

Лишь тогда общество в полном смысле демократично, когда все оно — снизу доверху — ощущает правительством себя, а не верхушку, от коей все сначала раболепно ждут указаний и на которую потом сваливают вину за любые ошибки. Собственная трусливая безответственность — вот что скрывается под подхалимством беспрекословного исполнительства. Развитие творческой инициативы масс несовместимо с притерпелостью к инициативе только сверху. Насильственные понукания быть общественно активными довели наше общество своей тошнотворной дидактикой до иронической пассивности. Притерпелость к собственной пассивности, подавляя в зародыше потенциальную позитивную энергию многих талантливых людей, одновременно создает питательную среду для негативной энергии активничавших подлецов. Капитулянтский лозунг пассивности: "Я

маленький человек, что я могу!”. Но если ты оправдываешь свою трусость тем, что ничего не можешь, то не моги и жаловаться, не моги и требовать! Не суй попрошайничающую руку, если ты не можешь сжать ее в кулак! Хватит бесконечных писем и протестов ”наверх”, пора перейти к письмам и протестам ”вниз” — к самим себе, против самих себя. Убийцы перестройки среди нас. Мы убиваем перестройку нашей гражданской робостью, нашим выжидательством — чья возьмет...

Один крупный журналист пришел ко мне вчера, растерянный, нервничающий: ”У вас хороший инстинкт... Что будет на XIX партконференции?” В инстинкте моем он как раз ошибся. Был у меня хороший инстинкт, да вышел. Много раз я предполагал лучшее, а выходило худшее. Испортился мой инстинкт: на лучшее, конечно, надеюсь, но худшее на всякий случай предполагаю. Ненавижу я это в себе, а что поделат! Не я один такой — множество вокруг таких инстинктов, историей жестоко стукнутых. Но я ответил моему гостю так: ”Что будет? То будет, какими мы с вами будем...”

Перестройка будет такой, какими мы будем сами.

Будем половинчатыми — будет полуперестройка.

Будем из гнилых лагерных досок строить — перестройка провалится.

Будем тянуть одеяло каждый на себя — перестройка окоченеет. То, что делается в интересах собственных ускользающих кресел, — это не идеология, а креслеология.

Между перестройщиками и антиперестройщиками есть, к сожалению, немалочисленная группа, которую я назвал бы ”нойщиками”. Это те, кто бесконечно ноет, что нет сахара и чего-то еще, но в то же время, не шевеля и пальцем, равнодушно взирает на то, как хотят задушить перестройку. Они хотят улучшения быта, но сведение всех гражданских чувств только к бытовому нытью может привести к тому, что быт так и останется разбитым корытом, из которого даже свиньи хлебать не смогут. Пора понять, что не существует отдельно перестройки материальной и политической. Не защищая демократию, нечего требовать демократии.

...Вот как поучительно обернулась наша притерпелость в частном, но достаточно печальном случае, когда первого мая 1988 года под звучащие по телевизору с Красной площади лозунги перестройки я получил укоряюще редкий подарок — пачку сахара, как будто все еще продолжается война... война изну-

рительная, измотавшая нас... война не с кем-нибудь, а с самими собой...

В 1965 году по моей поэме "Братская ГЭС" репетировался спектакль в Театре на Малой Бронной. В поэме был кусок, начинавшийся так:

Прославлено терпение России.  
 Оно до героизма доросло.  
 Ее, как глину, на крови месили,  
 ну, а она терпела, да и все.  
 И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,  
 и пахарю, упавшему в степи,  
 она шептала с материнской лаской  
 извечное: "Терпи, сынок, терпи..."

Сам я обычно читал эти стихи с некоторым жертвенно-романтическим энтузиазмом, восхищаясь долготерпением нашего народа, как подвигом. И вдруг замечательная актриса Л. Сухаревская на репетиции прочла этот кусок с ошеломившей меня язвительно-обвинительной интонацией.

Могу понять, как столько лет Россия  
 терпела голода и холода,  
 и войн жестоких муки нелюдские,  
 и тяжесть непосильного труда,  
 и дармоедов, лживых до предела,  
 и разное обманное вранье,  
 но не могу осмыслить: как терпела  
 она само терпение свое?!

Две последние строчки я обычно читал с задыхающимся умиленным восхищением, а вот Сухаревская прочла их гневно, возмущаясь терпением как причиной многих бед в нашей истории. Актриса лучше самого автора поняла его стихи.

"Терпя и горшок надсядется", "Терпя и камень треснет" — едко, но метко говорят народные пословицы. Триста лет под татарами, триста лет под Романовыми выработали не только терпение героическое, кончавшееся взрывами народных восстаний, но и терпение холопское — притерпелость. Первой русской революцией, не называемой так, к сожалению, ни в каких учебниках, была отмена крепостного права. Но Россия была последней страной в Европе, отменившей крепостное право, и прыгнула в социализм из самодержавного феодализма, почти минуя опыт буржуазной демократии. Клопы феодализма и хо-

лопства в деревянных сундучках перебрались из лучинных изб в коммунальную квартиру. Многие начальники вели себя как "красные феодалы", отобрав у крестьян не только землю, но и паспорта, что знакомо попахивало крепостничеством. Коллективизация при ее насильственном проведении была грубым попранием лозунгов "Земля — крестьянам", "Вся власть — Советам". Обещанные райские врата оказались ловушкой. После того как жестоко обошлись с крестьянами, объявленными кулаками, уничтожая, ссылая туда, куда Макар телят не гонял, массовые жестокости, фальшивые процессы уже стали входить в привычку. Образовалась притерпелость.

Притерпелостей постепенно образовалось много — к репрессиям, к произвольным налогам, к насильственным подпискам на заем, к образу "лучшего друга советских физкультурников", к отбиранию семенного зерна, к превращению церковью в овощные склады, к "железному занавесу", к навешиванию оскорбительных ярлыков на ученых, композиторов, писателей, на целые научные направления и даже на отдельные науки, как, например, на кибернетику. Вырубались лучшие люди. Все походило на страшный сон, в котором злая банда, задавшись целью вырубить самых породистых лошадей, бродила ночами по конюшням, орудуя топорами. Лошади как вид выжили, но многие из них оказались лошадьми с психологией мышей. Нам еще многое нужно, чтобы восстановить нашу, понесшую такой урон, человеческую породу. Рабскую кровь сегодня надо не выдавливать по капле, а вычерпывать ведрами. Мы не можем позволить себе терпеть собственное терпение. Притерпелость — главный тормоз перестройки.

У Пастернака были такие строки:

Простимся, бедне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я — поле твоего сраженья.

Притерпелость — это капитуляция перед "бездной унижений".

Взаимоунижения, как клубок гадюк, вброшенный недоброй рукой во многие семьи. Гадюки хамства и грубости из таких квартир выползают на улицу, заползают в метро, сворачиваются кольцами на столах секретарш и прилавках продавщиц.

В такую "бездну унижений" превратился наш ежедневный быт. Сначала мы унижаемся, чтобы добыть квартиру. Наконец-то получив ордер на выстраданную квартиру, мы плачем от предремонтного унижения, когда ее видим. Мы унижаемся,



охотясь в джунглях торговли за обоями, кранами-смесителями, унитазами, шпингалетами, и при виде какого-нибудь югославского плафона или румынского кресла-кровати в наших зрчках вспыхивают шерхановские искры, как в глазах тигра, вонзившего когти в долгожданную антилопу. Когда у нас рождается ребенок, мы унижаемся, выбивая ясли, детсад, добывая соски, подгузнички, бумажные пеленки, детские колготки, коляску, санки, манежики. Мы унижаемся в магазинах, парикмахерских, в ателье, в химчистках, в автосервисе, в ресторанах, в гостиницах, в театральных и аэрофлотовских кассах, в фирме "Заря", в мастерских по ремонту телевизоров, холодильников, швейных машин, наступая на свое самолюбие, от заискиваний переходя к скандалам, от скандалов — снова к заискиваниям. Все время мы куда-то протискиваемся, протыриваемся, что-то выклянчиваем, как жалкие просители, надоедливо раздражающие "владык мира сего". Иногда кажется, что в нашей стране все люди — это лишь обслуга сферы обслуживания.

Унизительно, что мы до сих пор не можем накормить себя сами, докупая и хлеб, и масло, и мясо, и фрукты, и овощи за границей. Талонная система во многих областях — стыдобища наша.

Унизительно, что мы до сих пор не можем хорошо одеть сами себя, гоняясь за иностранными тряпками. Одежда многих из нас — это как географический атлас. Но все "Кардены" и "Бурды" нас не спасут. Самим надо шить так, чтобы советский народ своими одеждами и обувью не срамился.

Унизительно, что мы до сих пор не имеем достаточно лекарств, чтобы лечить свой народ. Больно видеть ветеранов войны, которые приходят в аптеку, нацепив для внушительности все ордена и медали, а лекарств, указанных в рецептах, все равно нет. Страшно видеть мечущихся, как раненые птицы, из аптеки в аптеку матерей с рецептами для своих детей и опускающих перед ними глаза фармацевтов. Нехватка лекарств — это предательство человеческих жизней.

Унизительна нехватка книг — предательство человеческого духа.

Унизительна нехватка компьютеров — предательство современной технологии мышления.

Унизительна прописка — искусственное прищипливание людей по определенным пунктам, несмотря на то что Конституция гарантирует свободу передвижения. Но при географической неравномерности распространения элементарных благ прописка — увы! — спасительна, иначе Москва превратится в

двадцатимиллионный город, но со снабжением, как в много-страдальном Ярославле.

Унизительна не выполняющая Конституцию система выезда за границу, несмотря на все заверения в упрощении. Всем, кто хочет уезжать насовсем, надо открыть широкие ворота, за исключением особых, связанных с секретностью случаев. Держать людей насильно унизительно. Но не надо зачислять всех уезжающих во врагов! И если они ничем не оскорбили родину, надо дать им возможность приезжать или вернуться насовсем. Почему бы всем гражданам СССР не выдавать на руки советские заграничные паспорта сроком, скажем, на три года с правом постоянного выезда в командировку, в туристскую поездку или по приглашению. Советский паспорт на руках сам по себе должен являться рекомендацией на поездку.

Но самое страшное, когда мы, униженные кем-то, сами в виде дешевой компенсации начинаем унижать других. Унижение других похоже на самый страшный вид наркомании.

Гласность — это объявленная война против "бездны унижений". Гласность — это война за социальное достоинство человека. Человек имеет право любить такую музыку, какую хочет, одеваться, как он хочет, стричься, как он хочет.

Плюрализм социалистической гласности есть воспитание толерантности (терпимости). Но терпимость не должна стать притерпелостью ни к какому виду унижения человека человеком.

Антиперестройщики доносительно пытаются интерпретировать нашу молодую, но уже мужающую гласность как дискредитацию завоеваний социализма. Между тем гласность сама по себе есть завоевание социализма.

Д. Урнов политически и художественно полностью перечеркивает роман "Доктор Живаго", рискуя даже стихи из него назвать "стилизацией расхожей поэзии того времени", а самого доктора Живаго сравнить с безнравственным ренегатом Климом Самгиным. Статья так говорит о любимом герое Пастернака: "А ведь доктора Живаго можно было бы припереть к стенке и загнать в угол". Странное впечатление производит эта статья — как будто напечатанная с опозданием на тридцать лет речь на собрании, где исключали Пастернака. Нет, времена, когда литературных героев и создавших их писателей припирали к стенке, прошли, и, я надеюсь, навсегда. Реабилитация Пастернака и многих других несправедливо опороченных граждан нашего общества необратима и не сможет обратиться в ре-реабилитацию.

Перестройка духовная и перестройка экономическая должны быть равными взаимогарантами. К сожалению, перестройка экономическая сейчас сильно отстает. Но ее тоже, как гласность, пытаются скомпрометировать, стреножить, запугивают, заматывают. В экономике, как и в литературе, тоже есть свои неприкосновенные "священные коровы", которые, притворяясь, что защищают интересы народа, защищают свой стойла. Сегодня гласность должна помочь экономике как отстающей. А завтра, если гласности станет туго, ей поможет своим могучим плечом поднышшая экономика. Без личной инициативы, без крупных индивидуальностей невозможно идти вперед ни в гласности, ни в экономике. А пока "глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах", гласность, как буревестник, "молнии подобный", будит гражданскую совесть народа.

В английском языке есть слово "имидж", в точном переводе означающее "образ", но не в поэтическом, а в политическом смысле. У каждого из кандидатов в президенты США есть целая команда психологов, социологов, политиков, которая работает над созданием его имиджа. Любая политическая система, любая страна тоже заботится о своем имидже. Конечно, ловко сконструированный имидж может быть или искусным гримом, или маской, скрывающей язвы.

"Железный занавес" между Востоком и Западом долгие годы создавал нам имидж привлекательный и пугающий. Подвиг нашего народа в борьбе против Гитлера придал образу нашей страны ореол героизма. Хрущевская оттепель добавила к этому ореолу светинки надежды на взаимопонимание народов. Страшная правда о сталинских лагерях, аресты диссидентов, злоупотребления психиатрией, высылка академика Сахарова, наши войска в Афганистане — все это, выстраиваемое в один ряд и раздуваемое определенным образом реакционной прессой Запада, работало на развеивание героического ореола, доводя дело чуть ли не до антихристового образа "империи зла". Однако сейчас благодаря мирным инициативам нашей страны по ядерному разоружению, гласности, демократизации нашей жизни этот "антихристов" образ рассыпался.

Нам не нужны ни косметика, ни маска на нашем лице, чтобы понравиться иностранцам, втирая им очки. Конечно, хочется, чтобы наша страна привлекала симпатии человечества, и не за счет лжи, а за счет правды. Но прежде всего хочется, чтобы наша страна нравилась нам самим. Мы ее любим, гордимся ее культурными и революционными традициями. Но не все традиции бывают хорошими. Как дурную традицию надо от-

вергнуть несовместимое с перестройкой понятие — ”притерпелость”.

1988

## НЕ БОЙТЕСЬ БЮРОКРАТОВ \*

— Нам очень нужен положительный герой! Такой, как в романе Кизи ”Пролетая над гнездом кукушки”. Не без недостатков, но любящий людей, деятельный. Как вы считаете?

— Не надо нам так называемых ”положительных героев”, у которых нет никаких недостатков! Человек без недостатков — это страшный человек, потому что он никогда не поймет все остальное человечество.

— Были ли в вашей жизни ошибки, компромиссы? Или вы всегда были безупречны?

— Человек без страха — это опасный фанатик. Не страшно, если тебя мучит страх. Страшно, если не сможешь его перебороть и станешь рабом собственного страха.

— В последнем своем интервью вы говорили о Боге как о совокупности гуманистических идеалов. Не разделяете ли вы мнение об Иисусе Христе как о первом революционере, первом, кто поднял массы на борьбу с угнетателями и чье учение потом было неоднократно извращено? Как бы вы трактовали образ Господа, если бы вы все-таки его сыграли в фильме ”Евангелие от Матфея”, как вам предлагал итальянский режиссер Пазолини?

— Иисус был величайшим революционером, хотя бы потому, что впервые назвал людей братьями, впервые сказал: ”Не убий”. Такого революционера я бы и сыграл в фильме. Но не фанатика. Испанский студент, сыгравший роль Христа вместо меня в фильме Пазолини, — это тот Христос, который изгнал торгашей из храма, но не тот, кто превратил воду в вино. Я бы сыграл и первое, и второе.

— Как вы относитесь к тому мнению, что ”Хорошо!” Маяковского (1927 года) написано было в то время, когда в СССР далеко не все было хорошо? А эта поэма стоит в программе обучения школьников!

— В поэме Маяковского есть сильные куски, есть и слабые. Но считать эту поэму ”лакировкой действительности” с

---

\* Из ответов на вопросы читателей газеты ”Вечерняя Казань”.

точки зрения информации, которую вы черпаете из "Огонька" 1988 года, нелепо. Маяковский же этого "Огонька" не читал. Не забудьте, что после поэмы "Хорошо!" Маяковский мечтал написать поэму "Плохо", но не успел. Правда, такая поэма может состояться из его антибюрократических стихов, песен. Маяковский не был лакировщиком. Он был обманувшимся и во многом обманутым романтиком революции. Но это совсем другое.

— В одной давнишней статье Межиров сравнивает ваши стихи с блочными домами первоначальной конструкции. Как вы относитесь к такому сравнению?

— Блочные дома первоначальной конструкции мы вынуждены были строить, чтобы вылезти из подвалов, из барачков. Поэтому такое сравнение считаю не оскорбительным, а только обидным.

— По Центральному телевидению была показана встреча историков и литераторов, на которой писатель В. Астафьев сказал, что для литературы страшнее Сталина был Брежнев. Вы с этим согласны?

— Как может быть мошенник страшнее, чем палач?

— Принесло ли результат ваше выступление в "ЛГ" против присуждения Государственной премии РСФСР книге С. Куняева?

— Это принесло пользу тем, что впервые был напечатан протест против присуждения Государственной премии. Сам факт такого протеста и возможности публикации таких протестов в будущем — завоевание гласности.

— Что хорошего вы нашли в Бобе Гребенщикове?

— Гребенщиков — один из немногих профессиональных наших певцов, который является "поющей личностью".

— Как вы относитесь к ОБЭРИУТам?

— Хармс, Введенский и примыкавший к ним Вагинов — изумительные поэты. Они устроили театр абсурда на пире во время чумы.

— Не стоит ли поддержать такую мысль: публиковать адреса любимых поэтов, кинорежиссеров для поддержания связи с читателями и зрителями?

— Тогда они не в состоянии будут поставить ни одного фильма и кончат жизнь в сумасшедшем доме.

— Мне ваши стихи помогали жить в шестидесятые годы. Мы, студенты Куйбышевского политехнического, читали вас, спорили о вас, любили вас, ругали вас. Сейчас не те годы, не то

время. Вы уже представляетесь мне "последним поэтом России".

— В России, да и ни в какой другой стране, никогда не будет последнего поэта.

— Вы напрочь отвергаете патриотическое объединение "Память" или все же среди членов этого общества есть достойные люди?

— Я не отвергаю тех, кто защищает наше культурное наследие от разрушения. Но я осуждаю тех, кто сам занимается разрушением такого культурного наследия, как уважение к другим нациям.

— Вы написали "Бабий Яр" о позоре расизма, антисемитизма. Спасибо вам! Виктор Иванов публикует в "Нашем современнике" "Судный день", пропагандирующий расизм, антисемитизм. Презренье ему! Расизм — тяжелый симптом тяжелой болезни общества. Не знаете ли вы, как относится к этому В. Распутин?

— К сожалению, мне неизвестно ни одно высказывание В. Распутина, осуждающее антисемитизм.

— Как вы относитесь к проблеме антисемитизма в нашей стране? Что надо, по-вашему, сделать, чтобы в мире прекратили говорить об антисемитизме в СССР?

— За антисемитизм и другие проявления национализма, шовинизма, оскорбляющие людей иных национальностей, надо устраивать показательные общественные суды.

— Хотелось бы услышать ваше мнение о переписке Н. Эйдельмана — В. Астафьева.

— С глубоким сожалением, ибо искренне уважаю за многое В. Астафьева, прочел я его средневековые антисемитские выпады. В свое время я глубоко огорчился тем, что этот писатель мог позволить себе оскорбить обобщенными бестактными обвинениями в торгашестве весь грузинский народ. Нельзя основывать свою национальную гордость на унижении других народов. Однако не думаю, что Эйдельман был нравственно прав, делая эту переписку достоянием общества и тем самым способствуя раздуванию нездоровых националистических страстей.

— Не кажется ли вам, что нынешнее бичевание Сталина и разоблачение его преступлений играет (в том числе) и роль громоотвода, призванного защитить более поздних властителей России?

— Разоблачение сталинизма является надежнейшим гарантом того, чтобы никто из будущих руководителей нашей стра-

ны не стал ее "властителем". Властителем своей страны должен быть сам народ.

— Есть такая поговорка: "Чтобы прополоть сорняки, надо дать им подрости". Как вы относитесь к утверждению, что демократия и гласность лишь помогают в проращивании инакомыслящих?

— Если все, что происходит сейчас, лишь "проращивание" для будущего уничтожения, то это страшно. Я в это поверить не хочу. Но, конечно, существуют те, кто именно так хотел бы использовать гласность, чтобы потом задушить ее. Этих потенциальных душителей надо вовремя выводить на чистую воду, блокировать их.

— Где были сборники перестройки из среды деятелей культуры и искусства во времена "трех недель застоя" — после опубликования статьи Андреевой?

— Они выступали где только можно, со всех малых и больших трибун против этой статьи, писали письма в ЦК, создавали общественное мнение, в результате которого и вышла статья "Правды".

— Прочел "Завтрашний ветер" и... полюбил Евтушенко. Книга прекрасная. Имеет ли философское обеспечение наша перестройка, как в Октябре 1917-го? Почему перестройка, а не революция? Не съедят ли ее враги, как съели в Чили? И потом... очень трудно поверить в "тихий" Октябрь...

— Одна из самых опасных слабостей нашего общества — это слабость его философского обеспечения. Эта слабость объясняется в первую очередь многолетним запретом на изучение альтернативных философий. Не очень-то приглядно выглядит та философия, которая защищается от других концепций не аргументами открытого спора, а барьерами спецхранов. Да и марксизм мы изучали с нашлепками на глазах. Развитие философии может базироваться лишь на знании истории и разных взглядов на нее. Но почему революция не может быть "тихой"? Почему она все время должна сопровождаться залпами "Аврор"? Для меня такая статья, как "Ждановская жидкость" Карякина, — это громоносный залп, хотя и без крейсера.

— Не вы ли писали:

Кто Россию травит?  
Кто Россией правит?  
Барыня стеклянная —  
Водка окаянная!, —

а сейчас возмущаетесь длинными очередями за водкой!

— Я против алкоголизма, но я против того, когда с ним борются полицейскими методами. Полицейщина — алкоголизм властолюбия.

— На радио, телевидении, в печати есть противопоставление: Москва, Ленинград — периферия, провинция, глубинка! Пора разрушить этот стереотип!

— Пока не будет решена проблема равноправного распределения продуктов, товаров легкой промышленности, будут рваться в Москву. Это неравноправие — позорище наше.

— В одном из номеров "ЛГ" в статье "Притерпелость" упомянут г. Ярославль как многострадальный. Почему "многострадальный"?

— Ярославль и многие другие города, как, скажем, Калуга, Тула, расположенные неподалеку от Москвы, многострадальны тем, что столица высасывает из этих городов все соки, а ярославцы, калужане, туляки вынуждены ездить за своей же колбасой в Москву.

— Скажите, пожалуйста, как бороться с бюрократами и скоро ли мы с ними покончим? Есть ли надежда, что мы избавимся от них окончательно?

— Первое: не станьте сами бюрократами, даже если вам представится возможность. Второе: не бойтесь бюрократов, не подпевайте им подхалимскими гимнами или трусливым молчанием. Третье: будьте активней, чем бюрократы, в борьбе за управление обществом, иначе при вашей пассивности перестройка будет поглощена омутом реакции.

— Доживем ли мы до тех дней, когда правительства будут прислушиваться к поэтам?

— Мы уже дожили. Но мы бы хотели, чтобы к нам прислушивались еще больше.

1988

## ВЕРХУШКИ И КОРНИ

Молодой публицист Терехов в своей статье в "Огоньке" писал: "Пока лишь верхушку качает ветер перемен. Мы пока здесь — внизу, в корнях". Он, конечно, не совсем прав. Доказательство тому то, что его статья напечатана. Сегодня он имеет право на высказывание того, что раньше было немыслимо выс-



казать в печати. Он, например, рассказывает о положении в ряде воинских частей. Я цитирую: "Вся система неуставных отношений построена на каждодневном унижении — физическом и моральном. Первый раз меня повели бить в туалет, когда на просмотре программы "Время" я сел чуть в стороне от ребят моего призыва. Нравственные потери, как радиация, — без цвета, без запаха и тем еще страшнее". Мудрые слова, и здорово, что они высказаны.

Считаю, что самое страшное как в человеке, так и в обществе, — вбивание внутрь себя невысказанного. Эта невысказанность создает удушливую, спертую атмосферу внутри человека, подрывает здоровье, разрушает его. "Но мы умрем со спертостью тех розысков в груди" —, писал Б. Пастернак.

Это коррозия, идущая изнутри. Люди, которые имеют возможность высказаться, живут дольше.

1988

## О ПОЛЬЗЕ ЗДОРОВОГО КОНСЕРВАТИЗМА \*

...Почему мы боимся слова "реакция" и кокетливо называем противников перестройки, явных реакционеров — консерваторами? Между двумя этими категориями огромная моральная пропасть. Реакционерами иногда бывают от невежества, от социальной непросвещенности. Если представить таким людям убедительные доказательства необходимости демократии, то некоторые из них могут стать здоровыми консерваторами, а значит, союзниками.

Здоровый консерватизм стоит за демократические преобразования, но он осторожен. Здоровый консерватизм полезен, потому что придерживает прогрессистов, бегущих впереди прогресса.

Но есть безнадежные реакционеры, неспособные дорасти до здорового консерватизма. Первый психологический признак безнадежного реакционера — это полная нетерпимость к другим точкам зрения. Если такую же нетерпимость вы видите в так называемых "борцах против реакции" — то поостереги-

---

\* Из интервью газете "Московская правда".

теть, ибо в случае прихода к власти они будут твердолобыми реакционерами.

...Из всех проектов будущего мемориала больше всего мне понравился котлован, заполненный водой, лагерные вышки на берегу и две гигантские руки тонущего человека, судорожно цепляющегося за берег. Правда, мне не нравится само название "Неделя совести". Так завтра мы объявим "День чистых ногтей" или "День непахнувших носков". Совесть должна стать нормой жизни, а не мероприятием.

1989

## ЧЕГО ХОТЯТ РУССКИЕ?

Такой вопрос, морща лоб, задают себе и американский президент, и копенгагенский клерк, и австралийский грузчик, и, может быть, даже японская гейша. В таком вопросе уже содержится ошибка, потому что в западной прессе всех советских людей принято называть русскими. Поэтому будем употреблять слово "русские" в данном случае лишь условно, подразумевая вопрос, как "чего хотят советские люди".

В пропагандистских фильмах сталинского времени наши люди выглядели идиотически счастливыми живыми статуями с молотами и серпами в руках. В западных пропагандистских фильмах они выглядят, как сплошные агенты КГБ, боксеры с эзэсовскими глазами, отупевшие, спившиеся роботы государства.

Для меня слово "русские" — это не абстракция, а конкретные люди. Это гении и посредственности, щедрые и жадные, бюрократы и борцы против бюрократии. Это и поклонники Шостаковича, и поклонники Майкла Джексона. Это и те, кто вешает портреты Сталина на стекле своих автомашин, и те, кто сидел в сталинских лагерях. Эту мозаику можно продолжать до бесконечности.

Как ответить на этот риторический вопрос: "Чего хотят русские?"

А все-таки давайте попробуем определить, чего хотят русские, исходя не из гениев и негодяев, а исходя из нормального так называемого "среднего человека". Со средним советским

---

Из статьи, напечатанной в датской газете "Политикен". На русском языке публикуется впервые.

человеком произошла духовная революция — он понял, что живет плохо, что есть страны, где живут лучше. Средний советский человек сильно потерял в идеализме, но зато выиграл в отвращении к навязываемым идеалам. Средний человек не верит и не будет верить словам, которые не доказываются делами. Средний человек после стольких невыполненных социальных обещаний стал скептиком, но такой скепсис все-таки менее опасен, чем неинформированный оптимизм. Средний человек хочет жить не по централизованным инструкциям, а по собственной инициативе. Среднему человеку наплевать, какое молоко пьют его дети — государственное, колхозное или частное, — ему важно, чтобы это молоко было, было всегда, чтобы оно недорого стоило. Точно так же средний человек относится и к альтернативам в экономике: ему наплевать, по какому руслу она пойдет, лишь бы по этому руслу текло молоко для его детей. Средний человек хочет хорошо одеваться, и он прекрасно понимает, что государство никогда не будет хорошим портным и сапожником. Среднему человеку надоело стоять в очередях, а ведь совсем еще недавно он даже не замечал, что в очередях тратит полжизни. Средний человек хочет такого общества, где нет привилегий и спецмагазинов для начальства, магазинов "Березка", ибо все это унижает человеческое достоинство. Средний человек вдруг открыл для себя, что он бывает часто незащищен перед властью, и он хочет гарантий личной защищенности. Средний человек постепенно понял, что прописка, внутренние паспорта — это позорный рудимент крепостничества. Средний человек пришел к пониманию того, что система проверки на лояльность перед поездками за границу оскорбительна. Средний человек понял, как опасно сосредоточение власти в одних руках, и не хочет того, чтобы повторились ужасы террора. Средний человек сообразил, что молнии террора поражают не только большие деревья, но и выжигают траву вокруг. Средний человек не хочет, чтобы окно в Европу, прорубленное Петром, кто-то опять заколачивал гвоздями как с той, так и с другой стороны. Гении возможны даже в самых тоталитарных условиях. Уровень гения — не духовный уровень нации. Духовный уровень нации определяется уровнем среднего человека. Перемены, которые произошли с нашим так называемым средним человеком за последнее время, поразительны. Средний человек еще, правда, сонлив, но он уже пробудился. Если ему удастся преодолеть инерцию привычки к тому, что за него кто-то думает, если ему удастся вылечиться от несамостоятельности, подчинительства, как от многолетней болезни,

то тогда он уже перестанет быть "средним". Уровень среднего человека катастрофически упал в нашей стране после того, как погибло столько миллионов людей и на гражданской, и на второй мировой, и на войне тоталитаризма с собственным народом. Если нам удастся поднять не только материально, но и духовно уровень среднего человека, то это и будет самое великое, что может сделать перестройка.

1986

## СТРАХ ГЛАСНОСТИ

**В** ранние шестидесятые молодежь стихийно читала стихи с пьедестала памятника Маяковскому, на одноименной площади. Однажды появились "черные вороны", и выскочившие оттуда спортивного вида молодцы начали хватать любителей поэзии как нарушителей порядка. На моих глазах избил юного суворовца, приняв читаемые им стихи раннего Маяковского за его собственные, "антисоветские". Теперь у памятника Маяковскому стихов уже не читают. Страх гласности убил эту прекрасную традицию. Страх гласности недавно убил попытку Праздника смеха на старом Арбате — понаставили столько кордонов милиции, что было не до смеха. Страх гласности в том, что у нас практически не существует ни рабочих, ни студенческих дискуссионных клубов, а лишь жалкие эрзацы. Страх гласности сидит не в головном мозгу, а в спинном — такие годы, как тридцать седьмой, даром не проходят. Страх гласности — это страх самостоятельного мышления. До нового ли мышления тем, у кого и старого собственного мышления не было? Страх гласности — самозащита безликости. Страх гласности — это патриотизм победоносцевского типа — разрушительное охранительство. Страх гласности — подрыв национальной гордости. Можно ли гордиться обществом, которое затыкает тебе рот? Страх гласности — подрыв безопасности страны, ибо даже в небесах появляются дырки, если армия оказывается вне критики. Страх гласности — это потенциальная возможность повторения исторических ошибок. Страх гласности — это размывание нравственности народа. Страх гласности — это фабрика нигилизма. Страх гласности — это препятствие в борьбе за мир, ибо без взаимискренности народов не может быть их взаимопонимания. Страх гласности зачастую диктуется соображениями узколичностными, но они перерастают

в общественно-политические. Слишком дорого стоила нашему народу гласность, отвоеванная в такой долголетней, изнурительной борьбе, чтобы мы могли уступить ее страху гласности.

1987

## ПРАВО НА НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Когда-то Пастернак написал обескураживающие своей неоднозначностью строки о простоте:

Она всего нужнее людям,  
Но сложное понятней им.

Эти строки, кажется, никто даже не пытался анализировать — ибо они способны натолкнуть на тысячи разных толкований. Почему простота нужнее людям, это еще более или менее ясно: хаос жизни настолько джунглеобразен, настолько лабиринтен, что человек волей-неволей или ищет уже готовую тропинку, или прорубает, протаптывает ее, волей-неволей хватается за действительную ариаднину нить, либо за нить, кажущуюся ариадниной. В характере человека — из сложностей пытаться сделать наиболее простой вывод, спрямить извилистость. Замечательная, хотя и слишком категоричная строчка Тютчева "Мысль изреченная есть ложь" несет в себе из-за афористического спрямления ошибку, ибо по законам формальной логики эта мысль Тютчева тоже ложь, поскольку она была им изречена.

"Перестройка" — слово комплексное, многозначное. Мы не должны его отдавать "спрямителям", которые хотели бы подменить великое дело перестройки лишь произнесением слова "перестройка", а реальную гласность подменить словом "гласность". Такие люди втайне надеются на то, что все это очередная кампания, а затем дело пойдет по-старому. Почему они боятся перестройки? Да потому, что перестройка и гласность подразумевают открытое соревнование талантов и в сфере административной, и в производственной, и в сфере искусства. А в открытом соревновании кое-кто, не способный к новому мышлению, может потерять свое уютное кресло. Скрытая борьба против перестройки — это не что иное, как подмена, фальшивка, заманка. Но ход истории неостановим. Как слово "спутник", русское слово "гласность" уже вошло в мировой

лексикон без перевода, ибо оно становится делом. Но инерцию спрямления надо еще преодолеть. Спрямление — это не развитие, а подделка развития.

Мы вообще очень часто занимались и еще занимаемся спрямлением, приведением сложностей жизни к упрощенным формулам и за это бываем наказаны. Оскоми́на от примитивных лозунгов привела к расцвету устных антилозунгов — политических анекдотов. Но тошнотворная просоветская вульгарщина, замененная на антисоветскую, остается вульгарщиной. Помимо того, что жизнь идиотизирует нас, мы сами часто идиотизируем жизнь, отбрехиваясь от ее трагедий зубоскальством. Истинная интеллигентность — антикварна. Навалом — кажущаяся интеллигентность. Октябрьскую революцию мы начинали с семьюдесятью процентами неграмотного населения, а теперь у нас иная проблема — переизбыток людей с высшим образованием, часть из которых по экономической парадоксальности стремится быть официантами, приемщиками овощей и фруктов или электриками в автосервисе. Но все-таки из этого нашего дебилизированного разночинства потихоньку вырабатывается — медленно, ген за геном — воскрешаемая интеллигенция. Строка Пастернака "но сложное понятней им" вырастает в значении, как вырастает в значении сам Пастернак, книги которого при жизни издавались тиражом 5 или 10 тысяч экземпляров, потому что большинству читателей он казался чрезмерно сложным, а теперь днем с огнем не найдешь его книжки, изданной стопятидесятитысячным или большим тиражом. Становится более понятным даже Хлебников, которого Маяковский считал только поэтом для поэтов, а, скажем, безусловно талантливый, но намеренно шедший вровень с тогдашними запросами масс Демьян Бедный (в чем его справедливо упрекал Ленин) сейчас уже вызывает интерес лишь у специалистов.

Строку "сложное понятней им", конечно, нельзя распространить на категорию поклонников сомнительных шлягеров, неистово аплодирующих своим "вокальным идеологам" и выключаящих свои транзисторы, когда в них попадает Бах. Американский джазовый музыкант Поль Уинтер, познакомившись с несколькими молодыми людьми в магазине "Мелодия", был потрясен их феноменальным знанием музыкальной истории джаза США, но он еще больше был потрясен тем, что ни один из этих молодых людей (может быть, даже обладателей вузовских дипломов) не читал ни одной книги Достоевского. Диплом перестает быть показателем интеллигентности, ибо

удостоверяет, да и то не всегда, лишь право на специальность. А интеллигентность — это не специальность, а комплексное осмысление мира.

Еще зыбко, еще контурно, но уже намечается тип подлинной интеллигенции, без которой общество не сможет перейти на рельсы нового мышления, необходимого в ядерную эпоху. А такой интеллигенции все более и более будет понятно именно сложное. Сложное всегда неоднозначно и тем самым беззащитно от нападков любителей "простоты", которая иногда, как мудро выразился народ, "хуже воровства". Она хуже воровства, потому что обворовывает не карманы, а умы.

Однозначность невольно приводит к однобокости, а неоднозначность, если она является мучительными поисками правды, а не увеливанием от нее, и есть подлинное искусство. Наше искусство, художественно развивая гласность, несмотря на противодействие всего отживающего, но еще далеко не отжившего, мощно и многогранно работает на престиж нашей страны. Процесс "детабуизации" разного рода "табу", накладываемых на многие стороны реальности, служит гарантией социально-экономического развития, немислимого без раскрепощенного развития творческой мысли.

Творческая мысль тем и творческая, что внутри нее может быть много мыслей, а не одна, однозначная. Такая неоднозначность порой ошарашивает так, что оторопь берет, — а что автор, собственно, хотел сказать? Мы попривыкли к тому, что порой одну крохотную мыслишку нам сердобольно впишут в рот на ложечке в виде аккуратненько разжеванной тюри, посыпанной сахарным песочком. А вот когда в произведении мыслей так густо, что одна находит на другую, да еще они порой противоречат друг другу, когда не можешь сразу смекнуть, кто положительный герой, кто отрицательный, и приходится самому ворочать мозгами, додумывая то, что прочел в книге или увидел на экране, — тут в некоторых из нас, малодушных, возникают некий дискомфорт, растерянность, а то и раздраженность или враждебность. Тем, кто привык, чтобы автор водил его за ручку, как дите малое, и все терпеливо разъяснял, страшноватенько становится без поводыря в лесу неоднозначности: привычно хочется указателей, прибитых к деревьям.

Фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" может сильно напугать тех, кто воспитан указкой и указателями. Где это происходит, в какие годы, и вообще, что автор имеет в виду? Почему на экране люди в современных костюмах, хранители правопоряд-

ка в дореволюционных полицейских мундирах, судьи в викторианских париках, а главного героя — вернее, антигероя, называют городским головой, в то время как он носит полувоенную гимнастерку с ремнями и пенсне, на котором играют зловещие отблески еще не забывшегося ястребиного взгляда? Что означает вся эта мешанина?

А вся так называемая "мешанина" есть прочный, взаимозацепленный замысел развернутой кинометафоры, от которой мы отвыкли со времен потерянного нами Чаплина. Может быть, только в лучших фильмах Феллини мысль так визуально метафорична.

Стражники в средневековых латах, скачущие по бокам немецкого "мерседеса" тридцатых годов, едущего вдоль поля, где, как арбузы, высовываются головы заживо закопанных в землю, — это не стилевой винегрет, а необходимый для мысли визуальный конгломерат.

Мысль фильма в том, что зло и насилие рассматриваются в нем как вневременные и внегеографические понятия. Мысль фильма в том, как страшна агрессивная тщеславная посредственность, овладевшая властью. Мысль фильма — о патологической зависти ко всем, кто талантливей. Мысль фильма в том, что внуки, если они не знают правды о своих дедах, могут быть однажды раздавлены этой правдой, когда она обрушится на их неподготовленные хрупкие головы. Мысль фильма в том, что отцы, воспитывающие детей так называемой ложью во спасение, на самом деле не спасают своих детей, а губят. Мысль фильма в том, что люди, поливающие землю невинной кровью, недостойны этой земли. Да, фильм неоднозначный, и отношение к нему явно неоднозначное. Но где, когда настоящее искусство делается для того, чтобы ублажить всех и вся, всем одинаково понравиться?

Весьма симптоматичен и другой фильм "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова. Это фильм о подростке-школьнике, который помогает органам милиции ловить преступников, становясь чем-то вроде добровольного маленького детектива. При спекулятивном, однозначном решении этой темы можно было бы превратить такого мальчика в героя, в пример для подражания. Но режиссер не случайно назвал этот фильм "Опасная игра", потому что мальчик, духовно не созревший для власти, начинает упиваться ею, заигрывается, доходя порой до садизма и заставляя женщину, в которую он по-детски влюблен, кукарекать, и она это делает, дрожа от страха перед своим малолетним повелителем. А мальчику та-



кая роль нравится, потому что микроб властолюбия, попавший в его душу, приятно щекочет. Когда-то у Плюмбума отобрал кассетник хулиган, бывший посильнее его и понахрапистей. История эта задела самолюбие Плюмбума, пробила в нем комплекс неполноценности, и он изо всех сил начал вырабатывать из себя супермена. Но превращение человека в сверхчеловека чревато потерей человечности. Это происходит с Плюмбумом, когда на фоне его суперменства начинают выглядеть гораздо симпатичней, человечней даже забуддыги из котельной, на которых он доносит. Плюмбум оправдывает свое поведение тем, что он так поступает для их же пользы, но это начинает выглядеть уже по-ханжески, потому что главная цель Плюмбума другая — не спасти их, а доказать свою уникальность.

Работники милиции замечают нечто пугающее, странное в этом самолюбиво навязывающемся помощнике и стараются от него отделаться, когда он к ним столь беззастенчиво липнет. Они чувствуют профессиональным нюхом запах серы, исходящей от этого маленького дьявола. Но, не сделав из Плюмбума героя, Абдрашитов не пошел по наоборотной однозначности антигероя. У Плюмбума есть и хорошие качества — он, безусловно, на редкость одарен, мужествен, у него есть гражданская ненависть к тем, кто обворовывает Россию, он искренне склонен к романтическому, у него бывают и добрые порывы, и вообще, несмотря на свою натужно вырабатываемую взрослость, суперменство, он еще мальчишка и любит погонять футбольный мяч. Неизвестно, кем еще станет Плюмбум. Может быть, то, что он нечаянно засадил раскаявшегося человека, или гибель ни в чем не повинной девушки перевернут его душу? К сожалению, эта гибель сделана в фильме профессионально, блистательно, но, пожалуй, слишком блистательно для того, чтобы от нее вздрогнуло сердце.

Есть от чего растеряться и критикам, и зрителям, а кое-кто из детей, может быть, будет играть в Плюмбума, не осознав, что его игры опасны, и не только для него самого, а и для всех других. Но разве и до этого некоторые дети не играли порой в кого-то, вовсе не заслуживающего быть примером? Да и сам Плюмбум — может быть, он тоже кому-то подражает? Образ Плюмбума — совершенно новый для нашего искусства, но не для реальности. Пора уничтожить "ножницы" между реальностью и искусством. Ведь искусство и есть не что иное, как сконцентрированная в образе реальность. В последнее время я с радостью замечаю появление на страницах, на сцене, на экране

именно новых образов. Происходит "детабуизация" не только тем, но и персонажей.

Если метафоризировать борьбу, происходившую в нашем искусстве, то первая точка зрения по отношению ко многим наболевшим проблемам прошлого и настоящего была примерно такой: "Не надо сыпать соль на раны". Вторая точка зрения была такой: "Не надо сыпать на раны сахар". Именно точка зрения правды, подчас соленой, а иногда горькой, сейчас побеждает, потому что честная соль правды всегда целебна.

Есть неоднозначность, происходящая от бесхребетности, виляющая, ускользающая от прямых ответов, которые ставит жизнь. Но есть неоднозначность, происходящая от богатства таланта и от богатства и неоднозначности жизни, которую этот талант воплощает.

Многие наши честные художники слова, экрана, театра, музыки, кисти могут заслуженно гордиться тем, что они не получили перестройку и гласность как подарки, свалившиеся "сверху". Эти художники боролись за перестройку и гласность немало лет, наперекор непониманию, а подчас и обидным нападкам, подготавливали исторический перелом. Наша гласность — от старого, но не стареющего понятия "глас народа". Неоднозначные по творческим воззрениям, по стилям, такие художники однозначны в одном — любви к правде искусства.

1987

## ПРЕДРЕНЕССАНС

**В** романе Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" есть такая легенда: древние азиатские завоеватели натягивали завоеванным, но непокоренным людям свежесодранную верблюжью кожу на голову, а затем бросали под раскаленное солнце пустыни. Верблюжья кожа постепенно ссыхалась, сжимала раскаленным обручем мозг и выдавливала из него память. Люди, лишённые памяти, теряли мужество, гордость, чувство нации и становились бессловесными рабами-манкуртами.

Нашему искусству в прошлом тоже часто натягивали на голову верблюжью кожу вульгарных теорий. По теории "бесконфликтности", выдвинутой в сталинские времена, в социа-

листическом искусстве не могло быть конфликта с плохим, а только конфликт хорошего с еще лучшим.

Образовалась пропасть между официальным искусством и реальной жизнью. В деревнях был голод, исхудавших коров приходилось подвязывать ремнями к потолку, чтобы они могли стоять на ногах, а на экранах шли банкеты опереточных крестьян на фоне гигантских электростанций. Конечно, были и те, кто ухитрялся сохранить свои собственные мысли даже под ссыхавшейся верблюжьей кожей, сдавливавшей голову.

Сейчас мы сдираем с наших голов эту кожу. Мы — в предренессансе. В спектакле театра Ермоловой "Говори..." показывается колхозное собрание. Пожилая крестьянка, запинаясь, читает по бумажке кем-то написанную для нее речь с хвастливymi цифрами урожая. Ее прерывает председатель: "А ты без бумаги... Говори... Говори своими, а не чужими словами..." Крестьянка теряется, потому что столько лет ее учили говорить только чужие слова. Но вот из-за ее спины выдвигаются тени погибших, ее односельчане, такие же вдовы, как она, дети и все вместе шепчут ей: "Говори..." А женщина силится что-то сказать, но еще не может, и слезы катятся по ее изборожденному морщинами лицу.

Наше искусство сейчас похоже на такую крестьянку.

1987

## КТО СИЛЬНЕЙ НА ЭТОЙ КАРТИНЕ?

У меня на стене переделкинской дачи висит картина. Кто бы ни приходил ко мне, картина гипнотически притягивает. Иногда нравится с первого взгляда, иногда заставляет задуматься: нравится она или не нравится. Иногда вызывает восторг, иногда ошарашивает, даже пугает.

Картина называется "День рождения с Рембрандтом". В темно-алых размывах то ли крови, то ли взвихренных пожаров — два художника, родившихся в один день, 15 июля, но один из них, Рембрандт, — в 1606 году в Лейдене, другой, автор картины Олег Целков, — в 1934 году в Москве. У того и у другого в руках бокалы, наполненные то ли красным вином, то ли пламенем истории. Русский наклонился к голландцу и что-то заговорщицки шепчет ему на ухо, а может быть, что-то спрашивает, да не просто, а поддевая, подкалывая. Озорная, но в то же время не очень-то веселая дьявольщинка просверкивает

в глазах русского, наделенного страшным превосходством знания всего того, что случилось на планете после смерти Рембрандта. Жутковатая сила, живучесть есть в этом русском художнике, прошедшем школу магазинных очередей, коммунальных кухонь, битком набитых трамваев, школу страха перед ночным звонком в дверь, школу хрущевских криков на художников, школу разгрома выставки на пустыре бульдозерами при Брежневе, школу невыпускания за границу, невыставления и непокупания картин, школу бесчисленных исключений, запрещений, угроз.

Рембрандт на целковской картине уже не тот, с колен которого так обворожительно улыбалась Саския, по его гениальной воле раз и навсегда повернувшаяся лицом ко всем будущим поколениям, но Рембрандт умирающий, который справляет свой последний день рождения вместе с русским странным художником, который по воландовскому мановению переместился во времени. Это Рембрандт, уже не добивающийся славы, а добившийся ее, но и презревший. Это Рембрандт, выдержавший и старость, и безденежье с не меньшим достоинством, чем молодость и деньги. Это Рембрандт, простивший жизни все, что она отобрала у него, за все, что она дала ему. Это Рембрандт, не опустившийся до хитрости, но и не отказавшийся от крестьянского колабрюньоновского лукавства.

Много раз я задавал сам себе вопрос: кто сильнее на этой картине? Спрашивал и гостей. Лучший ответ дал, пожалуй, Габриэль Гарсиа Маркес: "Оба сильнее". Неплохо сказал и один грузинский гость, пожелавший остаться неизвестным: "Сильней тот, кто бокал держит ниже". На картине ниже бокал держит старший. Но самое горькое в том, что почти никто из моих гостей (за исключением некоторых иностранцев и советских специалистов по живописи) не узнал, чьей кисти эта картина, а когда я называл фамилию Целкова, переспрашивали.

Целков был одним из двух-трех самых моих близких друзей. К нему я мог приехать без звонка в любое время дня и ночи — и один, и вдвоем, и даже с большой компанией. Однажды, выйдя из его квартиры ночью, мы купались при лунном свете в канале, как будто прощались навсегда и с нашей молодостью, и друг с другом: Белла Ахмадулина, Василий Аксенов, Булат Окуджава, японская девушка Юко, Олег и я. Как будто с заранее предугаданной непоправимостью я в своей жизни разошелся с некоторыми из них, но не с Олегом. У него был великий дар хранения дружбы. Секрет этого дара, видимо, в терпимости к чужим, не похожим на собственный характер мнениям.

В этом смысле Целков больше похож на Рембрандта с той картины, чем на нарисованного Целковым Целкова. Он никогда не поучал, не лез в советчики, но и сам не выпрашивал советов. У него было редчайшее качество — умение принять чужую боль и умение исповедаться. Он был способен помочь в беде, но и не позавидовать в счастье. Всю жизнь борясь с безденежьем, он не считал в воображении чужих денег и без своих умел обходиться почти незаметно и даже элегантно.

Я прошел вместе с ним многие тысячи километров и по Вилюю, и по Алдану на моторных лодках. Он был смешным в своих городских ужасах и восторгах перед сибирской природой, но всегда оставался трогательнейше преданным, а было нужно — и бесстрашным товарищем. Первые года два, когда он так неожиданно для всех и для себя уехал, несколько раз я ловил свою автомашину на том, что она как бы сама инстинктивно норовила поехать к нему ночью в Орехово-Борисово, пока я не спохватывался, что Целкова там уже нет и не будет. Уже целых одиннадцать лет он не ходил по московским улицам, которые так любил всей своей бродяжьей душой полуночника. Его не успели здесь признать, но забыть успели. Его помнят только родственники, личные друзья, некоторые профессиональные художники и коллекционеры. Никогда не занимавшийся политикой, он живет во Франции с паспортом "политического беженца", что, впрочем, позволяет ему свободно ездить по всему белому свету и выставляться, выставляться, выставляться. Везде, за исключением Родины.

В прошлом году итальянское издательство "Фаббри" выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Олегу Целкову, в серии "Выдающиеся мастера XX века". Лишь немногие живые художники удостоились чести быть включенными в эту серию. Так что же произошло? Почему наша страна позволила себе преступную "роскошь" уворовать у самой себя и Целкова, и многих других художников — по приблизительным подсчетам, около двухсот? Это произошло не в сталинское время, а уже после Двадцатого съезда. Все мы несем за это ответственность. Конечно, именно сталинское время было колыбелью беспрецедентного в истории национального самоворовства. У стольких наших поколений был украден великий русский авангард — Кандинский, Малевич, Филонов, Гончарова, Ларионов, Татлин, Тышлер, Лентулов, Родченко, Мельников!

"Железный занавес" между двумя системами стал стеной между двумя культурами. Ахматова, по собственному призна-

нию, лишь случайно, с огромным опозданием узнала, что любивший ее в Париже безвестный итальянец Модильяни по-смертно стал всемирной известностью. В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив ей все принадлежавшие ему картины, — лишь бы ему дали скромный домик в родном Витебске. Шагал передал мне свою монографию с таким автографом для Хрущева: "Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву с любовью к нему и к нашей Родине". (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо "к нему" стояло "к небу".) Помощник Хрущева В.С. Лебедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел передать эту книгу Хрущеву. "Евреи, да еще и летают..." — раздраженно прокомментировал он репродукцию, где двое влюбленных целовались, паря под потолком. Лебедев, который — надо отдать ему должное — ранее помог напечатать и "Наследников Сталина", и "Один день Ивана Денисовича", был раздражен и даже напуган не случайно. Атаки на художников со стороны Хрущева и окружения перешли в атаки на писателей, на свободомыслящую интеллигенцию вообще. Но, впрочем, и раньше рамки свободы для живописи раздвигались гораздо медленней, чем для литературы. Ничто так медленно не меняется, как привычка к визуальным стереотипам. Даже в самые "оттепельные" времена книгу англичанки Камиллы Грей о русском авангарде конфисковывали наши неггибаемые таможенники. Нравственная кастрация породила кастрацию художественную, даже стилевую. Необычная художественная форма уже воспринималась как антисоветское содержание.

Но все-таки "железный занавес" проржавел, и сквозь его дыры с острыми, больно ранившими краями просачивались люди, книги — и в ту, и в другую сторону. К сожалению, в ту сторону уходили оригинальные картины, написанные здесь, а в эту приходили лишь репродукции Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Хуана Миро, многих других. Когда я недавно был на аукционе "Сотби" и видел навсегда улывающие за границу холсты Родченко, Древина, Удальцовой и талантливые работы наших молодых, еще живых художников, игнорируемых государственными закупочными комиссиями на Родине, то я слушал звучащие под удары молотка баснословные цифры, как предупреждающий набат. С одной стороны, хорошо, что русскую живопись увидят в других странах, что молодые художники благодаря этому деньгопаду с капиталистического неба смогут дальше спокойно работать, не суетясь ради поденщины. Но

все-таки кошки скребли у меня на сердце. Почему мы сами не могли у себя купить эти картины? Все это опять пахнет национальным самоворовством. Но вернемся к Целкову.

По его собственным признаниям, в раннем детстве его никто постоянно не учил живописи. Однажды в пионерском лагере художник Михаил Архипов потряс Олега красочными рассказами о мире художников, о живописи, о ее святом предназначении. Впечатлительный подросток в течение одной бессонной ночи вдруг осознал, что он тоже художник. Олега приняли в Суриковскую среднюю художественную школу. Его мама вспоминает: "В школе при поступлении ему дали стипендию — 20 рублей. Для пятнадцатилетнего мальчика и скромного бюджета семьи средних служащих это было даже очень много. Но за первые две картины, представленные на зимней сессии, Олег был лишен этой стипендии. На одной опальной картине был изображен концлагерь. Из-за колючей проволоки смотрели безнадежные, приученные к повиновению лица. Картину обвинили в пессимизме, в отступлении от социалистического реализма, в слишком трагическом реализме, в слишком трагическом изображении лагерной жизни, ибо в глазах людей не светилась надежда на скорое приближение советских войск. Вторая — композиция: одинокий солдат играет на гитаре на маленькой пристани туманным, мглистым утром. Директор вызвал отца и с глазу на глаз допрашивал: почему у сына могли возникнуть упаднические настроения, с кем он дружит, нет ли у него в друзьях старшего художника, который на него дурно влияет? Отец удивился: "Почему?" "А видите — солнца нет! Облака, сырость, серость..." "Это было первое ЧП в моей жизни, — говорил Олег, — но тем не менее это было мое крещение, с этого случая начался я как художник".

В такой обстановке рос Олег Целков и его ровесники — юные художники. Когда Олег закончил школу, то на просмотре работ школьников руководителями Суриковского института один из них топал ногами у целковских картин и кричал: "Этой кончаловщине у меня не бывать!" Олег все-таки решил поступать в институт, и его, разумеется, провалили. На некоторых ранних картинах когда-то стояли жирные двойки мелом. Целкова неожиданно поддержал столп тогдашней официальной живописи Б. Иогансон. Сохранилось его письмо, направленное в Минский театральный институт: "Рекомендую Олега Целкова как прекрасный материал для будущего художника... Он является превосходным живописцем, и уверен, что оправдает возложенные на него надежды". Иогансон в данном слу-

чае проявил последовательность. Когда Целкова исключили в Минске (за формализм), через год он помог ему поступить в Академию художеств в Ленинграде. Однако в академии Олег устроил выставку своих первокурсных работ, и студенты-китайцы написали коллективный протест против этой выставки как против "разлагающего буржуазного влияния". Где они теперь, эти китайские художники? Не погибли ли они сами, возвратившись в Китай, где, может быть, тоже показались "слишком буржуазными" озверело бушевавшей в своем младенческо-палаческом неведении толпе хунвэйбинов?

Целкова исключили из академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Николай Акимов, взявший Олега на свой курс в театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с которым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленинград, представил мне моего будущего близкого друга слегка шутливо, но с долей серьезности: "Олег Целков — возможно, будущий гений..." Стройный, красивый, темноглазый юноша с вьющимися волосами стоял с небрежной независимостью, опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленинградского писателя Кирилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подоконнику. Но в отличие от Долохова в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а свойственное всем настоящим людям искусства детское любопытство к людям, к жизни. Мы подружились с ним с первого взгляда.

До встречи с Олегом я был поклонником Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ состоялась сенсационная выставка работ этого никому доселе не известного ленинградского сироты, женатого на внучке Бенуа, изгоя академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхонтова. После бесконечных сталиных, после могучих колхозниц с не менее могучими снопами в питекантропски мощных ручищах — огромные глаза блокадных детей. Мучительное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресторане, современные юноша и девушка, просыпающиеся друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной решетчатой спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однажды зимней ночью мы вместе с Глазуновым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР, грузили эти картины в мой облупленный "Москвич", и струи выюги били в застекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда



представить, что попираемый и оплевываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным художником МИДа и в высокомерно-уничижительной манере будет говорить о русском многострадальном авангарде?

Целкова начали поносить со школьной скамьи. А уже в 1957 году загрохотали не только легкие, но и тяжелые — академические — орудия. Так, например, академик Юон в своей статье, перечисляя отступников от социалистического реализма, назвал нынешнего председателя правления Союза художников СССР А. Васнецова, Ю. Васильева, К. Мордовина, Э. Неизвестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художников было обронено и такое суждение: "Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова" ("Советская культура". 4 июня. 1957 год). Заодно от Целкова открестился и его бывший "крестный отец" — Иогансон. Но почти одновременно картинам молодого художника была дана и противоположная оценка человеком, который был другом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два целковских натюрморта на молодежной выставке в Москве. Он прислал Олегу письмо, где были такие слова: "На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Bravo!" В Целкова сразу поверил революционный турецкий поэт Назым Хикмет и предложил ему работу по оформлению своего спектакля "Дамоклов меч" в Театре сатиры. Думаю, что в работах Целкова Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Маяковского и Мейерхольда. На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Незадолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком баловавшая живописцев своими посещениями.

Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие официальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы... Но все-таки появились и первые покупатели. Это были тогда совсем молодые актеры, художники, журналисты, физики. Переломным для "покупательной репутации" Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского авангарда — Костаки. Первой крупной работой Целкова, проданной за рубеж, был "Групповой портрет с арбузом", описанный мной в поэме "Голубь в Санть-

яго”. ”Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жаждущими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейерных, безликих, со щелками свиными вместо глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерянные семечки взвились”. Эту картину приобрел приехавший в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким образом написавший о Целкове. Я был свидетелем того, как Сикейрос и Гуттузо, два ”объевшихся красками всезнайки”, жадно и деловито спросили, чем написаны его картины. Олег спокойно перевернул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два старых волка живописи прилежно все переписали, как мальчики. Это было высшим профессиональным признанием.

От натюрмортов, в которых действительно было некоторое влияние Сезанна, Целков медленно и могуче вышел к серии индивидуальных и групповых портретов конвейерно-роботообразных особей, порожденных веком расщепленного атома и электроники, веком Дахау, ГУЛАГа, Хиросимы. Эти особи страшноваты, но тем не менее им не чужды сентиментальные, вполне человеческие порывы, и их автоматизированная психология колеблется где-то на грани между фашизмом и детско-дикарской наивностью. Тип этих особей интернационален, ибо их можно встретить и в Нью-Йорке, и в Люберцах. Серия получилась внушительная, ведущая свою родословную в какой-то степени от ”Женщины с коромыслом” Малевича, от некоторых образов Леже. Но генеалогическое древо этих особей росло из реальности, и вот этого-то реализма и испугались ”борцы за реализм”. На самом деле эти ”борцы за реализм” были абстракционистами, ибо на своих угодливых картинах рисовали несуществующую, абстрактную советскую жизнь. Эти ”борцы за реализм” травили жившего в лианозовском бараке художника Оскара Рабина, со страшной реалистической простотой описавшего барачную жуть. Когда ”искусствоведы” с повязками дружинников моторизованно атаковали знаменитую выставку на пустыре, Рабин лишь в последнюю секунду успел вскочить на нож идущего на него бульдозера и стал балансировать на острие ножа со спасенной им картиной. Так и жили многие наши художники — стоя на острие ножа со своими картинами.

Художник Юрий Васильев во время войны служил в летных частях, был сбит, уцелел чудом, вступил в партию. После войны он сначала занимался, как многие студенты, slashавым кондитерским реализмом. Но честь ему и слава за то, что он од-

ним из первых русских советских художников вернулся к забытым, попорченным традициям великого авангарда. Васильев перешел к реализму с фантазий, видений, создал и атомную Леду, любовно ласкающую реактивный самолет, и Клевету — чудовищную металлическую бабищу, перемальвающую и пожирающую людей. Его, изобличителя клеветы, немедленно самого обвинили в клевете. К нему явились члены партбюро МОСХа, чтобы идеологически "проверить" его картины. Юрий Васильев, как восставший с печи Илья Муромец, встал в дверях вместе со своими малыми детьми и женой, держа в руках заряженный охотничий карабин, и сказал, что, если они осмелятся незвано переступить его порог, он убьет и своих детей, и жену, и себя. Вот что скрывалось за счастливой улыбкой Юрия Васильева, когда я видел его фотографию в газетах на открытии выставки в Японии.

Запихнутый в "психушку" Михаил Шемякин сделал там потрясающие реалистические наброски карандашом с натуры, а его самого за это обвинили в "искажении образа советских психлечебниц", в психопатстве. Скульптора Эрнста Неизвестного, разведчика, командира взвода, посмертно (считали, что он убит) награжденного за подвиги, человека, у которого вся спина изрыта осколками, оскорбил глава государства, крича ему: "Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон!" Предугадывали глава государства, что именно этот скульптор, оценив освобождение и реабилитацию стольких невинных людей выше личной обиды, поставит ему памятник на могиле? Э. Неизвестного под горячую руку почему-то называли абстракционистом. После званого обеда для интеллигенции в Доме приемов топтуны, кряхтя, вынесли его скульптуры и расставили на столе правительства, еще в жирных пятнах от шашлыков. Из-за скульптуры, изображавшей лагерного мальчика с мышкой в руках, глядело засушенное инквизиторское лицо Сулова. Жертва в бронзе и идеологический надзиратель смотрелись как единый архитектурный ансамбль. Какой тут к черту абстракционизм! Инстинктивный страх невежества на самом деле был направлен против реалистического портретирования эпохи. Кошка знала, чье мясо она съела, и хотела, чтобы на ее портретах было только невинное молочко на усиках, а не кровь. Но почему же заодно преследовали и абстракционизм — ведь, казалось бы, это самый политически безопасный стиль? Абстракционизма боялись потому, что в буйных набрызгах красок мерещился спрятанный, как в ловком фокусе иллюзиониста, уничижительный портрет.

Агрессивное непонимание есть самопровокация страха. Невежество не хочет признать, что оно чего-то не понимает. Невежество инстинктивно ненавидит объект своего непонимания, создает из него образ врага. В поле агрессивного непонимания оказался и Олег Целков. Он сам никогда не был агрессивным, никогда не был охочим до таких рекламных скандалов, когда остреньким политическим соусом пытаются сделать более аппетитной позавчерашнюю заветренную котлету, в которой мясо, может быть, и ночевало, но даже не помяв подушки. Олег всегда любил свою Родину, ее искусство, не принимая лицо бюрократии за лицо Родины. Он был слишком занят самосовершенствованием, чтобы звонить иностранным корреспондентам и оповещать их загодя о том, когда его будут очередной раз "подвергать преследованиям". Целков не попадал ни под один стереотип, не принадлежал ни к какой группе, не участвовал в политических акциях, и тем не менее его все уважали, с его мнением считались. Возможно, кому-то он казался даже тайным лидером всех подпольных художников. Логика была уголовная: "Раз все уважают, значит, пахан". А уважать было за что. Целков — человек на редкость доброжелательный и широкий во вкусах. Однажды целый вечер он мне восхищенно говорил о подвиге передвижников и сказал, что перовская "Тройка", где крестьянские дети везут на санках обледенелую бочку, — одна из его любимых картин. Я ни от одного художника не слышал столько доброго о других художниках. У Целкова есть одна редкостная черта — уверенность в себе, не переходящая в зазнайство. Это уверенность мастерового, знающего свое дело. На зависть и ненависть у настоящих мастеров просто-напросто нет времени.

Целков, любящий литературу, наименее литературный художник из всех фигуративистов, которых я знаю. Цвет — это три четверти содержания его холстов. Но атакующая сочность его цвета тоже политически пугала. В 1965 году впервые была открыта его выставка в Доме культуры института Курчатова, но организаторам здорово влетело. Они вынуждены были публично покаяться в своей идейной незрелости. В 1970 году Дом архитектора организовал выставку-однодневку Целкова. Выставка побила мировой рекорд... скорости выставок — ее закрыли через пятнадцать минут. Некто, помахав красной книжечкой перед носом перепуганного директора, потребовал отключить свет, удалить публику, снять картины. На следующий день Целкова исключили из Союза художников за самовольную (!) организацию выставки.

Я кинулся выручать товарища — к Фурцевой, тогдашнему министру культуры. Именно она когда-то разрешила песню "Хотят ли русские войны", которую полгода запрещали исполнять по радио как якобы "демобилизующую наших воинов". Фурцева и на сей раз была в добром настроении. "А что, если нам вот сейчас с ходу махнуть в мастерскую к этому Целкову?" — с энергичной демократичностью предложила она. "Лучше не стоит, Екатерина Алексеевна... — вздохнул я. — Вам будет труднее защищать автора, когда вы увидите его картины..." Фурцева оценила мое предупреждение и при мне сразу позвонила в Союз художников, напустила на себя начальственный гнев: "Это исключение — поспешность, которая может перейти в политическую ошибку", — сказала она в телефонную трубку на ритуальном лексиконе и подмигнула мне.

Целкова восстановили. Но что изменилось в его жизни? Картин его официально не покупали, а для Целкова это трагедия, ибо он не интерьерный, а музейный художник. Картинам его тесно в жилых комнатах. Целкова опять не выставляли — за исключением коллективной выставки неофициальных художников, которую пародийно загнали в павильон "Пчеловодство" на ВДНХ, окружив смехотворно многочисленным кордоном милиции. Целков там впервые выставил свой трагический, спорный холст "Тайная вечеря", где на грани мятежного богохульства изобразил Христа и тринадцать апостолов как роботообразных заговорщиков против человечества. Но может быть, таковой ему виделась тайная вечеря не Христа, а Антихриста?

Картины накапливались. Чувство перспективы терялось. Вот она чем была страшна, трясина застоя, — она всасывала в безнадежность. Многие талантливые люди становились пессимистами, а бесталанные оптимистично перли вперед.

Целков не хотел уезжать за границу — он хотел съездить. В 1977 году он получил приглашение из Франции. Один из тогдашних начальников ОВИРа пообещал ему паспорт на два месяца. Жена Целкова просила меня присмотреть за их квартирой, выпросила у меня довоенное собрание Мопассана, чтобы ублажить какого-то овировского чиновника, бравшего взятки не борзыми щенками, но дефицитными книжками. Я скрепя сердце отдал Мопассана. И вдруг в ОВИРе началась очередная чиновничья чехарда. Целковых вызвал их "благодетель" и с осунувшимся лицом сказал: "В общем, так: либо сейчас и навсегда, либо никогда..." А ведь это страшное слово — "насов-

сем”, особенно если оно соединяется со словом ”Родина”. Многие, и не только художники, никуда не уехали бы, если бы перед ними не ставили когда-то такую антигуманную дилемму — либо сейчас и насовсем, либо никогда...

Целков, мой ближайший друг, уезжал. Имел ли я право просить его, чтобы он этого не делал? Что я ему мог предложить — выставку на Кузнецком, закупку его картин Третьяковкой? Какое имел я право отобрать у него возможность наконец-то увидеть Лувр, Прадо, Метрополитен, Тейт галерею, Уффици? Но почему за право увидеть эти великие музеи он должен был платить такую страшную цену — потерю Родины? Почему до революции наиболее талантливым молодым художникам давали стипендии, посылая их в Италию, во Францию, чтобы они видели шедевры в оригиналах?

Тоня Целкова ворвалась ко мне перед самым отъездом, вся зареванная. Специальная комиссия при Министерстве культуры потребовала, чтобы Олег за вывозимые собственные картины уплатил 22 тысячи рублей. Таких денег Олег и сроду-то в руках не держал. Худфонд выдал ему справку, что за 15 лет членства в Союзе художников он заработал всего 4500 руб. (!!!) ”Такие картины не стоят ни гроша!” — презрительно усмехались над холстами Целкова. И вдруг государство, не купившее у Целкова ни одной картины, оценило их как нечто стоящее, но лишь при этом проклятом отъезде ”насовсем”. Старик Рембрандт тоже, конечно, бывал в разных передрыгах, но ему и в страшном сне не приснился бы подобный — дневной и ночной — таможенный дозор, следящий за искусством. Я бросился к тогдашнему заместителю министра культуры Ю. Барабашу и сбивчиво сказал примерно вот что: уезжает замечательный русский художник. Но, кто знает, как сложится его личная судьба, как, наконец, сложится история? Зачем же оскорблять его этими поборами, как будто нарочно ему хотят внушить ненависть к Родине, как будто хотят по-садицки разорвать насовсем нити, соединяющие его с культурой, сыном которой он был. У Барабаша была репутация жесткого, сухого человека. Но, к его чести, он понял мои аргументы и помог. На следующий день 22 тысячи волшебным образом превратились всего в две.

Мало того — у Целкова приобрели несколько гравюр на сумму именно две тысячи рублей, и практически он уехал бесплатно. Но вынужденная эмиграция не бывает бесплатной ни для самого художника, ни для общества. Что-то они оба неправомерно теряют.

Мучительно уезжать, мучительно жить вдали без надежды на возвращение или хотя бы на приезд. Его жена рассказывала мне, как по ночам, когда Олег засыпал, она тихонько выла в ладони от страха. К чести Олега, он не опустил до политической суеты, до спекуляции собственным "эмигрантством". Он не разбазаривал время попусту, выделил себе один выходной, как он выражается, "музейный день", — пятницу. В Париже ведь 700 картинных галерей — есть что посмотреть. Он многое написал, вырос как художник. Совсем недавно в нем вдруг возникла дымчатость, мягкость, и от своих конвейерных страшилищ он вернулся к нежным натюрмортам. Его "маршаном" (продавцом) стал Эдуард Нахамкин, бывший рижский экономист, ныне открывший несколько галерей русской живописи в США. Времена изменились, и Нахамкин сейчас регулярно приезжает в СССР, покупая картины и приглашая наших молодых художников.

Материально Олег живет вполне обеспеченно и благодарен Франции за то, что она дала ему приют. После долгой, изнурительной борьбы с ОВИРОм мне еще несколько лет назад удалось добиться того, что к нему съездили в Париж его родители. Олег с огромной надеждой следит за переменами, происходящими в нашей стране, не впадая в розовую эйфорию, но и не опускаясь, как некоторые, до недоброжелательного накаркивания. За границей меняются почти все — в лучшую или худшую сторону. Олег поражает меня тем, что он совершенно не изменился по характеру. Он побывал во многих странах со своими выставками и никогда вслух не жалуется на ностальгию — лишь иногда у него вырывается: "Эх, сейчас бы постоять на тяге вальдшнепов где-нибудь около деревни Лужки..."

Но это страшное слово "насовсем", оброненное овировским "благодетелем", до сих пор терзает мою душу. Только что мы отметили тысячелетие христианства на Руси, но разве мы всегда помним его общенравственные постулаты, выходящие за религиозные рамки? Если люди выступили против бюрократии, не надо приписывать им деятельность против Родины.

Сейчас не время обоюдного злопамятства. Сейчас время собирательства русской культуры.

В этой статье я постарался нарисовать достаточно подробную картину того, что произошло с Целковым и некоторыми другими художниками.

Итак, кто сильнее на этой картине? Чиновничий симбиоз наглого унтера Пришибеева и робкого, трясущегося от страха Акакия Акакиевича?

Или все-таки отважный разум собирательства нашей национальной культуры? Неужели все наши трагически уехавшие художники будут приезжать на Родину только в шагаловском, почти девяностолетнем возрасте?

1988

## МАГНИТОФОННАЯ ГЛАСНОСТЬ

Гласности приходилось быть разной — в том числе и магнитофонной. Звуковой самиздат значительно превосходил по тарифу рукописный. Когда молодой сибирский писатель Александр Вампилов познакомился при помощи вдовы Андрея Платонова с рукописными "Чевенгуром" и "Котлованом", это не могло не сказаться на его последующем духовном формировании.

Но сколько человек прочитало эти два романа до их публикации? Думаю, что не больше нескольких сотен. Тиражи магнитофонных любительских записей тоже никто не подсчитывал, но думаю, что у Окуджавы в шестидесятых было не менее миллиона пленок. Это, конечно, уступает многомиллионному распространению Высоцкого, но и техника тогда была другая.

Многие почитатели Высоцкого даже и не подозревают, что у их кумира был прямой предшественник — Александр Галич. Популярность Галича была, правда, более узкой — его знали больше в кругах интеллигенции, но думаю, что не менее полумиллиона пленок с его песнями бродило по домам. В отличие от Окуджавы и Высоцкого у песен Галича никогда не было ни малейшего "официального" выхода к слушателям, хотя, как ни парадоксально, его судьба первоначально складывалась вполне комфортабельно.

Александр Аркадьевич Галич родился 19 октября 1918 года. Его юношеские стихи были одобрены Багрицким. Учился в школе-студии МХАТа, сохранился снимок, где юный Галич, скромно стоя у стены, смотрит на Станиславского. Во время войны Галич работал во фронтовом театре. Этот театр, которым руководил Валентин Плучек, выступал перед бойцами с концертами и спектаклями вплоть до последних дней войны. Галичу приходилось быть и автором интермедий, и актером. После войны он становится профессиональным драматургом и сценаристом — особенно популярными



были его пьеса "Вас вызывает Таймыр" и фильм "Верные друзья".

По тогдашним стандартам, Галич был богатым человеком, вхожим в так называемую московскую "элиту". Он был неотразимо красив, поигрывал бархатно воркующим голосом, одевался с некоторой артистической броскостью, но с неизменной тщательностью и вкусом.

И вдруг этим бархатным голосом Галич запел под гитару свои горькие, подчас ядовито-саркастические песни. Произошло это, если я не ошибаюсь, после того, как его лучшая пьеса "Матросская тишина", репетировавшаяся, кажется, в "Современнике", была запрещена.

Я употребляю все эти "кажется" и "если я не ошибаюсь" потому, что после стольких перемен в нашей жизни то время запретительства и давящего, удушающего контроля представляется чем-то гротесково-кошмарным, из совершенно иной эпохи. Стоило Галичу запеть, то есть стоило ему позволить себе быть самим собой, как из преуспевающего, вполне приемлемого бюрократией драмодела он превратился в нежелательную личность.

Галич был одним из тех людей, которые всем сердцем поверили, что с "оттепели" начинается новая эра — эра совести, эра гласности. Когда "оттепель" была подморожена, такие люди уже не могли жить по-прежнему, в отличие от оппортунистов, ловко изгибавшихся "вместе с генеральной линией", как гласит одна грустная шутка. Совесть опять становилась ненужной, а вместе с ней — и ее обладатели.

Одно из первых публичных выступлений Галича перед массовой аудиторией в Новосибирске с антисталинскими песнями привело к тому, что его исключили из Союза писателей. Все контракты Галича с издателями, с театрами, с киностудиями были разорваны, деньги начали неумолимо таять. Галич оказался в изоляции. Его шельмовали на собраниях, ему угрожали, что, если он не перестанет петь, его привлекут к уголовной ответственности.

Как человек, хорошо его знавший, я могу ручаться, что Галич никогда не планировал своего отъезда на Запад, что его толкнуло на это только полное отчаяние. Практически он был изгнан. Галич умер в Париже от короткого замыкания в магнитофонной системе, когда он прослушивал свои записи.

Чтобы понять причину трагедии его отъезда, я лишь во-скрешу сохранившийся у меня в памяти эпизод, достаточно вы-

разительно рисующий атмосферу тех лет. Одному сравнительно молодому, считавшемуся тогда прогрессивным литератору предложили руководящий пост в Московской писательской организации. Он приехал ко мне на дачу, чтобы уговорить меня сотрудничать с ним в будущем руководстве. Помявшись, добавил: "Только вот что, Женя, мне надо твердо знать, будешь ли ты голосовать за исключение "диссидентов"?" "Каких именно? — спросил я. — Ведь все зависит от каждого конкретного случая". "Ну, какие будут", — опуская глаза, сказал он. "Но ведь кто-то, может быть, ни в чем не виноват..." — возразил я. "Есть люди, которые лучше нас с тобой знают, кто виноват, кто нет", — торопливо ответил этот современный Клим Самгин (а может, мальчика-то и не было?). Таким образом был исключен и Галич, и некоторые другие, вовсе не заслуживавшие этого люди.

Галич с печальной психологической точностью описал, как в этой продаже нравственности принимали участие не только "реакционеры", но и бывшие "прогрессисты".

Уходят, уходят, уходят  
друзья.  
Одни — в никуда, а другие —  
в князя...  
...Есть — уходят на последней  
странице.  
Но которые на первой —  
те чаще.

Году в 1963-м Галич пригласил меня к себе домой и спел примерно двадцать песен в очень узкой компании. Песни меня поразили пронзительной гражданской афористичностью: "Но поскольку молчание золото, то и мы безусловно старатели"; "Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги, позабыв, что движение направо начинается с левой ноги".

Начинавшейся тогда попытке отката с позиций безоговорочного осуждения культа личности на позиции оговорочные, оправдывающие Галич противопоставил собственную безоговорочность. Уже в тот вечер это было совершенно ясно.

Но — достаточно о политике. Все гражданское звучание песен Галича стоило бы гораздо меньше, если бы слова его песен не были написаны так крепко и подчас так элегантно по форме. Театральный опыт Галича помог ему создать серию сатириче-

ских персонажей, от имени которых были написаны песни. В этом сатирическом цикле Галич был прямым учителем Высоцкого.

”Облака плывут, облака. Не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило”. ”И рубают финики лопари, а в Сахаре снега невпроворот. Это гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот”.

Рифмовка Галича — свежая, четкая. Серия реквиемов, посвященных поэтам, написана в перевоплощательном стиле, воскрешающем их эпоху, а иногда даже почерк. Обо всем этом еще напишут исследователи. Один из его реквиемов — песня ”Ошибка” — меня потрясал и потрясает до сих пор пронзительной гармонией слов, исполнения и сразу напоминающейся мелодией. Это, пожалуй, моя самая любимая песня Галича.

Приведу только два эпизода из многих наших встреч. Первый: у меня дома в гостях был выдающийся французский шансонье бельгийского происхождения Жак Брель. Я пригласил Булата Окуджаву и Александра Галича, и все втроем они устроили импровизированный концерт друг для друга.

Но вот что поразительно: ни один из них не пел собственных песен. Галич пел старинные романсы, Окуджава — вагонные песни, а Жак Брель — народные фламандские. Сейчас, конечно, я кусаю локти, что не записал эту ночь на магнитофон, — это был уникальный концерт, когда три выдающихся поэта-певца показали друг другу свои корни.

Второй эпизод: близкая мне женщина после тяжелой операции потеряла много крови, и, как сказал мне ее врач, надежд на спасение было мало. Когда я навестил ее, она попросила, чтобы я привез ей магнитофон и записи песен Галича, которые она очень любила. Я рассказал об этой просьбе Александру Аркадьевичу. Он, ни слова не говоря, положил гитару в чехол, поехал в больницу сам и вместо магнитофона пел для этой женщины примерно час. После этого случилось чудо — она выжила. Так вот, когда я читал или слышал на собраниях о якобы ”аморальном” Галиче, я всегда вспоминаю этот его приезд в больницу.

Магнитофонная гласность была частью борьбы за ту гласность, которая сегодня возвращает нам столько не заслуживающие забвения имена.

## ПАМЯТЬ — ЭТО ТОЖЕ МЕДИЦИНА

Наталья Рапопорт сейчас известный ученый, доктор химических наук. Я лично с ней незнаком, но почему-то мне она представляется властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то в глубине ее глаз, на самом дне зрачков, привыкла столько лет прятаться трагедия ее детства. В 1953 году Наташа была школьницей, когда ее отца, известного патологоанатома, арестовали по так называемому "делу врачей". Об этом Наталья Рапопорт и написала свои безыскусные, не претендующие ни на сенсационность, ни на литературную изысканность воспоминания. Надо ли возвращаться к этим тяжелым дням? Думаю, что надо, ибо сегодняшнее поколение или совсем не знает об этом "деле", или слышало в четверть уха от старших, да еще неизвестно, от каких старших. Разговоры, оправдывающие преступления того времени, к сожалению, можно услышать и от людей, убеленных сединами. А мы не сможем двигать нашу историю вперед, если не будем знать ее назубок, вплоть до самых ее забытых или припрятанных кусочков. Иначе белые пятна истории могут превратиться в пятна на совести.

В 1952 году Берия и другие сталинские опричники затеяли новую провокацию. Им нужно было громкое "дело", чтобы нагнать побольше страха, поднять зловещий престиж тогдашних органов безопасности. Сталин любил подобные "дела". В этот момент, видимо, и подвернулось письмо кремлевского врача Лидии Тимашук о том, что якобы существует заговор врачей, лечащих Сталина и других руководителей партии и государства. Впрочем, возможно, Тимашук заставили написать такое письмо угрозами. Возможно, что она была бериевским агентом-provocатором. Ответ на это трудно найти...

"Врачи-отравители" через несколько месяцев были освобождены из-под ареста, и, к счастью для них, не посмертно. Неясно, имел ли сам Берия отношение к оправданию обвиняемых — может быть, спешил себя обелить и сбросить вину на других, может быть, понимал, что обстоятельства уже против него. Но 13 января 1953 года сообщение о заговоре врачей сработало — ему поверило большинство населения, и я, двадцатилетний студент Литинститута, в том числе. Среди названных имен "врачей-отравителей", правда, было несколько и русских фамилий (Виноградов, Егоров и Майоров). Мастерским прологом к этому аресту были искусно распространяемые слухи о

том, что лекарства в наших аптеках отравлены. Аптеку на улице 25-го Октября закрыли на несколько месяцев. В газетах печатались черносотенные фельетоны. Москва была придавлена суеверным ужасом. Помню, как я трясся в тот страшный день в трамвае, и люди подавленно молчали с раскрытыми газетами в руках. Подумать только, нашего дорогого Сталина хотели отравить. Двое стояли в "курилке" Литинститута, окруженные вакуумным квадратом, — они были единственными студентами еврейской национальности. Ненависти к ним никто не выражал, но на них смотрели. На собраниях, призывающих к бдительности, люди выступали с искренними слезами боли и гражданского негодования, клеймя "убийц в белых халатах". Вот какое было время, когда объективные подлости делали субъективно честно, а доносительство считалось патриотизмом. Цинизм и убежденные заблуждения перепутывались, а иногда и сливались. Вот это-то и было нравственным отравительством. Тем не менее нельзя считать, что в то время все люди потеряли совесть, мужество, оциничились. Наталия Рапопорт показывает и тех, кто был трусом, и тех, кто проявлял мужество милосердия, не отвернувшись от ее семьи.

Эти воспоминания взывают о том, чтобы ничто подобное не повторилось. Забвение ведет к загноению исторических ран. Чтобы залечить исторические раны, память — это тоже медицина.

1988

## ЛОЖЕЧКА ЖИЗНИ

Польская писательница Ганна Кралль — великая женщина-скульптор, вылепившая из дыма газовых камер живых людей. Этой книгой можно проверять людей. Если кто-то не содрогнется, читая ее, не задохнется от комка слез, застрявшего в горле, не ощутит позора за то, что такое могло позволить себе человечество, то этот читатель неизлечимо болен страшной античеловеческой болезнью — равнодушием. Но есть и другая категория людей, к сожалению, многочисленная, — люди, которые не дочитают эту книгу. Не оттого, что им станет скучно, а оттого, что им станет страшно. От нежелания страдать чужими страданиями. От дискомфорта сопереживания. Боюсь тех, кто боится сострадать. Именно они и породили концентрационные лагеря тем, что отворачивались от них. Не хотели ви-

деть колочей проволоки, не хотели знать страшного мира, где умирающая от голода еврейская мать, сошедшая с ума, откусила кусочек своего мертвого ребенка, где вес загнанных в варшавское гетто смертников составлял в среднем 30 — 40 килограммов, и ногти были похожи на когти. Какие там к черту метафоры, когда кровь в жилах замораживает простое, будничное: "Аля сняла туфли и пошла через минное поле босиком, она думала: если идти по минам босиком, они не взорвутся". Или горький упрек покончившему самоубийством главе варшавского гетто Адаму Чернякову: "У нас к нему только одна претензия — зачем он распорядился своей смертью как своим личным делом?"

Но не все люди сдавались. Некоторые находили последнее счастье в том, чтобы прижаться друг к другу и умереть вместе. Некоторые все же находили в себе силы, чтобы в ослабшие руки взять оружие. Борьба с оружием в руках выглядела, по горькому ироничному выражению, как "прекрасная комфортабельная борьба". Каждая лишняя ложечка жизни была драгоценна, но и эту ложечку умели делить. Вспоминая карикатурное зрелище, когда гогочущие антисемиты издевательски выстригали волосы загнанного на бочку еврея, герой книги заключает свой рассказ так: "Самое главное — не позволить загнать себя на бочку". Страшней самоубийства желание затоптанного унижениями человека "не иметь лица". Но лишь знание бессердечности ведет к знанию человеческих сердец. Через трагический опыт стольких ежедневно наблюдаемых убийств твоих ближних — к рискованным экспериментам в деле спасения человеческих жизней на операционном столе. Читая эту книгу, я впервые задумался о том, почему так много врачей-евреев. Гены преследования смешались с генами врачевания. Лагеря, где мучили людей, были первыми безъядерными хиросимами. Нравственные последствия лагерей не менее долгосрочны и губительны, чем лучевая болезнь. Но пока существуют такие люди, как Ганна Кралль, не позволяющие нам забывать ни одну историческую вину человечества, есть надежда на то, что человечество избегнет и физического и духовного самоуничтожения.

Одна из самых сильнейших антифашистских книг.

Я бы давал эту книгу антисемитам, а потом мне хотелось бы посмотреть им в глаза. Насильственные желтые звезды на руках стали антипутеводными звездами, ибо путь самовозвеличивания одного народа за счет уничтожения другого гибелен.

## ИЗ ОБЩЕЙ ПОМОЩИ — ОБЩУЮ НАДЕЖДУ

**Я** не встречал ни одного народа с такими грустными глазами, как у армян. Даже когда армянин смеется, радуется, танцует, то все равно где-то на дне глазного дна, как Атлантида, таится вековая печаль армянского народа. Эта печаль — из генетической памяти о страшных временах нашествий, кровавой резни, из тоски по хотя бы духовному воссоединению армянской диаспоры, из трагического ощущения визуальной близости Арарата и одновременной невозможности прижаться к нему.

А теперь мне кажется, что эта печаль в глазах армян была не только ретроспективной, но и пророческой — как будто она, эта печаль, была предупреждающим инстинктом того ужасающего землетрясения, от которого вздрогнули и римский Колизей, и собор Парижской богородицы, и нью-йоркские небоскребы, и эскимосские снежные "иглу". В дни, когда случилось это бедствие, я был в Иерусалиме, и когда я попросил на своем выступлении почтить память погибших армян, весь зал взметнулся и застыл в едином порыве со слезами на глазах. Слезы сочувствия во всех странах не оставались только слезами — они превращались в самолеты, в плазму, в лекарства и летели в Армению.

Двадцатый век — век крушения стольких общечеловеческих идеалов! Гитлеровские и сталинские концлагеря, Хиросима, полпотовщина, "холодная война" с ее врагоманией не могли пройти даром. Когда общечеловеческое разрушается, то на сцену истории выплывает все узконационалистическое, все утробно шовинистическое. Но священный момент единства всех народов планеты, независимо от их религий и политических систем, все-таки произошел, когда захрустели хрупкие косточки армянских детей под раздавливающими их, обреченными рано или поздно на такое падение нашими преступными вавилонскими башнями, построенными ворами и шапкозакидателями.

Это несчастье не просто свалилось с неба. Это несчастье было подготовлено, как и Чернобыль, всем мышлением по принципу "после нас хоть потоп", всей безответственностью, за которую уже давно пора устраивать нюрнбергские процессы, ибо безответственность по жестокости своих результатов приближается к преступлениям. Но Армения страшной ценой своего национального несчастья все-таки дала всему трагиче-

ски разъединенному человечеству надежду на то, что мы, человечество, можем еще быть одной семьей, можем слышать стоны друг друга под руинами лживых идеалов, под руинами лживых представлений друг о друге, которые нам навязывают те, кто сделал из разъединения народов профессию. Из общей помощи — общую надежду!

Погибшие армяне, как многотысячный Христос, распятый под руинами, обняли своими раздавленными руками наш земной шар как общее наше неделимое достояние — и совершилось волшебство: визы, границы перестали существовать для самолетов спасения, и из самолетов выходили на нашу землю не так называемые иностранцы, а наши братья-земляне. Пора давно понять, что "несчастье иностранным быть не может". Когда такое понимание созреет у всех людей на Земле, тогда границы исчезнут уже не только на момент катастрофы, а навсегда. История еще нам покажет когда-нибудь, что полный национальный расцвет всех народов может быть не благодаря тем или иным границам, а благодаря полному отсутствию границ. Но за такой будущий день надо бороться.

Мы достаточно страдаем от землетрясений природных. Но мы, человечество, сможем победить стихийные бедствия лишь тогда, когда перестанем искусственно организовывать такие землетрясения, такие стихийные бедствия, как национальная, религиозная, политическая рознь, доходящие до взаиморазрушительной ненависти.

1988

## **ВЗАИМОГУМАННОСТЬ — ВЗАИМОСПАСЕНИЕ**

**П**рисутствие наших войск в Афганистане было двойной ошибкой — и политической, и нравственной.

Вывод войск из Афганистана — свидетельство того, что здравый смысл политики и нравственности могут быть едины. Демократия гарантирована только тогда, когда политика определяется нравственностью, а не наоборот. Но так же, как было бы безнравственно и далее продолжать эту войну, так и сейчас безнравственно оставаться равнодушными к советским солдатам, находящимся в плену. Это были не наемные убийцы, а мобилизованные ребята — будущие крестьяне, рабочие, может быть, потенциально великие ученые, художники, поэты. Их



нельзя объявлять виновниками афганской трагедии, ибо они тоже ее жертвы. Когда-нибудь, когда забудутся фальшиво-бравурные книжки, поверхностные репортажи и бравые документашки, какой-нибудь бывший ветеран, прошедший страшную школу афганских испытаний, а затем ставший советским кинорежиссером, еще создаст, подобно его американскому собрату Оливеру Стоуну, свой "Взвод", который потрясет сердца всего человечества.

Несмотря на разъединенность народов, они все должны объединяться на основе милосердия к любым заложникам, военнопленным.

Да, мне было горько, что в свое время наше правительство не заняло решительной позиции по отношению к американским заложникам в Иране. Я не политик, но если бы это зависело от меня, я послал бы тогда в Тегеран наших ребят в голубых беретах для спасения американцев, и президенту Картеру ничего бы не оставалось другого, как сидеть в первых рядах на открытии Олимпийских игр в Москве. Но тогда еще, к сожалению, политика и с той, и с другой стороны превалировала над нравственностью. Сейчас времена меняются.

Благодаря новому мышлению — единственно спасительному в тени бомбы, которая нафарширована самой наибольшей безнравственностью — убийством сразу всех, — нравственность все больше проникает в политику. Поэтому я призываю сегодня все западные державы и страны "третьего мира" употребить вес своего авторитета для спасения наших солдат. Завтра или послезавтра в тех или иных опасных руках могут оказаться дети той или иной страны, и мы тоже придем к ним на помощь. Взаимоспасение человечества — во взаимогуманности.

1988

## ЮНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ — СЕСТРЫ

**Ю**ность и смелость — сестры. "Трусливая старость" — это звучит не слишком красиво, но как вопиюще звучат другие два слова, поставленные рядом, корчась и противясь насильственному, неестественнейшему словосочетанию, — "трусливая юность". Иногда тот, кто смел в юности, потом теряет веру в

свои юношеские идеалы, предаёт их позорным благоразумием и становится в зрелости или в старости трусом. Но невозможно быть смелым ни в зрелости, ни в старости, если ты не был смел в юности. Сохраненная, не преданная ни словом, ни делом наша юношеская смелость — это единственная возможность победы над возрастом и даже над смертью, потому что смелость — это преодоление смерти духовной и смерти физической.

Когда я говорю о смелости, я подразумеваю вовсе не смелость людей, обманутых неграмотными надеждами на ложные идеалы и совершающих порой героические поступки во имя бутафорских идолов. История потом ставит все на свои места и только горько усмехается, покачивая головой над субъективно честными, но объективно ошибавшимися людьми, ибо героизм во имя ложных идеалов — героизм ложный.

Я говорю о другой смелости — о смелости во имя таких бессмертных идеалов, как равенство, братство, свобода, уничтожение любых форм эксплуатации человека человеком. Я говорю не о смелости показательной, эксгибиционистской, а о смелости скромной, которая порой сама не понимает, что она — смелость, — хотя бы о ежедневной смелости наших русских женщин, которые успевают работать, потом стоять в очередях, воспитывать детей, обстирывать своих мужей и все-таки не теряют вечной женственности и доброты, которая всегда не что иное, как подвиг. Я говорю не о животной смелости ради спасения собственной шкуры, где дух подменяется силой, действием, лишенным морали, а о другой, истинной смелости ради наших ближних и ради наших иногда даже непредугадываемых дальних. Такая смелость ничего общего не имеет с философией суперменства, которой, к сожалению, заражены некоторые современные молодые люди. В суперменской смелости дух подменяется действием, а ведь избегать духовности, избегать собственной совести — какая же это смелость? Это просто новый зоологический подвиг трусости, поигрывающей мускулами, возвращенными бездуховным культуризмом.

Христианство для своего времени было великой гражданской смелостью, противопоставившей свою готовность самопожертвования сладострастию заплывшего жиром бездуховности, распадающегося, но все еще сильного Рима. Затем христианство было искажено, извращено инквизицией, междуперковными интригами, превращено попами всех мастей в предмет наживы, спекуляции наивной верой людей.

Социализм — далекий праправнук христианства, приобрел-

ший, конечно, только некоторые его черты и даже полемизирующий с ним, иногда яростно, внесший в человечество выстраданную им новую надежду, — был новой, ищущей мыслью человечества.

Мы, русские люди, русские писатели, говорим на том языке, который создал своим гениальным пером один из самых смелейших людей в истории — Пушкин.

Пушкин был смелым гражданином, смелым поэтом, смелым историком, смелым редактором. Он был смел даже в лирике.

Я вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам бог любимой быть другим —

это же смелейший этический постулат, ставящий любовь выше собственности, выше эгоизма.

...Не всем богом отпущены одинаковые возможности таланта, но всем одинаково отпущены возможности смелости.

Художник должен быть смел и в форме своих произведений. Художник должен быть смел как философ. Но для любой смелости, а особенно для философской, необходимо знание всего предыдущего — и того, что является для нас наследием марксизма, и того, что противоречило ему, ибо для того, чтобы оценить любое явление, надо знать, какую борьбу оно выдержало.

Я слышал, как на встрече с американским аспирантом-философом был задан вопрос одному нашему молодому писателю: "Скажите, пожалуйста, что вы думаете о вашем философе Бердяеве? Не кажется ли вам, что его концепции, которые не совсем принимаются сейчас вашим обществом, будут со временем приняты?"

Наш молодой писатель, я не буду называть его фамилии, вел бы себя честнее, если бы ответил: "Я Бердяева не читал". А он вел себя напыщенно: "Вы напрасно пытаетесь перетянуть нашего философа Бердяева в ваш лагерь. Он осознал свои ошибки и теперь работает в другом плане". К счастью, для престижа нас, русских, это было воспринято американцами как его остроумие, элегантный уход в сторону, ибо они и не могли представить, что он даже никогда не слышал этой фамилии и не знал, что Бердяев давно умер.

Как же возможна такая элементарная безграмотность?

...Хочу сказать о некоторых наших редакторах и цензорах-невидимках за спинами редакторов. Я поражаюсь им. Они, русские люди, наследники революции, и чего они все боятся, откуда у них эта трусость, не считающаяся с исторической сме-

лостью нашего народа и его завоеваниями? Если бы так трусливо редактировали проекты Королева те, которые занимались выпуском космических ракет, Гагарин не взлетел бы первым в космос.

Мне известны случаи, когда редакторов снимали за то, что они напечатали. Но мне неизвестен хотя бы один факт, когда редактора сняли за то, что он не напечатал что-то. Это нужно ввести в нашу журналистскую этику.

В истории нашего народа трусы были во все времена, но остались только в виде жалких теней. А люди, чьи портреты висят на наших стенах и в библиотеках, — это все смелые люди.

Я хочу, чтобы мы побольше изучали собственную историю, черпали в ней силы для нашей ежедневной работы в гражданской смелости. То, что мы будем учиться у истории, позволит нам самим быть историками, ибо все лучшее, что мы пишем, — это есть живая и смелая история нашей страны.

1976

## ЛОЖЬ УМОЛЧАНИЕМ

Две цитаты. Толстой: "Эпиграф, который я написал бы к истории, таков: ничего не утаю. Мало того, что не лгать, надо стараться не лгать отрицательно, умалчивая". ("Русские писатели о литературном труде". Т. 3. С. 492.) Щедрин: "Система самовосхваления может быть причиной сновидений весьма приятных, но вместе с тем и крайне обидного пробуждения". (Там же. Т. 2. С. 623.) Неутаивание ничего, неумалчивание ни о чем — и есть нравственный краеугольный камень гражданственности, раскаленный до того, что подошвы прожигает, но на нем стояла и будет стоять русская литература.

Разрыв течения мысли и течения строительства недопустим, ибо он одинаково губителен и для строительства, и для мышления. Мы не имеем права нигилистически забывать выстраданные нами великие первенцы индустрии: Магнитку, Турксиб, Кузбасс, но и не имеем права умалчивать о том, что в то же время попиралось драгоценное хозяйское мышление многих середняков, безвинно объявленных кулаками, и шла беспощадная вырубка большевистской гвардии, лучших командиров Крас-

---

Из речи на VI съезде писателей РСФСР.

ной Армии и индустриальных кадров, передовых представителей революционного мышления.

Сегодняшнее долгожданное стремление к переменам к лучшему в жизни нашей страны вселяет в нас глубокие надежды, что самовосхваление будет навсегда отвергнуто, а неумалчивание станет нормой гражданского поведения. Нам, литераторам, грош цена будет, если мы станем лишь фиксировать и восхвалять происходящие отдельно от нас общественные преобразования. Мы обязаны не только помогать им, но и подготавливать их. Истинно гражданские произведения не только отражают исторические события, но и сами являются событиями истории. Ускорение научно-технического прогресса немислимо без ускорения духовного. Не забудем горького урока, когда кибернетику называли буржуазной лженаукой, а творческую генетику титулованные недоучки обвиняли в реакционности. Именно этот духовный застой затормозил заслуженное нашим народом экономическое процветание, и дело дошло до того, что на нашей богатейшей красавице Земле через 40 лет после войны в ряде городов существует карточная система на масло и мясо, и это морально непозволительно.

Морально непозволительны любые виды закрытых продуктовых и товарных распределителей, включая спецталончики на посещение сувенирных киосков, лежащие в кармане каждого делегата съезда, в том числе и в моем.

Морально непозволительны для нас выставки уродств в магазинах одежды, тысячные очереди за какими-то кроссовками, и среди всех этих дефицитов один из самых преступных — нехватка бумаги для тех книг, которые читает наш народ, в то время когда на занудные псевдонаучные брошюры спилили полтайги.

Мы не имеем права убаюкивать себя приятственным пейзажем леса поднятых рук на собраниях, если внутри тех, кто поднимает руки, есть утаиваемое, умалчиваемое. Бюрократические "галочки" о благополучно проведенных мероприятиях еще не есть ласточки долгожданных перемен. Статьи, риторически призывающие к гласности, еще не есть сама гласность. Передовицы о необходимости свежести мысли и языка нередко бывают написаны языком таким суконным, что невольно подозреваешь — не на эти ли нужды свистнули когда-то шинель несчастного Акакия Акакиевича. Когда читаешь Ключевского, Соловьева, то видишь реальную историю России, незамолченную, неутаенную. Но когда читаешь беспрерывно перетасовываемые страницы нашей новейшей истории, то горько видишь,

что страницы так и пересыпаны белыми пятнами умалчивания, утаивания, сальными пятнами угодливых натяжек, кляксами искажений.

Боязнь творческого анализа нашей революции довела нас до такого вопиющего, недопустимого факта, когда в серии "Жизнь замечательных людей" до сих пор не вышла книга о Ленине. Во многих учебных пособиях произвольно опускаются важные имена и события, не упоминаются не только причины исчезновения выдающихся деятелей партии, но иногда даже даты их смерти, как будто все они преспокойно пребывают на пенсии.

Сколько раз в истории Великой Отечественной конъюнктурно передвигали центр создания победы на те или иные географические точки. Пора давно понять, что центром создания победы было не географическое место, а сама душа советского человека. До каких пор мы будем помогать заграничным марьям алексевнам, которые радостно составляют свое радиоменю наполовину из наших утаиваний и умалчиваний? Лишь бесстрашие перед лицом прошлого может помочь бесстрашному, единственно правильному решению проблем настоящего. Вспомним сказанное более 100 лет тому назад об идеологических коновалах, о кромсающей тело литературных произведений трусливой чиновницей лжегражданственности: "Она — лишь деревенский хирург, знающий против всего лишь одно универсальное механическое средство — нож... Она — шарлатан, вгоняющий сыпь вовнутрь, чтобы не видеть ее, не заботясь нисколько о том, что она может поразить внутренние части тела".

Истинно художественные произведения не могут быть "раскачиванием государственного корабля", ибо они сами мачты этого корабля.

Недавно я впервые увидел фильм "Проверка на дорогах" Алексея Германа, потрясший меня трагической правдой, озаренной всеочищающим пламенем Великой Отечественной. А ведь 15 лет этот фильм провалялся на полке, покрытый оскорбительной пылью незаслуженных обвинений. До сих пор до советского читателя не дошли "Котлован" и в полном виде "Чевенгур" — одни из лучших гражданственных произведений честнейшего патриота земли русской Андрея Платонова. Ждут конструктивного обсуждения, а затем и встречи с читателями многие острые гражданственные произведения. Само время властно требует отмены шлагбаумной психологии. В то же время красный неумолимый свет должен зажигаться перед

лжегражданственностью самоубаюкивания, самовосхваления, перед грудой "ниочемных стихов", кирпичами "ниочемных романов", чьи авторы довольствуются тем, что пишут лучше соседа по лестничной клетке, забывая, что в доме литературы, где они законно прописаны, их бессмертными соседями являются Пушкин, Толстой, Достоевский.

Достоевский писал о Пушкине: "Возьмите в Пушкине только одно, только одну его особенность, не говоря о других, — способность всемирности, всечеловечности, всеотклика".

В литературе, как в совести, нет периферии. Столица литературы — это сердце каждого писателя, вместившего в себя весь мир. Белинский завещал: "Для поэта, который хочет, чтобы его гений был признан везде и всеми, а не одними только соотечественниками, национальность есть первое, но не единственное условие, необходимое, чтоб, будучи национальным, он в то же время был и всемирным".

Наша литература должна продолжать завещанный классиками "всемирный отклик". Национальная ответственность не должна переходить в национальную узость.

Долг писателей под зловещей тенью атомной бомбы откликаться на стоны узников чилийских тюрем, на сдавленные хрипы руин Бейрута, на крики протеста английских женщин, окруживших ракетную базу в Гринэм Коммон, на последние шепоты голодающих в Эфиопии. Но человечество начинается для нас с Родины. И лишь неутаивание и неумалчивание ни о чем в своей родной стране дает моральное право всемирности. Это и есть гражданственность.

1985

## ИЗУРОДОВАННЫЙ РОЯЛЬ

Это случилось 17 октября 1984 года в Переделкине. Несколько грузчиков с осоловелыми от бормотухи глазами вытаскивали рояль из дачи, знаменитой по фотографиям на весь мир. Рояль стонал всеми струнами, когда его бока протаскивали в двери, обдирая с крышки позолоту надписи "Бехштейн". В траурной зеркальной глубине этого рояля, казалось, жили великие призраки Скрябина, Рахманинова, Рубинштейна, Горовица, Нейгауза, когда-то игравших на нем. Роялю до боли не

хотелось покидать этот дом, потому что всеми клавишами он помнил легкие сильные пальцы своего хозяина — Бориса Пастернака, который играл на нем, чтобы исповедоваться звуками, когда порой не хватало слов. Рояль, вздрагивая от безжалостных ударов в косяки, старался не слышать молодецки пьяных выкриков: "Кантуй, заводи, заноси!" — и лихорадочно, спасительно вспоминал бессмертные строки Пастернака, посвященные ему, роялю, как живому существу: "Рояль дрожащий пену с губ оближет...", "Я клавишей стаю кормил с руки..." Музыка в доме Пастернака была всегда своей, родной. По воспоминаниям современников, при игре матери поэта Розалии Исидоровны плакал Лев Толстой, ее игрой восхищались Ключевский, Репин, Суриков, Поленов, приехавший Эмиль Верхарн. Этот рояль был последним — оставшимся верным даже в самое тяжелейшее время — другом Бориса Пастернака. Но грузчики всего этого не знали — рояль сорвался с их крепких похмельных рук, и, с хряском разламываясь от удара, полетела верхняя крышка, как расколовшееся зеркало русской истории, русской культуры.

То, что я вам сейчас рассказал, это не поэтическое преувеличение, а, к сожалению, факт, и я сам запоздало гладил своими виноватыми руками изуродованное тело этого рояля.

Были многочисленные обращения писательской общественности, наших выдающихся ученых, музыкантов в разные инстанции с призывом организовать на даче Пастернака его дом-музей, где пока еще нетронуты сохранились, как при жизни поэта, его личные вещи, библиотека, рукописи, а также портреты Веры Фигнер, Кропоткина, Дебюсси, Собинова, Брюсова, знаменитые иллюстрации к Толстому, сделанные отцом поэта — замечательным художником Леонидом Пастернаком. Но, несмотря на все эти реликвии, Министерство культуры СССР, секретариат Союза писателей СССР, руководство Московской писательской организации, чей председатель Феликс Кузнецов спрятал коллективное письмо московских писателей в защиту дома-музея Пастернака, а сам с этой высокой трибуны по-хамелеонски лицемерно разыгрывал из себя продолжателя революционных демократов XIX века, с которыми его роднит только расчетливо отпущенная псевдонародническая борода, — все они не шевельнули и пальцем и позволили литфондовским грузчикам по их простоте и похмельному неяснению события совершить черное дело вышвыривания памяти о великом русском, советском, всемирном поэте из его дома.



А ведь Маяковский называл стихи Пастернака гениальными, Ахматова так сказала о нем:

...И вся земля была его наследством,  
А он ее со всеми разделил.

Когда Пастернак перед войной участвовал во Всемирном антифашистском конгрессе мастеров культуры, весь зал встал, приветствуя его. Вместе со своим отцом, одним из первых нарисовавших с натуры Ленина, Борис Пастернак создал равный афористичностью, пожалуй, только Маяковскому поэтический портрет сердца и голоса революции:

Столетий завистью завистлив,  
Ревнив их ревностью одной,  
Он управлял течением мыслей,  
И только потому — страной.

Научиться бы по этой формуле некоторым очинушившимся писателям, ибо, теряя управление мыслями нашей литературы, нашего народа, они теряют право на управление Союзом писателей.

Сначала опустошенную дачу Пастернака пытались подслушать некоторым нашим писателям, но, к их чести, все они отказались. Да какая русская уважающая себя вдова может обидеться на то, что создали дом-музей одного из лучших поэтов за всю историю великой русской и мировой поэзии! Под канцелярским предлогом, скрывающим тайное стремление к уютной нивелировке, уравниловке, вынесли решение секретариата СП СССР об общем музее писателей, не пригласив на это заседание не только крупных писателей, кто обращался с письмом по этому поводу, но и некоторых секретарей Союза, стоящих за создание персонального дома-музея, подписавших коллективное письмо, как, например, Роберт Рождественский. Я был вчера в доме Пастернака и видел устанавливаемые там стандартные стенды с фотографиями, напоминающие безвкусную провинциальную доску почета. Многим хорошим писателям на этих фотографиях, высоко ценившим творчество их соседа Б. Пастернака, казалось неловким, что их вовлекают в недостойное отбирание дома великого поэта. Справедливость по отношению к имени Пастернака сейчас восстанавливается, его книги издаются многотысячными тиражами, стихи, казавшиеся когда-то усложненными, становятся сегодня достоянием не узкого круга элитарной интеллигенции, а духовно выросшего народа в целом. Его дом и могила стали местом постоянно-

го паломничества нашей молодежи. Но со дня смерти Пастернака прошло уже 26 лет, а мы до сих пор не удосужились почитать его память заслуженным им домом-музеем, и милые литмузейные девочки прикрепляют эти стандартные фотостенды такими тактичными гвоздочками, словно даже в железных головках осторожных молотков живет человеческая надежда, что настоящий хозяин дома еще вернется...

Сегодняшнее переломное время, которое и наша позиция подготовила своими гражданскими стихами, это время надежд и восстановления справедливости. Принцип человеческого фактора как фактора первейшего — это не только человечнейшее отношение к живым, но и ушедшим. Сколько крыш на необъятных просторах наших — может быть, слишком избаловавших нас своей щиротой и щедростью, доводящих нас иногда до преступной нерачительности, — так неужели не найдем мы или не построим крыши постоянных вечных домов и для Пастернака, и для Твардовского, и для Цветаевой и Ахматовой, и для Платонова, и для всех, кто их заслуживает и еще заслужит?

Куда же дети-то наши будут приходиться, чтоб зачерпнуть дух культуры и совести, — неужели мы оставим им только дискотеки и возможность кричать: "Шайбу!" — вместо того чтобы прошептать однажды, задохнувшись от красоты и величия жизни, пастернаковское:

Примелькается все. Лишь тебе не дано  
примелькаться.  
Дни проходят, и годы, и тысячи-тысячи лет.  
В белой рьяности волн, прячась в белую  
пряность акаций,  
Может, ты-то их, море, и сводишь, и сводишь  
на нет.

1986

## КАЗНЬ СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ

Писатель Солоухин всенародно попытался оправдать свое предательство Пастернака на собрании 1958 года и предательство вообще чуть ли не как неизбежную бытовую норму при определенных условиях. В данном случае мы имеем дело с редким в прессе жанром — с опровержением покаяния в содеянном зле.

Вот некоторые выдержки из той речи Солоухина, приве-

денные спустя 30 лет в журнале "Горизонт". "Поскольку он (Пастернак. — *Е.Е.*) является внутренним эмигрантом, то не стоит ли ему стать на самом деле эмигрантом? В связи с этим мне вспомнилась такая аналогия. Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то были разговоры — а вдруг она окончательно шатнется и уйдет в тот лагерь? И мудрый Мао Цзэдун в устном выступлении сказал, что этого никогда не будет потому, что американцам нужно, чтобы она была в нашем лагере... И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом, — он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут... И тогда это будет настоящая казнь за предательство, которое он совершил..." В течение тридцати лет у Солоухина была возможность спасти свою душу — хотя бы одним покаянием. Плевавшие в казнях — прокляты. Но нельзя становиться на путь мести заблудшим — надо дать им возможность очиститься покаянием. Такой шанс есть у каждого заблудшего. Но с лица того, кто клеймил своими плевками другие человеческие лица, проклятие сойдет лишь тогда, когда он найдет в себе мужество повиниться в "святой простоте", подбрасывавшей хворост в костры инквизиции. Покаявшиеся да прощены будут! Но черная печать непрощения будет лежать на лбах тех, кто увеличивает свой грех гордыней непокаяния да еще и попыткой оправдания своего греха, попыткой постыдного сваливания его на других.

За тридцать лет, Владимир Алексеевич, казалось, грех предательства вашего был глубоко, надежно укрыт под могильным холмом неразглашения, но гласность подмыла его, как вода весенняя, и вина застарелая ваша высунулась, словно ручонка убиенного дитяти из наконец-то оттаявшего сугроба. А вы ведь хотели засыпать эту ручонку золотистым песочком ваших славословий Пастернаку по телевидению — авось былое позабудется. Но ваша обнаружившаяся двуликость потрясла до глубины души читательницу, может быть, поклонницу "Владимирских проселков" и "Писем из Русского музея"; и спросила она горестно: кто вы на самом деле — борец за культуру русскую или один из ее убийцев? А вы, вместо того чтобы покаяться хоть сейчас, за что многое бы вам простилось, ответили так озлобленно, как будто кровному врагу, хотя, может быть, эта читательница и была совестью вашей, которой вы смертельно испугались и которую возненавидели. И тогда в черный омут греха неотмоленного стали вы тянуть и Каверина, который даже за неучастие в том собрании и то повинился. Как

же можете вы ставить на одну доску себя, непокаявшегося злоучастника, и горько, самобезжалостно покаявшегося "неучастника", старейшего нашего писателя, известного своей совестью?

Не только мне, но и многим другим писателям "выкручивали руки", и все-таки мы не согласились. Не пытайтесь, выгораживая себя, оболгать всех других. Мой отказ и отказ других, которых пытались втянуть в это дело, не был только трусливым молчанием, как это сейчас пытаетесь показать вы при помощи вашего всеоправдывающего тезиса: предложили — выступил. Мне и другим тоже "предлагали", и мы не выступили. Это была уже позиция. Жутко читать, когда не бывший лагерный начальник, не бериевский следователь, а именно писатель, да еще небесталанный, употребляет страшноватенькие самооправдания профессиональных палачей: "Такие уж были времена", "Просто это действительно было в духе времени — предложили — выступил", "Надо понимать и то, что существовало еще и такое понятие — партийная дисциплина", "Нет, дорогие мои, хорошие, если уж отмываться и каяться, так давайте все вместе и сообща...", "Назовем время, ибо времена, как известно, меняются..." Разве оплевывание казнимых не было подлым делом во все времена — и Понтия Пилата, и Сталина? Разве предательство людей не есть мерзость и во времена Ивана Грозного, и Хрущева? Разве, наконец, не менее постыдна, чем духовное палачество во время застоя, попытка это палачество оправдать во времена сегодняшней перестройки? Какая отвратительная педагогика потенциальных предательств, подбрасываемая нашим потомкам, ибо и они, если усвоят эти отравленные уроки, смогут без всяких угрызений совести предавать своих лучших поэтов, своих лучших людей, а потом оправдывательно пожимать плечами: "Такие уж были времена..." Это же готовый рецепт погубления всех наших надежд на перестройку, рецепт морального разложения душ.

Самораскрытие Солоухина ужасает: "Удивлю, но скажу, что острого желания каяться и "отмываться" я как-то никогда не испытывал, не потому, что я тогда, выступая, был уж очень умен и хорош, а потому, что не чувствую за собой особенного греха..." Такого циничного заявления, когда собственный тяжкий грех пытаются размазать по всем другим лицам, русская словесность, пожалуй, еще не слыхивала ни от одного писателя.

Талант в русской литературе сыздавна измерялся как наиглавнейшей мерой — муками совести. Пушкин терзался тем,

что не принял горькую участь декабристов. Достоевский, изведая ад Мертвого дома, изводил себя тем, что его покарали свободой, не разделенной со столькими другими заключенными. Толстой мучился, как проклятым, аристократическим происхождением, унаследованным богатством. Мучились даже теми грехами, которые не только не совершали, но даже и не замысливали. Ну а уж если были на самом деле грешны, то отмаливали грехи не словами — собственной кровью. "За каплю крови, общую с народом, прости меня, о Родина, прости!" — написал в свое время Некрасов. Покаяния не стыдились. Покаянием очищались. Великий нравственный постулат "все виноваты во всем" направлен не на удобное для преступников "всеобвинение", а на невозможность ничьего самооправдания. Солоухин решил перевернуть этот постулат, обвинив всех и вся в свальном грехе гражданской казни Пастернака, на коем фоне и он, Солоухин, и его тринадцать сотоварищей якобы "не хуже других". Нет, все-таки те, кто проклинал с амвона, хуже молчавшей паствы. Те, кто произносил громовые речи о врагах народа на процессах тридцать седьмого, несравнимо хуже молчаливой толпы, стоящей с убогими узелками передачи на улице Матросская Тишина.

Солоухин с удовольствием манипулирует евангелическими образами, защищая поддельным христианством свои антихристианские теории, хотя почему-то распятие Христа связывает только с Каифой и с Пилатом, по законам Фрейда, деликатно умалчивая о самом главном предателе — Иуде.

Но ведь вдоль дороги на Голгофу стояли не только плевавшие. Стояли и сострадавшие, недостаточно смелые для того, чтобы броситься и попытаться спасти казнимого, но достаточно смелые хотя бы для того, чтобы на виду у палачей плакать сочувствующими, отнюдь не безопасными слезами. Все-таки плевки в ближнего позорней слез о ближнем, даже если они бессильные.

Все-таки есть разница между устами, оскверненными плевками в казнимого, и между устами, шептавшими молитву о смягчении его предсмертных мук. Конечно, виноваты не только те, кто плевал и вбивал гвозди в ладони. Те, кто сострадал казнимым, но не восстал во имя их спасения, тоже полностью не прощены ни историей, ни своей собственной совестью. Но казнь собственной совестью есть верный признак того, что совесть существует.

## КОНТРАМАРКА НА ПРОЦЕСС

**В** своем предсмертном интервью "Московским новостям" от 11 сентября 1988 года Ю. Даниэль сказал: "Как ни странно, но запомнилось, что в зале суда было много доброжелателей, я ощущал теплую волну симпатии. Помню отчаянное лицо Евтушенко, другие лица, все они выражали сочувствие".

До процесса я не был лично знаком с его героями — читал только предисловие А. Синявского к однотомнику Пастернака, и мне попадались время от времени переводы Даниэля. Псевдонимы Николай Аржак и Абрам Терц были мне знакомы по "тамиздату", но, честно говоря, их произведения мне не очень нравились, и я даже предполагал, что это мистификация, созданная за рубежом, а вовсе не посланная из СССР. Раскрытие псевдонимов, арест Синявского и Даниэля ошеломили интеллигенцию.

Я пошел на прием к секретарю ЦК КПСС П.Н. Демичеву, просил его, чтобы не было уголовного процесса. Демичев, по его словам, лично тоже был против суда. Он сказал мне, что Брежнев поставили в известность об аресте постфактум, и он принял решение: спросить Федина — тогдашнего председателя Союза писателей, — решать ли этот вопрос уголовным судом либо товарищеским разбирательством внутри СП. Федин брезгливо замахал руками и сказал, что ниже достоинства Союза писателей заниматься подобной уголовщиной. Помимо коллективного письма против уголовного суда над Синявским и Даниэлем существовали и другие письма подобного содержания, одно из которых было подписано мной. Тем не менее, несмотря на протесты, процесс состоялся. На процесс выдавали билеты!!! Точнее, контрамарки. Я с огромным трудом получил в парткоме контрамарку, она выдавалась только на одно заседание. Я несколько опоздал, так как пробиться сквозь толпу, окружавшую здание, и милицию было нелегко. Когда я вошел в небольшой зал, вмещавший человек сто, заседание уже шло. Едва я успел сесть на место, как судья Л. Смирнов, заметивший мой приход, немедленно обвинил Синявского в том, что он в своей набранной в "Новом мире" и затем рассыпанной перед самым процессом статье выступил "против" уважаемого поэта Евтушенко.

Это был один из самых отвратительных моментов в моей жизни. Я почувствовал себя втягиваемым в грязнейшую провскацию. Когда меня политически оплевывали в газетах, обвиняя в "несмываемых синяках предательства", наше доблестное

правосудие почему-то молчало и вдруг неожиданно решило меня "защищать", обвинив в предательстве Родины двух моих коллег-литераторов! Наверно, именно в этот момент у меня было "отчаянное лицо", по выражению Даниэля. Меня выручил Синявский (да, именно он, подсудимый, выручил меня, сидевшего в зале!). Синявский сказал, что это не была статья против Евтушенко, многие стихи которого ему нравятся, в статье критикуются только некоторые его произведения. Он глядел не на судью, а на меня, поверх голов, и в глазах его я читал нечто, похожее на: "Нас хотят сделать врагами, но мы не должны этому поддаваться". Так оно и случилось впоследствии.

Много раз многие люди передавали мне теплые слова обо мне и Синявского, и Даниэля, не забывших ни мою подпись под письмом в их защиту, ни другую помощь, которую я, насколько было в моих силах, оказывал. В этом нравственное отличие Синявского и Даниэля от некоторых других уехавших на Запад коллег, в чью защиту я тоже не раз выступал в тяжелые моменты их жизни, но которые затем "отплатили" мне по древнему печальному закону — "ни одно доброе дело не остается безнаказанным". Бог им судья.

После этого шумного процесса над писателями родилось слово "подписант", обозначавшее человека, поставившего свою подпись в защиту инакомыслящих. "Подписанты" попадали в черные списки на телевидении, их верстки или рассышались, или задерживались, их заграничные поездки отменялись, некоторых выгоняли со службы. В число таких "подписантов" попал и я — и тоже претерпел немало неприятностей, однако, в отличие от многих коллег, я был все-таки защищен своей внутрисоюзной и международной известностью. Несмотря на попытки запретить мою поездку в США в 1966 году, бюрократии это все-таки не удалось. Нынешний заместитель председателя общества "Знание" тов. Семичастный сейчас старается в своих "самоадвокатских" воспоминаниях изобразить себя чуть ли не меценатом искусств (например, якобы он всячески пытался смягчить гнев Хрущева на Пастернака). Все это ложь. Я присутствовал на митинге комсомола, где Семичастный громил Пастернака с вдохновенным садистским упоением. Став шефом КГБ, Семичастный хотел использовать дело Синявского и Даниэля для дальнейшего "закручивания гаек". На встрече в "Известиях" он обронил фразу, что кое-кого надо снова "сажать". На вопрос "сколько?" он ответил: "Сколько нужно, столько и посадим". Перед моим отъездом в США

Семичастный на одном из совещаний напал на меня, сказав, что наша политика слишком двойственна — одной рукой мы сажаем Синявского и Даниэля, а другой подписываем документы на заграничную поездку Евтушенко. Это был опасный симптом. Однако мне уже была выдана выездная виза.

Во время поездки по США в ноябре 1966 года я был приглашен сенатором Робертом Кеннеди в его нью-йоркскую штабквартиру. Я провел с ним несколько часов. Во время разговора Роберт Кеннеди повел меня в ванную и, включив душ, конфиденциально сообщил, что согласно его сведениям псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой. Я тогда был наивней и сначала ничего не понял: почему, в каких целях? Роберт Кеннеди горько усмехнулся и сказал, что это был весьма выгодный пропагандистский ход. Тема бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе. Я попросил у Роберта Кеннеди разрешения передать эти сведения Советскому правительству, так как считал такое поведение вредным для интересов нашей страны. Роберт Кеннеди согласился с условием: не упоминать его имени. Я пришел к одному человеку в нашей миссии, которого впоследствии буду называть Б.Д., благородным дипломатом. Он действительно вел себя в этой истории благороднейшим образом. Я рассказал ему о полученной информации. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Б.Д. даже и не попытался выяснить — кто дал мне такие сведения. Для него было достаточно моей джентльменской формулы "крупный американский политический деятель". Б.Д. попросил меня составить телеграмму, чтобы затем отправить ее в Москву шифровкой. Понимая опасность такой телеграммы для меня, я спросил — кто ее будет читать. "Только я и шифровальщик", — заверил меня Б.Д. Я, конечно, боялся. Те, кто устроил процесс Синявского и Даниэля, безусловно, преследовали свои личные цели, ибо могли пробиться в верхний эшелон только на "закручивании гаек", обвинив соперников в мягкотелости. Итак, я оставил телеграмму в нашей миссии.

На следующее утро часов в семь утра раздался телефонный звонок в мой номер. Мужской голос сказал, что меня ждут внизу, в вестибюле, — за мной по срочному делу прислали машину из нашей миссии. Мы договорились с женой, что, если я не вернусь и не позвоню до часу дня, она может созывать пресс-конференцию. У нее на глазах были слезы, но она держалась



мужественно. Мне было невесело, но, к счастью, я был внутренне подготовлен. Внизу меня ждали двое незнакомых мужчин, относительно молодых, с незапоминающимися спортивными лицами. Когда я спросил: "Что случилось?", один из них кратко ответил: "Скоро все узнаете".

Очень было глупо, что во время нашего ничего не значащего разговора второй из них включил в машине радио, сделал рукой жест, намекающий на подслушивание. Этот фальшиво-серьезный жест насмешил меня и несколько улучшил мое настроение. Мы вошли в здание миссии, но когда распахнулась дверь лифта, опереточность ситуации еще более усилилась. Один из двоих загородил спиной кнопочный пульт, чтобы я не видел, кнопку какого этажа нажимает его партнер. Выйдя из лифта, мы оказались перед дверью без номера, без фамилии. Комната, в которую меня пригласили, была почти пуста — стол, два стула, настольная лампа и, пожалуй, все. Далее все продолжалось, как в плохом американском детективном фильме, которых, видно, слишком насмотрелись эти двое. Мне предложили стул перед столом. Один из них стал за моей спиной. Другой, действуя по всем голливудским стандартам, снял пиджак, бросив его на спинку стула, сел на стол, картинно заложив ногу на ногу.

Для сохранения "голливудской" разработки деталей он растегнул верхнюю пуговицу рубашки, децентрировал узел галстука и спросил, глядя в упор, по его мнению, пронизывающим взглядом:

— Кто был тот политический деятель, о котором вы писали в своей телеграмме?

Я понял, что они ее читали. Каюсь, незаслуженно плохо я подумал в тот момент о Б.Д. Я решил потянуть время:

— Какую телеграмму?

— Телеграмму, где вы пытаетесь опорочить органы... — раздалось рычание за моим затылком.

— Я никого не пытаюсь опорочить, — сказал я, поняв, что дальше притворяться бессмысленно. — Я только передал сведения, сообщенные мне одним американским политическим деятелем. Если они правдивы, те, кто арестовал Синявского и Даниэля, нанесли вред престижу нашей страны, попались на удочку...

— Это клевета! — зарычал теперь уже другой, сидящий на столе.

— Если это неправда, то я не несу за это ответственности. В Москве разберутся... — ответил я.

Тогда они начали пулеметно называть имена различных политических деятелей США, с которыми я встречался за мою поездку, — сенатора Джавица, представителя в ООН Гольдберга, назвали и Роберта Кеннеди. Я, стараясь быть как можно спокойней, отвечал, что есть законы человеческой порядочности, и я их не нарушу. Этот простой довод их почему-то привел в особое раздражение.

Вдруг я услышал нечто, от чего у меня по коже прошел легкий холодок:

— Нью-Йорк — гангстерский город. Если с вами что-то здесь случится, то "Правда" напечатает некролог с нотками сентиментальности о поэте, погибшем в каменных джунглях капитализма...

Но в следующий момент страх мой неожиданно прошел — я понял, что меня нагло, беспардонно шантажируют. Я резко обернулся, схватил моего "затылочного следователя" за галстук.

Из меня прорвался шквал великого, могучего русского языка, накопленного мной на сибирских перронах и толкучках, в переулках и забегаловках Марьиной Рощи, да такой шквал, что мои "следователи" ошарашенно замолчали и, переглянувшись с непонятным мне значением, вышли.

Вот тогда я испугался по-настоящему — когда я оказался совсем один, в пустой комнате. Пустота, неизвестность, одиночество были страшнее угроз. Сколько времени я находился один, я не знаю, может быть, всего минут пять, может быть, полчаса. В конце концов я подошел к закрытой двери, потянул ее на себя, и она неожиданно легко открылась. Я оказался в совершенно пустом коридоре недалеко от лифта, нажал кнопку и через мгновение влетел в него, чуть не сбив с ног стоявшую там официантку в наkolке с подносом, накрытым белоснежной накрахмаленной салфеткой.

— Вы не к Б.Д.? — с надеждой спросил я.

— К нему, — сказала официантка. — А вы мне автограф не дадите?

— Я тоже к нему, — торопливо сказал я и так же торопливо расписался на этой салфетке.

Б.Д. сидел на диване в маниловском халате с гусарской окантовкой и читал книгу по восточной философии. У Б.Д. опять не дрогнул ни один мускул на лице ни тогда, когда он увидел меня, ни тогда, когда услышал все, что случилось со мной. Он не задал мне ни одного лишнего вопроса, только попросил поподробнее описать внешние приметы моих "следова-

телей". Это было нелегким делом, ибо их главной приметой была бесприметность.

— У вас есть один близкий американский друг — профессор, ответственный за вашу поездку — Альберт Тодд. Поезжайте-ка к нему сейчас и расскажите все, что рассказали мне.

Я обомлел. Обычно существовало неписаное правило — не говорить иностранцам ни о чем, что происходит внутри советских посольств. А тут меня даже просят...

— Я вам дам мою машину, которая отвезет вас к Тодду. Шоферу можете полностью доверять, — сказал Б.Д. — Хотите, я вам подарю новое прелестное издание Бо Цзю И?

Через полчаса я уже был у Тодда, откуда сначала позвонил жене, а потом рассказал ему об этом "голливудском" допросе, о шантаже.

Тодд побледнел, услышав мой рассказ, и бросился куда-то звонить, закрыв дверь комнаты, в которой стоял телефон. Тодд тоже меня не спрашивал, кто сказал мне о Синявском и Даниэле — он был джентльменом, как и Б.Д. Через два часа к подъезду дома Тодда подъехала машина, из которой вышли двое мужчин тоже без особых примет, но уже иного, американского типа. Они заняли места около подъезда. Тодд спустился вниз, о чем-то поговорил с шофером советской машины, пожал ему руку, и тот уехал. Некоторое время эти двое неразговорчивых мужчин сопровождали меня в моих поездках по гангстерскому городу Нью-Йорку. Потом мы с Тоддом уехали в турне по американским провинциям — уже без сопровождения. Вернулись мы примерно через месяц. Советская миссия при ООН устроила в мою честь огромный прием. У дверей стоял Б.Д. У него было, как всегда, хорошее настроение.

— Два ваших слишком назойливых поклонника отправлены на Родину, — незаметно для других полусшепнул он мне между рукопожатиями с перуанским и малайзийским послами и спросил: — Читали ли вы новый роман Кобо Абэ? Какая прелесть!..

Семичастный был вскоре снят, как и другие, близкие ему люди, которые пытаются сейчас выглядеть в своих мемуарных интервью чуть ли не двигателями прогресса. Но, к сожалению, "диссидентские процессы" постепенно приобрели инерцию снежного кома. Мне приходилось еще до дела Синявского — Даниэля писать письмо в защиту Бродского, затем — в защиту Н. Горбаневской, А. Марченко, И. Ратушинской, Л. Тимофеева, Ф. Светова и других, не говоря уже о письмах в защиту

тех, кого подвергали не уголовному, но не менее тяжкому общественному преследованию. Одним из самых циничных изобретений борьбы с инакомыслием стало запихивание в "психушку".

"Диссидентские процессы" подрывали престиж нашей страны не только за рубежом, но прежде всего в наших собственных глазах. Они разрушали в нас чувство достоинства — человеческого и гражданского.

Перестройка — это восстановление гражданского достоинства. Поэтому наряду с явными победами демократизации кажутся особенно нетерпимыми любые попытки унижения нашего достоинства, с таким трудом восстанавливаемого: применение дубинок и слезоточивых газов в Белоруссии, драконовские установления о спецпропусках для журналистов, провокационные жестокости в Грузии. Чтобы раз и навсегда закрепить правовое достоинство в наших законах, бесполезно напоминать об отвратительных унижениях этого достоинства — о "диссидентских процессах".

1989

## ЛЖЕНАБАТ

### Лозунги из пронафталиненного сундука

Давненько, со времен дела "врачей-отравителей", когда всячески разжигались антисемитские настроения, мне не приходилось видеть печально памятного лозунга "Нет — безродным космополитам!". Но именно этим лозунгом истерически размахивали на трибунах Дворца спорта "Крылья Советов" 23 января, где в рамках праздника "Голоса и краски России" проходила встреча редколлегий и постоянных авторов журналов "Москва", "Молодая гвардия" и "Роман-газеты" с читателями. Впрочем, и при участии общества "Память", поскольку в зале развевались и лозунг "Движение "Память" победит", и красное знамя, на котором серп и молот были заменены на Георгия Победоносца. Георгий Победоносец на знамени в руках воинов, защищавших Россию от ворогов-супостатов, был символом русского мужества. Но не забудем, что тот же самый Георгий Победоносец в руках черносотенцев был символом погромов. Дело не в самом Георгии Победоносце, а в том, кто подразумевался под змием — действительный ли враг, или

ворог, изобретенный для оправдания необходимости махать копьём налево и направо.

Итак, кто же такие были змии, обозначенные в речах ряда ораторов? Их был целый террариум — причудливый, извивающийся клубок существ с ядовитыми жалами: Троцкий, Свердлов, Бухарин, Каганович, Заславская, Аганбегян, Коротич, Б. Васильев, Нуйкин, Шмелев, Стреляный. В виде пресмыкающихся (перед Западом) были представлены журналы "Знамя", "Огонек", газета "Московские новости".

Понимаю, что ни председатель, ни президиум не могут полностью отвечать ни за поведение зала, ни за каждое выступление. Но если председатель и президиум не реагируют на оскорбительные речи, на хулиганские выходки, то разделяют за это часть ответственности. Как, например, за речь заместителя главного редактора "Молодой гвардии" Вячеслава Горбачева, который в издевательском духе национального стравливания скрупулезно зачитывал статистику: сколько в стране евреев-академиков, сколько евресв-писателей, сколько евреев с высшим образованием и т.д. В этой связи мне вспомнился рассказ одного советского дирижера о разговоре с американским дирижером. Советский дирижер, отвергая слухи об антисемитизме, якобы еще встречающемся в СССР, сказал: "Вот, например, в нашем оркестре, приехавшем к вам, в США, семь человек — евреи..." Американский дирижер печально заметил ему в ответ: "Вы знаете, а я в своем оркестре евреев никогда не считал..."

Вот некоторые записи, сделанные мною в блокноте: "Поразному, конечно, можно относиться к желтому "Огоньку"... Выкрики: "Долой желтую прессу! Позор!" "Сейчас Коротич в Америке. Его пригласил Буш... У них одно правление". Выкрик: "Пусть не возвращается!" "Пытаются замутить сознание, очерняя Сталина... Да, конечно, у Сталина были отдельные ошибки, но..." (бурные аплодисменты, заглушающие робкое "но" и переходящие в овацию).

Кто-то, может быть, захочет отнести мои зарисовки с натуры по разряду справедливо осуждаемой литературной междоусобицы. Не советую. Приведенные факты не имеют отношения к литературе: разжигание вражды — явление политическое.

Странное у меня было чувство, будто я уже где-то видел это наркотическое упоение собственными выкриками. Вспомнилась, к слову, "тусовка" в день рождения Гитлера несколько лет тому назад на Пушкинской площади, ритмическое раскачивание подростков с осоловело стадными глазами. Не приби-

лись ли сегодня эти вчерашние подростки в поисках новой, более легальной стадности к шовинистским лозунгам? Шовинизм — это самая дешевая возможность почувствовать свое превосходство, которое дается не умом, не талантом, не трудом, не добротой душевной, а просто национальностью.

Лозунги, вытаскиваемые из пронафталиненных сундуков, могут превратиться в боевой арсенал реакции. Перестройка — это попытка духовного и экономического раскрепощения. Но иногда раскрепощаются и низменные, подстрекательские страсти, ведущие сограждан не к взаимопониманию, а к взаимоненависти.

Я против разгонно-дубиночной аргументации, против унтерпришибеевского запретительства. Но есть случаи, когда нельзя молчать и надо прибегать к аргументации нравственной. Нельзя допускать, чтобы демократию использовали против демократии, гласность для удушения гласности. Многое в истории нам еще не будет ясно до тех пор, пока окончательно не рассекретят все архивы. Но навсегда рассекречено одно страшнейшее преступление против народа — это возбуждение взаимоненависти при помощи недоказанных обвинений. Именно это возбуждение взаимоненависти и привело к миллионам трупов, на долгие годы преградившим нашему народу путь к демократии.

Советские и американские кинематографисты всерьез поставили вопрос о взаимном прекращении создания "образа врага" на экранах. Но, к сожалению, у нас не перевелись любители создавать этот "образ врага" из своих соотечественников.

На вечере прозвучало: "Прислушайтесь, народ на площади бьет в рельсу". Как показывает история, нет ничего ненародней, чем попытки группы людей говорить от имени народа, отбирая это право у других. Призывать к восстановлению храма Христа Спасителя без соблюдения христианской терпимости — это разрушение храма надежды на всечеловеческое братство.

Мы должны восстановить все поруганные национальные русские святыни. Но не будем забывать, что наши национальные святыни — это и доброта, и гостеприимство, и всемирная отзывчивость. Русский патриотизм — это Пушкин, Толстой, а не сочинители протоколов сионских мудрецов.

Не народ бьет в рельсу — это его зазывают лженабатурой монополизаторы русского патриотизма.

## ПОБЕДЫ И ШУТКИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Трагически медленно демократизируются экономика, правовая система, государственный аппарат, армия, милиция, в ряде случаев применяющая необоснованно грубые меры против мирных шествий и митингов. По-прежнему медленно демократизируется статистика. Мы до сих пор не знаем численности собственной армии, стоимости обороны, не знаем, сколько у нас заключенных, сколько тюрем и лагерей, не знаем, сколько у нас психически больных, сколько случаев венерических болезней, сколько самоубийств. Мы не знаем размеров нашей помощи развивающимся странам, не знаем размеров наших собственных займов. Мы не знаем точных сегодняшних данных о последствиях радиации Чернобыля и прогнозов относительно будущих потенциальных землетрясений... Да мало ли чего мы не знаем! Список того, о чем мы не информированы или дезинформированы, вряд ли уместился бы на пространстве полного собрания сочинений Льва Толстого!

Демократизация общества — это в первую очередь приближение к равной степени информированности. Конечно, профессионал КГБ, парработник и слесарь-водопроводчик по роду своих занятий нуждаются в информации разного рода. Но нельзя, чтобы в нашей стране существовала какая-либо каста, использующая свое преимущество в информированности для сохранения этой кастовости. Демократизация общества упирается в дефицит информации. Не должно быть никаких закрытых распределителей — в том числе и закрытых распределителей информации.

Итак, после первых лет перестройки многие результаты неутешительны. Но сама возможность честно сказать о неутешительности результатов является не только утешением, но и одной из побед демократизации.

Победа демократизации — это постепенное изменение состава воздуха в стране, из которого мало-помалу изымаются такие отравляющие ингредиенты, как страх высказать собственное мнение, как ощущение себя только крошечной послушной деталью государственной машины. Но рядом с победами демократизации есть и ее шутки, порой злые. Так, например, гласность, ратующая за свободу мышления, — это победа, а так называемая гласность, ратующая за подавление мышления, — это уже шутка, и довольно злая. Призывы к восстановлению разрушенных национальных традиций, памятни-

ков культуры — это победа, а вот великодержавная шовинистская истерия, доходящая до антисемитизма, или националистская ограниченность, доходящая до антирусизма, — это настолько злая шутка, что дело выглядит нешуточно.

Одна из побед демократизации — это многокандидатная система выборов в народные депутаты. Но и тут бывают злые шутки. Так, например, в президиуме Академии наук забаллотировали двух замечательных ученых и достойных граждан — А. Сахарова и Р. Сагдеева. Вторая злая шутка — грязный скандал, разыгранный хулиганами-шовинистами при первой попытке выдвижения В. Коротича. Третья злая шутка — при тайном голосовании в Союзе писателей не выбрали ни одного армянского писателя — это после всех клятв в дружбе и сочувствии к национальному бедствию Армении. Как могли подниматься руки и вычеркивать имена представителей этой многострадальной земли? Дело тут не в национальном вопросе, а просто-напросто в групповщине: надо было "протаскивать" своих, а армяне в эту группу не входили. Стыдобища... Групповщина в Союзе писателей доходила до того, что относительно молодой писатель Личутин дал самоотвод под высокомерным предлогом того, что ниже его достоинства быть в одном списке с редактором "Огонька"... Это все шутки злые, недостойные...

Но были и шутки совсем не злые, а наивно-смешные, происходящие от нашей полной непривычки к демократии, от катастрофически уморительного незнания собственных прав и избирательных правил. Изначально были непонятны некоторые квоты — почему, например, в партийном списке именно 100 кандидатов, а не 99 или 101 и почему в Союзе писателей на 10 тысяч его членов — 10 кандидатов и так далее.

На повторном избирательном митинге в Дзержинском районе, где выдвигался Коротич, царил невообразимый хаос. Сравнительно небольшой зал (мест 500) оказался набитым до отказа за два часа до объявленного времени. В результате тысячи две человек столпились на улице, где бездейтельно, хотя и относительно тактично, маячили работники милиции. По толпе ходили слухи (впоследствии неоправдавшиеся), что в зале находятся противники Коротича, которые снова хотят сорвать собрание. Толпа бушевала. Но это бушевание энтузиастов перекрыло путь инициативной группе, которая должна была представлять находившегося в заграничной командировке Коротича. Мне пришлось взять мегафон в автомашине ГАИ и попросить толпу расступиться, чтобы пропустить С. Федорова, А. Адамовича, Ю. Карякина и меня. Люди, не попавшие



внутри, расступились и вручили мне списки голосов за Коротича с номерами паспортов и адресами. Пройдя внутрь, я немедленно передал эти списки (около трехсот голосов) представителю окружной избирательной комиссии, спросив его — действительны ли будут эти голоса? И вдруг он растерялся. Он не знал (!!!). Он честно пытался дозвониться в окружную комиссию, но телефон, конечно, был занят. А собрание надо открывать. Проникнуть в битком набитый зал было невозможно, потому что все фойе были тоже перенабиты. Оставался один путь — через сцену и президиум. Но проход на сцену был бдительно заперт на ключ. Когда ключ наконец-то нашли и я, теряя пуговицы, продрался на сцену и хотел спуститься в зал, то увидел, что это невозможно — в зале негде яблоку упасть. Пришлось остаться на сцене. Немедленно раздался злобенький, но процессуально справедливый визг: "Почему Евтушенко в президиуме?" К счастью, зал оказался доброжелательным и немедленно проголосовал за то, чтобы меня и моих товарищей довыбрать в президиум. Зал учился демократии. Несмотря на шум, крики и неразбериху в самом начале, зал на глазах самодисциплинировался, отсеивал крикунов сам. Зал вполне тактично выслушал речи двух других кандидатов, хотя явно не был настроен голосовать за них. Но вежливость, человеческое уважение были безусловно проявлены. На моих глазах реально происходил первичный процесс демократизации: саморегулирование того, что сначала могло показаться непоправимым хаосом. Почему-то приняв меня за наводителя порядка, попросили сходить в другое помещение, где импровизированно разместились еще примерно тысяча избирателей из тех, кто не попал в официально объявленное помещение. А может быть, эту импровизацию кто-то все-таки по-хозяйски продумал заранее? Там тоже царило то, что могло показаться хаосом, — не было достаточно бюллетеней, царили бесконечные дебаты. Председательствующий — очень милый, но совершенно задерганный человек обиженно говорил аудитории: "Ну, если вы меня не слушаете, я вообще могу уйти..." — и даже пытался предложить свой микрофон кому-нибудь другому. Но зал, постепенно поняв, что хаос ничего не решит, начал выплавлять конструктивное решение из разноречивых криков. Реальностью была нехватка бюллетеней. Тогда зал проголосовал за открытое голосование. Поняв, что открытое голосование с несколькими кандидатами будет практически неосуществимо, зал вышел на единую кандидатуру, отведя все остальные без какого-либо оскорбительного оттенка. Это была тоже победа демократизации,

хотя она и не обошлась без шуток. Так, во время выборов счетной комиссии один пенсионер-женофоб, которому женщины, видно, когда-то сильно насолили, потребовал убрать женщин со сцены и заменить их ветеранами войны. Но зал и воспринял это только как шутку — не больше.

При выдвижении академика Сахарова в Доме кинематографистов тоже были "шутки демократизации", когда к микрофону прорвались опереточные типажи, но и кандидат нешуточностью своей программы, и зал нешуточностью своего отношения к кандидату выровняли ситуацию в сторону серьезной гражданственности.

Я тоже испытал сам на себе шутки демократизации. Будучи выдвинутым Московской писательской организацией, я был забаллотирован пленумом Союза писателей СССР. Затем, однако, я был выдвинут кандидатом одного из трудовых коллективов Ленинского избирательного округа. Несмотря на это, по неизвестным причинам, когда я по просьбе инициативной группы написал в окружную избирательную комиссию согласие баллотироваться, то мое согласие не хотели принимать. Была ли тут злая воля? Уверен, что нет. Они опять не знали (!), могут принимать мое письменное согласие или нет.

Таковы некоторые победы и шутки демократизации.

Мне не хотелось бы, чтобы в будущем наши выборы стали такими же изошренными и циничными, как иногда в некоторых западных странах. Что-то есть неповторимо искреннее, неприбранно домашнее в этом нашем первом опыте свободных выборов. Может быть, мне просто повезло с этими двумя собраниями, потому что, судя по прессе, еще многие выдвижения проводят по старинке, по заранее распisanному сценарию. Из этих сценариев, как показала история, впоследствии ставятся или кровавые трагедии, или жалкие водевили. Надо в будущем распусти́ть факультет политических циничных сценаристов.

Хотелось бы, чтобы в будущем наша избирательная система не впала в чрезмерную ловкаческую искусственность, не утратила бы первозданного привкуса "неорганизованности", но и все-таки избавилась бы от суматошной любительщины, от юридического невежества. Окончательное суждение о выборах можно, конечно, иметь лишь после окончательных результатов.

Но, несмотря на злые или просто нелепо-безобидные шутки, сама демократизация есть главная собственная победа.

## НЕВОСПИТАННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ

### Страна начинается с аэропорта

Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Страна начинается с аэропорта. Иногда — даже с борта самолета.

В прошлом году я возвращался на нашем самолете из Таиланда. Моим соседом был профсоюзный деятель — таец, выточенный из вежливости, как статуэтка из слоновой кости. Он первым делом стал искать наушники и переключатель звуковых программ, обычно помещаемый в подлокотники на всех авиалиниях мира, за исключением нашего Аэрофлота. В иностранных самолетах, как правило, бывает пять программ: симфоническая, оперная, джазовая, кантри и рок, а при длительных рейсах — видеофильм. Словом, уж если загнивать, так с музыкой...

Когда таец с жалобной вежливостью спросил стюардессу: "Где музыка?" — та гордо включила централизованную, как во всех наших поездах, радиосеть, и во всех салонах аэробуса во все динамики оглушительно грянуло: "Ну почему, почему, почему был светофор зеленый..." Лишь после того как индуска со спящим ребенком на руках взмолилась, "светофор" вырубил. Заодно вырубил и свет — и тоже сразу во всех салонах. Сосед, который что-то трудолюбиво считал на мини-компьютере, напрасно пытался нашарить лампочку в потолке. "Индивидуальное освещение в проекте этого самолета не предусмотрено..." — с непонятной патриотической гордостью объяснила стюардесса. Таец выкрутился: он достал из "дипломата" мини-фонарик и направил его на клавиши компьютера.

Стоянка в аэропорту Дели была, как визит на красочную ярмарку. Несмотря на полуночное время, сувенирная галерея была открыта, и радушные, но и не слишком приставучие продавцы зазывали в свои магазинчики. Чего только здесь не было — и деревянные и бронзовые Будды, и материи, похожие на крылья жар-птицы, и видеомagniтофоны, и сортов пятьдесят индийского чая...

Когда через несколько часов мы приземлились в Ташкенте, картина в аэропорту была иная. Там было закрыто все, что должно было быть открыто. Вхождение в зону закрытости мы почувствовали еще в воздухе — стоило только пересечь грани-

цу. Была ночь, но сквозь сине-серебряное марево внизу, как чье-то рассыпавшееся ожерелье, мерцали редкие огни кишлаков. Мой таец, несмотря на привычки бизнесмена, видимо человек с чувством красоты, немедленно вытащил из футляра свою "Минолту", чтобы сфотографировать фосфоресцирующее чудо ночи. Но бдительная рука стюардессы перекрыла объектив. "Съемки над территорией Советского Союза запрещены..." — сказала она жестко и беспрекословно. Таец торопливо стал запихивать "Минолту" в футляр. А ведь запрещение фотографировать с борта смехотворно, ибо давным-давно даже номера автомашин можно разглядеть в особую оптику со спутников. Все старание бюрократии "втереть очки" иностранцам бессмысленно, ибо их с первого шага в нашей стране устрашают туполобым запретительством, отвращают низким уровнем отношения к человеку. Мой сосед затравленно съезжился, когда пограничник, встречавший нас на трапе в транзитном ташкентском порту, так мрачно, просверливающе взглянул на гостя, как будто у него под зубной пломбой был спрятан секретный план оросительной системы Узбекистана. Пассажиры, испуганно прижавшись друг к другу, двигались в чреве ташкентского аэропорта по так называемой лестнице-чудеснице, которая скрежетала зубами, как старая ведьма. Всюду были груды мусора. Тайцы, которым с детства вбивали в голову, что советские люди — это роботы, напичканные пропагандой и пичкающие ею других, вжав головы в плечи, шли мимо одинаковых плакатов с Лениным, которых я насчитал двадцать штук. На ободренных стенах также были развешаны самопрославительные рекламы Аэрофлота: "Советская авиация несет на своих крыльях мир и дружбу, способствует развитию политических, экономических и культурных связей государств с различным социальным строем..." Ресторан и бар были закрыты. Никакого сувенирного киоска не было. На стендах была выставлена сплошная примитивная пропагандистская литература, при виде которой тайцы еще более по-черепаши втянули головы в плечи. Выставка блеклых фотографий "Привилегированный класс советского общества" с тошнотворной неубедительностью пыталась показать аристократическую жизнь советского пролетариата.

Мой таец, сходя в туалет, робко шепнул мне: "Мне кажется, следует сообщить администрации, что туалетная бумага кончилась..." Наивный таец — она там и не начиналась. Когда я сказал об этом сонной уборщице, та неопределенно хмыкнула, исчезла, а вскоре прошествовала в туалет с охапкой мятых

газет, полных призывов к перестройке. Наконец появилась такая же сонная официантка, толкая перед собой столик на колесиках со стаканами, до половины полными какой-то подозрительной жидкости чайного цвета. На вопрос: "Что это?" — она ответила кратко, хотя и загадочно: "Напиток". Дети третьего мира почти не притронулись к этому напитку — в их так называемой "отсталой стране" подавать напитки в открытом виде считается элементарно негигиеничным, точно так же как в их "отсталой стране" я никогда не видел в уборных газет вместо туалетной бумаги. Когда мы снова шли к самолету, мой таец, считая себя уже достаточно проверенным, пытался пройти сквозь контроль вместе со своим "дипломатом". Но не тут-то было. Мощные ручищи представительницы Аэрофлота, больше похожей на переодетого женщиной кабацкого вышибалу, грубо вырвали у него "дипломат" для досмотра. Когда таец что-то пробовал объяснить по-английски, его так же грубо толкнули в спину: "Проходи, проходи в накопитель... Лопочут невесть чего — пойди их пойми... Выучили бы сперва наш язык, а потом бы уж к нам и ехали..." Мой таец смертельно перепугался, что у него отнимут "дипломат", а когда отдали — уже совсем по-нашему, по-советски, с благодарной униженной затырканностью обрадовался. Представительнице Аэрофлота даже в голову не пришло, что, работая в международном аэропорту, это она должна была выучить хотя бы один иностранный язык. Не пришло ей в голову, что "накопитель" — это слово из лагерного лексикона... А вы не задумывались о том, сколько лагерного в нашей ежедневной "вольной" жизни — всевозможных накопителей, отстойников, очередей то за тем, то за этим, как за лагерной баландой, насильственных сгоняний в кучу, унижительных "шмонов" — физических и духовных, "паханства" и "шестерничества", видимых и невидимых колючих проволок... Когда я укоризненно сказал представительнице Аэрофлота: "Почему вы себя так грубо ведете?" — она возмущенно вспылила: "То есть как это грубо? А я что — на брюхе перед ними должна ползать?"

Есть категория людей, которые вежливость считают унижением, а грубость — сохранением личного достоинства. Такое у них воспитание — невоспитанное воспитание. Поэтому даже в глазах гостей из "слаборазвитых стран" мы выглядим как страна слаборазвитой вежливости. Но, может быть, то, что случилось в ташкентском аэропорту, не могло случиться в столичном? Вот Шереметьево — главные воздушные ворота стра-

ны. Не бросалось ли вам в глаза, что в фойе не на что присесть? Вероятнее всего потому, чтобы на скамьях не спали, как где-нибудь на Казанском вокзале, не портили бы светлого впечатления от СССР. Но ведь спят. Прямо на мраморном полу. Вповалку, в случае нелетной погоды. Нелетная погода не есть чисто советское явление. Но спят на полу почему-то только у нас. Гостиничных мест при аэропорте в несколько раз меньше, чем нужно. "Ничего, переберются..." — говорят здесь со злорадной усмешкой про иностранцев. Но иностранцам перебиваться приходится лишь временно, а вот мы перебиваемся всю жизнь. А кто нам такую жизнь устроил — иностранцы, что ли? Мы сами. Наша грубость к иностранцам происходит от грубости друг к другу. Эта грубость разоблачительно прет, начиная с аэропорта.

Самолет приземляется в Шереметьево. Трапа приходится ждать иногда по полчаса. Когда трап появляется, приходится ждать автобуса. На трапе — обязательный пограничник, двойник того самого, который так напугал моего тайца в Ташкенте. Этот пограничник никого и ничего не проверяет — он с бессмысленной бдительностью вглядывается в лица. Затем перед нами несколько застекленных будок, где сидят пограничники, проверяющие паспорта. Обычно большинство будок пусто, и пассажиры скапливаются у одной или двух, немедленно создавая очереди. Молоденькие пограничники в будках, может быть, совсем неплохие парни, напускают на себя угрюмую недоброжелательность, иногда требуют, чтобы пассажиры сняли шапки, неизвестно почему задают вопросы, на которые уже отвечено во въездных анкетах. Ни разу я не слышал, что кто-нибудь из этих стражей государственных границ сказал: "Добро пожаловать!", "С возвращением!" или хотя бы по-человечески улыбнулся. Запрещают это им, что ли? А ведь лицо пограничника — это тоже лицо страны.

Пограничник нехотя возвращает вам паспорт, и вы входите в зал выдачи багажа. Спокойно присаживайтесь на неподвижный конвейер — вам придется подождать как минимум час. Когда наконец конвейер начнет двигаться, не обращайте внимания на табло — бангкокские чемоданы могут оказаться на ленте монреальского рейса или наоборот. Носильщиков раз в десять меньше, чем нужно. Значит, должны быть тележки? Слишком много вы захотели от Аэрофлота, занятого тем, что на своих крыльях он несет мир и дружбу. Я однажды чуть со стыда не сторел, видя, как делегация канадских старушек, надрываясь, волокла чемоданы. Слава богу, рядом оказались

наши моряки, возвращавшиеся из Сингапура, — мы вместе по-могли бабушкам. Во всех цивилизованных аэропортах два вы-хода — для тех, кому есть что декларировать, и для тех, кто считает, что ему декларировать нечего. Профессионализм та-моженников и заключается в том, что багаж они проверяют лишь выборочно, полагаясь на информацию или интуицию. У нас таможенники проверяют почти всех чохом, за исключением членов делегаций, да и то не всегда. В результате иностранцы уже в аэропорту проходят первичную адаптацию к лицемерию наших отечественных очередей, а возвращающиеся советские граждане проходят разадаптацию от отсутствия оных в кап-странах. Таможенные правила поражают своей нелогичностью, придирчивой мелочностью, а иногда и просто глупостью. Для завершения перевода на английский моей поэмы "Фуку" ко мне на неделю прилетела переводчица из США — Нина Буис. Тамо-женники изъяли у нее перевод, сказав, что для проверки (!) им нужна неделя. Но через неделю моя переводчица уже улетела. Кафкианская ситуация! И это случилось уже не в годы застоя, а сейчас, во время перестройки. Совсем недавно у моего сосе-да, финна, в поезде Москва—Хельсинки таможенники конфи-сковали журнал "Тайм", в самом благожелательном духе по-священный Горбачеву. Во всех экономически разумных госу-дарствах налог платят только за ввоз того, что можно купить в стране, куда вы въезжаете, чтобы не подрывать коммерцию. У нас все наоборот — вы платите налог за то, чего у нас нет. На первый взгляд, это борьба со спекуляцией. На самом деле это игра на повышение цен спекуляции. Почему существует налог на видео- и аудиокассеты, которых днем с огнем не найдешь в наших магазинах? Почему есть налог на ввоз компьютеров, если глава государства призывает к компьютеризации, а соб-ственные компьютеры ни к черту не годятся? Почему запреще-но ввозить "ксероксы" для личного пользования? Это сохра-нившийся со времен застоя животный страх перед "нелегаль-щиной". Между тем личный "ксерокс" ускоряет работу любого писателя, журналиста, ученого чуть ли не втрое. Таможенный кондуит, который однажды мне еле-еле удалось заполучить в руки после настоятельных требований, — это филькина грамо-та, где рукой то вписывают, то вычеркивают разные началь-ственные "бзики", в чем сами таможенники зачастую не повин-ны. Еще года два тому назад я видел оскорбленно плакавшую в аэропорту знаменитую актрису, летевшую на международный кинофестиваль. У нее чуть ли не из ушей выдрали серьги — не положено. Сейчас драконовский запрет на вывоз личных укра-

шений отменили, но кто знает, какие новые унижения выдумают назавтра?

Пребывание пассажира в аэропорту Шереметьево длится часа три с половиной после прилета — примерно столько же, сколько полет Лондон — Москва. Три с половиной часа унижения тянучкой, неразберихой. Последний раз я увидел моего тайца, кое-как впихивающего перерытые чьими-то руками рубашки, носки обратно в чемодан. В глазах у него была печаль покорности и нечто новое — привычка к унижению...

### От царизма — до церберизма

При всех неприятностях иностранец у нас лицо привилегированное. Забавно и горько, что этой привилегированностью объединены две категории: депутаты и иностранцы, как будто все депутаты — иностранцы, а все иностранцы — депутаты. Иначе чем объяснить отдельные комнаты отдыха, отдельные билетные кассы, отдельные буфеты в аэропортах для депутатов и иностранцев? Но советские депутатские привилегии кончаются перед мордой валютного вышибалы, монументально застывшего начеку перед дверью, за которой наш "рупь" уже недействителен. Наш рубль можно принимать в общество "Память", ибо он настолько ультрапатриот, что врагам не продается. Ядовито насмешлив парадокс, когда на пришвартованном теплоходе, носящем имя великого русского поэта, "Александр Блок", — валютный ресторан, куда русские люди с их рублями не допускаются. Впрочем, шоколадный набор "Сказки Пушкина" уже тоже давным-давно продается только в магазине "Березка". А можно ли представить надпись на дверях французского ресторана: "Обслуживание иностранных делегаций"? Или — американский магазин "Секвойя", где все продают только на рубли, а не на доллары? Отношение к иностранцам у нас издавна состоит из двух крайностей: из шпиономании и из валютномании... Недавно мне позвонила моя соседка, народная артистка СССР, и срывающимся от волнения голосом сообщила, что всех нас, жильцов дома 2/1 по Кутузовскому проспекту, собираются выселить из квартир, потому что их решили продать за валюту под представительства иностранных фирм. Представьте мемориальную доску в честь гениального исполнителя главной роли во всемирно прославленном революционном фильме "Чапаев" рядом с вывеской какой-



нибудь прохиндейской фирмюшки "Кукишсмаслом импорт"! По легенде, один из французских королей никак не мог выслать своего собственного булочника. После решительного протеста жильцов Моссовет вынужден был пойти на попятный, но разве не унизительна была сама идея выселения во имя валютной наживы соотечественников, которые все стерпят!

Почему вместе с призывами к правовому государству нас то и дело унижают, преподавая нам на нашей собственной шкуре издевательские уроки бесправности?

Социализм у нас начали строить по схеме крепостничества. Насильственная коллективизация — экономическая троекуровщина. Надругательство над лучшими умами России — троекуровщина идеологическая. Крепостничество породило надсмотрщицкий слой — церберов. Цепи царизма распались, но, к сожалению, вместе с цепями, на которых сидели церберы. Стать цербером — заманчивая перспектива для любого самого беспороднейшего пса, который согласен за кость, кинутую ему, кусать любого, на кого науськают, а если надо — и придушить. Церберы дореволюционной формации управлялись крепостниками. Церберы новой формации управлялись лишь страхом друг друга при пирамидальной структуре церберской иерархии. Не только Берия был сталинским цербером, но и Сталин был цербером, зависевшим от других церберов. При церберизме, состоявшем из выбившихся дворняг, медали давали именно за беспородность. Времена кровавого церберизма прошли. Но церберы оказались живучими. Беспородность не вымирает. Беспородность переходит в беспородность. Не случайно "Бесы" Достоевского становятся все более и более актуальной книгой.

Иммунитет от церберизма — это воспитание нравственностью, культурой. Но церберы, как псы-людоеды, пожирали именно носителей нравственности и культуры, как иммуноносителей. Невоспитанность нашего воспитания — это питательная среда для церберизма. Мы все страдаем от ежедневного взаимного лая, ежедневных бытовых взаимоукусов. Существует ли хотя бы один советский гражданин, ни разу не цапнутый ни одним цербером?

Дежурные на этажах в наших гостиницах — метафора цербероидного общества. Много лет назад я был свидетелем того, как во время гастролей Рихтера в Иркутске его личные вещи выбросили из "люкса". "Какой там Рихер! — бушевал безграмотный директор гостиницы. — Начальник "Братскгэсстроя" Наймушин приезжает!" Нодара Думбадзе не пустили ночевать

в гостиницу "Москва", когда он забыл перевинтить депутатский значок с одного пиджака на другой. В наших гостиницах царит напряженная атмосфера лагерной зоны, где у дверей стоят церберы с золотыми галунами и с вертухайским прошлым. Однажды, придя с одним бывшим лагерником в московский "Националь", я стал ошеломленным свидетелем его почти теплой встречи с бывшим майором-охранником, ныне перешедшим в более высокооплачиваемый ранг — ресторанного гардеробщика. Непримируемое "непущательство" этих ландскнехтов "Интуриста" на самом деле липа, ибо все рестораны и бары набиты проститутками, фарцовщиками, торговой мафией. Привилегия "непущательства" одновременно превращается в весьма доходную привилегию выборочного "пущательства". Самая процветающая в нашей стране республика — это "ресторанная Швейцария".

Как швейцары наших государственных границ, ведут себя некоторые работники ОВИРа, изображая из себя таинственную неприступность, под которой порой скрывается стремление хапнуть взятку за смягчение патриотической бдительности. А разве не так же себя ведут идеологические непущатели, по-церберски бдя, чтобы не просочились "не те" люди, книги, идеи, изобретения? Внешне это политическое охранительство выглядит, как пуританский фанатизм, но за дверьми, охраняемыми плечами этих идеологических вышибал, такой же бардак, как в интуристовских отелях.

Существует кадровый церберизм. Иногда он носит национальный характер, прикрываемый болтовней об интернационализме. Году в шестьдесят третьем считавшийся прогрессивным редактор одного журнала, интернационалист-профессионал, так ответил на мою просьбу взять в штат выпускницу Литинститута — еврейку: "Старик, нас и без того заели эти гужееды-антисемиты... Пойми, у нас в редакции превышена процентовка..." "Какая процентовка? — изумился я. — Разве есть инструкция о процентном количестве евреев?" "Такой инструкции, конечно, нет, но... Но все-таки она есть..." "А где же она написана?" "В воздухе, старичок, в воздухе..." — торопливо сказал редактор, спеша на заседание Советского комитета защиты мира.

Главный принцип кадрового церберизма — в непущательстве так называемых "неуправляемых людей" и в выборочном пущательстве "управляемых" — то есть послушно извивающихся вместе с генеральной линией. Именно эти "управляемые" и доуправляли нашу страну почти до пропасти — нрав-

ственной и экономической. Церберская паника охватила сейчас некоторые райкомы, райисполкомы, избиркомы при выдвижении "неуправляемых" кандидатов. Церберы и не подумали залазить — хотя бы для приличия — на черносотенные выходы, оскорбляющие кандидатов. Но зато они проявили свою церберскую бдительность в сдирании объявлений о встречах с кандидатами, в выбивании залов проинструктированными выборщиками, в сомнительном подсчете голосов, в непущательстве на выборы представителей прессы и общественности. Церберизированная демократия — это церберократия.

Но было бы нечестно приписывать церберизм только бюрократам, самих себя выставляя в сентиментальном образе сенбернардов-спасателей. В наших семьях, магазинах, на улицах все время слышатся церберское рычание друг на друга, церберский лязг зубов. Все мы искусаны друг другом.

Недавно, опаздывая на выступление, я безнадежно "голосовал" на улице Академика Опарина, у Центра по охране здоровья матери и ребенка, где навещал жену. Мимо промчались, может быть, штук с полсотни машин, но ни одна даже не замедлила хода. Я встал посреди улицы и сложил руки крест-накрест над головой — знак "SOS". Но машины, теперь уже залезая колесами на тротуар, продолжали объезжать меня. А ведь я стоял напротив больницы — со мной могло случиться нечто пострашней, чем опоздание на выступление. Но в ответ на взывающие о помощи руки только грязь из-под колес по лицу. И вдруг я подумал: а разве я сам, будучи за рулем, всегда останавливался, видя чью-то вскинутую руку?

Не я ли сам, в другом обличье, во множественном числе сидел за рулями автомашин, обдающих грязью мое собственное лицо?

### Откуда берутся циники?

Церберизм — это продукт нашей нравственной невоспитанности. Нравственно воспитанное общество не позволило бы, чтобы церберы, чье место на цепи, сами сажали людей на цепь. А воспитание-то у нас невоспитанное. Главная задача децерберизации нашего общества — это воспитание самого воспитания. Педагогика нравственности должна начинаться с воспитания воспитателей.

Чему может научить учитель, если он сам живет не по тем нравственным законам, которые преподает ученикам? Препо-

давание нравственности безнравственными людьми — это превращение образования в фабрику, штампующую циников. Нечего потом всплескивать руками и возмущенно негодовать — откуда берутся циники? Из нашего с вами лона. Никаким "растлевающим западным влиянием" нельзя оправдать массовый цинизм, перед лицом которого мы оказались и ужаснулись, — а не наше ли это с вами лицо, генетически повторенное в лицах наших детей?

Существует шлюшная педагогика безнравственности, когда уже растленные учителя из всех сил стараются завербовать на поприще духовного разврата еще чистые души, превращая их в новорастленные, а затем производя из наиболее "талантливых" учеников будущих учителей-растлителей. Педагогика безнравственности чаще всего хочет казаться единственной нравственностью. Разве не педагогика безнравственности — концепция человека как винтика государственной машины, вбивание в голову нерассуждающего казарменного "надо", теория приоритета классово-борьбы над общечеловеческими ценностями? Мы упростили бы сложность проблемы, если бы педагогика безнравственности происходила от злонамеренности педагогов. Но многими из них двигала преступная "святая простота", преподающая школьникам искусство подбрасывания хвороста в костры еретиков. Поспешная канонизация бывших еретиков как святых и превращение бывших святых в злых колдунов привели многих юных к цинизму. Но не будем спешливы и возымеем мудрость отделять цинизм от самозащитительного подросткового скепсиса. Под таким скепсисом иногда прячется жажда высоких идеалов, смешанная со страхом обмануться в этих идеалах, попасться на приманку предательски зазывных обещаний. Разве мы, столько раз обманутые бывшие дети, не обманывали своих детей обещаниями "догнать и перегнать", "жить при коммунизме" и так далее? Разве мы не провожали их оркестровыми благословениями на так называемые великие стройки, где наши дети обдирали на морозе кожу с ладоней, укладывая разрекламированные нами "рельсы будущего", которые первым же летом проваливались в раскисшую, далеко не вечную, как оказалось, мерзлоту? Разве не мы, скомпрометировав преподавание истории, подхалимски перемещали центр, где выковывалась Победа в Великой Отечественной, из сталинского кабинета в точки пребывания на фронте Хрущева, а потом на Малую землю? Разве не мы в неблагодарной суетности вырезали Хрущева из исторических кинокадров, где он был снят вместе с вернувшимся из космоса Гагариным? Разве не мы, пе-

чатая юбилейные статьи об уничтоженных Сталиным выдающихся деятелях революции, доходили в своем ханжестве до того, что иногда даже не приводили даты их гибели — 1937 год, ибо по такой дате наши дети могли все-таки догадаться, что эти люди не умерли в своей постели? Разве не мы, заботясь о будущем наших детей, а на самом деле его разрушая, учили их держать язык за зубами, не болтать ничего лишнего? А ведь это "лишнее" и была "по-отечески" удушаемая нами из самых лучших побуждений гласность. Разве не мы отправляли наших детей в Афганистан, трусливо пряча нашу родительскую боль, не превращая ее в общественное мнение, которое могло бы спасти наших детей? Разве не мы на глазах у наших детей подменяли вечные идеалы блудливо угождающей очередному клиенту идеологией, спешно модифицируемой по его вкусу? Разве еще совсем недавно наши дети не давились смехом перед телевизорами, глядя на еле ворочающего челюстью дедушку-самонагражденца? И разве не мы заставляли наших отсмеявшихся вечером детей на следующее утро писать сочинения на тему награжденных Ленинской премией дедушкиных антинаучно-фантастических мемуаров, сфабрикованных высокопоставленными литературными неграми?

Мы сами — это те папы Карло, которые выстрегивали из поленьев не маленьких-удаленьких Буратино, а циников. Нечего пенять на то, что учебники, по которым мы учили, были плохи.

Учитель, даже трагически лишенный учебников современной истории, сам может быть таким живым учебником для своих учеников. Прекрасно, если правдивым, страшновато, если ложным.

### **Национальный такт — первый признак интеллигентности**

Сто с лишним лет назад Толстой заметил в одном из писем: "Я увлекаюсь все больше и больше изданием книг для образования русских людей. Я избегаю слова "для народа", потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления: народа и ненарода".

Как видим, величайший русский интеллигент проявил национальный такт, общественную застенчивость, не считая себя вправе монополизировать патриотизм. Поучиться бы национальному такту у Толстого некоторым членам общества "Память" и их литературным вдохновителям! Национальное

деление на "народ" и "ненарод" не менее бестактно, чем социальное. Надо прививать национальный такт еще в школе. Вопиющие случаи преподавания национального языка в школе — это оскорбление национального достоинства. Заодно скажу, что бездарное преподавание русского языка — это тоже его уничтожение. Уважение к родному языку — часть национального достоинства.

Но не менее важно, чем личное и национальное достоинство, — достоинство интернациональное. Человек, превозносящий только свой народ, но при этом унижающий другой народ, даже не замечает, что этим роняет и свое личное, и национальное достоинство. Национальное высокомерие оборачивается на деле унижением собственной нации, а не чужой. Национальная закомплексованность — это обидчивость раба. Великодержавный шовинизм и вместе с тем узкоэгоистические национализмы, перечеркивающие гигантский позитивный вклад русского народа в мировую историю, одинаково относятся к низкой общественной культуре. Мы должны спасать чистоту наших языков, красоту наших национальных культур, неповторимость природы наших родных мест, особенности наших обычаев и верований не порознь, не отчуждаясь, не взаимопротивопоставляясь, а вместе. Нет народа, который фатально обречен быть врагом другому народу на всю историю, даже если между ними когда-то пролилась кровь. Враги у всех народов одинаковы: это войны, стихийные бедствия, тяжести ежедневной жизни, взаимонедоверие, несвобода, бюрократия. Неужели мало этих общих врагов, чтобы делать врагов друг из друга?

Порой невольным разжигательством страстей служит даже не ненависть, а элементарное отсутствие национального такта. На Днях советской литературы в Абхазии, в старинном селе Члоу, один прозаик да еще и редактор комсомольского журнала взял да и брякнул: "Смотрите, сколько знаменитых писателей со всего Советского Союза понаехало в наше крошечное абхазское село. Я недавно был в США — разве мыслимо там представить, чтобы американские писатели приехали в таком же представительном составе в резервацию к вымирающим индейцам?"

Нехватка национального такта чуть не привела к неприятному конфликту, если бы не врожденный такт абхазских стариков, над сердцами которых вздрогнули серебряные газыри.

Национальное достоинство — в соблюдении национального такта. А может быть, национальный такт и есть первый признак интеллигентности?

## Антиинтеллигентность — это антинародность

Стыдно было видеть на нынешних предвыборных собраниях и вокруг них охотнорядские крикливые попытки противопоставить народ интеллигенции.

Наша интеллигенция — многострадальное дитя нашего народа. Наша интеллигенция — защитница народа.

Журнал "Новый мир", возглавлявшийся народным интеллигентом Александром Твардовским, защищал интересы обманутого, попранного российского крестьянства гораздо больше, чем увешанные медалями бессловесные передовики полей, заседавшие в Верховном Совете и послушно голосовавшие за все, что им предлагалось с трибуны.

Натравливание народа на интеллигенцию — это натравливание народа на его защитников. Антиинтеллигентность — это антинародность. Войнствующая антиинтеллигентность сначала в лице старорежимного Победоносцева с его совиными крыльями, пересыпанными нафталином, а затем в лице новорежимных победоносиковых, надевших палаческие фартуки мясников, обрызганные чужой кровью, отнюдь не стеснялась делить нацию по своему вкусу на народ и на ненарод. После штучного отлучения от церкви Льва Толстого антиинтеллигентность перешла к массовому отлучению от народа таких выдающихся интеллигентов, как Вавилов, Чайнов, Платонов, Булгаков, Табидзе, Чаренц, Мандельштам, Ахматова, Шостакович, Пастернак, и многих других.

Самое страшное, что в это отлучение была невольно вовлечена и школа. Из воспитательницы интеллигенции ее невольно пытались сделать сообщницей по уничтожению интеллигенции, которое шло вместе с уничтожением талантливейших крестьян, рабочих, красных командиров. Наши университеты и институты сталинская система пыталась превратить из колыбели гражданственности в инкубатор церберизма. Но, к счастью, это удалось не до конца.

Отечественному образованию был нанесен страшный урон — и физический, ибо в тюрьмах и лагерях погибло множество прекрасных преподавателей, и моральный, поскольку оставшиеся в живых преподаватели были обречены на раздвоенность души между кровавой реальностью и системой преподавания. Практически это было преподавание в лагере.

Однако, несмотря на эти нечеловеческие условия, Карбышевы нашего образования, живьем замурованные в лед инструкций, все-таки продолжали совершать подвиг воспитания в чело-

веке — человеческого. Земной поклон таким учителям за то, что они воспитали в школах будущих спасителей человечества от фашизма, за то, что в кровавые или просто подлые времена не дали погибнуть надеждам на самоспасение нации — на гласность и демократию.

Но рядом с подвижнической педагогикой нравственности и в нашей школе, и в прессе еще живы тенденции педагогики безнравственности, пытающейся морально дезориентировать наше общество.

Так, например, в восьмом номере "Молодой гвардии" за 1988 год проскальзывает такой цинический пассаж: "...пусть скажут, когда творчество Мандельштама играло значительную роль в литературном процессе? Когда оно доходило до широкой массы народа, отражало его глубинные интересы и чаяния?"

Эта риторическая фигура неожиданщины безнравственна потому, что поэзия Мандельштама, замученного в лагерях, была долгое время запрещена и физически не могла "доходить до широкой массы народа".

В двенадцатом номере журнала "Москва" другой критик также походя оскорбляет другого классика нашей поэзии: "Определенная часть критики, понимая, что для оживления поэтического авангарда нужен авторитетный предтеча, усиленно "накачивает" фигуру Пастернака..." Разве это не педагогика безнравственности, не антиинтеллигентность, когда снова ничтоже сумняшеся оскорбляют уже не раз незаслуженно оскорбленного великого поэта? Агрессивная антиинтеллигентность чаще всего исходит от недоинтеллигентов.

Не надо прикрывать антиинтеллигентность знаменем с Георгием Победоносцем, направившим пику на змия. На знаменах антиинтеллигентности, похожих на совиные крылья, на самом деле не Георгий Победоносец, а Победоносцев.

## **Стыд — это двигатель прогресса**

Учитель — это тоже писатель, который пишет не книги, а живых людей. Лгущий учитель превращается в массового производителя будущих лжецов. Плохих детей, как и плохие книги, нельзя выпускать слишком большим тиражом. Выпуск хороших людей и хороших книг слишком малым тиражом опасен для нравственного генофонда. Все дефициты антигуманистич-



ны и поэтому неоправдываемы. Но один из самых антигуманистических дефицитов — книжный.

Предположим, я алкаш. Пил, что называется, по-черному, но теперь, так сказать, "в свете решений" желаю просветиться. Имею настроение приобщиться к мировой, коза ее задери, культуре. К Монтеню, извините за выражение, меня волокет. К Ларошфуко меня неизвестно что пришпандоривает. Но в книжном магазине девчата меня на смех поднимают. Одна снизошла и говорит: "Тут был один книголюб из Анадыря — так он мне за Тейяр Шардена соболью шкурку выложил. Так что, дядя Красный Нос, сделаю я тебе Монтеня, ежели ты мне итальянские сапоги сделаешь..." А как я ей сделаю итальянские сапоги, если я, во-первых, не итальянец, а во-вторых, не сапожник? Ну как пробиться к мировой культуре советскому простому алкоголику?

Это, конечно, шутка, но рожденная смехом сквозь слезы. Между человеком, который был воспитан на "Вечном зове", и человеком, который воспитан на "Котловане", уже будет нравственная пропасть. "Мы" Замятина, "1984" Оруэлла — это учебники антитоталитаризма. "Один день Ивана Денисовича", "Жизнь и судьба", "Колымские рассказы", "Крутой маршрут" — это учебники истории. Но до сих пор эти книги трудно достать. Книжный дефицит сегодня — это сердцекастрация будущего. Нравственные двоечники — это прогульщики великих книг.

Есть псевдолиберальная идея о том, что школьников даже с несколькими двойками все-таки нужно переводить в следующий класс. Но не разыгрывается ли это экспериментаторство на взрослых номенклатурных дядях, когда они, заслуживая двойки по идеологии, тем не менее переводятся, как в следующий класс, на пожаротушение или, наоборот, — с пожаротушения на идеологию. Номенклатурные ящички, куда своими остренькими зубками время от времени ныряет кадровая морская свинка, переполнены застарелыми двоечниками, которые никогда не читали и никогда не прочтут "Братьев Карамазовых".

Борьбу с этой двоечной номенклатурой надо начинать еще со школы, ибо уже там зарождаются эмбриональные тираны, которые могут, если дать им вырасти, задушить еще не окрепшую гласность и демократию своими окрепшими ручонками.

Для того чтобы воспитать новое поколение в понимании гласности не как временного дара сверху, а как воздух, необходимый для естественного развития личности, учитель сам должен быть личностью — то есть человеком со своим лицом, а не

с лицом, каждая черточка которого утверждена Наробразом. Для учителей, как для народных судей, не должно быть никакой указки сверху, кроме самой высшей указки — народных интересов и собственной совести.

Никто не принес столько вреда марксизму, сколько его бездарные вдалбливатели. В школах и вузах надо читать не кастрированную, а полную мировую философию, включая историю религий. Ни в коем случае в технических вузах нельзя изымать курса литературы, искусства. Иначе не будет гармонически развитой интеллигенции. Надо удвоить часы по иностранным языкам и не переводить с плохим знанием языков ни из класса в класс, ни с курса на курс. В современном мире человек, не владеющий хотя бы одним иностранным языком, как ключиком к остальному миру, не имеет права считать себя полноценным. Надо снять все барьеры для обменных поездок наших учителей, школьников, студентов за границу. Новое мышление невозможно без мышления глобального. Соединение трех достоинств — личного, национального, интернационального — и есть триединое достоинство человека.

Надо учить детей, которые лично не виноваты в ошибках и преступлениях прошлого, мужеству принятия на плечи исторической вины. Если они не почувствуют исторического стыда, то, став взрослыми, могут повторить уже совершенные в прошлом ошибки и, не дай бог, преступления. Комфортабельное избегновение ответственности за прошлое переходит в избегновение ответственности за настоящее и будущее. Это тоже невоспитанность воспитания. Какое в стране воспитание — такой и народ.

1989

## ВЫБОР БУДУЩЕГО

Первые многокандидатные выборы народных депутатов — это важнейший отрезок тяжкой, но единственно спасительной дороги к демократии. Эти выборы еще нельзя назвать свободными, потому что мы еще не смогли избавиться от многих недемократических привычек. Демократизация — это освобождение от привычек к несвободе. Не дай нам бог преступной свободы от собственной совести. Свобода личности при свободе от совести — угроза обществу. Но только свобода личности, не попирающей свободы других личностей, есть демократия.

Наш трагический опыт показал, что свободы народа без личных свобод не бывает. Депутаты должны быть защитниками наших личных свобод, и только тогда они будут иметь право называться защитниками народа. Выборы депутатов — это выбор нами нашего будущего. Голосая, подумайте: будет ли ваш депутат политическим официантом "чего изволите?" или найдет в себе мужество сказать "нет!", если снова начнут возникать эмбриональные тираны или головастиковые ничтожества, склонные к впрыгиванию на Мавзолей, если кому-то снова придет в голову посылать наших сыновей в чуждальные страны на бессмысленную погибель, если в лоно матери-земли снова будут закладывать, как мины замедленного действия, будущие чернобыли... Не ловитесь на кандидатов-ремонтников с мышлением райсоветовского масштаба, обещающих избирателям с три короба благоустройств. Без политического и нравственного благоустройства все обещания прочих благоустройств так и останутся обещаниями. Самое главное благоустройство квартиры — это не циклевка полов, а гарантия, что дверь этой квартиры уже никогда не смогут выбить полицейским сапогом и арестовать ни в чем не повинных хозяев. Только когда такая гарантия есть, можно спокойно циклевать.

Но в то же время не ловитесь на кандидатов-утопистов, слишком высокопарно рассуждающих о правовом государстве, забывая о праве каждого иметь свою крышу над головой, поесть чего хочется, обуться-одеться во что хочется и поциклевать как хочется. О школе демократии говорить рано, ибо мы в ее яслях. Для меня лично эти выборы были уникальным жизненным уроком: в чем-то радостным, в чем-то жестоким. Демократия — это не общество для принцесс на горошинах. Надо уметь себе самому сказать с улыбкой, означающей, что жизнь продолжается: "Я проиграл, но демократия выиграла". Если, конечно, выиграла именно она...

Крошечная инициативная группа "Мосугольснабсбыта", выдвинувшая меня, и я сам были наивны в предвыборной борьбе. Мы вовремя не подумали, что надо успеть быть выдвинутым как можно большим количеством организаций, чтобы иметь больше выборщиков на окружном собрании. А когда спохватились, то, как по мановению чьей-то невидимой длани, двери всех дворцов культуры и клубов Ленинского избирательного округа оказались для меня закрытыми. Мы еле добыли Дом медика. Однако избирком объявил это собрание неполномочным, придравшись к тому, что Дом медика находится за

границей Ленинского избирательного округа, хотя все собравшиеся были именно оттуда.

Итак, к началу окружного собрания, где присутствовало 12 кандидатов и 601 избиратель, у меня было всего 6 выборщиков. Вот какими размышлениями я поделился с избирателями, говоря о самых главных, на мой взгляд, задачах перестройки.

Главная нравственная задача: поднять достоинство нашей страны через поднятие личного достоинства каждого гражданина. Мы должны наконец превратить Верховный Совет, который часто напоминал в прошлом театр марионеток, в полномочное собрание профессионально компетентных, независимых народных представителей. Нам не нужен Верховный Совет, состоящий из подчиненных, боящихся начальников, или их начальников, боящихся более высоких начальников, или таких начальников, которые не боятся ни народного мнения, ни собственной совести. Именно при подобном Верховном Совете нас подвергли такому унижению гражданского достоинства, когда, даже не спрашивая народного мнения, ввязывали нас в конфликт в Афганистане, где мы понесли человеческие, нравственные и материальные потери. Сохранение нашего достоинства в том, что никто не должен преследоваться за свои убеждения, включая религиозные, за свои высказывания, включая самые критические по самому высокому чиновному адресу, в прессе или на собраниях; за участие в демонстрациях, шествиях, митингах, если они не носят агрессивного характера. Никто не может быть привлечен к судебной ответственности, находиться под следствием без адвокатской помощи. Ввести в действие юридические статьи за оскорбления, задевающие национальное достоинство. Все народы СССР должны уметь защищать достоинство каждого народа, включая язык, культуру, традицию и верования. Прекратить давление на прессу и суд со стороны партийных и государственных органов, а также органов как таковых. Привлекать к суду за давление на прессу и суд. Но одновременно привлекать и прессу, и суд к суду за необоснованные обвинения и приговоры. Никто не может быть оклеветан или незаслуженно оскорблен без последующего наказания клеветников и оскорбителей. Оградить семейную жизнь от бестактного влезания в нее профсоюзных и прочих организаций, ибо иногда это похоже на влезание не совсем чистыми руками в человеческую душу. Отменить унижающую достоинство прописку. Отменить оскорбительную выездную процедуру и ввести постоянный заграничный паспорт сроком на 5 лет.

Главная народнохозяйственная задача: искоренение всех

унижающих человеческое достоинство дефицитов. Для этого необходима полная, без всяких оговорок и уловок отмена всех закрытых распределителей, спецмагазинов, спецбольниц, спецаптек, ведущих к недопустимому в социалистическом обществе созданию спецлюдей. Передача земли, согласно историческому лозунгу "Земля — крестьянам", в собственность тех, кто ее обрабатывает, не поучая их, что делать с этой землей. Беспрепятственно разрешать трудящимся города строительство сельских домов с выделением участков в случае свободной земли. Постепенный переход средств производства на предприятиях в собственность производителей. Одновременно с борьбой против обдирательства кооператорами погребителей бороться против обдирательства этих кооператоров государственными взяточниками, рэкетирами. Помогать госкредитами тем кооператорам, которые не паразитируют на перехваченной госпродукции, а сами производят нужнейшую народу товарную массу, тем самым ликвидируя дефициты.

Кооперация должна быть не только возможностью для тех, кто обладает первоначальным капиталом (в ряде случаев наворованным), а возможностью для всех честных, предприимчивых людей, получив кредиты от государства, помочь государству вылезти из этой ямы, в которой оно оказалось. Постепенчатое перерастание государственных нерентабельных предприятий в акционерные, кооперативные. Государство должно быть не завистливым конкурентом кооператоров, а их заинтересованным партнером. Сокращение, а в ряде неоправданных случаев и прекращение помощи слаборазвитым странам, пока мы сами не превратимся в высокоразвитую державу.

Прекращение экспорта наших высококвалифицированных специалистов за рубеж в то время, когда стране трагически не хватает умных рук. Ограничение вывоза, а в ряде случаев и наложение вето на вывоз продуктов, товаров, включая автомашины, которыми мы не можем обеспечить собственных граждан. Ставка на экспорт переработанного сырья, а не сырья как такового. Полное равноправие коммунистов и беспартийных при выдвижении на руководящие посты, включая самые высшие. Это очистит партию от карьеристских элементов и привлечет многих талантливых людей, представителей более чем 200-миллионной партии беспартийных, к новой гражданской активности. Существование кадрового неравноправия коммунистов и беспартийных — один из главных тормозов перестройки. Отмена возрастной боязни при выдвижении способной молодежи на руководящие посты во всех сферах. Руководи-

тели молодежных организаций не должны быть старше тридцати лет. Одновременная отмена возрастной боязни при сохранении уважаемых старших мастеров своего дела. Постепенное поднятие уровня пенсий, предоставление консультативной оплачиваемой работы пенсионерам. Приравнять воспитание детей к государственной работе и выплачивать матерям в течение одного года полную зарплату при отпуске. Категорически запретить использование женщин на тяжелых работах, в спортивных упражнениях, опасных для материнства. Вовлекать инвалидов в общественную жизнь, утверждать милосердие как норму жизни. Сократить службу в армии до года при повышении интенсивности военного обучения, а затем превратить ее в квалифицированную профессиональную армию. Профессиональная армия обеспечит безопасность наших границ гораздо основательнее, чем дилетанты в погонах. Коренная реформа здравоохранения, связанная с модернизацией диагностики, фармакологии, стационарного лечения. Здравоохранение — это та единственная область, где мы не имеем права экономить на валютных затратах. Реформа образования, создание наконец-то стабильных учебников, не зависящих от очередной конъюнктуры. Сокращение не всегда необходимых политчасов за счет увеличения действительно необходимых учебных часов по профессии. Прекращение мелочной опеки над учащимися, предоставление им большей свободы для общественной самодеятельности с детства. Создание вневедомственной комиссии с правом экологического вето, открытая подотчетность народу всех министерств, включая Министерство обороны, КГБ, МВД. Рассекречивание всех партийных, государственных и ведомственных архивов после десяти лет, введение в Уголовный кодекс специальной статьи за сокрытие и уничтожение архивов. Введение в Уголовный кодекс коллективной и индивидуальной ответственности руководителей министерств и предприятий за нанесение ущерба природе. Превращение профсоюзных организаций, которые зачастую являются лишь придатками парторганизации, в независимую рабочую совесть народа. Предоставление независимости общественным организациям, способствующим перестройке.

Главная внешнеполитическая задача: всячески способствовать не конфронтации стран с разными политико-экономическими системами, а их максимальному сближению на основе экономической интеграции, культурного обмена, взаимотерпимости, перенимание лучших черт одной системы другой при учете взаимных ошибок. Только такая практика может приве-

сти к постепенному созданию новой модели человечества, где никакой стране, в том числе и нашей, не будет грозить война.

Многие избиратели говорили, что лишь прямые выборы способны обеспечить будущую демократию. Обеспечить будущее гарантиями нужно уже сейчас, ибо нашу дорогу к демократии беспрерывно минируют то ниноандреевскими статьями, то полицейскими мерами, как это было во время поминального шествия в Белоруссии.

Что такое депутат? Это — народный представитель. Избран ты или не избран, все равно каждый из нас в чем-то должен ощущать себя народным представителем, то есть в какой-то степени депутатом. Может быть, истинная демократия — это и есть общее всегражданство, общее вседепутатство.

1989

## ДЕРЕВЯННАЯ МОСКВА

### Митинг, похожий на сон

Асфальтированная площадка перед стадионом затоплена двадцатитысячной толпой, скандирующей: "Ес-ли мы е-ди-ны, мы не-по-бе-ди-мы!" В толпе нет ни бюрократов, гладко выбритых электробритвами "Сони" или лезвиями "Жилетт", которых не бывает в открытой продаже, ни королей "черного рынка" с жирными мохнатыми пальцами, усыпанными перстнями, ни звезд эстрады в норковых мехах. Эта толпа состоит из тех москвичей, которые вряд ли зарабатывают больше, чем сто пятьдесят — двести рублей. Студент в лыжной вязаной шапке с кисточкой размахивает лозунгом "Даешь демократию!". Молодая медсестра с лицом, обсыпанным веснушками, поднимает над головой сшитый из простыни белый флаг с синим крестом. Маленький, угрюменький, потрепанный человек трудно угадываемой профессии держит в руке с вытатуированным якорем хрупкую палочку с трепещущим на ветру листом бумаги, на котором надпись: "Ельцин — это как-то бодрит...", совершенно не сочетающаяся с грустным, понурым видом автора самодельного лозунга. А с трибуны ораторы обрушивают на толпу призывы к свободе, к народовластию... Фотокорреспонденты со всего мира гроздьями виснут на столбах. Ко мне

---

Из разных статей, написанных для западногерманской прессы.

подходит знакомый американский журналист, улыбается: "Последние предвыборные митинги в Америке отсюда, из Москвы, кажутся конформистскими. Никогда не думал, что Москва когда-нибудь сможет быть такой..." Признаться, и я не мог этого представить. Конечно, неподалеку от митинга, за железнодорожной насыпью, стоят фургоны защитного цвета, а в них наготове сидят крепкие парни в серых куртках частей особого назначения. Конечно, наверняка в этой толпе есть те люди, которые являются коллективным глазом оруэлловского Большого Брата. Но сейчас милиция не врывается в толпу, не стаскивает с трибуны ораторов, ибо такого приказа пока нет, и даже прислушивается с неподдельным детским интересом к особо мятежным речам. Милиционер, крестьянского вида рыжий парень, услышав призыв к многопартийной системе, морщит лоб, делится своими опасливыми соображениями: "Это что же, значит, — ежели будут, к примеру, три партии, то будут сразу три разных партийных райкома, а мы их всех кормить должны?"

Этот митинг кажется мне невероятным, почти сном, потому что я помню другую Москву — сталинского времени, когда люди боялись шума поднимающегося ночью лифта, ибо их могли арестовать в любое мгновение не только за речь, призывающую к свободе (таких речей давно уже не было), а просто потому, что многоголовому чудовищу полицейщины, для того чтобы выжить, нужно было постоянно питаться живыми людьми. Только в прошлом году открылось несколько страшных тайн Москвы. Рядом с Птичьим рынком есть такое ничем раньше не знаменитое кладбище — Калитниковское, а при нем чудесная старинная церковь Всех Скорбящих. И вдруг оказалось, что под этим "официальным" кладбищем есть засыпанное землей и теперь придавленное чужими гробами другое кладбище — секретное. Когда умер Сталин, Берия немедленно приказал произвести эту засыпку, чтобы скрыть следы преступлений. Даже многие старожилы-москвичи не догадывались, что под свежими могилами прячется старая, общая могила десятков тысяч людей, по суду и без всякого суда расстрелянных в варфоломеевские ночи тридцатых годов. Чудом уцелели несколько старушек, которые тогда были детьми, — и они поведали все, что сохранила их память. С пристальным, все замечающим любопытством детей они решили подсмотреть: что делают люди, приезжающие вечером в парк в закрытых фургонах? Притаившись в кустах, дети увидели страшную картину: фургон подъезжал к самому краю длинного глубокого оврага, задняя стенка откидывалась, и наша советская зондеркоманда в



длинных фартуках, в резиновых сапогах и перчатках сталкивала специальными крюками один за другим в овраг голые трупы с пулевыми дырками в черепах, заткнутыми тряпицами. Многие трупы были уже не первой свежести, со вздувшимися животами, и, падая вниз, они лопались с характерным ужасающим звуком. По парадоксально-трагическому совпадению напротив кладбища был мясокомбинат имени Микояна, над чьим зданием по ночам сверкал усыпанный электрическими лампочками портрет Сталина, в то время как мясокомбинатские собаки подходили к краю оврага и, облитые луной, выли над трупами...

Все это помнит Москва и не хочет повторения этого.

Не люблю Москву бюрократических контор, не люблю Москву магазинов. Люблю Москву рабочих, по субботам и воскресеньям не только играющих в домино, но теперь и ходящих на политические митинги, воскрешая почти забытые революционные традиции пролетариата.

Люблю Москву студентов, чьи глаза горят сейчас не только от поэзии, но и от социальных надежд.

Люблю Москву ученых, вышедших на демонстрацию в поддержку кандидатур академиков Сахарова, Сагдеева, против бюрократов от науки.

Люблю Москву театров, музыки, живописи, музеев, церквей, кладбищ, детских садов.

Люблю Москву домов, где тебя всегда накормят, одолжат денег, если надо.

Люблю Москву красавиц, на которых заглядывается весь мир.

Люблю Москву бабушек.

Москва — это бабушка будущего, везущая его в детской коляске.

### **Поцелуй, похороненный под стадионом**

Для того чтобы понять какой-либо город, надо хотя бы один раз полюбить в нем, хотя бы один раз заболеть, хотя бы один раз быть обкраденным, хотя бы один раз нечаянно найти что-то, хотя бы один раз похоронить кого-то, хотя бы один раз пройти по этому городу с ребенком на руках...

Все это было со мной в Москве, и поэтому этот город мой — он полон тенями моих счастливых и несчастных, призраками людей, которые для многих умерли, а для меня являются веч-

ным населением Москвы. Когда туристы разглядывают Кремль, Большой театр, музеи под бойкую скороговорку гидов, то я счастлив тем, что у меня есть иной гид — моя собственная память, и она ведет меня по таким закоулкам, куда никогда не заходят туристские автобусы. Какой-нибудь потрескавшийся деревянный домик, чудом сохранивший свое неповторимое, полное старческой красоты лицо и неумолимо обреченный на снос как портящий вид близлежащего гигантского здания, для меня это музей моей юности, и какая-нибудь темная подворотня для меня это мой маленький Большой театр, где разыгрывались любовные оперы моей жизни под музыку пасодобля "Рио-рита", который выхрипывал из раскрытого окна еле дышащий патефон с дребезжащей иглой.

Когда я недавно проходил мимо строительства олимпийского стадиона в районе бывших Мещанских улиц, знаменитых своим хулиганством во времена моего детства, я вдруг с грустью подумал о том, сколько моих воспоминаний погребено в фундаменте этого стадиона, и о том, что многотысячная ревущая толпа, которая заполнит этот стадион, никогда не догадается о стольких тайнах наших детств, придавленных величественной спортивной конструкцией, среди которых и тайна моего первого поцелуя.

Я приехал в Москву из Сибири в сорок четвертом году, когда мне было двенадцать лет. Мама — эстрадная певица — была на фронте, отец, разведенный с нею, где-то в Сибири, и я жил один в коммунальной квартире внутри деревянного ветхого домика, окруженного черемуховыми деревьями и тополями. Как и многие дети той поры, я был предоставлен самому себе. Моей нянькой была улица. Улица научила меня драться, воровать и ничего не бояться. Но одного страха улица у меня не смогла отобрать — это был страх потерять хлебные карточки. Я носил их в холщовом мешочке на ботиночном шнурке вокруг шеи. Однажды после драки этот мешочек исчез. Старуха, стоявшая в очереди, отдала мне карточки скончавшегося мужа, сказав: "Хоть за мертвого поешь..." Вместе с другими мальчишками я торговал папиросами, покупая их пачками, а затем продавая их по одной штуке. Но в День Победы все папиросники города Москвы раздавали свои папиросы даром на Красной площади, мороженщицы раздавали мороженое. Казалось, что вся Москва пришла на Красную площадь. Все женщины, кружившиеся в вальсе под чьи-то пьяные гармошки, были в кирзовых сапогах — туфель я не помню. Подбрасывали в воздух американских, английских офицеров, и мы восторженно ловили ино-

странные монеты, летевшие из их карманов. Один американец дал мне чуингам, а я подумал, что это конфета, и проглотил. На ступеньках Мавзолея сидели в обнимку раненые солдаты и пили водку. Под голубыми кремлевскими елями целовались взасос. А я никогда еще не целовался. Мать, уезжая, закрыла один из книжных шкафов, предупредив меня: "Это для взрослых..." Разумеется, первое, что я сделал после ее отъезда, — это открыл шкаф при помощи волнистого ножа для масла и жадно набросился на скромную эротическую крамолу Ги де Мопассана, воображая себя двойником страстного любовника Жоржа Дюруа. В свои тринадцать лет я был готов для любви. К ровесницам-девочкам меня не тянуло: они казались мне скучными. Меня притягивали жрицы любви, утешительницы отпускных офицеров — с ярко намазанными губами, с лакированными ридикулями, с прическами под модную тогда у нас американскую кинозвезду Дину Дурбин, стоявшие кучками у гостиницы "Метрополь" и у Большого театра. Одна из них жила как раз в нашем районе, около тогдашнего крошечного стадиона "Буревестник" — нынешнего грандиозного олимпийского стадиона. Если в этот район и заходили милиционеры, то всегда с пустыми кобурами — чтобы безотцовные мальчишки не отняли у них револьверов. Здесь были свои особые законы, где правили несколько враждовавших друг с другом подростковых мафий. Вышеупомянутой жрице было тогда лет восемнадцать, и она казалась мне зрелой таинственной женщиной. Продав в букинистический магазин "Историю XIX века" Лависса и Рамбо, я выждал ее однажды у пропахшего кошками и портвейном подъезда, когда она возвращалась поздно вечером, пошатываясь от клиентов и алкоголя, и плакала, размазывая кулаком черную ресничную тушь по лицу. Ни слова не говоря, я протянул ей сжатую в моей ладони потную красную тридцатку (нынешние три рубля). Она отняла кулак от лица, и я увидел под ее глазом огромный синяк, что сделало ее еще таинственней и притягательней в моих глазах.

— Ты же еще маленький, — со вздохом сказала она. — За это в тюрьму сажают...

— Мне уже шестнадцать, — выпалил я, прибавляя себе три года.

— Зачем я тебе такая? — покачала она головой.

— Мне только поцеловаться... — торопливо пояснил я.

— Поцеловаться? Таких, как я, не целуют, дурень... — усмехнулась она и еще сильнее заплакала. — Да я сама не умею целоваться... — Потом неожиданно сказала:

— Ладно... Подожди меня... — и исчезла в провале подъезда. Ждал я ее не меньше получаса и уже думал, что она не придет. Но она вышла — совсем другая — без драной лисы на шее, без лакированного ридикюльчика, без следов краски на лице, прическа под Дину Дурбин была накрыта белым пуховым платком, а на плечах был зеленый солдатский ватник — только синяк напоминал про нее, другую.

— Ну, куда пойдём? — спросила она трезвым, решительным голосом.

— На стадион... — сказал я тоже решительно. У меня все было обдуманно...

Вот какая моя маленькая тайна спрятана в фундаменте нового олимпийского стадиона, воздвигнутого на месте этих старых футбольных ворот, пошедших, наверное, на растопку.

Видимо, каждый город — это сотни тысяч тайн, невидимых для туристского взгляда. "Зачем же тогда ездить в чужие города, если все равно никогда до конца не поймешь их тайн?" — может спросить какой-нибудь ленивец. Чтобы понять тайны других городов, надо заводить в них свои тайны. Но этого мало. Надо сделать так, чтобы и чужие тайны стали вашими. Но это невозможно без дружбы. Любой город в мире будет закрыт для вас, как за семью замками, если у вас там не будет друга. Только друг — это тот волшебный ключик, который сможет открыть душу любого города. Но грешно искать друзей лишь для удовлетворения праздного любопытства или, еще хуже, на предмет практического использования. Люди не так глупы, как это иногда кажется, и инстинктивно чувствуют, с какой душой к ним приходят, и в зависимости от этого раскрывают свою душу или нет. Исповедальностью отвечают лишь на исповедальность. Незачем ездить ни в какую страну, если внутри нет глубокого интереса к ее истории, культуре, сегодняшней жизни, а лишь желание показывать знакомым после возвращения слайды самого себя на фоне Эйфелевой башни, Эмпайр-стэйтс билдинга или Кремля. Пора выкидывать из наших душ анахронистическое вреднейшее ощущение себя "иностранцем" где бы то ни было, а если в какой-либо стране тупые бюрократы будут вам напоминать об этом, то нельзя забывать, что помимо бюрократов в любой стране живут, любят, страдают, радуются многие прекрасные люди, возможно, необыкновенно близкие вам по своим надеждам и даже по своим тайнам. Когда я был в Париже впервые, мне показалось, что я там уже был, что у меня есть ключик к тайнам этого города. Потом я понял, что это за ключик — искусство, литература.

Любой русский интеллигент уже знает заранее Латинскую Америку — по Габриэлю Гарсиа Маркесу, Японию — по Кобо Абэ, США — по Фолкнеру, Западную Германию — по Генриху Бёллю. Нельзя понять даже современного Ленинграда без знания Достоевского, современную Москву без Толстого и сегодняшней русской поэзии. Искусство, литература — это те невидимые нити, которые и дают всем людям, разделенным границами, ощущение самих себя как единой человеческой семьи. Но одной литературы мало, потому что она иногда фатально отстает от беспрерывно изменяющегося мира. Иметь свое мнение о стране, о городе, в которых ты не был, по меньшей степени легкомысленно, а иногда даже аморально. Никакое книжное, а особенно газетное знание не может заменить человеку его собственные глаза. Даже прикосновения к самым великим страницам не могут дать того понимания, которое иногда дает прикосновение руки к руке.

Москва необыкновенно изменилась с той поры, когда та девушка вынула из моей ладони слипшуюся красненькую тридцатку и сунула мне ее в карман. Если бы по волшебству уэллсовской "машины времени" можно было бы перенести тех женщин, не знавших, что такое легкие туфельки, и танцевавших вальс в День Победы в грубых солдатских сапогах, прямо на сегодняшнюю Красную площадь, тридцать пять лет спустя, то они бы растерялись и подумали, что находятся в другой стране, сделавшей у себя копию Красной площади, где поголовно выучились русскому языку — кстати, тоже значительно изменившемуся. Людям военных лет трудно было бы понять, что девушки в белых платьях и мальчики в джинсах, танцующие у древних стен Кремля рок-н-ролл после выпускного школьного вечера, — это их потомки. На одном из праздничных салютов на Воробьевых горах в ознаменование годовщины Победы, куда я привел своего маленького сына несколько лет тому назад, я неожиданно поразился, услышав рядом немецкую речь. Неподалеку от меня стоял немец — может быть, журналист, может быть, посольский или торговый работник — я даже не знаю, из ФРГ или ГДР, и держал на плечах своего белоголового сына, восторженно кричавшего каждый раз, после того как в небе распускались павлиньи хвосты фейерверков. Могли ли мы когда-нибудь, мальчишки военных годов, игравшие в войну, когда никто из нас не хотел быть "немцем", представить, что когда-нибудь маленький немец будет любоваться в Москве салютом нашей Победы?

## Джина Лолобриджида и Красная площадь

Однажды утром раздался телефонный звонок. Мелодичный женский голос сказал по-итальянски, что говорит Джина Лолобриджида. Я повесил трубку, думая, что это шутка какой-нибудь взбалмошной девчонки из института иностранных языков. Слишком невероятно было предположить, что звонит прославленная кинокрасавица шестидесятых годов, поражавшая когда-то мое юношеское воображение не столько игрой, сколько красотой призывно мерцающих глаз, похожих на мокрые темные вишни, и смущавшая обольстительной выпуклостью двух всемирно известных тугих полушарий, от которых лопается корсаж. Но звонок повторился. Женщина, упрямо называвшая себя Джинной Лолобриджидой, сказала, что сейчас она занимается фотографией, приехала снимать Москву и просит моей помощи, советов в выборе натуры.

Наше свидание произошло в репетиционном балетном зале Большого театра, где юные балерины пахли потом, как загнанные лошади. Призрак экранной Джинны, всегда либо соблазняющей, либо соблазняемой, материализовался в немолодую, но все еще прелестную, однако полностью деловую женщину, скрывающую свои знаменитые глаза под дымчатыми очками, а знаменитые груди — под фотоаппаратами, гроздью свисающими с шеи. Джину сопровождал целый эскорт фотографов, таскавший ее дополнительные объективы, пленки, "вспышки", а заодно снимавший ее в то время, когда снимала она. Подобный эскорт противоречил моему пониманию фотоискусства, и я попросил Джину от них отделаться. Она согласилась и сказала: "Сначала пойдем на Красную площадь. Но это — для всех... А потом покажите мне вашу Москву..."

И вдруг я впервые задумался: а что же такое моя Москва? Есть туристская Италия, а есть Италия итальянская... Есть туристская Москва, а есть Москва московская. А внутри этой московской Москвы — моя личная.

Джина Лолобриджида стояла на брусчатке Красной площади и, припав на элегантное колено, обтянутое черным вельветом, фотографировала то смену караула у дверей ленинского Мавзолея, то собор Василия Блаженного. Но знала ли она, что, по преданию, строителям этого собора выкололи глаза, дабы они не построили другого, еще более прекрасного храма? Недалором царь Иван, давший этот приказ, получил прозвище Грозный.

Осенью сорок первого года я видел, как солдаты караб-

кались по лесенкам на Кремлевские звезды и надевали на них чехлы. Одним из гранильщиков этих звезд был старенький латыш, которого мы звали Карлуша. Он жил в нашем дворе на Четвертой Мещанской вместе со множеством кошек. Их мы ловили и с детской жестокостью привязывали за хвосты к его дверной ручке. Карлушу арестовали перед войной, он навсегда исчез и теперь у него уже поздно просить прощения.

В целях противовоздушной маскировки Мавзолей был обшит раскрашенной фанерой. Гроб с телом Ленина эвакуировали, но это тогда хранилось в тайне. Я узнал об этом лишь во время эвакуации, когда остановились все эшелоны, пропуская один, до странного короткий поезд. Прошел слух, что в этом поезде везут золото. Я и другие мальчишки подошли к часовым и спросили: "Дяденьки, вы золото везете? Покажите хоть кусочек". Офицер, тяжело вздохнув, ответил: "Дороже, чем золото... Ленина..."

16 октября 1941 года многие думали, что Москву оставят. Помню мальчика, грустно выпускавшего золотых рыбок из аквариума в пруд под тенью нависших над ним зонтик. Вокруг куда-то бежали люди с узлами, чемоданами, а толстая женщина толкала перед собой детскую коляску, в которой были свернутый в трубку персидский ковер, хрустальная люстра и бронзовая статуэтка Наполеона, заложившего руку за обшлаг сюртука. Бродил, хватая бегущих за рукава, странный старик с шахматной доской под мышкой и предлагал сыграть блиц-турнир, бормоча: "Что делается... что делается... Все мои коллеги — Хосе Рауль Капабланка, Ласкер, Эйве уже эвакуировались в Сибирь, и никто не догадывается, что я — Алехин... Запомните, 16 октября сорок первого года Алехину не с кем было играть в шахматы!" Лишь при пристальном взгляде на старика можно было увидеть торчащие из-под плаща больничные пижамные брюки и тапочки.

Я вспоминал все это, когда Джина Лолобриджиди, взобравшись на Лобное место, без какого-либо исторического страха перед призраком царского топора фотографировала Красную площадь с какой-то особенной точки.

А еще я видел свое возвращение в Москву из сибирской эвакуации, и уже расчехляемые солдатами звезды, и падающие у Мавзолея фашистские знамена, и кружащихся в вальсе женщин вместе с солдатами и офицерами, пахнущими трофейным "киршем". Несколько безногих инвалидов, поднятых на руки толпой прямо на своих подшипниковых деревянных колясках, по-

качивались над Красной площадью как страшные живые памятники войне...

— Ну вот, я отсняла Красную площадь, — сказала Джина Лолобриджида, вставляя в свой "Никон" новую пленку. — А теперь вы обещали мне показать вашу Москву...

— Да, да, — забормотал я, очнувшись от нахлынувших видений.

Мне трудно было объяснить Джине, что Красная площадь — это тоже моя Москва, ибо она наполнена невидимыми для туристов призраками.

Мы сели в мою машину и поехали в район старых Мещанских улиц, где я провел свое детство, играя в футбол на пустырях, вместо того чтобы ходить в школу, куда меня однажды торжественно привела бабушка, как теленка на веревке.

В Москве первых послевоенных лет было две Москвы — каменная и деревянная. Я рос в деревянной Москве — в маленьком двухэтажном домике, спрятанном в деревьях. Отапливался он дровами. Ни ванны, ни душа у нас не было, и, как большинство тогдашних москвичей, мы по субботам торжественно ходили в баню, совершая старинный обряд хлестания друг друга по бокам и спине березовыми вениками. Сейчас в Москве квартир с ванными больше, но парадоксально, что очереди в бани увеличились, а березовые веники стали дефицитом. В баню ходят уже не просто помыться, а поблаженствовать, пообщаться в облаках пара, где все голые и ни у кого нет преимущества в том, как он одет. А в первые послевоенные годы все были одеты примерно одинаково, и лишь ничтожное меньшинство жило в отдельных квартирах с ванной и другими удобствами. Частные холодильники, если я не ошибаюсь, появились году в пятидесятом, и до этого сумки с продуктами вывешивались из окна — на холодок. Мама, бывшая певица, потерявшая голос на фронте, бабушка, моя сестренка и я жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В сатирических произведениях тех лет весьма ядовито описаны эти коммунальные кухни, где разъяренные соседки плюют друг другу в борщи и жильцы устраивают общественную порку тому, кто не гасит свет в туалете. Однако в нашей коммунальной квартире такого не было и в помине. Наоборот, общая кухня была чем-то вроде маленького парламента, где обсуждались все дела — и семейные, и политические, а большим залом этого парламента был весь двор, где на деревянных скамеечках в тени деревьев шли долгие заседания всех жильцов и равными в спорах были и водопроводчик, и профессор, и писатель. Такой была тогдашняя Москва.



Когда я приехал вместе с Джиной Лолобриджидой на Четвертую Мещанскую, наш домик еще был на месте, но уже пустой, без жильцов, а рядом стояли бульдозеры, готовые к тому, чтобы его снести, ибо он попал в беспощадный план реконструкции для предстоящих Олимпийских игр. Около дома маячили двое моих бывших соседей, отхлебывая из горлышка водку и наблюдая за его гибелью. Отхлебнул и я, и Джина, неузнанная ими. Мы поехали посмотреть другие деревянные улицы, но, к моему печальному удивлению, там суетились киногруппы, поспешно снимавшие последние кусочки исчезающей старой Москвы. Я бродил с Джиной Лолобриджидой — со странной гостьей из другого мира — по кладбищу воспоминаний моего детства. Привыкшая избегать узнавания, Джина на сей раз, как мне показалось, растерялась от катастрофического неузнавания и даже сняла дымчатые очки. Но ее все равно не узнавали. Может быть, она была последним фотографом, которому удалось сфотографировать старомосковские сельские дворики с георгинами и ромашками, окна с деревянными ставнями и наличниками, где на подоконниках стояли традиционная алая герань (торжествующий символ так называемого мещанства, который был не раз атакован комсомольскими поэтами двадцатых годов, но все-таки выжил), зеленые рога алоэ — растения, по московским суевериям, предохраняющего от всех болезней, а также пузатые четверти с темной наливкой, где плавали разбухшие пьяные вишни. Окна старой Москвы были непредставимы без этого антуража, равно как и без белых кисейных занавесок, сквозь которые всегда высовывались любопытствующие лица московских бабушек — кариатид столицы.

Но, сколько бы ни снимала Джина, она, конечно, видела в своем объективе все по-иному, чем я, да иначе и быть не могло. Нет такого фотоаппарата, который мог бы фотографировать воспоминания. А ведь каждый город для живущего в нем — это целая антология воспоминаний. Поэтому парижанин никогда не увидит в Москве то, что видит москвич, а москвич никогда не увидит в Париже то, что парижанин.

После фотосъемки мы поехали с Джиной по ее просьбе в то место, "где веселится молодежь". Я выбрал кафе "Лира" на площади Пушкина, куда часов в шесть парами приходят студентки, секретарши и фабричные работницы и скромно заказывают себе кофе-гляссе, оставляя свободными два стула за столиком. К семи часам эти стулья уже заняты их импровизированными кавалерами — или москвичами, или командированными, а на столиках стоят бутылки шампанского, соленые

орешки или какая-нибудь другая закуска, и бешено ревут электрогитары, и все вокруг крутится в, казалось бы, неостановимой танцевальной карусели до роковых одиннадцати часов. Мы еле втиснулись за один столик, где сидели двое моряков с девушками. Они были гостеприимны и потеснились, а вскоре Джина уже лихо отплясывала рок-н-ролл с одним из них. Джину потрясло, что ее никто не узнавал и здесь. Джина решила спровоцировать "узнавание" и при помощи моего перевода спросила у наших соседей по столу, кого они знают из итальянских артистов. После некоторого размышления один из краснофлотцев назвал Альберто Сорди.

Джина пошла в открытую атаку.

— А Джина Лолобриджида? — спросила она.

— Она, кажется, играла Клеопатру, — сказала одна из девушек. — Или я ее путаю с Элизабет Тейлор... Но они, по-моему, обе умерли...

Отдаю должное Джине — у нее хватило юмора, и она весело рассмеялась, сказав мне:

— Я счастлива, что умерла. Мне больше нравится снимать самой, чем тогда, когда снимают меня.

## **Вино в таблетках**

Слово "ресторан" в моем сибирском детстве не существовало — было слово "столовая". В сорок пятом году мне отоварили все карточки, оставленные мамой, бывшей тогда на фронте, сгущенным молоком. Был целый бидон — литров пять. Я пригласил всех дворовых мальчишек на этот пир Лукулла. Мы вылили сгущенку в таз посреди стола и начали черпать ее ложками, намазывая на хлеб, или просто хлебали. После этого я видеть не могу сгущенного молока. Все детство я провел в очередях, как и почти все дети нашего поколения, записывая порядковые номера химическим карандашом на ладони.

Теперь, несмотря на повышение цен на автомобили, на них очередь. А тогда можно было запросто купить автомобили, впервые выпущенные в частную продажу, но их мало кто покупал. Огромный лимузин "ЗИМ" стоил 40 тысяч, "Победа" — 16, "Москвич" — всего 8 тысяч (по нынешним ценам это 4000, 1600, 800 рублей). Даже в момент продовольственных неурядиц в магазинах всегда были шампанское, крабовые консервы и печень трески в масле. Сейчас это дефицит, потому что все поняли, что это — деликатесы. А тогда вкус к еде был проще, и

что такое деликатес, никто не понимал. Когда мне было 14 лет, я открыл по хемингуэвской книжке существование коктейлей. Мы с друзьями-школьниками решили отпраздновать Новый год по-хемингуэвски и смешали в ведре все, что попало: пиво, сидр, дешевое фруктовое вино и водку, бросая в нашу дьявольскую смесь сосульки с ржавчиной крыш. Нечего и говорить, что мы еле выжили при этом эксперименте внедрения цивилизации в наши желудки. В 1949 году, после напечатания моих первых стихов, я пригласил своего друга — сына дворника и двух девушек из швейной мастерской в ресторан "Аврора". Когда я прочел надпись "Сухое вино" и заказал его, то очень разочаровался, увидев, что оно — не в таблетках. Желая показать свои ресторанные познания, одна из девушек сказала официанту: "Бутылку сациви!" Официант, седой человек с тонким интеллигентным лицом, больше похожий на скрипача, вежливо ответил, не подавая вида, что сациви — это грузинская закуска: "Извините, бутылочное сациви кончилось. Есть лишь в виде закуски..."

Когда я при счете в 170 тогдашних рублей (17 рублей после денежной реформы) дал на чай официанту огромную сторублевку, он вежливо отозвал меня в сторону и тихонько сказал:

— Молодой человек, вы первый раз в ресторане?

Я попытался удариться в амбицию (мне было 16 лет):

— Не все ли вам равно?

— Если вы хотите, чтобы вас уважали официанты, — настойчиво продолжал он, — никогда не давайте больше двадцати процентов. Иначе они будут смеяться над вами за вашей спиной.

Это был хороший урок для меня на всю жизнь.

В Москве начали появляться первые богатые дети. Это была узкая каста сыновей академиков, известных композиторов. Они одевались только во все заграничное: длинные, похожие на полупальто пиджаки с могучими ватными плечами, яркие попугайские галстуки, вишневые ботинки на каучуковой белой подошве. Длинные волосы были густо смазаны бриолином. Они разъезжали на отцовских машинах и развлекались в обществе манекенщиц. Этот клан получил впоследствии хлесткое прозвище "стиляги". Их манера одеваться, танцевать была своего рода протестом против стандартизации, но протестом карикатурным. Пристанищем "стиляг" был коктейль-холл на улице Горького. В 1954 году после кровавого преступления в клане "стиляг" коктейль-холл был объявлен "рассадником буржуазного образа жизни" и закрыт. Дружинники вылавливали остав-

шихся "стиляг" на танцплощадках и сражались при помощи ножиц со слишком длинными волосами и слишком узкими брюками и строго следили за идеологической выдержанностью танцев. "Стиляги" исчезли. Но падекатр и краковяк не привились на танцплощадках. Молодежь упрямо танцевала рок-н-ролл.

Окончательный перелом во вкусах произошел в 1957 году во время фестиваля молодежи, когда многотысячные толпы иностранцев впервые хлынули на улицы Москвы, смешиваясь с молодыми москвичами. Когда-то в сатирическом журнале "Крокодил" кока-кола и пепси изображались как "буржуазный яд", теперь бутылки пепси продаются даже в Большом театре, и почти вся московская молодежь ходит в джинсах если не американского, то социалистического производства, впрочем, оставляющего желать лучшего. Джинсомания, впрочем, кажется, проходит — на первое место выходит вельвет. В Москве один за другим открываются бары, где не очень умело, но делаются напитки, называемые коктейлями. Бывшие когда-то полуподпольными джазы выступают в больших залах, исполняя западные и собственные мелодии. Москва в сравнении с прошлым стала гораздо менее патриархальной, менее замкнутой. Когда приехала группа "Бони М", то ажиотаж был настолько велик, что пришлось вызывать конную милицию.

Но экспорт модернизации нравится далеко не всем. Многие сетуют на то, что новые проспекты просторны, но неудобны, и ностальгируют по старым, кривым, но очаровательным улочкам, по деревянным домикам с алой геранью. Удобств стало больше, но меньше уюта. Получился парадокс: те, кто когда-то отчаянно добивался отдельной квартиры, иногда вздыхают о коммунальных квартирах, потому что люди там жили в тесноте и неудобствах, но менее отчужденно. Москвичи снова создают дворы, озеленяют бывшие пустыри, сажают цветы на балконах и у подъездов, потому что без зеленых дворов Москва — не Москва. Стук костяшек домино на деревянных столах под дворовыми "грибками" — это обычная музыка московских дворов. Неистребима московская привычка засаливать самим на зиму огурцы и помидоры, шинковать капусту, мариновать грибы, варить варенье. Пепси-колу покупают все-таки больше как экзотику, а сами предпочитают квас, и в жаркие дни у цистерн выстраиваются очереди с бидонами и банками. Москва по природе в чем-то навеки патриархальна, и модернизация прививается далеко не во всем, и слава богу. Зачем нужно, чтобы Москва из города русского превращалась в нечто средневропейское? Старая Москва живет и внутри современ-

ных зданий с газовыми плитами и ванными, а из окон многоэтажных домов во время праздников доносятся все те же протяжные хоровые песни, как когда-то они доносились из деревянных домиков.

Не случайно, несмотря на любопытство москвичей к современной музыке, Москва родила двух выдающихся менестрелей: певцов-поэтов Окуджаву и Высоцкого. Булат Окуджава, воспевавший старые московские улочки, — тонкий лирический мастер, отец российского менестрельства, начал писать свои песни в конце пятидесятых. Несмотря на то что его песни не звучали ни по радио, ни по телевидению, не выпускались пластинками, они, распространившись, как по волшебству, звучали во всех московских домах, в рабочих и студенческих общежитиях, даже в квартире Шостаковича.

Пришедшие позднее песни Владимира Высоцкого, актера Театра на Таганке, исполнителя роли Гамлета и роли брехтовского Галилея, были полной противоположностью Окуджавы: его песни не столь мелодичны, но более резкие, более обнаженные. Голос Высоцкого — хриплый, рычащий. Слова песен написаны на московском грубоватом сленге и иногда напоминают сатирические фельетоны под гитару. Высоцкий безвременно умер, и его похороны превратились во всемосковское шествие: за гробом шло около трехсот тысяч человек.

Я счастлив, что в Москве любят стихи так, как ни в одном другом городе мира. Я думаю, что Москва — это единственный город, где на чтение стихов могут собраться 100 тысяч человек, заполнив футбольный стадион. Так еще не было, но так когда-нибудь обязательно будет.

### **Исаак Меламед — победитель**

У легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда был ассистент — Исаак Меламед, чудом уцелевший в исторических катаклизмах. Самого Мейерхольда я не застал в живых, а вот с Меламедом познакомился. Это произошло в пятидесятых годах в кафе "Националь", где Меламед ежевечерне пребывал вместе со своим другом и собутыльником — замечательным писателем Юрием Олешей. И Меламед, и Олеша были, скажем мягко, небогаты, и сердобольные официантки разрешали им приносить с собой за пазухой магазинную водку без ресторанной наценки. Меламед был законронелый холостяк, тощий, как волба, с провалившимися щеками, усыпанными веснушками, и

с рыжими развевающимися волосами, пылавшими, как огненный ореол, вокруг головы. Меламед ходил всегда в одном и том же засаленном пиджачишке, обсыпанном перхотью, в брюках с непоправимой бахромой, а рубашку он иногда надевал наизнанку, чтобы придать ей подобие свежести, что не мешало ему прицеплять неизменный галстук-бабочку. У Меламеда были огромные, всегда удивительные глаза с печалью внутри, и он мог часами говорить за столом о Данте, Гёте, Шекспире. Лишь уходя из кафе, он спускался с небес искусства на грешную землю и гордо просил займы на троллейбус.

И вот однажды произошло нечто необыкновенное. Напротив был длинный банкетный стол, где восседали упитанные иностранцы делового вида и поглощали водку, заедая ее черной икрой и семгой. Внезапно один из иностранцев — весь свежесбритый, румяный, лоснящийся, весь в бриллиантовых заколках и запонках, поперхнулся бутербродом с икрой, выплюнул его против всякого этикета, рванулся со стула, уронив его на пол, и завопил на все кафе: "Меламед! Майн либер Меламед!" Он бросился к нашему рыжему оракулу, прижав его к своей, осыпанной черными дробинками икры салфетке, засунутой за воротник. Меламед растерянно молчал, пока иностранец обнимал его и тряс, одновременно и хохоча, и чуть не плача. Мы переглядывались, ибо никому из нас и в голову не могло прийти, что Меламед, наш скромный Меламед! — мог быть хотя бы отдаленно знаком с каким-нибудь капиталистом. И вдруг провалившиеся от постоянного недозакусывания щеки Меламеда вздрогнули, и в его детских глазах пророка проблеснуло узнавание. "Пауль!" — заорал в ответ Меламед, и теперь они уже оба начали трясти друг друга, сокрушив на пол графинчик с нелегально перелитой в него под столом магазинной водкой. Иностранец, оказавшийся президентом какой-то фирмы в Западной Германии, начал махать пачками марок, рублей, требовать шампанского, которое немедленно появилось. Ничего не объясняя нам, они начали петь вместе с Меламедом тирольские песни и, обнявшись, удалились в неизвестном направлении...

История их дружбы, как мне потом рассказали, была следующая. Когда в 1941 году Меламед подал заявление о том, что он готов идти добровольцем на фронт, то в графе "знание языков" поставил "немецкий", хотя знал его только в школьном объеме. Знание немецкого тогда было в цене. Несмотря на чисто символический вес Меламеда — чуть больше пятидесяти килограммов и на его общий скелетообразный вид голодающе-

го индуса, его направили в десантный отряд парашютистов. Меламед был сброшен с парашютом в белорусских лесах на предмет получения "языка". При приземлении все десантники погибли — за исключением Меламеда. Возможно, Меламеда спас его воздушный вес. Меламед зацепился за сук сосны и повис на парашютных стропах. Затем ему удалось их перерезать и опуститься на землю. Но задание Меламед помнил и решил его выполнить. Однажды после налета нашей артиллерии Меламед нашел в лесу немецкого обер-лейтенанта, раненного в ногу, и потащил его на себе. Для нас, знавших физические возможности Меламеда, это было непредставимо. Ориентировки у Меламеда не было никакой: подготовка была спешной и к тому же компас был разбит при приземлении. Знание немецкого языка у Меламеда было плохонькое, но срок для освежения знаний был предостаточный: он блуждал, таская на себе Пауля, около месяца. Меламед проделал Паулю операцию, выковыряв у него из ноги осколок своим кинжалом, смастерил ему костыль из молодых березок, и немец кое-как заковывлял вместе с Меламедом в сторону плена, спасительного среди осточертевшей ему войны. А по пути они подружились, и Пауль научил Меламеда петь тирольские песни. При пересечении линии фронта, видя, как Меламед обнимается с немецким обер-лейтенантом на прощание, работники СМЕРШа на всякий случай арестовали Меламеда, но потом отпустили ввиду его явной неспособности быть немецким шпионом...

Вот и вся необычная история Исаака Меламеда — победителя, которого сейчас уже нет. Историю эту я вспомнил потому, что она дает нам взывающий к разуму пример. Если даже во время войны люди, находившиеся по разные стороны фронта, смогли подружиться, то почему это невозможно во время того состояния человечества, которое мы с грустной иронией, но все-таки можем назвать миром?

## Москва-медведица

Есть разные толкования происхождения слова "Москва". Если идти по классической этимологии, то Лиссабон происходит от Улисса, Париж — от Париса, Москва — от Мосоха, внука Ноя. По скифскому варианту Москва — это охотница. По одному славянофильскому варианту Москва — производное от слова "мост", по другому — это болотистая местность. Я не специалист в этимологии, и мне трудно разобраться, кто прав.

Но лично мне ближе всего догадка дореволюционного ученого С.К. Кузнецова, что слово "Москва" мерянско-марийского происхождения: "маска" — медведь, "ава" — мать, то есть медведица. Это самое поэтическое предположение, и весьма похоже на правду, потому что когда-то на месте Красной площади были дремучие леса, кишевшие целыми колониями этих великолепных, теперь, к сожалению, исчезающих зверей. Медведи есть и в других странах, но почему-то медведь для многих иностранцев давным-давно стал символом России.

Есть Москва бюрократическая, но это не моя Москва. Душу ни одного города нельзя искать в среде его бюрократии. Есть Москва торгашей, фарцовщиков, спекулянтов всех мастей, но это тоже не моя Москва. Моя Москва — это трудовой город, где строят новые дома, ищут лекарство от рака, пишут картины, стихи, музыку. Моя Москва — это лирический город свиданий под часами, постукивания костяшек домино в зеленых дворах.

Этот город живет нелегко, и в нем многого еще не хватает. Но я бывал в таких городах, где всего полно в магазинах, а на столе, когда приходят гости, почти пусто. Москва — это такой город, где иногда бывает пусто в магазинных витринах, но не может быть пусто на столе, когда приходит гость.

Рожденная в 1147 году инстинктом самосохранения раздробленной тогда нации, Москва стала ее многострадальным сердцем, щитом, закрывшим Европу от татарских нашествий, принимая все удары на себя. Сожженная много раз, она каждый раз снова возрождалась из пепла. Пепел Москвы, прилипший к сапогам Наполеона, был настолько тяжок, что любимец славы еле унес ноги из России. Но Москва страдала не только от иноземцев, а и от своих собственных тиранов. Много русской кровушки было пролито в Москве русскими, много вольнолюбивых голов было сложено на плахах Москвы. Эти люди, погибшие за свободу, чьи тени невидимо скользят сегодня мимо зеленых огоньков московских такси, неотъемлемы от вечного духа этого города. Эти тени — тоже моя Москва.

Пушкин, который так любил Москву, сказал о ней:

Москва! Как много в этом звуке  
для сердца русского слилось,  
как много в нем отозвалось!

Пастернак, которому в Москве тоже когда-нибудь будет поставлен памятник, писал о ней так:



Мечтателю и полуночнику  
 Москва милей всего на свете.  
 Он дома, у первоисточника  
 всего, чем будет цвeсть столетье.

А сейчас, когда я иду по Москве, я иду мимо моего первого поцелуя, мимо моей первой обиды, а если будут новые обиды, то стоит мне войти в стеклянную коробку любого телефона-автомата, и я всегда найду телефонный номер какой-нибудь квартиры, где примут в любой час дня и ночи, нальют мне чаю или чего-нибудь покрепче, разогреют на газовой плите холодные котлеты и дадут денег, если нужно...

Но надо спешить набирать этот телефонный номер, потому что в стекло стучится монетками новое нетерпеливое поколение, у которого уже тоже есть свои московские тайны...

1981 — 1989

## С ЖЕНЩИН НАЧИНАЕТСЯ НАРОД

Первый образ народа, человечества — это еще расплывающееся материнское лицо, склонившееся над младенческим тельцем. Ребенок вытолкнут в мир из женского тела, и причина его первого плача в том, что ему хочется обратно — в маму. Мать — это первая родина ребенка. Поэтому так естественно слияние двух понятий в одно — Родина-мать. Знаменитый плакат "Родина-мать зовет!" действовал во время Великой Отечественной не только политически, но и лирически, ибо задевал самые потаенные струны души. С женщин начинается народ.

Пастернак сказал о женщинах: "...Перед ними я всеми в долгу". Этот неоплатный долг каждого из нас начинается с первой капли материнского молока, с первых слез, причиненных нами первой обиженной женщине-матери, с первого поцелуя, с молитвенного прикосновения ладони жены к твоему лбу, когда она пробует во время болезни, есть ли у тебя жар. В момент опасности для мужчины его любимая становится его матерью. В женщине вообще настолько сильно чувство защиты мужчин, что они гораздо смелее, чем мужчины.

Одно из моих первых воспоминаний: 37-й год. Мне четыре года. Обоих дедушек забрали. Я и мама с узелком в руках — передачей — стоим в длинной-длинной очереди на улице с красивым названием Матросская Тишина. Полуснег, полуморось.

Сизый туман, а в нем — затылок в затылок — женщины, женщины, женщины. Все с узелками. Только женщины. Ни одного мужчины. Мужчины боялись. Женщины не боялись узнавать, отнести передачи. Все они — даже жены, и невесты, и дочери — стали матерями для арестованных...

Революция объявила раскрепощение женщин. Но разве, когда отобрали паспорта у колхозников, эти паспорта оставили колхозницам? Мухина была замечательно талантливый скульптор, но когда я смотрю на металлическую гигантскую пару — рабочий и колхозница, — то меня гнетет мысль о том, что у этой монументальной великанши не было и крохотного гаспортчка. В деревне произошло закрепощение женщин новым помещиком — государством, на заводах — новым фабрикантом — государством. Закон "кто не работает, тот не ест" как бы подразумевал, что и женщина, если она не работает, тоже не должна есть. Нигде не было записано, что материнство — это тоже работа. Женщины-домохозяйки, матери семейства почти исчезли, выглядели белыми воронами, чуждым классовым элементом. Даже поэты уже воспевали не хрупкость, не беззащитность, не любовную страсть, не влюбленную нежность женщин, а женскую физическую силу, политическую зрелость, трудовые показатели, героизм в преодолении трудностей.

Женщину не возвысили, а унизили до равенства с мужчиной. Во время варфоломеевских ночей сталинизма сколько муки и унижений перенесли жены и дочери так называемых "врагов народа"... Е. Гинзбург в своей потрясающей книге "Крутой маршрут" пишет о седьмом вагоне, набитом женщинами, который двигался в глубь покрытой лагерями Сибири: "Белье будет меняться только сильно менструальное, — торжественным голосом объявил начальник конвоя, — остальное — только на выжарку. Выжарят, стало быть, в дезокамере, покуда моетесь, и надевайте обратно. Хоть не шибко красиво, зато уж и заразы никакой не будет..." Какие сотни тысяч лет цивилизации отделяют этот совсем не злобный, а даже доброжелательно соболезнующий монолог начальника конвоя от "Я вас любил: любовь еще, быть может..." Пушкина?!

Из беременной Ольги Берггольц выбили сапогами ребенка. Марину Цветаеву, несмотря на ее просьбу, не взяли даже в судомойки при писательской чистопольской столовой, и она повесилась в Елабуге.

В то время когда на экранах страны Любовь Орлова и Ма-

рина Ладынина талантливо изображали жизнерадостных, исполненных счастья труда советских женщин, миллионы реальных женщин вкалывали в нищенствующих колхозах, местили ногами бетон, рожали детишек в бараках, не многим лучше лагерных. Были женщины с плакатов — летчица Валентина Гризодубова, сборщица хлопка Мамлакат Нахангова, свекловод Мария Демченко, но правдивый портрет рядовой советской женщины был написан лишь в душераздирающей частушке:

Я и лошадь, я и бык,  
я и баба, и мужик.

Привилегированность дам так называемого "высшего советского общества" была особой — крепостной привилегированностью. Сталин садистически издевался над своими соратниками, объявив шпионками жен Молотова, Калинина, и арестовал на всякий случай даже жену своего верного "личарды" — Поскребышева.

Женщины-летчицы, женщины-партизанки, женщины-военврачи и санитарки и, наконец, женщины тыла были великой женской армией, наравне с мужчинами разгромившей фашизм. Но даже подвиг Зои Космодемьянской, выкрикнувшей с петлей на шее "Сталин придет!", не смягчил сердце тирана по отношению к нашим многострадальным женщинам: для него они были лишь винтиками женского пола. После войны в деревне именно женщины поднимали на своем горбу Россию, а у них безжалостно отбирали семенной фонд. В стране, где награждали женщин орденом "Мать-героиня", никому не приходило в голову, что можно было бы награждать правом не работать, а только воспитывать детей.

Был фильм "Член правительства", но на самом деле женщин в правительстве не было. Е. Фурцева осталась в памяти редким исключением. Она довольно находчиво помогла Н. Хрущеву провести Пленум ЦК, где он победил группу Молотова, Кагановича и др. Однако Хрущев по исторической традиции властелинов убирать тех, кто помог, вывел Фурцеву из Президиума ЦК, оставив ее только министром культуры. Калатозов и я, бывшие однажды на приеме у Фурцевой, были потрясены тем, как без всякого спроса в ее кабинет вошел какой-то военный связист, отрезал кусачками особую "сверхвертушку" и унес под мышкой. Фурцева чуть не до крови закусила губы от такого грубого оскорбления. Эти люди даже не подумали, что она не только бывший член Президиума, но и прежде всего — женщина.

Царивший столько лет закон, запрещавший аборт, был не только надругательством, но и практическим убийством множества женщин, вынужденных делать аборт тайком у сомнительных повивальных бабок, у всякого рода шарлатанов. Несколько поколений в стране воспитывались аномальным методом раздельного обучения, и отчуждение мужчин и женщин усугубилось.

Были попытки освободить женщин от тяжелого физического труда: так, например, запретили женщинам работать в шахтах, под землей. Знаменитые, воспетые шахтерским песенным фольклором откатчицы ушли в прошлое. Но мужчины не хотели работать на их нелегком месте за ту же самую низкую зарплату, и ее пришлось повысить.

Спрашивается: а почему же за совершенно одинаковую работу женщинам столько лет платили меньше? Женская зарплата по стране и сейчас составляет 60 процентов от мужской. Потому ли, что мужской труд тяжелее? Или высокооплачиваемые должности занимают в основном мужчины? Думаю, что более всего в низкой заработной плате для женщин повинно ни на чем не основанное чувство превосходства своего пола — своего рода мужской шовинизм.

В моей первоначальной предвыборной программе, напечатанной в "Огоньке", был пункт о запрещении использовать женщин на тяжелых работах. Однако я получил ряд писем, пронзивших меня своей трагической безысходностью: женщины пишут, что только на тяжелых работах они могут заработать хорошие деньги и такой запрет был бы для них катастрофичен.

А ведь у советской работающей женщины не одна, а три работы. Первая работа — работа. Вторая работа — очереди. Третья работа — дети, дом, кухня.

В "Советской России" от 23 апреля напечатана любопытная информация о том, что австрийские женщины ежегодно продельвают домашнюю работу, стоимость которой составляет около 350 миллиардов шиллингов. Уборка, стирка, глажение белья оцениваются в 130 миллиардов. Кухонная работа — в 60 миллиардов.

Кто и когда возьмется подсчитать, сколько стоит домашняя работа советских женщин? А сколько стоит та страшная, изнурительная работа, на которую уходит столько нервов, — очереди?

Несколько лет назад я был в столице ГДР. Зашел в небольшой магазин неподалеку от гостиницы. Мне ничего не надо бы-

ло там покупать, но меня вело чисто советское продовольственное любопытство. Магазин был не фирменный, не валютный, однако в нем было видов двадцать колбас — и твердокопченая, и полукопченая, и глазированная, и ливерная, и телячья, и охотничья, и... И вдруг рядом я услышал стук чего-то упавшего на пол. На полу без чувств лежала молодая девушка. По прическе, по рисунку крепдешинового платья, по бежевым босоножкам и по многим другим не поддающимся определению приметам я узнал свою соотечественницу. До этого я только читал об обмороках в романах девятнадцатого века, но обморок как таковой увидел в первый раз. Девушка, приходя в сознание, шептала: "За что? За что?" — пока я старался привести ее в чувство. Наконец мне это удалось, и я повел ее в ближайшее кафе. Что же с ней произошло? Что было закодировано под этим вопросом: "За что? За что?". Девушка была из алтайского колхоза, работала на комбайне, на тракторе, на заработки не жаловалась. Девушку премировали за трудовые успехи поездкой в ГДР. Увидев обилие в магазине колбас, сыров, всего-всего, свободно, без очередей, она была потрясена. "Как же это понять? — говорила девушка. — Мы ведь выиграли войну, а они проиграли. Я не потому, что они живут хорошо... Но почему мы живем так плохо? За что?" Со вздохом я подумал, что, слава богу, она попала сначала сюда, а не в Западный Берлин, где есть фирменный магазин с выбором не меньше чем пятьсот сортов разных колбас.

Действительно, почему живем так плохо? За что?

Академик Шаталин приводит в "Огоньке" устрашающую цифру: неудовлетворенный спрос населения превышает 70 миллиардов рублей.

Конечно, от неудовлетворенного спроса в торговле страдают и мужчины. Но прежде всего — опять-таки женщины. Ведь это именно им приходится беспрестанно "выкручиваться". Многие иностранцы восхищаются, как хорошо теперь одеваются советские женщины. Знали бы они, сколько ухищрений, сколько правд и неправд стоит за каждой деталью одежды советской женщины. Восхищаются гостеприимством наших женщин, их кулинарным талантом. А сколько нашим удивительным русским хозяйкам приходится покумекать, позощряться в добывании всего того, что так красиво и щедро стоит на столе! Женщина покупает и для хозяйства, и для детей, и для мужа, и только уж потом — для себя. А попробуй-ка одновременно достать и сосиски, и стиральный порошок, и бумажные пеленки, и бритвенные лезвия, и ка-

кие-нибудь нестыдные и в то же время не очень дорогие туфли. Каждая советская женщина уже хотя бы за эту постоянную работу снабженца должна получать полную пенсию! А почему до сих пор воспитание хотя бы до одного года ребенка не приравнено к государственной работе с сохранением полной зарплаты?

Трагически отставая в экономике от ведущих стран, мы тем не менее триумфально вырвались в мировые лидеры по числу разводов. Почему? Катастрофическая бытовая взаимораздраженность, приводящая к взаимоубийству любви. Когда у каждого — своя отдельная комната, то хотя бы есть куда убежать во время ссоры, чтобы не дать выплеснуться раздражению. А если некуда убежать — потому что комната только одна? А если в этой же самой комнате ютятся и родители? По итогам недавнего социологического опроса, многие советские женщины причиной развода называют свои несложившиеся отношения с родителями мужа или мужа — с ее родителями.

Американские женщины почти не упоминают как причину развода эту проблему. Почему? Да потому, что наши молодые часто вынуждены жить вместе с родителями, порой в крохотном закутке, а американцы немедленно отделяются, и отношения с родителями у них остаются прекрасными. Наши женщины настолько устают от работы, быта, от метражной зажатости, от затравленности родственниками, от невнимательности мужей, что порой физически преждевременно перестают быть женщинами. Для того чтобы достать хорошие кремы, предохраняющие от старения, им приходится тратить столько сил, что от этого они еще быстрее стареют. Покупать французские духи на талоны о сдаче макулатуры и металлолома — это, что ли, уважение к женщине? Этого даже Кафка и Оруэлл в самых страшных кошмарах не представляли.

Одна из наших общественных женщин заявила, что не надо нам никаких платьев из-за границы — иначе свои никогда не научимся шить. Может быть, в момент этой телевизионной передачи она и была в советском платье, но, видимо, в каком-нибудь уникальном образце. Женщине неважно, какое это платье — советское или иностранное, лишь бы оно не попало на каждой третьей, лишь бы оно было красивым и желательно недорогим. Так вот, хватит дутого патриотизма в рассуждении об отечественной продукции — давайте продукцию не хуже иностранной. А пока нет, не жмитесь на валюту, закупайте, чтобы наши женщины красиво одевались, не то состарятся,

а помодничать не успеют. Неужели наши женщины не заслужили того, чтобы красиво одеваться? Чтобы красиво одевать своих детей? А мы, мужчины, еще осмеливаемся их поучать — какими они должны быть, наши многострадальные женщины.

Несколько наших общественных женщин, при всем моем уважении к ним, вряд ли могут выразить все наболевшие проблемы женщин СССР. Нам нужна ассоциация "Женщины за права женщин". Нам нужны женщины во всех эшелонах Советской власти и государства. У нас нет ни одной женщины министра СССР, ни одной женщины — главного редактора все-союзной газеты. Как будто в укор нам в "Правде" 8 марта 1989 года были опубликованы фотографии пяти женщин — руководителей ряда государств мира.

Дело, конечно, не просто в бессловесных представителях от женщин — для галочки. К сожалению, именно таких бессловесных делегатов-женщин было много на XIX партконференции, и с ее трибуны из уст женщин не прозвучало ни одного смелого, государственного слова.

Разговоры между собой некоторых женщин-делегатов в фойе сводились к сетованию на то, что на этой конференции нет спецмагазина. Я не обвиняю этих честных тружениц — доярок, крановщиц, сборщиц хлопка, приехавших из тех мест, где днем с огнем не найдешь ползунки для детей, детское мыло или хорошие сапоги для себя. Но зачем было делегировать их, весьма смутно понимавших, что на их глазах в Кремле шла серьезная политическая борьба за их собственное будущее, за будущее их детей?

Уже сейчас по списку народных депутатов СССР видно, что вместе с некоторыми мужчинами там будут и кое-какие женщины-депутаты, может быть, хорошие производственницы, но все ли они подготовлены к такой исторически ответственной, законодательной роли? Многие прекрасные женщины-кандидаты не прошли сквозь "драконовы зубы" окружных комиссий. Меня, например, ошеломили замечательные экологические и нравственные программы Черкасовой — в Люблинском районе, Усовой — в Мытищинском. А вот Ярошинскую, ласково прозванную на Житомирщине "наша Алла", местная бюрократия не смогла остановить.

Но я надеюсь, что женщины-депутаты все-таки сплотятся и выдвинут в лидеры лучших. Такими лидерами могут неожиданно стать и кто-то из женщин-крестьянок, и из женщин-рабочих. Но не надо замыкаться в классовой узости, которая столько нам навредила. Женщины — представительницы интеллиген-

ции могут порой защищать интересы и доярок, и крановщиц, и сборщиц хлопка не хуже, а порой и лучше, чем те сделали бы это сами.

Мы, мужчины, должны поубавить свою необоснованную спесь или свое благожелательное опекуновское превосходство при разговоре о месте женщины в обществе. Хватит взяток мимозами к 8 Марта и подачек тортами к дням рождения. Нам нужна перестройка в отношении к женщинам. С женщин начинается народ. Можно ли уважать народ, если мы не уважаем женщин?

1989



## БЕЗНАКАЗАННОСТЬ НАСИЛИЯ?

*Дорогие братья грузинские писатели!*

*Мы, члены московского комитета писателей "Апрель" с вами в скорби вашей. Грузия всегда была второй колыбелью русской поэзии. У нас в эти дни грузинского национального траура такое чувство, как будто веревку этой колыбели подсекли саперной лопаткой, а по самой колыбели проехали танковыми гусеницами, забрызгали ее сначала химическим ядом, а потом кровью невинных. Кровь народа — негодный строительный раствор для здания дружбы народов. Осуждая любой экстремизм, мы осуждаем и экстремизм государственный. Голос общественности уже возывал о недопустимом насилии в Куропатах, когда против безоружных людей применяли дубинки и слезоточивые газы. Однако виновные не были наказаны, ибо они как бы не существуют. Сейчас нечто подобное, хотя совсем по другому поводу и совсем в иных, более устрашающих масштабах, — жертвы есть, а виновных как бы нет. Может быть, безнаказанность относительно бескровного, но все-таки отвратительного насилия в Куропатах и позволила произойти кровавому бессмысленному насилию в Тбилиси? Безнаказанность насилия заманчиво заразительна, как долго не вытравляемая из организма инфекция жестокости. Мы против насилия, на какое бывает подчас способна потерявшая контроль над собой толпа, но и против полицейского насилия, на которое преступными приказами толкают не только спецчасти, но и армию. Надо уметь убеждать и переубеждать без танков — не бронированными, не огнестрельными, не химическими, а нравственными аргументами. Наука нравственного переубеждения людей немислима без мужества терпимости, без колоссальной выдержки. Брак перестройки со слезоточивым газом вопиюще неестествен, и от него не может быть нормальных детей. Мы требуем скрупулезного установления — кто был виновен в отданном бессмысленно жестоком приказе и в бессмысленно жестоком исполнении. Наказание, наконец, должно последовать, чтобы никому впредь было неповадно неразборчиво поднимать руку на невинных. Мы не должны позволить, чтобы никакая улица нашей страны стала бы другим иноименным проспектом Руставели, на который безутешным родителям пришлось бы потом класть траурные цветы.*

*Председатель Совета по грузинской литературе*

## РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Нелегко сеять семена перестройки в землю с трещинами национальной розни. Что стоят тосты за дружбу народов, когда под ножки банкетного стола подтекает кровь! Дружбу народов надо начинать даже не со школы, а еще с детсада, с улицы, с автобуса, с магазина, где еще, к позору нашему, то и дело можно слышать такие оскорбительные для национального достоинства выражения, как "хохляндия", "кацап", "жид", "армяшка", "чучмек", "чухонец", "кацошка" и так далее.

В развитие мысли депутатов Лихачева, Горбунова, Олейника предлагаю новую статью в главе девятой Конституции СССР:

"Суверенитет и национальное достоинство каждой республики СССР гарантируются всеми другими республиками. Оскорбление любого, даже самого малочисленного народа, неуважение к его языку, законам, культуре, экономике, обычаям, верованиям, волеизъявлению — считать уголовно наказуемым оскорблением всех советских народов".

Нельзя отмыться от прошлого, если нет мыла.

Так называемая "сильная рука" всегда готова зловеще прирасти к рыхлому телу слабой экономики. Если нет демократии экономики, то демократия всегда под угрозой. Недемократичность экономики объясняется прежде всего культом личности, который у нас никогда не прекращался, — культом личности государства. Документ, зачитанный здесь от имени нашего многострадального крестьянства, — это крик самой земли, насиуемой бесконечными противоречащими друг другу постановлениями, как ей, земле, надлежит жить, что она, земля, должна делать, а чего не должна. Разделяю в этом пункте глубокую боль моего давнишнего оппонента Василия Белова, а по другим пунктам мы еще поспорим. Продолжая идею Адамовича, предлагаю отменить специальным Указом Верховного Совета все сразу приговоры всем так называемым "раскулаченным", и тем самым наконец-то признать вину нашего общества, преступно позволившего лишить землю ее стольких истинных хозяев. Поддерживая Стародубцева, предлагаю выбросить из статьи 19 Конституции СССР оскорбительную формулировку о необходимости стирания граней между городом и деревней, что действительно стерло столько деревень с лица земли. Предлагаю выбросить из Конституции полностью статью

22 о превращении сельского труда в разновидность индустриального, что принижает, примитивизирует великую поэтическую профессию хлебороба.

Куль личности государства отрицательно сказался и на промышленности, давно ставшей не только долгостроем, а вечностроем "счастливого будущего".

Мостовики добавляют в строительный раствор соли, чтобы раствор "схватился". Но если в спешке кладут слишком много соли, то она затем разъедает железную арматуру. Наша экономика похожа на такой пересоленный, разъедаемый коррозией мост, чьи бесконечные ремонты переросли стоимость самого моста. Отраслевые министерства похожи на раздутые ремстройконторы, а Госплан похож на гигантское ателье по мелкому ремонту платья голого короля. Культ личности государства привел к государственному монополизму. Государство, монополизировав все основное производство — от канцелярских скрепок до ракет, стало похоже на неуклюжего динозавра с рахитичными, подгибающимися от веса туловища ножками и с крошечным мозгом в голове, находящейся слишком далеко от хвоста. Монополия государства на предприятия и землю — это не социализм, задуманный Лениным, а какой-то полуфеодальный, антигосударственный государственный капитализм. Антигосударственный — потому что он невыгоден самому государству. Показатель силы государства — это не количество тех, кто с ложкой, а жизненный уровень тех, кто с сошкой. Быть такими бедными, как мы, при таких феноменальных природных богатствах — вот неоспоримое доказательство экономической бесперспективности культа личности государства, государственного монополизма. Надо дать свободу творчества, в том числе и экономического, не только интеллигенции, а всем рабочим, крестьянам, служащим.

Статья 40 Конституции СССР, начинающаяся словами "Граждане СССР имеют право на труд", не только примитивна, но и оскорбительна. Даже заключенные — это тоже граждане и тоже имеют право на труд.

Предлагаю новый текст статьи 40: "Граждане СССР имеют право на **свободный труд**. Свободный труд подразумевает свободный выбор труда: коллективного, семейного, индивидуального, государственного, колхозного, кооперативного, акционерного, арендного. Свободный труд подразумевает право выкупа средств производства, а также право на производство средств производства. Земледельцы имеют право на владение землей как основным средством производства. Землю предо-

ставляют местные Советы сроком до 100 лет с правом наследования. Свободный труд есть право продавать продукты труда по цене производителя там, где решит сам производитель. Свободный труд есть право производителей после уплаты госналогов самим определять фонд зарплаты и фонд развития. Свободный труд есть право производить не то, что насильственно диктуется сверху, а то, что диктуется необходимостью рынка, нуждами народа”.

Предлагаю из преамбулы Конституции СССР выбросить хвастливую шапкозакидательскую формулировку: ”В СССР построено развитое социалистическое общество”. Надо сначала его построить, а уж потом хвастаться. Следовало бы сократить, а в ряде случаев прекратить помощь слаборазвитым странам, пока наша собственная страна не станет высокоразвитой.

Мои избиратели из города Харькова — этого своего рода Ленинграда Украины, — где интеллигентный рабочий класс и подлинно рабочая интеллигенция, дали мне наказ — строгий наказ — внести в седьмую главу Конституции следующую статью: ”Граждане СССР, независимо от их партийного, государственного и общественного положения, обладают лишь равными правами со всеми другими трудящимися в сфере торгового обслуживания, в сфере здравоохранения. Существование в открытой или скрытой форме привилегированных спецмагазинов, спецаптек, спецбольниц считать антиконституционным нарушением принципов социалистического равноправия”.

Товарищи! Конечно, должны быть депутатские привилегии. Нам, к сожалению, при сегодняшнем положении с билетами нужны депутатские кассы, нужно срочное размещение в гостиницах в связи с важностью народных заданий. Но иметь роскошные депутатские комнаты в аэропортах, на вокзалах, когда рядом спят вповалку женщины, дети, старики, — это уже стыдоба. Мы же с вами Съезд народных депутатов СССР — высший орган власти. Давайте с разрешения председательствующего на собрании совершим сейчас хотя бы одно крошечное скромное волшебство демократии — проголосуем за то, чтобы все депутатские комнаты отдать под комнаты матери и ребенка и престарелых. (*Оратор поднимает удостоверение. Зал его поддерживает.*) Спасибо за поддержку!

Ленин в речи на собрании, посвященном его 50-летию, пророчески предупреждал: ”...наша партия может теперь, пожалуй, попасть в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное, смешное”. (Ленин В.И. ПСС. Т. 30. С. 326 — 327.)

И разве не было, товарищи, этого зазнайства, этого партийного самонаграждения, партийного самославословия, когда портреты вождей, лозунги "Слава КПСС" и так далее контрастировали с убийствами миллионов трудящихся, с личной коррупцией, с развалом экономики, с гибелью наших невозвратимых мальчиков в Афганистане?

Историческая заслуга творческой части партии и лично Михаила Сергеевича Горбачева в том, что они мужественно взяли курс на новое мышление. Но новое мышление несовместимо с прежним инерционным партийным монополизмом на выдвижение советских и государственных руководящих кадров. Членов партии в нашей стране около 20 миллионов. Но у нас около ста миллионов беспартийных взрослых! Это же золотой неисчерпаемый запас потенциальных руководящих кадров, а мы продолжаем мусолить все ту же засаленную номенклатурную колоду. В стране нет ни одного беспартийного министра СССР. Днем с огнем не найдешь беспартийного генерального директора. На всю страну, по-моему, лишь один беспартийный министр республики — Раймонд Паулс и лишь один беспартийный редактор всесоюзного журнала Сергей Залыгин, которых на всякий случай надо записать в Красную книгу. Мне были непонятны здесь высказывания о якобы организованных "темными силами" на нашем Съезде атаках на партию. Здесь всего 292 беспартийных, то есть меньше 13 процентов. То, что здесь говорилось, это практически лишь внутрипартийная дискуссия! Не выступал против партии ни академик Лихачев, ни отец Питирим. Хватит "врагомании"! Пусть те 38 секретарей партийных комитетов, которые были забаллотированы, тоже не объясняют это атаками на партию. Это просто отрицательная оценка народом их личной деятельности.

Мы уважаем партию за все лучшее, что она делала и делает, и верим, что она может сделать еще много, но нам не нужен ничей новый персональный культ личности, ни культ партии.

Михаил Сергеевич, помните, что теперь Вы не только генеральный секретарь ЦК КПСС, но и президент 100-миллионной партии беспартийных, и мы, беспартийные, просим Вас не позволять в дальнейшем такого же кадрового зажима беспартийных в нашей стране. Все мы, партийные и беспартийные, должны быть в единой неделимой партии — партии народа.

Предлагаю дополнительную статью к главе седьмой Конституции СССР: "Граждане СССР, независимо от партийности и беспартийности, имеют право на полное равноправие при

выдвижении на любые советские государственные посты, включая самые высшие”.

Предлагаю также заменить текст статьи 6 на следующий: ”Согласно историческому лозунгу большевиков ”Вся власть Советам!” главной руководящей и направляющей силой советского общества являются Советы народных депутатов — равноправный союз партийных и беспартийных на основе идей социализма. Высшим органом власти является Съезд Советов”.

Предлагаю специальным Указом Верховного Совета СССР аннулировать приговоры по всем так называемым диссидентским процессам. Вернуть советское гражданство всем, у кого оно было несправедливо отобрано. Предлагаю лишить права на медицинскую практику всех психиатров, которые, нарушая клятву Гиппократата, под видом инакомыслящих запикивали в ”психушки” нормальных, свободомыслящих людей.

В развитие предложения Друцэ, исходя из моего глубокого уважения к нашей армии, предлагаю в статье 31 Конституции СССР следующее добавление в своей редакции: ”Советская Армия кровью заслужила благородную репутацию спасительницы мира от фашизма, и никто не имеет права толкать ее для использования в карательных акциях ни против советских, ни против других народов. Государственные лица, отдающие такие неконституционные приказы, должны быть преданы суду”.

Предлагаю отменить не только статью 11<sup>1</sup> Указа от 8 апреля, по которой можно привлечь к уголовной ответственности за справедливую критику вышестоящих лиц, но и заново пересмотреть весь этот крайне неряшливый и опасный указ.

Там есть, например, шпиономанский смехотворный пункт по поводу ”иностранный множительной техники”, как будто все наши магазины набиты своими отечественными ксероксами. Заметим, что тезис об ускорении вообще почти исчез, и даже Михаил Сергеевич его больше не повторяет. Почему? Да потому, что средств ускорения нет, и ксерокс — один из них. Так что вместо бдительного тезиса Василия Ивановича Белова, примерно такого: ”Каждый ксерокс — на заметку” — предлагаю тезис: ”Каждому советскому человеку — личный ксерокс”. Может быть, ксерокс поможет и Василию Ивановичу в его писательской работе.

Предлагаю открыть являющуюся органом Съезда Советов постоянную всесоюзную газету ”Голос депутата” с неограниченной подпиской. Поручить эту газету беспартийному редактору, хотя бы ради уникального эксперимента.

Объявить конкурс на новый Гимн Советского Союза, ибо слова сегодняшнего безнадежно устарели.

Предлагаю следующие изменения в Закон о выборах: "Выборы должны быть всеобщие, равные, прямые, тайные. Никаких окружных собраний. Все одномандатные выборы, включая выборы Председателя Верховного Совета, будут впредь считаться недействительными. Все организации, включая партию, имеют право лишь выдвигать кандидатов. Право выбора остается за главной организацией — за народом".

\* \* \*

Товарищи! Почему мы выиграли Великую Отечественную войну? Потому что у всех нас было и желание общей победы, и чувство общего врага. Не будем искать сейчас врагов друг в друге, ибо у всех нас общие враги — это угроза ядерной войны, страшные стихийные бедствия, национальные конфликты, экономический кризис, экологические беды, бюрократическая трясина.

Перестройка — это не только наша духовная революция, это наша вторая Великая Отечественная война. Мы не имеем права не победить в ней. Но эта победа не должна нам стоить человеческих жертв.

1989

# **КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК - СВЕРХДЕРЖАВА**

---

## **2**

Пока существуют границы —  
мы все еще — доисторические.  
Настоящая история начнется,  
когда не будет границ.





## ХОРОШАЯ ПОЛИТИКА ВЫШЕ ПОЛИТИКИ \*

Если бы деревни мира умели говорить, то многое могла бы рассказать одна особая писательская деревня — Переделкино на двадцать первом километре от Москвы, стоящая на той дороге, по которой когда-то шли войска Наполеона. Эта деревня помнила мрачные сталинские годы, когда писатели исчезали один за другим в бездонном чреве тюрем, а уцелевшие, встречаясь друг с другом на тропинках, старались говорить шепотом даже в лесу. Здесь, по легендам, несколько машин агентов ГПУ в 1937 году были посланы, чтобы арестовать героя красной кавалерии — маршала Буденного, но ветераны-кавалеристы уничтожили их всех из старомодных пулеметов системы "максим", спрятанных в траншеях вокруг маршальской дачи еще со времен гражданской войны. Говорят, Буденный позвонил после этого Сталину и спросил: "Ну что, Иосиф, ты хотел проверить своего старого маршала — умеет ли он еще воевать?" — на что Сталин якобы ответил с присущим ему тяжелым императорским юмором: "Я давно хотел убрать этих людей, но знал, что ты это сделаешь лучше меня".

Здесь во время хрущевской "оттепели" в 1956 году застрелился глава Союза писателей Александр Фадеев, когда из-за колючей проволоки стали возвращаться чудом выжившие писатели, и ему стыдно было смотреть им в глаза. Здесь Пастернак написал "Доктора Живаго", и здесь был похоронен в 1960 году по собственному желанию под тремя соснами на горе, за которыми горят золотые луковки церкви пятнадцатого века. Эта могила стала местом паломничества для всех тех, кто прикрывал совесть нации ладонями на всех жестоких ветрах истории, как неумолимо тающую свечку.

А недавно произошло забавное, нелепое происшествие: местные власти постлали асфальтовый ковер под каблучки Нэнси Рейган от поворота переделкинской дороги до могилы Пастернака, уничтожив очаровательную тропинку и создав Нэнси-стрип.

Американский космонавт, впервые ступив на загадочную поверхность Луны, сказал, кажется, так: "Маленький шаг одного человека — большой шаг всего человечества". То же самое можно сказать про первый шаг президента США Рейгана по

---

Статья напечатана в американской газете "Лос-Анджелес таймс". На русском языке публикуется впервые.

красному ковру в Красный Кремль, когда он поднимался навстречу Горбачеву по исторической лестнице, над которой невидимо реяли призраки Петра Первого, Ивана Грозного. Петр Первый, который собственноручно стриг бороды бояр, ковал железо и строил корабли, научившись корабельному мастерству у голландцев, по пушкинскому выражению, "в Европу прорубил окно". Президент Рейган, назвавший еще не так давно Россию "империей зла", на своем семьдесят шестом году все-таки взял в свои оказавшиеся еще достаточно крепкими руки фермерский топор и наконец-то прорубил окно в Россию. Почему он так сделал? Совсем не потому, что он изменил свои взгляды и стал "левее". Ужас перед всеобщим окончательным уничтожением сегодня заставляет всех здравомыслящих "правых" во имя спасения человечества сделать шаг влево — в сторону собственного сердца. При всей разнице политических систем, советской или американской, система материнских сердец, теряющих своих детей на войне — вьетнамской или афганской, — неизменна. Цинк гробов, в которых доставляют трупы сыновей, не превращается ни в серебро, ни в золото, а остается цинком. Американский президент-республиканец и русский президент-коммунист, оказывается, могут быть в одной и той же партии — в партии здравого смысла. Сейчас пора понять новую ядерную истину: самая хорошая политика сейчас та, которая выше политики. Первое соглашение, наконец-то подписанное двумя крупнейшими ядерными державами, переводит политику на уровень выше, чем просто идеология. Кнопка звонка в дверь другого народа лучше, чем ядерная кнопка. Оказалось, что когда дверь по этому звонку открывается, то народ, находящийся за дверью, вовсе не так страшен, как может показаться при закрытой двери. Гостеприимство американского народа к Горбачеву и советского народа к американскому президенту показывает, что инстинкт дружелюбия сильнее инстинкта недоверия, несмотря на все инъекции пропаганды.

Как сообщают наши газеты, несколько советских людей назвали своих новорожденных детей именем американского президента в честь его приезда. Никакое КГБ не могло их заставить этого сделать. Русские вообще хорошо относятся к американцам — ведь мы не только никогда не воевали друг против друга, но и были союзниками во время общей войны против фашизма.

Том Сойер и Гекльберри Финн — среди самых любимых героев наших школьников. Все знают, какая бывает ностальгия по чему-то опробованному в детстве, чего ты потом не можешь

найти. До сих пор пупырышки на кончике моего языка помнят вкус американского бекона, который я пробовал в голодные дни сорок первого года в Сибири. Мы открывали консервы волшебным, доселе невиданным ключиком, припаянным к банке, где, переложенные прозрачными полосками бумаги, светились розоватые ломтики бекона. Я с гордостью носил желтые американские сапоги, у которых был какой-то особенный иностранный скрип. В сибирском сельском клубе мы восторженно аплодировали американскому джазу из фильма "Серенада Солнечной долины", и многие советские солдаты были влюблены в тогдашнюю американскую кинозвезду Дину Дурбин. Моим героем стал впоследствии Джеймс Кэгни из фильма о бутлегерах "Бурные двадцатые", который шел у нас под дурацким пропагандистским названием "Судьба солдата в Америке". По радио мы ловили голос Чарли Чаплина, призывавший к открытию второго фронта. Вряд ли кто из сегодняшнего поколения помнит, что во время войны американские кинематографисты создали наивные, но полные симпатии к русскому народу антифашистские фильмы "Миссия в Москву", "Северная звезда". Над Сибирью с ревом пролетали летящие через Аляску "дугласы", в одном из которых была молодая журналистка Лиллиан Хелман, влюбившаяся, как она мне потом рассказала, в одного советского летчика. Май сорок пятого, когда наши и американские солдаты плыли друг к другу, поднимая над Эльбой автоматы и бутылки с виски и водкой, был медовым месяцем наших народов.

Но наш медовый месяц быстро кончился. Война нас объединила, но победа разъединила. Михаил Калатозов, режиссер знаменитого в свое время фильма "Летят журавли", рассказал мне одну грустную историю. Сразу после войны он работал представителем советского кино в Голливуде и решил организовать двусторонний радиоконцерт СССР — США. В один и тот же день и час лучшие американские и русские музыканты, актеры должны были передавать прямой концерт из Америки — в Россию и из России — в Америку. Калатозову стоило огромных трудов собрать вместе столько американских звезд, многие из которых отменили для этого свои другие концерты. Все они были тогда полны энтузиазма и радости общей Победы. Но перед самым началом концерта в радиостудии появился бледный, как мед, работник советского посольства и дрожащими руками протянул Калатозову только что расшифрованную телеграмму из Москвы: "Москва не будет принимать". Это было указание Сталина. Началась "холодная война". Растеряв-

шийся, подавленный Калатозов не нашел в себе силы сообщить об этой телеграмме американским участникам концерта, и концерт состоялся. Калатозов мне говорил, что это был великий концерт. Но это был концерт в никуда, в пустоту. Затем в доме Калатозова был ужин для всех участников, и Калатозов не выдержал и со слезами рассказал им то, что произошло. Никто на него не обиделся, но все зарыдали вместе, обнимая его.

Наступила новая эра — эра взаимонедоверия, взаимошпиономании. В США был создан печально знаменитый комитет по расследованию антиамериканской деятельности. Началась "охота за ведьмами". Это время Лиллиан Хелман назвала "Сквондрелс-таймс" ("Время мерзавцев"). Происхождение термина "империя зла" безусловно ведет к тем временам биографии Рейгана. В СССР тоже началась наша советская "охота за ведьмами". Были оскорбительно атакованы композитор Шостакович, писатели Ахматова, Зощенко. Начался так называемый "разгром космополитов", который практически был идеологическим еврейским погромом. Великий еврейский актер Михоэлс, приезжавший в Америку во время войны, был убит якобы грузовиком в Минске. Агония Сталина и сталинизма была медленной и страшной. Тени Сталина и Берии тоже витали над той лестницей, по красному ковру которой президент Рейган входил в Кремль, чтобы увидеть Горбачева. Парадоксом встречи этих двух людей является то, что Рейган как политик родился во время расцвета сталинизма в России, а приход Горбачева к политической власти привел к резкому и, я надеюсь, необратимому концу сталинизма. Поэтому естественно, что во многих политических высказываниях Рейгана еще чувствуется старое инерционное представление о Советском Союзе — никакой человек не может выпрыгнуть из своей кожи и впрыгнуть в чужую. Но в то же время, к чести Рейгана, надо сказать, что именно он — человек, которому было, может быть, как никому другому, трудно адаптироваться к новому образу Советского Союза, к таким странным, видимо, не внушающим ему доверия словам, как "перестройка", "гласность", — именно он поднял свою ногу, привыкшую к ковбойскому стремени и трапам воздушных лайнеров, и поставил ее на ступеньку кремлевской лестницы, покрытой красным ковром. Заслуга президента в этом тем большая, потому что вся его биография, вся его политическая практика, все его воспитание, весь его, если хотите, социальный инстинкт должны были быть против такого шага, и все-таки он его сделал, облагородив тем самым неумолимый закат своей политической карьеры. Президент сделал этот шаг,

потому что его социальный инстинкт был побежден все-таки самым главным инстинктом — инстинктом самосохранения человечества. В своем закате президент после такого шага оставил кусочек потенциального рассвета для своего преемника, кто бы он ни был. Такой шаг президента тем более важен, что его психология является отражением не какого-либо элитарно-интеллектуального духовного авангарда США, а именно арифметически среднего американского избирателя. Рейган не принадлежит к числу таких людей, как, скажем, Джон Кеннеди, который, опередив свое время и мышление своего социального слоя, высказал простую, но великую формулу, по которой, видимо, и будет жить двадцать первый век, — о том, что границы проходят не между государствами, а между людьми. Эта формула, наверно, не близка Рейгану, у которого, насколько я могу судить, есть детская болезнь национального превосходства и убежденности в некоей исторической спасительной миссии, которая лежит именно на плечах Америки. Но здравый смысл инстинкта самосохранения сегодняшних руководителей и США, и СССР все-таки должен привести к осознанию того, что спасение человечества лежит не через спасительную роль какого-либо одного государства, а через коллективное взаимосохранение всех государств. Баранья психология бесперспективна, когда у двух государств, двух политических систем, столкнувшихся на узком мостике, не просто рога, а ракеты, начиненные смертью. Противопоставлять две страны, обладающие страшным разрушительным оружием, как альтернативу одна другой, — это смертельно опасная игра.

Деление нашего единственного мира на три мира — капиталистический, социалистический и развивающиеся страны — это, во-первых, примитивно, а во-вторых, противоестественно. Примитивно потому, что образовался плюралистический социализм — советский, югославский, китайский, шведский, албанский и т.д., а также плюралистический капитализм — ведь нельзя же сравнить пиночетовский диктаторский режим с демократическим Люксембургом. Противоестественно потому, что в конце концов все взаимосвязано, а если и разделено, то все равно тянется к воссоединению. Капитализм и социализм вовсе мне не представляются единственными альтернативами друг другу, потому что человечество двадцать первого века может дать нам совсем другую, еще неизвестную сегодня альтернативу. Эта альтернатива может быть общим ребенком двух предыдущих систем, впитав все лучшие черты и отбросив все уродства. Может быть, именно эта, третья альтернатива и решит наконец

проблему войны, сделав ее нравственно невозможной. Хорошо, если США и СССР возьмут на себя общую ответственность за безопасность человечества. Но плохо будет, если они монополизуют эту ответственность, исключив из нее другие государства, или не исключая, но по-опекунски приуменьшая их роль. Лидером всех прогрессивных сил не должна себя заносчиво считать никакая одна страна, так же как нельзя называть никакую одну страну фокусом мирового зла. Прогрессивные силы человечества рассыпаны по разным странам так же, как и силы реакции. Американские "правые" и наши противники демократии и гласности взаимонуждаются в теории угрожающей альтернативы, ибо лишь запугивая население "образом врага", они смогут удержаться на своих местах. Одни и те же псевдопатриотические шовинистские аргументы исходят из уст противников гласности в СССР, обвиняющих наши романы, стихи, статьи якобы в оплевывании советской национальной гордости, и из уст противников фильма Оливера Стоуна "Взвод", обвиняющих автора в оплевывании американского военного флага. Джон Стейнбек, с которым мы спорили по вьетнамскому вопросу, но в то же время нежно дружили, с замечательным американским юмором говорил: "Во время моего путешествия с Чарли по Америке я встретил фермера, который даже в засухе обвинял русских. Я думаю, что когда у вас, русских, бывает засуха, то вы тоже обвиняете в этом ваших "русских", но только называете их американцами..."

Президент Рейган не без здравого смысла заметил, что мы должны повышать обмен людьми, особенно молодыми. Если хотя бы десяток тысяч советских детей будут учиться на территории США, а десяток тысяч американских детей — на территории СССР, то и американские, и советские взрослые станут волей-неволей поосторожней с атомными кнопками. Школьники, студенты могут стать нашими добровольными заложниками мира. А что, если по предсказанию футурологов-пессимистов произойдет агрессия против планеты Земля другой, неизвестной нам фашизированной цивилизации? Сумеет ли мы, при нашем сегодняшнем недостаточном взаимном доверии, мгновенно объединиться для общей борьбы с общим врагом? А что, если одна из отчаявшихся голодных маленьких наций овладеет атомным оружием или каким-нибудь еще более страшным и поставит человечество на грань катастрофы? Разве не лучше было бы нам объединить сейчас свои усилия против голода, нищеты, чтобы превентивно избежать этого акта агрессии от отчаяния?

Спасителен лишь один путь — от взаимообвинений ко взаимопониманию. Такой путь не отменяет взаимокритику — лишь бы она была основана на доброжелательстве, а не на злорадстве. Если наши газеты все время будут писать только о безработице в Америке, то от этого в наших магазинах сахара не прибавится. Если американские газеты будут писать только о диссидентах в СССР, то безработица в Америке от этого не уменьшится. Никакой стране лекарством от болезней не может быть болезнь другой страны.

Для того чтобы поддерживать постоянную прямую связь между Вашингтоном и Москвой на случай опасной неожиданности, эту связь постоянно проверяют на слышимость, читая рассказы Чехова. Этот факт вырастает до символа, возвышая роль мировой культуры в спасении человечества.

Когда я в 1960 году впервые приехал в США туристом с 33 долларами и с тремя английскими словами "вер из стриптиз?", произошел забавный случай. Староста нашей туристской группы, писатель, в свое время очень нравившийся Сталину, зазвал нас в свою комнату в нью-йоркском отеле и стал нам показывать какие-то провода под ковром, предназначенные якобы для подслушивания. Достав перочинный нож, наш мужественный староста перерезал провода, и в тот же миг погас свет в торшере, к которому вели эти ни в чем не повинные провода.

Нельзя перерезать ни в чем не повинные провода культуры, которые соединяют наши народы, иначе погаснет свет.

1988

## РАЗДЕЛЕННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ

**Я** летел на советском пограничном вертолете над Беринговым проливом — над этой узенькой полосочкой воды между Америкой и Россией. По Берингову проливу плыли льдины — большие и маленькие, похожие то на белых медведей, то на мраморные скульптуры Генри Мура. Вертолет шел довольно низко, и я заметил внизу крошечную живую точку, то зигзагообразно движущуюся, то прыгающую, то на мгновение застывающую.

— Соболь, — сказал вертолетчик, отрывая от глаз би-

---

Статья из книги "Разделенные близнецы: Аляска и Сибирь", изданной в США. В СССР публикуется впервые.



нокль. — Видно, к родственникам решил прогуляться, в Америку...

Соболь, наверно, попал в беду, когда течение отломило кусок берегового припая и понесло его в море. Но соболь не сдался и прыгал со льдины на льдину, когда их края сближались. Это был танец свободного, борющегося за жизнь существа, танец между двумя социальными системами, танец между двумя потенциальными ядерными ударами. Внюхиваясь в ветер, соболь, наверно, улавливал среди запахов морского йода, меха моржей и оленей стальной привкус капканов, спрятанных под снегом, и опасный масляный аромат оружия пограничников и на том берегу, и на этом. Соболь, конечно, не знал, что пограничники принадлежали к двум совершенно разным мирам — соболу пограничники казались одинаковыми для его жизни опасностями, лишь надевшими разную военную форму. Но соболь прекрасно знал, что с него одинаково могут содрать шкуру — и на том берегу, и на этом.

Полоска воды между Америкой и Россией была для него только полоской воды, а никакой не границей. Границы не существовало ни в понимании китов, белыми фонтанами салютующих обоим берегам, ни в понимании моржей, величественно возлежащих на льдинах. Природа не признает границ, установленных нами, людьми. Придумывая, а затем соблюдая границы, мы предаем природу. Придумывание границ государственных есть нарушение границ нравственных.

Почему в народных песнях всех времен и всех народов люди высказывают желание превратиться в птиц? Да потому что птицы не знают границ. Люди стремительно завидуют животным за их свободу и, наверно, именно поэтому стараются лишить животных свободы, навязать им границы — будь это вольтер зоосада, прутья цирковой клетки или прозрачные, но тюремные стенки аквариума. Люди оскорбляют дарованную им Богом единую планету глухими заборами, о которых с такой горькой иронией писал Роберт Фрост, колючей проволокой, железными или газетными занавесами. Разделенность, расчлененность, разодранность поверхности земного шара переходит в условный и физический взаимоканнибализм. Наше незнание друг друга, как скульптор, опасный своей агрессивной наивностью, который лепит злобные фигуры так называемых врагов.

Берлинская стена стала пугающим символом XX века. Но все-таки тяга человека к человеку сильнее страха друг друга. В нас есть исторические гены не только страха, но и гены

детского желания принюхаться, потереться шерстью друг о друга.

Капиталистические панки с прическами, похожими на пегушиные гребни, и с жестяными красными звездочками, усеявшими их драные джинсы, разглядывают со смотровых деревянных площадок Берлина так называемую "нейтральную полосу". Социалистические панки буйно аплодируют рок-н-роллу, доносящемуся из-за берлинской стены, которая, оказывается, не так уж непроницаема.

Берингов пролив, где прыгал, пробираясь со льдины на льдину, одинокий соболь, — это северный Чек Пойнт Чарли. Его водяная "нейтральная полоса" тоже небезопасна. Говорят, что почти все заключенные, пытавшиеся когда-то бежать в Америку из сталинских лагерей, или были выданы эскимосами и чукчами (за беглецов платили порохом и пулями), или замерзли, или были потоплены на лодках под пулеметами погранохраны.

Вскоре после Победы и над Беринговым проливом навис "железный занавес" "холодной войны". Только наиболее отчаянные эскимосы находили или просверливали в нем дыры, проходя под прикрытием густых туманов пограничную зону. Они навещали своих родственников, и до сих пор где-нибудь в яранге (меховой палатке) на советской стороне вы можете встретить американский винчестер, а в снежном "иглу" на американской стороне советскую водку со штампом "Петропавловск-Камчатский".

Пустую бутылку именно с таким штампом я обнаружил в 1966 году в Пойнт Хоупе, в "иглу" одинокой старухи эскимоски. Бутылка была подвешена за веревочку в углу, а из горлышка торчала стеариновая свеча с религиозно трепещущим лепестком огня. Старуха сказала, что в этом углу раньше висела православная икона, но она ее продала. И что она теперь молится пустой бутылке, потому что это подарок ее родственников с той стороны пролива.

Парадоксально и грустно, что на той, американской стороне пролива сохранились многие деревянные русские церкви, а на советской стороне — не уцелело ни одной. Эти драгоценные памятники деревянного зодчества были уничтожены нашим разрушительным ультрареволюционным нигилизмом. "Холодной войной", моделированием образа "врага" были разрушены исторические связи между двумя близнецами — Аляской и Чукоткой. Это было и против истории, и против природы. Нестественность фатальной разделенности при фатальной бли-

зости дошла до idiotских ситуаций, когда между ними были перерезаны и водные, и воздушные пути.

86-километровая ширина пролива стала казаться гигантской ледяной Сахарой. Открытая русскими землепроходцами в 17 веке и проданная царским правительством в 1867 году за 7,2 миллиона долларов, Аляска, оставаясь на том же самом месте, в то же время как будто была отшвырнута жестокой рукой от своей кровной сестры Чукотки и от Сибири в целом. Жители Фербанкса должны лететь в бухту Провидения, до которой 20 минут лета, 30 часов через Нью-Йорк и Москву.

Климат, флора и фауна Аляски и Чукотки настолько схожи, что разрабатывать природные богатства, заботиться об окружающей среде не вместе — это экономически глупо. А ведь была когда-то Российско-американская компания, созданная нашими предками еще в 1799 году, была. Но это все постепенно забывалось. Оставаясь географически неизменным, в человеческих взаимоотношениях расстояние между Аляской и Чукоткой катастрофически увеличивалось. Два разделенных единокровных близнеца все дальше отплывали друг от друга, и на их берегах тревожно скулили соболи, привставая на позвонках китов.

В 1966 году в Фербанксе местные университетские поэты рассказали мне о своей мечте — купить вскладчину какой-нибудь старенький дешевый самолет, отремонтировать его и полететь без всякого разрешения в гости к поэтам Петропавловска-Камчатского. У меня мурашки пошли по коже, когда я представил, чем может кончиться их прелестная идея. На Аляске мы с моим американским другом — профессором Куин колледжа Альбертом Тоддом — арендовали на пару дней частный самолет. Его владельцем был бывший военный летчик, во время войны эскортировавший транспорты с продовольствием к Мурманску. С бычьей шеей и румянцем свекольного цвета, он был сентиментален и во время полета любил предаваться батальным воспоминаниям, аккомпанируя себе глотками из пузатой бутылки джина.

Однажды над Беринговым проливом он расчувствовался почти до слез:

— Слушай, Юджин, я так соскучился по вашим русским парням. Мы пили с ними водку цистернами в Мурманске... Давай слетаем в гости к вашим пограничникам — на пару часов...

Он не шутил. Его волосатые, похожие на двух горилл руки

уже начали поворачивать штурвал, и я еле успел вцепиться в них, сообразив, что нас обоих вряд ли примут за голубей мира.

В одном аляскинском поселке, в ночном баре, где солдаты с ракетной базы танцевали с подвыпившими пятнадцати—шестнадцатилетними эскимосками, я познакомился с американским майором, который, перекрикивая орущего из пластиночного автомата Элвиса Пресли, хрипел мне в ухо:

— Юджин, ты служил когда-нибудь в армии?

— Вроде Элвиса Пресли... — честно признался я.

— Тогда ты ничего не знаешь про армию... Ты наверняка думаешь, что все профессиональные военные — это солдафоны и убийцы, а это неправда, Юджин. Профессионалы ненавидят войну еще больше, потому что они знают, что за сука — война. Дай-ка я тебе нарисую кое-что на салфетке. Узнаешь? Это ваша Чукотка. А вот тут — ваша ракетная база, точно такая же, как наша. И я уверен, что там хорошие русские парни — не хуже наших. Но мы нацелены на этих парней, а они — на нас. Понял? Тебе хорошо от этого, Юджин? Мне — не очень...

Много мы выпили с этим майором. Настолько много, что я сам не знаю — было ли в действительности то, что произошло дальше, или это моя фантазия. А может быть, это наполовину правда, а наполовину сон, похожий на правду? Помню асфальтовую, довольно широкую дорогу, по которой майор ведет джип, матерясь и отхлебывая из горлышка бутылки. Крупные хлопья снега бабочками крутятся в фарах. Свет выхватывает по-детски хвастливый указатель, который возможен лишь в Америке: "Через одну милю поворот на секретную ракетную базу". Нет, этого придумать нельзя! Этот указатель я помню совершенно точно! Въезжаем куда-то за колючую проволоку. Какие-то курносые ребята с юношескими прыщиками почтительно козыряют, щелкают каблуками, а глазами смеются — сообразили, черти, что мы с майором — в драбадан.

Мы едем куда-то вглубь, пока не наткнемся фарами на ракету, похожую на акулу, выныривающую только не из пучин моря, а из пучин земли.

Майор, шатаясь, вылезает из-за руля, подходит к ракете, стучает бутылкой о ее бок: "Чтоб ты никогда не взлетела, сука!" и судорожно отпивает, не забывая оставить виски мне. Потом лезет за пазуху, показывает мне фотографию за целлулоидным окошечком бумажника: зеленая поляна, белый коттедж, жена, похожая на Дорис Дэй (на Дорис Дэй почему-то похожи большинство офицерских жен — даже советских), трое детишек с бейсбольными клюшками...

Альберт Тодд, который был свидетелем начала нашего пьянства с майором, но потом не выдержал и пошел спать, сейчас выражает сомнение в моем ночном визите на американскую ракетную базу:

— Извини, Женя, американская наша секретность, конечно, не на советском высоком уровне, но все-таки тоже существует...

Как бы то ни было, Альберт Тодд пошел спать, а мы с майором — наоборот, и чем больше проходит лет, тем больше я и сомневаюсь в этой истории, и верю в нее.

И я ее вспомнил опять через 21 год, в ноябре 1987 года на Чукотке, когда летал вдоль Берингова пролива на пограничном вертолете и одинокий соболь прыгал со льдины на льдину, между Америкой и Россией, немножко напоминая мне и меня самого.

Командир вертолета был, как мы говорим, "афганцем" — и, честно говоря, у меня было сначала некоторое предубеждение к нему. Совсем недавно перед этим мне рассказывали историю об убийстве инкассатора в Москве, когда грабители выстрелили ему в живот. Один из грабителей деловито спросил: "Ну как?" — "В порядке... Как в Афганистане..." — ответил другой, будучи уверен, что инкассатор убит. Но инкассатор чудом продержался еще какое-то время и успел сообщить милиционерам эту реплику — по ней и нашли убийц, бывших наших "голубых беретов".

Но этот чукотский "афганец" — красивый, но не сладкой, а какой-то задумчивой горькой красотой, еще молодой и в то же время не по возрасту немолодой человек, мне очень понравился своим врожденным достоинством и своим поразительным умением рассказывать — с редким чувством отбора ситуаций и слов. Он принадлежал именно к тому типу профессионалов, ненавидящих войну, о которых и говорил мне когда-то американский майор на другом, таком близком и далеком берегу.

Я спросил "афганца", когда ему было страшнее всего на той войне. Он подумал и ответил, что это было тогда, когда однажды, ничего не объясняя, в ночь перед Новым годом его отправили из Кабула в Ташкент, и он был уверен, что это будет, как минимум, военный трибунал. За что — он не знал, но вину можно всегда найти. Однако его прямо с военного аэродрома отвезли в отель, дали ключ от номера, где он нашел на столе букет цветов и приказ командования премировать его встречей Нового года на родине и пропуском в ресторан с указанием места. Он выполнил приказ, пошел в ресторан, но ему было неуютно и страшно среди веселья и гогота, и он думал

только об одном — о своих товарищах, которые, может быть, в этот момент умирают ни за что ни про что...

В Афганистане он был несколько лет тому назад, но он летал над Чукоткой с этой неумолкающей войной в душе, которая не остановится в нем даже тогда, когда наконец-то, слава богу, она остановится. У него было поразительное чувство красоты природы — у этого чукотского "афганца", может быть, потому, что он был почти убит столько раз. Собственная жизнь и все, что он видит, представлялось ему незаслуженным, неоценимым подарком. Они бы прекрасно поняли друг друга с тем американским майором, потому что тот тоже был почти убит столько раз в Корее.

Я открыл иллюминатор вертолета и снимал на лету коченеющими руками и чуть не свернув набок шею. Но "афганец" вел вертолет удивительно, поворачивая, казалось, не его, а саму Чукотку с ее почти несуществующим пронзительно синим цветом, с ее снежными, даже днем затененными сопками, на которых лишь иногда проступали золотые пряди солнечного света, случайно пророненные сквозь лиловые тучи.

Мы стояли на кладбище китов — точь-в-точь на таком же, на котором когда-то я был на Аляске, когда черные радуги костей, вколоченные в землю, мне казались архитектурным реквиемом по всем, для кого и океаны — малы. Мы видели черепа белых медведей, сложенные в странный, ни на что не похожий алтарь.

Белая куропатка, похожая на выдох морозного пара из детских губ, бесстрашно села у моих ног, с любопытством поглядывая на меня темными бусинками глаз. Мы шли к лежбищу моржей и, прежде чем увидели его, учуяли ноздрями — настолько остро ударил резкий мускусный запах. Тысячи полторы моржей лежало на гальке единой рыжевато-коричневой грудой, светясь величественными, как сталактиты, бивнями. Моржи были похожи на прижавшиеся друг к другу холмы. Выглядели они могуче, и каждый из них в отдельности мог раздавить человека с фотоаппаратом, нахально приблизившегося к ним метров на десять. А уж если бы они все навалились, то от меня и следа бы не осталось.

Моржи всей генетической памятью знают, что самый страшный и коварный зверь — это человек. Услышав предупредительный тревожный рык одного из своих часовых, моржи, колыхая мощными телесами и поднимая тучи пыли, поползли к спасительной воде. Там они были подвижней, чем на суше, наказывавшей их притяжением. Но в воде, когда они почув-

ствовавали себя защищеннее, страх сменился любопытством, и над волнами закачались головы моржей с карими искрящимися глазами. У меня было такое чувство, как будто машина времени волшебным образом перенесла меня к самому началу мира.

А потом я с горечью вспомнил, как в 1963 году я ходил в Баренцевом море на зверобойной шхуне и кто-то поставил на палубе магнитофон с песней знаменитого тогда итальянского вундеркинда Робертино Лоретти "Санта Лючия". Эта сладкая песня нравилась обитателям соленой океанской воды, и немедленно около борта вынырнула голова нерпы с женскими восторженно-любопытными глазами.

Кто-то мне сунул в руки карабин, закричал: "Стреляй!" Я выстрелил, и то, что только что было живым, переживающим, светящимся, всплыло потерявшим жизнь мертвым телом, окрашивая воду вокруг себя кровью. Шхуна продолжала дальше путь, не останавливаясь. "Первую добычу не берем!" — ответил мне капитан на мой вопросительный взгляд.

А потом у меня был другой случай, когда я убил влет одного из летевших над Вилюем гусей, и он, словно совершая божье наказание, упал в нашу лодку, прямо мне в руки. Но это было только начало наказания, ибо второй гусь целый день кружил над нашей лодкой, где лежал его убитый брат, и кричал, как будто своим криком мог воскресить убитого. С той поры я практически бросил охоту. А ведь я никогда не убил ни одного человека. Что же испытывают те, кто убивает людей? Почему они тогда не бросят навсегда охоту на людей — войну?

Не стоит, конечно, идеализировать любовь к животным — особенно показную. Гитлер, кажется, обожал кошек, а Геринг — собак, что не мешало им замучить столько людей. Но жестокость к животным — это тренинг жестокости к людям. Вспомните хотя бы испанского инфанта Филиппа из книги Шарля де Костера "Тиль Уленшпигель", который сажал живых кошек внутрь клавиесина. На каждой клавише была иголка, и при нажатии кошки жалобно мяукали. Чем закончились подобные "шалости" инфанта? Кострами инквизиции, где он поджаривал уже не собственную обезьяну, а еретиков.

Советские газеты постоянно критиковали США за пропаганду насилия и жестокости. Американские газеты критиковали СССР за попираание прав человека — то есть практически за жестокость в области духа. Но вот вам Берингов пролив, разделяющий две наши страны, где и по ту, и по другую сторону одинаково много жестокостей по отношению к животным.

Избиение дубинами бэби-нерп, когда вылетающие из орбит глаза кричаще прилипают к фартуку убийц. Убийство собак на шапки, когда животных обдирают полуживыми, ибо мех тогда дольше сохраняется. Расстрелы с вертолетов диких оленей, когда убегающие беременные оленихи в ужасе отстреливаются плодами, исторгая их из чрева, чтобы легче было бежать. Отношение к прирученным оленям, как к свиньям, обреченным на убой. Лов рыбы сетями с зауженными ячейками. Продолжающееся, несмотря ни на какие "общественные кампании", уничтожение китов. Может быть, киты устраивают массовые самоубийства для того, чтобы в людях наконец проснулась совесть?

Послушайте "экологический джаз" Поля Винтера, когда он микширует со своей музыкой песни китов, похожие на молитвы, чтобы мы их не убивали. Неужели мы упражняемся в жестокости на животных из инстинкта сохранения этой жестокости, которая нам может пригодиться в войне против себе подобных? Может быть, нам лучше позабыть, изжить из генетической памяти искусство жестокости и к животным, и к людям, и тогда шансы взаимоканнибализма понизятся?

Аляска и Сибирь — несправедливо разделенные близнецы, сблизившись, могут дать великий приглашающий пример. На исходе двадцатого века наконец-то появились надежды, уже почти никем не ожидавшиеся. Дипломатия дипломатов нас во многом обманула, но появилась новая "гражданская", "народная" дипломатия. Эта дипломатия оказалась необычайно успешной, как действия партизан во время войны иногда важнее действий регулярной армии.

В 1987 году английская пловчиха впервые переплыла Берингов пролив, магически соединив своим телом блудную дочь Англии — Америку с полуазиаткой-полуевропейанкой Россией. В этом же году американское судно с Аляски впервые зашло в чукотский порт. Только на год раньше аляскинские эскимосы впервые официально ступили на советскую землю. В этом же году жители аляскинского города Кодиаках обратились с предложением о постоянном обмене людьми и идеями с чукотским городом Анадырь.

"У жителей Анадыря и Кодиака много общего, что нас объединяет. Самое главное, это любовь к нашим городам и наши надежды на счастливое будущее для своих детей. Мы понимаем, что в случае ядерной войны все, чем мы дорожим, будет уничтожено, поэтому нам хотелось бы объединиться, чтобы создать мосты общения..." — вот что написали кодиакцы анадырцам — своим русским соседям.



...Соболь продолжает бежать по Берингову проливу, балансируя на плывущих льдинах и рискуя оскользнуться, свалиться в воду. Но соболь и не предполагает, что навстречу друг другу с обоих берегов потихоньку растут невидимые мосты...

Была когда-то такая песня: "А что Сибирь? Сибири не боюсь... Сибирь ведь тоже русская земля..." Эта песня была ответом всем тем, кто думал, что Сибирь — это всего-навсего гигантская снежная тюрьма, и все. Но прежде чем в Сибирь стали ссылать, туда бежали, ища свободу. Эти беглецы и стали завоевателями Сибири. Они принесли с собой в Сибирь вольный дух, не ужившийся в Москве рядом с пыточными кремлевскими башнями, но зато нашедший столько простора за Уральским хребтом. Семена европейской культуры аристократов-декабристов и польских мятежных интеллектуалов падали в Сибирь на благодатную почву, вспаханную непокорным казачеством и крестьянством.

Мои предки были сосланы в Сибирь за поджог помещичьего дома и шли до Байкала почти год в кандалах, разбивших до крови ноги. По семейным преданиям, моя прабабка убила кулаком царского урядника — такой она была страшной физической силы. Оба мои деда делали революцию, и оба они после революции попали в сталинские сибирские лагеря. Только на одной реке Колыме в лагерях было, как говорят, несколько миллионов человек.

Но в Сибири с детства я видел не только тюрьму — я видел в ней тайную кладовую свободы. Не зря говорят, что нигде люди не бывают так свободны, как в тюрьме. Там — где я вырос, — на станции Зима — самым большим преступлением считалось выдать беглеца властям. А если кто выдавал, предателя вскоре находили мертвым.

Другим преступлением в Сибири всегда считалось — не поделиться. Не поделиться крышей, хлебом, патронами, спичками. Во время войны Сибирь кормила миллионы эвакуированных и отдавала лучших своих сыновей фронту. Москва была спасена сибиряками. После смерти Сталина Сибирь руками своей молодежи сама начала ломать сталинские лагеря. Поэт, который когда-то первым сказал, что Сталин убийца, — погиб в Сибири. Поэт, который первым через тридцать лет снова сказал, что Сталин убийца, — родился в Сибири.

...Соболь продолжает бежать со льдины на льдину. Если приглядеться, то заметно, что он чуть прихрамывает — это от старого капкана...

А вот единственная эскимосская поэтесса Зоя Ненлюмкина никуда не бежит, ходит осторожно, чуть боком, и совершает странные, на общий взгляд, поступки. Она пришла ко мне в гостиницу в бухте Провидения и прочла стихотворение, написанное на ее родном науканском диалекте:

Осень.  
Долгий глухой снегопад.  
Ворон хрипло кричит невпопад:  
брррат...  
Мне?  
Тебе? И на память приходит  
сохранившаяся в народе  
полубыль,  
полусказка о том,  
как за домом пустел жутко дом,  
как сородичей голос косил,  
и земля из-под снега,  
без сил  
черной плотью тянулась к теплу,  
но, как небо шаман не просил,  
теплый дождь землю не оросил —  
только смерть ворошила золу.  
Прадед помнит о горькой поре...  
Сколько голод скосил в сентябре, —  
ворон выжил,  
бок о бок с жилищем,  
эскимосскою выкормлен пищей,  
пусть убогой,  
случайной,  
но это  
помогло продержаться до лета.  
Стаял снег.  
Вскрылись реки и почки.  
Солнце залило землю цветеньем.  
Ворон в небо ушел черной точкой.  
Прадед мой не оставил селенье.  
Но в заботах,  
но в радостях кратких,  
от земли отрывая свой взгляд,  
он нет-нет да проводит украдкой  
птичью стаю, и снова, с оглядкой  
ждет: вдруг ворон вернется назад.

Осень. Краски прощаются с нами.  
Иней. Изморозь и седина.  
И зима залегает снегами,  
и длинна, ох, длинна!  
А ворон, говорят, спустя годы  
все же прилетел к яранге спасителя,  
и перья его были совсем седыми  
от инея или...  
Кто знает!

— Почему ты такая грустная, Зоя? — спрашиваю я.

— Язык наш умирает... — отвечает она. — А разве есть хоть один некрасивый язык...

— Нет, Зоя, нет ни одного некрасивого языка... — отвечаю я.

— Значит, если хоть один язык умирает, красоты на земле убавляется... — говорит Зоя и задумывается, а потом добавляет: — А еще вот что — теплом детей наших губят...

— Это как? — оторопеваю я.

— А так... Как только эскимосский ребенок рождается, его сразу у матери из яранги отбирают — и в тепло, в интернат... Он к теплу, к батареям приучается и слабость начинает... А потом, когда вырастает, его снова на холод, в стадо... И какой из него оленевод! Он же погибнет на холоде... Тепло для северного человека — яд... Ой, заговорились мы с вами... Вы меня проводите?

— Провожу, — говорю я.

Идем долго, через весь поселок. Подходим к горсовету. У горсовета рядом с автобусной остановкой стоят прямо на снегу два чемодана со сломанными замками, обвязанные бельевыми веревками.

— Вот и мой багаж из деревни... — говорит Зоя.

Я опять удивляюсь:

— Зоя, мы ведь с тобой долго разговаривали — часа четыре... Неужели ты на это время так и оставила эти чемоданы просто-напросто на снегу?

— Так просто-напросто и оставила, — отвечает Зоя. — А что, нельзя?

...Бежит соболь по льдинам, бежит, и все-таки вдруг поскользнулся. Потасила его вода в себя, но он не поддается, коготочками в край льда вцепился, заскреб, выкарабкался на этот раз...

Эскимосов на Чукотке по переписи 1979 года было всего 1287 человек, а вот юкагиров и того меньше — 144 человека. Последние могики Севера. Зоя Ненлюмкина была права: воспитание в "оранжерейных" условиях убийственно для северных детей, ибо оно расслабляет их, и, привыкнув к теплу, дети оказываются беззащитными в белой пустыне перед устрашающим воем пурги.

Но нация не вымирает, потому что есть те, кто держится за традиции выживания. Яранга — это самая лучшая колыбель мужества на Севере. Заснеженные конусы яранг, сшитые из оленьих шкур, похожи на груди северной природы-кормилицы. Яранги внутри мудро разделены на несколько кожаных комнат — прихожая, где остается вносимый входящими главный холод, столовая, куда проникает лишь маленький холод, и спальня, где человеческие дыхания образуют колышущуюся крепость тепла. Жировые светильники похожи на мистически оставшиеся живыми глаза убитых китов. Есть еще умельцы, которые шьют водонепроницаемые прозрачные дождевики из рыбьих пузырей. Детские "подгузнички" с открывающимся на попке карманом шьют обычно из шкуры росомахи — ибо, как говорят знатоки, устройство каждого волоска росомахи таково, что на шкуре не выступает иней.

Эскимосов, одетых, как век или два назад, встретить почти невозможно: то американские джинсы под нерпичьей кухлянкой, то поролоновые луноходы на ногах, то наушники японского кассет-плеера, всунутые под песцовую шапку, то микроалькулятор в руках директора звероводческого совхоза.

Но однажды наш вертолет опустился прямо посреди стада, и из стада, как будто из случайного тумана времени, вышел человек, одетый, наверно, так, как одевались еще в каменном веке. У него было лицо воина с холодом, воина с гигантскими снежными пространствами, воина с исчезновением своего народа. Это лицо было как будто вырублено каменным топором из камня. Цивилизация не коснулась этого лица, но в глубине глаз, запрятаных под почти неандертальским лбом, жила высокая цивилизованность инстинкта выживаемости, цивилизованность взаимоотношения с природой, которая ему нашла место в ухо столько своих тайн.

Когда я фотографировал его, у меня было ощущение, что я со своим "Никоном" попал в такое далекое прошлое человечества, что вот-вот из снежных хлопьев появится еще не вы-

мерший мамонт и затрубит песню предчувствия собственной гибели.

Есть еще такие уголки на земном шаре — заповедники нашей предыстории. Есть еще такие люди, которые живут так, словно не существовало никаких философий — только философия инстинкта, никакой техники — кроме техники выживания. Но вот что поразительно — чаще всего эти люди нравственно чище нас. Неискушенность делает их честнее, необразованность — мудрее. Странное у меня было чувство перед этим реликтовым человеком, вышедшим из стада оленей к неожиданно присевшей на снег огромной металлической стрекозе — мне было одновременно и жаль его, и стыдно перед ним.

А когда вертолет оторвался от земли, реликтовый человек снова вошел в море оленей, седых от мороза, и растворился в этом море, как призрак детства человечества. На нем не было ни одной современной вещи, ни одной современной пуговицы, ни одной современной ниточки. Но какие-то нити нас все же связывали, и друг на друга мы смотрели, как животные одной породы, только разных периодов.

...Соболь, чудом выбравшийся из ледяной воды, еле успел отряхнуться, но все-таки вода кое-где превратилась в сосульки на его боках, отяжелила его. Теперь бег для него стал уже не просто движением, а спасением — только так он мог не замерзнуть, и, наверное, яростно колотилось его крохотное сердечко, гоня кровь под бахромой заиндевелой шкуры, оттаивая ее своим отчаянным теплом...

Теперь о юкагирах, ибо, судя по чертам лица, тот реликтовый человек, возможно, был именно юкагир. Когда-то это было могучее племя. Но оно потихоньку стало слабеть и редеть именно из-за доброты этого племени. Говорят, что юкагиры с некоторых пор, прежде чем убить какого-либо зверя, просили его, чтобы он их простил. Записанная мной со слов одной старухи юкагирки молитва была такова: "Я знаю, что ты голоден, как я, медведь. Я знаю, что у тебя дети, как у меня, медведь. Я знаю, что ты тоже хочешь жить, как я, медведь. Прости меня за это все, медведь, и помоги мне убить тебя, медведь". Но медведи и другие животные успевали удрать во время таких длинных молитв охотников юкагиров — оттого-то те и начали вымирать.

...Соболь отогрел себя бегом, понял, что спящая, и вспомнил о своей погибшей подруге, которой капкан перекусил ногу, — его подруга сейчас гордилась бы им. Соболь подумал о том, что на том, американском берегу он может найти себе другую подругу, которая народит ему кучу пищущих мокренских соболят, и побежал еще быстрее, как будто

услышал в снежном ветре зовущий его соболиный женский голос американки, одинокой, как он, ибо в глаз ее жениха, чтобы не испортить шкуру, точно попала пуля несентиментального охотника...

Дети самых разных северных народностей — чукчи, эскимосы, кереки, эвены — обступили меня в интернате старинного казацкого поселка Марково. Марково — это оазис среди тундры, где горбатые лоси бродят среди самых настоящих лесов, где растет черная смородина и собирают урожай собственной картошки. Лучшего места для интерната не придумаешь, и все-таки он немножко похож на сиротский дом, ибо, заслышав подъезжающую автомашину, дети прижимаются носами к окнам, надеясь, что приедут родители и их отсюда заберут.

Дети были одеты совсем неплохо — в свитерки, в шарфики, чулочки в резинку, словом, совсем по-городскому, но в их глазах, глядящих на меня, светилось тундровое любопытство соболят, глядящих на большого неведомого зверя. Когда я попросил воспитательницу вывести детей во двор, чтобы всех их вместе сфотографировать, она закудаhtала, как курица, стала ссылаться на мороз: "Дети могут простудиться, а наш долг — следить за их здоровьем". Но вот она наконец-то выпустила детей во двор, и они были так счастливы генетически закодированному в их психологии, отобранному у них холоду.

...Соболя больше не было на льдинах, кружащих в Беринговом проливе, — только его следы, словно брошенные в снег ожерелья, продолжали плыть на крошащихся остатках айсбергов — теперь уже отдельно от пушистого автора этих следов...

— Куда же делся соболь? — подумал я вслух.

— А он уже в Штатах, — закричал вертолетчик сквозь шум мотора, не расслышав моего вопроса, но догадавшись о нем.

Бухта Провидения готовилась к празднованию 70-летия Октябрьской революции. На площади у горсовета, возле которого Зоя Ненлюмкина на целые четыре часа спокойно оставила на снегу свои чемоданы, плотники сколачивали маленькую деревянную трибуну. Пограничники с автоматами наперевес проводили репетицию завтрашнего парада, маршируя под гром оркестра. У музыкантов были такие напряженно-торжественные лица, как будто вся Америка, привстав на цыпочки, слушала их музыку через Берингов пролив. Это был самый первый парад на территории СССР — за десять часов до парада на Красной площади.

Но праздник я встретил не здесь, а в Сирениках — эскимос-

ско-чукчанском поселке, до которого было не так просто добраться. Сначала мыплыли из бухты Провидения на катере, потом пересели на военный вездеход. Вездеход был настолько набит людьми, что напоминал мне мою собственную жизнь, в которой иногда мне для себя самого нет места. Я был стиснут, сдавлен со всех сторон, и воздух мне заменяли чьи-то сконцентрированные дыхания — водочные, луковые, чесночные, табачные, а иногда детские — нежно-молочные. Вездеход превратился в шейкер с коктейлем из человеческой плоти, в задыхающуюся от жары баню, медленно ползущую среди тридцатиградусного мороза, среди заснеженных сопок.

Здесь были и две красивенькие близняшки-эскимоски, прижимавшие к груди свои драгоценности — пластинки с рок-музыкой, лунообразный бюрократ-чукча, к общей зависти водрузивший на колени мелодично позвякивавший ящик с пивом, трое пьяненьких русских плотников с пилами и топорами, обмотанными тряпьем, юные, только что мобилизованные солдаты, похожие на ошеломленных ангелов, запихнутых в военную форму, специалист по развитию Севера, уткнувшийся в книжку о китайской экономике и все время толкавший меня под бок локтем: "Во дают!", старушка чукчанка, надевшая на голову оранжевый абажур с кистями, потому что для него не было места, офицерская жена преданного вида — с четырьмя детьми, висящими на ней со всех сторон, офицерская жена сомнительно преданного вида — с голубыми веками, с накрашенными губами цвета огнетушителя, вдрызг надушенная "шанелью" дамасского производства, так что близидящие плотники стали впадать в алкогольный кайф, и, наконец, милиционер, посланный в Сиреники наблюдать за соблюдением трезвости во время праздника революции, а пока что буквально распятый всей этой грудой людей в вездеходе.

Кто-то сказал: "Чтобы стать человеком первого класса, нужно ехать в вагонах третьего класса". Но он не ездил на нашем северном вездеходе из бухты Провидения в Сиреники, а то бы обязательно воспел этот воплощенный символ демократии.

В местном клубе должен был состояться сначала официальный торжественный доклад, а затем концерт. Я, честно говоря, намеревался избежать доклада и деликатно спросил его автора — совсем еще молодого директора зверосовхоза с bravo закрученными усиками дореволюционного русского казака, — сколько времени будет продолжаться доклад...

— Да минут пять... — лихо ответил директор, — так, что не опоздайте на концерт.

Я подумал, что он пошутил, но случилось чудо. С пулеметной быстротой директор отметил выдающиеся успехи перестройки, невидимым скальпелем бесстрашно вскрыл недостатки, так что их гной чуть ли не брызнул в глаза слушателей, затем нанес контратакующий удар врагам социализма за рубежом и произнес здравицу в честь бастиона дружбы народов Советского Союза — зверофермы поселка Сиреники, где хотя и не выполнен план сдачи шкур, но зато осуществляется нравственная перестройка, и в частности борьба против алкоголизма, в результате чего светлые горизонты нашего будущего стремительно приближаются. И все это было сказано за пять минут!

После этого вулканного извержения информации и энтузиазма молодой директор облегченно вздохнул и через минутную паузу появился на той же сцене в роли хориста самодеятельности, которая ему явно больше нравилась, чем роль официального докладчика.

Демонстрация в Сирениках была уникальной — в ней приняло участие практически все население, включая стариков, детей. Колонна с красными знаменами и цветными воздушными шарами торжественно обошла весь поселок, а по бокам колонны шли исхудавшие ездовые собаки, подвывая маршевой духовой музыке. Вечером в клубе юные эскимосы и чукчи мастерски танцевали рок-н-ролл, и щеки у них были обсыпаны, как в какой-нибудь нью-йоркской дискотеке, золотыми и серебряными блестками.

...Советский соболь осторожными шажками подошел к американскому соболу и принюхался — американский соболь был женщиной...

В городе Анадырь есть памятник членам революционного комитета, расстрелянным при белогвардейском перевороте в 1920 году. При перезахоронении расстрелянных в 1969 году, когда ломом и лопатой открыли трупы, пролежавшие в вечной мерзлоте 49(!) лет, то собравшиеся вздрогнули: лица убитых были обтянуты чудом сохранившейся юношеской кожей, как будто они заснули только вчера и вот-вот проснутся. Но чудо продолжалось недолго, и от соприкосновения с воздухом кожа начала морщиться, съеживаться и, наконец, распадаться. Это было, как будто трагически ускоренный переход юности в старость и затем в смерть...



...Соболь-женщина тоже принюхалась к соболю-мужчине. От него, правда, пахло многими совсем другими запахами, неизвестными ей, но больше всего от него все-таки пахло соболем...

На Командорских островах мне пришлось наблюдать за любовными играми котиков. Лежбище котиков огорожено деревянным забором, ибо в отличие от моржей они могут сильно рассердиться и напасть на человека, наказывая за бестактное любопытство. Внутри лежбища, правда, можно продвигаться по деревянной стене, похожей на крепостную. Но котики не дураки и стараются расположиться подальше от этой стены, слишком часто пахнувшей не самыми приятными животными — людьми. Есть, правда, один способ пробраться внутрь лежбища — это забраться в огромный деревянный ящик (его называют здесь "танк") и передвигаться, таща эту махину на себе. Но это опасно, потому что были случаи, когда котики переворачивали "танки" и забивали ластами, искусывали людей чуть не до смерти.

Не выбрав ни смотровой стены, ни "танка", я выбрал третье — скалистый склон, нависавший над лежбищем, и докарабкался до самого его края, откуда и стал снимать.

На песке шли битвы котиков за право любить. Кокетничающие самки были похожи на мокрые сверкающие вопросительные знаки — кто победит? Только что бесстрашные и безжалостные в схватке с соперниками самцы вдруг становились застенчивыми ухаживателями, неловко тыкаясь вздрагивающими от страсти зелеными усами в черные кнопочные носы дам их сердец. Жестоким было отношение к одиноким, постаревшим котикам, бывшим донжуанам океана. Когда они подползали, чтобы бочком втереться в чужие любовные игры, их беспощадно вышвыривали из невидимого круга любви и наслаждений, заслуженно мстя за то, что когда-то и они были жестокими к таким старикам, какими сами стали сейчас.

Страшным было и то, что в любовных метаниях по песку, обданному морской пеной, спермой и кровью, взрослые котики иногда, не замечая того, давили насмерть своих детенышей. Таких малышей-котиков, нечаянно убитых сексуальными забавами своих родителей, здесь называют "давленыши". Какое страшное и точное слово и для наших детей, которых мы тоже нечаянно раздавливаем при так называемых "порывах души", разбивающих наши семьи...

Но самое впечатляющее было даже не в созерцании котиков, а в их слушании. Их голоса, нежно мурлыкающие, бормочущие, признающиеся в любви, хрипящие от разгорающейся

страсти, утоленно вздыхающие после осуществленного желания, поварчивающие на подруг, негодующие на соперников, зовущие в бой, трубящие победу, сливались вместе с гомеровским ритмом волн, с шипением кружевной пены по гальке в неповторимую симфонию начала мира.

...Русский соболь и его американская пушистая леди кувыркались в снегу, счастливо визжа, словно дети, и сибирские снежинки с его шкуры пересаживались на ее мех, искрящийся от радости неодионочества...

На Командорах метала икру семга, платя ценой жизни за каждую красную икринку, в которой, как в маленьком фонарике, прятался потомок. Берега были усеяны мертвыми рыбами — еще алыми и постепенно тускнеющими — от бледно-розового до тускло-свинцового цвета. Но на фоне этого кладбища шла сумасшедшая пляска жизни. Полчища семг, изнывающих от беременности икрой, рвались наперекор течению из Саранского озера в крохотную речушку, которая не могла вместить их всех. Семга проволакивалась животом по камням, проползала по песку, перепрыгивала препятствия.

Шофер нашего вездехода поймал одну семгу голыми руками, безжалостно сжал ее, и из ее брюха прямо в его подставленную ладонь ударила красная струя икры.

А все озеро вздыбленно горбилось плавниками других семг, ожидающих возможности прорыва. Я прямо в кедах пробежал в воду к наибольшим скоплениям семг и стал снимать. Вода вокруг моих постепенно коченеющих ног буквально кипела от семг, похожих на алые раскаленные отливки металла, которые кидают в воду, чтобы остудить.

Старожилы говорили, что мне здорово повезло для съемки — ибо обычно во время семужного нереста идет непроглядная морось, а тут хоть иногда, да выглядывало солнце.

Я бросил монетку в Саранское озеро, чтобы вернуться, — эта монетка была моей медной икринкой.

...Русский соболь, усталый от любви, потерял свою американскую подругу и инстинктом почувствовал, что их будущий ребенок в ней...

Вместе с моими друзьями-геологами, журналистами мы прошли на лодках, катамаранах, карбасах 5 сибирских рек: Лену, Вилюю, Алдан, Селенгу, Витим.

Однажды мы сели на камень посреди бурлящего, как кипяток, Витима и торчали на этом камне всю ночь. Наше суденышко трещало по швам и грозило развалиться каждую секунду.

ду. Мы выпили, включили радио и услышали, что именно в эти мгновения "Аполло" сел на Луну. Мы глядели с разваливающегося суденышка, сидящего на камне, в распростертый над сибирской тайгой звездный космос, и Млечный путь казался нам небесной Эльбой, с которой американцы, как во время войны с фашизмом, снова протягивают нам братскую руку.

Ранним утром самый мощный из нас геофизик Валерий Черных (146 кг чистого веса) все-таки сумел с веревкой в руках дойти до берега по пояс в воде, страшным напором сбивающей с ног. Затем он привязал эту веревку к стволу сосны, и, держась за веревку, сошли все мы, стащили наш "Чалдон" с проклятого камня. Так "Аполло" когда-то помог нашему "Чалдону", сам того не зная...

...Русскому соболу не то что не понравилась Америка — но все-таки слишком много было здесь неизвестных ему запахов, слишком много незнакомых троп и слишком много капканов с неизвестными системами. Дома — даже капканы, они ненавидимые, но родные, то есть одновременно и более страшные, и менее страшные...

Начав свое плавание по Селенге на монгольской территории и приблизившись к советской границе, мы вежливо позвонили нашим пограничникам. Они безмерно обрадовались нашему приезду, сказали, что встретят нас на границе, устроят шашлыки на берегу, а затем вечер поэзии для гарнизона. Наши лодки, словно почуяв запах обещанных шашлыков, пошли вперед гораздо вдохновенней, что-то подозрительно долго не было видно никаких пограничников с букетами лесных цветов в дулах автоматов. Наконец наш капитан, вытащив карту, установил, что мы углубились в территорию Советского Союза примерно километров на сорок. Тогда мы повернули против течения и сами начали разыскивать наших мужественных пограничников. Шашлыки, правда, пришлось снова подогревать, но вечер поэзии для гарнизона прошел вполне хорошо.

Рассказывая нам о местных достопримечательностях, пограничный офицер сказал:

— А у нас живет ветеран войны, у которого есть личное письмо Сталина.

Мы позволили себе не поверить. Тогда офицер подвез нас к себе, где над глухими тесовыми воротами висел застекленный портрет Сталина. Этого я не видел ни в одной сибирской деревне.

Из ворот нехотя вышел пожилой инвалид войны.

— А у вас действительно есть личное письмо Сталина? —

полубопытствовал я, стараясь придать моему голосу оттенок самого нейтрального полуравнодушного интереса.

— Есть, — ответил хозяин. — Благодарность за взятие Орла. Там мое имя, отчество, фамилия — все точнехонько указано. Вот какой он был Сталин — всех солдат по имени знал. Уважительный человек — личную подпись собственноручно поставил.

Инвалид вынес и показал свою семейную реликвию. Он сам себя обманывал, этот инвалид. Подпись Сталина была всего-навсего факсимильным клише. Я не стал разочаровывать этого старого человека и говорить ему правду — эта правда уже не помогла бы ему...

...Русский соболь попрощался со своей американской подругой без обоюдного скуления. Она и сама понимала, что если он не уйдет от нее, попрощавшись, то рано или поздно уйдет, не попрощавшись, — настолько он тосковал по той, другой земле, где он родился. Уйти с ним она не хотела — потому что земля, родная для него, могла оказаться для нее пугающе чужой. А она не имела права рисковать тем семенем природы, которое уже начинало прорастать внутри нее...

Я уже говорил о том, как я ненавижу границы. Но еще более мне ненавистны тюрьмы. Пожалуй, так, как тюрьмы ненавидят сибиряки, их ненавидит никто. Красавицу Сибирь, насилуя ее, делали тюрьмой народов. Одним из самых счастливых впечатлений моей юности был день, когда молодежь, приехавшая на строительство в Сибирь после смерти Сталина, разламывала бульдозерами проволочные ограждения вокруг бывших лагерей.

Но однажды на моей родине — станция Зима — я упросил, чтобы мне показали внутри жизнь лагеря строгого режима. Это был лагерь, где находились самые опасные преступники, иногда совершившие по нескольку убийств. Каждый из них, правда, мне говорил, что он невиновен, оклеветан и просил хлопотать. Страшно, если невиновен здесь был хотя бы один из ста, а ведь это возможно даже не по злему умыслу, а по простой судебной ошибке.

Но было страшным и другое — художественная выставка заключенных поразила меня тем, как многие из них талантливы. В одном из коридоров я увидел огромное настенное панно с портретом, может быть, самого любимого русским народом поэта — Сергея Есенина.

...Соболем повезло. Добираясь домой по льдинам, которых становилось все меньше и меньше, он ухитрился ночью украдкой впрыгнуть на борт рыбацкого мотобота и теперь потихоньку ютился там за вед-

ром с посоленной рыбой, и снова слушал, как говорят не на аляскинском эскимосском, а на чукотском эскимосском, вместо английских слов вставляя в разговор русские слова...

Когда Джон Стейнбек был у меня в гостях, то вдруг раздался неожиданный звонок в дверь, и возник мой непредвиденный дядя Андрей, отправлявшийся в отпуск на юг с фанерным чемоданом, перевязанным веревкой. Стейнбек, как настоящий писатель, мгновенно забыл обо мне и сконцентрировался на дяде — ибо встреча сибирского шофера и американского писателя, к сожалению, все еще редкий случай...

Стейнбек немедленно спросил моего дядю, читал ли он его книги. К моему удивлению, дядя ответил, что еще до войны читал "Гроздь гнева", но, если ему не изменяет память, у Стейнбека на портрете тогда были только усы, но еще не было бороды. Стейнбеку этого показалось мало. Он потребовал пересказать содержание. Дядя, к моему еще большему удивлению, пересказал. Когда Стейнбек спросил дядю — кто его самый любимый писатель на свете, дядя совершенно огорошил меня, назвав Мигеля де Унамуно. После этого Стейнбек прослезился, потому что он хорошо, оказывается, знал Унамуно и любил его.

— Вы похожи на нашего сибирского лесника, — сказал мой дядя Стейнбеку. — А ваша жена на нашу доярку...

Они пили и обнимались, как старинные друзья из одной и той же сельской школы... ●

...Соболь так же тихо и ловко, как впрыгнул сюда, выпрыгнул из мотобота, когда тот толкнулся о советский причал, и шмыгнул между связками канатов, бочек с мазутом, вырываясь к родному, белому, незаслеженному.

Но, пробегая мимо кладбища китов, соболь снова замер на своем крохотном пьедестальчике — на позвонке кита, глядя через узенькую полоску пролива между двумя мирами, и вдруг его снова потянуло туда, через пролив, хотя для этого ему придется снова долго прыгать между ненадежными, опасно раскалывающимися льдинами...

1988

## ЧТО В РУССКОМ ЧЕМОДАНЕ? \*

Весной 1986 года, совершая зигзагообразный, слегка сумасшедший, но все равно очаровательный тур по США, я часто бывал в аэропорту "Ла Гуардия". Как небольшой, но упрямый

\* Из статьи для американского журнала "Тайм".

монумент "холодной войне", в зале возвышался нагруженный антисоветской литературой столик с надписью, примерно такой: "Если ты против вооружения, учи русский...". Мне всегда хотелось поближе познакомиться с двумя джентльменами, оптимистически посасывающими "севен-ап" под этим устрашающим лозунгом, узнать, кто они такие и почему считают, что изучением русского языка надо заниматься только под угрозой русского нашествия. (В США русским, по информации 1986 года, занимались лишь 25 тысяч студентов — это примерно столько же, сколько учителей английского языка в СССР.) И вот, наконец, по ошибке приехав в аэропорт на час раньше, я подошел к этим крестonosцам демократии, намереваясь с ними поговорить по-дружески, незло — насколько это, конечно, возможно для представителя "империи зла". Но случилось нечто невиданное. Из моего небрежно брошенного на пол чемодана раздалось ритмичное угрожающее жужжание. Крестonosцы демократии с выпученными от ужаса глазами бросились из зала вместе со всей остальной публикой, и зал в течение нескольких секунд стал гол, как голова Юла Бриннера. Последнее, что я видел, — это зад мужественного полицейского, заползавшего куда-то под скамью. Страх перед преступным террором, царящим на земле и в небе, сработал безотказно, и я никого не могу упрекнуть в трусости. Но я-то знал, что в моем чемодане не было бомб. Ломая голову над тем, что могло бы быть там, я открыл чемодан. Оказалось, что от резкого прикосновения к полу самозавелась моя электрическая бритва на батарейках. Я расхохотался и показал эту бритву публике, робко высовывающей головы, как перископы, из-под скамей. Меня обрадованно обступили и стали дружно хохотать все — и крестonosцы демократии, и полицейский. История смешная, но если вдуматься, то несколько грустноватая. Взаимострах на земле сегодня так велик, что даже самовключившаяся бритва может показаться бомбой.

Есть ли у нас причины бояться друг друга? Конечно, есть. И из русского, и из американского чемоданов, предательски пропарывая их обшивку, торчат ракеты. Но в недоверии друг к другу сейчас больше риска, чем в доверии. Когда у недоверия кончаются слова, то оно может заговорить языком оружия. Пора открывать наши чемоданы и начать выбрасывать из них ракеты — пусть даже постепенно, поштучно, осторожно поглядывая на соседа — следует ли он твоему примеру. Смертельный риск недоверия пора заменить на жизненно необходимый риск доверия. Ведь и в американском и русском чемоданах

не только ракеты — эти чемоданы набиты судьбами миллионов людей. Пора открывать чемоданы не только для военной взаимоинспекции, а и для обмена теми духовными ценностями, которыми мы гордимся, и для обмена теми тревогами, которые нас мучают. У нас столько общих проблем — загрязнение окружающей среды, трагическое истощение сокровищ земного шара, радиация, рак, СПИД. Пора открывать чемоданы.

1985

## КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — СВЕРХДЕРЖАВА

Те, кто нажимает кнопки...

Это случилось со мной на Филиппинах. Поздно вечером я зашел в мексиканский ресторанчик "Папагайо" на одной из весьма малопочтенных улиц. Ресторанчик был почти пуст, лишь в углу за длинным столом, уставленным бутылками, стоял густой мужской шум и дым, в котором можно было, как говорят в Сибири, хоть топор вешать. По особому рычащему произношению английского, по манере хлопать друг друга по плечу, по хозяйской размашистости движений и по свободе обращения с бутылками сразу понял, что это американцы. За исключением одного немолодого, с седым ежиком человека при галстуке, это были парни лет двадцати — без пиджаков, в рубашках с обезьянами и пальмами, загорелые как на подбор, словно родившиеся отлитыми из просоленной меди. Во всех угадывалась особая флотская выправка. Один из американцев, увидев меня, показавшегося ему соотечественником, крикнул через весь зал: "Эй, парень, ты из какого штата?" — "Из России... — ответил я. — Но это пока еще не ваш штат". Парни расхохотались и с гостеприимством, свойственным американцам, немедленно пригласили меня за стол. Действительно, это были военные моряки стоявшего на манильском рейде флота. Старший, с седым ежиком, бопман, был их начальником, но держал себя с ними за столом как равный, демонстрируя американскую демократию — демократию во внеслужебное время. "Выпьем за ваших русских моряков! — сказал он, поднимая стакан с виски. — Однажды ваш военный корабль прошел мимо нашего. Впечатляющий был самоварчик. Красиво шел,

---

Статья написана для английской газеты "Гардиан".

мощно. Ваши ребята отсалютовали нам по всей форме, а мы — им. Жаль, что не поговорили, но, слава богу, мы не стреляли друг в друга, а то бы наши мамы получили нас по воздушной почте в виде холодных посылок, упакованных в национальный флаг, а русские мамы — ваших ребят, только в другой упаковке. Выпьем за наших мам!.. А ты что здесь делаешь? Бизнесмен? Или, как нам объясняли наши американские "комиссары", у вас бизнесмены запрещены?" — "Да так, шпионю понемножку... — улыбнулся я, насмотревшись в местных кинотеатрах фильмов про небритых агентов ЧК, с которыми доблестно сражаются свежевыбритые западные джеймсбонды. — Профессия у меня такая шпионская: поэт. Увижу что-нибудь интересное — и сразу в записную книжечку..." — "Значит, ты хороший шпион... — загоготал боцман. — Даже в темном ресторане обнаружил замаскированных американских моряков. Поэт — это, значит, что-то вроде того парня, который написал про этого... как его... индейца... Гайавату... Ну а бизнес твой какой?" — "Стихи — вот и весь мой бизнес..." — "Ну и страна, где писать стихи — это бизнес, — покачал головой боцман. — Я всегда думал, что поэт — это полусумасшедший полуробенек... Впрочем, я люблю детей. Они все хорошие, особенно в раннем возрасте. Откуда только плохие взрослые берутся?"

Виски помогло нам разговориться, выяснилось, что эти парни ходили на своем корабле у берегов Северного Вьетнама. "Не под ваши ли снаряды я однажды попал во Вьетнаме?" — спросил я. "Какой это был корабль?" — заинтересовался боцман. "Он был далеко на горизонте — трудно было разобрать". — "Где?" Я назвал место. "Знаю это место, — сказал боцман. — Там была девичья батарея — только одни девушки у орудий..." — "Еще бы вам не знать — они в вас часто попадали..." — "Ну, не так уж часто, — усмехнулся боцман. — Это все больше пропаганда... Значит, девичья батарея. А что ты там делал?" — "Я читал им стихи, а они пели народные песни. Потом раздался сигнал тревоги, начался обстрел с моря, и они побежали к орудиям. Девушки были такие маленькие, и им было тяжело поднимать снаряды..." — "Девичья батарея... — размышлял боцман. — В декабре? Под рождество?" — "Под рождество..." Боцман вдруг вцепился в меня трезвеющими, хотя все еще хмельными глазами. "Слушай, русский, ведь это был наш корабль. Мы ведь могли убить тебя". Боцман обвел взглядом притихших парней и лихорадочно налил себе виски. "Мы ведь могли его убить, а, ребята? И тогда бы мы не сидели здесь вместе и не пили, как друзья. А вот мы сидим и пьем



за наших мам, которые везде одинаковы, и вроде он и мы — одинаковые люди. А если бы его убили, мы бы даже не знали этого... Я тебе вот что скажу, русский: когда-то давным-давно, когда люди начали убивать, они все-таки хотя бы видели, кого убивают. Теперь все по-другому. Мы не видим лиц. Мы только нажимаем кнопки. А ведь у каждого, кого мы убиваем, есть лицо. Проклятая кнопочная война. Мы стали вроде роботов. Я краем уха, правда, слышал, что там девичья батарея. Стрелять по девочкам, конечно, стыдно. Но ведь я не видел этих вьетнамских девочек в лицо. Если бы там, на батарее, была моя девочка, я бы еще подумал. А если бы все-таки пришлось нажать кнопку, то постарался бы не попасть. Но ведь есть такая главная кнопка, которую может нажать какой-нибудь сумасшедший. Конечно, главная кнопка под тройным контролем, но что, если сумасшедшего будут контролировать тоже сумасшедшие? Тогда уже не будет ни перелета, ни недолета — мы все взлетим на воздух, и ты, и я, и парни, которые с нами сидят, и наши мамы, и даже от той книжки про этого... как его... Гайавату... останется только пепел, а может, даже и пепла не будет... Война — это дерьмо, и мне кажется, что я весь измазан в дерьме... Поверь мне, я не убийца по натуре, и эти парни тоже. Но я выполнял приказ, и такова сегодняшняя война, что я даже не знаю, скольких убил... И я мог убить тебя..."

В 1950 году, в разгар "холодной войны", Гарри Трумэн сказал: "Я пришел к выводу, что самым лучшим средством спасти жизни нашей молодежи и жизни японских солдат (!) было сбросить бомбу и положить конец войне. Я это сделал. И должен вам сказать, что сделаю это снова, если буду к этому вынужден". Что тут можно сказать? Бывает, конечно, вынужденность применять жестокость как самозащиту, но гордиться жестокостью, даже вынужденной, — не по-христиански. В отличие от Трумэна этот боцман не гордился тем, что убивал. Он не хотел быть сверхчеловеком — он просто был человеком и в своих муках совести был христианнее гордившегося своей набожностью бывшего президента. Вряд ли боцман читал Торо, но уверен, что ему бы понравились такие слова: "Мне хочется напомнить моим согражданам, что прежде всего они должны быть людьми, а потом уже — при соответствующих условиях — американцами..."

Эти слова в равной степени можно адресовать людям всех наций, в том числе и нам, русским. А все-таки боцман воевал, хотя и против своих убеждений. Толстой по этому поводу заме-

тил: "Если бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было".

### Рецензия с опозданием на семьдесят лет

Но был ли абсолютно прав гениальный писатель? Действительно, редко удается встретить людей, которые открыто бы посмели заявлять, что необходимость войн — их убеждение. Мне лично почти не приходилось. Если оглядеться вокруг в хорошем настроении, то может показаться, что нас окружают сплошь сторонники мира. В Гамбурге я разговаривал с бывшим гитлеровским генералом — ныне милым пенсионным старичком, чей сын занимался в университете русской литературой. Конечно, генерал говорил, что воевал против своих убеждений. Он говорил, что не ушел в отставку только потому, что на его место пришли бы гораздо худшие люди. Старая теория! Кроме того, генерал говорил, что он тоже человек, и боялся. Присутствовавшая при разговоре жена трогательно добавила: "Наш телефон все время прослушивался". Генерал говорил, что он старался сделать все, что от него зависело, для смягчения жестокости войны. Он вспомнил, как под Орлом лично распорядился выдать рулоны обоев русским военнопленным, с тем чтобы они могли обмотать свои обмороженные ноги.

Конечно, часть людей, участвуя в несправедливой войне, делает это не из убеждений, а из страха, ибо неповиновение наказуемо. Но часть людей все-таки участвует в несправедливой войне потому, что им внушили убеждение в ее справедливости. Однажды я приобрел в Москве у букиниста книгу неизвестного мне С. Кузьмина "Война в мнениях передовых людей", изданную в Петербурге семьдесят лет назад. Саморазоблачительны высказывания некоторых "передовых" людей, сделавших войну своей профессией. "Война есть нравственное лекарство, которым пользуется природа, когда ей не хватает остальных средств, чтобы вернуть людей на их настоящий путь" (Бисмарк). "Война поддерживает в людях все великие благородные чувства" (Мольтке). "Только войной добывается цивилизация" (Мантегацца). "Я советую вам не труд, а войну. Война и мужество совершили больше славных дел, чем любовь к ближним" (Ницше). У войны всегда были не только прямые исполнители, но и ее оправдатели. Пропаганда всегда была смазочным маслом военной машины. Пессимизм, уверяющий, что война в самой природе человека, опустошающе влиял на людей еще с древних времен. "Война — это естественное состояние на-

родов” (Платон). ”Война — это творец, начало всех вещей” (Гераклит). Но эта книга афоризмов о войне доказывает, что движение за мир существует столько же, сколько существует человечество. ”Убийства, совершаемые обыкновенными людьми, наказываются. Но что сказать о войнах, о бойнях, когда истребляются целые нации?” (Сенека). Христианский ритор Лактанций, живший в третьем веке, заклинал: ”Носить оружие христианам не дозволено, ибо их оружие только истина”. Гюго воскликнул: ”Общество, допускающее войну, человечество, допускающее нищету, кажется мне обществом, человечеством низшим, а я хочу общества, человечества высшего”. Великий француз был прав, говоря в равной степени о войне и нищете, ибо война — это моральная нищета человечества. В Севастополе под ядрами, развеявшими романтический ореол вокруг войны, Толстой сказал людям, как укоряющий учитель детям: ”Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни: надо понимать это, а не играть в войну”. Неистовый Гладстон гневно швырнул в лицо апологетов войны: ”Милитаризм есть проклятие цивилизации”. Ненавидел войну Гоббс, но он не верил в возможности людей уничтожить войну: ”Человечество — это волчья порода, всегда готовая растерзать друг друга”. Спенсер, наоборот, видел возможность уничтожения войны в нравственном совершенствовании людей: ”Сама идея, что всякие преобразования могут и должны совершаться лишь мирным путем, предполагает высоконравственное чувство”.

Семьдесят лет, прошедшие с года выпуска этой книги, сделали войну гораздо страшнее. Но именно эти семьдесят лет, включающие в себя опыт двух мировых войн, опыт Карибского кризиса, корейской и вьетнамской войн, напряжения на Ближнем Востоке, опасных инцидентов на советско-китайской границе, афганской войны, именно эти годы, как никакие другие, укрепили идею полного уничтожения войны. Порой кажется даже, что сама атомная бомба, ужаснувшись самой себя, если бы, конечно, у нее были разум и совесть, покончила бы жизнь самоубийством. Хельсинкские и венские соглашения показывают невиданное доселе единодушие самых разных стран с самыми разными политическими системами в отношении к кардинальному вопросу об уничтожении войны. Если человек создал войну, он ее может и уничтожить. Но бомбы уничтожить нетрудно — трудней уничтожить то, что порождает войну. Недоверие — мать войны. В давние времена захватничество порой носило откровенно варварский характер, не прикрываясь политикой. Теперь политика стала хозяйкой мира, а война

лишь ее орудие. Ко всем расизмам вдобавок образовался новый: политический расизм.

### Политический расизм

Начало политического расизма следует искать в расизме религиозном. Распятие Христа книжниками и фарисеями было одним из первых проявлений религиозного расизма, хотя, конечно, не самым первым. Когда львы раздирали своими когтями христиан в Колизее, это была попытка разваливающейся империи разодрать в клочья новую утверждающуюся идею. Могли ли знать христианские мученики, что их идея будет затем растлена другими фарисеями — с крестом в одной руке и мечом в другой? Христос стал непрерывно распинаем палачами, которые только называли себя христианами. Крестовые походы, "охота за ведьмами", костры инквизиции, бесконечные религиозные войны — долгая, растянутая на столетия варфоломеевская ночь средневековья. Затем духовное средневековье опустилось на Германию варфоломеевской ночью фашизма. Фашизм был соединением расизма в первом смысле этого слова и расизма политического. Что же мы видим сегодня? Расизм в его первом смысле все еще остается живучим — то белые презирают черных за то, что они черные, то черные не доверяют белым только потому, что они белые. Расизм религиозный тоже еще жив и, хотя на протестантов и католиков одинаково распространяется заповедь "Не убий!", протестанты все еще убивают католиков и католики — протестантов. Но самое страшное — это все-таки политический расизм, когда нежелание позволить другому человеку иметь свою собственную политическую точку зрения на общество переходит в ненависть, порой даже большую, чем к цвету кожи и вероисповеданию.

Общая борьба против фашизма объединила миллионы честных людей самых разных вероисповеданий и политических воззрений как из капиталистического, так и социалистического мира. Несмотря на все ее ужасы и, может быть, благодаря им, вторая мировая война дала человечеству пример возможности этого объединения и в будущем. Однако, как это часто бывает в истории, борьба против общего врага объединяет, а победа разъединяет. Микробы политического расизма, притаившиеся во время войны, стали снова вылезать наружу.

Совсем еще юный поэт, я в 1949 — 1950 годах захаживал в коктейль-холл на улице Горького и помню одного амери-

канца — в ярких желтых ботинках, с каким-то немислимым галстуком, похожим на хвост павлина, — кажется, этот американец был из посольства. Да откуда же он еще мог быть, ведь тогда у нас не было иностранных туристов. Американец сидел всегда один за столиком, попыхивал трубкой и насмешливо наблюдал, как, несмотря на очередь у дверей, никто не решался подсесть к нему за столик. Теперь мы уже не подбрасывали союзников в воздух. Казалось, что самого воздуха не было. Как это странно вспомнить сейчас, когда молодые американцы с бахромой на джинсах и с гитарами стали неотъемлемой частью пейзажа Москвы; когда совсем недавно я пил водку в золотискательском городе Алдан с представителем американской компании, инструктирующим сибирских рабочих, как управлять "катерпиллерами"; когда тысячи москвичей слушают во Дворце спорта американский джаз или музыку Бриттена в консерватории, а тысячи нью-йоркцев приходят в Мэдисон Сквер Гарден, в Фелт Форум послушать русского поэта. Нужно быть слепцом, чтобы не понимать того, что мы живем в новую эру. Разве это не новая эра, когда все человечество следит у своих телевизоров, как медленно сближаются где-то в космосе руки людей, принадлежащих к разным народам, разным политическим системам, — но все-таки руки, сумевшие пробиться друг к другу сквозь "железный занавес" политического расизма?

Помните, что говорил боцман на Филиппинах: "Когда мы нажимаем кнопки, мы не видим лиц"? Культура — это лицо наций, и мы должны видеть лица друг друга и знать их так, чтобы создалась моральная невозможность нажимать кнопки. Но для того чтобы видеть, нужно вынуть осколки "железного занавеса" из глаз.

### **Надо быть в партии детей**

Человечество запуталось в политических терминах, смешивая их с моральными.

Если бы на одном мосту стояли коммунист и некоммунист и увидели бы тонущего в реке ребенка, то лучшим из них был бы тот, кто прыгнул бы в реку. А если бы они сделали это оба, то их духовное единство в этот миг было бы выше их политических разногласий. Все мы дети человечества, но и человечество наш ребенок. Этого ребенка надо спасти, потому что он в опасности. Все, независимо от партийности, прежде всего должны быть в партии ребенка, которого надо спасти. На Аляске я

встретил падре Сполеттини, священника крошечной деревянной церкви в эскимосском поселке. Представление об иезуитах у меня всегда связывалось с таинственными заговорами, с перстнями, наполненными ядом, с капюшонами и кинжалами. Все свои деньги падре отдавал на сельскую библиотеку, стараясь дать эскимосским детям хотя бы минимальное образование. Падре энергично боролся за права эскимосов, против хищнического истребления животных Аляски, был как родной в эскимосских "иглу", и эскимосы называли его отцом без какого-либо религиозного раболепия, а просто по-человечески. Он совсем не был похож на иезуита в переносном смысле этого слова. Тогда я подумал: а так ли важно, как себя человек называет? Ведь можно называть себя христианином, а быть на самом деле фарисеем-инквизитором? Ведь можно называть себя атеистом, а по своему отношению к ближним быть более христианином, чем какой-нибудь лицемер, гордо заявляющий, что он христианин? Так ли уж важны термины? Не более ли важно то, чем человек на самом деле является? Разве нельзя при всех разных вероисповеданиях и политических убеждениях выработать наконец единые принципы во имя главных основ человеческой жизни — мира, здоровья, процветания, культуры, свободы? Джон Кеннеди, конечно, был представителем определенного класса, его воспитанником и защитником. Но 18 октября 1962 года он сказал: "Если мы не можем сейчас положить конец нашим разногласиям, то по крайней мере можем содействовать созданию мира, в котором может существовать разногласие. Все мы дышим одним воздухом. Все мы заботимся о будущем наших детей. И все мы смертны".

Говорят, что бывают разные разрядки — и плохая, и хорошая. Но при современном оружии даже несовершенная разрядка все-таки лучше войны.

### Дети за стеклом

Несколько лет назад я возвращался домой из Австралии. Моим соседом в самолете был австралийский фермер лет семидесяти — крепенький, краснощекий, налитый здоровьем и оптимистическим любопытством. Он скопил за свою рабочую жизнь кое-какие деньжонки и решил на старости лет взглянуть на мир.

До сих пор фермер никогда не покидал пределов Австралии, да и знание родины у него ограничивалось знанием собственных овцеводческих пастбищ. Например, он сказал мне,

что никогда не видел аборигенов. Все вызывало в нем восторг — и то, как, покачивая бедрами, стюардесса катила по проходу столик с крошечными бутылочками, и то, что где-то внизу, изумрудно просвечивая сквозь облака, проплывали неизвестные ему ранее острова, и то, что на его груди болтался новенький "Поляр oid", которым фермер предполагал запечатлеть ожидаемую красоту мира. Фермер летел в Париж, я — в Москву, однако забастовка работников авиолинии остановила его и меня на пару дней в Дели. Нас поселили в одной гостинице, и, скинувшись, чтобы подешевле, мы наняли такси для поездки в Старый Дели. Предвкушая экзотическое зрелище, фермер привел в боевую готовность "Поляр oid". Однако недалеко от въезда в Старый Дели шофер категорически потребовал, чтобы мы подняли стекла автомашины, несмотря на удрушающую жару. Мы поняли причину его настойчивости, только когда въехали в город. Шофер был вынужден снизить скорость до минимума, потому что машину обступили изможденные полуголые люди, протягивая к нам руки: "Моней! Моней!"\* В их просьбах не было никакой крикливой назойливости и даже почти никакой надежды, но это-то и было страшно. Мы видели прижимающиеся к стеклам скелетообразные призраки с неподвижными, погруженными в собственный голод глазами, и таких людей были не десятки, не сотни, а тысячи. Это были те, кто рождался на улице, спал на улице и умирал на улице, так и не узнав, что такое значит собственная крыша над головой. Особенно невыносимо было видеть детей, настолько исхудалых, что они казались прозрачными. Их черные глаза прилипали к стеклам машины, а тоненькие руки царапали ногтями по стеклу. Если бы мы вывернули карманы, отдав все до последней монеты, мы бы все равно не смогли бы помочь им всем сразу.

Австралийский фермер забыл про свой "Поляр oid" и, задыхаясь, прохрипел: "Назад... Назад... Это невозможно видеть..." Ночью впервые в его жизни у него было плохо с сердцем, и пришлось вызвать врача. Фермер лихорадочно бормотал, хватая мою руку: "Я не представлял, что так бывает. Я честный человек, я ничего не украл, я сам работал всю жизнь, но я почувствовал себя преступником... Да, все мы преступники, если есть еще дети, которые так живут..." Я тоже почувствовал себя преступником. А сколько таких детей я встречал в Того, Либерии, Гане, Мексике, Уругвае, Эквадоре, на Филиппи-

---

\* Неправильное произношение "money" — деньги (англ.).

нах! Дитя войны, я хорошо знаю, что такое голод, и понимаю тех, кто голоден. В каждом ребенке, умирающем с голоду, умирают, быть может, задатки будущих Моцартов, Шекспиров, Эйнштейнов. Когда-то русский философ Федоров мечтал о воскресении мертвых, считая это тем общим делом, вокруг которого должно сплотиться человечество. Наша сегодняшняя задача намного скромнее — не дать умереть голодной смертью живым. Подсчитано, что сегодня каждый четвертый человек на Земле ложится спать голодным. Но сегодняшний голод может показаться раем, если человечество уже сейчас вместо гонки вооружений не займется подготовкой войны с будущим голодом. В 1900 году на Земле жило 1,5 миллиарда человек. В 1960-м — 3,5. В 2000 году будет жить 7,5. В 2060-м — 20—30 миллиардов. Между тем Земля может прокормить не более 12 миллиардов человек, но только при условии оптимальной организации сельского хозяйства и расхода природных богатств. В книге Роберта Мак Кланга "Исчезающие животные Америки" грустно сказано: "Печальная судьба диких животных предупреждает о возможном будущем самого человека". Что же спасет природу и человека? Машинный разум? Но человек, прежде чем передоверить мыслящим машинам ряд важнейших решений, должен создать этику мыслящих машин. Человеку не от кого ждать помощи, кроме как от самого себя. Если он утопает сегодня во множестве проблем, то только он сам вытащит себя за волосы. Но порой человечество похоже на странного утопающего, который одной рукой вытаскивает себя из воды, а другой — толкает себя на дно.

Политический расизм особенно отвратителен рядом с ручонками голодающих детей, скребущих по поднятым стеклам автомобилей. Затраты на каждую ядерную боеголовку таковы, что могли бы спасти от голода десятки тысяч ни в чем не повинных детских головок. "Все лучшие идеалы человечества не стоят одной слезы невинно замученного ребенка", — сказал Достоевский. Ручонки голодающих детей незримо скребутся в окна каждого из нас, взывая к нашей совести.

### **Нет сверхдержавы, кроме человека**

Я не люблю выражение "сверхдержава", так же как не люблю выражение "сверхчеловек". Если Горький говорил: "Человек — это звучит гордо", то сверхчеловек — это звучит подло. Значит, просто человек — это некое недосущество, которое, только встав над человеческим в себе, приблизится к совер-



шенству? Не быть сверхчеловеком, а быть человеком в его изначальной сущности — вот приближение к совершенству. Физически встать с четверенек — это эволюция биологическая, морально встать с четверенек — это эволюция нравственная, к сожалению, не всегда соединяющаяся с биологической. Идея сверхчеловека, воспетая Ницше, трагически карикатурно материализовалась в гитлеровцах, сжигающих бессмертные книги и браво позирующих перед фотоаппаратами на фоне трупов. Маршируя с засученными рукавами по пылающей Европе, они даже не замечали, что маршируют на четвереньках. Творец "Заратустры", будь он жив, ужаснулся бы такому уродливому воплощению своей мечты о преодолении человеческих слабостей. В человеческие слабости не раз зачислялись заповедь "Не убий!", совесть, доброта, честность, а в ранг силы были возведены жестокость, слепое повиновение приказам, доношительство. Преодоление так называемых слабостей переходило в преодоление человеком человеческого. Для психологии особей, зараженных мучительным комплексом неполноценности, возможность индивидуального или коллективного шовинистического самовозвышения заманчива: она дает ощущение мнимого, но все-таки приятного чувства величия. Если ты сверхчеловек, то есть выше, чем просто человек, то и дави всех остальных, шагай по их телам и не обременяй себя такой старомодной человеческой слабостью, как муки совести.

Если генезис термина "сверхчеловек" более или менее исторически можно проследить, то откуда же возник отвратительный термин "сверхдержава", ибо сам этот термин как бы ставит эти две страны, два народа над всеми другими странами, всеми другими народами? Я знаю наш народ, хорошо знаю американский народ и могу твердо сказать, что линия "от сверхчеловека до сверхдержавы" морально неприемлема ни для нашего народа, ни для американского. Агрессивная вседозволенность может быть лишь законом поведения отдельных выродков, но ни в коем случае не может стать выражением нравственности какого-либо народа в целом. Разве было у американского и нашего народов, сражавшихся с оружием в руках против материализованной теории "сверхчеловека", стремление затем трансформировать эту теорию в государственном масштабе, объявив себя "сверхдержавами"? И все же у термина "сверхдержава" есть автор. Этот автор — атомная бомба. Великое открытие расщепления атома, которое могло бы стать и еще может стать источником благоденствия народов при условиях взаимодоверия, привело к тому, что в атмосфере взаимо-

недоверия оно стало источником страха за будущее. Трагический парадокс заключается в том, что обе великие страны, ведя работу по созданию атомной бомбы ради общей победы над фашизмом, после победы оказались со своими бомбами по разные стороны "железного занавеса". Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 тысячу человек. До сих пор эта бомба продолжает убивать ни в чем не повинных людей лучевой болезнью. Но, помимо охваченных статистикой жертв, скольких людей эта бомба убила морально — она лишила многие народы взаимодоверия. Будь на то моя воля, я бы посылал каждого достигшего совершеннолетия гражданина Земли в хиросимский музей. Учить миру надо памятью об ужасах войны. А если эта память слабеет, небесполезно вспомнить слова квакера Томаса Пейна, одного из первых борцов за американскую демократию: "Когда опыт прошлого нам не помогает, мы должны вновь обращаться за знаниями к первопричинам и рассуждать так, как будто мы — первые мыслящие люди". В книге отзывов хиросимского музея много записей, сделанных американцами. Чаще повторяется: "Никогда больше!" Но реальность такова, что, по подсчетам Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, мировой запас ядерного оружия всех категорий еще в 1973 году составлял около 50 тыс. мегатонн, т.е. приблизительно в 2,5 миллиона раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму! Где-то недавно я читал, что запасы ядерного оружия таковы, что можно каждого человека на Земле уничтожить 150 раз. Если даже в этой цифре есть преувеличение, это мало радует.

Что же произойдет с нами всеми, если историей движут те самые драматургические законы, когда, согласно Чехову, ружье, висящее на стене в первом акте, должно выстрелить хотя бы в третьем? Ядерная "сверхдержавность" СССР и США может оказаться временной. Взрывы атомных испытаний доносятся и из других стран. На кого-то, может быть, слишком раздражающе влияет чья-то атомная "сверхдержавность" — им самим хочется выбиться в сверхдержавы любой ценой. Проклятое стремление к превосходству над другими людьми, которое подменяет стремление к собственному нравственному совершенству! Но нет, никакая военная мощь не может помочь стать человеку сверхчеловеком, а державе — сверхдержавой. Нет сверхдержавы выше человека. Сверхдержава — это сам человек. Уничтожение войны не может быть делом только так называемых сверхдержав. Уничтожение войны должно быть делом единственной сверхдержавы — самого человека. И если че-

ловец осознает свою духовную силу, то тогда, может быть, и сбудется пророчество Эдисона: "Наступит день, когда наука породит машину, как силу, столь страшную, столь беспредельно ужасающую, что даже человек — воинствующее существо, обрушивающее мучения и смерть на других, с риском принять это мучение самому, — содрогнется от страха и навсегда откажется от войны".

1978 — 1989

## НАСЛЕДНИКИ ЧИНГИСХАНА

Посреди раскаленной пустыни Гоби на корточках сидел монгол и щеткой, похожей на малярную, прилежно чистил зубы динозавра. Гигантский скелет доисторического животного, которому было примерно 60 тысяч лет, медленно высвобождался из-под песка. Московский палеонтолог с обожженным до кирпичной красноты лицом ворчал, как трудно с перевозкой динозавров — их кости крошатся от тряски по бездорожью пустыни. Иногда приходится распиливать скелеты, а потом заниматься кропотливой склейкой, прежде чем динозавр встанет под музейным стеклом.

— А почему вымерли динозавры? — спросил я, осторожно прикасаясь к зубам динозавра, как будто он мог меня укусить.

Палеонтолог усмехнулся:

— Мозгов не хватало для такого огромного тела... Короче говоря, несовпадение интеллектуального уровня с величиной хвоста. Самоубийственная неуклюжесть. Ящеры выжили потому, что меньше, мобильней.

Рабочий-монгол, продолжая чистить зубы динозавра, добавил с улыбкой:

— Плохо, когда зубы больше ума...

Я подумал о бывшей монгольской империи, посреди которой я стоял. У всех империй зубы больше ума, и потому все они обречены. Административному мозгу любой империи в конце концов становится не под силу управлять конечностями и хвостами захваченных территорий. Древние акведуки в сегодняшней Англии выглядят, как позвонки вымершего сейчас, но некогда грозного динозавра Римской империи. Когда-то колонизированные англичанами индусы сегодня наводнили опять

сжавшуюся до размеров островка, еще недавно по-динозаврски раздутую Британскую империю.

Согласно преданию, основатель великой монгольской империи Чингисхан созвал своих сыновей перед смертью. Он вынул из колчана стрелу и легко переломил ее. Затем он взял оставшиеся стрелы, сложил их в пучок и сказал: "А теперь попробуйте разломить эти стрелы, когда они сложены вместе... Не получается? Так случится и с вами... Будете порознь — вас легко переломают. Будете вместе — станете непобедимы". Как и многие умные советы в истории, этот совет не был исполнен наследниками. Завоевания жестокого гениального полководца и его сыновей, включавшие Среднюю Азию, Китай, Иран, Закавказье, Древнюю Русь, в конце концов рассыпались, хотя и не сразу. Победоносные походы в Китай закончились тем, что с восемнадцатого века монголы оказались под игом Маньчжурской династии. В шестнадцатом веке монголы вторглись в столицу буддизма — Лхасу и поставили условием мира признание зависимости Тибета от монгол. Монголы были ранее язычниками, признавая лишь деревянных идолов — бурханов. Однако буддистская религия завоеванного Тибета завоевала впоследствии самих монгол. В 1223 году монгольские военачальники устроили победный пир, сев на доски, положенные на спины русских князей, брошенных на землю. Чем больше ели и пили завоеватели, тем сильнее помост вдавливал князей в землю, пока не раздавил их насмерть. Но перед началом первой мировой войны спины самих монгол были уже придавлены ножками трона русского царя. Вступал в силу закон истории: все искусственно гигантское гибнет. Ощущение себя рабовладельцем — усыпительно. Ощущение себя рабом — в конце концов призывает к борьбе. Все бывшие рабы когда-нибудь побеждают своих бывших рабовладельцев.

Об этом думал я в пустыне Гоби, глядя на скелет динозавра, вымершего из-за своей неуклюжей огромности.

1980

## ПОЛИТИКА — ПРИВИЛЕГИЯ ВСЕХ

В романе Пастернака "Доктор Живаго" приводится такой диалог между двумя русскими интеллигентами. Один из них говорит:

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич Тол-

стой говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра...

Второй с насмешливым скептицизмом спрашивает:

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский?

Первый из собеседников отстаивает свою точку зрения:

— Погодите, я сам скажу, что думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было бы остановить угрозой — все равно — каталажки или загробного воздаяния, высшей эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера...

Так говорили два русских интеллигента еще перед революцией 1917 года, но этот спор и поныне всемирно продолжается. Поставим перед собой два вопроса. Первый: действительно ли дремлющий зверь войны изначально живет в темных пещерах человеческого подсознания и требует плоти наших ближних как своей неизбежной кровавой пищи, а политика — лишь оправдание этого мерзкого, но естественного аппетита? Иначе говоря, неужели война — это физиологическая потребность нашей психологии? И второй вопрос: может ли безоружная истина протеста не только остановить атомное оружие, но и уничтожить его?

Договоримся на том, что все мы противники войны. Но заглянем внутрь себя, осуществим самохирургию нашей собственной психологии трезвым и безжалостным скальпелем.

Разве среди нас есть кто-нибудь, кто ни разу не воевал против ближних своих? Разве каждый из нас еще с ранних лет не ранил, не убивал своих родителей наивной детской жестокостью, чудовищными стыднейшими поступками, а став взрослым, не убивал своих детей невниманием, равнодушием, нервозной грубостью, оскорбительно высокопарной дидактикой? Разве каждый из нас не убивал любимых своих по трагической бессмертной формуле Оскара Уайльда "Возлюбленных все убивают", и убивал не обязательно так называемыми "физическими изменами", а изменами духовными, когда пылкость страсти переходила в привычку, уничтожающую любовь, и недолгое слияние душ и тел переходило в то странное отчуждение мужчины и женщины, которые стали всего-навсего соседями по кровати?

Мы осуждаем бомбежки стран, когда чужие дома превра-

щаются в руины, но многие из нас виноваты в руинах собственных домов, собственных семей, а под многими красивыми фасадами внешне благополучных семей идут непрерывные локальные войны. Если сложить трагедии всех взорванных разводами семей в человечестве, то получится несчастье не меньше Чернобыля. Но как же можно надеяться на мир в гигантской многосемейной семье человечества, если в стольких личных семьях нет мира? Конечно, все это может показаться микроскопическим, не сравнимым с масштабом угрожающей нам атомной войны, но глобальная нравственность не может быть не связана с нравственностью личной.

Нас раздирают множество других необъявленных войн. Безграмотные, некомпетентные посредственности, оказавшиеся у власти, — это оккупанты, захватившие места, которые должны принадлежать людям более талантливым. Манипуляция общественным мнением при помощи "масс-медиа" — это химическая война, проникающая отравленными газами под оболочку мозга. Бюрократия — это ежедневная агрессия. Эксплуатация — духовная и физическая — это вооруженное вторжение. Шовинизм, расизм — даже в их замаскированных проявлениях — это потенциальное всеожжение. Голод, эпидемии — это насильственная аннексия живых душ к мрачной территории смерти. Призрак атомной войны — гигантский монстр, выросший из эмбрионов всех других войн, и мировых, и локальных.

Самое опасное в том, что человечество заражено вирусом привычки к войне с младенчества. Но означает ли это, что война неизбежна? Да, война — это хроническая, генетически закодированная болезнь человечества. Но плох тот врач, который примиряется даже с самой застарелой унаследованной болезнью, ибо, предавая пациента, он предает клятву Гиппократа. Плох тот политик, который или не хочет пробовать, или устает пробовать новые и новые средства, чтобы спасти своего измученного пациента — наш общий земной шар.

С другой стороны, зазнавшаяся, притворяющаяся всеведущей, актерствующая медицина или политика становятся опаснейшим явлением — полунаукой, которая в медицинском случае может привести к конкретному летальному исходу, а в политическом случае — к глобальному летальному исходу. Достоевский в "Бесах" сказал о полунауке так: "Полунаука — это деспот, каких еще не приходило никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым все преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор невысказанным".

Для того чтобы полунаука сегодняшней политики стала

наукой, в ее преподавание надо внести новую дисциплину — толерантность, терпимость. Надо излечиться от амбициозных попыток выглядеть в своих и чужих глазах истиной в последней инстанции. Политика — это не элитарная привилегия профессиональных политиков, а привилегия людей всех профессий. Времена, когда узкий национализм мог быть прогрессивен, исторически прошли, ибо любой национализм, вооруженный атомной бомбой, интернационально опасен. Более того, агрессивный национализм с атомной бомбой перестает быть национализмом, ибо он самоубийствен и для собственной нации.

Исторически обусловленное разделение человечества на так называемые три мира противостоит — это всего лишь три разных поиска будущего, но мир у нас один. Возможно, возобладает одна из моделей, убедившая в своих преимуществах остальные общества, но не насильственно навязанная, ибо покупать государственными взятками чужую любовь или добиваться этой любви ракетами, приставленными к горлу, — дело в конечном счете безнадежное. Возможно, будущее составит из всех трех опытов, отфильтровав их недостатки и оставив их лучшие черты.

Но, возможно, существует и четвертый, совершенно иной путь, до которого мы еще нравственно не доросли, о котором мы сейчас даже не догадываемся. Вопрос будущего — это не привилегия так называемых супердержав. Нам должна быть чужда атомная элитарность, тем более что она обманчива. Каждый человек, независимо от его национальности — это сверхдержава.

В 1966 году я был в Бейруте — ныне разрушенном красивом городе. Меня вместе с другими иностранцами возили на туристском автобусе посмотреть на палестинское гетто, состоящее из глинобитных домиков, где воздух кишел микробами и где угрюмый блеск голода светился в глазах женщин и детишек. А напротив гетто, через дорогу, стоял мраморный шикарный туалет для туристов, которым показывали этих несчастных людей, вместо того чтобы им помочь. Теперь этот мраморный туалет, наверное, взорван. Это поучительный пример истории. Не надо умиляться чужим страданиям, превращать их в туристское шоу, иначе эти страдания, ставшие отчаянием, могут взорвать земной шар, как мраморный туалет.

Поэтому я приветствую идею одновременного роспуска военных организаций — НАТО и стран Варшавского Догово-

ра, как великую возможность высвободить колоссальные совместные ресурсы для спасения стольких людей от голода и болезней. Поэтому я приветствую идею профессора Стивена Козна о создании молодежного советско-американского корпуса мира для помощи развивающимся странам.

Это может показаться идеализмом, но идеализм, отвергающий фальшивые, сфабрикованные, разъединяющие людей идеалы и утверждающий выстраданные историей идеалы, соединяющие людей, — это как раз то, в чем мы нуждаемся. Дефицит идеализма — это трагедия двадцатого века после Освенцима, Хиросимы, сталинских лагерей, "охоты за ведьмами" во времена маккартизма, вьетнамской войны, убийства братьев Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, полпотовского террора в Кампучии и многого другого.

Дефицит идеализма переходит в дефицит исповедальности. Сколько времени все мы теряем на дурацкое времяпрепровождение, которое лишь создает видимость человеческого общения. Попробуйте на формальный вопрос "Как поживаете?" ответить серьезно, рассказать, как у вас не ладится в семье, как вы не спите по ночам, как вы потеряли веру в себя, и собеседник отшатнется от вас, как от сумасшедшего. А быть может, и он не спит ночами, и у него не ладится в семье, но он боится исповедаться, боится показаться слабым.

Страх исповедальности индивидуальной переходит в страх исповедальности национальной. В то время как секретные службы достигают великого совершенства во взаимоподслушивании, нации теряют спасительную возможность подслушивать биение сердец друг друга. Многие политические переговоры срываются именно потому, что строятся на взаимобвинениях, а не на взаимоисповедях. Боязнь так называемой потери лица и ведет к его потере. Мир только тогда будет спасен, если политика обоюдно будет строиться на взаимном мужестве признания собственных ошибок, а не на комфортабельной трусости считать партнера символом всего мирового зла.

Надо отучиться от взаимного злорадства. Человечество — единое тело, и было бы преступной нелепицей, если бы сломанные ноги пытались отплясывать торжествующий танец, праздную язву двенадцатиперстной кишки, а камни в желчном пузыре подпрыгивали бы от радости, узнав о воспалении легких. В этом смысле все люди на Земле, включая политиков, должны быть умными врачами, а не триумфаторами по поводу чужих болезней.

Сейчас главная задача — остановить ядерную войну, пойдя



на взаимный риск доверия. Риск доверия — это единственный риск, который безопасен, если он, конечно, взаимен. Но каким же будет этот мир, если мы его все-таки спасем от войны? Неужели это будет мир без идеалов, основанный лишь на коммерческо-биологической сделке? Неужели в этом мире не будет ни великой поэзии, ни великой любви, а все мы превратимся в компьютеры, тайно враждебные друг другу, но холодно скалькулировавшие, что воевать друг против друга нерационально? Неужели необходимой, но сугубо прагматической разрядкой мы заменим идеал человеческого братства?

Разрядка должна быть для нас лишь одной из ступенек на ту вершину, где нет взаимостраха, где люди взаимоисповедуются так же естественно, как дышат. Одна из причин дефицита идеализма — это дефицит новой философии, которая подытожила бы вместе с ценнейшим опытом прежних философий громадный опыт двух мировых войн и пророчески присоединила к нему потенциальный ужасающий опыт третьей войны, нависающий над нами. Мне кажется, что человечество беременно этой новой философией, и она уже стучится своими детскими ножонками изнутри.

Экклезиаст говорит, что есть время насаждать и время вырывать посаженное, время обнимать и время уклоняться от объятий, время любить и время врачевать...

Сейчас настало время врачевать.

У нас был овеянный легендами, выдающийся специалист по гнойной хирургии и одновременно человек глубоко религиозный — Войно Ясенецкий. Одна из легенд, а может, правдивых историй, гласит, что однажды его вызвал Сталин и иронически спросил:

— Как вы можете верить в существование так называемой души? Вы вскрывали столько тел, но разве вы видели там, внутри, хотя бы чью-нибудь душу?

— А вы верите в существование совести? — спросил его Войно Ясенецкий.

Сталин подумал и не сразу, но ответил:

— Верю.

— Но при вскрытии тел совести я тоже ни разу не обнаружил... — спокойно заметил Войно Ясенецкий.

Достоевский говорил, что красота спасет мир. Я думаю, что в понятие красоты человека он включал и совесть.

## ОСКОМИНА БИБЛЕЙСКОГО ВИНОГРАДА

После смерти таких гигантов поэзии, как Пастернак, Элиот, Фрост, Неруда, Монтале, Сен-Жон Перс, мировая поэзия стала скучной, как зоосад, где нет ни львов, ни слонов, а все клетки переполнены домашними кошками и попугаями. Но, как гласит восточная пословица, из тысячи кошек не сделаешь одного льва.

Когда Андре Жида спросили: "Кто лучший поэт Франции?", он с грустной усмешкой ответил: "К сожалению, Виктор Гюго..."

Для того чтобы быть великим поэтом — надо быть идеалистом, ну хоть немножко Дон Кихотом. Но скоро и черную икру будут продавать не по граммам, а по икриночкам, а гордую седую бороду последнего Дон Кихота будут продавать по волоску. Идеализм, как черная икра, становится духовным деликатесом. Двадцатый век — век дефицита донкихотов, век дефицита идеализма. Верить в старые — почти невозможно, в новые — боязно. Да и где они — новые идеалы?

Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. На наших губах не только оскомины библейского кислого винограда, который ели наши предки, но и пепел Хиросимы и Чернобыля. Ощущение непрочности мира заталкивает многих людей в мнимо спасительные бункеры эгоизма. Духовный СПИД перепрыгивает из души в душу, подрывая иммунитет против цинизма. Если когда-то для американских подростков предметом подражания на экране был Джеймс Дин — мятежник, то сейчас им становится Майкл Джей Фокс, играющий роль преуспевающего альпиниста лестницы власти.

Когда в "Уолл-стрите" Оливер Стоун пытается превратить Фокса из карьериста в мятежника, то это выглядит как цитата из давних-давних фильмов, а не как современная реальность. Слишком несовременно сейчас плюнуть на карьеру во имя такой неконкретной части души человека, как собственная совесть.

Битники во главе с Керуаком были, по метафоре Алена Гинсберга, буйными подсолнухами, проросшими сквозь руины разрушенных идеалов, но корни этих подсолнухов уходили внутрь руин, стараясь зацепиться за что-то еще неразрушенное.

Пришедшие на смену битникам хиппи были уже более хрупкими, subtilными, как васильки на кладбище автомобилей.

Панки — это черные кожаные антирозы на асфальте. Йоппи — компьютеры в галстуках.

Хиппи — это последние люмпен-идеалисты. А в последовавших затем, казалось бы, полярных явлениях — и панках, и йоппи есть нечто общее — это антиидеализм.

Панки отвергают карьеру, ибо не верят ни во что, включая и карьеру, как таковую. Йоппи ставят карьеру превыше всего, потому что они тоже не верят ни во что, — правда, за исключением карьеры. Вера только в карьеру — это полное отсутствие веры. Основа великой поэзии — муки совести, а зачем муки совести компьютерам? Для многих стандартизация мышления — это спасение, потому что они уютно прячутся в нее, избегая говорить о том, что думают, или вообще избегать думать. Мир наполнен людьми, которые засекречены сами собой. Пора взаиморассекретить наши души, и мы увидим, что при всей той оскомине от кислого винограда на наших губах, во всех думающих, чувствующих людях так или иначе есть жажда идеала. Пока есть жажда идеала, идеалы не потеряны.

1986

## ВОРОН С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

**В** замечательном фильме братьев Тавиани "Хаос" итальянские крестьяне, поймав ворона, привязывают ему на шею железный колокольчик, и ворон летает над горами, долинами, над страданиями, слезами и кровью, оглашая тревожным звоном небо и землю, не позволяя спать людям равнодушным или людям слишком усталым для того, чтобы что-то услышать. Настоящему художнику не надо ничего привязывать — он рождается с колоколом Джона Донна и Хемингуэя на шее. Тяжесть этого колокола спасительно не позволяет большим художникам взлетать преступно высоко над человеческими несчастьями.

В древнерусской истории колокол, звонивший по убиенному царевичу Димитрию, был жестоко наказан как мятежник. По царскому указу у него вырвали язык, его били плетью, погрузили на телегу и отправили в сибирскую ссылку под строгой охраной.

Колокола предупреждали первыми о появляющихся на горизонте монгольских ордах, ибо колокольная одновременно была и сторожевой башней. Колокол собирал вольнолюбивых

новгородцев на вече. Не случайно Герцен назвал свой журнал, издаваемый в эмиграции, "Колокол", ибо набат и восстание совести всегда были связаны.

Функция большого искусства — это функция колокола, будящего заснувшую совесть.

Когда того или иного художника критикуют только за то, что он смотрит на мир (по русскому идиоматическому выражению) только с собственной колокольни, то это на самом деле счастье, если у него есть своя собственная колокольня. Лишь бы она не превратилась ни в башню из слоновой кости, ни в бюрократическое кресло, ни в трибуну для риторической болтовни, ни в персональный бункер.

В США в магазине сувениров я увидел лосьон для бритья под именем "Либерти белл" ("Колокол свободы"). Это был стеклянный колокольчик, сделанный в форме миниатюрного колокола, когда-то провозгласившего независимость Соединенных Штатов. При виде этого бестактного, вульгаризированного символа я с горечью вспомнил строки Тютчева:

О если бы живые крылья  
 Души, парящей над толпой,  
 Ее спасали от насилья  
 Бессмертной пошлости людской.

Когда изначально талантливые художники коммерциализируются и смотрят на мир с колокольни позорного благоразумия, как говорил Маяковский, то из колоколов, будящих совесть, они превращаются в парфюмерные, стеклянные пародии на колокола. Я многое люблю в искусстве Америки, но как стыдно видеть появляющуюся на страницах журнала "Тайм" рекламу золотых часов "Ролекс", когда их рекламируют не какие-нибудь кинокомики второго сорта, а известные писатели и крупнейшие музыканты. Конечно, имя Данте можно зарифмовать с именем итальянского игристого вина "Асти Спуманте". Но можем ли мы представить великого поэта на коммерческой рекламе этого вина, а Чайковского на рекламе с бутылкой водки? "Неприлично, господа!" — как выразились бы об этом чеховские интеллигенты, застенчиво, но взволнованно поправляя свое пенсне. Как можно, разменивая колокольный звон на звон монет, рекламировать какие-то часы "Ролекс" в то время, когда часы истории отбивают свои тревожные удары?

Я говорю об этом не из паникерства. Но моральная безответственность перед лицом истории не менее разлагает, чем па-

ника. Зачем колоколам лилипутизироваться до сережек, побренькивающих в ушах всемирной пошлости? Те, кто капитулирует перед агрессивней всемирной пошлости, могут так же капитулировать и перед агрессивней всемирной войны.

Есть целое кинонаправление — своего рода "ужасология". Это то женщины-вампиры, своими очаровательными зубами прокусывающие шеи возлюбленных, то дети, внутрь которых вселяется антихрист, то зловещие чудовища из других галактик. Однако вся эта придуманная ужасология есть трусость, попытка заменить ею реальную угрозу исчезновения всего человечества.

Проклятие нашего века — ужас концентрационных лагерей, где были уничтожены миллионы людей. Но этот ужас бледнеет перед потенциальным ужасом того, когда всю нашу планету, как несчастную затравленную фашистами женщину, вместе со всеми ее детьми могут сжечь в общей атомной освенцимской печи.

Сейчас люди, которые открыто называются фашистами, — вроде бы лишь незначительные группы. Итальянский кинорежиссер Скуттиери, поставивший откровенную сентиментальную героизацию фашизма — фильм "Кларетта", где самыми несчастными, глубоко обиженными жертвами выглядят Муссолини и его любовница, от фашизма отрешивается, делает заявления, что он убежденный антифашист. Послушать Пиночета, так это же спаситель демократии, голубь мира! Фашизм может и не носить свастику на рукаве, и зазубривать со школы совсем другие книги, а не "Майн кампф".

Фашизм — это не столько декларируемая идеология, сколько поведение — социальное и даже личностное. Государственный фашизм — это милитаристско-бюрократический концентрат самых низких инстинктов: инстинкта подавлять другие индивидуальности во имя торжества собственной безликости, инстинкта собственного выживания при помощи физического уничтожения либо пропагандистского онаркоманивания масс, хватательно-загребательного инстинкта, доходящего от личной корысти до государственной агрессии. Инквизиция — мать фашизма. Не случайно преследование кинематографистов в Голливуде во времена маккартизма американцы сами называли средневековым именем "охота на ведьм". Но потенциальная атомная война еще более античеловечна, чем фашизм, ибо фашизм старался культивировать хотя бы одну расу, а эта война грозит уничтожить все расы. Эта война уже в своем зародыше — суперфашистска. Эта война уже в своем зародыше —

антивсенародна. Борьба против этой войны не есть политика, а общее всеспасение.

... Я был в Канаде на маленьком пароходике, совершавшем экскурсию около Ниагарского водопада. Гордый оптимистический голос гида произнес: "Ниагарская гидроэлектростанция — это самая величайшая гидроэлектростанция свободного мира". Это был обыкновенный человек, отнюдь не милитарист, но он сам не понимал, что из него говорит "масс-медиа", всунувшая внутрь него опасное чувство превосходства одной части населения планеты над другой, а все агрессии мира начинаются с мельчайших микробов превосходства. Деление мира на так называемый мир свободный и несвободный — это дешевая демагогия, разрушающая взаимодоверие между народами. Ни капитализм, ни социализм не имеют права на агрессивное высокомерие друг к другу, на нескромное самовосхваление. По-настоящему свободного мира еще нет, ибо все мы несвободны, хотя и по-разному. Коммерческий тоталитаризм — это своего рода скрытая однопартийная система.

У нас общая мать — Земля, у нас общая мировая культура, сложенная из тысячи национальных культур, общий враг — потенциальная война.

Колокола не только могут оплакивать уже исчезнувших.

Колокола должны спасать еще не исчезнувших.

Когда-то, во времена исторических войн, колокола переливали на пушки. Сейчас пришло время пушки переливать на колокола.

1985 — 1989

## ВОЙНА — ЭТО АНТИКУЛЬТУРА

Тени Дантона и Кон-Бендита

Париж — перекресток культуры человечества. Так исторически сложилось, что мысли французских вольнодумцев, пересекая океан под шляпами с просоленными Атлантикой перьями, контрабандно завезли через невольничьи рынки Нового Орлеана в Америку дрожжи будущей революции. Не эти ли самые дрожжи были сокрыты под душистым нюхательным табаком Вольтера, и не на их ли крупичках, вроде бы по рассеянности роняемых на паркетные петербургских салонов, забраживала декабристская жженка?

Франции повезло, что она не успела привыкнуть быть империей, и поэтому потеря молниеносных наполеоновских завоеваний не была для нее столь болезненной, как для Британской империи, которой все доставалось гораздо медленнее, натужней. Но отдавать, впрочем, присвоенные впоследствии территории и Франции не было приятно. Франция постепенно теряла остатки бывших колоний, напоминающие если не о мировом господстве, то хотя бы о его попытке, — Вьетнам, Алжир. Президент Сенегала Леопольд Сенгор, наверное, благодарный Франции за культуру, которую она ему подарила, на прекрасном французском пишет стихи, утверждающие отнюдь не наполеоновские идеи, а идею "негритюда". Гоген, попавший на Таити, оказался не экспортером, а импортером красоты.

Если поражение имперских претензий спасает нацию, хотя и унижает слишком чувствительное национальное самолюбие, то есть поражения, которые унижительны без всякой одновременной спасительности. Такими были поражения двух французских революций, переваренных вместе с дровками их знамен всепожирающим чревом буржуазии, а затем практическая сдача страны, без всякого Роландова рога, зовущего к борьбе, голубоглазым зигфридам с закатанными рукавами. Французское Сопротивление было попыткой морального искупления этой сдачи. Не случайно в Сопротивлении воскресла французская гражданская поэзия.

За послевоенной порой с ее духовной и экономической аритмией последовал спазм мая 1968 года с его полуопереточными баррикадами. Но господа бонасье излишне поспешили испугаться за витрины своих магазинов. Тени Кон-Бендита и его соратников растворились в плазме ежедневности, как бледные копии трагических теней Робеспьера, Демулена, Дантона, чьи имена сейчас стали названиями улиц, где мирно торгуют устрицами и артишоками. Многие знаменитые поэты поумирали, поэзию почти никто не читает. Брижит Бардо постарела, обзавелась собственной коммерцией, и скульптурные изображения символа Франции Марианны лепят уже не с нее, а с певицы Мирей Матье, в облегченном варианте заменившей великую Эдит Пиаф.

На улицах Парижа сегодня спокойно, если не считать оглушительного бибиканья пролетающей время от времени по Елисейским полям четырех-пятитысячной орды мотоциклистов, требующих зажженными фарами и клаксонами понижения обязательной страховки для мотоциклов. Полицейские с газо-

выми ружьями на всякий случай настороже, но предпочитают не лезть на глаза, покуривая "Голуаз" за кустиками Гранд-Пале.

Каменная гигантская женщина Генри Мура, словно обеспокоенная за судьбу миллионов своих детей мать всего человечества, наблюдала в эти дни за форумом мира в ЮНЕСКО.

### Питер Устинов

Седобородый человек с избыточным телом, никак не поддающимся попытке застегнуть пиджак хотя бы на одну пуговицу, еле втиснулся в битком набитое кафе. У этого человека было знаменитое лицо, судя по радостным, хотя и тактичным улыбкам узнавания, благодаря которым как бы само собой освободилось место на липком ложнокожаном диване в углу, куда и сел вошедший. Известность собственного лица его явно не интересовала. Он заказал валенсианскую "паеллу", бутылку минеральной воды "перрье" и, вытащив из разбухших карманов исписанные по-английски листочки, стал трудиться над ними, сжимая в толстых рыжеволосых пальцах полуторафранковую пластмассовую авторучку. Его голубые глаза не по возрасту блестели. Но это был не блеск молодой, неожиданно возродившейся беспечности, а тревожный блеск озабоченности важным делом. Если бы кто-нибудь заглянул в эти листочки, то увидел бы в них, скажем, следующее: "Предрассудки могут долго жить среди взрослых, но среди детей они еще, к счастью, не существуют. Безусловно, у нас огромная задача — спасти детей. Если каждый год, начиная с нынешнего, не будет Годом ребенка, то первый Год ребенка явится лишь бессмысленным жестом, оскорблением, пощечиной по лицу нашей веры в возможность выжить".

Седобородый человек тяжело вздохнул, перечитав эту фразу, подумал и дописал, по-школьному морща профессорский лоб: "Позвольте мне вспомнить реакцию одного американского бизнесмена, который сказал мне: "Когда генерал говорит, что у нас есть способность разрушить мир только шесть или семь раз и когда это воспринимают как преимущество, то, как бизнесмен, я могу сказать, что это — сумасшествие..."

Седобородый человек хотел продолжить фразу, но не тут-то было. Известность его все-таки подвела, хотя обычно парижан не удивит и Симона Синьоре, наворачивающая на вилку спагетти, и даже Жискара д'Эстен, садясь за руль своего автомо-



биля и направляясь в ресторан, может быть относительно спокоен, что в священный час поглощения устриц и запивания их ледяным "шабли" ему никто не попытается всучить петицию, клеймящую повышение налогов. Но и в Париже, как и везде, все-таки люди, у которых известность чьего-то лица пробуждает скользкий комплекс приставания. Двое подошли к столу седобородого человека, сияя от бессмысленного восторга и, так сказать, причастности.

— Я вас узнал, вы — Питер Устинов. Мы — ваши поклонники! — заорал один из них по-русски. — Вы же гигант! — и полез обниматься, погружая галстук в только что принесенную дымящуюся "паеллу". Второй ринулся к официанту и приволок его вместе с подносом, где причудливо выстроились бутылка коньяка "Наполеон", белое и красное вино, несколько жестяных банок с пивом. Агрессивность гостеприимства была устрашающей.

— Простите, — тихо сказал родившийся в Англии знаменитый драматург и актер, чья мать из рода петербургских Бенуа, а отец из Саратова, — я не могу сейчас пить. Через полчаса буду говорить на форуме мира в ЮНЕСКО.

— Какой еще к черту форум мира, когда тут такой выпивон! — гордо показал на поднос один из поклонников. — Брось ты ломаться, Питер. Ты, конечно, гигант, нельзя же отрываться от простого народа...

— Простите, а вы кем работаете? Что-то вы не похожи на слесаря или крестьянина, — спросил Устинов, пряча листочки в карман и пытаясь встать, насильно усаживаемый явно наглеющими руками.

— Мы оба дипломаты. Работаем, кстати, в ЮНЕСКО, но по сравнению с вами, как вы, наверное, думаете, мы ничто, — переходя от подхалимства к хамству, сказал один из поклонников, и зрачки его сузились от пьяной злобы.

— А жаль, что вы дипломаты, — сказал Устинов и, стряхнув цепляющиеся руки, пошел к двери, добавив напоследок: — Если судьба мира будет в руках таких дипломатов, как вы, дело плохо...

### Отсутствие утопий — это варварство

Дипломаты, к сожалению, бывают иногда и такими, как вышеописанные. Но эти двое — еще не худшие. Есть дипломаты-интриганы, дипломаты-заговорщики, дипломаты — сеятели раздора между народами, дипломаты-взяточники, диплома-

ты — кариатиды тираний, дипломаты-шпионы и даже убийцы. Сколько крови было пролито в мире благодаря дипломатической намеренной дезинформации, когда посылались шифровки, отражающие не саму реальность, а лишь то, что желательно было слышать тем, кто их читает. Дипломатическая дезинформация прессы...

Лишь в случае, если дипломаты понимают свою профессию не как узкогосударственный бизнес, а как защиту интересов своего народа (но только не за счет других народов), тогда эти дипломаты могут быть действительно добрыми ангелами мира. Но даже ангелу трудно быть богом. Особенно если ангелу шлют секретные инструкции — иногда самые идиотские, — которые ангел обязан выполнять, потому что он — на службе.

На форуме мира в разных речах звучала одна и та же идея: народы мира не могут надеяться на то, что проблема предотвращения войны будет решена лишь дипломатическими средствами. Конечно, это не простой вопрос: кто будет представлять общественное мнение? В любую, даже самую антибюрократически задуманную организацию могут проникнуть бюрократы, а на заседаниях некоторых пацифистских комитетов, говорят, дело порой доходит чуть ли не до драки.

На форуме был особо живописный гость — восьмидесятилетний бодренький японец Риочи Сасакава, президент сразу двадцати пяти различных компаний и фондов, прибывший в окружении целой команды экспертов, переводчиков, ассистентов, секретарш и, говорят, даже массажисток, а также телевизионной группы, снимавшей каждое движение его губ, когда они раскрывались. Список его "президентств" вызывал невольную улыбку потому, что господин Сасакава одновременно являлся президентом и всемирной федерации каратэ, и ассоциации японских ветеранов-инвалидов. Не без юмора господин Сасакава заметил, что он борется за мир, представляя бывших военных преступников, щедро одарил всех участников халатами каратистов с написанными на них призывами к миру, от имени японской судостроительной компании вручил генеральному директору ЮНЕСКО чек на миллион долларов для учреждения премий борцам за мир, а также преподнес рояль "Стейнвей" для концертного зала ЮНЕСКО. Словом, господин Сасакава был в постоянном оживлении. Но его специфический стиль борьбы за мир является исключением на этом форуме, носившем характер делового, хотя и взволнованного симпозиума.

Все говорили, что если общественное мнение будет оставаться только мнением, а не действием, то все действия останутся только за теми, в чьих руках оружие. А иногда оружие стреляет и само по себе. Приводился пример, когда в результате ошибки ЭВМ на несколько минут возникла ложная тревога, которая могла привести к нажатию кнопок. Макбрайд внес предложение созвать всечеловеческий референдум о полном запрещении производства и использования ядерного оружия. Он обратился к Международному Красному Кресту с призывом объявить атомное оружие нелегальным, как это было с отравляющими веществами. Некоторые делегаты шли еще дальше, предлагая запретить все виды оружия, включая даже охотничье и игрушечное, исподволь приучающее детей к тому, что война — это интересно.

Утопия? Но кто-то сказал на этом форуме: "Отсутствие утопий — это не что иное, как варварство". Приведенная на форуме цифра, свидетельствующая, что с 1946 года великие державы, по подсчетам ЮНЕСКО, 6 тысяч раз садились за стол переговоров по проблемам разоружения, но до сих пор не запрещено полностью ни одно из средств ведения войны, — это было, конечно, невесело. Однако это не отменяет необходимость дальнейших переговоров, а даже, напротив, ее подчеркивает, ибо проблему нависшей угрозы войны преступно разрешать самой войной. Были и другие малотешительные, даже страшноватые цифры: "Сейчас в мире достаточно оружия, чтобы убивать сотни миллионов людей, в то время как в мире живет всего-навсего около четырех миллиардов" (профессор Гронингенского университета Берт Роллинг). "Затраты на вооружение равняются 410 миллиардам долларов в год... Цена военного самолета, даже устаревшего, такова, что на эти деньги можно было бы кормить тысячу детей в течение года. На деньги, которые стоит современный авианосец, можно было бы содержать тысячу школ... 1500 миллионов детей живут в условиях загрязнения окружающей среды, инфекций, недоедания, а то и просто в голоде..." (профессор Мехротра, Индия). "Полмиллиона ученых в мире работают в разных странах над усовершенствованием оружия... 70 процентов всех средств, уходящих на научные цели, идет на военные исследования... В мире сейчас 25 миллионов человек под ружьем, и на эти 25 миллионов уходит более 55 процентов всего мирового сырья" (Мацааммел Хак, Бангладеш). "Исследование показало, что 90 процентов материнского молока в ФРГ недоброкачественно от влияния химичес-

ких субстанций... Каждый человек в мире сейчас подвержен влиянию 63 тысяч разных химических субстанций...” (профессор Кох, ФРГ). Но, пожалуй, самая впечатляющая цифра приведена в заключительном коммюнике форума: ”Стоимость производства оружия равняется одному миллиону долларов в минуту”.

Ноэль-Бейкер предупреждал о военной истерии, искусственно нагнетаемой западной прессой: ”Средства информации создали общую иллюзию в западных странах, а особенно в Великобритании и США, о таком количестве войск СССР, что они могут опрокинуть силы НАТО прежде, чем те успеют использовать ядерное оружие, и что массы русских варваров хлынут через Европу, играя с нашими войсками, как шторм с корабликом...” Доктор Мехротра грустно заметил: ”Люди выглядят волнуемыми от страха одной страны перед другой, страха одной расы перед другой, страха одной личности перед другой. Комплекс страха построен настолько прочно, что многие из нас стараются защититься от воображаемых последствий, придуманных нами же”.

Форум ЮНЕСКО в Париже и солидарность его участников при подписании заключительного коммюнике, черновой набросок которого был сделан Питером Устиновым, стал победой дипломатии общественного мнения. Не политика должна определять общественное мнение, а общественное мнение — политику. А политики выше, чем взаимопонимание народов, их мир и процветание, нет и не может быть.

## Не резолюция, а эволюция

Войну, к сожалению, пока еще не удавалось отменить резолюцией ЮНЕСКО или даже Организации Объединенных Наций. Солдатские сапоги и танки столько раз шли на войну по белоснежной дороге из беспомощно опавших лепестков множества резолюций, мирных договоров, пацифистских воззваний. Войну может отменить не резолюция, а эволюция. Я подразумеваю такое изменение психологии людей, когда не только сама война, но даже и мысль о ней станет невозможна. Но что предопределяет психологию? Условия человеческого существования. Надо прежде всего изменить их, чтобы отменить возможность войны. Как?

В истории описана грубая хирургия грязным сапожным ножом. Но и пацифистские пассивные заклинания бессмысленны, как попытка вылечить больного, намазывая йодом ножки кро-

вати, на которой он лежит. От множества неудачных попыток грубой хирургии и заклинаний у человечества выработалась одна из его самых разрушительных привычек — привычка к войне как к неизбежному злу. Большая часть человечества все еще живет под гнетом эксплуатации. Это не только эксплуатация труда, но и эксплуатация духовная, включающая в себя социально-политические обманы, подмену свободы ее иллюзиями, подмену настоящей культуры ее эрзацами. Жизнь рядового эксплуатируемого человека проходит в беспрестанной борьбе с агрессивней этой эксплуатацией, с агрессивней существующего или угрожающего безденежья, с агрессивней голода, болезней и, наконец, с еще непобедимой пока агрессивней смерти. Поэтому многие люди, придавленные столькими навалившимися на них с рождения большими и маленькими агрессиями, привыкают к существованию агрессии гигантского масштаба — к войне.

В последнее время в разных странах наблюдается печально-иронический бум производства и продажи разного рода усовершенствованных дверных замков, систем сигнализации и других средств защиты от квартирных краж. Но усовершенствование замков ведет лишь к усовершенствованию мастерства воров. Нечто подобное происходит и с проблемой вооружения. Военное производство похоже на одновременное изготовление теми же самыми руками и дверных замков, и отмычек к ним.

Привычка к войне для некоторых людей переходит в привычку весьма выгодную. Не гитлеры делают крупнов, а круппы — гитлеров. Самым отвратительным в военном производстве является то, что в него втянуты огромные трудящиеся массы, и работа на войну дает им хлеб, хотя этот хлеб потенциально замешен на их собственной крови. Такова лицемерная логика производства вооружения.

Искусно насаждаемая привычка к войне приносит не только материальные, но и политические выгоды лицемерному меньшинству. Многие политиканы удерживаются у власти лишь благодаря запугиванию народов страхом войны или просто войной. Царское правительство в России к 1914 году находилось в состоянии гниения, распада. Чтобы отвести от себя гнев народа, оно втянуло его в первую мировую войну, пугая "усатыми немцами". Правительство кайзера Вильгельма, чувствуя свою шаткость, тоже выдумало для своего народа "усатых немцев", только оно называло их "бородатыми русскими".

Но в те времена и "большая Берта" казалась ужасающим чудовищем. Сейчас постепенно может образоваться привычка и к существованию нейтронной бомбы. Чем страшнее сила оружия, тем страшнее привычка к войне. Возрастает опасность гегемонизма и союзов одних держав против других. Атомная бомба и в руках высокоразвитого государства страшна, ибо развитие техники не всегда означает развитие совести. Что же произойдет, если в будущем атомные бомбы станут принадлежностью не только государств, но и политических организаций, и частных лиц?

Одни полицейские методы борьбы против террора беспомощны. Надо изменить те условия, из которых вырастает террор. Захватническая война есть не что иное, как террор, сконцентрированный и даже официально награждаемый, и бороться с ее возможностью или реальностью надо лишь изменением условий, из которых он вырастает. Войну друг с другом надо заменить общей войной друг за друга, против эксплуатации, голода, загрязнения окружающей среды, болезней. Человечество настолько потенциально могуче, что, объединившись, сможет победить и смерть.

Для того чтобы уничтожить привычку к войне, надо уничтожить взаимонедоверие. Великая роль в борьбе с войной принадлежит мировой культуре, ибо по своей природе она — строительница взаимопонимания между народами. Культура и война — это непримиримые враги, потому что война — это антикультура.

### **Стоит ли мыть бананы?**

Но что такое культура? Однажды на Амазонке одна старая индианка, предлагая мне банан, очистила его шкурку, вымыла банан в реке, кишевшей паразитами, и только потом дала его мне. Она думала, что так будет более культурно, более цивилизованно. Но почему эта индианка была лишена возможности читать и открывать для себя Сервантеса, Шекспира, Свифта, Рабле, Достоевского? Разве эта индианка и миллионы ей подобных не есть вина истории перед человечеством? Что может сделать такая индианка, целомудренная в своем неведении перед угрозой ядерной войны?

Питер Устинов в своей речи на форуме сказал: "Человеческое тело есть микрокосмос всего человечества... Бесполезно говорить: "Что бы ни случилось с телом, руки должны быть хорошо вымыты и наманикюрены, но если распадается тело, то

они отвалятся тоже”. Нельзя отделить культуру от жизни всего человечества, бессмысленно чистенько мыть культуру и намааникюрировать — она не уцелеет, если тело жизни распадается. Наманикюренное искусство развлекательства — эти сентиментальные романы, детективы, порножурналки, — все это усыпительное щекотание пяток. Но когда засыпает совесть, просыпается война.

О такой наркотической эрзац-культуре точно писал Т.С. Элиот: ”Массовая культура всегда будет подменной культуры, и раньше или позже более разумные из тех, кому она была подсунута, обнаруживают, что они были обмануты”. Но, думаю, великий поэт был неправ, добавив далее: ”Существенные условия для сохранения качественной культуры меньшинства в том, чтобы она всегда оставалась культурой меньшинства”. Нельзя забывать про ту старую индианку с Амазонки, про ее детей и внуков и про миллионы тех, кому мы должны помочь подняться к мировой культуре. Мировая культура — это стена перед войной, сложенная из великих книг.

#### **А вы не спали на чужих дыханиях?**

В 1935 году в том же самом прекрасном городе Париже состоялся конгресс писателей в защиту культуры.

Они били во все колокола, предупреждая мир об опасности второй мировой войны. Эти колокола не помогли, и вторая мировая война разразилась, оставив на бульварниках, еще помнящих ладони парижских коммунаров, унижительные отпечатки нацистских сапог. Это был горький урок для всей интеллигенции мира, и дай бог, чтобы этот урок не повторился. Но он не повторится только тогда, когда мы научимся великой науке превращать благородные слова в благородные действия, когда мы не позволим антикультуре-войне растаптывать духовные ценности.

...Недалеко от здания ЮНЕСКО, где проходил форум, я увидел парижского бродягу-клошара, спавшего на вентиляционной решетке метро, прижимая к рваному пиджаку недопитую бутылку вина. Я подумал о том, что этот человек инстинктивно пришел к теплу, идущему из-под земли, даже не размышляя о том, что оно составлено из дыханий множества незнакомых ему людей. Спасение человечества — если оно соединит все дыхания в одно.

## ПАЛАЧИ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Мальчик лет шести с загадочным испугом глядел на веревку, качающуюся перед ним на каком-то страшном сооружении. Мальчик смотрел на ту ее часть, где в разные стороны торчат пеньковые лохмы, как будто в этом месте она обо что-то перетерлась. Мальчик смотрел не только с испугом, а даже с суеверным страхом, инстинктивно прижимая руки к груди, стараясь защитить себя от тени веревки, которая, как страшный черный паук, впивается в его беззащитную грудь. Что это за мальчик? Что это за веревка, и почему он так боится даже ее тени?

Это кампучийский мальчик, стоявший летом 1986 года во дворе бывшей полпотовской тюрьмы Туол Сленг, превращенной из бывшей школы в место массовых убийств. По регистрационным тюремным документам здесь было зверски замучено до смерти: в 1975-м — 154 человека, в 1976-м — 2250, в 1977-м — 6330, в 1978-м — 5765; итого 14 499 человек, не считая детей, которых даже не регистрировали, — говорят, что около двадцати тысяч в целом. Страшная цифра, но это ведь только капля в море крови, пролитой в Кампучии, ибо общее число жертв во всей Кампучии — около трех миллионов. Даже если эта цифра и преувеличена вдвое, как говорят некоторые недоверчивые аналитики, то и тогда она колоссальна в соотношении с количеством населения (по данным 1979 года — 4 миллиона человек).

Мальчик стоит перед бывшим школьным гимнастическим сооружением, которое палачи заставили быть виселицей, где подвешивали людей — чаще всего за ноги, чтобы смерть была более мучительной, а если заключенные умирали слишком долго, отсекали им головы длинными ножами. Лохмы на веревке — именно на том месте, где связывали ноги несчастных заключенных. Я видел в этой тюрьме, ныне ставшей музеем, и другие орудия пыток — железные бочки, куда с головой опускали в воду, клещи для выдирания сосков и ногтей, кнуты, деревянные станки для выламывания костей, молотки для разбивания мужских семенных яичек, но больше всего меня почему-то потрясла простая веревка с этими гипнотизирующими взгляд лохмами, неподвижно свисающая среди раскаленно-

---

Из предисловия к изданной в Сингапуре книге фотографий "Лица и тени". На русском языке публикуется впервые.



го кампучийского воздуха, который тоже казался мне одним из орудий пыток.

Я попросил молоденькую девушку — моего гида привести мне какого-нибудь ребенка, чтобы сфотографировать его рядом с веревкой. Она не совсем, видимо, поняла, зачем мне это надо, но с присущей кампучийцам молчаливой вежливостью привела мальчика — ее племянника, жившего неподалеку, в таком страшном соседстве. Я спросил его, знает ли он, что это за веревка. Он кивнул. Я объяснил ему свою идею. Я сказал, что хочу сделать такую фотографию, которая тронула бы сердца всех других людей, живущих в других странах и плохо знающих о том, сколько невинных людей было замучено в его стране. Я попросил его только об одном — смотреть на эту веревку в том месте, где у нее лохмы, и думать о всех тех людях, которых эта веревка убила. Он не играл, не притворялся думающим — он действительно смотрел и думал о том, о чем я его попросил думать. Это было ему тяжело, и когда тень от лохм веревки упала ему на грудь, он непроизвольно вскинул ручки, стараясь избавиться от нее. Я страшно боялся, что этот снимок не получится, и я мучил мальчика, снимая его десятки раз, но он понимал, что белый дядя не занимается с ним пустой забавой, и старался помочь мне по-серьезному. Он понял, зачем это надо мне и, может быть, понадобится другим людям. Он был великим актером в этот момент, потому что он не актерствовал, а жил своим собственным взглядом на эту веревку. Я не знаю, кем будет этот мальчик, но уверен, что он не сможет стать плохим человеком, пытающим других людей... Но... но... но... Что иногда делает с самыми изначально хорошими людьми политика, манипулирующая их сознанием! Да и есть ли изначально плохие люди? Есть ли генетически запрограммированные палачи, убийцы? Не верю в то, что эмбрион уже может быть заражен садизмом! Даже лагерные овчарки не рождаются злыми и могут быть ласковыми, как котята, — в тех случаях, если хозяева не тренируют их хватать других людей мертвой хваткой, кусать до смерти лагерных беглецов.

Было еще что-то, что оказалось для меня пострашней веревки смерти в тюрьме Туол Сленг. Это был зал, где рядом висели фотографии жертв и их палачей. Боже мой, у них были совсем одинаковые лица! Я говорю это не с точки зрения европейского поверхностного туриста, которому все азиаты кажутся одинаковыми. Нет, лица были действительно одинаковы — лица совсем простых людей, привыкших с детства к труду, лишениям, крестьянские и рабочие лица. Тут-то я и вспомнил

строки Пастернака: "Я знаю — вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже — жертвы века!" Кампучийские палачи тоже были жертвами. Жертвой собственной обманутости, собственной преступной наивности, которая толкнула их к чудовищной вере в то, что их братья, которых они пытали и уничтожали, — их враги, и жалеть их не стоит.

Комплекс неполноценности, может быть, родился в Пол Поте и его соратниках в то время, когда блистающие заманчивыми огнями улицы Парижа к ним относились, как к нежеланным париям. Пол Пот и его соратники бродили голодными, непризнанными студентами из какой-то, неведомой парижанам страны, и этот комплекс превратился в их животную ненависть к явлению города, как такового, словно к равнодушному всепожирающему Молоху. Полпотовцы жадно схватились за идею коммунизма не как за инструмент потенциального будущего братства, а как за оружие биологического реванша, казавшегося им социальным возмездием. Из сорбоннских кафе, где в сигаретном дыму витали причудливо перепутанные призраки Равашолья и Руди Дучке, они вернулись в свою задвленную разложившимися правительственными и аристократическими ворами страну, и ядовитые семена реванша пали на благодатную почву, обильно орошенную кровью. Лон Нол однажды привез в Пномпень целый вагон с отрубленными головами крестьянских мятежников. Из этих отрубленных голов, как ростки их кровавых семян, взошли виселицы Пол Пота. Ненависть к городу, как причине всех зол, теперь уже не к французской столице, а к собственной, разъедала Пол Пота, и он стал прививать ее кампучийским крестьянам, имевшим все основания пойти под знамена ненависти к горожанам, которые из джунглей и гор начинали казаться им врагами народа, а народом начинали казаться самим себе только они сами. Население Пномпеня радостно встречало красных кхмеров, как освободителей, но освободители оказались палачами, загоняя почти все городское население в тюрьмы или трудовые исправительные лагеря. Я видел один из таких лагерей, где сквозь прорванную карту Кампучии смотрят груды черепов, где из земли высовываются всохшие в нее обрывки одежды, а особенно страшен тот сук, глядящий как зрачок дьявола, о который разбивали головы младенцев. Но самое чудовищное то, что все это делалось в полной убежденности, что убиваемые люди — не люди, а враги или их последыши, которых жалеть не стоит ради высших идеалов. Еще один жуткий пример, когда народ уничтожал сам себя от имени интересов народа — но только теперь уже на азиатс-

кой почве. На этой почве все растет с молниеносной быстротой — и цветы, и рис, и с точно такой ускоренностью эта несчастная страна проходила все круги и ярусы Дантова ада во имя будущего обещанного рая, и с не меньшей молниеносной быстротой, чем цветы, на этой земле росли виселицы. Я привык читать в газетах выражение "банда Пол Пота", и мне раньше казалось, что красные кхмеры были сборищем грабителей и насильников. Все оказалось не так. Когда все население было изгнано из города, то красные кхмеры, по свидетельству очевидцев, даже не входили в брошенные квартиры, не тронули ни одной вещи, не украли ни одной серебряной ложки. Самое невероятное в том, что они палачествовали с чистой совестью честных людей! После этого самогеноцида первый раз я оказался в стране, где был Союз писателей, составленный из нескольких журналистов, но где практически не осталось ни одного живого писателя! В стране — почти без интеллигенции, потому что она была вырублена, за исключением тех, кто успел эмигрировать.

О, Человечество, спаси себя от своих спасителей!

1987

## СВЕЧА В ЛОТОСЕ

Азия не только тянется к тому, чтобы лучше знать Европу, Азия тянется к тому, чтобы лучше узнать Азию. А когда она узнает себя, когда она оценит свою силу, свой талант — тогда ей предстоит мощный рывок вперед, и кто знает, не станет ли тогда Азия, ныне во многом отсталая и раздираемая противоречиями, будущим лидером мира?

Соединенные Штаты Азии — такая идея сейчас кажется фантастической, но кто знает, кто знает... Ведь уже сейчас больше половины человечества — азиаты. Богатство, процветание часто расслабляют, разлагают, саморазрушают — вспомним хотя бы фараонов строй в Египте или Римскую империю. Да зачем ходить за примерами так далеко — совсем еще недавно Британская империя, проглотившая четверть Азии, была изнутри взорвана ею, как лягушка, пытавшаяся проглотить вола, и снова втиснута на свой островок. Цвет кожи жителей этого острова фатально темнеет от нашествия индусов, пакистанцев, африканцев, как будто происходит обратная спонтанная колонизация по законам исторического реванша.

Я был в Лаосе, во Вьентьяне на традиционном соревнова-

нии пирог. После, когда уже смеркалось, по старинному обычаю на воду Меконга лаосцы начали опускать бумажные лотосы со вставленными внутрь горящими свечами. Надо было загадать какое-нибудь желание, а потом следить волнующимися глазами — насколько далеко твое желание доплывет.

Я загадал одно желание и опустил свой лотос в воду. Как белая мерцающая в темноте звезда, он поплыл, неуверенно покачиваясь, среди сотен таких же неуверенно светящихся желаний. Некоторые лотосы сами переворачивались и тонули, совсем недалеко отплыв от берега. Некоторые тонули, перехлестнутые высокой волной от моторных лодок. Некоторые были сбиты камнями, бросаемыми с берега жестокими мальчишками. Мой лотос продолжал плыть. Я чуть не вскрикнул, когда его прижало к борту стоявшей на приколе пироги и стало заталкивать течением под ее дно. Но он изловчился, как будто был наделен тайным разумом и волей к жизни, оттолкнулся от пироги и продолжал плыть. Я долго следил за ним, пока он все уменьшался и уменьшался до размеров крошечного светляка и пока он не растаял на горизонте, подернутом туманом. Такова и судьба Азии, похожая на этот лотос с горящей внутри него хрупкой свечечкой надежды.

Этот лотос плывет по мутной реке истории, среди стольких покачивающихся на волнах трупов. Над этим лотосом пролетают пули, рядом с ним шлепаются снаряды и бомбы, но он все-таки плывет. И если ему удастся изловчиться, обогнув все препятствия или отталкиваясь от них, он все-таки доплывет до горизонта.

1986

## СКОЛЬКО СТОИТ "ФАНТАЗИЯ"?

— Вы знаете, сколько стоит эта "фантазия"? — с горькой усмешкой спросила меня бразильская женщина лет шестидесяти, горделиво и грустно оглаживая свое кружевное белоснежное платье. В этом платье-фантазии женщина была похожа на скульптуру черного дерева, спрятанную внутри огромной светящейся хризантемы. Кружева, как взбитые сливки, окружали немолодое тяжелое тело. Тело прерывисто, устало дышало после карнавального шествия, и темные морщинистые руки с младенчески розовыми ладонями спасительно расстегивали перламутровые пуговицы безжалостно затянутого платья. Жен-

щина сидела на траве, сняв такие же белые, как платье, туфли, и блаженно шевелила затекшими пальцами босых ног, которые настолько настоялись в очереди за возможностью потанцевать, настолько натанцевались, что уже не могли держать свою изнемогшую хозяйку.

Но эта женщина хотя бы еще могла сидеть и разговаривать, а вокруг нее пластом на траве лежали в таких же платьях-фантазиях другие женщины, только что танцевавшие вместе с ней, и спали как убитые. Пустырь за самбодромом, поросший дикой травой, напоминал поле боя, усеянное мертвыми телами белых цветов. Здесь, на пустыре, было полутемно, и только отблески фар проезжавших мимо машин время от времени посверкивали в стареньких, стянутых медной проволокой очках женщины, разговаривавшей со мной. А самбодром — гигантский стадион, специально построенный для обозрения карнавального шествия, — ослепительно сверкал вдали, ревел от восторженного шествия, и там кружились другие немолодые женщины — в таких же платьях-фантазиях, сияя от недешево доставшегося счастья выглядеть счастливыми хотя бы на полчаса, прежде чем упасть замертво от усталости на этом пустыре. Женщин в таких платьях называют в Бразилии "байанами", то есть женщинами из провинции Байа, но на карнавале в Рио-де-Жанейро их платье — лишь стилизация под этот отдаленный регион, и большинство так называемых "байан" из столичных трущоб — "фавел".

— Эта "фантазия" стоила мне две тысячи крузадо, — сказала женщина. — Муж зарабатывает восемьсот—девятьсот в месяц, да и то, когда есть работа. Он делает все, что придется: работает то грузчиком, то маляром, то мусорщиком. Когда есть работа, не пьет, а вот когда нет — бывает. Пьет в долг, а потом приходится отдавать. Вот и перебиваемся. А ведь у нас пятеро детишек. Вы не подумайте, я его денег на "фантазию" не тратила. Сама подрабатывала, чем придется, выкручивалась целый год. И вот представьте — на пуговицы не хватило. А карнавал уже на носу. Муж в это время запил. Я ткнулась к соседям, а у них ни у кого ни гроша. Один сосед, правда, предложил, да не за бесплатно. Сукин сын. Он ко мне, еще к молодой, когда-то лез, а теперь и сам старый, да и я старая, но его все, видно, самолюбие грызет — угрешить меня хоть в старухах. Выручила меня одна бабка — со своего дряхлого, разлезшегося свадебного платья спорола. Хороши пуговицы, а? Правда, у нас денег настолько нет, что это платье продавать после карнавала придется. Дай бог, если полцены дадут...

— А к следующему карнавалу новое станете шить? — спросил я, пораженный ее простотой и откровенностью, на которую способен только дети или сильные люди.

— Ну а как же иначе, сеньор? — искренне удивилась она моему вопросу. — Какая же Бразилия без карнавала? — И не удержалась от собственного гордо-любопытного вопроса: — А вы не заметили на самбодроме меня, когда я танцевала?

— Да, да, заметил, вы прекрасно танцевали... — торопливо соврал я и вдруг подумал, что, может быть, не вру. С фотокорреспондентским пропуском, болтавшимся на веревочке у меня на груди, я сам как бы танцевал под звуки самбы по обочине "пасарелы", щелкая двумя фотоаппаратами, а иногда вторгаясь в середину движущегося танцующего потока, откуда меня со справедливой бесцеремонностью неумолимо извлекали руки распорядителей, чтобы я не путался в ногах. Кажется, в мой объектив однажды вторглось или ее, или такое же похожее лицо с оправой очков, стянутых медной проволокой, а из-под стекол очков сверкнули похожие на обкатанные морем влажные черные камушки, молодые глаза, распространявшие такое девическое сияние, что оно, казалось, смывало предательские морщины. Сейчас, после карнавального буйства, морщины снова проступили, тело потеряло легкость, дарованную танцем, и после пиршества звуков и красок, как мучительное похмелье, пришла усталость. Днем предстояла обычная изнурительная жизнь: заботы о детях, перебранки с мужем, добывание денег. Добираться до дому было далеко, да и не на чем, а подкашивающиеся от танца ноги не дотащат до фавел, лепящихся на крутых холмах. Окна фавел тоже мерцали этой ночью, но фавелы были похожи на слабосветящиеся гнилушки, с завистью подглядывающие с вершин на бриллиантовое ожерелье карнавальных огней большого города. И черные дочери фавел, преобразующиеся один раз в году в принцесс из золушек под прожекторами "пасарелы", обессиленно лежали на пустыре, покинув царство света, музыки, аплодисментов, и казалось, что вот-вот их белоснежные платья-фантазии снова превратятся в лохмотья.

Я снова пошел на самбодром, и карнавал втянул меня в свою пенящуюся, искрящуюся воронку. Карнавал начинается задолго до карнавала. Каждая школа самбы готовит новую песню. Сначала голосованием выбирается тема песни. Затем на эту тему сочиняются стихи и музыка — чаще всего самодельными поэтами и композиторами. В Рио-де-Жанейро 16 районных школ самбы, и каждая из них выставляет примерно 5

тысяч танцоров и певцов. Когда песни созданы, их текст разучивается под музыку. Еще не приодевшаяся в "фантазии" бедность, еще не украшенная пышными султанами из перьев безработица, держа в руках листочки с текстом, заучивают строки буквально всем телом. Толпы музыкантов на балкончиках продымленных залов яростно колотят по барабанам, все убыстряя ритм и доводя танцующих до экстаза, как где-нибудь у костра в африканских джунглях. На репетициях вырабатываются окончательный ритм, его развитие, общая голосовая и пластическая слаженность. Слова песен — это поразительная "батида" (взбитый коктейль) сладкой высокопарности и удачной залихватской солености.

Вот, например, песня школы Сао Клементе (перевод вольный):

Он был худуший забияка,  
 Как без хозяина собака,  
 И колыбель без детских снов  
 Была совсем не золотая,  
 И жил отец, штаны латая,  
 А сын был вовсе без штанов.

Сао Клементе,  
 Где мент на менте,  
 Где вор на воре,  
 Где горе на горе.  
 Жизнь — как смертельное сальто.  
 Мы — капитаны асфальта.

Вот начало песни школы Капричосос де Пиларес:

Оболваненным я быть устал.  
 Демагогам верить перестал.  
 И хотел бы я наполнить...  
 (Что?)

Мой живот, а он дыряв, как решето.

А вот совсем неожиданный рефрен из песни школы Мангеры:

И Дон Кихот  
 В старинной рыцарской манере.  
 И Чарли Чаплин  
 Танцуют здесь, в Мангере!

Репетиции заканчивались. Над пляжем Копакабаны то и дело пролетали вертолеты, волоча по воздуху зазывающие на

карнавал лозунги. Цены в гостиницах выросли почти вдвое. Журналисты обивали пороги штаба карнавала, чтобы получить аккредитацию. Шла спекуляция билетами на черном рынке. А в фавелах женщины дошивали свои "фантазии" только для того, чтобы вырваться хоть ненадолго из своей полуголодной еженедельности под лучи прожекторов на пасареле. Осыпанная блестками бедность выстраивалась для парада. Каких только костюмов здесь не было: и Иисусы с накладными бородами и белыми сверкающими крыльями, и мулатки, работницы табачной фабрики, изображающие статуи Свободы, — сразу штук сто "свобод" с электрическими факелами на батарейках, и микки маусы, и сказочные чудовища, но самыми красивыми были все-таки "фантазии" байан. Немолодые женщины, а иногда просто старухи, они кружились в блаженном забытьи, как будто брали реванш самбой за свою невозвратно потерянную молодость. А танцуют бразильцы так красиво, как никто на свете, — каждой вибрирующей жилкой. Карнавальное шествие началось в восемь вечера, а закончилось часов в девять утра.

Бразильцы как нация представляют собой уникальную смесь из индейских, португальских и негритянских кровей, но карнавальная традиция пришла из африканских деревень, откуда колонизаторы вывозили рабов. Униженные, закованные в видимые и невидимые цепи дети африканских племен суеверно сохранили свою единственную свободу — свободу песен и единственное человеческое право — право на танец. Ритм вырабатывался из взмахов топоров, весел, мотыг, из генетически закодированных в памяти тамтамов навсегда потерянной первоначальной родины. Карнавал, заливавший, как наводнение, улицы, потихоньку стали вводить в русло самбодрома, индустриализировать. В провинции, правда, это не получилось, а вот старожилы Рио-де-Жанейро жалуются, что раньше карнавал был народнее, спонтаннее. Карнавал дорого стоит только тем, кто сам шьет себе карнавальные платья. Но есть новая, весьма заманчивая профессия — карнавальные дельцы. Говорят, что от каждого карнавала не меньше 300 миллионов крузадо дохода.

Один левый бразильский писатель назвал ежегодный карнавал "национальным наркотиком". Правда, несмотря на такое максималистское определение, он сам во время карнавала подпал под головокружительное очарование самбы, и все его тело — плечи, бедра, ноги — непроизвольно двигалось в такт музыке, несмотря на сопротивление критического разума. Он же мне и сказал:



— У нас, бразильцев, столько сил уходит на карнавал, что их не остается для революции. Революция в Бразилии произойдет, лишь если правительство запретит карнавал.

Да, действительно, ни одно правительство никогда не рискнуло это сделать. Наоборот, карнавал даже старались поставить на службу политике, хотя бы тем, что он отвлекал от мыслей о политике. Карнавал выставляли как рекламный щит, загораживающий фавелы. В периоды диктатур платья-фантазии, кружившиеся в вихре самбы, становились живым занавесом, скрывающим тюрьмы. За облаками этих платьев, как за надежной дымовой завесой, бывшие нацисты, сделавшие себе пластические операции или живущие по подложным документам, преспокойно попивали на своих отдаленных, запрятанных в джунгли фашендах привычное мюнхенское пиво, из пены которого родился фашизм. Перед карнавалом в латиноамериканских газетах промелькнуло сенсационное сообщение. Один аргентинский финансист за гигантскую сумму предложил материал, якобы удостоверяющий, что Гитлер и Ева Браун преспокойно жили все эти годы в Аргентине и скончались в прошлом году. Видимо, это такая же "утка", как и пресловутые "дневники Гитлера". Но сколько фашистские преступники, считавшиеся мертвыми, потом оказывались живыми! Да, дорого обошлось этой женщине из фавел ее платье-фантазия. Но сколько стоила человечеству кровавая фантазия стольких тиранов, палачей, поработителей, далеко не все из которых заплатили за это своей жизнью... Сколько стоила нашему народу мрачная фантазия Сталина! Совсем недалеко от Бразилии парагвайский диктатор Стреснер долгие годы продолжал свой затянувшийся политический карнавал. Во время визита папы римского в Чили Пиночет карнавалом вырядился в белоснежный мундир под цвет папского одеяния, стараясь выглядеть невинной божьей овечкой. Милая, измученная женщина из фавел, за все твои страдания ты имеешь право на свою "фантазию", потому что она стоит дорого только тебе самой. Но какое право на свою фантазию, стоящую так дорого ни в чем не повинным народам, имеют те, кто воображает себя вершителями истории, отбирая у людей свободу выбора, свободу совести, подменяя силу убеждения силой принуждения, попирая великое бескровное оружие духа оружием как таковым, устанавливая под предлогом борьбы против хаоса полицейские порядки и незаконно беря на себя позорную смелость — решать, кому жить, а кому не жить?!

На следующий день после карнавала над Рио-де-Жанейро

взошло солнце, ослепительное, как золотое блюдо. Блики солнца играли на блестящих, осыпавшихся с карнавальных одежд, на чьих-то растоптанных масках, и рыбаки вытягивали сети из моря с рыбами, сверкавшими, как чьи-то потерянные в вихре недавней самбы украшения. Лишь гигантская статуя Христа, раскинувшего руки над городом с пьедестала горной вершины, была окутана туманом, и он то появлялся, то исчезал, а над его головой пролетали "боинги" и "каравеллы", казалось, тоже несущие на своих крыльях прилипшие карнавальные блестяшки.

А я, как ни пугали меня, что там могут убить, ограбить, пошел вместе с двумя моими бразильскими друзьями в фавелы, откуда вчера в долину спустились белые облака платьев-фантазий, сегодня растаявшие, как почудившиеся видения. У входа в фавелы стояла полицейская машина, и сидящие там до зубов вооруженные хранители порядка посмотрели на нас, как на сумасшедших. Но у меня с детства не было никакого страха перед бедностью, и с голытьбой я всегда чувствую себя в своей тарелке, всегда в гораздо большей безопасности, чем где-нибудь в литературном ресторане, где тебя каждую минуту могут ни за что ни про что неожиданно пырнуть ножом оскорблений. Старейшина фавелы водил нас по холмам, облепленным домишками, сделанными то из фанеры, то из баркасных досок, а то даже побогаче — из разномастного кирпича и камня, и я поражался тому, как бедность тоже старалась украсить эти кривые улочки бумажными гирляндами и как убогость хибар скрашивалась цветами, посаженными вокруг них. Люди были приветливы, потому что не ощущали в нас ни туристского равнодушного любопытства, ни зла, которое мы могли им причинить, а дети шли за нами стаей, колотя бамбуковыми палками в деревянные ведра и консервные банки, как в барабаны. Две девочки, только что бывшие в обносках, побежали домой и вскоре вернулись одетые в карнавальные платья. Девочки были похожи на две живые блестяшки вчерашнего праздника. Они поманили меня, присели у покосившегося, ветхого забора и показали мне волшебную траву, которую зовут здесь "дормидера" (сонная трава). Стоит лишь слегка прикоснуться к этой траве, как она сразу съеживается, словно защищается, охраняя свою недолгую зеленую жизнь. Девочки, дотрагиваясь до травы своими хрупкими пальчиками, пели в два голоса: "Дорми, дорми, дормидера..." (спи, спи, сонная трава).

— Хотите, я вам покажу нашу принцессу? — спросила одна девочка. — Только я должна спросить ее разрешения... Сфотографируйте ее.

Мы подошли к крошечной, будто бы игрушечной хибарке из ящичных досок, полувросшей в землю. Девочка заглянула туда, пошепталась чуть-чуть, потом сказала:

— Принцесса разрешает.

Я заглянул и увидел молодую, с ярко выраженными кенийскими чертами женщину, сидевшую на груди тряпья в фанерном закутке метра в два шириной и в метр высотой. Женщина кормила грудью малюсенькое, сладко похлопывающее губами живое существо и улыбнулась нам так застенчиво и одновременно гордо, что солнце, пробивавшееся сквозь малюсенькое окошечко, на мгновение словно затмилось по сравнению с ее величественно смущенной улыбкой вбитой в этот закуток богоматери.

— Она что, живет здесь? — спросил я у девочки, осторожно закрыв дверь.

— Нет, у нее есть дом там, наверху... Но она прячется здесь, когда ее муж напивается и бьет ее... — просто, как взрослая женщина, ответила девочка.

— А почему ты называешь ее принцессой?

— А разве вы не заметили? — удивленно спросила девочка. — Она не такая, как все. Она действительно принцесса.

А потом мы встретили девушку лет семнадцати, которая, как оказалось, пишет стихи, и она пригласила нас в свою хибару и угостила нас кофе с таким достоинством и врожденной осанкой, и так она была хороша с розой, вколотой в тяжелую смоляную волну волос, с глубокими, бережно внимающими каждому слову гостей глазами, что я стал уговаривать моего холостого бразильского друга Карлоса Эмилио жениться на ней. Она была вся — жажда верности тому, кого когда-нибудь полюбит, и я с болью подумал о том, что этот кто-то тоже может начать пить, избивать ее, вымещая на ней злобу на проклятую жизнь, и вобьет ее тоже в какой-нибудь закуток, как ту черную принцессу. А потом я играл в футбол с бразильскими ребятами, и когда мне удалось забить гол, да еще рикошетом от перекрестия штанг "в девятку", я сам радовался, как мальчишка, — еще бы — это был мой первый, хотя и единственный, гол, забитый на родине Пеле. А потом меня привели к "матери фавел" — строгой высокой женщине с пронзительными глазами, видящими все твои грехи и прегрешения, содержащей в поразительной чистоте крохотную молельню, дающей в ней советы, ставящей диагнозы болезней.

Меня она даже осматривать не захотела.

— У тебя все в порядке, — сказала она беспрекословно. Ес-

тественно, я повеселел. А может быть, она сказала мне так, чтобы сделать гостю приятное? И за то спасибо. Как же так получилось, что у фавел репутация мрачных трущоб, где сам воздух пропах убийствами, откуда ни один иностранец живым не вышел? Старейшина фавелы гневно сжал кулаки, отвечая на мой вопрос:

— Видели полицейскую машину при въезде? Дежурят. Делают вид, что охраняют порядок. А если бы вы видели, как они иногда врываются сюда — только не на одной машине, а на нескольких, и под видом поисков краденых вещей сами обворовывают нас. У старухи Амалии ее единственное сокровище — телевизор — выкрали. По ночам из города сюда наезжают машины и выбрасывают трупы тех, кого убили и ограбили там, в большом городе. Хотят все преступления, которые творятся, свалить на фавелы. Обвиняют нас в том, что здесь живут сплошные бездельники и воры. Быть бездельником для нас — это не забава, а несчастье. Попробуйте найти работу, а особенно постоянную. Поневоле некоторые начинают воровать, потому что дома — голодные рты. А настоящие большие воры судят потом маленьких воров — воров по несчастью... Правда, сейчас становится немного лучше. Новые городские власти впервые стали открывать школы, где детей кормят и завтраком, и обедом. Так что теперь родители отдают детей в начальную школу, да еще с большой охотой, а раньше вместо школы посылали детей на Копакабану — выпрашивать деньги у иностранцев. Сейчас, когда детей в школах кормят, нищенства стало меньше. Вы думаете, почему у нас в Бразилии семьдесят процентов неграмотных? Да потому, что с детства они сами себе на пропитание добывают — родителям их прокормить не под силу.

Но фавелы Рио-де-Жанейро показались мне почти раем, когда я увидел фавелы на воде в Салвадоре. Развалюхи, крытые ржавой жестию, еле держались на сваях, как на тоненьких иссохших ножках, над зловонной жижей. Мы шли вдоль берега, провожаемые голодными детьми в лохмотьях, ничего у нас не просящими, но самое страшное нищенство — это когда даже не хватает сил просить. Воздух был наполнен такими ядовитыми испарениями, что через час я стал задыхаться. А ведь живущие здесь дышат этим воздухом с младенчества. Мы продолжали свой путь, но нас остановила доброжелательная старушка.

— Дальше не надо ходить, — сказала она. — Там — фавелы...

Боже мой, эти свайные домики над жидким концентриро-

ванным смрадом она, родившаяся здесь, даже не считала фавелами. Настоящие фавелы, по ее мнению, были там, где уже не было этого жалкого подобия домов, а просто стояли какие-то несуразные шалаши без пола, с крышами из обрезков той же самой жести. Самое страшное, когда людей доводят до такого состояния, что они сами не могут понять, как они несчастны, и настоящими несчастными им кажутся другие люди, а не они сами. Я проехал четыре тысячи километров на машине по Бразилии, а ведь это только ее крохотная часть. Это одна из самых красивых стран в мире, чем-то, особенно в горных местах, напоминающая Грузию. Мощь пространства ошеломляет, резкость величественных скал сочетается с нежнейшими, мягкими очертаниями долин, красные факелы фрамбойанов обнимаются своим трепещущим пламенем с лиловыми гигантскими спиртовками бугенвиллей.

Латинская Америка порой напоминает мне красавицу, насируемую в темной ночи пьяными, озверелыми бандитами.

Среди нелепых, сумасбродных и преступных фантазий есть великая фантазия о человеческом братстве, о мире без границ, без бюрократии, без эксплуатации, без войн. Эта фантазия стоила, может быть, так дорого, как никакая другая. Это, может быть, единственная фантазия, которая достойна такой дорогой цены. Но цена ее будет оправдана лишь в том случае, если эта великая фантазия осуществится.

1987

## ВЫСТАВКА НА ВОКЗАЛЕ

**Я** побывал на выставке болгарского художника Светлина Русева. Выставка устроена внутри, может быть, самого красивого в мире софийского вокзала. Сначала кажется, что картины — над. Над ждущими поезда, усталыми от шума большого города болгарскими крестьянками с их корзинами и сумками, набитыми священным мусором столичных покупок. Над рабочими, в чьих отяжелевших глазах еще мелькает серая река конвейера и в чьих ушах еще продолжают грохотать станки, у которых они только что стояли. Над хрупкой студенткой, у которой на бахrome джинсов печально повис зацепившийся алый лепесток болгарской розы. Над всем уезжающим, приезжающим, ожидающим, встречающим, провожающим, умирающим и рождающимся, прекрасным и изнурительным хаосом перпе-

тууммобильной жизни человечества на холстах висят распяты на окровавленной проволоке жертвы террора в Чили, — и страдания далекого Сантьяго, отражаясь в глазах болгарских крестьянок, становятся частью переполненного человеческими дыханиями софийского вокзала. А самое прекрасное, когда крестьянки на вокзале, на минуту забыв тяжесть сумок в своих руках, вглядываются в самих себя, написанных на холстах, вглядываются удивленно и чуть настороженно, может быть впервые задумавшись о себе: кто же мы такие? И картины перестают быть над, они медленно опускаются в глубину человеческих глаз, садятся вместе с людьми в вагоны и едут, сами не зная куда.

Я не верю в искусство над. Над вокзалом или схваткой. Большое искусство не должно стесняться быть выставкой на вокзале. На вокзале нашей жизни, набитом страданиями и надеждами, о котором Пастернак писал: "Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук..." Роль художника на вокзале жизни не должна превращаться ни в роль вокзального милиционера, ни в роль автомата для чистки ботинок, который за монетки, всовываемые в щель, услужливо счищает даже кровь с обуви убийц, ни в роль громкоговорителя, ни в роль туристской рекламы, ни в роль плаката. Искусство как выставка на вокзале — это единственная возможность остановить хотя бы на минуту слишком спешащий, слишком изнервленный мир, чтобы люди наткнулись глазами на воссозданных самих себя, замерли и задумались: кто же мы такие?

Этому самовопросу не научишь дидактикой. Дидактика никогда не делала людей лучше. Помпезный лозунг не может проникнуть так глубоко внутрь человека, как великая картина, а если все-таки проникнет, то это даже страшно. Только задумывание человека над собой, которое спасительно нам дарует великое искусство, делает нас лучше. Такое задумывание иногда неприятно, царапающе, болезненно, но позор тем, кто от искусства ждет только так называемого "развлечения". Большие художники — это не декораторы страданий мира, не хитроумные музыкальные аранжировщики криков или стонов, они сами эти страдания, они сами эти крики и стоны. Морально опасен в перспективе любой человек, откладывающий в сторону "тяжелую книгу" и ложноспасительно заменяющий ее развлекательно пустой юмористикой или детективом. Человек, отвернувшийся от чужих страданий в книге, может отвернуться от таких страданий и в жизни. Достоевский сказал об этом так: "Мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив,

смакуем зрелище, как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, чтобы потом забыть его в нашем веселии и играх”.

Однажды поэт Борис Слуцкий сказал мне, что все человечество он делит на три категории: на тех, кто прочел ”Братьев Карамазовых”, на тех, кто еще не прочел, и на тех, кто никогда не прочтет. Я заметил ему, что, к сожалению, самая многочисленная категория — это те, кто видел ”Братьев Карамазовых” по телевидению. Люди только думают, что они смотрят телевизоры. На самом деле телевизоры смотрят люди. Включенный экран — это недремлющее око наблюдения, о котором писал когда-то Джордж Оруэлл. Страшновато, когда создается иллюзия присутствия везде, хотя ты нигде: когда ты можешь спокойно жевать сосиски с капустой и игриво поглаживать выпуклости супруги, в то время когда на экране Отелло душит Дездемону или где-то расстреливают людей. Настоящий экран в мир — это великая книга, потому что книгу нельзя включить или выключить, хотя иногда пытаются это делать, но такие попытки обречены, ибо великая книга включается навсегда.

Создавать великие книги мучительно, и мучительно их читать, потому что только великая боль — мать великой литературы. Но дай бог, чтобы страдания людям причиняло только искусство! Ингмар Бергман говорил о том, что, когда мы решим все то, что сейчас кажется нам проблемами, тогда-то и появятся настоящие проблемы. Но до этого, к сожалению, далеко. Страдания, которые причиняют людям искусство или любовь, относятся к страданиям необходимым, которые и делают человека человеком. Но мы еще живем в мире страданий ненужных, отвратительно унижающих человеческое достоинство, в мире страданий, навязываемых нам любыми формами насилия, включая его зловещую кровавую концентрацию — войну. Существует выражение, что даже плохой мир лучше войны. Оно иногда подвергается сомнениям. Да, лучше, потому что люди все-таки не убивают друг друга пулями, бомбами, не сжигают мирных деревень напалмом, не давят танками, но я не согласен с тем, чтобы мир этот оставался на неопределенное время плохим, ибо при плохом мире тоже идет война, только другими, более изощренными, ханжескими средствами, потому что лживая пропаганда — это война, потому что социальное равнодушие — это война, потому что предательство интересов собственных народов и эксплуатация их — это война, потому что ци-

ничное политиканство — это война, потому что террор страхом потерять работу — это война, потому что бюрократы в штатском, насквозь милитаристские по своей природе, — это война, потому что расизм — это война, потому что все виды шовинизма, включая антисемитизм, — это война.

Беспринципный мир — это война, притворяющаяся миром. Можно и не объявлять войну другим народам, не пересекать границ других государств, но ежедневно быть в состоянии агрессии против собственного народа, насильственно пересекая границы совести. Но каждый народ — это часть всего человечества, и агрессия против собственного народа — это агрессия против всего человечества.

Человечество не должно опускаться до морали мафий, договорившихся не пускать в ход только одно какое-то определенное оружие, оставляя за собой право ножей клеветы и недоверия. Нам нужно не такое кажущееся перемирие, а вечный принципиальный мир — в этом воля всех народов. И такой принцип, который мог бы объединить человечество, есть. Этот принцип — сам человек. Я не согласен с тем, что мы должны говорить друг другу только комплименты о наших обществах, — все общества в той или иной степени несовершенны, как несовершенна сама человеческая психология. Никто из нас не живет в раю, и если он и есть на том свете, то никто оттуда еще не возвращался на землю и не информировал нас о своих радужных впечатлениях. Но, говоря даже суровую правду друг другу, мы должны делать это как коллеги-врачи, склонившиеся во имя спасения нашего общего человечества над его израненным телом, должны проявлять такт, чтобы не помочь ни единым своим словом тем, кто так изранил и ежедневно ранит человечество. Даже правда, сказанная со злорадством, — это уже неправда. Политическая спекулятивная полемика, когда разные стороны осыпают друг друга риторическими взаимобвинениями, напоминает мне сцену суда над Митей Карамазовым, когда, стараясь выразиться по красивей и сорвать аплодисменты, полемизирующие прокурор и адвокат совершенно забывают об объекте спора — о самом Мите. И человечеству, о котором забывают в такой полемике, остается только прошептать, как Мите Карамазову: "Тяжело душе моей, господа... пощадите". Когда речь идет о живом существе — о человечестве, писатели не должны уподобляться манипуляторам чужими страданиями во имя аплодисментов, иногда производящихся довольно-таки грязными руками. У каждого из нас свой определенный профессиональный стиль, но в отношениях друг с другом мы дол-



жны соблюдать единый стиль — стиль благородства. Мы не должны поддаваться на вой третьесортных койотов из газетных джунглей, пытающихся натравливать писателей мира друг на друга, как йеллоустонских гризли на сибирских медведей. Даже сквозь газетные джунгли мы, писатели мира, должны бросить друг другу спасительный клич Маугли: "Мы одной крови — ты и я!"

Иногда мы, писатели, впадаем в профессиональный пессимизм, сомневаясь в действенности нашего слова: ведь если даже Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте, Толстой, Достоевский не смогли улучшить человечество, что же можем сделать мы? Но этот пессимизм необоснован. Если у человечества есть совесть, то этим оно обязано великой силе искусства.

Т.С. Элиот когда-то написал мрачное предсказание:

Так и кончается мир.  
 Так и кончается мир.  
 Так и кончается мир —  
 Только не взрывом, а взвизгом.

Мы должны нашим словом сделать все, чтобы не довести человечество до взрыва. Но нашим словом мы должны сделать все, чтобы не довести человечество и до самодовольного взвизга духовной сытости, который не менее морально опасен, чем война.

И когда на вокзале жизни нам придется сесть в наш последний поезд, то пусть на стенах этого вокзала светится все то, что мы написали, как наше завещание живым.

1978

## ИЗ ПОЭМЫ "ПОД КОЖЕЙ СТАТУИ СВОБОДЫ"

**Вдова Панчо Вильи**

Это было в мексиканском городе Чигуагуа.

В доме-музее Панчо Вильи протекала крыша.

Капли дождя, просачиваясь сквозь испещренный разводами потолок, мерно падали в эмалированный облупленный таз, стоявший на застекленном шкафу, где висел генеральский мундир героя мексиканской революции. Сеньора Вилья с трудом передвигала распухшие ноги в домашних войлочных туфлях по

скрипучему полу. Ей было нелегко носить свое тяжелое расплывшееся тело, колыхавшееся под длинным черным платьем, но она держалась величественно.

— Надо бы отремонтировать крышу, — сказала сеньора Вилья. — Но они до сих пор не дали мне пенсии. И ни одного песо на содержание музея. Мне говорят, чтобы кому-то написала, но у меня есть гордость. Панчо тоже был гордый. Они до сих пор ненавидят его и мстят ему, даже мертвому...

Я вспомнил, как один официальный чиновник поморщился, узнав о моем желании посетить этот дом.

”Панчо Вилья — это легенда, придуманная неграмотными пеонами и ловкими кинематографистами. Он совершенно не разбирался в политике. Революция, конечно, нуждалась в таких людях, но лишь на определенном этапе...”

Сеньора Вилья подвела меня к заржавленному старомодному автомобилю, стоявшему во дворе под навесом:

— Видите, вот здесь пулевая пробоина... И здесь... И здесь. Когда в Америке убили молодого президента, я подумала, что моего Панчо они убили точно так же — в открытой машине.

Сеньора Вилья оглянулась, как будто ее могли услышать они, и перешла на лихорадочный шепот:

— Я, конечно, необразованная крестьянка, сеньор, но вот что я вам скажу. Они — везде и, может быть, сейчас подслушивают нас. Они — во всех странах, только в Мексике они говорят по-испански, а в Америке — по-английски. Это они когда-то распяли нашего бедного Христа и с той поры ищут всех, кто хоть немножко похож на него, и убивают, убивают, убивают. Это они придумали налоги и канцелярии. Это они построили тюрьмы и расплодили полицию. Это они изобрели дьявольскую бомбу, на которую не пойдешь с простым мачете...

Сеньора Вилья подошла к застекленному шкафу, вынула генеральский мундир и посмотрела на свет:

— Проклятая моль. Она проникает всюду. Она разъедает все...

Сеньора Вилья достала из старинной шкатулки нитки, иглу, наперсток и начала штопать мундир, как будто завтра его мог потребовать хозяин.

А над ее седой головой с пожелтевшей фотографии улыбался на лихом коне и в сомбреро ее Панчо — генерал обманутой Армии Свободы.

## День рождения Роберта Кеннеди

У сенатора Роберта Кеннеди были странные глаза.

Они всегда были напряжены.

Голубыми лезвиями они пронизывали собеседника насквозь, как будто за его спиной мог скрываться кто-то опасный.

Даже когда сенатор смеялся и червонный чуб прыгал на загорелом, шелушащемся лбу горнолыжника, а ослепительные зубы скакали во рту, как дети на лужайке, его глаза жили отдельной настроенной жизнью. Сегодня, в день своего рождения, сенатор был в ярко-зеленом пиджаке, малиновом галстуке-бабочке, веселеньких клетчатых брюках и легких замшевых башмаках. Но вся эта пестрая одежда, казалось, была рассчитана на то, чтобы отвлечь гостей от главного — от глаз хозяина.

Энергичные руки сенатора помогали гостям снимать шубы, трепали по стриженным головам многочисленных кеннедёнков, составивших домашний джаз и упоенно колотивших по металлическим тарелкам. Тонкие губы сенатора улыбались, хорошо зная, как обаятельно они умеют это делать, и вовремя успевали сказать каждому гостю что-нибудь особенно ему приятное.

Но глаза сенатора — два синих сгустка воли и тревоги — никого не гладили по головам, никому не улыбались.

Они обитали на лице, как два непричастных к общему веселью существа. Внутри глаз шла изнурительная скрытая работа.

— Запомните мои слова — этот человек будет президентом Соединенных Штатов, — сказал, наклоняясь ко мне, Аверелл Гарриман.

За столом владычествовал знаменитый фельетонист Арт Бухвальд, похожий на благодушного, упитанного кота, который, однако, время от времени любит запустить когти в тех, кто его гладит.

Арт Бухвальд артистически демонстрировал свою независимость, с легкой ленцой высмеивая всех и вся, включая хозяина дома.

Умные короли всегда приглашали на праздник беспощадно ядовитых шутов. Шуты высмеивали королей в их присутствии, отчего те выглядели еще умнее. Прирученный разоблачитель не страшен, а скорее полезен. Но это понимали только умные короли.

И Роберт Кеннеди хохотал, восторгаясь талантливим издевательством Бухвальда, обнимал фельетониста и чокался.

Но глаза сенатора продолжали работать.

Между тем затеяли игру в жмурки.

Длинноногая художница, надвинув черную повязку на глаза, неуверенно бродила по комнате, ищуще простирая в воздухе руки, окутанные красным газом.

Ее пальцы с маникюром лунного цвета, чуть шевелясь, приблизились к язычку пламени, колыхавшегося над свечой.

— Осторожней, огонь... — сказал стоявший неподалеку сенатор.

— А, это ты, Бобби, — засмеялась женщина и бросилась на его голос.

Бобби ловко увернулся и отпрыгнул к стене.

Но женщина с черной повязкой на глазах шла прямо на него, преграждая раскинутыми руками пути к отступлению.

Бобби прижался к стене, словно стараясь вжаться в нее, но стена не впустила его в себя.

Когда праздник уже захлебывался сам в себе, мы стояли с Робертом Кеннеди одни в коридоре. У нас в руках были старинные хрустальные бокалы, в которых плясали зеленые искорки шампанского.

— Скажите, а вам действительно хочется стать президентом? — спросил я. — По-моему, это довольно неблагоприятная должность.

— Я знаю, — усмехнулся он. Потом посерьезнел. — Но я хотел бы продолжить дело брата.

— Тогда давайте выпьем за это, — сказал я. — Но чтобы это исполнилось, по старому русскому обычаю: бокалы до дна, а потом об пол...

Роберт Кеннеди неожиданно смутился, взглянув на бокалы.

— Хорошо, только я должен спросить разрешения у Этель. Это фамильные, из ее приданого...

Он исчез с хрустальными бокалами, а затем появился еще более смущенный: "Жены есть жены... Я взял в кухне другие бокалы, какие попались..."

Меня несколько удивило, как можно думать о каких-то бокалах, когда произносится такой тост, но, действительно, жены есть жены.

Мы выпили и одновременно швырнули опустошенные бокалы. Но они не разбились, а, мягко стукнувшись, покатались по красному ворсистому ковру.

Работа в глазах сенатора прекратилась. Они застыли, уставившись на неразбившиеся бокалы.

Роберт Кеннеди поднял один из них и постучал пальцем по стеклу. Звук получился глухой, невнятный.

Бокалы были из прозрачного пластика.

### Там, где убили Джона Кеннеди

Мой американский друг — специалист по непотивлению злу — и я стояли на месте, где убили Джона Кеннеди.

В Далласе лил дождь, и редкие прохожие шли, подняв воротники пальто и поглубже надвинув шляпы, как будто стараются спрятать свои лица друг от друга.

Да, это был тот самый город, где в день приезда Джона Кеннеди выпустили объявление "Разыскивается государственный преступник" с профилем и анфасом президента.

— Машина президента находилась примерно здесь... — Профессор сошел с тротуара и тупоносым ботинок ткнул пустую пачку "Кэмела", прилипшую к мокрому асфальту. Верблюд на пачке едва высовывал свою грустную морду сквозь грязный отпечаток автомобильного протектора.

— Винтовка с оптическим прицелом была обнаружена там. — Профессор указал на одно из окон серого здания книжного склада. — Но могли стрелять и оттуда, с моста. А могли и оттуда — с автомобильной стоянки. Если встать на крышу машины, будет прекрасный обзор. Кроме того, крыши некоторых машин раздвигаются...

Я почувствовал себя на редкость неуютно и передернул плечами. У меня было такое чувство, словно кто-то целится в меня.

Мы сели в ожидавшее нас такси с тикавшим счетчиком.

— В бар Джека Руби, — сказал я.

— Йес, сэр, — с готовностью ответил шофер, но в его голосе мне почудилась легкая насмешка. "Наверно, часто спрашивают..." — подумал я.

На фотовитрине перед входом в бар изгибались обнаженные девицы. Программа начиналась в одиннадцать, а сейчас было только половина десятого, и небольшой зал, затянутый лиловыми безвкусными драпировками, еще пустовал. Только за угловым столиком сидели с длинными бокалами томатного сока в руках два багроволицых джентльмена, совсем непохожие на членов общества пропаганды натуральных соков. Официант, даже не спрашивая нас, принес точно такие же бокалы. Я пригубил — это был первосортный сок, к сожалению, даже слегка не отравленный алкогольными частицами.

— А нет ли у вас чего-нибудь покрепче? — спросил я.

— Вы в Техасе, сэр, — с достоинством напомнил официант, — законом штата запрещена продажа спиртных напитков в общественных местах. — Затем официант наклонился, смахивая со стола несуществующие крошки, и интимно добавил: — Впрочем, магазин за углом, сэр...

Профессор лукаво показал глазами под столик, за которым сидели два багроволицых джентльмена.

Я взглянул и сам себе не поверил, увидев в этом "вертепе разлагающегося капитализма" ее, родную, любовно сжатую волосатыми ногами с задравшимися штанинами, ее, непобедимую, ханжески загнанную под стол, но как же хитро посверкивающую, как где-нибудь в кафе "Молочное" на площади Пушкина, где раньше был такой великолепный пивной зал № 4.

Профессор сходил в магазин за бутылкой, и вскоре мои ноги ощутили под столом приятно охлаждающую продолговатость форм стеклянного тела.

Томатный сок сразу приобрел иные вкусовые качества, и я стал оглядывать зал, выискивая пронзительным — по моему мнению — оком лица заговорщиков и убийц.

Но в основном это были самодовольные и вместе с тем растерянные лица приезжих, выбравшихся по делам из провинциальных городков, лица отцов семейств, дорвавшихся на день-другой до так называемой красивой жизни, чтобы потом целый год рассказывать об этом своим партнерам по карточной игре.

Некоторые — очень немногие — были с девушками секретарско-продавщицкого вида. Девушки сначала чувствовали себя несколько натянуто, но постепенно оживлялись и позволяли отцам семейств их скромные вольности.

Я вспомнил: "Их добросовестный ребяческий разврат".

Где они — мрачные гангстеры с жевательным табаком во рту и пистолетами на кожаных ремнях под мышкой? Где изможденные морфинисты и жрицы порока с гипнотизирующими глазами, платиновыми браунингами в крокодиловых сумочках?

Я был разочарован.

— Между нами, это не бар Джека Руби, сэр, — понизив голос, сказал у выхода швейцар, оценивший полученный доллар. — Шоферы возят сюда туристов и, конечно, кое-что получают от администрации...

— То-то я и гляжу, что вокруг сплошные отцы семейств, — сказал я недовольно.

— Отцы семейств — это основные посетители всех ночных

баров, сэр, — мягко улыбнулся швейцар. — Между прочим, Освальд был тоже отцом семейства. Настоящий бар Джека Руби — это следующая дверь налево, но он теперь закрыт. Смеею вас заверить, сэр, что он ничем не отличается от нашего. Так что обмана почти никакого...

Мы вышли и подошли к двери, где находился бывший бар Джека Руби. На двери висела фанерная дощечка с надписью: "Спортивная школа для подростков, опекаемая полицией города Далласа".

### Добрый дедушка

В соборе чилийского города Пунта-Аренас, стоящего над проливом Магеллана, заканчивалась воскресная проповедь.

— И да пребудет смирение в сердцах ваших... — мерно гудел под каменными сводами мягкий баритон священника, во время повышения голоса по-актерски отдалявшего лицо от микрофона. — И да не смутит вас мысль о возмездии, ибо право на возмездие в руках господних, а не в руках человеческих...

Подтянутый благообразный старик в черном сюртуке, гораздо больше похожий на священника, чем сам священник, внимательно слушал проповедь, положив руки на палку с острым металлическим наконечником. Выходя из собора, старик достал черный кошелек и аккуратно положил в деревянный ящичек с надписью "Для пожертвований" несколько бумажек. Со стариком раскланивались, он отвечал величавыми кивками. Видно было, что он пользуется уважением в городе.

По выходе из собора старик вынул другой кошелек — уже для мелочи — и так же величаво опустил по монетке в протянутые руки нищенок.

— Грасиас, абуэло\*, — говорили нищенки, кланяясь. — Да хранит вас дева Мария, абуэло.

— Буэнос диас, абуэло, — выжидательно выстроились несколько оборванных портовых мальчишек в тельняшках с чужого плеча. — Сегодня воскресенье — день мороженого, абуэло...

Старик погладил их по головам и сделал жест мороженщику.

— Грасиас, абуэло!.. — восторженно закричали мальчишки и бросились наперегонки к лотку. — Мне манговое! А мне из фрукта-бомбы!..

---

\* Дедушка (исп.).

Абуэло, не торопясь, шел по скверу, где стояла знаменитая бронзовая фигура патагонца. Нога патагонца была до блеска вытерта руками суевренных моряков — по преданию, прикосновение к ней приносило счастье.

Видно было, что абуэло нашел свое счастье в Пунта-Аренас.

Увидев на аллеях обрывки газет, конфетные бумажки, абуэло аккуратно наткал их на острый наконечник палки и сбрасывал в урну. На первый взгляд можно было подумать, что он работает дворником, но это было своеобразное хобби — абуэло любил чистоту. Говорят, на его рыбоконсервном заводе люди работали в белых халатах, а в разделочных цехах были установлены специальные опрыскиватели, отбивающие дурной запах. Абуэло не выносил дурного запаха.

Мало кто в этом городе знал, что абуэло, этот добрый дедушка, не кто иной, как бывший оберштурмбаннфюрер СС Карл Рауф — один из создателей и внедрителей знаменитых "душегубок"!

Не следил ли он и там за чистотой?

Не устанавливал ли он и там опрыскиватели, отбивающие дурной запах?

Впрочем, для многих людей прошлое, как деньги: оно не пахнет.

### **Виноград любит босые ступни**

Абхазский крестьянин Пилия был примерно ровесником оберштурмбаннфюрера СС Рауфа, но между ними была существенная разница: Рауф всю жизнь давил людей, а Пилия — виноград.

— Виноград не любит, когда его давят прессом, — говорил Пилия, рассматривая на свет граненый стакан с самым лучшим вином мира — настоящей деревенской "изабеллой", дымчаторозовой, как закат при хорошей погоде. — Виноград любит босые ступни. Они не перетирают косточек, и поэтому вино такое мягкое. За нежность виноград платит нежностью. Иашуп!..\*

Со мной был кубинский поэт Эберто Падилья.

Эберто первый раз попал в абхазский дом, и для него все было внове: и копченые туры ребра, которые надо было обмакивать в жгучий коричневый гкемали с плававшей в нем крошеной зеленью, и шлепнутая прямо на дощатый стол дымящаяся мамалыга с кусками сулугуни, уже начавшего плакать в ней

\* Выпьем (абхазск.).



чистыми детскими слезами, и скользившие за нашими спинами безмолвные, как тени, женщины в черном, и гортанные песни мужчин, и особенно мудрость тамады — старика Пилия.

— А что, если я у него спрошу кое-что? — наклонился ко мне Эберто. — Это не будет бесгакто?

— Давай, — улыбнулся я.

Я хорошо знал абхазских крестьян и потому не сомневался в старике Пилии.

Эберто поправил очки и сказал:

— Я хочу спросить у вас о самом главном, что меня мучает: существует ли полная справедливость, и если существует, то как за нее бороться?

Старик Пилия ответил так:

— Хорошо, если это тебя мучает, гость с далекого острова, где, как я слышал, хотят бороться за справедливость. Конечно, даже горы молоды для того, чтобы ответить на этот вопрос, а я моложе гор. Но все-таки скажу то, что думаю.

Единственная справедливость, которая существует, — это борьба за справедливость.

Ты спрашиваешь, как за нее надо бороться, гость с далекого острова?

За справедливость не всегда надо бороться со слишком открытой грудью — потому что тогда сделают хуже и тебе, и справедливости. За справедливость надо бороться с умом, но и не слишком хитро, потому что тогда твоя борьба за справедливость может превратиться только в борьбу за твое собственное существование.

Так сказал Пилия, абхазский виноградарь.

— Ты хочешь записать это? — спросил я у Эберто.

— Зачем? — ответил он. — Я и так запомню это на всю жизнь.

И я запомнил это тоже, и тоже навсегда.

## Наука поднимания упавших статуй

На острове Пасхи тоже есть статуи, как и в Нью-Йорке. Они стоят, высеченные из черного пористого камня, с большими широкими носами, как у Льва Толстого, и с обиженно оттопыренными губами, как дети, у которых что-то отобрали.

Некоторые статуи упали, и никто не знает почему. Даже циклон не способен повалить эти громады.

Чилийский архитектор Гонсало Фигероа, создатель науки поднимания упавших статуй, стоял в выцветших джинсах, с

ожерельем из белоснежных ракушек на волосатой груди и разглядывал вместе со мной одного упавшего каменного великана.

Великан был обмотан тросами, и его безуспешно пытались приподнять три самосвала, поставленных под определенным углом.

Угол выверялся тщательно, и включать скорость водители должны были одновременно и плавно, потому что в противном случае великан мог приподняться, но накрениться и рухнуть.

А этот великан был упорным и вообще не хотел вставать. Великан лежал на спине, и его лицо, обдаваемое брызгами океана, выражало презрение к жалким усилиям людей.

— Если сильно дернуть, конечно, мы его поднимем, — сказал Гонсало. — Но тогда он снова упадет, и уже лицом вниз. Придется действовать методом камешков.

— Что это за метод? — спросил я.

— Это древний метод паскуанцев, когда здесь еще не было никакой техники. Под спину статуи они подкладывали плоские камешки — один за одним, и статуя поднималась. Это, конечно, во много раз медленнее, но зато безопаснее для статуи. Рывки обычно кончаются падением...

Гонсало усмехнулся и добавил:

— Так же и в истории. Горячие головы всегда рвутся поднять нацию, упавшую на спину, рывком. Но они забывают, что нация может рухнуть лицом вниз. В истории я тоже предпочитаю метод камешков.

1968

## ИЗ ПОЭМЫ "ФУКУ"

### Генералиссимус Франко

Над севильским кафедральным собором, где — по испанской версии — покоились кости адмирала, реял привязанный к шпилью огромный воздушный шар, на котором было написано: "Вива генералиссимус Франко — Колумб демократии!".

Над головами многотысячной толпы, встречавшей генералиссимуса, прибывшего в Севилью на открытие фиесты 1966 года, реяли обескуражившие меня лозунги: "Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся", "Прочь руки британских империалистов от исконной испан-

ской территории — Гибралтара”, и на ожидавшуюся мной антиправительственность демонстрации не было ни намека.

Генералиссимус был хитер и обладал особым искусством прикрывать антинародную сущность режима народными лозунгами. Генералиссимуса встречала толпа, состоявшая не из народа, а из псевдонарода — из государственных служащих, польсевших от одобрительного поглаживания государства по их головам за верноподданность, из лавочников и предпринимателей, субсидируемых национальным банком после проверки их лояльности, из так называемых простых, а иначе говоря — обманутых людей, столько лет убеждаемых пропагандой в том, что генералиссимус — их общий отец, и, наконец, из агентов в штатском с хриплыми глотками в профессиональных горловых мозолях от приветственных выкриков.

По улице, мелодично поцокивая подковами по старинным булыжникам, медленно двигалась кавалькада всадников — члены королевской семьи в национальных костюмах, аристократические амазонки в черных шляпах с белыми развевающимися перьями, знаменитые торерос, сверкающие позументами. Следом за ними на скорости километров пять в час полз ”мерседес” — не с пуленепробиваемыми стеклами, а совершенно открытый. Со всех сторон летели вовсе не пули, не бутылки с зажигательной смесью, а ветки сирени, орхидеи, гвоздики, розы. В ”мерседесе”, не возвышаясь над уровнем лобового стекла, стоял в осыпанном лепестками мундире плотненький человек с благодушным лицом провинциального удачливого лавочника и отечески помахивал короткой рукой с толстыми тяжелыми пальцами. Когда уставала правая рука, помахивала левая — и наоборот. Лицевые мускулы не утруждали себя заигрывающей с массами улыбкой, а довольствовались выражением благожелательной государственной озабоченности. Родители поднимали на руки детей, чтобы они могли увидеть ”отца нации”. У многих из глаз текли неподдельные слезы гражданского восторга. Прорвавшаяся сквозь полицейский кордон сеньора неопределенного возраста религиозно припала губами к жирному следу автомобильного протектора.

— Вива генералиссимо! Вива генералиссимо! — захлебываясь от счастья лицезрения, приветствовала толпа генералиссимуса Франко — по мнению тех, чьи рты были заткнуты тюремным или цензурным кляпом, убийцу Лорки, палача молодой Испанской республики, хитроумного паука, опутавшего страну цензурной паутиной, ловкого торговца пляжами, музеями, корридами, кастаньетами и сувенирными донкихотами. Но,

по мнению этой толпы, он прекратил братоубийственную гражданскую бойню и даже поставил примирительный монумент ее жертвам и с той, и с другой стороны. По мнению этой же толпы, он спас Испанию от участия во второй мировой войне, отделавшись лишь посылкой "Голубой дивизии" в Россию. Говорят, он сказал адмиралу Канарису:

— Пиренеи не любят, чтобы их переходила армия — даже с испанской стороны.

По мнению этой же толпы, он был добропорядочным хозяином, не допускаям ни стриптиза, ни мини-юбок, ни эротических фильмов, ни подрывных сочинений — словом, боролся против растленного западного влияния и поощрял кредитами частную инициативу. На просьбе министра информации и туризма Испании разрешить мне выступать со стихами в Мадриде Франко осмотрительно написал круглым школьным почерком: "Надо подумать". Поверх стояла резолюция министра внутренних дел: "Только через мой труп". Выступление не состоялось, но генералиссимуса как будто не в чем обвинить.

— Вива генералиссимо! Вива генералиссимо! — хором скандировала толпа, и от ее криков в кафедральном севильском соборе, наверное, вздрагивали кости Колумба, если, конечно, они действительно там находились.

### Разговор с Че Геварой

— Почему я стал революционером? — повторил команданте Че мой вопрос и исподлобья взглянул на меня, как бы проверяя — спрашиваю ли я из любопытства, или для меня это действительно необходимо. Я невольно отвел взгляд — мне стало вдруг страшно. Не за себя — за него. Он был из тех, "с обреченными глазами", как писал Блок.

Команданте круто повернулся на тяжелых подкованных солдатских ботинках, на которых, казалось, еще сохранилась пыль Сьерры-Маэстры, и подошел к окну. Большая траурная бабочка, как будто вздрагивающий клочок гаванской ночи, села на звездочку, поблескивающую на берете, заложенном под погон рубашки цвета "вердеоливо"\*.

— Я хотел стать медиком, но потом убедился, что одной медициной человечество не спасешь... — медленно сказал команданте, не оборачиваясь.

Потом резко обернулся, и я снова отвел взгляд от его глаз,

\* Зеленый, оливковый (исп.).

от которых исходил пронизывающий холод — уже неотсюда. Темные обводины недосыпания вокруг глаз команданте казались выжженными.

— Вы катаетесь на велосипеде? — спросил команданте.

Я поднял взгляд, ожидая увидеть улыбку, но его бледное лицо не улыбалось.

— Иногда стать революционером может помочь велосипед, — сказал команданте, опускаясь на стул и осторожно беря чашечку кофе узкими пальцами пианиста. — Подростком я задумал объехать мир на велосипеде. Однажды я забрался вместе с велосипедом в огромный грузовой самолет, летевший в Майами. Он вез лошадей на скачки. Я спрятал велосипед в сене и спрятался сам. Когда мы прилетели, то хозяева лошадей пришли в ярость. Они смертельно боялись, что мое присутствие отразится на нервной системе лошадей. Меня заперли в самолете, решив мне отомстить. Самолет раскалился от жары. Я задыхался. От жары и голода у меня начался бред... Хотите еще чашечку кофе? Я жевал сено, и меня рвало. Хозяева лошадей вернулись через сутки пьяные и, кажется, проигравшие. Один из них запустил в меня полупустой бутылкой кока-колы. Бутылка разбилась. В одном из осколков осталось немного жидкости. Я выпил ее и порезал себе губы. Во время обратного полета хозяева лошадей хлестали виски и дразнили меня сэндвичами. К счастью, они дали лошадям воду, и я пил из брезентового ведра вместе с лошадьми...

Разговор происходил в 1963 году, когда окаймленное бордочкой трагическое лицо команданте еще не штамповали на майках, с империалистической гибкостью учитывая антиимпериалистические вкусы левой молодежи. Команданте был рядом, пил кофе, говорил, постукивая пальцами по книге о партизанской войне в Китае, наверно не случайно находившейся на его столе. Но еще до Боливии он был живой легендой, а на живой легенде всегда есть отблеск смерти. Он сам ее искал. Согласно одной из легенд, команданте неожиданно для всех вылетел вместе с горсткой соратников во Вьетнам и предложил Хо Ши Мину сражаться на его стороне, но Хо Ши Мин вежливо отказался. Команданте продолжал искать смерть, продираясь, облепленный москитами, сквозь боливийскую сельву, и его предали те самые голодные, во имя которых он сражался, потому что по его пятам вместо обещанной им свободы шли каратели, убивая каждого, кто давал ему кров. И смерть вошла в деревенскую школу Ла Игеры, где он сидел за учительским столом, усталый и больной, и ошалевшим от предвкушаемых наград

армейским голосом гаркнула: "Встать!", а он только выругался, но и не подумал подняться. Говорят, что, когда в него всаживали пулю за пулей, он даже улыбался, ибо этого, может быть, и хотел. И его руки с пальцами пианиста отрубили от его мертвого тела и повезли на самолете в Ла-Пас для дактилоскопического опознания, а тело, разрубив на куски, раскидали по сельве, чтобы у него не было могилы, на которую приходили бы люди. Но если он улыбался умирая, то, может быть, потому, что думал: лишь своей смертью люди могут добиться того, чего не могут добиться своей жизнью. Христианства, может быть, не существовало, если бы Христос умер, получая персональную пенсию.

А сейчас, держа в своей, еще не отрубленной руке чашечку кофе и беспощадно глядя на меня еще не выколотыми глазами, команданте сказал:

— Голод — вот что делает людей революционерами. Или свой, или чужой. Но когда его чувствуют, как свой...

### Гитлер, или Осторожнее с бездарностями

Я стоял на скромном австрийском кладбище в местечке Леондинг над могилой, усаженной заботливыми розовыми геранями. В могильном камне с фотографиями не было бы ничего необычного, если бы не надписи "Алоиз Гитлер 1837 — 1903" и "Клара Гитлер 1852 — 1907". Один из гераниевых лепестков, сдутых ветром, на мгновение повис на застекленных мрачно-добродушных усах дородного таможенника, казалось, еще не просохших от многих тысяч кружек пива. Капля начинавшего накрапывать дождя уважительно ползла по сиденью добродетельной сухошекой фрау. В лицах родителей Гитлера я не нашел ничего крысиного. Но когда я вспоминал о том, что натворил на земле их сын, мне казалось, что под умиротворенной розовостью могильных гераней копошатся крысиные выводки.

Гитлер был мышью-полевкой, доросшей до крысы. Крысами не рождаются — ими становятся. Как же он стал крысой всемирного масштаба, загрызшей столько матерей и младенцев?

На фоне детского церковного хора в монастыре Ламбах мальчик Адольф поражает эмбриональной фюрерской позой — он стоит в заднем ряду выше всех, с подчеркнутой отдельностью, сложив руки на груди и устремив глаза в некую, невидимую всем остальным точку. Впрочем, и на других фотогра-

фиях он стоит выше всех, хотя был маленького роста. На цыпочки он привставал, что ли? Откуда такая ранняя мания величия?

Он был одним из шести детей. Его пережила лишь Паула, скончавшаяся в 1960 году. Густав прожил всего два года, Ида — два года, Отто — всего несколько месяцев, Эдмунд — шесть лет. Кто знает, может быть, когда крошка Адольф появился на свет, отец ворчливо говорил матери:

— Судя по всему, и этот долго не протянет...

Может быть, Адольф, подсознательно запомнивший эти разговоры, уверовал в свою исключительность, когда выжил?

Гитлер вырос сиротой в доме тетки, приютившей его. Может быть, его озлобил черствый хлеб сиротства? Правда, никаких сведений о том, что тетка била его или держала в черном теле, нет... По некоторым версиям, бабушка Гитлера по материнской линии была еврейкой, и в школе его дразнили "жидом". Не отсюда ли его патологический антисемитизм? Но нет ли в этой версии антисемитского привкуса?

Две несчастные любви — одна еще в школе к девочке Штефани, а потом к кузине Анжелике Раубаль, которую родственники и знакомые затравили своим ханжеством, доведя до самоубийства в 1931 году, после чего Гитлеру подложили Еву Браун... Есть примеры, когда несчастная любовь не озлобляет, а облагораживает... Правда, не в случае с Гитлером.

Но думаю, что разгадка его озлобленности в другом.

Гитлер был несостоявшимся художником и переживал свою непризнанность как оскорбительное унижение. Я видел его рисунки и думаю, что средние профессиональные способности у него были. Но опасно, если средние способности сочетаются с агрессивной манией величия. Гитлера дважды не приняли в Академию искусств в Вене — в 1907 и в 1908 годах. Тогда в Вене была большая еврейская община — в основном выходцы из Галиции, и, возможно, именно еврей-торговцы отвергали картины Гитлера или покупали за бесценок, не догадываясь, что тем самым готовят себе будущего палача.

Как бы то ни было, прежде чем Гитлер стал крысой, внутри него появилась крыса неудовлетворенного тщеславия, раздиравшая ему кишки.

Вероятно, именно из-за тщеславия Гитлер, всячески увиливавший от службы в австрийской армии, вступил добровольцем в 16-й баварский полк, ибо хотел доказать оружием то, чего не мог доказать кистью, — что он достоин славы.

В 1918 году под селом Ла Моцтань он попал под француз-

скую атаку отравляющим газом "желтый крест" и ослеп. Когда с его глаз сняли повязку и он снова увидел свет божий, он поклялся, что станет прославленным художником. Но в день тогдашней капитуляции Германии, возможно, от обуревавших его трагических чувств он снова ослеп, и когда прозрел, то на сей раз поклялся посвятить жизнь борьбе против жидов и красных, не понимавших его живописи.

Впрочем, он выполнил и первую клятву, став действительно самым прославленным художником смерти. Он расплескал кровавую краску по распоротому холсту земного шара, расставил скульптуры виселиц, воздвиг обелиски руин и впервые, еще до американского скульптора Колдера, создал изысканные проволочные композиции. Он заставил себя признать как факт, он добился того, что о нем "заговорили".

Гитлер был мелким спекулянтом, выдвинутым крупными спекулянтами. Его личная болезненная гигантомания была им нужна, чтобы развернуть свои спекуляции до гигантских кровавых масштабов. Поэтому они за Гитлера и ухватились. Фашизм — это гигантомания бездарностей.

Осторожней с бездарностями — особенно если в их глазах вы видите опасно энергичные искорки.

По мрачному парадоксу в доме, где провел свое детство Гитлер, теперь живут кладбищенские могильщики.

### **Муссолини и его защитники**

Состарившийся, отяжелевший дуче, услышав шаги своей любимой, снял очки, и в его ввалившихся от бессонницы глазах заблестели скупые слезы, капнувшие перед съемкой из пипетки гримера. В объятия этого покинутого почти всеми, одинокого несчастного человека отрететированно бросилась не предавшая своего возлюбленного даже в момент крушения его великих идей Кларетта Петачини с такими же пипеточными слезами...

— Какой позор, — вырвалось у знаменитого итальянского режиссера, и все члены жюри Венецианского кинофестиваля 1984 года наполнили возмущенными возгласами маленький просмотровый зал. — Неофашистская парфюмерия... Манипуляция историей... Плевок в лицо фестивалю...

Яростно рыча и размахивая трубкой, из которой, как из маленького вулкана, летел пепел, западногерманский писатель Гюнтер Грасс по-буйволиному пригнул голову с прыгающими на носу очками и усами, шевелящимися от гнева:

— Резолюцион! Снять фильм с показа на фестивале. Если



бы это был немецкий профашистский фильм о Гитлере, я поступил бы точно так же.

Похожий на седоголового пиренейского орла, который столько лет, вцепившись кривыми когтями в мексиканские кактусы, горько глядел через океан на отобранную у него Испанию, Рафаэль Альберти сказал:

— Это не просто пахнет фашизмом. Это воняет им.

— Мое обоняние солидаризируется, — с мягкой твердостью сказал напоминающий провинциального учителя шведский актер.

— Шокинг, — с негодованием добропорядочной домохозяйки встряхнула кудельками американская сексуальная писательница Эрика Йонг.

— Это не просто дерьмо... Это опасное дерьмо, потому что его будут есть и плакать, — сказал я.

Глаза представителя администрации засуетились, задрезбужали, как две тревожные черные кнопки от звонков. Одна половина лица поехала куда-то вправо, другая — влево. Нос перемещался справа налево и наоборот.

— Моментито! Разделяю ваши чувства полностью, синьоры... Это плохой фильм... Это очень плохой фильм... Это хуже, чем плохой фильм... Это позор Италии... Но администрация в сложном положении. В первый раз у нас такое, может быть, самое прогрессивное в мире жюри. Но простите мне горькую шутку, синьоры, — прогресса можно добиваться только с помощью реакции. Нас немедленно обвинят в левом экстремизме, в "руке Москвы" — да, да, не улыбайтесь, синьор Евтушенко! На следующий год нашу левую администрацию разгонят, и в чьих руках окажется фестиваль? В руках таких людей, которые делали "Кларетту".

— Значит, нельзя голосовать против фашизма, потому что тем самым мы поможем фашизму? Знакомая теория, — наливаясь кровью, засопел Грасс с упорством буйвола, глядя поверх сползших на кончик носа очков.

— К сожалению, именно так, — всплеснул руками представитель администрации. — Да, да, синьоры, это стыдно, но так. — И он даже зарозовел от гражданского стыда, как вареный осьминог.

Знаменитый итальянский режиссер в неподкупном ореоле седых волос дискомфортно заерзал шеей, как при приступе остеохондроза.

— Если мы запретим этот фильм, то нас могут упрекнуть,

что мы сами пользуемся фашистскими методами, — сказал он, опуская глаза.

— Хотя это не меняет моего мнения о фильме, я вообще против любой цензуры, — с достоинством поддержала его Эрика Йонг.

— Но это же не запрет проката фильма, а лишь снятие его с фестиваля, за который мы все отвечаем, — взорвался Грасс, роняя очки с носа в пепельницу.

— В самом слове "снять" есть нечто тоталитарное, — ласково сказал один из членов жюри, покрывая сложными геометрическими узорами лист бумаги. — В Италии не любят таких слов, как "запретить" или "снять".

— Фильм настолько бездарен, что он вызовет лишь антифашистскую реакцию зрителей, — добавил другой член жюри.

За снятие фильма с фестиваля голосовали только трое иностранцев, исключая Эрику Йонг.

Представитель администрации облегченно вздохнул, поняв, что его зарплата за прогрессивную деятельность спасена — по крайней мере до следующего фестиваля.

Но Грасс не потерял своей буйволиности.

— Резолюцион! — прохрипел он. — В таком случае мы обязаны хотя бы выразить наше общее отношение к фильму протестом. Я напишу проект.

— Я тоже напишу, — сказал я, предчувствуя, что Грасс напишет нечто неподписуемое. Так оно и произошло.

— Вы слишком подчеркиваете, что фильм "профашистский", а это уже политическое обвинение. Искусство должно стоять выше политики... В Италии нет ни фашизма, ни профашистских настроений. Отдельные группочки нетипичны... (Ого, давненько я не слышал даже от самых наших суровых критиков этого слова "нетипично"! В Италии никогда не было фашизма в том смысле, как у вас, в Германии, синьор Грасс, — у нас, например, не было ни антисемитизма, ни газовых камер... Муссолини был всего-навсего опереточной фигурой — стоит ли принимать его всерьез... — посыпалось со всех сторон на Грасса от большинства членов нашего самого прогрессивного в мире жюри.

За мой, менее жесткий проект резолюции схватились, как мне сначала показалось, даже восторженно. Но началась коллективная правка — и это была одна из самых страшных правок за всю мою тридцатипятилетнюю литературную жизнь.

Резолюция читалась справа налево и слева направо, повторяя движение лицевых мускулов представителя администра-

ции, а также сверху вниз и снизу вверх. Взвешивалось и мусолилось каждое слово, каждая запятая. Сначала я был в отчаянии, но постепенно вошел во вкус. С любопытством я ожидал, чем все это кончится, беспрестанно меняя, переставляя, вычеркивая в соответствии со всеми, часто взаимоисключающими замечаниями.

Окончательный текст резолюции, в котором почти не осталось ни одного моего слова, был изрядно краток, как персидская стихотворная миниатюра: "Мы, члены жюри Венецианского кинофестиваля, стоя на принципах свободы искусства, включающей неподцензурность, единодушно выражаем свой нравственный протест сентиментальной героизации фашизма в фильме "Кларетта", хотя мы и не запрещаем его показ на фестивале".

Я зачитал этот проект, созданный, так сказать, всем творческим коллективом, но воцарилась мертвая тишина, исключая буйволиное мычание Грасса, недовольного резолюцией как слишком мягкой.

И вдруг я понял, что резолюция и в этом виде не будет подписана.

— А нужен ли вообще коллективный протест? — наконец прервал тишину знаменитый итальянский режиссер, с легким стоном массируя себе шейные позвонки, — каждый может высказать прессе свое мнение отдельно... В коллективных протестах всегда есть нечто стадное... Я против нивелировки индивидуальностей... Кроме того, я уверен, что нашим протестом мы создадим только рекламу этому фильму, которого, может быть, никто и не заметил бы...

— Зачем помогать реакции? — опять всплеснул руками, как щупальцами, представитель администрации.

Я любил этого знаменитого итальянского режиссера — особенно мне нравилось, как в его фильме под мятежным презрительным взглядом девушки взлетали на воздух отели и небоскребы, взорванные этим взглядом, и реяла цветная рухлядь, вывалившаяся из шкафов, и летали мороженые куры в целлофановых саванах, наконец-то взмывшие в небо из холодильников.

Но он сам научил меня взрывать взглядом, и я взорвал эту комнату, и закружились обломки стола бессмысленных заседаний, и бесчисленные листки черновиков так и неподписанной резолюции. И только щупальца представителя администрации, порхая отдельно от тела, все продолжали увещевающе всплескивать и всплескивать.

— Так вот вы какие — левые интеллектуалы, защитники свободы слова, — не выдержал я именно потому, что любил этого режиссера. — Вы охотно подписываете любые письма в защиту права протеста в России, потому что это вам ничего не стоит, а сами боитесь подписать протест против собственной мафии... А я-то, дурак, старался, переписывал.

Лицо знаменитого итальянского режиссера искажилось, задержалось, и вдруг я заметил, как он стареет на глазах с каждым словом, мучительно выбрасываемым из себя.

— Вы, иностранцы, завтра уедете отсюда, а нам здесь жить, — закричал он, заикаясь и держась уже обеими руками за шейные позвонки. — Вы не понимаете, что такое мафия... Они переломили кости несчастному "папараццо", который тайком пробрался на съемки... Он еле выжил... А я еще хочу сделать хотя бы пару фильмов, прежде чем меня найдут в каком-нибудь темном переулке с черепом, проломанным кастетом... Теперь вам все ясно?

Теперь мне стало ясно все.

Резолюция не была подписана.

Придя на просмотр "Детского сада" для журналистов и как будто подталкиваемый в спину детскими ручонками тех сибирских мальчишек, которые, встав на деревянные подставки у станков, делали во время войны снаряды, я опять не выдержал и, едва включился свет, выкричал все, что я думаю о фильме "Кларетта", о том, что такое фашизм. Я был как в тумане и не слышал собственного голоса, а только хриплые, сорванные голоса паровозов сорок первого года, трубившие изнутри меня.

А потом я шел по вымершим ночным венецианским улицам, и лицо Клаудии Кардинале усмехалось надо мной с бесчисленных реклам фильма "Кларетта", который должны были показывать завтра.

Парень в шлеме мотоциклиста, поставив на тротуаре свой "Харлей", прижимал к бетонной стенке девушку в таком же шлеме. Девушка не слишком сопротивлялась, и при поцелуях слышалось постукивание шлема о шлем. Когда они снова сели на мотоцикл, я увидел на белой майке девушки свастику, нечаянно отпечатавшуюся на спине, прижатой парнем к бетонной стенке. "Харлей" зарычал и умчался по направлению к "дикому" пляжу, унося свастику, по-паучьи впившуюся в девичий позвоночник. Я подошел к бетонной стене и потрогал пальцем кончик свастики. Свастика была свежая.

## По старому надлому

В 1972 году в городе Сент-Пол, штат Миннесота, я читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге, с которого непредусмотрительно были сняты металлические стойки и канаты. Внезапно я увидел, что к рингу бегут молодые люди — человек десять. Я подумал, что они хотят поздравить меня, пожать мне руку, и шагнул к краю ринга. Лишь в последний момент я заметил, что лица у них вовсе не поздравительные, а жесткие, деловые и в руках нет никаких цветов. По залу пронеслось многочисленное "а-ах!", ибо зал видел то, чего не видел я, — еще несколько молодых людей, вскочивших на ринг сзади и набегавших на меня со спины. Резкий толчок в спину швырнул меня вниз, прямо под ноги подошедшим "поздравителям". Все было сработано синхронно. Меня, лежащего, начали молниеносно и четко бить ногами. Единственное, что мне запомнилось, — это ритмично опускавшаяся на мои ребра, как молот, казавшаяся в тот миг гигантской рубчатая подошва альпинистского ботинка с прилипшей к ней розовой оберткой от клубничной жвачки. И еще: сквозь мелькание бьющих меня под дых ног я увидел лихорадочные фотовспышки и молоденькую девушку-фоторепортера, которая, припав на колено, снимала мое избиение так же деловито, как меня били. Мой друг и переводчик Альберт Тодд бросился ко мне, прикрывая меня всем телом. Актер Барри Бойс схватил стойку от микрофона и начал орудовать ею, как палицей, случайно выбив зуб ни в чем не повинному полицейскому. Опомнившиеся зрители бросились на нападающих, и, схваченные, поднятые их руками, те судорожно продолжали колотить ногами по воздуху, как будто старались меня добить. Задержанные оказались родившимися в США и Канаде детьми бандеровцев, сотрудничавших с Гитлером, как будто фашизм, не дотянувшийся во время войны до станции Зима, пытался достать меня в Америке. Шатаясь, я поднялся на ринг и читал еще примерно час. Боли, как ни странно, я не чувствовал. На вечеринке после концерта ко мне подошла та самая молоденькая девушка-фоторепортер. Ее точеная лебединая шея была обвита, как змеями, ремнями "Никона" и "Хассенблата".

— Завтра мои снимки увидит вся Америка... — утешающе и одновременно гордо сказала она.

Возможно, как профессионалка она была и права, но мне почему-то не захотелось с ней разговаривать. Профессиональный инстинкт оказался в ней сильней человеческого инстинкта.

та — помочь. И вдруг я ощутил острую боль в нижнем ребре, такую, что меня всего скрючило.

— Перелома нет... — сказал доктор, рассматривая срочно сделанный в ближайшем госпитале снимок. — Есть надлом... Мне кажется, они угодили по старому надлому... Вы никогда не попадали в автомобильную аварию или в какую-нибудь другую переделку?

И вдруг я вспомнил. Вместо рубчатой подошвы альпинистского ботинка с прилипшей к нему розовой оберткой от клубничной жвачки я увидел над собой также вздымавшийся и опускавшийся на мои ребра каблук спекулянтского сапога с поблескивавшим полумесяцем стальной подковки, когда меня били на базаре сорок первого года. Я рассказал эту историю доктору и вдруг заметил в его несентиментальных глазах что-то, похожее на слезы.

— К сожалению, в Америке мы плохо знаем, что ваш народ и ваши дети вынесли во время войны... — сказал доктор. — Но то, что вы рассказали, я увидел как в фильме... Почему бы вам не поставить фильм о вашем детстве?

Так во мне начался фильм "Детский сад" — от удара по старому надлому.

С моего первого надлома по ребру я больше всего ненавижу фашистов и спекулянтов.

### **Пабло Неруда, или Двуликость как недооценка**

— Какие дураки... — усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты "Меркурио", где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью. — Они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо не похоже на их лица... И слава богу, что не похоже...

Стояла редкая для Чили снежная зима 1972-го, и над домом Пабло Неруды, похожим на корабль, с криками кружились чайки, перемешанные с тревожным предупреждающим снегом...

### **Рукопожатие Пиночета**

Рука генерала Пиночета не показалась мне сильной, когда я пожал ее, — а скорее бескостной, бескровной, бесхарактерной. Единственно, что неприятно запомнилось, — это холодная влажнинка ладони. В моей пожелтевшей записной книжке 1968 года после званой вечеринки в Сантьяго, устроенной одним из

руководителей авиакомпании "Лан-Чили", именно так и зафиксировано в кратких характеристиках гостей: "Ген. Пиночет. Провинц. Рука холодн., влажн.". Мы о чем-то с ним, кажется, говорили, держа бокалы с одним из самых прекрасных вин в мире — "Макулем". Если бы я мог предугадать, кем он станет, я бы, видимо, был памятьливей. Второй раз я его видел в 1972-м на трибуне перед Ла Монедой, когда он стоял за спиной президента Альенде, слишком подчеркнуто говорившего о верности чилийских генералов, как будто он сам старался себя в этом убедить. Глаза Пиночета были прикрыты черными зеркальными очками от бивших в лицо прожекторов.

Третий раз я увидел Пиночета весной 1984-го, когда транзитом летел в Буэнос-Айрес через Сантьяго.

Генерал самодовольно, хотя несколько напряженно, улыбался мне с огромного портрета в аэропорту, как бы говоря: "А вы-то меня считали провинциалом". Под портретом Пиночета был газетный киоск, где не продавалось ни одной чилийской газеты. Когда я спросил продавщицу — почему, она оглянулась и доверительно шепнула:

— Да в них почти нет текста... Сплошные белые полосы — цензура вымарала... Даже в "Меркурио"... Поэтому и не продаем...

А рядом, в сувенирном магазинчике, я, вздрогнув, увидел дешевенькую ширпотребную чеканку с профилем Пабло Неруды.

Им стали торговать те, кто его убил.

## Бункер Сомосы

Империализм — это производство вулканов.

Я был в бункере, где прятался Сомоса, когда раскаленная лава революции подступила к Манагуа.

Бункер, к моему удивлению, оказался вовсе не подземным. Внутри серого казарменного здания скрывалось несколько комнат — кабинет, столовая, спальня, ванная и кухня. Был даже крошечный садик японского типа.

Это все почему-то и называлось бункером.

— Потрогайте, — предложил мне, улыбаясь, сопровождавший меня капитан. Я потрогал одно растение, другое — все они были из пластика. Антинародная диктатура и есть пластиковый сад: сколько бы ни восторгались придворные подхалимы плодами диктатуры, их нельзя ни поесть, ни понюхать.

На кожаном кресле Сомосы осталась пулевая дырка — это

выстрелил сандинистский боец — выстрелил от ярости, не найдя тирана в его логове. Мне рассказали, что в ночь захвата бункера солдаты спали здесь, не снимая ботинок, — кто в алькове Сомосы, кто на диване, кто на полу. В ванную с искусственными волнами выстроилась очередь. А какая-то бездомная женщина с ребенком прикорнула прямо в кресле Сомосы, и ребенок прилежно расковырял пулевую дырку, выколупывая набивку пальчиком.

Меня поразило то, что в бункере не было ни одной книги.

— Он не читал даже газет, потому что заранее знал все, что в них будет написано... — презрительно сказал капитан.

### Женщина-полицейский

После падения военной диктатуры в Аргентине на Международную книжную ярмарку 1984 года в Буэнос-Айресе выплеснулось буквально все, что было под запретом. Впервые за столькие годы на стендах стояла бывшая нелегальная литература — Маркс, Энгельс, Ленин, Хосе Марти, Че Гевара, Фидель Кастро. Лавина свободы несла с собой что угодно. Кропоткин и Бакунин соседствовали с иллюстрированной историей борделей, Мао Цзэдун — с "Камасутрой", а Троцкий и Бухарин — со шведским бестселлером "Исповедь лесбиянки". Итальянского писателя Итало Кальвино аргентинцы чуть не разорвали от восторга, когда он вскользь бросил на читательской конференции банальное в Европе мазохистское выражение левых интеллектуалов: "Мы все изолгались. Пора кончать". Не в состоянии осмыслить ни бросаемых ему под ноги цветов, ни ярко-красных следов помады, припечатываемых ему на щеки губами рыдающих аргентинок, Кальвино растерянно хлопал глазами. Он просто, наверно, забыл или не знал, что еще год тому назад, когда на улицах Буэнос-Айреса собиралось больше чем два-три человека, их арестовывали, и часто они исчезали без суда и следствия, расстрелянные и задушенные где-нибудь в застенках и на пустырях или утопленные в море. Во многих случаях их трупы бросали в строительные котлованы и вмуровывали в бетонные фундаменты новых отелей и банков. Так появилось в Аргентине страшное слово "*desaparecidos*" — исчезнувшие.

На первый бесцензурный политический фильм, сделанный в Аргентине по сценарию уругвайца-эмигранта Марио Бенедетти "*El beso del fuego*" — "Огненный поцелуй", стояли тысячные очереди. При фразе героя — морально разложившегося, однако



испытывающего муки совести аргентинского Клима Самгина что-то вроде: "Все наши газеты годятся лишь на подтирку", — зрители аплодировали и топали ногами.

Залы книжной ярмарки были затоплены народом, приходившим покупать бывшие запрещенные книги с огромными сумками и даже с дерюжными мешками. Чтобы перекусить в буфете, надо было стоять в очереди часа полтора. Среди этого пиршества мысли я порядком изголодался. Когда перед самым моим носом, чуть не задев его, в чьей-то руке проплыл бумажный подносик с сэндвичем, внутри которого покоилась дымящаяся сосиска, сбрызнутая золотой струей горчицы, я невольно облизнулся. Неожиданно рука, в которой был поднос, сняла с него сэндвич и с поразившей меня непосредственностью ткнула мне прямо в рот, чтобы я откуси.1.

Именно — не разломила и ткнула.

— Только половину, компаньеро... — на всякий случай сказал басистый, почти мужской, но все-таки женский голос.

Жадно прожевывая сэндвич, я увидел перед собой высоченную, почти одного роста со мной черноволосую, с редкими сединками женщину, у которой за могучими плечами висел рюкзак. Внутри рюкзака, набитого под завязку, прорисовывались острые ребра книг. Женщина потрясла меня своей почти сибирской, военного образца грубоватой сердобольностью к изголодавшемуся человеку.

Мы познакомились. Ее звали Магдалена. Она была сельской учительницей, приехавшей из далекой горной провинции покупать книги для школьной библиотеки.

Я пригласил ее в литературное кафе и по дороге украдкой ее разглядывал. Магдалене было лет тридцать пять. Она была по-своему красива, хотя все в ней было прямолинейно, грубовато, укрупненно — слова, жесты, руки, ноги. Да, о ногах. Без чулок, исцарапанные, видимо, горными колючками, одетые в пыльные альпинистские ботинки, они были загорелы, стройны и необозримы — правда, излишне основательны, как дорические колонны. Но особенно прекрасны были ее коленки, независимо торчавшие из-под холщовой юбки с крестьянской вышивкой, — крепкие, мощные, как лбы двух маленьких слонят. Она уловила мой взгляд и усмехнулась — не зло, но не одобрительно.

Стены литературного кафе были завешаны, как легализованными прокламациями, стихами бесследно исчезнувших во время диктатуры поэтов. Магдалена, почти не притронувшись к вину, встала, оставив рюкзак с книгами на полу, и медленно

пошла вдоль стен, читая и беззвучно шевеля губами. Потом она села и залпом хлопнула целый бокал. Она вообще не стеснялась, и в этом была ее прелесть.

— Я згала многих из этих поэтов лично... — сказала Магдалена.

— Вы ходили на их выступления? — спросил я.

— Нет, я их арестовывала... — ответила она.

## Сикейрос, или Дорисованное сердце

Сикейрос писал мой портрет.

Между нами на забрызганном красками табурете стояла бутылка вина, к горлышку которой припадали то он, то я, потому что мы оба измучились.

Холст был повернут ко мне обратной стороной, и что на нем происходило, я не видел.

У Сикейроса было лицо Мефистофеля.

Через два часа, как мы и договорились, Сикейрос сунул кисть в уже пустую бутылку и резко повернул ко мне холст лицевой стороной.

— Ну как? — спросил он торжествующе.

Я подавленно молчал, глядя на нечто сплюснутое, твердокаменно-бездушное.

Но что я мог сказать человеку, который воевал сначала против Панчо Вильи, потом вместе с ним и участвовал в покушении на Троцкого? Наши масштабы были несоизмеримы.

Однако я все-таки застенчиво пролепетал:

— Мне кажется, чего-то не хватает...

— Чего? — властно спросил Сикейрос, как будто его грудь снова перекрестили пулеметные ленты.

— Сердца... — выдавил я.

Сикейрос не повел и бровью. Дала себя знать революционная закалка.

— Сделаем, — сказал он голосом человека, готового на экспроприацию банка.

Он вынул кисть из бутылки, обмакнул в ярко-красную краску и молниеносно вывел у меня на груди сердце, похожее на червовый туз.

Затем он подмигнул мне и приписал этой же краской в углу портрета:

”Одно из тысячи лиц Евтушенко. Потом нарисую остальные 999 лиц, которых не хватает”. И поставил дату и подпись.

Стараясь не глядеть на портрет, я перевел разговор на другую тему:

— У Асеева были когда-то такие строки о Маяковском: "Только ходят слабые версии, слухов пыль дорожную крутя, что осталось в дальней-дальней Мексике от него затеряно дитя". Вы ведь встречались с Маяковским, когда он приезжал в Мексику... Это правда, что у Маяковского есть сын?

Сикейрос засмеялся:

— Не трать время на долгие поиски... Завтра утром, когда будешь бриться, взгляни в зеркало.

1963 — 1985

# РУССКИЕ ГЕНИИ

---

# З

...И гений чертит множество кругов,  
бесмысленных кругов среди сыр-бора,  
но из угрюмых глыб своих грехов,  
сдирая ногти,  
создает соборы!



## КОРОТКИЕ ЭССЕ

### ПУШКИН

Пушкин — итог усвоения Россией всей мировой культуры.

Пушкин — родина не только русской поэзии, но и русской души. Недаром Достоевский сказал: "Пушкин не угадывал, как надо любить народ, не приготавлился, не учился. Он вдруг оказался самим народом". Если бы у меня была возможность воскресить хотя бы одного человека, я воскресил бы Пушкина...

### ЛЕРМОНТОВ

Лермонтов родился не от женщины, а от пули, посланной в сердце Пушкина.

### ТЮТЧЕВ

Был наделен гениальностью поэтической, но вот шаловливой человеческой гениальности, по сравнению с Пушкиным, ему не хватало. Тютчев слишком часто был затянут в чопорный сюртук, и представить его, как Пушкина, в красной рубахе нараспашку, вместе с цыганами и медведями на кишиневском базаре, вообще невозможно... Но, собственно, почему он должен был быть, как Пушкин?

### БАРАТЫНСКИЙ

Остаться в поэзии самим собой рядом с такой неповторимой личностью, как Пушкин, тоже неповторимо. Баратынский зажег свой собственный, а не заемный фонарь, спустился внутрь своей души, огляделся и сказал как бы никому и в то же время всем: "...да тут и человек..."

### ДОСТОЕВСКИЙ

Были предположения, что пронзительное видение Достоевским темных закоулков и пропастей человеческой психологии объяснялось его эпилептическими припадками, которые, как молнии в грозу, на мгновение освещали ему потайные уголки сознания и подсознания. А может быть, было наоборот — его пронзительное видение открывало ему иногда такие ужасные тайны, что это доводило его до припадков?

### ГОГОЛЬ

Когда пушкинская пиковая дама сама играла в карты, то у карт в ее морщинистых руках уже были лица не валетов, не королей, а всех будующих гоголевских героев.

## САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Как благосклонна была судьба к словесности российской, заслав в стан бюрократии такого зоркого, хитроумного лазутчика, которому удалось не только написать свои прелестнейшие донесения, да еще и погубернаторствовать!

## ЧЕХОВ

Чехов был антисуперменистом. Выше так называемых "сильных личностей", "сильных страстей" он ставил людей слабых, обделенных страстями и только тоскующих по ним. Называть прозу Чехова "защитой маленького человека" неточно. По Чехову, маленьких людей нет, потому что нет маленьких страданий.

## НЕКРАСОВ

Не случайно на похоронах Некрасова после речи Достоевского студенты, среди которых был молодой Плеханов, кричали: "Выше, выше Пушкина!" Некрасов, конечно, не был выше Пушкина поэтически, но был выше Пушкина по демократизму. Некрасов был первым, кто через свой голос дал русскому крестьянину право голоса. Некрасов — основатель понятия "русская интеллигенция".

## ГОРЬКИЙ

Цыганок, когда пороли Алешу, незаметно подставлял под розги свою руку, чтобы облегчить удары, отчего вся рука вспухала. Горький столько раз подставлял не то что руку, а душу свою, когда били русскую интеллигенцию, так что вся душа ра<sup>с</sup>пухла. Сейчас модно обвинять Горького и за социалистический реализм, и даже за сталинские лагеря. Горький сам в последние годы жизни был заключенным. Ни купленным, ни слепым он не был. Когда он посетил соловецкие лагеря, то приодетые, приумытые к визиту Горького заключенные перевертывали газеты кверху ногами, чтобы Горький догадался о наведенном "марафете". Горький взял у одного из них газету и перевернул ее снова, показав, что он понял их знак. У меня есть догадка, что Горький просил у Сталина отпустить его снова на Капри, чтобы поведать миру страшную правду о лагерях, и именно поэтому ездил на Соловки и на Беломорканал, оплачивая своим вынужденным молчанием и приветствиями возможность вырваться из-за позолоченной персонально для него ключей проволоки.

## МАНДЕЛЬШТАМ

Я часто спрашивал себя — почему именно Мандельштам, совершенно не политический поэт, стал первым, написавшим стихотворение о Сталине, подобное персту, указующему на убийцу, прячущегося под добродушной улыбкой отца нации? Потому, может быть, что Мандельштам был только поэтом и никем больше, то есть незащищенным не только от внешнего мира, но и от собственных неудержимых, самых рискованных порывов. Мандельштам не был застрахован ни надменным аристократизмом Ахматовой, ни кокетливой аристократичностью Пастернака. Пастернак играл в ребенка. Мандельштам был им. Он просто не смог удержаться от ребяческого восклицания: "А король-то голый!" — хотя так же по-ребячески надеялся, что за это его все-таки не убьют, простят, как за шалость. Слывший по характеру слабым, Мандельштам перед лицом истории неожиданно оказался самым сильным из всех своих поэтических современников именно благодаря своей детской непосредственности, непоследовательности.

## Алексей ТОЛСТОЙ

Гениальное перо. Одного не хватало — мук совести. А без мук совести в русские окончательные классики еще никто не попадал.

## ИЛЬФ И ПЕТРОВ

Миллион для Бендера — это его Дульсинея Тобосская. Бендер — это Дон Кихот, в борьбе с советской действительностью превратившийся в мошенника.

## БУЛГАКОВ

Деньги, разбрасываемые со сцены Воландом, которые затем превратились в ничего не значащие бумажки, — это и реявшие когда-то в воздухе прокламации, и развевавшиеся лозунги, и резолюции стольких собраний, и трудовые обязательства "догнать и перегнать". Исторический шухер, переходящий в пожары, служит прекрасной дымовой завесой для разнообразных Арчибальдов Арчибальдовичей, выносящих вовремя из любого пламени свой балычок, прилежно завернутый в восковку. История должна быть осторожней с постным маслом, чтобы снова не пролить его на рельсы.



## ЗЩЕНКО

История литературы до Зоценко еще не знала такого нежнейшего издевательства над людьми. Какие любовные эти пасквили!

## ГРОССМАН

”Жизнь и судьба” — это ”Война и мир” второй мировой войны.

## СОЛЖЕНИЦЫН

Кто прочел все 90 томов сочинений Толстого? Шкловский по секрету мне сказал, что он их не осилил. Но Толстой для нас — прежде всего не его теоретизирования, а ”Война и мир”, ”Анна Каренина”, ”Смерть Ивана Ильича”, ”Холстомер”, ”Хаджи Мурат”... Наши потомки вряд ли будут читать все тома сочинений Солженицына, вникать во все нюансы его небезсомненных теорий и прижизненной полемики вокруг него. Но если в будущем не будет ничего подобного сталинской тирании и никто не посмеет швырять новых Иванов Денисовичей в новые лагеря, то потомки должны быть благодарны за это Солженицыну, ибо это именно он создал первый рукописный мемориал жертвам сталинизма.

## ВОССТАНИЕ АННЫ

### Заметки о романе Толстого ”Анна Каренина”

**В** 1966 году я был гостем в нью-йоркской квартире Жаклин Кеннеди. Эта женщина, всемирно прославленная во время президентства ее мужа, вовсе не поразила меня ни красотой, ни умом, но зато тронула простотой, естественностью, каким-то чудом спасенными ею в обстановке выслеживания репортерами. В туалетной комнате Жаклин, как будто у какой-то скромной секретарши, на отопительной батарее сушились чулки.

— Я никогда не мог представить, что вы сами стираете чулки... — честно признался я.

Она улыбнулась:

— Ну а что же, по-вашему, я их должна выбрасывать в мусоропровод? Каждая уважающая себя женщина должна сама стирать свои чулки...

Я ничего не спрашивал у нее об убийстве ее мужа. И вдруг она сама неожиданно заговорила об этом:

— Знаете, в тот момент, в Далласе, я вдруг почувствовала себя, как Анна Каренина перед поездом...

Гигантская социальная дистанция между бывшей "первой леди" США и чилийской проституткой в грязеньком дешевеньком публичном доме, недалеко от Огненной Земли, в гордке Пунта Аренас. В 1968 году туда меня затащил мой друг, чилийский Джек Лондон — Франсиско Колоане. Франсиско когда-то в молодости, в бытность моряком, был влюблен в одну девушку из этого дома, хотел жениться на ней, но она умерла от туберкулеза. Проститутки в складчину поставили над ее могилкой мраморного ангела, и Франсиско в каждый свой приезд в Патагонию навещал кладбище, а заодно и публичный дом. Так было и на сей раз. Проститутки встретили его не как клиента, а как родственника. Выпили местный напиток "Кола моно" (хвост обезьяны), представляющий чудовищную смесь молока и рома, поплакали, повспоминали... В комнатке одной из проституток над ее кроватью висела фотография, выданная из книги. Я не поверил глазам своим — это был Лев Толстой, босой, в белой рубахе, заложивший руки за пояс.

— Кто это? — спросил я.

— Отец, — кратко ответила женщина.

— Но мне кажется, что это Лев Толстой, — стараясь быть как можно тактичней, настаивал я.

— Ну и что. А почему он не может быть моим отцом? — резко оборвала разговор женщина.

Эта женщина не читала "Анны Карениной". Но она прочла по-испански другой роман Толстого — "Воскресение", подаренный ей каким-то моряком, и в истории Катюши Масловой увидела себя. Катюша Маслова — это, в сущности, та же Анна Каренина, только в других социальных условиях, а Нехлюдов — кающийся Вронский. Вот какую дочь Толстого я нашел в Патагонии, такой далекой от России.

Великое искусство — всегда великое отцовство. Толстой сам говорил об этом в одном из своих писем: "...не говорите мне про нее (про Анну. — *Е.Е.*) дурного, или, если хотите, то с *menagement* (осторожностью. — *Е.Е.*) — она все-таки усыновлена". Но, усыновляя Анну, он усыновлял множество женщин не только настоящего, но и будущего.

В 1872 году Толстой был потрясен самоубийством Анны Пироговой, которая из-за несчастной любви бросилась под по-

езд недалеко от Ясной Поляны. Толстой видел изуродованное колесами тело этой женщины, и, видимо, его мучительный опыт был началом усыновления всех других подобных трагедий. Мучительность Толстого взяться за эту тему подчеркивается всяческими стараниями эту мучительность скрыть от ближних: "Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием поскорее опростать себе место — досуг для других занятий..." (из письма Фету). "Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил А. Каренину! Невыносимо противно" (из письма Страхову). Но вдруг интонация совершенно меняется, хотя внешне и носит самоиздевательский характер: "Что бы вам, вместо того, чтобы читать "Анну Каренину", кончить ее и избавить меня от этого Дамоклова меча" (из письма ему же). Своими могучими руками Толстой сгибает этот нависающий над ним Дамоклов меч, и вдруг меч принимает форму железнодорожного колеса.

Один из современников Толстого — Русанов — вспоминает свой разговор с писателем, когда спросил его: "Говорят, что вы очень жестоко поступили с Анной Карениной, заставив ее умереть под вагоном..." — Толстой ответил: "Это мнение напоминает мне случай, бывший с Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из своих приятелей (о своей героине Татьяне. — *Е.Е.*): "...Этого я никак не ожидал от нее..." То же самое и я могу сказать про Анну Каренину". Но это, пожалуй, было только отшучиванием от нескромного вопроса. Анна Каренина появляется в романе вместе с поездом и под поездом гибнет. Возникающая в самом начале музыкальная тревожная тема колес не могла быть случайна в самом начале — она инстинктивно нацеливалась на реквиемное развитие в конце. Лучше всех исследователей об этом сказал Шкловский: "Анна Каренина входит в роман как бы через паровозное колесо, которое катится по старому рельсу, ничего не видя". Нож метафоры рассекает суть глубже, чем многие скрупулезные ковыряния научным скальпелем.

"Любовью, грязью или колесами она раздавлена — все больно", — сказал Блок, и эта метафора, не позволяющая примитизировать самоубийство однопричинностью, необыкновенно близка к триединству подлинной причины, где есть колеса, слезы и грязь.

Когда роман начал печататься главами в консервативном журнале "Русский вестник", монархистская критика поспешила с комплиментами, приветствуя Толстого за "аристократиче-

ский” и ”антинигилистический дух” (то есть, по тогдашней расшифровке — антиреволюционный). Однако после окончания романа тот же журнал выступил с отречением: ”Идея целого не выработалась... Текла широкая река, а в море не впала, и потерялась в песках...” Радикальная левая критика, оценив первоначальную похвалу правых как несмываемый жирный поцелуй реакции на щеке Толстого, назвала роман ”салонным художеством”. Даже великий сатирик Салтыков-Щедрин опубликовал в своем журнале насмешливую статью, где все содержание романа трактовалось как абсурдное.

Пастернак когда-то писал о Христе: ”Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста”. Причина непонимания романа Толстого многими современниками в том, что объятия этого романа были раскрыты для слишком многих и для всех сразу. Иван Иванычу, конечно, лестно, если захотят объять его лично. Но если одновременно с ним захотят объять и Петра Петровича, которого он, Иван Иваныч, ненавидит, ему станет обидно. Люди, которым не хватает силы духа для одиночества, сбиваются в группы, стаи, стада и не прощают тому, кто вне стадности.

Одинокого человека — Толстого понял только другой великий одинокий человек — Достоевский, который назвал ”Анну Каренину” совершенством. Но большинство человечества — это тоже одинокие люди. Именно поэтому раскинувший руки по концам креста Толстой принял в свои объятия ”слишком многих” — от проститутки в Патагонии до Жаклин Кеннеди. Великого художника от ремесленника отличает то, что его творчество — это письмо сразу всем.

Если Флобер говорил: ”Мадам Бовари — это я”, то Толстой то же самое мог бы сказать об Анне Карениной. Сибаритские черты части его жизни — в Стиве Облонском, его былой офицерский шарм — во Вронском, его полуйдеалистическое, полупрактическое правдоискательство — в Левине, но все-таки Толстой это не они, а Анна. Аристократ Толстой заболел мучительной болезнью вины перед всеми лишенными куска хлеба, куска счастья. Кутила, съевший не одну тысячу английских бифштексов, он стал убежденным вегетарианцем, заболев духовным голодом. Великосветская красавица Анна заболела голодом по любви. Глубоко религиозный Толстой стал антиклерикалистом, и его отлучили от церкви за его ”ереси”. Религиозная Анна, как он, разрывается от удушающего ее отвращения к религиозному лицемерию. Уже почти решившаяся на само-

убийство, она видит, как крестится ее сосед в поезде. "Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим", — с злобой взглянув на него, подумала Анна".

Толстой высоко ставил понятие "семья" как некую нравственную личную церковь, но разочаровался и в ней, ибо под декорациями так называемого "взаимного уважения" увидел гибель любви. Вспомним, что говорит по этому поводу Анна: "Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где была любовь". Отдавший дань светской столичной болтовне, Толстой бежал в Ясную Поляну в поисках "опрощения", но и там, среди своих близких, среди крестьян, увидел не простоту, а столь отвратительное ему усложнение жизни любовью. Именно так раздражают Анну Каренину перед самоубийством почти все лица, проходящие у нее перед глазами: "Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман..."

Слава Толстого превратилась в сплетни, изранившие его и всех его близких, включая Софью Андреевну. Слава Анны — красавицы и изменницы именитого мужа — тоже превратилась в сплетни, доходящие до прямых оскорблений. Бегство Толстого из Ясной Поляны было практически самоубийством. Его смерть произошла на станции Астапово под стук колес, раздавивших когда-то Анну. Оба эти самоубийства были восстанием смертью после неполучившегося восстания жизнью. Восстание Толстого началось, видимо, уже сразу после Крымской войны, которая переродила его. Восстание Анны началось с любви к Вронскому, тоже переродившей ее. Эта любовь была личной "крымской войной" Анны с "мнением света", с ее собственным, завидным в глазах многих положением, с ее обязательствами перед мужем, с ее любовью к сыну, которого у нее отняли.

Наконец, любовь к Вронскому превратилась в войну против самого Вронского. В нем Анна с ужасом увидела спрятанного под кавалерийским обаянием эгоистичного Каренина. Это вечная трагедия женской любви, ибо женщина отдает все своему любимому и ждет от него того же. Не в этом ли была трагедия Толстого, посвятившего себя всему человечеству и ждавшего, что человечество ответит ему тем же? Но человечество, так же как Вронский, оказалось слишком занятым и не смогло при жизни Толстого ответить ему той же любовью, ибо слава и любопытство еще не любовь. "Гений — тот поезд, на который все опаздывают", — горько сказала Марина Цветаева. Опять поезд, опять колеса. Но разве в эгоизме были виноваты только

Каренин, Вронский, Софья Андреевна, а не Анна, не Лев Толстой?

Любовный альтруизм женщины в жажде безраздельного обладания душой и телом возлюбленного тоже переходит в чувство собственности — то есть в эгоизм. Но так происходит и с великими художниками, когда альтруизм и самопожертвование переходят в эгоизм требования от всех других не меньшего самопожертвования. Жизнь Анны стала невыносимой. Но, сменив боль, растянутую во времени, на боль мгновенную, она оставила после своего самоубийства многолетнюю боль, вряд ли улучшив жизнь оставшихся. Жизнь Толстого в Ясной Поляне тоже стала невыносимой, но разве своим бегством, своей смертью он улучшил жизнь оставшихся, которые, конечно, мучили его, но которых он мучил и сам? Так неразрывно переплетаются судьбы Анны и Толстого, и, может быть, Толстой — более Анна Каренина, чем она сама.

Роман начинается фразой: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

Но что такое счастливая семья? Во множестве семей, на первый взгляд, счастливых, таятся драмы, как трещины в фундаментах домов с красивыми фасадами. Полное слияние двух характеров невозможно, и кто-то из двоих всегда старается подчинить себе другого. Любая семейная жизнь — это борьба, иногда переходящая в прямую войну. Неопределенность в отношениях напоминает войну "холодную". Толстой писал:

"Для того, чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны, и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято. Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых для обоих супругов, только потому, что нет ни полного раздора, ни полного согласия..."

Такие искусственные взаимоотношения предстали перед Анной в поезде, когда она наблюдала за одной парой: "Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов". Анна с ее характером, возможно, бросила бы Каренина, даже не встретив Вронского. Любовь к Вронскому была одним из проявлений ее ненависти к мужу, и если бы Вронского не существовало, Анна бы его выдумала. Инерция борьбы за самостоятельность, начатая войной с Карениным, переходит затем в войну с Вронским. Даже самоубийство Анны — это военная акция. Вот что думает

Анна о Вронском, почти доходя до ненависти, равной ненависти к Каренину: "Он имеет право уехать когда и куда захочет. Не только уехать, но и оставить меня. Он имеет все права, а я не имею никаких..." Тем самым Анна как бы обвиняет Вронского во лжи, не веря всем его заверениям в любви. Но ведь еще совсем недавно она обвиняла во лжи и Каренина: "Я знаю, что он, как рыба в воде, плавает во лжи и наслаждается этим. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения... Все лучше лжи и обмана!" Анна не хочет дать наслаждаться и Вронскому. Поезд становится для нее новым Вронским, с которым Анна изменяет ценой смерти старому Вронскому, ставшему для нее почти Карениным.

Возьмем другую пару из романа — как будто счастливую — Кити и Левин любят друг друга, но борьба между ними постоянная: то откровенное кокетство Кити с Васенькой Веселовским, то ее ревность к делам мужа, то животная ревность Левина к Кити. А ведь это — почти идеальная пара. Опять мы сталкиваемся с общественным альтруизмом Левина, превращающимся невольно в эгоизм по отношению к собственной жене, и видим материнский альтруизм Кити, превращающийся в эгоизм по отношению к Левину. Даже самая вроде бы счастливая семейная жизнь все время на грани катастрофы, по Толстому.

Как ни странно, но самой устойчивой при всех маленьких, но не скрываемых ни от кого катаклизмах выглядит пара — Стива и Долли. Их несложившаяся семейная жизнь и есть почти хрестоматийная сложившаяся семейная ситуация: трагедия в ее безвыходной водевильной неразрешимости. "Я должна была бросить мужа и начать жить сначала. Я могла бы любить и быть любимой по-настоящему. А теперь разве лучше?" Но все-таки Долли живет со Стивой, называя его "отвратительным, жалким и милым мужем". Стива по-своему любит Долли, но все-таки это скорее жалость, а не любовь. Стива — трус. Он боится малейших перемен в жизни, боится слез Долли, боится дележа не такого уж большого имущества, боится остаться беззащитным перед своими любовницами, от которых его защищает существование Долли, боится нарушения комфортабельного, хотя и несколько запутанного статус-кво.

Четвертая пара, предстающая в романе, — это опустившийся брат Левина Николай, живущий с бывшей проституткой Марьей Николаевной. Она превратилась в няньку-сиделку этого разрушенного алкоголем, неумеренными амбициями человека. Николай жалеет ее хотя бы за то, что только мировой судья называл ее на "вы". Марья Николаевна жалеет его за то, что

его болезненная гордость бездейственна и годится лишь для самодовольства. Невеселая пара, где жалость заменяет любовь. Да и жалость-то Николая какая-то безжалостная, ибо он измывается над бедной Марьей Николаевной, в ее неповинном рябом лице мстя всему миру, выплюнувшему его в канаву. Но истинные виновники зла, против которых так на словах ополчается Николай, далеко. Марья Николаевна рядом — вот и приходится ей терпеть от провинциального русского Савонаролы, для которого единственная общественная трибуна — это его дурно пахнущая кровать, с которой он и встать-то не может.

Есть еще в романе и другая пара, — соединенная, правда, не узами супружества, но узами совместного воспитания ребенка, — графиня Лидия Алексеевна, тайно влюбленная в Каренина, и сам Каренин, презирающий ее, но в ней нуждающийся и, может быть, именно из-за этого доходящий в презрении к ней до ненависти. "О женских своих друзьях, и о первейшем из них — о графине Лидии Алексеевне, Алексей Александрович не думал. Все женщины, просто, как женщины, были страшны и противны ему".

Да, печальную картину союзов мужчин и женщин нарисовал в своем романе Толстой, так тосковавший сам в своей личной жизни по союзу двух тел, двух душ.

Гений — это всегда принцесса на горошине, и семейная, иногда даже крошечная ссора в воображении гения может вырасти до мировой трагедии. Инстинктивно мне кажется, что в некоторых чертах Лидии Алексеевны, создаваемой его пером, Толстой с ужасом узнавал бывшую очаровательную Сонечку Берс, в которую был влюблен, а ныне свою жену Софью Андреевну; а в некоторых чертах Каренина — того Толстого, которого сам в себе так глубоко ненавидел. Не случайно, когда Толстой пишет о Каренине, порой его слова звучат как внутренняя исповедь:

"Он испытывал чувство, подобное тому, какое бы испытал человек, спокойно прошедший по мосту и вдруг увидевший, что этот мост разобран, и что там — пучина. Пучина — это была сама жизнь, мост — искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович".

Каренин любил пожаловаться на некие высшие сферы общества, называя эти сферы удобным словом "они". "Они не могут понять этого, они заняты только личными интересами". Но ведь сам Каренин для своих подчиненных был неотъемлемой частью этого понятия "они". Не спародировал ли себя самого Толстой в этих рассуждениях Каренина? При всем том,



что Толстой старался вклиниться в крестьянскую жизнь, ходить с плугом, крестьяне не могли счесть его за своего, и он для них был тоже "они".

Две нравственные опоры — семью и слияние с крестьянской жизнью — Толстой и превозносил как спасение, но и подвергал сомнениям самым наимучительным. Об этом — вся "Анна Каренина". Но наиболее трагичное было в том, что Толстой подвергал сомнению и возможность счастья. Это было самым горестным и самым отчаянным в восстании Анны, в восстании Толстого.

Завершая "Войну и мир", Толстой в одном из писем привел французскую поговорку: "Счастливые народы не имеют истории". Но, если следовать логике Толстого, могут ли существовать целые счастливые народы, если нет и отдельных счастливых людей?

В одной статье я прочел, что, начиная с шумерских времен, на земном шаре было 18 тысяч войн. Если нет мира в семьях даже из нескольких человек, как может быть мир в многомиллионной человеческой семье? Левин, мечтавший, как и Толстой, соединить идеалы с практикой, думает так:

"Надо только упорно идти к цели, и я добьюсь своего. Все хозяйство, главное — положение всего народа — должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство, вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, бескровная величайшая революция — сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. Потому что мысль справедливая не может не быть плодотворной".

Левин думал, что крепостное право — одна из главных причин человеческой разобщенности. Крепостное право в Европе к тому времени было уже отменено, но почитайте европейскую классику той эпохи, она вся — сплошной крик разобщенности! "Знаю, что вместо цепей крепостных люди придумали много иных", — скажет уже после отмены крепостного права в России Некрасов. Мечта американских аболиционистов как будто бы выполнена, и дядя Том уже не собственность плантатора Саймона Легри, когда-то описанного Бичер-Стоу, и мэры многих городов США сейчас негры, но разве расовая проблема — всего лишь часть гигантской проблемы человеческой разобщенности — исчезла?

Толстой гениально понимал, что разгадку разобщенности надо искать в первичной ячейке человечества — в семье. Бескровную, но величайшую революцию надо начинать не с "ма-

ленького круга уезда”, как думал Левин, а с самого крошечного уезда — семьи. Самому Левину в этом круге, несмотря на любовь к жене и детям, гораздо тяжелей, чем в уездном. Левин оказался в собственной семье в положении растерявшегося Дон Кихота, который получил собственный остров для губернаторства, хотя домогался этого не он, а Санчо Панса. Слава богу, что при всем своем донкихотстве Левин не был лишен и здравого санчо-пансизма. Все нечеловеческие усилия такого гиганта, как Толстой, рухнули именно в семейном кругу, ибо в своей семье нет пророка. В глазах Софьи Андреевны Толстой был гораздо черствее, чем Каренин.

Толстой писал, что в “Войне и мире” он любил “мысль народную”, а в “Анне Карениной” “мысль семейную”. Но вот что говорит Левин: “Это слово “народ” так неопределенно. Остальные... не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем бы надо выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?” Но если Толстого мучила неопределенность слова “народ”, то разве его не мучила неопределенность слова “семья”? Брак Толстой называл “мудренейшим делом на свете”, “труднейшим и важнейшим делом жизни”. При всей склонности в философских трактатах к дидактическим рецептам в романе “Анна Каренина” Толстой никаких рецептов не выписывает, словно боится сразу всех на свете лекарств. Более того, иногда кажется, что в семейное счастье он вообще не верит, хотя и не навязывает это неверие другим — грех на душу взять боится. Не случайно Толстой выбросил из окончательного варианта такой весьма далекий от семейного оптимизма пассаж:

“Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как... несчастье есть жизнь, длинная жизнь несчастная, т.е. такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни — потеряны”.

Бронский, наконец-то добившийся своей мечты — обладания Анной, не слишком-то весел: “Несмотря на полное осуществление того, чего он желал так долго, он не был полностью счастлив”.

Вот что пишет Толстой о своем любимце Левине:

“Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться...”

А вот в чем Толстой признавался сам: “Я всеми силами

стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни". Но после таких страшноватых цитат остановимся и подумаем — таким ли уж безвыходным пессимистом был Толстой? Примечательно, что Толстой говорит только о "естественности" мыслей о самоубийстве, но нигде у него не найдешь ни слова о естественности самого самоубийства. Один шестнадцатилетний подросток, обычно неразговорчивый, замкнутый, спросил меня однажды, как я отношусь к самоубийцам. Я сразу понял, что он, может быть, в первый раз подумал о своем самоубийстве, и это его ужаснуло. Ужас перед мыслями о самоубийстве может привести к самоубийству. Я как можно спокойнее объяснил подростку, что мысли о самоубийстве приходят в голову каждому человеку, который мыслит, — только многие это скрывают. Подросток облегченно вздохнул, а ведь эта навязчивая идея могла привести его к опасному чувству собственной неполноценности, болезненности.

Некоторые ревностные педагоги вдалбливают в головы школьников короленковское "Человек создан для счастья, как птица для полета". Если принять это на веру, то несчастливость как бы отождествляется с бескрылостью. Быть несчастным становится как бы стыдно. Сколько людей забивают свою несчастность внутрь, как нехорошую болезнь, прикрывая ее мнимо счастливым видом.

Анна Каренина была жертвой "аристократического общества", считавшего "несчастность" именно такой болезнью. Не унаследовав от "сливок" бывшей аристократии десятой доли ее культуры, нынешняя псевдоаристократическая элита полностью унаследовала лицемерное отношение к "несчастности".

"Но я испортился с тех пор, как времени коснулась порча, и горе возвели в позор, мещан и оптимистов корча", — точно определил это лицемерие Пастернак. Между тем Пушкин не случайно поставил когда-то талант мысли рядом с талантом страдания: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать".

В готовности к страданию, а не в готовности к счастью надо нам воспитывать наших детей. Телевизионный винегрет из человеческих страданий, подаваемый в программе новостей, от страдания и сострадания отучает. Подросток с ушами, заткнутыми кассетной масскультурой, может не расслышать крика человека, убиваемого рядом на улице. В эпоху агрессии идолов масскультуры миллионы подростков знают Майкла Джексона больше, чем Данте, Шекспира, Толстого. Масскультура — это

культуризм ушей. Мировая классика — это культура страдания и сострадания.

Несчастье человека не есть его ничтожность — вот в чем великая педагогика Толстого. Левин печально рассуждает так:

”В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек — организм, и пузырек этот подержится, и лопнет, и пузырек этот — я...”

Но там, где начинается несчастье Левина, там, где у него возникают мысли о собственной ничтожности, — эта ничтожность кончается.

Толстой признавался: ”Содержание того, что я писал, мне было так же ново, как и тем, которые читают”.

Семейный роман перерос в энциклопедическую книгу, ибо страдания автора были не романтическими, а именно энциклопедическими. Перегруженность романа — это не перегруженность великой души. Все люди — живые, не продиктованные так называемым ”общим замыслом”, и каждый из них — это замысел, не повинующийся общему. Почти карикатурная конфигурация Каренина в первоначальных набросках сама собой исчезла, когда Каренин начал двигаться, говорить. По сравнению со многими современными ”обманутыми” мужьями, опускающимися в своих обидах до ненависти уязвленных собственников, Каренин почти идеальный обманутый муж. Чем суше и логичнее его собственный характер, тем нравственно героичнее его поведение у постели рожавшей чужого ребенка Анны. В этой сцене Толстой перевоплотился в Каренина, отдав ему свою душу, прежде переселившуюся в Анну. Но такая огромная была душа у Толстого, что ее хватило и на Левина, и на Вронского, и на Стиву, и на Фру-Фру. Фру-Фру сломала себе хребет, как Анна.

Толстой был великим актером, он сыграл на страницах своих книг такое количество ролей — от Наполеона до Наташи Ростовской, от Элен до Платона Каратаева — и умел перевоплощаться даже в лошадей.

Перечитывая ”Анну Каренину”, я вначале поймал себя на некотором новоразночинском раздражении. После страшного опыта двадцатого века — ”Большой Берты”, отравляющих газов, танков, бомбардировщиков, концентрационных лагерей, Хиросимы — страсти героев Толстого показались мне игрушечными. Даже возникла ядовитая мысль: ”Мне бы ваши заботы, господа...” Разговоры Левина и его собеседников на темы переустройства мира иногда бесили своей растянутостью и

наивностью. Но, наверное, нашим потомкам в двадцать первом веке покажутся наивными и наши рассуждения об этом переустройстве. Конкретные идеи улучшения мира будут устаревать, даже казаться смешными, но сама жажда этого улучшения останется неизменной.

Многие теории и попытки их воплощения подвергнутся жестокой девальвации. Но одно никогда не подвергнется девальвации — это драгоценность, единственность человеческих чувств, и среди них — любви. Как бы ни изменилось человечество, полное счастье в любви будет, наверно, недостижимым, вечно ускользающим горизонтом, и какая-нибудь женщина будущего повторит слова Анны Карениной: "Любовь... Я оттого и не люблю этого слова, что оно слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять".

1987

## "ПОЭТ — ВЕЛИЧИНА НЕИЗМЕННАЯ"

Эти крепкие, четкие слова были произнесены Блоком в начале восемнадцатого года, когда разгоралась гражданская война и многим интеллигентам казалось, что рушатся не только культурные ценности прошлого, но и надежды на культурные ценности будущего. Красный бант Февральской революции, который надевали даже великие князья, и красногвардейская повязка на рукаве рабочей кожанки оказались из разных материй. Расплескавшаяся революционная стихия иногда пугала своей необузданностью даже некоторых своих создателей. Горький, отдавший столько сил для подготовки революции и заклинавший ее наконец-то грянуть, на какое-то время растерялся перед вулканической реальностью накликаемой им бури, то захлестывающей порог престарелого Плеханова, то сбивающей своей грубоватой волной с ученого очки на Невском проспекте.

Александр Блок, который скакал на коне по своим шахматовским угодьям и посылал незнакомкам воображенную им "черную розу в бокале золотого, как небо, Аи" в то время, как Горький предоставлял свою квартиру для нелегальных большевистских собраний и давал деньги на печатание прокламаций, — именно Блок, казавшийся далеким от революции и всегда подчеркивавший свою беспартийную независимость, не только призвал "слушать музыку революции", но стал частью

этой музыки, написал "Двенадцать" и в пушкинской речи сказал: "Поэт — величина неизменная", как бы предсказывая, что никакие грубоватости и даже жестокости бури не могут отменить вечного назначения культуры. Сказал спокойно, но не успокоительно. Это была забота не только о культуре, но и о революции, ибо революция, не вооруженная культурой, перестает быть революцией. Блок был поэтом антипокоя. "И вечный бой... Покой нам только снится", "Уюта — нет, покоя — нет", "Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестанет быть обывателем. Это будет уже не самодовольное ничтожество: это будет новый человек..." Но, восставая против обывательского покоя, Блок отстаивал право поэта на пушкинские "покой и волю". "Они необходимы поэту для освобождения гармонии". Блок предостерегал от бестактного администрирования, от назойливого управленчества искусством: "Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направить поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение". Когда часть интеллигенции упала до недостойного злорадства "чем хуже, тем лучше", Блок не предал предназначения поэта. Это предназначение — не злорадство и не подхалимство, а забота.

Пушкинская речь Блока, может быть, невольно для него самого стала его завещанием. Каждое слово в этой речи было оплачено ценой всей жизни. Жизни непростой, но разве есть на свете хоть одна так называемая "простая жизнь"? Не отказываясь от своего всегдашнего презрения к "черни", Блок пришел к пушкинскому ощущению почти неопределимого, но тем более великого от своей неопределимости понятия — "народ": "...нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуместь простой народ".

Страхнув с плеч навязываемую ему жреческую тогу одинокого творца, Блок пригласил в соавторы "Двенадцати" улицу. Дело литературоведов помнить, что строчку "юбкой улицу мела" предложила заменить жена Блока на более сочную: "шоколад Миньон жрала". А кто подсказал эту строчку Любови Дмитриевне? Улица. Но в отличие от пришедших затем пролеткультовских глашатаев "растворения в стихии" Блок, впустив улицу в себя, растворяться в ней не хотел. Безликость массовая ничем не лучше безликости личной. Дореволюционной

литературной модой был индивидуализм, культ собственного "я". Блок ушел от этой моды, но он уловил опасность надвигающегося безличностного "мы". Мучительный разрыв между образом Христа и церковью, начиная от инквизиции и кончая отлучением Льва Толстого, привел Блока к революции как к обещанию всемирного братства. "Учение Христа, установившего равенство людей, выронилось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло в соглашение с лицемерной цивилизацией, сумевшей обмануть и приручить художников и обратить искусство на служение правящим классам, лишив его силы и свободы. Несмотря на это, истинное искусство существовало... и существует, проявляясь то здесь, то там криком радости или боли вырвавшегося из окон свободного творца. Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великан и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества". Всемирная революция, однако, не случилась. Русская революция подняла на своем гребне многие таланты, но многие и погребла в своей пучине.

Даже по этой цитате можно понять, что образ Христа в "Двенадцати" вовсе не так случаен, как неопределенно и уклончиво об этом писал сам Блок. Не является ли Христос, все-таки не покинувший красногвардейцев среди разыгравшейся стихии, заклинанием Блока, обращенным к самому себе, к русской интеллигенции, — не покинуть даже заблудших, не отвернуться, не проклясть.

Мировоззрение Блока выросло из боли за других. "Одно только делает человека человеком — мысль о социальном неравенстве". Рационально выстроенного прогрессивно-агрессивного мировоззрения Блок побаивался. В пушкинской речи он тревожно заметил: "Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку".

Блок предостерегал, конечно, не от Белинского и Писарева, а от их потенциальных вульгаризаторов, которые, начиная от Пролеткульта и затем от РАППа, появились в превеликом количестве. Блок, которому осточертела салонная кастовость, опасался, что может произойти наоборотная кастовость. Так оно и случилось. Кабинеты чиновников от культуры становились салонами булгаковских шариковых.

Блок не обольщался по поводу собственных салонных почитателей. "Нельзя приучать публику к любопытству насчет писателей в ущерб любознательности насчет литературы".

Самым убийственным упреком в этой среде было морализаторство. Но от боязни морализаторства иногда размывалась мораль. Боязнь упрощенности приводила к нарочитому бегству от простоты. Боязнь "презренной прозы" подсовывала котурны театральной поэтичности. Гражданским подвигом Блока была победа над этой средой и вокруг себя, и внутри себя, чего ему не простили. "Перед истинными художниками, которым надлежало охранять русскую литературу от вторжения фальсификаторов, вырос второй вопрос: вопрос о содержании, вопрос, "что" имеется за душой у новейших художников, которые подозрительно легко овладели формами". Формотворчество, отделенное от поисков содержания, лишь красиво замаскированный эгоизм, равнодушие ко всем другим болям, кроме своей, зачастую сильно преувеличенной и поэтому так нежно культивируемой. Культ гордого одиночества, противопоставление себя толпе — на деле это разновидность заигрывания с толпой. "Когда люди долго пребывают в одиночестве — например, имеют дело только с тем, что недоступно "пониманию толпы", тогда потом, входя в жизнь, они оказываются беспомощны и часто падают ниже толпы..." Не об этих ли "создателях репутации" думал Блок, когда писал: "Кроме бюрократии, как таковой, у нас есть еще бюрократия общественная..." Блок заметил об одном писателе: "Он призывает к общественной совести, тогда как у многих из нас еще и личная совесть не ожила". Блок будто предчувствовал, что эти приятные для самолюбия взывания к общественной совести могут кончиться потерей совести вообще. В отличие от мировоззренчески декоративных литераторов Блок свое мировоззрение "выстрадывал". "Боясь слов, я их произношу. Боясь словесности, боясь литературщины, я жду, однако, ответов словесных: есть у нас всех тайная надежда, что не вечна пропасть между словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело". Блоку навязывали ампула некоего "медиума", а может быть, всего-навсего ложно независимого спиритического блюда, которое будет вращаться только в ту сторону, в какую захотят подталкивающие пальцы. "Как бы циркулем люди стали вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя друг друга, все чувства, склонности, привязанности. Этот заранее нормально вычерченный круг стал зваться жизнью". Блок такого круга сам себе не вычерчивал. Это сделали за него другие. Но Блок оказался шире предназначенного ему теоретиками пространства. Реальность его быта умещалась в кабаках, безнадежных извивах, в мостах, в часовнях, в резко



сти ветра, в безлюдности низких островов. Но реальность духовная выше реальности быта. Духовная реальность Блока во многом была определена его провидческим даром. Не случайно Блок когда-то проронил: "В большинстве случаев люди живут настоящим, т.е. ничем не живут".

Блок умел жить будущим поверх очерченного чужими циркулями круга. Это провидение иногда не слишком его веселило, и если он называл имя Пушкина "веселым", то имя Блока веселым никак не назовешь. Пророческие видения Блока были более сродни лермонтовским: "...и ты тогда увидишь и поймешь, зачем в его руке булатный нож". Рядом с Лермонтовым и Блоком не было ни Кюхли, ни Дельвига, ни Пушкина. Если солнечный зайчик, почти всегда мерцавший в Пушкине, был составлен из света лицейской среды, то "угрюмство" Лермонтова и Блока во многом объясняется их одиночеством. Но "простим угрюмство". Дар провидения дорого стоил Блоку, потому что он отравлял радость при взлете первых аэропланов, когда Блоку мерещился "ночной летун, во мгле ненастной земле несущий динамит". Блок, вряд ли знавший работы Циолковского, воспринимал как реальность то время, "когда границы сотрутся и родиной станет вся Земля, а потом и не одна Земля, а вселенная", но это рождало в нем и провидческую грусть, потому что "родине суждено быть некогда покинутой, как матери, когда сын ее, человек, вырастет до звезды и найдет себе невесту. Не родина оставит человека, а человек оставит родину".

Редчайшее по раскованности стихотворение "Когда вы стоите на моем пути...", по некоторым версиям посвященное поэтессе Кузьминой-Караваевой, поражает своим пророческим пожеланием "полюбить простого человека". Кузьмина-Караваева стала затем знаменитой "матерью Марией", спасая жизнь людей во время оккупации гитлеровцами Европы. А разве спасать — это не есть "полюбить простого человека"? Провидения Блока были иногда зыбки, как в драме "Король на площади": "Сегодня, я чувствую, готовится что-то неслыханное. Слишком горяч воздух. Слишком пуста душа". В "Возмездии" это предчувствие осязаемей: "Неслыханные перемены, невиданные мятежи". Блок отстаивал за художником провидческую роль не только как право, но как долг: "Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар".

Блок сумел прочесть на стенах валтасарова пира царизма "мене, текел. упарсин" (исчислен, взвешен, разделен) еще задолго до того, как эти стены развалились. Революция произошла внутри Блока прежде, чем в России. Предвидение революции

как возмездия сделало ее реальностью внутреннего блоковско-го мира, часто не совпадающего с миром внешним "темного морока цыганских песен" и пьяниц с глазами кроликов. Помимо страусовых перьев, качавшихся в воспаленном мозгу поэта, в нем покачивались и будущие красные знамена. Провидчества прославленного лирика были всегда эпическими. Историзм мировоззрения был тем ледорубом, которым Блок высекал спасительные ступени, выбираясь из бездн, в которые сам себя швырял. Выбравшись, Блок оказывался на тех вершинах, где величественно и грозно веял пропахший прошлыми и будущими пожарищами ветер эпоса. По-настоящему Блок любил вовсе не Брюсова, не Бальмонта, не Белого, а писателей именно с масштабным эпическим даром: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Шекспира, Ибсена. О его любви-зависти к Некрасову я уже говорил. Несмотря на неприятие романа "Мать", казавшегося ему слишком прямолинейно нравоучительным, Блок, в отличие от многих из его круга, понял значение Горького, впустившего в литературу из жизни оборванцев, которые заговорили сами о себе. "Если есть реальное понятие Россия, или еще точнее — Русь, то выразителем его приходится считать в громадной степени Горького".

Но одного писателя в России Блок даже не анализировал — он благоговейно преклонялся перед ним. "Дай господи долго жить еще среди нас Льву Николаевичу Толстому. Пусть он знает, что все современные русские граждане без различия идей, направлений, верований, индивидуальностей, профессий впитали с молоком матери хоть малую долю его великой жизненной силы".

Блок готовился к эпосу.

Очерк "Последние дни императорской власти" напоминает конспект исторического романа. Его формулировки, в отличие от легкомысленно-развлекательных версий, метафорически точны: "Недюжинность распутного мужика, убитого в спину на юсуповской "вечеринке"... , сказала, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии". Дневник Блока — это роман об Александре Блоке и о его времени, написанный рукой большого прозаика. Дневник пронизывает чувство взаимозависимости каждой "меховой шубки" и каждого колокола, звонящего над мировыми событиями. В "Возмездии" Блок дал точный анализ причины революции, вызревшей внутри войны. "Того, кто побыв на войне, порой пронизывает холод — то роковое "все равно", которое подготавливает череду событий мировых лишь тем

одним, что не мешает...” В дневнике без витийского пацифизма о войне сказано страшно и уничижительно: ”Сегодня я понял... что отличительное свойство этой войны — невеликость. Она — просто огромная фабрика на ходу...” Причина падения царского режима была определена Блоком не менее брезгливо: ”Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную. Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом. Верхи мельчали, развращая низы...”

Статьи Блока — это философский эпос. Разбирая стихи Н. Минского и задавая себе вопрос, почему они оставляют читателей холодными, Блок отвечал так: ”Мне приходится остановиться на единственной догадке, которую я считаю близкой к истине: на неполной искренности поэта. Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в том, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений ”исповеднического” характера”. Такой исповедью была вся жизнь Блока. От исповеди личной он перешел к исповеди других своими устами, хотя в этом не все успел. Он знал, что исповедальность стоит недешево и что общественный ореол жжет. Но все-таки говорил о необходимости этого ореола, придающего словам значение дел: ”Нельзя приучать публику любоваться на писателей, у которых нет ореола общественного, которые еще не имеют права называться потомками священной русской литературы”.

Блок верил в возможность бесконечного становления и поэтому так восхищался мудростью Лао Цзы, некогда написавшего об этом так: ”Слабость велика. Сила ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок; когда умирает, он крепок и черств. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия, поэтому то, что отвердело, то не победит”. Все жизненные и литературные слабости Блока — это признак того, что он был далек от черствости, от конца становления. Когда перечитываешь все оставленное нам Блоком, возникает ощущение незавершенности, неполной воплощенности. Но, может быть, это один из признаков его силы? Недаром Блок отозвался о ”завершенности” Метерлинка как о неполноценности: ”Претерпел маленькие гонения; прославился и почил на лаврах, используя свой пафос тонкого, умного и не очень гениального лирика”.

Блок не был завершен, как не была завершена судьба России. О Родине он сказал так: ”Родина подобна своему сыну — человеку... Органы его чувств многообразны, диапазон их очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого подобно-

го и милого нам существа? Роль этих органов должны играть все люди. Мы же, писатели, свободные ото всех обязанностей, кроме человеческих, должны играть роль тончайших и главнейших органов ее чувств. Мы — не слепые ее инстинкты, но ее сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы”.

Поэт — это зрячий инстинкт нации.

1980

## ПОЧЕРК, ПОХОЖИЙ НА ЖУРАВЛЕЙ

Ахматова писала о Пастернаке так:

Он награжден каким-то вечным детством,  
Той щедростью и зоркостью светил,  
И вся земля была его наследством,  
И он ее со всеми разделил.

Великий художник только так и приходит в мир — наследником всего мира, его природы, его истории, его культуры. Но истинное величие состоит не только в том, чтобы унаследовать, а в том, чтобы разделить со всеми. Иначе самый высокообразованный человек превращается в бальзаковского Гобсека, пряча сокровища своих знаний от других. Для образованной посредственности обладание знаниями, которые он засекречивает внутри себя, — это наслаждение. Для гения — обладание знаниями, которые он еще не разделил с другими, — мучение. Вдохновение дилетантов — это танцевальная эйфория кузнечиков. Вдохновение гения — это страдальческий труд родов музыки внутри самих себя, подвиг отдиранья плоти от плоти своего опыта, ставшего не только твоей душой, но и телом внутри твоего тела. Пастернак часто сравнивал поэзию с губкой, которая всасывает жизнь лишь для того, чтобы быть выжатой, как он выразился, ”во здравие жадной бумаги”. В отличие от Маяковского, которого он сложно, но преданно любил, Пастернак считал, что поэт не должен вбивать свои стихи, свое имя в сознание читателей при помощи манифестов и публичного самодемонстрирования. Пастернак писал о роли поэта совсем по-другому: ”Быть знаменитым — некрасиво”, ”Жизнь ведь тоже — только миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в дарованье”, ”Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, и только в том моя победа”.

Тем не менее Пастернак, воспеваящий подвиг "незамеченности", стал в мире, пожалуй, самым знаменитым русским по этому двадцатого века, превзойдя даже Маяковского. Почему же так случилось? Вся эта апология скромности не была далеко рассчитанной калькуляцией Пастернака, с тем чтобы самоуничтожением, которое паче гордости, в конце концов выжать из человечества умиленное признание. Гениям не до скромности — они слишком заняты делами поважнее. Пастернак всегда знал себе цену, как мастеру, но его больше интересовало само мастерство, чем массовые аплодисменты мастерству. Нобелевский комитет заметил Пастернака только в момент разгоравшегося политического скандала, а ведь Пастернак заслуживал самой высокой премии за поэзию еще в тридцатых годах. "Доктор Живаго" — вовсе не лучшее из того, что было написано Пастернаком, хотя роман и представляет собой этапное явление для истории русской и мировой литературы. Сложные, запутанные взаимоотношения Лары и Юрия Живаго, когда перипетии революции и гражданской войны то соединяли, то разъединяли их, в чем-то похожи на взаимоотношения Кати и Рощина в трилогии Алексея Толстого "Хождение по мукам", законченной задолго до "Доктора Живаго", в тридцатых годах. Но Толстой историю ставил выше истории любви, а Пастернак поставил историю любви выше истории, и в этом принципиальное различие не только двух романов, но и двух концепций. Французский композитор Морис Жарр, писавший музыку для фильма, уловил это, построив композицию на перекрещивании революционно маршевых мелодий с темой любви — темой Лары, темой гармонии, побеждающей бури. Не случайно именно эта музыкальная тема на протяжении лет пятнадцати—двадцати стала едва ли не самой популярной во всем мире, и ее играли везде, но анонимно — лишь в Советском Союзе, где роман не был напечатан. Однажды, когда наше телевидение передавало чемпионат Европы по фигурному катанию и один из фигуристов начал кататься под мелодию Лары, югославский комментатор, зная прекрасно, что его голос транслируется в Советском Союзе, воскликнул: "Исполняется мелодия из кинофильма "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака...", советские контрольные аппараты моментально выключили звук. Фигурист на экране кружился на льду в полной тишине. Было слегка смешно, но гораздо более — стыдно и грустно.

Произошло нечто парадоксальное. Пастернак, никогда не участвовавший ни в какой политической борьбе, оказался неожиданно для себя в самом ее центре. Впрочем, неожиданно

ли? Он сам многое предугадывал, даже самопредлагался, вызывая на себя пулю охотника от имени птицы и прося его: "Бей меня влет!" Он сам предсказал: "Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба". Но, пожалуй, самым пророческим был монолог лейтенанта Шмидта из одноименной поэмы:

Наверно — вы не дрогнете,  
Сметая человека.  
Что ж, мученики догмата,  
Вы тоже — жертвы века.  
. . . . .  
Я знаю, что столб, у которого  
Я стану, — будет гранью  
Двух разных эпох истории,  
И радуюсь избранью.

Вот оно, высшее христианство, даже на распятии понять, что твои палачи — это тоже жертвы. Пастернак оказался действительно избранником истории, поставив историю любви выше истории как таковой. Мученикам догмата это показалось контрреволюцией. Им, привыкшим к теории и практике превращения людей лишь в винтики государственной машины, не могла не быть опасно чужда, как разрушительная ересь, апология не государства, а человеческой души. Им не хватило терпимости, драгоценного умения понять, что первоначальные идеалы социализма и заключались в том, что они ставили интересы человека выше интересов государства как машины. Иначе — история будет развиваться по Оруэллу. История как таковая справедлива только тогда, когда она не разрушает историй любви. Сказанное Пастернаком в конце пятидесятых годов казалось опасной ересью. Сегодня, когда даже государственные деятели в своих речах ставят "человеческий фактор" выше интересов государства, бывшая ересь практически находится на пути к канонизации. Но надо еще подождать говорить о результатах, ибо в истории немало примеров, когда словесная канонизация нравственных постулатов нарушалась ежедневно теми, кто эти постулаты проповедовал. Пастернак, не будучи политиком, инстинктивно почувствовал необходимость предстоящего политического перелома и действительно стал пограничным столбом на границе двух разных эпох истории. Скандал вокруг романа при том, что он нанес страшный моральный и физический удар самому Пастернаку, оказался по подлой иронии судьбы великолепной рекламой на Западе и сделал давно

существующего великого поэта наконец-то видимым и в подслеповатых глазах Нобелевского комитета, и в глазах так называемых "массовых читателей".

Но означает ли это, что Пастернак был понят на Западе как великий поэт? Почувствован — может быть, но понят — навряд ли. Даже роман многие не поняли — слишком якобы сложен, а киноверсия при великолепной музыке и прекрасной игре Джули Кристи была все-таки сентиментализирована, упрощена, и восточный красавчик Омар Шариф слишком рахатлукумен, для того чтобы быть русским предреволюционным интеллигентом доктором Живаго, воспитанным на Толстом, Достоевском, Чехове. Поэзия Пастернака, как и вообще любая поэзия, почти не переводима, но все-таки остается это спасительное крошечное почти. Для того чтобы понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — семейной и литературной.

Борис Пастернак родился в семье художника Леонида Пастернака, личности близкой к таким крупнейшим фигурам русской интеллигенции, как Толстой, Рахманинов, Менделеев. Интеллигентность здесь не была заемной, а являлась самим воздухом семьи. Пастернак в ранней молодости выбирал между музыкой и поэзией. Он выбрал, к счастью для нас всех, второе, даже когда его идол — Скрябин, прослушав музыкальные сочинения юноши, "поддержал, окрылил, благословил". Может быть, Пастернаку не хватило противодействия. Пастернак выбрал образование философское, а профессию литературную, учился в Марбурге. Безусловно, огромное влияние на Пастернака оказала поэзия Райнера Марии Рильке. Это особенно легко понять, когда читаешь несколько стихов Рильке, написанных им по-русски, с очаровательными грамматическими и лексическими неправильностями, но тем не менее очень талантливо и с явным, как бы пастернаковским акцентом. Можно легко догадаться, что многое из Рильке на немецком стало пастернаковским. Но Пастернак, несмотря на то что впитал столько из западной культуры, западником не был никогда. Он написал однажды даже слишком категоричные строки: "Уходит с Запада душа — ей нечего там делать". Пастернак вслед за Пушкиным был одновременно и западником, и в каком-то смысле славянофилом, возвышаясь и над имитацией западной культуры, и над русским ограниченным национализмом. Сам Пастернак в конце жизни критиковал свои первоначальные поэтические опыты, ставя их ниже последних стихов, но не думаю, что он был прав.

Писателям вообще свойственно любить свои самые последние произведения, хотя бы за счет кокетливого унижения предыдущих.

Пастернак прожил долго, и его поэтика мужала и менялась вместе с ним. Восстание против академического классицизма в начале двадцатого века происходило в России везде — и в живописи, и в музыке, и в поэзии. Молодой Пастернак даже примкнул тогда к футуристам, которых возглавлял Маяковский. Маяковский называл гениальным пастернаковское четверостишие:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму шекспирову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал.

Но это, видимо, нравилось Маяковскому потому, что было похоже на самого Маяковского. В раннем периоде у двух этих великих — хотя совершенно противоположных — поэтов было некоторое сходство, но потом оно исчезло. Они, по выражению Уолта Уитмена, соединились на мгновение, как орлы в полете, и продолжили свой путь уже совершенно отдельно. Пастернак, по собственному признанию, даже спровоцировал ссору, чтобы расстаться, на что они оба были заранее обречены. Но, пожалуй, никто так не любил, не жалел Маяковского, как Пастернак. Именно Пастернак написал о самоубийстве Маяковского такие строки:

Твой выстрел был подобен Этне  
В предгорье трусов и трусих.

А гораздо позднее в своих автобиографических заметках Пастернак дал точный анализ того, что посмертная похвала Сталина Маяковскому: "Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи" была для репутации Маяковского не спасительной, как это тогда казалось, а убийственной. "Маяковского стали насильственно насаждать, как картошку. Это было его второй смертью", — писал Пастернак. Это совпадало с горькой мыслью, высказанной Пастернаком о смерти Ленина:

Я думал о происхожденьи  
Века связующих тягот.  
Предвестьем льгот приходит гений  
И гнетом мстит за свой уход.



Сам Пастернак, начав с бунта формы против классицистов и доходя в концентрированности метафор иногда до почти полной непонятности, постепенно опрозрачивался и с годами пришел к хрустально чистому, профильтрованному стиху. Но это была подлинная классика, которая всегда выше реминисцентного классицизма. Позднее стихи Пастернака потеряли в плотности, но зато выиграли в чистоте, в отсутствии лишнего. У стиха Пастернака поразительное слияние двух начал — физиологического и духовного. Философия его поэзии не умственно выработанная, а "выбормотанная". Но, конечно, за этим кажущимся импровизационным полубредом была огромная человеческая культура. Бред высочайше образованного, тончайше чувствующего человека будет совсем другим, чем бред диктатора или бюрократа.

Пантеизм Пастернака включал в себя и женщину, как высшую материнскую силу природы. После Пушкина, пожалуй, никто так не чувствовал женщину, как Пастернак:

И так как с малых детских лет  
Я ранен женской долей,  
И след поэта — только след  
Ее путей — не боле...

Эротику Пастернак поднимал на уровень религиозного поклонения, на уровень великого языческого фатума:

На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья.

Стих Пастернака обладает поразительно скрупулезным стереоскопическим эффектом, когда кажется, что прямо из страницы высовывается ветка сирени, отяжеленная влажными лиловыми цветами, в которых возятся золотые пчелы.

Душистой веткою машучи,  
Впивая впотьмах это благо,  
Бежала на чашечку с чашечки  
Грозой одуренная влага.  
Пусть ветер, по таволге веющий,  
Ту капельку мучит и плющит.  
Цела, не добиться, их две еще,  
Целующихся и пьющих.

Я никогда не надеялся познакомиться с Пастернаком, ибо считаю, что случай должен сам соединить людей. Читая его стихи с детства, что, честно говоря, не было типично для советских мальчиков сталинского времени, никаких встреч я не искал.

Году в пятидесятом Пастернак должен был читать в Центральном доме литераторов свой перевод "Фауста". Вокруг поэзии была тогда некая особая приглушенность, и никакого столпотворения и конной милиции не было. Дубовый зал был полон, но отнюдь не переполнен, и мне, семнадцатилетнему начинающему поэту, все-таки удалось туда проникнуть. Устроители нервничали. Пастернак опаздывал. Положив свою шапку со стихами внутри на галерочное место, я спустился вниз, в вестибюль с тайной надеждой увидеть Пастернака поближе. Его почему-то никто не ожидал в вестибюле, и, когда распахнулась вторая дверь и он вошел, кроме меня перед ним никого не оказалось. Он спросил меня нараспев и чуть виновато улыбаясь: "Скажите, пожалуйста, а где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал..." Я растерялся, потеряв дар речи. На счастье, из-за моей спины выскочил кто-то из устроителей, стал помогать ему снимать пальто. Пальто Пастернака меня поразило, потому что точно такое же, коричневое, в елочку, с запасной пуговицей на внутреннем кармане, недавно купил мой покровитель, заведующий отделом газеты "Советский спорт" Н. Тарасов. Пальто, правда, было итальянским, что по тем временам было редкостью, но купил он его в самом обыкновенном Мосторге за 700 старых рублей, и уже несколько таких пальто мне попадались на улицах. Не знаю, как мне представлялось, во что должен быть одет Пастернак, но только не в то, что носит кто-нибудь другой. Самое удивительное на нем было даже не пальто, а кепка — серенькая, с беленькими пупырышками, из грубоватого набивного букле, стоившая тридцатку и мелькавшая тогда на десятках тысяч голов в еще не успевшей приодеться после войны Москве. Но несмотря на полную, обескуражившую меня обыкновенность в одежде, которой я по неразумию не мог предположить у настоящего, живого гения, Пастернак был поистине необыкновенен в каждом своем движении, когда он, входя, грациозно целовал кому-то ручку, кланялся с какой-то, только ему принадлежащей, несколько игривой учтивостью. От этой безыскусственной врожденной легкости движений, незнакомых мне прежде в моем грубоватом невоспитанном детстве, веяло воздухом совсем другой эпохи, чудом сохранившейся среди социальных потрясений и войн.

Только сейчас, когда сквозь все более нарастающую даль я восстанавливаю в памяти это всплескивание руками, эту непринужденность поворотов, это немножко озорное посверкивание радостных и осторожных глаз, эту ненапряженную игру лицевых мускулов смуглого лица, мне почему-то кажется, что так же легко и порывисто двигался по жизни Пушкин, окруженный особенным воздухом.

Когда Пастернак стал читать свой перевод "Фауста", я был буквально заморожен его чуть поющим голосом. Но самому Пастернаку собственное чтение не очень, видимо, нравилось, и где-то на середине он вдруг захлопнул рукопись и беспомощно и жалобно обратился к залу: "Извините, ради бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то". Может быть, это было легким кокетством, свойственным Пастернаку, ибо зал заплодировал, прося его продолжать. В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела красавица Ольга Ивинская — любовь Пастернака, ставшая прообразом Лары. Я ее хорошо знал, потому что еще с 1947 года ходил к ней на литературные консультации в журнал "Новый мир", а ее близкая подруга Люся Попова руководила пионерской литературной студией, где я занимался. Но о любви Пастернака и Ивинской я узнал гораздо позже. Когда Пастернак стал читать, мне сразу запомнились навсегда строчки из его перевода "Фауста":

Искусственному замкнутость нужна.  
Природному вселенная тесна.

Многочисленные пародии и шаржи тех лет изображали Пастернака только как замкнувшегося в самом себе сфинкса, в статьях главным образом цитировались его ранние, написанные явно с улыбкой строчки:

Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе?

С той встречи и навсегда Пастернак казался мне частью природы, гармонически движущейся внутри себя. Прошло несколько лет. Два молодых поэта из Литинститута, где я учился тогда, — Ваня и Юра, постоянно ходили к нему на дачу, читали ему свои стихи, подкармливаясь у него, и не раз передавали Белле Ахмадулиной и мне приглашение зайти. Белла возмущалась тем, что эти два молодых поэта нередко в студенческой компании небрежно называли Пастернака "Боря", и тем, что они, судя по их рассказам, отнимают у Пастернака столько вре-

мени. Она только однажды столкнулась с Пастернаком на тропинке, но так и не заговорила с ним.

Однажды мне позвонили из иностранной комиссии Союза писателей и попросили меня сопроводить итальянского профессора Анжело Мария Риппелино на дачу к Пастернаку. Я сказал, что незнаком с Пастернаком и не могу этого сделать. Мне объяснили, что неловко, если Риппелино поедет куда-то за город без провожатого. "Но он же прекрасно говорит по-русски", — ответил я. Тогда мне объяснили, что я не понимаю самых простых вещей. "Попросите кого-нибудь другого, кто знает Пастернака", — ответил я. "Но что же делать, если сам Риппелино согласился поехать к Пастернаку только с вами", — застонал в трубке страдающий голос. Пришлось мне поехать без предупреждения. Из глубины сада, откуда-то из-за дерева неожиданно вышел все такой же смуглый, но уже совсем седоголовый Пастернак в белом холщовом пиджаке. "Здравствуйте", — произнес он, как и раньше, чуть нараспев, глядя на меня своими удивленными и в то же время ничему не удивляющимися глазами. И вдруг, не выпуская моей руки из своей, улыбаясь, сказал: "Я знаю, кто вы. Вы — Евтушенко. Да, да, именно таким я вас и представлял — худой, длинный и притворяющийся, что не застенчивый... Я все про вас знаю — и то, что вы в Литинституте лекции нерегулярно посещаете, и всякое такое... А это, кто за вами идет? Грузинский поэт? Я очень люблю грузин..." Я объяснил, что это вовсе не грузинский поэт, а итальянский профессор Риппелино, и представил его. "Ну и очень хорошо. Итальянцев я тоже люблю. И вы в самое время пришли — у нас как раз обед. Ну пошли, пошли — вам, наверное, есть хочется". И сразу стало просто и легко, и мы вскоре сидели вместе за столом, ели цыпленка и пили вино. Несмотря на то что тогда Пастернаку было уже за шестьдесят, ему нельзя было дать больше пятидесяти. Весь его облик дышал какой-то удивительной искристой свежестью, как только что срезанный букет сирени, еще хранящий на лепестках переливающуюся садовую росу. Он был весь каким-то переливающимся от всплескивающих то и дело рук до удивительной белозубой улыбки, озарявшей его подвижное лицо. Он немножко играл. Но когда-то он написал о Мейерхольде:

Если даже вы в это выгратись,  
Ваша правда, так надо играть.

Это относилось и к нему самому. И в то же время мне приходят на память другие строчки Пастернака:

Сколько надо отваги,  
 Чтоб играть на века,  
 Как играют овраги,  
 Как играет река.

Действительно, сколько надо было иметь в себе природной душевной отваги, чтобы сохранить умение так улыбаться! И это умение, наверно, было его защитой. Пастернак действовал на людей, общавшихся с ним, не как человек, а как запах, как свет, как шелест. Он, смеясь, рассказывал: "Ну и случай у меня сегодня был. Приходит ко мне один знакомый кровельщик, вытаскивает из карманов четвергинку, кружок колбасы и говорит: "Я тебе крышу крыл, а не знал, кто ты. Так вот, добрые люди мне сказали, что ты за правду. Давай выпьем по этому случаю!" Выпили. Потом кровельщик мне и говорит: "Веди!" Я его сначала не понял: "Куда это тебя вести?" "За правду, — говорит, — веди". А я ведь никого никуда вести и не собирался. Поэт — это ведь просто дерево, которое шумит и шумит, но никого никуда вести не предполагает..." И, рассказывая это, косил глазами на слушателей, и лукаво спрашивал ими: "Как вы думаете, правда это или неправда, что поэт — это только дерево, которое никого никуда вести не предполагает?" Кто-то когда-то написал, что Пастернак был похож одновременно на араба и на его коня. Это удивительно точно. Потом Пастернак прочел стихи, немного раскачивая головой из стороны в сторону и растягивая слова. Это была недавно написанная "Вакханалия". При строчках:

Но для первой же юбки  
 Он порвет повода,  
 И какие поступки  
 Совершит он тогда, —

он озорно посмотрел на свою жену, нервно теребящую край скатерти, и как-то весело вздохнул от сознания своей шалой молодости, еще бродившей в нем.

Пастернак попросил меня прочитать стихи. Я прочел самое мое лучшее стихотворение того времени — "Свадьбы". Однако оно Пастернака почему-то оставило равнодушным — видимо, он не почувствовал внутренней второй темы, и оно показалось ему сибирской этнографией. Но Пастернак был человек доброй души и попросил меня прочесть что-нибудь еще. Я прочел стихи "Пролог", которые ругали даже мои самые близкие друзья:



Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта время с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!

Пастернак вскоре дал мне прочесть рукопись "Доктора Живаго", но на преступно малый срок — всего на ночь. Роман меня тогда разочаровал. Мы, молодые писатели послесталинского времени, увлекались тогда рубленой, так называемой "мужской" прозой Хемингуэя, романом Ремарка "Три товарища", "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. "Доктор Живаго" показался мне тогда слишком традиционным и даже скучным. Я не прочел роман — я его перелистал. Когда утром я отдавал роман Пастернаку, он пытливо спросил меня:

— Ну как?

Я как можно вежливей ответил:

— Мне нравятся больше ваши стихи.

Пастернак заметно расстроился и взял с меня слово когда-нибудь прочесть роман не спеша.

В 1967 году, после смерти Пастернака, я взял с собой иностранное издание "Доктора Живаго" в путешествие по сибирской реке Лене и впервые его прочитал. Я лежал на узкой матросской койке, и, когда я переводил глаза со страниц на медленно проплывающую в окне сибирскую природу и снова с природы на книгу, между книгой и природой не было границы.

В 1972 году в США Лиллиан Хелман, Джон Чивер и несколько моих друзей почему-то затеяли спор, какой роман самый значительный в XX веке, и все мы в конце концов сошлись на "Докторе Живаго". Да, в нем есть несовершенства — слаб эпилог, автор слишком наивно организует встречи своих героев. Но этот роман — роман нравственного перелома двадцатого века. Когда я читал его впервые, мне и в голову не пришло, что с ним может случиться. Начался трагический скандал с романом. Его запретили в СССР, хотели остановить печатание в Италии. Пастернак кое-что предвидел. Фельтринелли\* рассказывал мне, что у него была договоренность с Пастернаком верить только телеграммам и письмам, написанным по-французски. Пастернак прислал телеграмму с просьбой остановить печатание романа, но телеграмма была написана по-русски латинскими буквами.

Роман вышел во всем мире. Некоторые западные газеты печатали рецензии с провокационными заголовками типа "Бомба

---

\* Итальянский издатель.

против коммунизма". Такие вырезки услужливые бюрократы, разумеется, клали на стол Хрущеву. После Нобелевской премии скандал разгорелся еще сильнее. Советские газеты выходили с так называемыми "письмами трудящихся", которые начинались примерно так: "Я роман "Доктор Живаго" не читал, но им предельно возмущен". Первый секретарь ЦК комсомола, будущий руководитель КГБ Семичастный потребовал выбросить Пастернака "из нашего советского огорода". Меня вызвал к себе тогдашний секретарь парткома московских писателей и предложил на предстоящем собрании осудить от имени молодежи Пастернака. Я отказался. Секретарь парткома заставил меня поехать к секретарю Московского комитета комсомола и начал меня снова уговаривать в его присутствии. Я снова отказался, сказав, что считаю Пастернака великим поэтом и что он никакой не контрреволюционер. В. Солоухин сейчас утверждает, что отказаться было якобы невозможно. Отказаться от предательства всегда возможно. Снежный ком все нарастал. Неожиданным ударом для многих и меня было то, что на собрании против Пастернака выступили два крупных поэта — Мартынов и Слуцкий.

После этого — единственного в своей безукоризненно честной жизни предательского поступка — Слуцкий впал в депрессию и вскоре ушел в полное одиночество, а затем в смерть. И у Мартынова, и у него была ложная идея спасения прогрессивной интеллигенции в период "оттепели", отделив левую интеллигенцию от Пастернака. Но само "дело" Пастернака было страшным ударом по "оттепели". Пожертвовав Пастернаком, они пожертвовали самой "оттепелью". Через несколько лет после смерти Пастернака Хрущев рассказал Эренбургу, что, будучи на острове Бриони в гостях у маршала Тито, он впервые прочитал полный текст "Доктора Живаго" по-русски и с изумлением не нашел ничего контрреволюционного. "Меня обманули Сурков и Поликарпов", — сказал Хрущев. "Почему же тогда не напечатать этот роман?" — радостно спросил Эренбург. "Против романа запустили всю пропагандистскую машину, — вздохнул Хрущев. — Все еще слишком свежо в памяти... Дайте немножко времени — напечатаем..." Хрущев не успел это сделать, а Брежнев не решился или даже не подумал об этом.

Однако вернемся туда, в год скандала, ко времени моей последней встречи с Пастернаком в 1960 году. Я боялся быть бестактным сочувствователем, зайдя к Пастернаку без приглашения. Межиров подсказал мне, что Пастернак, наверное, по-



явится на концерте Станислава Нейгауза. Мы поехали в консерваторию и действительно увидели Пастернака в фойе. Он заметил нас издали, все понял, сам подошел и, стараясь быть, как всегда, веселым, сразу обогрел добрыми словами, какими-то незаслуженными комплиментами, цитатами из нас и пригласил к себе. Я вскоре приехал к нему на дачу. От него по-прежнему исходил свет, но теперь уже какой-то вечерний. "А знаете, — сказал Пастернак, — у меня только что были Ваня и Юра... Они сказали сейчас, что кто-то собирает подписи под петицией студентов Литературного института с просьбой выслать меня за границу... Ване и Юре пригрозили, что, если они этого не сделают, их исключат и из комсомола, и из института. Они сказали, что пришли посоветоваться со мной — как им быть. Я, конечно, сказал им так: "Подпишите, какое это имеет значение... Мне вы все равно ничем не поможете, а себе повредите..." Я им разрешил предать меня. Получив это разрешение, они ушли. Тогда я подошел к окну своей террасы и посмотрел им вслед. И вдруг я увидел, что они бегут, как дети, взявшись за руки и подпрыгивая от радости. Знаете, люди нашего поколения тоже часто оказывались слабыми и иногда, к сожалению, тоже предавали... Но все-таки мы при этом никогда не подпрыгивали от радости. Это как-то не полагалось, считалось неприличным... А жаль этих двух мальчиков. В них было столько чистого, провинциального... Но, боюсь, что теперь из них не получится поэтов..."

Пастернак оказался прав — поэтов из них не получилось.

Поэзия не прощает. Предательство других людей становится предательством самого себя.

Расставаясь, Пастернак сказал:

— Я хочу дать вам один совет. Никогда не предсказывайте свою трагическую смерть в стихах, ибо сила слова такова, что она самовнушением приведет вас к предсказанной гибели. Вспомните хотя бы, как неосторожны были со своими самопредсказаниями Есенин и Маяковский, впоследствии покончившие петлей и пулей. Я дожил до своих лет только потому, что избегал самопредсказаний...

Надпись, которую Пастернак сделал мне на книге в день первого знакомства 3 мая 1959 года, звучит так:

"Дорогой Женя, Евгений Александрович. Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательствами своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем. Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих фор-

мах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак”.

Кажется, Цветаева заметила, что почерк Пастернака был похож на летящих журавлей.

Рано ушедший критик В. Барлас, когда-то открывший мне многое о Пастернаке, писал: ”Многие остаются живыми чересчур долго... Но они выигрывают только годы лжи и страха...” Пастернак тоже боялся, Пастернак тоже не всегда вступал в прямое противоборство с ложью. Но он переступил через свой страх, который мог стать ложью, и, умерев, выиграл дарованные его журавлям долгие годы полета.

1962 — 1989

## ОГРОМНОСТЬ И БЕЗЗАЩИТНОСТЬ

Первое, что возникает при имени ”Маяковский”, — это чувство его огромности.

Однажды после поэтического вечера к усталому, взмокнушему от адовой работы Маяковскому сквозь толпу протиснулась задыхающаяся от волнения студентка. Маяковский на сцене казался ей гигантом. И вдруг студентка увидела, что этот гигант развертывает крошечную прозрачную карамельку и с детской радостью засовывает ее за щеку. У студентки вырвалось: ”Владимир Владимирович, вы, такой огромный, и — эту карамельку?” Маяковский ответил рокошущим басом: ”Что же, повашему, я табуретами должен питаться?”

Своей огромностью Маяковский заслонил свою беззащитность, и она не всем была видна — особенно из зрительного зала. Только иногда прорывалось: ”Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется... Ведь для себя не важно — и то, что бронзовый, и то, что сердце — холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское...” или ”В какой ночи бредовой, недужной, какими Голгофами я зачат, такой большой и такой ненужный?” Иногда тема никому не нужной огромности доходила чуть ли не до самоиздевательства: ”Небо плачет безудержно звонко, а у облачка — гримаска на морщинке ротика, как будто женщина ждала ребенка, а бог ей кинул кривого идиотика”. Впоследствии Маяковский тщательно будет избегать малейшей обмолвки о собственной беззащитности и даже громогласно похвастается тем, что выбросил гениальное четверостишие: ”Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят — что ж, по родной стране пройду стороной,

как проходит косой дождь” — под тем предлогом, что ”ноющее делать легко”. На самом деле Маяковский, видимо, любил это четверостишие и хотел зафиксировать его в памяти читателя хотя бы таким, самонасмешливым способом.

Почему же Маяковский так боялся беззащитности в противовес, скажем, Есенину, чьей силой и являлось исповедальное вышвыривание из себя своих собственных слабостей и внутренних черных призраков? Есенин — замечательный поэт, но Маяковский — огромное, поэтому и его беззащитность — огромное. Чем огромней беззащитность, тем огромней самозащита. Маяковский был вынужден защищаться всю жизнь от тех, кто был меньше его, — от литературных и политических лилипутов, пытавшихся обвязать его, как Гулливера, тысячами своих ниток, иногда вроде бы нежно-шелковыми, но до крови впивавшимися в кожу. Великий Маяковский по-детски боялся уколоться иголкой — это было не только детское воспоминание о смерти отца после случайного заражения крови, но, видимо, постоянное ощущение многих лилипутских иголок, бродивших внутри его просторного, но измученного тела. В детстве Маяковский забирался в глиняные винные кувшины — чури — и декламировал в них. Мальчику нравилась мощь резонанса. Маяковский как будто заранее тренировал свой голос на раскатыстость, которая прикроет мощным эхом биение сердца, чтобы никто из противников не догадался, как его сердце хрупко. Те, кто лично знал Маяковского, свидетельствуют, как легко было его обидеть. Таковы все великаны. Великанское в Маяковском было не наигранным, а природным. Кувшины были чужие, но голос — свой. Поэзия Маяковского — это антология страстей по Маяковскому — страстей огромных и беззащитных, как он сам. В мировой поэзии не существует лирической поэмы, равной ”Облаку в штанах” по нагрузке рваных нервов на каждое слово. Любовь Маяковского к образу Дон Кихота не была случайной. Даже если Дульсинея Маяковского не была на самом деле такой, какой она казалась поэту, возблагодарим ее за ”возвышающий обман”, который дороже ”тьмы низких истин”. Но Маяковский, в отличие от Дон Кихота, был не только борцом с ветряными мельницами и кукольными сарацинами. Маяковский был революционером не только в революции, но и в любви. Романтика любви начиналась в нем с презрительного отказа от общества, где любовь низводилась к ”удовольствию”, к неотъемлемой части комфорта и частной собственности. Романтизм раннего Маяковского особый — это саркастический романтизм. Шлем Мамбрина, бывший на самом деле тазиком цирюльника, служил поводом для насмешек над Дон Кихотом. Но желтая кофта Маяковского была насмешкой над

обществом, в которое он мощно вломился плечом, с гулливеровским добродушием втащив за собой игрушечные кораблики беспомощного без него футуристического флота. Русская поэзия перед началом первой мировой войны была богата талантами, но бедна страстями. В салонах занимались столоверчением. Зачитывались Пшибышевским. Даже у великого Блока можно найти кое-что от эротического мистицизма, когда он позволял своему гениальному перу такие безвкусные строки, как "Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук!" Поэты бросались то в ностальгию по Асаргадонам, то по розоватым брабантским манжетам корсаров, то воспевали ананасы в шампанском, хотя, грешным делом, предпочитали водочку под соленый огурчик, то искали спасения в царскосельском классицизме. Маяковский, как никто, понял всей кожей, что "улица корчится, безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать". Маяковский выдернул любовь из альковов, из пролетов лихачей и понес ее, как усталого обманутого ребенка, в своих громадных руках, оплетенных вздувшимися от напряжения жилами, навстречу ненавистной и родной ему улице.

Центральная линия гражданственности Пушкин — Лермонтов — Некрасов была размыта кровью Ходынки, Цусимы, Девятого января 1905 года, смешанной с крушениями поэтических салонов. Явление Маяковского, заявившего, что пора сбросить Пушкина с парохода современности, казалось поруганием традиций. На самом деле Пушкина в Маяковском было больше, чем во всех классицистах, вместе взятых. В последней, завещательной исповеди "Во весь голос" эта прямая преемственность бесспорна. "Во весь голос" — это "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" пророка и певца революции. Пушкинская интонация явственно прослушивается сквозь грубоватые рубленые строки так не похожего на него внешне потомка. Строки Пушкина "Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим" для своего времени были восстанием против понимания любви как собственности. Потомок впоследствии откликнется голосом прямого наследника: "Чтобы не было любви — служанки замужеств, похоти, хлебов, постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь". В Маяковском проступало и лермонтовское начало — резкость протеста против так называемых правил так называемого общества. "А вы, надменные потомки..." трансформировалось в огрубевшее, как сама эпоха: "Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванну и теплый клозет". С Лермонтовым Маяковского роднила ненависть ко всему тому, что уничтожает в человеке большие страсти, делая людей обезличенно похожими не только в социальных, но и в интимных отноше-

ниях. В Маяковском — и печоринский сардонизм, и отчаяние Арбенина, и задыхающийся, сбивчивый голос затравленного героя "Мцыри". Презрение к тому, что Пушкин и Лермонтов называли "черню", было в генетическом коде Маяковского. Маяковский на собственном опыте понял, что, несмотря на социальные катаклизмы, чернь умеет хитро мимикрировать и выживать. До революции эту духовную чернь он называл буржуями, а после революции — "новоявленными советскими помпадурками", "прозаседавшимися". Третий мощный источник гражданской силы Маяковского — это Некрасов. Маяковский отшучивался, когда его спрашивали о некрасовском влиянии: "Одно время интересовался — не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил". Но это было только полемической позой. Вслушайтесь в некрасовское: "Вы извините мне смех этот дерзкий. Логика ваша немножко дика. Разве для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?" Не только интонация, но даже рифма "дерзкий — Бельведерский" тут маяковская. А разве может быть лучше эпиграф к "Облаку в штанах", чем некрасовское: "От ликующих, праздно болтающих, обгаряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!"?

Итак, бунтарь против традиционности на самом деле стал главным наследником этой великой троицы русской классической поэзии. Маяковский не разрушал стен дома русской поэзии — он только сдирал с этих стен безвкусные обои, ломал перегородки, расширял комнаты. Маяковский был результатом традиций русской литературы, а не их ниспровержением. Не случайно он сам так был похож на стольких литературных героев, представляя собой конгломерат из Дубровского, Безухова, Базарова и Раскольникова. Маяковский отчаянно богохульствовал: "Я думал — ты всеильный божище, а ты недоучка, крохотный божик". Но его взаимоотношения с богом были гораздо сложнее, чем это могло показаться на первый взгляд. Все первые произведения Маяковского пересыпаны библейскими образами. Логическое объяснение простое — когда юный Маяковский сидел в тюрьме, одной из разрешенных книг была Библия. Парадокс заключался в том, что Маяковский восставал против Бога с оружием библейских метафор в руках. Впрочем, революционные идеи часто вступали в противоборство с лицемерием клерикализма именно с этим оружием.

В сатирах Маяковского, без которых он непредставим, проглядывает опять-таки озорной почерк Пушкина — автора "Сказки о попе и работнике его Балде", крыловская разговорная раскованность и ядовитая ироничность Саша Черного (особенно в новосатириконовском периоде работы Маяковского).

Однако последнее влияние не стоит преувеличивать — слишком большая разница в масштабах дарований.

Из мировой литературы Маяковскому близки Данте, Сервантес, Рабле, Гёте. Маяковский дважды проговаривается о Джеке Лондоне, с чьей судьбой у него была трагическая связь. Строчка о химерах собора Парижской богородицы наводила на мысль о Гюго. Ранний Маяковский называл себя "крикогубым Заратустрой сегодняшних дней". Это нельзя принимать на полную веру, так же как эпатирующую жестокость строк: "Я люблю смотреть, как умирают дети" или: "Никогда ничего не хочу читать. Книги — что книги!" Великий писатель не может не быть великим читателем. Маяковский прекрасно знал литературу, иначе бы великого поэта Маяковского не было. В Ницше Маяковского привлекала, конечно, не его философия, которая затем была уродливо экспроприрована фашизмом, но сила его поэтических образов. Перед первой мировой войной среди развала и разброда, среди анемичного оккультизма Ницше казался многим русским интеллигентам бунтарем против духовной крошечности, против нравственного прозябания, против обуржуазивания духа. Но если Ницше видел в войне очищение застоявшейся крови человечества, то Маяковский, несмотря на краткий взрыв ложного патриотизма в начале первой мировой войны, стал первым в России антивоенным поэтом. Многие поэты с исторической неизбежностью еще частично находились в плену гусарской романтизации войны. Маяковский по законам новой исторической неизбежности вырвался из этого плена. Приехавший в Россию и пытавшийся проповедовать красоту войны Маринетти получил непримиримый отпор от своих, казалось бы, собратьев — русских футуристов. Безответственному северянинскому: "Но если надо — что ж, отлично! Коня! Шампанского! Кинжал!" — Маяковский противопоставил кровотокащее: "В гниющем вагоне на 40 человек 4 ноги". Цифровая метафора содрала ложноромантический флер с массовых убийств.

Ницшеанство было только мимолетным увлечением юноши Маяковского, но не пустило глубоких корней в его душе. Прикрученный канатами строк к мосту над рекой времени, герой Маяковского выше, чем сверхчеловек, — он человек. По глобальности охвата, по ощущению земного шара как одного целого Маяковский ближе всех других зарубежных поэтов к Уитмену, которого, видимо, читал в переводах К. Чуковского, спасшего великого американца из засахаренных рук Бальмонта. С Уитменом Маяковского роднит воспевание человеческой энергии, инициативы, физической и нравственной мощи, понимание будущего как "единого человечьего общежития". Однако

право на вход в это общежитие, по Маяковскому, не должно быть предоставлено эксплуататорам, бюрократам, нуворишам от капитализма или от социализма, карьеристам, приспособленцам, мещанам. Для них, по Маяковскому, в будущем места нет — разве только в виде поучительных экспонатов. Уitmenовские границы допуска в будущее несколько размыты, неопределенны. У Маяковского границы допуска в будущее непримиримее, жестче. Разница этих двух поэтов происходит от разницы двух революций — американской и русской. Если говорить о происхождении поэтической формы Маяковского, то корни ее не только в фольклоре и русской классике, о чем я уже говорил выше, но и в новаторстве лучших живописцев начала двадцатого века. Не забудем о том, что Маяковский был сам талантливым художником и в живописи разбирался профессионально. "А черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты" или: "Угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой четкой..." — это язык новой живописи. Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов, Татлин, Матисс, Делонэ, Брак, Леже, Пикассо — их поиски формы на холстах шли по пересекающимся параллелям с поисками Маяковского в поэзии. Однако Маяковский восставал против замыкания формы самой в себе: "Если сотню раз разложить скрипку на плоскости, то ни у скрипки не останется больше плоскостей, ни у художника не останется неисчерпанной точки зрения на эту задачу". Именно поэтому, называя Хлебникова "великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе", Маяковский все-таки оговаривался: "Хлебников — поэт для производителя". Поэтическая генеалогия Маяковского ветвиста, и ее корни можно найти и в других, смежных областях искусства — например в кино. Многие у Маяковского сделано по методу кино-монтажа. Но лишь небольшой поэт может быть рожден только искусством. Из генеалогии Маяковского нельзя выбрасывать его самую главную родительницу — историю. История определила его характер, голос, образы, ритмы. Большой поэт — всегда внутри истории, и история — внутри него. Так было с Пушкиным, и так было с Маяковским. Все, что случилось с революцией, случилось с ним. "Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем". Таков сложный и далеко не полный генезис Маяковского — этого гигантского ребенка истории и мировой культуры, который родился огромным и сразу пошел по земле, оставляя вмятины на булыжных мостовых.

Когда пришла революция, для Маяковского, в отличие от многих интеллигентов, не было вопроса, принимать или не принимать ее. Он был сам ее пророком, ошибшимся всего на один год: "В терновом венце революций грядет шестнадцатый

год". Снобы упрекали Маяковского за то, что он продался большевикам. Но как он мог им продаться, если он сам был большевиком! С другой стороны, догматические критики упрекали Маяковского в анархизме, в индивидуализме, в формализме и т.д. Его большевизм казался им недостаточным. К Маяковскому пытались приклеить ярлык "попутчик" — это к нему, своими руками укладывавшему рельсовый путь социализма! Огромность Маяковского не укладывалась ни в снобистское, ни в догматическое прокрустово ложе — ноги в великанских ботинках непобедимо торчали в воздухе. Их пробовали отрубить — ничего не получалось, крепкие были ноги. Тогда начали пилить двуручной пилой, тянули то в правую, то в левую сторону, забывая, что зубцы идут по живому телу. Но Маяковский не поддавался и перепиливанию — зубцы ломались, хотя и глубоко ранили. Тончайший мастер лирической прозы Бунин, упав до глубокого озлобления, в своей дневниковой книге "Окаянные дни" карикатурно изобразил Маяковского как распоясавшегося "грядущего хама". Есенин, которого постоянно ссорили с Маяковским окололитературные склочники, написал под горячую руку: "А он, их главный штабс-маляр, поет о пробках в Моссельпроме". Сельвинский, сравнивая уход Маяковского из ЛЕФа с бегством Толстого от Софьи Андреевны, доходил до прямых оскорблений: "Его (Толстого. — *Е.Е.*) уход был взрывом плотин, а ваш — лишь бегством с тонущих флотилий. Он жизнью за свой уход заплатил, а вы хотите — чтоб вам заплатили". Даже Кирсанов, введенный Маяковским за руку в поэзию, и тот во время ссоры с учителем допустил явный некрасивый намек на него в стихотворении "Цена руки", о чем, вероятно, сожалел всю жизнь. Вышла целая книга Г. Шенгели "Маяковский во весь рост" издевательского характера. Бойкот писателями выставки Маяковского, выдирка его портрета из журнала "Печать и революция", запрещение выезда за границу в 1930 году, беспрестанное отругивание на выступлениях — все это было тяжело, все это по золотнику и собиралось в смертельную свинцовую каплю. Маяковский был не таким по масштабу поэтом, чтобы уйти из жизни только из-за того, что "любовная лодка разбилась о быт". Причина была комплексной. Но помимо трудностей внешних была огромная, нечеловеческая усталость не только от нападков, но от того невероятного груза, который Маяковский сам взвалил себе на плечи. Маяковский надорвался. Если про Блока говорили, что он "умер от смерти", то Маяковский умер от жизни.

История литературы не знает ни одного примера, когда бы один поэт столько сам взял на себя. "Окна РОСТА", реклама, ежедневная работа в газете, дискуссии, тысячи публичных вы-



ступлений, редактора "ЛЕФ"а, заграничные поездки — все это без единого дня отдыха. Это был героизм Маяковского и его смерть. К революции Россия пришла с семьюдесятью процентами неграмотного населения. Чтобы стать понятным массам, Маяковский сознательно упрощал свой стих, "становясь на горло собственной песне". Великий лирик, гений метафор, не гнушаясь никакой черной работой, писал: "В нашей силе — наше право. В чем сила? В этом какао". "Раз поевши макарон, будешь навсегда покорен". "Стой! Ни шагу мимо! Бери сигареты "Прима"!" "Товарищи, бросьте разбрасывать гвозди на дороге. Гвозди многим попортили ноги". "В ногу шагая, за рядом ряд, идет к победе пролетариат!" "Ткачи и пряжи, пора нам перестать верить заграничным баранам!" "С помощью Резинотреста мне везде сухое место". "Пароход хорош. Идет к берегу. Покорит наша рожь всю Америку". Маяковский сам осознал временность своих агиток: "Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши". В этих строках и горечь, и гордость, — и то и другое — с полным основанием. Ни один поэт добровольно не принес революции столько жертв, как Маяковский, — он жертвовал даже своей лирикой. В этом величие Маяковского и его трагедия. Агитработа Маяковского никогда не была ни политической спекуляцией, ни просто халтурой ради денег, как его в этом часто обвиняли. Маяковский был первым социалистическим поэтом первого социалистического общества. Статус поэта в этом обществе еще не был никем определен. Маяковский хотел присоединить поэзию к государству. Он хотел, чтобы в новом обществе необходимость поэзии была приравнена к необходимости штыка, защищающего революцию, к необходимости завода, вырабатывающего счастье. Он хотел, чтобы поэзия грохотала на эстрадах и стадионах, гремела по радио, кричала с рекламных щитов, призывала с лозунгов, воинствовала в газетах, вещала даже с конфетных оберток. Такой призыв к слиянию поэзии и государства вызывал сомнение в честности намерений поэта не только у врагов советской власти, но и у многих интеллигентов, приветствовавших революцию, однако считавших, что поэзия должна быть государством в государстве. "Отдам всю душу Октябрю и Маю, но только лиры милой не отдам", — писал Есенин. Пастернак выдвигал свою особую позицию поэта в эпоху социальных потрясений: "Мы были музыкой во льду. Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со сцены, и сойду... Гощу — Гостит во всех мирах высокая болезнь".

Творчество и Есенина, и Пастернака преодолело заданность их собственных деклараций — и Есенин не пожалел для революции собственной "милой лиры", и Пастернак оказался в

революции не "гостем", а глубоко равнодушным свидетелем, сказав устами лейтенанта Шмидта: "Я знаю, что столб, у которого я стану, будет гранью двух разных эпох истории, и радуюсь избранью". Но если с Есениным и Пастернаком так произошло помимо их воли, то у Маяковского вся его воля с первых дней революции была направлена на слияние с ней. "Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!" Отношение Маяковского к поэзии как к государственному делу было исторически непривычно — ведь на протяжении стольких лет лучшие поэты России вели борьбу против государства, хотя в них была тоска по тому времени, когда гражданственность сольется с государственностью. В некоторые умы закрадывалось подозрение: а может быть, то, что делает Маяковский, — это придворная поэзия, только при красном дворе? Но зарифмованный подхалимаж придворной поэзии всегда жидился на корыстолюбивой лести. Этого в Маяковском не было. "Страны, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся, но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя". Патриотизм Маяковского был не просто патриотизмом земли, но и патриотизмом идеи. Ради этой идеи, а не корысти ради, он и вел постоянную кампанию за тотальную утилитарность поэзии. На этом он потерял многое — ведь в любой утилитарности искусства есть предварительная обреченность. Маяковский временный иногда побеждал Маяковского вечного. Но даже если ото всей агитработы вечным осталось лишь ее гениальное определение: "Поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката", и тогда это временное оправданно. Ошибки его опыта не надо повторять, но не надо забывать его побед. Маяковский вечный победил Маяковского временного. Но без временного Маяковского не было бы Маяковского вечного.

Существует примитивная теория, имеющая хождение на Западе: Маяковский дореволюционный — поэт протеста, Маяковский послереволюционный — поэт-конформист. Фальшивая легенда. Не было Маяковского ни дореволюционного, ни послереволюционного — существует один неделимый революционный Маяковский. Маяковский всегда оставался поэтом протеста. Поэзия Маяковского — это никогда не прекращавшийся протест против того, что "много всяких разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг". Моральное право бороться с зарубежными мерзавцами Маяковский честно завоевал своей постоянной борьбой с мерзавцами внутренними. Еще в двадцатых он писал: "Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит!" Разве можно автора "Прозаседавшихся", "Бюрокра-

тиады”, ”Фабрики бюрократов”, ”Клопа”, ”Бани” назвать конформистом?

Светлов рассказал мне о своей последней встрече с Маяковским. Маяковский пригласил его сыграть в бильярд в Доме Герцена, описанном у Булгакова, но как-то не игралось. Пригласил выпить, открыл сразу несколько бутылок дорогого французского вина с темным осадком на дне — не пилось. Пошли гулять по Тверской. Маяковский молчал, только папироса прыгала из угла в угол рта (он обычно дожевывал папиросы до огня). Было видно, что Маяковский о чем-то напряженно, мрачно думает. Затем резко остановился напротив Центрального телеграфа, притянул к себе Светлова за лацкан: ”Слушай, Миша, а меня не посадят?” Светлов был ошеломлен, пытался превратить это в шутку: ”Что вы, Владимир Владимирович. Как же можно посадить вас, первого поэта революции?” Маяковский угрюмо ответил: ”Это-то и страшно, Миша...” — и прекратил разговор на эту тему. Светлов этой же ночью уехал в Ленинград на выступления и через несколько дней узнал о самоубийстве Маяковского... Было ли это на самом деле самоубийством?

В 1953 году в разгар погромной антисемитской кампании вокруг дела ”врачей-отравителей” шла дискуссия о традициях Маяковского. Выступивший Симонов сделал ужаснувшее меня предположение о том, что если бы Маяковский был жив, то написал бы стихи, клеймящие ”убийц в белых халатах”. Неужели так могло случиться? Это было бы хуже убийства. Но все-таки Маяковский трудно представим, как, впрочем, и Есенин, после тридцать седьмого года. Это страшно говорить, но оба они ушли вовремя, потому что ушло их время.

1978 — 1989

## САМЫЙ РУССКИЙ ПОЭТ

Да не обидятся на меня ни мертвые, ни живые, но именно так я думаю о Есенине. Это не означает самый великий.

Поэзия Есенина — явление самородное. Есенинская интонация обладает волшебным блеском того минерала, который существует лишь в структуре русской земли. Поэзия Есенина — дитя только русской природы и только русского языка, включая сказки, частушки, крестьянские песни, пословицы и поговорки, полусохранившиеся с древних времен заклинания, причитания, обрядовые хоры.

Многие поэтические современники Есенина писали под

влиянием Бодлера, Верхарна, Уитмена, Метерлинка, а иногда Ницше и даже Пшибышевского. В символистах чувствовалось влияние импрессионистской живописи, в футуристах — раннего кубизма. А Есенин начал писать так, как будто всего этого не было, а были только березы, песни под тальянку на околицах да иконы в красных углах изб.

Журналы "Весы", "Аполлон", "Мир искусства", все литературные и окололитературные дискуссии того времени не оказали никакого влияния на раннего Есенина, как будто не существовали. Это не было нарочитым отгораживанием от культуры. Есенин не был таким уж малограмотным, как хотелось бы тем его подражателям, которые самодовольно прозябают в надменной малограмотности. Они считают, что достаточно воскликнуть "Гой, ты Русь...", и они — Есенины. Квасное бодрчество Есенину было вовсе не свойственно. Оно свойственно людям с психологией лавочников, а не крестьян. Психология лавочников зиждется на крикливой гордости своими народными корнями, хотя корни эти ими самими давно обрублены. Человек с действительно глубокими корнями не хвастается ими, потому что это для него так же нелепо, как хвастаться собственными ногами, на которых он стоит. Хвастаются обычно тем, чего нет: бессовестные — совестью, трусы — смелостью. В народных песнях, таких, как "Догорай, гори, моя лучина...", "Славное море — священный Байкал", "Что стоишь, качаясь, тонкая рябина", нет никакого национального хвастовства, и поэтому эти песни — подлинно народные.

Есенин — самый русский поэт, потому что никто, кроме него, не умел так, "по-русски рубаху рванув на груди", вывернуть, выпотрошить всю свою душу и даже сам себя обвинить так, как и худшему его врагу в голову не приходило. Это — чисто русская черта. Эта черта иногда напоминает фразу "самоуничжение — паче гордости". Покаешься, поколотишь слезно в свою грешную грудь кулаком, а потом можно снова грешить... Но для нормального русского человека эта вывернутость не просто самоуничижение, а самоочищение, превратившееся в необходимость. Среднему американцу, например, несвойственно выкладывать всю душу полужнакомому человеку, каюсь во всех своих слабостях и прегрешениях. Средний американец умело прячет личные трагедии под ослепительной улыбкой и способен на случайную исповедь лишь в шоковом состоянии. В ковбойских песнях на первое место всегда ставится сила, физическое мужество. Героиня русских народных песен — жалость. В народном русском понятии искренность — это и есть главная сила человека. Если американец спрашивает американца: "Хау ду ю ду?", то он даже не ожидает ответа — вопрос

чисто формальный. Конечно, и у нас вопрос "Как жизнь?" часто носит формальный характер, но порой с деловитой равнодушностью задаешь этот вопрос и можешь немедленно нарваться на мучительную исповедь, доходящую до полного самообнажения.

Если Есенин не "дотягивает" до Блока и Пастернака в их культуре, а до Маяковского — в его ораторской мощи, то своей исповедальностью он "перетянул" их всех, вместе взятых. Поэтому Есенин и стал самым любимым поэтом людей, для которых Блок или Пастернак слишком сложны из-за тонких ассоциаций, трудно воспринимаемых, а Маяковский слишком грубоват, потому что его ломаный стих совсем непохож на народную песню. Есть только одна культура, которая всеобща. Это культура искренности. Есенин был несравним ни с кем по этой культуре. Он написал самого себя с такой беспощадностью, на какую никто ни до него, ни после него не оказался способен.

Вся поэзия Есенина — это огромная поэма о нем самом, Сергее Есенине. Когда толпы людей приходят на могилу к Есенину и читают его стихи, то они приходят не просто к автору этих стихов, а прежде всего к человеку, написанному в этих стихах, узнавая в нем самих себя. До сих пор многие читатели называют Есенина ласково, как закадычного кореша, Сережа...

Говорят, что Есенин — наиболее труднопереводимый поэт. Не удивляюсь. Для того чтобы перевести Есенина, надо уметь переводить шелест ржи. А рожь везде шелестит по-разному: и в Шотландии, и в Рязани.

У Василия Казина есть стихотворение "Гармонист":

Было тихо. Было видно дворнику,  
Как улегся ветер под забор,  
И позевывал... Но вдруг с гармоникой  
Гармонист вошел во двор.

...Закачались корпуса фабричные,  
Далью, далью опьянясь.  
Ягодами земляничными  
Стала сладко бредить грязь.

Есенин вошел в поэзию, как этот гармонист, и грязь московских улиц под пролетками лихачей, увозивших куда-то незнакомок Блока, и под редкими еще автомобилями забредила ягодами той глубины России, "где вековая тишина". Но тишина была только кажущейся. Поэт, выходящий из тишины, уже есть ее нарушение. На том историческом этапе, когда основная часть населения России была крестьянством, выразить настрой

простой родной русской души мог только выходец из этой среды. Для Пушкина связующей нитью с этой средой была няня. Некрасов тянулся к этой среде, ища в ней гражданское самоискупление. Но и он, как Тургенев, хаживал в эту среду в охотничьих сапогах. Порыв Толстого к плугу и лаптям был порывом мук совести за грехи барства. Но "хождение в народ" писателей закончилось хождением народа в писатели. Первой зарницей, предвещавшей появление крестьянского солнца в поэзии, был Кольцов. Есенин стал этим крестьянским солнцем, затуманенным копотью фабричных труб.

Написав:

Неизреченностью животной  
Напоены твои холмы, —

он стал изреченностью этих холмов.

Есенин не случайно был неопределенен в происхождении своего дара:

Кто-то тайным тихим светом  
Напоил мои глаза...

Он мог бы сказать — Бог, но не сказал. Он мог бы сказать — народ, но не сказал. Он оставил это "кто-то", в котором были и Бог, и народ, и родная природа...

"Религиозность" Есенина была в "религиозном" отношении к родной земле: исконно крестьянское чувство, корни которого в язычестве и, наверное, еще в доязычестве.

Когда Есенин завещал:

Чтобы за все грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать, —

это было не смиренное подчинение попам, не покаянное пожелание заблудшего грешника вернуться в лоно церкви, а ощущение крестьянской избы как церкви своей веры. Если бы Есенин дождал до наших лет, когда городские охотники за иконами опустошили стены крестьянских изб, увешивая Николаями Угодниками и Богородицами по недостатку места столичные прихожие, кухни и чуть ли не туалеты, то "завещание" Есенина, возможно, было бы иным.

Природа, по Есенину, была живым существом, а все живые существа — природой.

Будь моя воля, на одном из его памятников я бы высек четыре строки:

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
 Мял цветы, валялся на траве.  
 И зверье, как братьев наших меньших,  
 Никогда не бил по голове.

С пессимистической точки зрения, обреченность есть в каждом ребенке, потому что он когда-нибудь умрет. У зверей все инстинкты сильней, искренней, чем у человека, в том числе — инстинкт смерти, и поэтому звери никогда не смеются — разве улыбаются хвостом. Но глаза зверей всегда печальны, ибо в них предчувствие конца. Мы, люди, склонны к самообману и охотно наполняем наши глаза блеском маленьких радостей, прикрывающих от нас и от окружающих неотвратимость нашего неизбежного исчезновения. А ведь над всеми нами невидимо кружит призрак смерти, выбирая — кто следующий.

Достоевский в "Братьях Карамазовых" писал об ощущениях осужденного: "Сидя на своей колеснице, он должен именно чувствовать, что перед ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница еще подвигается — о, ничего; до поворота во вторую улицу еще так далеко, а вот он все еще бодро смотрит направо, и налево, и на эти тысячи безучастных любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему все еще мерещится, что он такой же, как они, человек".

Разгадка раннего ухода Есенина именно в безучастном любопытстве, с которым многие глаза, видевшие его трагедию, только наблюдали ее, а не пытались остановить. Есенин не сумел при жизни победить окружавших его литературных "прилипал", ссоривших его с другими, не менее одинокими, великими поэтами. Эти "прилипалы" его и предали в страшный момент вакуума вокруг. Фурманов точно заметил: "В "Пугачеве" сказался Есенин: есенинский Пугачев сентиментальный романтик..." Помните, как преданный своими "прилипалами" предсмертно хрипит Пугачев:

...А казалось... казалось еще вчера...  
 Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Но Есенин победил своих "прилипал" после смерти.  
 Он так боялся душевной опустошенности:

Мне страшно — ведь душа проходит,  
 Как молодость и как любовь.

Его опасения были напрасны. Душа, отданная другим, не проходит.

## СТИХИ НЕ МОГУТ БЫТЬ БЕЗДОМНЫМИ...

Когда кончается материнская беременность нами, начинается беременность нами — дома. Мы еще не совсем родились, пока барахтаемся в его деревянном или каменном чреве, протягивая свои еще беспомощные, но уже яростные ручонки к выходу — из дома. Вместе с чувством крыши над головой возникает тяга — к двери. Что там, за ней? Пока мы учимся ходить внутри дома, мы все еще не родились. Наш первый крик, когда мы спотыкаемся неумелыми ножонками о камни вне дома, — это подлинный крик рождения. Характер проверяется там, где родные стены уже не защищают. Тяга из дома вовсе не означает ненависти к дому. Эта тяга — желание испытать себя в схватке с огромным неизвестным миром, а такое желание выше простого любопытства: оно — основа мятущегося человеческого духа, ибо духу тесны любые стены. Тезис "мой дом — моя крепость" — символ слабости духа. Дух сам по себе крепость, если даже не обнесен никакими стенами. Без уважения к дому нет человека. Но нет человека и нет писателя без тяги — из дому. Жизнь подсовывает другие дома, иногда даже прикидывающиеся родными, дома, всасывающие внутрь, как трясина, дома, похожие на колыбели, убаюкивающие совесть. Но настоящий человек, настоящий писатель мучительно рвется к единственному комфорту — к жестокому нищему комфорту свободы. Разве не любил Лев Толстой Ясную Поляну? Но когда он почувствовал в своем доме нечто сковывающее, опутывающее его, он бросился к двери, за которой была неизвестность и свобода хотя бы смерти. Джек Лондон искусственно пытался создать свободу внутри строившегося им в Лунной Долине "Дома Волка", но, может быть, он сам его поджег, чувствуя, как давят каменные стены, и страдая ностальгией не по дому, а по юношеской бездомности? Ностальгия по бездомности неоскорбительна и для отеческого дома — в ней тоска по слиянию с человечеством, где бездомны люди, где бездомны справедливость, совесть, равенство, братство, свобода. Александр Блок сам вызывал на себя удары судьбы: "Пусть я умру под забором, как пес!"

Высокая бездомность духа, восстающая против красиво мебелированной бездуховности, — не это ли отеческий дом искусства? Бездомность — это человеческое горе, и только в глазах, затянутых жиром, горе — позорно. Об этом с очистительным покаянием точно сказал Пастернак:



И я испортился с тех пор,  
 Как времени коснулась порча,  
 И горе возвели в позор,  
 Мещан и оптимистов корча.

Одна великая женщина, может быть, самая великая женщина из всех живших когда-нибудь на свете, с отчаянной яростью вырыдала:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст...

Имя этой женщины — Марина Цветаева.

Домоненавистница? Храмоненавистница? Марина Цветаева... Уж она ли не любила своего отеческого дома, где она помнила до самой смерти каждую шероховатость на стене, каждую трещинку на потолке. Но в этом доме, в спальне ее матери, висела картина, изображавшая дуэль Пушкина. "Первое, что я узнала о Пушкине, — это то, что его убили... Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот... Так с трех лет я твердо узнала, что у поэта есть живот... С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове "живот" для меня что-то священное, даже простое "болит живот" меня заливаает волной содрогающегося сочувствия, исключаяющего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили". Так внутри даже любимого отеческого дома, внутри трехлетней девочки возникло чувство бездомности. Пушкин ушел в смерть — в невозвратимую, страшную, вечную бездомность, и для того чтобы ощутить себя сестрой ему, надо было эту бездомность ощутить самой. Потом, на чужбине, корчась от тоски по родине и даже пытаясь издеваться над этой тоской, Цветаева прохрипит, как "раненое животное, кем-то раненное в живот":

Тоска по родине! Давно  
 Разоблаченная морока!  
 Мне совершенно все равно —  
 Где — совершенно одинокой  
 Быть, по каким камням домой  
 Брести с кошелкою базарной  
 В дом, и не знающий, что — мой,  
 Как госпиталь или казарма...

Она даже с рычанием оскалит зубы на свой родной язык, который так обожала, который так умела нежно и яростно мять своими рабочими руками, руками гончара слова:

Не обольщусь и языком  
 Родным, его призывом млечным.  
 Мне безразлично — на каком  
 Непонимаемом быть встречным!

Дальше мы снова натываемся на уже процитированные "домоненавистнические" слова:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст...

Затем следует еще более отчужденное, надменное:

И все — равно, и все — едино...

И вдруг попытка издевательства над тоской по родине беспомощно обрывается, заканчиваясь гениальным по своей глубине выдохом, переворачивающим весь смысл стихотворения в душераздирающую трагедию любви к родине:

Но если по дороге — куст

Встает, особенно — рябина...

И все. Только три точки. Но в этих точках — мощное, бесконечно продолжающееся во времени, немое признание в такой сильной любви, на какую неспособны тысячи вместе взятых стихотворцев, пишущих не этими великими точками, каждая из которых, как капля крови, а бесконечными жиденькими словами псевдопатриотические стишки. Может быть, самый высокий патриотизм — он именно всегда таков: точками, а не пустыми словами?

И все-таки любовь к дому, — но через подвиг бездомности. Таким подвигом была вся жизнь Цветаевой. Она и в доме русской поэзии, разделенном на гостиные, салоны, коридоры и литературные кухни, не очень-то уживалась. Ее первую книжку "Вечерний альбом" похвалили такие барды, как Брюсов, Гумилев, считавшиеся тогда законодателями мод, но похвалили с некоторой снисходительностью, прикрывавшей инстинктивную опаску. От еще совсем юной Цветаевой шел тревожный запах огня, угрожающего внешней налаженности этого дома, его перегородкам, которые легко могли воспламениться. Цветаева недаром сравнила свои стихи с "маленькими чертями, ворвавшимися в святилище, где сон и фимиам". Она, правда, не доходила до такого сознательного эпатажа, как футуристы, призывавшие сбросить Пушкина с парохода современности. Но, однако же, услышать от двадцатилетней девочки такие самонадеянные строки, как, например:

Разбросанным в пыли по магазинам

(Где их никто не брал и не берет!)

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед —

было не совсем приятно поэтам, уверенным в драгоценности стихов только из собственного винограда. В ней было нечто вызывающее, в этой девчонке. Вся поэзия, например, Брюсова, была как аккуратно обставленная полумузейная гостиная в Доме Поэзии.

А поэзия Цветаевой не могла быть ни вещью в этом доме,

ни даже комнатой — она была вихрем, ворвавшимся в дом и перепутавшим все листочки эстетских стихов, переписанных каллиграфическим почерком. Впоследствии Цветаева скажет: "Всему под небом есть место — и предателю, и насильнику, и убийце, а вот эстету — нет! Он не считается, он выключен из стихии, он — нуль". Цветаева, несмотря на свой кружевной воротничок недавней гимназистки, явилась в Дом Поэзии, как цыганка, как пушкинская Мариула, с которой она любила себя сравнивать. А ведь цыганство — это торжествующая над домовитостью бездомность. Уже в первых цветаевских стихах была неизвестная доселе в русской женской поэзии жесткость, резкость, впрочем, редкая и даже среди поэтов-мужчин. Эти стихи были подозрительно неизящны. Каролина Павлова, Мирра Лохвицкая выглядели рядом с этими стихами, как рукоделие рядом с кованым железом. А ведь ковали-то еще совсем девичьи руки! Эстеты морщились: женщина-кузнец — это неестественно. Поэзия Ахматовой все-таки была более женственна, с более мягкими очертаниями. А тут — сплошные острые углы! Цветаевский характер был крепким орешком — в нем была пугающая воинственность, дразнящая, задиристая агрессивность. Цветаева этой воинственностью как бы искупала сентиментальную слюнявость множества томных поэтессочек, заполнявших в то время своей карамельной продукцией страницы журналов, реабилитируя само понятие о характере женщин, показывая своим примером, что в этом характере есть не только кокетливая слабонервность, шармирующая пассивность, но и твердость духа, и сила мастера.

Я знаю, что Венера — дело рук,  
Ремесленник, — я знаю ремесло.

В Цветаевой ничего не было от синечулочного суфражизма — она была женщиной с головы до пят, отчаянной в любви, но сильной и в разрывах. Мятежничая, она иногда признавала "каменную безнадежность всех своих проказ". Но независимостью всего своего творчества, своего жизненного поведения она, как еще никто из женщин-поэтов, боролась за право женщин иметь сильный характер, отвергая устоявшийся во многих умах женский образ женственности, саморастворения в характере мужа или любимого. Взаиморастворение двоих друг в друге — это она принимала как свободу и так умела радоваться пусть недолгому счастью:

Мой! — и о каких наградах.  
Рай — когда в руках, у рта —  
Жизнь: распахнутая радость  
Поздороваться с утра!

Где же она — мятежница, гордячка? Какие простые, выды-

шанные, любящие слова, под которыми подпишется любая счастливая женщина мира. Но у Цветаевой была своя святая заповедь: "Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!" Этого она не отдавала никому ни за какое так называемое счастье. Она не только умела быть счастливой, но умела и страдать, как самая обыкновенная женщина.

Увозят милых корабли,  
 Уводит их дорога белая...  
 И стон стоит вдоль всей земли:  
 "Мой милый, что тебе я сделала?"

И все-таки счастьем подчиненности в любви она предпочитала несчастью свободы. Мятеежница просыпалась в ней, и "цыганская страсть разлуки" бросала ее в бездомное "куда-то":

Как правая и левая рука —  
 Твоя душа моей душе близка.  
 Мы смежены блаженно и тепло,  
 Как правое и левое крыло.  
 Но вихрь встает — и бездна пролегла  
 От правого — до левого крыла!

Что было этим вихрем? Она сама. То, что блюстители морали называют "вероломством", она называла верностью себе, ибо эта верность — не в подчинении, а в свободе.

Никто, в наших письмах роаясь,  
 Не понял до глубины,  
 Как мы вероломны, то есть —  
 Как сами себе верны.

Я не знаю ни одного поэта в мире, который бы столько писал о разлуке, как Цветаева. Она требовала достоинства в любви и требовала достоинства при расставании, гордо забывая свой женский вопль внутрь и лишь иногда его не удерживала. Мужчина и женщина при расставании в "Поэме Конца" говорят у нее, расставаясь, как представители двух равновеликих государств, с той, правда, разницей, что женщина все-таки выше:

— Я этого не хотел.  
 Не этого. (Молча: слушай!  
 Хотеть, это дело тел,  
 А мы друг для друга — души.)

Но могут ли обижаться мужчины на женщину-поэта, которая даже самому любимому своему на свете человеку — Пушкину — в воображенном свидании отказала опереться на его руку, чтобы взойти на гору. "Сама взойду!" — гордо сказала мятеежница, внутри почти идолопоклонница. Впрочем, я немножко спутал и упростил ситуацию. Гордость Цветаевой была такова, что она была уверена: Пушкин уже по ее первому

слову знал бы, "кто у него на пути", и даже не рискнул бы предложить руку, чтобы идти в гору. Впрочем, в конце стихотворения Цветаева все-таки сменяет гордость на милость и разрешает себе побежать вместе с Пушкиным за руку, но только вниз по горе. Стношение Цветаевой к Пушкину удивительно: она его любит и ревнует, и спорит с ним, как с живым человеком. В ответ на пушкинское:

Тьмы низких истин нам дороже

Нас возвышающий обман —

она пишет: "Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины". С какой яростью, даже, может быть, переходящей в женскую карающую несправедливость, говорит Цветаева о жене Пушкина за то, что та после Пушкина позволила себе выйти за генерала Ланского. Впрочем, эта гордость самозащитительная звучит и в феноменальном стихотворении "Попытка ревности". "После мраморов Каррары как живется вам с трухою гипсовой?" Маяковский боялся, чтобы на Пушкина не "навели хрестоматийный глянец". В этом Цветаева — с Маяковским. "Пушкин — в роли монумента? Пушкин — в роли мавзолея?" Но опять вступает гордость профессионала. "Пушкинскую руку жму, а не лижу". Своей великой гордостью Цветаева рассчиталась за всю "негордость" женщин, утративших свое лицо перед лицом мужчин. За это ей должны быть благодарны женщины всего мира. Цветаева мощью своего творчества показала, что женская любящая душа — это не только хрупкая свечка, не только прозрачный ручеек, созданный для того, чтобы в нем отражался мужчина, но и пожар, перекидывающий огонь с одного дома на другой. Если пытаться найти психологическую формулу поэзии Цветаевой, то это, в противовес пушкинской гармонии, разбиение гармонии стихией. Существуют любители вытягивать из стихов афористические строчки и по ним строить концепцию того или иного поэта. Конечно, такой эксперимент можно проделать и со стихами Цветаевой. У нее есть четкие философские отливки, как, например: "Гений тот поезд — на который все опаздывают". Но ее философия — внутри стихии жизни, становящейся стихией стиха, стихией ритма, и сама ее концепция — это стихия. Сердце настоящего поэта — это дом бездомности. Поэт не боится впустить в себя стихию и не боится быть разорванным ею на куски. Так произошло, например, с Блоком, когда он впустил в себя революцию, которая сама написала за него гениальную поэму "Двенадцать". Так было и с Цветаевой, впускаявшей в себя стихию своих личных и гражданских чувств и единственно чему подчинявшуюся — так это самой стихии. Но для того чтобы стихия жизни стала стихией искус-

ства, нужна жестокая профессиональная дисциплина. Стихии Цветаева не позволяла хозяйничать в ее ремесле — здесь она сама была хозяйкой.

Марина Ивановна Цветаева — выдающийся поэт-профессионал, вместе с Пастернаком и Маяковским реформировавшая русское стихосложение на много лет вперед. Такой замечательный поэт, как Ахматова, которая так восхищалась Цветаевой, была лишь хранительницей традиций, но не их обновителем, и в этом смысле Цветаева выше Ахматовой. "Меня хватит на 150 миллионов жизней", — говорила Цветаева.

К сожалению, и на одну, свою, не хватило.

В. Орлов, автор предисловия к однотомнику Цветаевой, вышедшему в СССР в 1965 году, оскорбительно упрекает поэта в том, что она "злобно отвернулась от громоносной народной стихии". Злоба — это уже близко к злодейству, а по Пушкину: "Гений и злодейство — две вещи несовместные". Цветаева никогда не впадала в политическую злобу — она была слишком великим поэтом для этого. Ее восприятие революции было сложным, противоречивым, но эти противоречия отражали метания и искания значительной части русской интеллигенции, вначале приветствовавшей падение царского режима, но затем отшатнувшейся от революции при виде крови, проливаемой в гражданской войне.

Белым был — красный стал:  
Кровь обагрила.  
Красным был — белым стал:  
Смерть побелила.

Это была не злоба, это был плач.

Не случайно Цветаевой так трудно оказалось в эмиграции, потому что она никогда не участвовала в политическом злобстве и стояла выше всех групп и группочек, за что ее и клевали тогдашние законодатели мод. Их раздражала ее независимость, не только политическая, но и художественная. Они цеплялись за прошлое, ее стих рвался в будущее. Поэтому он оказался бездомен в мире прошлого.

Цветаева не могла не вернуться в Россию, и она это сделала. Она сделала это не только потому, что жила за границей в ужасающей бедности. (Страшно читать ее письма чешской подруге Анне Тесковой, когда Цветаева просит прислать ей в Париж приличное платье на один чудом полученный концерт, ибо ей не в чем было выступать.) Цветаева сделала это не только потому, что великий мастер языка не могла жить вне языка. Цветаева сделала это не только потому, что презирала окружающий ее мелкобуржуазный мир, заклеянный ею в "Читателях

газет”, в ”Крысолове”, не только потому, что ненавидела фашизм, против которого она так гневно выступала в своих чешских стихах.

Когда-то, еще до революции, встретив в Крыму своего будущего мужа Сергея Эфрона, Цветаева поклялась никогда не покидать его. Родине такой клятвы она не давала. Но когда Эфрон вернулся в СССР, две тоски, две безвинных вины переплелись, перепутались, мучали совесть тем, что она покинула, оставила, бросила что-то дорогое, незащищенное, родное. Цветаева не могла знать о том, какие кровавые варфоломеевские ночи пережила ее Родина в середине тридцатых. Тем не менее она вернулась в 1939 году. Ее не расстреляли, не сослали в лагерь — ее медленно начали казнить незамечанием, непечатаанием, арестами самых дорогих людей вокруг нее. Вскоре были арестованы Сергей Эфрон, дочь Аля, затем ее сестра Анастасия. Все это по волоконцу свивалось в ту петлю, которая в конце концов удушила Цветаеву. Встреча с Ахматовой взволновала ее, но разочаровала тем, что не случилось ожидаемой близости. Большой теплоты она ожидала и от Пастернака — он помог ей, чем мог, но мог он немного. По трагическому совпадению именно он принес Цветаевой для упаковки эвакуационных чемоданов ту самую веревку да еще и пошутил: ”На такой веревке хоть вешайся — не оборвется...”

Цветаева была отправлена вместе с сыном Муром в Елабугу. Оттуда она послала так и оставшееся безответным письмо в Союз писателей Татарии с просьбой дать ей переводы. В качестве гонорара Цветаева просила мыла и махорки. Но почти весь Союз писателей Татарии был тогда арестован. Цветаева помогала в стирке белья местной милиционерше, за что та ее подкармливала. Цветаева ездила в Чистополь, написала письмо на имя Асеева с просьбой устроить ее судомойкой в писательскую столовую. Не выдержав ”бездны унижений”, Цветаева однажды утром отправила сына Мура на строительство аэродрома, а сама повесилась в низеньких сених, привязав веревку к толстому граненому гвоздю для вешания хомутов и рыбацких снастей.

Цветаева вряд ли надеялась найти себе ”домашний уют” — она дом искала не для себя, а для своего сына и, главное, для своих многочисленных детей-стихов, чьей матерью она была, и она — при всей своей обреченности на бездомность — знала, что дом ее стихов — Россия. Возвращение Цветаевой было поступком матери своих стихов. Поэт может быть бездомным, стихи — никогда.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ГУМИЛЕВА

Один русский поэт, не самоуничижаясь, а с трезвой гордостью профессионала, однажды написал:

Превозносителям мы отвечаем — нет!

Имя его было Николай Гумилев. Для многих сегодняшних молодых читателей он остается легендой. Его пожелтевшие сборнички можно встретить лишь под стеклом букинистических прилавков. Из рук в руки гуляют заботливо, а иногда и небрежно перепечатываемые на машинке гумилевские стихи. К сожалению, после смерти Гумилева в 1921 году не вышло ни одной итоговой книги, не было опубликовано ни одного серьезного ориентирующего исследования о его жизни и творчестве. Некоторыми западными советологами Гумилев интерпретируется как убежденный борец против большевизма, а в некоторых советских врезках к нынешнему столетнему юбилею Гумилева его сложный поэтический и жизненный путь косметизируется чуть ли не под оперный образ "Гей, славяне!". Обе тенденции не имеют ничего общего с реальным наследием Гумилева. Поэзия, по пастернаковскому выражению, должна быть "страной вне сплетен и клевет".

В 1921 году Гумилев был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Добавлю, однако, следующее: нет никаких доказательств о том, что Гумилев был замешан в боевых контрреволюционных действиях. Одна поэтесса в своих мемуарах рассказывает, как Гумилев, будучи мало знакомым с ней, показывал ей на своей квартире револьвер и пачки денег — это слишком по-мальчишески для профессионального конспиратора. Одна из белогвардейских легенд гласит, что Гумилев перед расстрелом якобы пел "Боже, царя храни...". Если так оно было на самом деле, то Гумилев мог сделать это только из духа противоречия, а вряд ли из убежденности, ибо неизвестно ни одно монархистское высказывание Гумилева, и вообще монархизм в его кругу считался дурным тоном. Русский священник А. Туринцев, живущий в Париже, вспоминал, что однажды на офицерском банкете после традиционного тоста за государя императора все встали, а Гумилев остался сидеть и демонстративно выплеснул шампанское через плечо. Известный своими правыми взглядами Г. Струве пишет: "В 1916 году Гумилев провел в Петербурге несколько месяцев, будучи откомандирован для держания офицерского экзамена при Николаевском кавалерийском училище. Экзамена этого Гумилев почему-то (! — *Е.Е.*) не выдержал и производства в следующий после прапорщика чин так и не получил". В плане гипотезы: не произошел ли тот офицерский банкет именно в Николаевском училище? В



справочнике Б. Козьмина "Писатели современной эпохи" (Москва, 1928) приводится и другой любопытный факт, значительно усложняющий взгляд на отношение Гумилева к революции: в бытность его в Грузии юный Гумилев увлекался социализмом, занимался агитацией среди крестьян. Я — не архивный исследователь, но вот мое предположение, основанное на простом сопоставлении фактов, мне известных: в Гумилеве, как и во многих интеллигентах его круга, происходила мучительная душераздирающая борьба, толкавшая его из одной стороны в другую. Поэзия — это тоже факт биографии, и если Гумилев был убежденным сложившимся контрреволюционером, то почему же у него не было ни одного контрреволюционного стихотворения? Даже стихотворение "Рабочий", в котором Гумилев предугадал свою трагическую гибель, нельзя занести в такой разряд.

Я к безоговорочным поклонникам Гумилева не принадлежу. Я благодарно знаю на память стихотворений десяти Гумилева и русской поэзии без него представить не могу, но не считаю Гумилева великим поэтом. Великий поэт — это не автор отдельных великих стихов, а соавтор истории народа. Но даже одно великое стихотворение из национальной поэзии не вынешь. Б. Эйхенбаум когда-то заметил: "Русь пока не дается Гумилеву: чужое небо было ему свойственней". Блок был еще жестче, беспощадней, говоря об акмеизме: "В стихах самого Гумилева было что-то холодное, иностранное..." или: "Н. Гумилев и некоторые другие "акмеисты", несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма, они спят непробудным сном без сновидений: они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии, а следовательно и в себе самих, они замалчивают самое главное, единственно ценное — душу". Блок, правда, добавил: "Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова..." Суровый приговор. На мой взгляд, излишне суровый. Гумилев, несмотря на весь его акмеистский напыщенный вождизм, тоже был исключением. Горький в свое время заметил, что никакого футуризма, в сущности, нет, а есть только большой поэт — Маяковский. Не было и акмеизма, а были только Ахматова и Гумилев. Жизнь развела их, но соединила посмертно в истории литературы. У Ахматовой меньше плохих стихов, чем у Гумилева, и больше хороших, но не забудем, что Гумилев ушел из жизни тридцатисемилетним, а Ахматова дожила до глубокой старости. Ахматова никогда не увлекалась игрой в литературное лидерство, и вкус ее был тоньше, без оскальзывания в такой тогдашний

предреволюционный ложноромантический антураж, как у Гумилева:

Страстная, как юная тигрица,  
Нежная, как лебедь сонных вод,  
В темной спальне ждет императрица,  
Ждет, дрожа, того, кто не придет.

или:

Я подошел, и вот мгновенный,  
Как зверь, в меня вцепился страх:  
Я встретил голову гиены  
На стройных девичьих плечах.

Зато мало у кого можно найти такой мощный по концентрации мысли и стихотворной плоти шедевр, принадлежащий не только русской, но и мировой поэзии, как "Шестое чувство" Гумилева:

Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей  
Над холодеющими небесами,  
Где тишина и неземной покой,  
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.  
Мгновение бежит неудержимо,  
И мы ломаем руки, но опять  
Осуждены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,  
Следит порой за девичьим купаньем  
И, ничего не зная о любви,  
Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах  
Ревела от сознания бессилья  
Тварь скользкая, почуя на плечах  
Еще не появившиеся крылья;

Так, век за веком — скоро ли, Господь? —  
Под скальпелем природы и искусства,  
Кричит на дух, изнемогает плоть,  
Рождая орган для шестого чувства.

Здесь у Гумилева — тютчевская, почти пушкинская сила. Мысль, ставшая музыкой, или музыка, ставшая мыслью? До сих пор грозно и предупредительно звучат гумилевские строки о забвении первородного могущества Слова как обвинение всем разбазаривателям слов:

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово среди земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом  
Скудные пределы естества,  
И, как пчелы в улье опустелом,  
Дурно пахнут мертвые слова.

Гумилев стеснялся быть сентиментальным, защищаясь жестким панцирем мужества, но иногда у него щемяще вырывалось, как будто сдавленный крик о помощи:

Крикну я... Но разве кто поможет, —  
Чтоб моя душа не умерла?  
Только змеи сбрасывают кожи,  
Мы меняем души, не тела.

Другое его замечательное стихотворение "Заблудившийся трамвай" с пронзительным — даже не выкриком, а выхрипом: "Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон" — кончается неожиданным, незащищенным, сдавленным всхлипом одинокого, разуверившегося в своих блужданиях и заблуждениях человека:

Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить.

Весь романтический флер, сквозь который Гумилев старался смотреть на реальность, смешивая ее с ирреальностью, все-таки стоил хотя бы того, чтобы написать такие две строфы, изумительные по пластике, звукописи и завораживающей визуальности:

И, взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Ключья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сыплется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет.

В этих строках, да и в самом Гумилеве есть что-то неистребимо мальчишеское от тех гимназистов, которые, начитавшись Майн Рида и Фенимора Купера, хотели бежать внутрь книг от жизни, совсем не похожей на книги. На фотографиях, где он то во фраке, то в турецкой феске, то в форме прапорщика с двумя Георгиями, все равно Гумилев выглядит мальчишкой, страшно старающимся быть взрослым, усиленно мужественным, важным. Наверно, именно это мальчишество и толкало его то в Африку, то на Галицийские поля, то на трибуну литературных дискуссий с громкими, по-детски наивно-напыщенными манифестами... Блок, раздраженный позерством Гумилева, не разглядел под ним застенчивости, мучительной невысказанности, неуверенности в себе, свойственной всем подросткам, в том числе и вечным. В. Ходасевич писал о Гумилеве в своих воспоминаниях: "Он всегда казался мне ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной..." Но сквозь гимназичество проступало и серьезное, пророческое:

И умру я не на постели,  
 При нотариусе и враче,  
 А в какой-нибудь дикой щели,  
 Утонувшей в густом плюще...

По свидетельству современников, Гумилев плохо ездил верхом, но старался взобраться на любую, самую буйную лошадь. В поэзии он попытался оседлать изысканного жирафа, бродящего где-то у озера Чад, но тот его бросил на жесткую землю реальности — так, что Гумилев уже не смог подняться с земли. Мальчишеские игры с реальностью закончились, но остались лучшие стихи, которые будут повторять другие мальчишки новых поколений России и, становясь седыми, не забудут их, как не забывают детства. Гумилевым обычно увлекаются в юности, но зато не разлюбляют потом. Я его тоже полюбил в юности и не разлюбил. Однако это не мешает мне не идеализировать его, видеть в ряде его стихов театральщину, африканскую хаггардовщину\*, наивно-мелодраматическое суперменство.

Но иногда, снимая свой театральный плащ паладина, он был совсем простым и поразительно неожиданным для тех, кто думал, что он действительно читает "стихи драконам, водопадам и облакам". Такова, например, гумилевская анкета о Некрасове, заполненная в 1921 году по просьбе К. Чуковского. Вот некоторые вопросы и ответы:

1. Любите ли вы Некрасова?

\* Райдер Хаггард — английский приключенческий писатель.

— Да. Очень.

6. Как вы относились к Некрасову в юности?

— Некрасов пробудил во мне мысль о невозможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции.

7. Не сказалось ли влияние Некрасова на вашем творчестве?

— К несчастью, нет.

Это "к несчастью, нет" многое говорит о том, что Гумилев не успел выговорить самого себя, что в нем были еще не растраченные духовные возможности для развития, которого, может быть, никто не ожидал. В статье "Читатель" Гумилев написал: "Писать следует не тогда, когда можно, а когда должно. Слово "можно" следует выкинуть из всех областей исследования поэзии". Сам он не всегда следовал этому правилу, но где, когда, какой писатель всегда безусловно следовал собственным правилам, да и возможно ли это?

Не стоит с поспешностью запоздалого благоговения сотворять из Гумилева кумира, как, впрочем, ни из кого другого. Даже у Пушкина есть много плохих стихов, и надо уметь отличать лучшее от худшего, невзирая на самую великую подпись. Помимо забвения забвением, существует забвение поклонением. Наследие Гумилева принадлежит не только сегодняшней, но и будущей русской поэзии. Наследие — это слово серьезное. Наследием нельзя ни бездумно восторгаться, ни пренебрегать им.

1986

## ПСИХОЗ ПРОЛЕТАРИАТУ НЕ НУЖЕН

Неуслышанность не есть опоздание

Один из героев Платонова — любознательный капиталистический старичок — Хоз, благополучно загнивающий в добром здравии уже сто один год и не лишенный некоторой сексуальной сентиментальности, приезжает в страну большевиков. С горестно сострадательной симпатией американский долгожитель наблюдает, как вдохновенно, но преступно неумело строят социализм в Артели Четырнадцать Красных Избушек. Слегка романтик, но в основном скептик, Хоз напрасно увещивает слегка скептиков, но в основном романтиков, опасно одержимых энтузиастов-строителей Мировой Экономической и Прочей Загадки:

— Карл Маркс говорил мне в середине прошлого века, что психоз пролетариату не нужен.

Возможно, что подобная мысль и без подсказки Маркса приходила в голову молодому Арманду Хаммеру, когда еще в ранних 20-х он видел в стране-загадке поражающую его переустроительную энергию, но одновременно — разрушительную самонадеянность утопического психоза. Наверно, практичный бизнесмен Хаммер и тогда замечал, что слишком много русских деревьев уходит на древки знамен и лозунгов, на бюрократические столы и трибуны для ораторов. Наверно, Хаммер и тогда недоумевал, почему в такой богатейшей по ресурсам стране на каждом шагу непонятное для растленного капитализма зоологическое явление — очередь.

Через полвека, бросая шерхановский взгляд постаревшего тигра мировых джунглей из окон услужливо предоставляемых большевистских лимузинов, доктор Хаммер не мог не заметить, что в стране нестабильных политических доктрин и репутаций единственное, что осталось непоколебимо стабильным, — это очереди.

Сегодняшняя очередь — это визуальный символ наказания за утопический психоз. Сегодняшняя очередь — это вопиющая народная невыгода. Экономическая выгода иногда бывает и безнравственной, но всенародная невыгода безнравственна всегда.

Безнравственность начинается с невыполнения обещаний. Лозунг "Земля народу!" не был выполнен. Кузнец в "Чевенгуре" рубит правду-матку так: "Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей". Лозунг "Вся власть Советам!" был подменен властью бюрократии, горделиво говорящей о себе так: "Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться Советскому государству и часа... Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев!" Насильственная политизация экономики была таким же психозом, как политизация личной жизни. "Кулак мешает коснуться нашим устам", — зачумленно говорит один из активистов раскулачивания инженер Вермо. Не боялись отбиться нравственно — боялись ошибиться политически. В экономике забыли, что выгодно, что невыгодно, но помнили — что идеологически вредно. Утопический психоз состоял в том, что социализм строился методами, противоречащими идеям социализма. Методы были самые невыгодные, потому что были безнравственные, и самые безнравственные, потому что были невыгодные. Жутковата метафора Платонова, когда Суенита говорит: "Опусти в море этот тюремный кузов. Поправь в нем погуще колючую проволоку, мы рыбы наловим, мы тогда

наедимся". История показала, что колючей проволокой не наловишь ни рыбы, ни мяса. Считавшийся "бесплатным" труд миллионов заключенных не окупал затрат на колючую проволоку, охранников, овчарок, лагерные вышки с пулеметами, на громоздкую машинерию слезки, беззакония. Психоз нерентабелен. Тех, кто совсем не видел творящих беззакония, — не было. Не верьте в лживое: "Мы ничего не знали". Может быть, знали не все, но знали. Знали, но не хотели знать. Не верьте тому, что Сталин не знал. Он знал больше всех. Он боялся не тех, кто знает, но не хочет знать. Он боялся тех, кто знает и хочет знать еще больше. Он уничтожал их в первую очередь. На рассказе Платонова "Впрок" Сталин написал: "Подонок". "Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ Платонова "Усомнившийся Макар", за что мне поделом попало от Сталина", — писал в одном из писем А. Фадеев. Платонов был опасен тем, что не только знал, но и обобщал. Почему же Сталин не уничтожил Платонова? Запутался в миллионах фамилий, запамätовал? Может быть, счел его за блаженного и безрелигиозно пожалел — что это за царство российское без блаженных на папертях? Может быть, это была ошибка художественного вкуса Сталина — он не счел, что "эта штука посильнее, чем "Фауст" Гёте"\* , не понял, что Платонов—гений, причем гений опасный, принял его за писаку, недостойного ареста? Может быть, сообразил, какого калибра писатель Платонов, но надеялся, что тот одумается, и то припугивал Платонова непечатаньем, то позволял немножко печатать, то арестовывал сына Платонова, то освобождал его, уже смертельно больного после свинцовых рудников, то поощрял нападки прессы на Платонова, то не мешал назначению писателя во время войны собкором "Красной звезды". Не было ли это все игрой в кошки-мышки на дистанции? История еще даст ответ на это, а может быть, и нет. Факт остается фактом: ни один писатель так не разоблачил сталинизм изнутри сталинизма, как Платонов, и тем не менее Платонов чудодейственно умер не в лагере, а своей естественной смертью в 1951 году. Но есть и другая, еще более таинственная загадка в судьбе этого великого писателя Мировой Экономической и Прочей Загадки.

Каким образом Платонов понял еще в двадцатых все то, что наше общество только начинает уразумевать сейчас, да и то с большим скрипом? Это было таким же подвигом, как, находясь внутри костра, анализировать горящий хворост и тех, кто его подбрасывает, да еще пожалев их за "святую простоту".

\* Именно так Сталин оценил горьковскую "Девушку и Смерть".

Платонов не оправдывал, жалел. Но инквизиторов Платонов к "святой простоте" никогда не причислял. Еще в "Че-Че-О", написанном в соавторстве с Пильняком (1928), есть явный едко иронический намек на личность Сталина, на его манеры: "Величественный москвич, в честь которого пили вино, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился. — Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию. Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание... — В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы "Герцеговина Флор". В "Ювенильном море" при поверхностном прочтении может показаться, что Платонов, не выдержав испытания дамочковым мечом, делает комплименты Главному Меченосцу: "Вермо нашел "Вопросы ленинизма" Сталина и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким..." Но кто такой сам Вермо, так восторгающийся Сталиным? "Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству — он не старался ее воображать, — сколько убийств всех врагов творящих и трудящихся людей". Страшноватенький поклонник у Сталина. А вот еще: "Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой: "Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер. — Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования..." Тайные мысли инженера Вермо осуществили фашисты, пуская трупы на мыло, а человеческую кожу на абажуры. Вермо, читая Сталина, "ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо (уже через несколько лет этим лицом будет увешана вся страна, инженер Вермо! — *Е.Е.*), поддерживал его силу...". Прямая связь идей Сталина с их исполнителем — инженером Вермо, готовым людей разлагать на химические элементы ради торжества этих идей, это серьезное и, может быть, первое, еще домандельштамовское обвинение Сталину.

Но Платонова не столько интересовали главные инквизиторы, сколько подбрасыватели хвороста. От главных инквизиторов в своей ежедневной жизни Платонов был, слава богу, далеко, а вот среди подбрасывателей хвороста провел всю свою жизнь. Костры инквизиции без подбрасывателей хвороста были бы невозможны. Подбрасыватели хвороста вполне искренне думают, что в пламени корчатся не такие же люди, как они са-



ми — из мяса, костей и боли, а зловредные колдуны и ведьмы. Но искренность подбрасывателей хвороста не снимает с них вины за то, что этот искренний хворост живьем сжигает людей. Без вины виноватых подбрасывателей хвороста нет.

Сафронов из "Котлована" воспитывает девочку так: "Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье осиротели от врагов! — А с кем останетесь? — С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что? — Да, — ответила девочка. — Это значит, плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало..."

Но откуда девочке знать — кто плохие, а кто хорошие люди? Кого назовут "плохими" — те плохими и будут, то есть подлежащими ликвидации, и хворост к костру девочка несет вприпрыжку. В руках у девочек, которых гладил по голове Сталин на Мавзолее, были не букеты, а вязанки хвороста. Детей в этом винить нельзя, но нельзя оправдывать растлевающую педагогику психоза. Красный террорист Пиюся расстреливает так называемых буржуев и полубуржуев в спину без каких-либо угрызений революционной совести. Пиюсю не трогают абстрактно гуманистические заклипания Дванова: "Коммунисты издали не убивают, товарищ Пиюся!" Ответ Пиюси на это внеклассовое слюнтяйство прост и афористичен: "Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство!" Это уже перерождение простого подбрасывателя хвороста в инквизитора. Копенкин — русский революционный Дон Кихот в лаптях, мечтающий, как о своей Дульсинее, о Розе Люксембург, восклицает: "Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!" А вдруг в этот пованивающий букет из трупов попадут люди, которые никогда не были убийцами Розы Люксембург, а лишь представились таковыми в больном воображении Копенкина? Вот чем опасна растленная "святая простота", ввавшая в психоз переустройства мира.

Феномен Платонова в том, что сквозь махание лозунгами утопического шапкозакидательства двадцатых годов он провидел и кровавый тридцать седьмой, и столкновение двух противоборствующих мусорных ветров, превратившихся в смерч второй мировой войны. По силе исторического провидения Платонов равен, пожалуй, только Достоевскому, в нечаевском деле увидевшему эмбрион будущей шигалевщины. С "Бесами" произошла трагедия неслышанности — некоторые революционные демократы сочли, что это роман-пасквиль, не поняв, что это роман-предупреждение. Платоновская проза — это тоже предупреждение. В чевенгуровщине пророчески прогляды-

вається и ежовщина, и бериевщина, и хунвэйбинщина, и полпотовщина, и краснобригадовщина. Но платоновскому предупреждению суждено было остаться неуслышанным, непонятым — даже Горьким, который в целом высоко ценил Платонова. Вот что писал Горький Платонову, когда тот попросил его помощи в печатании "Чевенгура" в 1929 году: "Хотели вы этого или нет, — но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический. При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателями не столько революционерами, как "чужаками" и "полуумными". Это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры".

Голос Платонова был не услышанным вовремя набатом. Социально-утопический психоз перешел в болезнь человеческой глухоты. Но есть набаты, которые не были услышаны при пожарах настоящего, но еще могут предупредить потенциальные пожары будущего. Неуслышанность не есть опоздание. Сейчас, когда мы запоздало узнаем о стольких трагедиях и преступлениях, порой становится невыносимо стыдно и за народ, и за историю. Но у запоздалости нашего познания истории есть, к счастью, и положительная сторона. Мы запоздало, но счастливо узнаем, что даже в самые жестокие годы были люди, противостоявшие массовому психозу. Национальная гордость без национального исторического стыда за преступления превращается в шовинизм. Исторический стыд становится не разрушительной, а созидательной силой, когда его верная союзница — национальная гордость. Проза Платонова была предгласной гласностью. Набат, не услышанный вовремя, может стать набатом на все времена.

### **Бюрократия — это окаменевший психоз**

История человечества есть история великих идеалов и великих психозов. Происхождение массового психоза, может быть, изначально связано с растерянностью раннего полумоخنатого человечества перед прекрасной, но иногда и грозной, испепеляющей силой природы. Страх перед природой заставлял первобытных людей зависимо прижиматься к вождям, якобы обладающим Тайной. Власть одних людей над другими началась с психоза.

Страх перед Тайной вырубал из камня и дерева идолов, заменяя недостаток знания психозом слепой веры. Борьба человечества за свободу была борьбой за свободу от массового психоза.

Эрзац-идеалы, например фашизм, были целиком основаны

на психозе и рассыпались вместе с ним. Но психоз примазывался и к гуманистическим идеалам — например, к христианству, порождая инквизицию. Во время Великой французской революции появился психоз "врагомании", когда революционеры начали убивать друг друга. Именно эти времена породили трагический афоризм: "Революция — это мать-чудовище, пожирающее собственных детей".

Психоз нашей отечественной "врагомании" уничтожил перед войной цвет нашей нации, облегчая Гитлеру его зловещую задачу. Но даже война не помешала психозу "выяснения" личности. Смершевцы изводили фронтовиков слезкой даже под вражескими пулями, заградотряды стреляли в спину своим, бежавшим из фашистского плена героев отправляли в лагерь. Параноидальное "выяснение" продолжалось. Но ведь началось оно еще в двадцатых годах.

"Я здесь невыясненный..." — с невеселым вздохом произносит один из героев Платонова, директор совхоза Умришев. Он принадлежит к тем людям, чья личность непрерывно выясняется громоздкой, ржаво скрежещущей Машиной Выяснения, состоящей из "секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия, отделов, подотделов, широкой коллегальности, совещаний, планирования безвестных времен лет на тридцать... Учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания, что для их решения требуется вечность...".

От своей, может быть, заложенной в проекте ржавости смолоду, от перепутанности проводов, недостачи деталей Машина Выяснения становилась Машиной Запутывания, Машиной Наведения Тени на Плетень. "Раза два в месяц невыясненные приходили в учреждения и спрашивали: "Ну как, я не выяснен еще?" Воистину кафкианская картина, к сожалению, до отвращения родимая русской душе.

Бюрократизм не был уродливым наростом на здоровом стволе. Бюрократизм был множеством внутренних дровоточцев, разъедавших не кору, а сердцевину.

Бюрократы, как мародеры, невидимо шли по дымящимся полям гражданской войны, прибирая к рукам все, что плохо лежит. А плохо лежала страна, изуродованная, разрушенная, голодная, и они начали прибирать к рукам страну. Старорежимную бюрократию сменила новорежимная с такой быстротой, что истинные творцы революции и опомниться не успели. Ленин писал: "Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, памятуя, что эти недостатки коренятся в прошлом, которое хотя перевернуто, но не изжито..."

Настоящее, объявленное социалистическим, бюрократы превращали в перевернутое прошлое. Привычка к демократии в народе еще не образовалась, а привычка к бюрократии со времен самодержавия была готовенькая. Бюрократия многим казалась необходимым "железным" обручем, без которого все общество рассыплется, как бочка незадачливого бондаря, на отдельных согнутых в дугу людей. Сталин в дополнение к железным обручам бюрократии набил на рассохшуюся, безнадежно протекающую бочку как дополнительный обруч железную корону социалистического самодержца. Бюрократия сама внушала народу свою необходимость: "Бюрократия имеет заслуги перед народом: она склеила распозлавшиеся части народа, про низала их волей к порядку..."

В рассказе "Мусорный ветер", написанном о фашистской Германии по классическому методу лермонтовского варианта: "Прощай, немытая Туркия...", Платонов так нарисовал пейзаж бумажного психоза бюрократии: "Миллионы теперь могли не работать, а лишь приветствовать: кроме них, были еще и сонмы, и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными". Почти одновременно с Платоновым Мандельштам описал муссолиниевскую Италию с такой же пронзительностью:

И над Римом диктатора-выродка  
Подбородок тяжелый висит.

Ассоциативность возникла не от лукавых аллюзий, а от фатально общей атмосферы массового психоза, хотя в разных странах он носил наоборотные, противостоящие формы.

Бюрократия была арматурой, а сам психоз — тюремным цементом внутри этой арматуры, когда начали отделять глухой стенкой от всего остального мира Артель Четырнадцати Красных Избушек. Девочка спрашивает про меридианы на географической карте: "Дядя, что это такое — это загородки от буржуев?" "Загородки, девочка, чтобы буржуи к нам не перелезали, — объяснил ей Чиклин, желая дать ей революционный ум". Как пророческая пародия на глушение иностранных передач звучит такой разговор в двадцатых годах: "...сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять какой-то гарью понесло... Это воздух от беспроволочных знаков подгорает..." "Махай палкой! — давал немедленный приказ Копенкин. — Путай ихний шум — пускай они ничего не разберут..."

Бюрократия для самоспасения нуждалась в фетишизации государства как Высшего Существа, Высшего Разума. За сего дняшнее, ставшее во время перестройки привычным выраже-

ние: "Не человек для государства, а государство для человека" в платоновские годы могли бы "закатать десятку". "Без государства ты бы молочка от коровы не пил! — А куда ж оно делось бы? — Кто же его знает, — куда! Может, и трава бы не росла... В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там не растет ничего — песок, жара и мертвые льдины...

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид..."

Бюрократия для самоспасения нуждалась в фетишизации партии. "А ты покажь мне бумажку, что ты действительное лицо!" "Какое я тебе лицо! — сказал Чиклин. — Я никто: у нас партия: вот лицо!" Бюрократия, чтобы отвлечь грудящихся от мыслей о борьбе с ней, с бюрократией, нуждалась в фетишизации классовой борьбы: "Комитет партии послал сюда, в "Родительские дворники", — Надежду Босталоеву — чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага".

"В районе мне не поверят, что был один убивец, а двое — это уже вполне кулацкий класс, организация".

Бюрократия для того, чтобы превратить живых людей в шпалы индустриализации, нуждалась в фетишизации техники.

"Суенита: Аэроплан летит над пустыней. Он тоже наш — в нем капля нашей колхозной крови. Пусть летит выше — мы вытерпим. — Ксения: Во мне молоко пропадает --- детей наших с тобой нечем кормить! — Суенита: Сукровицу из себя выдавливай, как я вчера своего кормила..."

Платонов был первым в советской литературе писателем, который с гоголевско-щедринской силой сказал, что бюрократия — это окаменевший психоз.

### **Есть ли что материальнее, чем нравственность?**

Платонов-мелиоратор строил социализм материальный. Платонов-писатель строил в своих книгах социализм нравственный. Но есть ли что материальнее, чем нравственность?

Массовый психоз, как горная лавина, обрушился на нашу страну с так называемых вершин государственного мышления. Эта лавина погребала под собой когда-то плодородные нивы, села со всем их вековым укладом, церкви, пролетарское достоинство русских рабочих, свободомыслие интеллигенции. Охваченные психозом люди добровольно или от страха превращались в неостановимо катящиеся камни этой лавины, безжалостно кроша всех тех, кто не хотел становиться каменным. Но у тех, кто стал каменным, включая сердце свое, судьба была в конце концов такая же — их тоже раздавливали, крошили следующие камни.

Платонов имел смелость встать поперек лавины, усомниться. Лавина сбила его с ног, потащила вместе с собой, но и внутри лавины, катясь, обдираясь до крови, расшибаясь, он усомнился и усомнился. Сомнения Платонова не происходили от ущербно заносчивого желания выглядеть умным за счет высокомерия к людям, к истории. Платонов сомневался, как идущий по деревянной тропе, проложенной над трясинной, сомневается в каждой досочке, пробуя ее ногой, прежде чем за ним пойдут другие люди. Платонов сомневался, как врач, который, прежде чем выписать больному лекарство, сначала пробует его на себе. Такие сомнения драгоценны. Если кто и удерживает до сих пор человечество на краю пропасти от губельного падения, так это сомневающиеся. Ни в чем не сомневающиеся торжественно маршируют в пропасть. Марш ни в чем не сомневающих — это марш психоза.

Платонов не маршировал в ногу с современниками, потому что он шел в ногу с потомками, да и то не со всеми. Но Платонов любил современников все-таки больше, чем потомков, потому что он знал их не только по бесчеловечности, а потомки для него были еще дымчатые, неопределенные. Платонов умел любить и заблудших, но любить их не всепрощением, а болью. Даже саму лавину истории, которая швыряла его из стороны в сторону, била его смертельным боем, но в последний момент почему-то не решилась ударить по его драгоценной голове, Платонов жалел, как живое заблудшее существо. Платонов пытался внушить лавине, что она не такая уж плохая, уговаривал ее остановиться, не уничтожать все дышащее, теплое, разумное. Но в те времена не только прямое противодействие психозу, но и попытки уговорить, образумить выглядели в глазах обезумевших от раздуваемой классовой ненависти как предательство или психопатия.

Петр отводил усомнившегося Макара в милицию. "Товарищ начальник, я вам психа поймал и за руку привел". "Какой же он псих? — спрашивает дежурный по отделению. — Чего же он нарушил в общественном месте?" "А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет. Суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это ее предупреждение. Вот я и предупредил преступление". "Резон! — согласился начальник. — Я его сейчас направлю в институт психопатов — на общее исследование..."

Самозащита психоза — это объявление психопатами всех других, в психоз не впадающих. В годы застоя Твардовский поехал в "психушку" выручать из нее попавшего туда Жореса Медведева. Диагноз — параноидальное раздвоение личности — был ханжески поставлен в связи с тем, что Медведев,

биолог по профессии, с "анормальной активностью" интересовался политикой, писал письма протеста. Твардовскому удалось выручить Медведева, но в психбольницу "засадили" некоторых других. Психоз застоя не был таким настолько жестоким и всеохватным, как психоз сталинских времен, но был гораздо трусливей, оглядчивей — иногда изощреннее, циничнее. Несмотря на жестокие или более мягкие модификации психоза, в его основе лежало то же самое политически-медицинское шулерство в определении "нормальности" и "ненормальности". "Если в свое время безошибочно угадывали особенных самодельных людей, то уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением. Вот что становилось идеалом "государственного жителя": "Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение, радостное, как сладострастие". Сладострастие повиновения тем, кто выше, прекрасно сочеталось со сладострастием повелевания теми, кто ниже: садомазохизм рабства и власти. Массовый психоз есть множество комплексов неполноценностей, соединенных в лечебный психоконкомплекс, где насильственно лечат от нормальности.

Всех литературных "психиатров" Платонов раздражал тем, что он беспрестанно "ходил и волновался", да еще позволял себе "усомниться". Само присутствие Платонова в литературе было устыжением тех, кто потерял стыд. Этот вроде бы тихий, вроде бы мирный, ни на кого лично не нападавший, ничье место занять не хотевший, кургузенько одетый, внешне малоприметный, низкорослый человек, которого никто не узнавал в лицо, — вызывал своей самоценностью, "самодельностью" животную зависть и бешенство. Усомнившийся Макар пытается воззвать к гражданской совести обитателей ночлежки: "Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей. — Пролетариат зашевелился на койках. — Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтобы он стал нормальным..."

Примерно так же реагировали на прозу Платонова многие его современники, не желая слышать его воззваний к их совести и разуму, когда под видом наведения порядка создавались непорядки нравственные, а под видом создания социалистических ценностей разрушались ценности национальные, общечеловеческие. Л. Авербах так выразился в своем печатном "диагнозе" о гражданской ненормальности Платонова: "...конкретный смысл платоновского: "Даешь душу!" означает право на ячество, на шкурничество, на себялюбие как социальный принцип, т.е. правоуклонистские и кулацкие лозунги..." И далее: "К нам

приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо истинно человеческое, чем классовая ненависть". Из свинца классовой ненависти Авербах сам выплавил себе пулю, которой был расстрелян. Другой рапповец — И. Макарьев, назвавший статью о Платонове "Клевета", был оклеветан сам, просидел лет семнадцать. Вернувшись беззубый, лысый, Макарьев по ночам перелезал дачный забор своего бывшего соратника по РАППу Фадеева, кидал из кустов камнями в его погашенные окна и кричал: "Сашка, за тобой лагерные призраки пришли! Ты еще за все ответишь, Сашка!" Макарьев спился, покончил жизнь самоубийством. Фадеев, тоже когда-то критиковавший Платонова, сам никого не посадивший, но вынужденный по должности подписывать информации об арестах писателей, застрелился, терзаемый совестью за свои и не свои грехи. Постоянно критиковавший Платонова в тридцатых А. Гурвич сам был жестоко оплеван в начале пятидесятых во время кампании против "космополитизма". Если бы Платонов был признан при жизни, он не торжествовал бы над своими критиками, а скорбел бы по этим несчастным людям, запутанным историей и потом жестоко поплатившимся за жестокости, допущенные в затмении разума.

Лишенное религиозного психоза, христианское начало в Платонове несомненно. Социалистическое начало в нем тоже несомненно, но без психоза антирелигиозного. В рецензии на спектакль "Идиот", в 1920 году, совсем еще юный Платонов невольно написал через героя Достоевского свой будущий портрет: "Князь Мышкин — пролетарий: он рыцарь мысли, он знает много; в нем душа Христа — царя сознания и врага тайны. Он не отвечает ударом на удар: он знает, что бить злых — это бить детей". Для Платонова, ставившего выше всего слово "мастер", Христос — это тоже мастер, мастер совести. Платоновский Христос потому враг тайны, что для мастера тайна — это недостаток знания. Мистик, разыгрывающий из себя "царя бессознательности и врага тайны", не способен ни взойти на Голгофу, ни написать "Войну и мир", ни создать теорию относительности. Платонов понял совесть как ежедневный труд.

Идолы, созданных массовым психозом, сами массы когда-нибудь разбивают. Парадокс истории в том, что массы в конце концов называют великими именно тех, кто не поддавался массовому психозу.

### **Надежда без предварительных условий**

Жаль, что молодой Хаммер не встретился тогда, в двадцатых, с молодым воронежским мелиоратором Платоновым, под



чьим личным руководством за 4 года в губернском земельном управлении было сделано 763 пруда, 316 шахтных и трубчатых колодцев, возведено 800 плотин, 3 электростанции, осушено 7600 десятин земли, организовано 240 мелиоративных крестьянских товариществ (!!! — *Е.Е.*). Этим двум, полным бешеной энергии молодым деловым людям из разных систем поставить бы общее дело выше всякой идеологической болтовни, подружиться бы, объединиться да и отгрохать вместе что-нибудь такое, чтобы весь мир ахнул! Но политический психоз ставил себя выше народной выгоды. Взаимовыгода в отношениях с капиталистическим миром считалась опасной ересью — нам не может быть выгодно то, что выгодно им. На той стороне океана был и есть такой же наоборотный политический психоз. Реакционеры всего мира соединяются гораздо быстрее, чем пролетарии.

Сталин, проводя индустриализацию, надеялся на приятные параллели с Петром Первым. Однако в отличие от Петра, который даже перебарщивал в западничестве, он смертельно боялся "растлевающего влияния Запада" и зарешетил окно в Европу, прорубленное Петром. Петр самолично стриг бороды боярам, а Сталин стал насаждать боярство номенклатуры при помощи страха и подкупов "синими пакетами" (вторая, неофициально вручавшаяся зарплата). Сталин подражал не Петру-плотнику, а Петру-палачу. Ключевский так характеризовал отрицательные черты Петра: "Вводя все насильственно, даже самодеятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и поэтому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина". Без свободного мышления и советская экономика не могла развиваться свободно. Припадочные закупки иностранной техники, как, например, экскаваторов "Марион", которые осваивал Платонов, не выручали. Один старый тассовец рассказал мне, что перед войной ТАСС закупил на валюту четыре фотоаппарата "лейка" по личной разрешительной резолюции Сталина. Изолированная от мирового развития, сталинская индустрия то делала успехи благодаря нечеловечески напряженному труду народа, то пробуксовывала на лужах крови, подтекавших под гусеницы экскаваторов.

В своей автобиографии Платонов писал, почему он бросил именно в технику, а не в литературу: "Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой". Но вера Платонова только в технику, как в спасительный Архимедов рычаг, подорвалась, ибо этот рычаг часто находился в руках романтически невежественных либо ци-

нически равнодушных. Вот отрывки из писем Платонова 1926 года: "Обстановка для работы кошмарная, склока и интриги страшные...", "Мелиоративный штат распушен. есть форменные кретины, доносчики. Хорошие специалисты беспомощны, задержаны...". В ранней юности сам социальный утопист, Платонов быстро излечился от соблазна социальных утопий горькой реальностью, как переехавшая грузовиком собака излечивается безымянными, но генетически известными ей горькими травами. Неумному оптимизму всеверия Платонов, однако, не предпочел только кажущийся умным пессимизм всеневерия. Но моменты пессимизма были: "Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного..." "Без меня народ неполный", — однажды сказал Платонов. Но он и сам был неполным без народа. Когда Платонов полностью посвятил себя литературе, она оказалась делом далеко не созерцательным, а еще более каторжным. Как и в мелиорации, здесь встретились еще худшие склоки, интриги, форменные кретины и кретины в форме. Но у литературы есть преимущество перед техникой: не претворяемые в жизнь технические проекты неминуемо устаревают, а запрещаемые великие рукописи вырастают в своем значении. Так случилось с "Котлованом", "Чевенгуром", "Ювенильным морем", пришедшими к нам через пятьдесят с лишним лет. Что же поддерживало дух Платонова?

Надежда на то, что напечатают при жизни, или на то, что напечатают после смерти?

Надежда без предварительных условий. Надежда без торговли с жизнью или смертью.

Платонов в статье о Пушкине поставил живого, теплого человека выше холодного бронзового символа государственной мощи: "Евгений тоже ведь "строитель чудотворный" — правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной "сверхчеловеку": в любви к другому человеку".

Платонов тоже был чудотворным строителем любви к человеку. Имя этого человека — народ.

### **Бронтозавры, дающие молоко?**

Когда человека любишь, его надо предупреждать обо всех грозящих опасностях, даже если эти опасности сидят у него в душе, в характере, в привычках. Так же и с народом. Льстят народу, заигрывают с ним — от равнодушия. Говорят от имени народа, чтобы использовать народ. Когда настоящий писатель говорит народу горькую правду, народ обижаться не должен,

потому что через писателя сам народ говорит с народом. В "Котловане" есть такой вопрос:

"А зачем тебе истина? Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко".

Действительно, зачем людям истина? Ведь от нее может стать гадко не только снаружи, но и в уме. Почему, судя по нынешним письмам в газеты, многие читатели так настырно добиваются, например, точной цифры арестованных и убиенных в сталинское время, точной цифры сегодняшних заключенных, преступлений, самоубийств? Простое любопытство? Или все-таки желание понять истину философскую при помощи истины фактической? Что нам, легче, что ли, станет, если мы узнаем все эти цифры? Нет, станет трудно. Но зато станет труднее и делать новые ошибки: ужаснуться истине — залог неповторения ужаса. Достаточно ли мы ужаснулись сталинскому террору, Чернобылю, чтобы этот ужас не повторился?

Все тот же Арманд Хаммер, уже переживший Платонова почти на целых сорок лет, помог нам медикаментами после чернобыльской катастрофы. Отчего она произошла? Платонов дал нам предупредительный ответ вперед, но мы не захотели расслышать. Вот он: в сновидении Макар увидел гору, а на той горе стоял научный человек. Макар лежал под той горой, как сонный дурак, ожидая от научного человека либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре...

Для Платонова целостный масштаб состоял именно из частных Макаров, в отличие от его "государственного жителя", считавшего, что "сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в лице государства". Идеализация государства, возвышение его над человеком — такая же опасная нелепость, как возвышение администрации гостиницы, дежурных на этажах и другого обслуживающего персонала над проживающими в гостинице людьми, которых они обязаны обслуживать. Но у нас именно так произошло и с государством, и с гостиницами. А представьте себе, что дежурные на этажах начнут диктовать писателям, проживающим в гостиницах, о чем они должны писать, о чем не должны: что они не должны писать о недостатках и трагических происшествиях в гостиницах. Там, где начинают бояться трагедий, описанных печатным словом, там — начало новых трагедий в реальности.

Люди — существа опасно короткопамятные. Ретроспекция преступлений нас не всегда глубоко впечатляет, иногда и смешит. Гитлер, театрально прижимающий руки к сердцу и выпучивающий жабы глаза в телевизионном документальном фильме, выглядит сейчас пародией его чаплинского прообраза;

Сталин на том же экране, вскидывающий снайперскую винтовку, — это страшноватая, но все-таки безопасная ныне пародия. Спрашиваешь себя: как столько миллионов людей когда-то могли верить таким, явно пародийным, кровавым персонажам?

Многие персонажи Платонова и их идеи тоже могут сейчас показаться пародийными, ирреальными. Ну, например, зоотехник Високовский, одержимый идеей, что "эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь, и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни". Разве не откровенно пародийна такая идея инженера Вермо: "Не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой..." Пародийно? Но разве это более смешно, чем не так давняя идея кукурузного помешательства? Утопия опасней реальности, потому что соблазнительней. Томас Мор, Кампанелла и другие платонические утописты манипулировали только своими фантазиями. Но утописты, манипулирующие целыми народами ради того, чтобы впихнуть их в прокрустово ложе утопии, даже если и придется поорудовать топором, предают то чистое, целомудренное желание всеобщего счастья, которое было изначальным смыслом утопии. Такие утописты могут быть людьми, лишенными палаческих устремлений, но если им не хватает культуры, ответственности за свои действия, то рано или поздно они неумолимо превращаются в уже далеко не "святую простоту", палачествующую с людьми и матерью-землей, ибо, как сказано в Библии, "не ведают что творят". Но имеют ли люди право творить, не ведая того, что творят?

### **Откуда взяться культуре руководства без культуры первичной?**

Инженер Вермо, ведали ли вы, что творите, когда хотели осуществить "седьмое условие Сталина — ставку на "творческого пролетарского человека", с тем чтобы изобретение стало способом работ?

Платонов, сотворивший вас из сырого сучковатого полена реальности, словно добрый папа Карло — зловещую версию Буратино, тоже мечтал о том, что "творческий изобретательский труд лежит в самом существе социализма". Но то, что вы делали с человеческими душами, с природой и даже с животными, совсем не походило на социализм, инженер Вермо. На вашу неосуществленную в двадцатых завиральную психованную идею "Давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озера-

ми ювенильной воды!” все-таки клянуло брежневское правительство, утвердив проект плана переброски северных рек. Это был мелиоративный психоз, достойный книги рекордов Гиннеса! Я не требую от вас дворянского генеалогического древа и французских гувернеров, инженер Вермо, но все-таки нельзя братья за переустройство такой страны, как Россия, без элементарной первичной культуры, произнося ”Я извиняюсь” вместо ”Извините, пожалуйста”. Нельзя пускаться в социальные эксперименты, не прочтя ”Бесов” Достоевского — там много серьезных предупреждений. Если вы еще живы, я рекомендовал бы вам прочесть и ”Епифанские шлюзы” вашего создателя Андрея Платонова, где так страшно написана ”кровавая грязца в колесе”, и заодно повесть ”Ювенильное море”, где изображены вы сами, инженер Вермо, как социальный психопат с невинными глазами ребенка, выпавшего из колыбели.

Если бы вы знали, инженер Вермо, насколько оказался лишенным творческих и пролетарских прав этот обещанный Сталиным ”творческий пролетарский человек”. Почитали бы вы, инженер Вермо, ранний роман Дудинцева ”Не хлебом единым” о судьбе изобретателей, натывавшихся со своими идеями технической революции на непробиваемую стену. Непобедимый изобретательский талант нашего народа продолжал творчество даже в ”шарашках” — вспомним хотя бы Туполева, создавшего за колючей проволокой проекты краснозвездных самолетов. Но это было не благодаря, а вопреки. Кибернетика в словарях сталинского времени называлась лженаукой. Сахарова пытались отлучить от науки только за то, что испугались слова ”конвергенция” больше, чем водородной бомбы. Проектерство и страх саморазвития — это siamoские близнецы. Разве в этом страхе саморазвития не были виноваты такие безответственные переустроиватели мира, как вы, инженер Вермо? Вам советовал Ленин ”учиться, учиться и еще раз учиться”, а вы вместо этого начали сами учить все человечество. Вы начали тащить историю вперед за волосы, забыв присоветованные Платоновым слова Николая Арсанова: ”Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия”. Вот как лихо решает узловые проблемы истории Копенкин: ”Ты что за гнида такая, сказано тебе от губисполкома закончить к лету социализм!” Похожее по безответственности заявление о том, что наше поколение будет жить при коммунизме, мы слышали от Хрущева, поразительно похожего и лексикой, и характером на многих, далеко не худших, ранних героев Платонова. Хрущеву понравилась бы, например, идея решения жилищного кризиса путем выращивания гигантских тыкв, в которых будут спать доярки и гур-

топравы. Если вас не расстреляли в тридцать седьмом, инженер Вермо, то, возможно, вы стали начальником, как Макар и Петр, в конце концов добились, что из тех, кто "волнуются и ходят", сами стали принимать в своих кабинетах других "волнующихся и ходящих". Но отсутствие у этих начальников первичной культуры привело к тому, что трудящиеся стали думать и решать за себя в квартирах. А ведь раньше Петр вычитывал у Ленина только то, что ему, Петру, необходимо было для оправдания своей жажды стать начальником: "Побольше надо в наших учреждениях рабочих и крестьян. Социализм надо строить руками массового человека".

Но семидесятилетняя практика нашего государства показала, что многие крестьяне и рабочие, став начальниками, перерождаются, теряют чувство собственного класса. Ставка на руководителя как на массового человека не оправдалась. Для того чтобы вести за собой массы, надо быть чем-то большим, чем просто "массовый человек". Надо обладать и культурой как таковой, и культурой руководства. Но откуда же взяться культуре руководства без культуры первичной?

Тогда получаются либо Умришев с его спасительным: "Не суйся... Чем старина себя спасла? Тем, что не совалась...", либо сующаяся всюду Федератовна: "Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и шупаю, где что есть и где чего нету... Мы их кокнуем!", либо романтически склонная к прожектерам Босталоева, которая, к счастью, "начать эту работу стеснялась, потому что не понимала еще устройства земного шара и не видела еще ни разу вольтовой дуги...". Отсутствие элементарных философских знаний у таких руководителей подменяется философией доморощенной, ибо нельзя же руководить людьми хотя бы без видимости идеи... Тускленькая, тухленькая философия Умришева: "Каждому трудящемуся нужно дать в его собственность небольшое царство труда... Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует молоко — какое скисло, какое нет — каждый делает свое дело, и некуда ему больше соваться". Философия Федератовны — приказная, бросающая людей, как мясо, прямо в кипящий котел классовой борьбы: "Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, бодрствуй, мучитель советской власти..." Но когда Федератовна плачет, она стесняется своих слез, говорит секретарю: "Ты пиши, пиши наше партийное, а мое бабье, старое наружу выходит..."

Нечаянная бесчеловечность к другим начинается с того, что начинают стесняться простых человеческих чувств. Беззаветная романтика Босталоевой кончается полным отчаянием, когда к техническим чудесам социализма не хватает комплектных дета-

лей. Босталоева просит у начальника полторы тонны проволоки-катанки, из которой она задумала нарубить гвозди, не существующие на данном этапе жизни социализма. Начальник, готовый помочь ей с проволокой в порядке натурального обмена на ее тело, осторожно спрашивает: "А вы не обидитесь?" Босталоева отвечает: "Не обижусь, потому что привыкла... Простой год я доставала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь..."

Жутко становится от этого столкновения возвышенной утопии с ухмыляющейся мордой реальности. Философией Босталоевой становится покорная привычка к тому, что ради прекрасного все время приходится делать что-то унижительное, гадкое. Новые утописты-циники хотят утопить утопистов-романтиков. Кемаль уже кричит на Босталоеву: "Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь, нервная ничтожность..."

Некрасивое отношение к женщине, да еще и к товарищу по революции, не правда ли, инженер Вермо? Но вы ведь сами думали о ней еще хуже — на химические элементы в интересах социализма ее тело раскладывали. Вы, инженер Вермо, были первооткрывателем бюрократической игры — сокращения штатов: "Что если мы ликвидируем пастухов, а коров передадим быкам... Бык это умник, если его приучить к ответственности: субъективно бык будет защитником коров, а объективно нашим пастухом — штатное многолюдство — это отсталость".

Бюрократические штаты даже за полвека вам не удалось сократить, инженер Вермо, а вот что удалось сократить — так это число талантливых, самостоятельно думающих людей.

Сейчас вы, наверно, на пенсии, инженер Вермо. Ворчите на то, что всюду очереди, что перестройка идет заторможенно. Но ведь это именно такие, как вы, инженер Вермо, начали тормозить сегодняшнюю перестройку еще в двадцатые годы. Успешнее всего тормозят прогресс безответственным ускорением истории. Вы, так сказать, диссидент справа. В статье Нины Андреевой были ваши мысли — признайтесь-ка честно. Вам чужд гуманистический тезис нового мышления, что при реальной угрозе уничтожения всего человечества решающее значение приобретают не классовые интересы, а общечеловеческие. Вы беспрерывно долдоните о том, что международная политика должна определяться только классовой борьбой, что за участие в демонстрациях надо исключать из партии.

Вы позволяете себе говорить о Горбачеве с таким высокомерным панибратством, как будто только вы с вашими дружками привели его к власти, а не сама история. У вас такое недовольное лицо, как будто под обеими щеками у вас флюс и вам

физически невозможно по-человечески улыбнуться. Как хорошо, что вы уже пенсионно беспомощны.

Когда тех, кто потенциально опасен для перестройки, вежливо отправляют на пенсию — это соблюдение национальной безопасности. До свидания, инженер Вермо. Отдохните на пенсии.

### **Чучело больше и страшней**

Платонов благоговейно писал о происхождении мастера. Будь он жив, сегодня он написал бы об исчезновении мастера.

У самого Платонова лицо, почти исчезнувшее из почти обезнароденного народа, — лицо русского мастерового, знающего цену не только себе, но и другим: кому — грошовую, кому — неоплатную.

Фронтовые товарищи Платонова вспоминают, что, остановившись на ночлег в какой-нибудь обезмужичевшей избе, Платонов всегда брал в ум и дырявую крышу починить, и дровишек наколоть.

Году в пятидесятом в литинститутском дворике мне "показали" Платонова. Он счищал снег с аллеи деревянной лопатой, обитой по краям жостью. Платонов в потрепанном пальтишке, в кроличьей потертой шапке с опущенными ушами двигал лопатой столь размеренно, столь привычно, что был похож на обыкновенного дворника. Даже эту работу он делал уважительно и к снегу, и к лопате. Тогда Платонова не печатали, не писали о нем, его только показывали, да и то издали. Мой старший друг — геофизик, ставший впоследствии критиком, — В. Барлас без выноса из квартиры дал мне почитать редкостную тогда книжку "Река Потудань". Она ошеломила меня, озадачила, околдовала. У меня было такое чувство, как будто меня ввели в потайное подземелье, где от недоброго глаза и злой руки спрятаны дива дивные. Платоновские слова под светом выхвачившей их из мрака колеблющейся свечи заиграли, засияли, замерцали, как драгоценные камни, о которых я и слыхом не слыхивал. Так и жила наша страна, надевавшая в торжественных случаях пышную и жалкую бижутерию и пряча в подземелья от самой себя и от других истинные сокровища. Когда кровавый психоз кончается, то еще надолго инерционно остается психоз умолчания. Главное чудо прозы Платонова в том, что она, несмотря ни на что, написана и что стала, по его же выражению, "веществом существования". Платонов оставил нам, своим потомкам, отравленные лживой историей свои бесценные свидетельства "самодельного человека". В "Котловане" Вошев рассуждает так: "Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая.



Как будто один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе". Платонов оказался одним из этих немногих, среди которых были и Вавилов, и Чайанов, и Войно-Ясенецкий, и чудом выживший Лихачев. Но собственное избранничество не могло слишком радовать Платонова, ибо убежденное чувство он хотел видеть щедро рассыпанным по всему народу, не обделяя ни одного усомнившегося Макара. Платонов не сваливал все народные беды на вождей и бюрократию. Бюрократия, по Платонову, — лишь порождение социально-исторического психоза, охватившего все слои населения, включая интеллигенцию и временно — самого Платонова. Платонов был народом, осуждавшим сам народ не только за то, что он позволял делать с собой, но и за то, что народ делал с собой сам. Бюрократия — это оплачиваемое народом пренебрежение к народу.

Усомнившегося Макара вытаскивают из колодца мужики под командой Чумового, "который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства". Значит, на социалистическом фронте погибать естественно? Привычка к массовому закланию конкретных людей во имя абстрактного "народа" — вот что было страшным следствием психоза. Хоз ядовито высмеивает детскую по разуму, но кровавую по результатам игру во врагов и друзей: "Классовый враг нам тоже необходим: превратим его в друга, а друга во врага — лишь бы игра не кончилась". Старший пастух Климент считал, что врагов надо ценить, а если нужно, то и производить, иначе без врагов вся классовая борьба — насмарку: "Злой человек — тот вещь, а смиренный же — ничто, его даже ухватить не за что, чтобы вдарить!" Сталинская доктрина обострения классовой борьбы по сути была производством "злых людей" для последующего "ухватывания" их, чтобы вдарить. Хоз недоуменно спрашивает Антона: "Зачем ты это чучело поставил — три трудодня истратил. Расточительство!" Антон: "Пугать классового врага! Чучело больше человека и страшней!" В пьесе "14 красных избушек", написанной в 37—38-м годах, Платонов уже тогда зафиксировал, что государственное производство классовых врагов уравнивается производством мраморных и бронзовых чучел. Психоз, набирая инерцию, забывает про свою первоначальную цель — уничтожение врагов. Уничтожение начинает руководить психозом, а не психоз — уничтожением. Дванов, арестовывая того, кто, по его мнению, должен быть бандитом, удивляется, что тот не похож на бандита, а обыкновенный мужик, и вряд ли богатый.

— Ты кулак?

— Нет, мы тут последние люди, — вразумительно ответил

мужик. — Кулак не воюет: у него хлеба много — весь не отберут.

Кочевая профессия мелиоратора измотала Платонова, но в то же время позволила ему "прижаться к фактам", почувствовать болевые точки израненного гражданской войной тела страны, которое продолжали ранить, кромсать, ковырять дилетантские безграмотные руки политических и экономических коновалов. Деревня была первой жертвой утопического психоза. А настоящих деревенщиков, защитников крестьянства, в литературе тогда почти не осталось. Спасительные идеи Чаянова были задушены вместе с автором. Даже в книге В. Васильева "Андрей Платонов" (1980) Чаянов, выдающийся защитник крестьянства, называется "антисоветски настроенным". Есенин с душераздирающей печалью писал: "Я последний поэт деревни", — некрасовская линия прервалась. Пролеткультовская космическая гигантомания, которой отдал свою дань в юности Платонов, породила "ваграночную псевдопоззию". Маяковский непростительно для его великого таланта просмотрел нарастающую трагедию деревни, написал плакатно-лубочное: "Сидят папаша, каждый хитр, землю попашет, попишет стихи". При всей моей любви к "Тихому Дону", к чубатому казачьему Гамлету — Григорию Мелехову и к Аксинье Давыдов не вызывает у меня симпатии такими своими аргументами: "Кулака мы терпели из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал. А теперь — наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал: "Уволить кулака из жизни..." Теперь то мы с вами знаем, что под видом кулака увольняли из жизни середняка, на котором держалось хлеборобство российское. Товарищ Сталин совсем неточно подсчитал арифметику. Мы по сталинским фальшивым счетам до сих пор расплачиваемся и расплатиться не можем. Хоз, ставший счетоводом, вдруг бросает надоевшие ему своим щелканьем бухгалтерские костяшки: "Пусть они будут счастливы приблизительно... Все равно — всякий учет и счет потребуют потом переучета".

Перестройка — это время великого переучета. Не все писатели выдерживают испытание великим переучетом. А вот Платонов выдерживает — и как мастер, и как гражданин. Как мастер — потому что он чурался приблизительных слов. Как гражданин — потому что он презирал приблизительное счастье.

### **Этот человек и был человечеством**

Судьба прозы Платонова была подобна так описанной им судьбе пушкинской Татьяны: "Она походит здесь на одно таин-

ственное существо из старой сказки, которое всю жизнь ползло по земле, и ему перебили ноги, чтобы это существо погибло — тогда оно нашло в себе крылья и взлетело над тем низким местом, где ему предназначалась смерть”.

Сейчас борются две точки зрения на время так называемого Великого Перелома, который превратился в перелом костей тех, кто не захотел сгибаться. Первая точка зрения: выдвижение именно такого самодержавного человека, как Сталин, насильственная коллективизация, индустриализация на костях были исторической неизбежностью.

Вторая точка зрения: была альтернатива гуманистическая — развитие кооперации, гласности, демократии, добровольной коллективизации (бухаринский вариант). Альтернативный вариант на пост генсека не называется. Победил первый вариант, и все случилось по платоновскому предсказанию из ”Котлована”: ”Ну что ж, вы сделаете из республики колхоз, а вся-то республика будет единоличным хозяйством!”

Кроме бухаринской, были, конечно, и другие альтернативы. Насколько мне известно, Платонов ни одну из них прямо не поддерживал и вообще прямой профессиональной политикой не занимался. Но сейчас очевидно, что по мастерству социально-политического анализа Платонов оказался впереди и Сталина, и Бухарина, и многих других. Разгадка неучастия Платонова в ежедневной политической борьбе была, видимо, в этом. Не случайно Платонов анализировал отсутствие Пушкина на Сенатской площади так: ”Мы хотим поставить вопрос — не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы? И затем — не играл ли он пассивную роль в декабрьском движении по собственному почину? Иначе следует допустить, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным. А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях...” (”Пушкин наш товарищ”).

Писатель Андрей Платонов предпочел не карабкание по хребтам истории в групповой альпинистской связке, а свободный полет. Но летел он так, что увидел и целостный масштаб, и каждого частного Макара. Проза Платонова — это взлетевшая над своим временем гениальная русская мысль.

Он был рожден как писатель для того, чтобы писать о любви. Вот шепот, подслушанный Чагатаевым в ”Джан”: ”...никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала, и вижу, что люблю тебя... — Я тоже тебя (говорил муж), иначе не проживешь...”

В "Реке Потудань" Люба говорит: "Люди умирают потому, что болеют одни и некому их любить, а ты со мною сейчас..." Но Платонов боялся любви "в идеальной, чистой форме, замкнутой в самой себе, равной самоубийству", и боялся литературы, подобной такой любви.

Платонов учит нас тому, что "пролетариату психоз не нужен", а нужна любовь — иначе не проживешь. Платонов продавал лед на стекле времени и додышался до нас. Во всем советском периоде русской литературы нет писателя чище и любовней к людям. О Платонове можно сказать чувствами Фро о музыканте: "Этот человек, наверное, и был человечество". В предисловии к своей ранней книжке стихов "Голубая Глубина" Платонов писал: "Мы ненавидим наше убожество, мы упорно идем из грязи... Из нашего уродства вырастает душа мира". Тот, кто не лгал о прошлом, не солжет и о будущем.

1988

## ГЕНИЙ ВЫШЕ ЖАНРА

Композитор может быть только композитором, художник — только художником, писатель — только писателем, и если они не допускают нарушения законов профессионализма и нравственности, впрочем, на мой взгляд неразделимых, то в лучшем случае тем не менее остаются лишь частными ремесленниками. Гений выше ремесла. Произведения частных ремесленников могут прожить иногда долго, но лишь как достояния определенного жанра. Гений выше жанра. Творчество гения перерастает рамки даже сферы искусства в целом и становится частью национального и мирового достояния, включающего в себя весь исторический опыт прошлого вместе с первой попыткой недочеловека встать с четверенек и стать человеком, вместе со всеми войнами и революциями, вместе со всеми личными и общественными трагедиями, вместе со всеми слезами, кровью, вместе со всеми мучительными поисками веры, надежды, любви, вместе со всеми великими поражениями и победами. Равель принадлежит только музыке, Утрилло — только живописи, Фет — только поэзии, и честь и хвала им за достойное служение их музам. Но Пушкин, Бетховен, Пикассо принадлежат не только своим музам, а истории. Принадлежность истории не означает неверности музам, а символизирует высшую, гениальную степень этой верности. Рыдание инвалида, искалеченного войной, и мощное эхо трагической и победительной

Девятой симфонии Шостаковича, отдавшей свои раскаты во всем человечестве, по праву стоят рядом именно внутри истории. Эта симфония Шостаковича не была его личной победой, она стала победой выстоявшего, несдавшегося народа, и в победное знамя над Берлином были невидимыми нитями вплетены ее звуки. С Шостаковичем произошло редкостное чудо — уже при его жизни всем было понятно, что он гений. Шостакович пережил нелегкие моменты, натыкаясь на обиды и даже оскорбления. Но в том и сила гения, что он не переносит своих личных обид на свой народ в целом, умеет подняться над обидами, даже из своих страданий выковыывая музыку. Талант Шостаковича по-пушкински всеобъемлющ: он был мастером камерного лиризма, утонченным метафизическим философом (вспомним хотя бы его Четырнадцатую симфонию на тему смерти и бессмертия), был едким сатириком (его блистательная ранняя импровизация на тему заявлений жильцов коммунальной квартиры друг на друга или музыка к спектаклю "Клоп"), был звонким, неповторимым песенником ("Не спи, вставай, кудрявая..." — песня, в сегодняшнем восприятии так горько окрашенная нашим знанием о судьбе автора этих стихов, поэта Бориса Корнилова, замученного в сталинское время), был могучим оперным эпиком и даже не гнушался попытками создать легкую, искрящуюся оперетту, хотя здесь его ожидали неудачи. Но все это объединено той связующей силой исторического сцепления, которая и делает творчество принадлежностью не жанра, а истории. Гражданственность — это вовсе не декларация о любви к Родине, а то врожденное, не убиваемое никакими обидами и — даже наоборот — укрепляющееся под ударами чувство времени как части вечности. Такова была вся жизнь Шостаковича. Его не увели от гражданственности ни чьи-то оскорбления, ни всемирная слава. Гений проходит испытания и холодной, и горячей водой, но это лишь процесс духовного закаливания. Те, кто поддаются трудностям или попадают на крючок с ядовитым червячком славы, умирают при жизни. Те, кто преодолевают это, преодолевают и смерть после смерти. Шостакович умел не замечать своей славы, а если и радовался успеху своих произведений, то это была радость не за самого себя, а радость за своих детей, которые самостоятельно идут по жизни, уже отдельно от него.

Когда я впервые познакомился с Шостаковичем, я был поражен его необыкновенной скромностью и не показной, а природной стеснительностью. В 63-м году раздался телефонный звонок. Подошла моя жена. "Простите, мы с вами незнакомы,

это говорит Шостакович. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович дома?” — “Дома. Работает. Я сейчас его позову...” — “Работает? Зачем же его отрывать? Я могу позвонить в любое другое время, когда ему будет удобно...” В этом был весь Шостакович. Он понимал, что такое работа. (Как не похожи тактичность и вежливость истинного гения на бестактность некоторых так называемых молодых гениев, врывающихся иногда в квартиру или на дачу с требованием прочесть их стихи и не обращающих никакого внимания даже на то, что в твоей семье кто-то болен или по горло занят ты сам.) Я подошел к телефону, естественно, взволнованный. Шостакович смущенно и сбивчиво сказал мне, что хочет написать “одну штуку” на мои стихи, и попросил у меня на это разрешения.

Нечего и говорить, как я был счастлив уже одному тому, что он прочел стихи. Но, несмотря на свое счастье, я все-таки очень сомневался, тревожился, даже дергался, когда через месяц он пригласил меня к себе домой послушать то, что написал. Впрочем, дергался и Шостакович. У него уже тогда болела рука, играть ему было трудно. Меня потрясло то, как он нервничает, как он заранее оправдывается передо мной и за больную руку, и за плохой голос. Шостакович поставил на пропитр клавир, на котором было написано “13-я симфония”, и стал играть и петь. К сожалению, это не было никем записано, а пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: “Ну как?” В Тринадцатой симфонии меня ошеломило прежде всего то, что если бы я (полный музыкальный невежда) вдруг прозрел слухом, то написал бы абсолютно такую же музыку. Более того — прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и смыслово точным, что, казалось, он, невидимый, был внутри меня, когда я писал эти стихи, и сочинил музыку одновременно с рождением строк. Меня ошеломило и то, что он соединил в этой симфонии стихи, казалось бы, совершенно несоединимые. Реквиемность “Бабьего Яра” с публицистическим выходом в конце и щемящую простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очереди, ретроспекцию всех памятных стихов с залихватскими интонациями “Юмора” и “Карьеры”. Когда была премьера симфонии, на протяжении пятидесяти минут со слу-

шателями происходило нечто очень редкое: они и плакали, и смеялись, и улыбались, и задумывались. Ничтоже сумняшеся я все-таки сделал одно замечание Шостаковичу: конец Тринадцатой симфонии мне показался слишком нейтральным, слишком выходящим за пределы текста. Дурак тогда я был и понял только впоследствии, как нужен был такой конец, именно потому, что этого-то и недоставало в стихах — выхода к океанской, поднявшейся над суетой и треволениями преходящего, вечной гармонии жизни. Точно так же Шостакович написал и "Казнь Степана Разина" — иной музыки я и представить не могу. Однажды в США я выдержал даже бой за эту музыку с композитором Бернштейном, считавшим тогда, что музыка Шостаковича хуже моих стихов. В Бернштейне, я думаю, все-таки прорвалось что-то слишком "композиторское", слишком профессиональное, искушенность профессионала помешала принимать искусство первозданным чувством. Кстати, впервые я читал "Степана Разина" еще с листов рукописи таким профессионалам, как Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, собравшимся в моей квартире. Вознесенский отреагировал так: "Ну, это твое не самое худшее..." Окуджава с надменностью грузинского аристократа возмущился: "Как ты можешь воспевать этого разбойника..." Гуманнее всех ко мне была Белла, сказавшая: "Женя, я тебя любила бы, даже если бы ты не писал стихов..."

Во время работы над "Степаном Разиным" Дмитрий Дмитриевич неожиданно начинал мучиться, звонил мне: "А как вы думаете, Евгений Александрович, Разин был хорошим человеком? Все-таки он людей убивал, много кровушки невинной пустил..." Шостаковичу очень нравилась другая глава из "Братской ГЭС" — "Ярмарка в Симбирске"; он говорил, что это в чистом виде оратория, хотел написать, но какие-то сомнения не позволяли. Между прочим, на композицию всей поэмы "Братская ГЭС", построенную именно по принципу, казалось бы, несоединимого, я бы никогда не решился, если бы мне не придала смелости Тринадцатая симфония.

На Западе впоследствии была пущена в ход легенда о том, что я под давлением правительства якобы написал вторую версию "Бабьего Яра", совершенно противоположную первой. Этого никогда не было. Оставляю эту легенду на совести тех, кто стал слишком забывчив и хочет сегодня представить прошлое таким образом, что только они были честными. Возвышение самих себя за счет унижения других — не самый лучший вид гуманизма. Вот как было на самом деле. Исполнение Три-

надцатой симфонии Шостаковича действительно оказалось под угрозой запрета по двум причинам. Во-первых, я находился под огнем официальной критики, и каждую мою строку рассматривали в лупу, выискивая крамолу. Во-вторых, шовинисты после публикации "Бабьего Яра" меня обвинили в том, что в стихотворении не было ни строки о русских и украинцах, расстрелянных вместе с евреями. Идеологические нащептыватели спровоцировали Хрущева еще до исполнения Тринадцатой симфонии, доложив ему, что я представил трагедию войны так, как будто фашисты убивали только евреев, не трогая русских. Словом, меня обвинили в оскорблении собственного народа. Поэт Алексей Марков опубликовал в газете "Литературная Россия" свой стихотворный ответ на "Бабий Яр", где были такие строки:

Какой ты настоящий русский,  
 Когда забыл про свой народ?  
 Душа, как брюки, стала узкой,  
 Пустой, как лестничный пролет.

Ситуация была такой, что певцы и дирижеры бежали с Тринадцатой симфонии, как крысы с тонущего корабля. В последний момент отказался петь украинский певец Борис Гмыря — ему пригрозили антисемиты. Отказался ленинградский дирижер Евгений Мравинский, выбранный Шостаковичем. Дирижировать взялся Кирилл Кондрашин, петь — молодой певец Виталий Громадский. На репетициях в консерватории собиралось множество людей — все были уверены, что официальную премьеру запретят. Накануне Кондрашина вызвали куда-то "наверх" и сказали, что не разрешат исполнения, если в тексте не будет упоминания о русских и украинских жертвах. Эти жертвы действительно были, и никто не толкал меня на ложь. Но, конечно, это было грубым бестактным вмешательством, ибо не было советом, а условием исполнения. Что оставалось делать? Я с ходу написал 4 следующие строки:

Я здесь стою,  
   как будто у криницы,  
 дающей веру в наше братство мне.  
 Здесь русские лежат  
   и украинцы  
 с евреями лежат в одной земле.

Не могу сказать, что эти строки поэтически что-то добавляют к стихотворению. Но они ничего не меняют в стихотворе-



нии, и вся легенда о второй, "противоположной, версии" распадается. Второй версии "Бабьего Яра" нет. Я показал эти 4 строки Шостаковичу, и с его согласия они были включены в симфонию. Прав ли был я тогда, пойдя на этот компромисс? Думаю, что прав. Иначе, может быть, человечество услышало бы гениальное произведение Шостаковича лишь через 25 лет — во времена сегодняшней гласности. Не забывайте, что это было первое стихотворение против антисемитизма, напечатанное в советской прессе после стольких антисемитских кампаний сталинского времени. Тринадцатая симфония была одним из первых младенческих криков гласности из ее колыбели. Гласность полужадушила в колыбели, как младенца, но все-таки младенец выжил, докричался до сегодняшнего времени.

Шостакович предложил мне создать новую симфонию на тему "Муки совести". Из этого получилось, к сожалению, только мое стихотворение, ему посвященное. Задумывали мы и оперу на тему "Иван-дурак", но не успелось. Шостакович был в расцвете своих творческих сил, когда смерть оборвала его жизнь.

Ушел не только великий композитор, но и великий человек. Как трогательно предупредителен он был, узнав о чьей-то беде, болезни, безденежье. Скольким композиторам он помог не только своей музыкой, но и своей поддержкой. Гений выше и такого не лучшего жанра человеческого поведения, как зависть. Говоря об одном композиторе, Шостакович вздохнул однажды: "Подловат душонкой... А как жаль. Такое музыкальное дарование..." Сразу всплыло: "Гений и злодейство — две вещи несовместные". Дарование может быть, к несчастью, и у подлеца, а вот гениальности он уже сам себя лишает.

Из современных иностранных композиторов Шостакович очень любил Бенджамина Бриттена и дружил с ним. Однажды мы слушали вдвоем "Военный реквием" Бриттена, и Шостакович судорожно ломал пальцы: так он плакал — руками. Шостакович был не только великим композитором, но и великим слушателем, и великим читателем. Он знал превосходно не только классическую литературу, но и современную, жадно следил за всем самым главным в прозе, поэзии — и каким-то особенным чутьем умел находить это самое главное среди потока серости и спекуляции. Он был непримирим в своих личных беседах к конъюнктурщине, трусости, подхалимству так же откровенно, как и был добр и нежен ко всему талантливому. К сожалению, насколько мне нравились эти его суждения в узком кругу, настолько мне не нравились многие его статьи, доклады. Это бы-

ли пустые восхваления партии, социалистического реализма. Практически это не было написано Шостаковичем, а лишь подписано им. Я однажды упрекнул за это Дмитрия Дмитриевича. Он был человек совестливый, беспощадный к себе и признал, что я прав, но грустно объяснил: "Однажды когда-то я подписался под словами, которых не думал, и с той поры что-то со мной произошло — я стал равнодушен к подписанным мной словам. Но зато в музыке я ни разу не подписал ни одной ноты, о которой бы я не думал... Может быть, мне хотя бы за это простится..."

Весной 1968 года произошел такой случай. Я был у Шостаковича и говорил с ним о "пражской весне" — с надеждой и тревогой. Тревога моя объяснялась тем, что в наших центральных газетах начали появляться статьи, критикующие чехословацкую "гласность" как якобы "предательство социализма". За такими словами могли последовать действия. Шостакович нервничал, дергался, судорожно хватался за рюмку, потом вдруг побежал в соседнюю комнату и показал мне открытое письмо деятелей советской культуры против "пражской весны".

— А я вот подпишу. Да, подпишу... Мало ли что я подписывал в своей жизни... Я человек сломанный, конченный... — издавался Шостакович сам над собой.

— Дмитрий Дмитриевич, ради бога, не подписывайте это письмо, — сказал я. — Ведь этим Вы можете дать опасный пример всем молодым композиторам... Ведь они же потом смогут сказать себе: "Ну, если даже Шостакович подписывает все, что от него хотят, то почему же и мне не ставить свою подпись... Дмитрий Дмитриевич, не подписывайте хотя бы этого письма... Ведь от него зависят чужие человеческие жизни. Ведь подписанные Вами слова потом могут превратиться в танки..."

Шостакович затрясся, смял письмо.

— Хорошо, хорошо... Не подпишу... — и выбежал в соседнюю комнату. Его не было минут пять. Когда он вернулся, лицо у него было пепельное, неподвижное, как маска. В тот вечер он не сказал больше ни единого слова.

Неошибавшихся людей нет, но надо находить в себе смелость, как Шостакович, хотя бы перед самим собой осудить свои слабости. А ведь некоторые люди не только не умеют заглянуть внутрь себя оком справедливого и жестокого судьи, но и пытаются выдать свои слабости за убеждения. Шостакович рассказывал мне, как во время работы над музыкой к спектаклю "Клоп" он впервые встретился с Маяковским. Маяковский был тогда в плохом, изнервленном настроении, от этого

держался с вызывающей надменностью и протянул юному композитору два пальца. Шостакович, несмотря на весь пиздет перед великим поэтом, все-таки не сдался и протянул ему в ответ один палец. Тогда Маяковский дружелюбно расхохотался и протянул ему всю пятерню. "Ты далеко пойдешь, Шостакович..." Маяковский оказался прав.

Шостакович с нами, в нас, но он уже и не только с нами, он уже далеко — в завтрашней музыке, в завтрашней истории, в завтрашнем человечестве.

1976

## ...И ГОЛУБЬ ТЮРЕМНЫЙ ПУСТЬ ГУЛИТ ВДАЛИ

Я поступил в Литературный институт в 1952 году, без аттестата зрелости, заменой которого сочли мою первую книгу "Разведчики грядущего" и членский билет Союза писателей СССР. Сейчас, к сожалению, такие случаи непредставимы. Членов Союза писателей до тридцати лет — раз-два и обчелся. Однако это вовсе не означает, что атмосфера тогда была благотворной для развития литературы. Если быть честным, то меня поддержали, видимо, потому, что мои стихи были в достаточной мере приемлемы своей возвышенной романтической риторикой, ничего общего не имевшей с действительностью.

Литинститут сбил с меня мое мальчишеское зазнайство. Эпоха была скверная, а вот среда была талантливая. Лекции читали Шкловский, Асмус, Светлов, Металлов, Былинский — люди, преподававшие нам совсем не то, что было написано в официальных учебниках. Ни от одного из них я не слышал ни одного подхалимского слова о Сталине, ни одного восторженного слова о докладе Жданова, посвященном журналам "Звезда" и "Ленинград". Они не выступали против — это было бы смертельно опасно, но и лжи нам не прививали. Был у нас один особый профессор — Павел Иванович Новицкий. Читал он, если не ошибаюсь, русскую советскую литературу. Он, в отличие от других профессоров, не мог ускользнуть от духа ждановского доклада, но, цитируя его якобы апологетически, одновременно читал нам стихи Ахматовой, якобы разоблачая ее, а на самом деле по-глухарину заводя глаза от любовного обожания каждой ее строки.

Звенела музыка в саду  
 Таким невыразимым горем.  
 Свежо и остро пахли морем  
 На блюде устрицы во льду.

При слове "устрицы" у бедного Павла Ивановича даже слезы выступали от сознания непоправимой утраты "проклятого прошлого". Он открыл мне и многим студентам царскосельскую красоту ахматовского классицизма.

Я не стремился познакомиться с Ахматовой — для меня это было так же странно, как оказаться в машине времени, которая перенесла бы меня в дореволюционную Россию. Мне было достаточно нескольких случаев, когда я наблюдал Ахматову издали, без аффектированного благоговения, но с безмерным почтением, как случайно уцелевшую реликвию. Однажды, правда, я не удержался и все-таки позвонил ей, на квартиру Ардову, когда ее публикация в "Литературной газете" потрясла меня такими простыми, волшебными строками о Пушкине:

Кто знает, что такое слава!  
 Какой ценой купил он право,  
 Возможность или благодать  
 Над всем так мудро и лукаво  
 Шутить, таинственно молчать  
 И ногу ножкой называть?..

Анна Андреевна охладила своей снисходительной королевской высокомерностью мои неумеренные восторги: "Ну что вы, право, теряете ваше драгоценное время, отрывая себя от ваших столь популярных выступлений и даря внимание старой одинокой женщине..." Что-то в этом роде, незлобливо язвительное, а точнее говоря, вежливо уничтожающее. Но я на нее не обиделся — мне было довольно и того, что **я говорил с Ахматовой**. Георгий Адамович мне впоследствии рассказал, что, когда он спросил в Париже мнение Ахматовой о моих стихах, она слегка поморщилась: "А, это что-то связанное со стадионами..." Тогда Адамович ее попытался смягчить: "Анна Андреевна, ну он же все-таки талантлив..." Королева русской поэзии резко бросила: "Ну если бы совсем не был талантлив, неужели вы думаете, что я бы помнила его имя..."

Ну что ж, скажу честно, мне хватит и того, что Ахматова просто помнила мое имя. Зато непризнанный ею Евтушенко все-таки, по-моему, написал лучшее стихотворение на ее смерть. Можете опять упрекать меня в нескромности. Скром-

ностью вообще гордятся те, у кого кроме нее нет никаких качеств. Но гордость собственной скромностью уже нескромность.

Итак, таковы мои личные взаимоотношения с Ахматовой, которых, по сути, не было. Но все-таки они были, ибо чтение, впитывание стихов всею кожей — это тоже личные взаимоотношения с поэтом. Признаюсь в следующем: я ставлю Цветаеву выше, чем Ахматову. Бросайте в меня камни. Цветаева была и хранителем традиций, и новатором. Ахматова была только хранителем. Но среди повального падения нравственности и художественности классицизм выглядел почти как новаторство. Преимущество Ахматовой перед Цветаевой — это почти полное отсутствие срывов во вкусе, за исключением пошлой формулировки о Блоке — "трагический тенор эпохи" и ужасного стихотворения о "голубке мира", по непроверенным данным, написанного Ольгой Берггольц, чтобы вытащить Ахматову из опалы. Примитивно, пожалуй, и стихотворение о Маяковском. Все остальное поражает своей точностью и чистотой.

"Реквием" — произведение гордое, не жалующееся, не рыдающее. Это — сдержанный стон со стиснутыми зубами. Поразительно музыкальное решение финала: "И голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли". Этот финал по гениальности равен неожиданному выходу в рассвобожденную гармонию, который когда-то ошеломил меня и даже обескуражил в Тринадцатой симфонии Шостаковича.

"Реквием" Ахматовой стал не только отпеванием униженных и оскорбленных, но и колыбельной песней, под которую росла наша национальная гордость, казалось, уничтоженная, превратившаяся в национальное чванство, прикрывающее преступления. Национальная гордость складывается из личных гордостей. Поговорка: "Держи сердце высоко, а головку — низко" — не самая лучшая из поговорок. Голову тоже надо держать высоко, как ее держала в горестях и унижениях Анна Ахматова. Унижения унижают не униженных, а тех, кто осмеливается унижать себе подобных.

# ЗАПАДНЫЕ ГЕНИИ

---

# 4

Плотва, как вермишель.  
Среди ее безличья  
дразнящая мишень  
беспомощность величья.



## И В САНЧО ПАНСА ЖИВЕТ ДОН КИХОТ

”...Я хоть и ем хлеб в страхе, но все-таки наедаюсь досыта, и это для меня главное — все равно чем, морковью или куропатками, лишь бы наестся”, — заявляет Санчо, возвратившись после незадачливого губернаторства к своему господину. В этой фразе обнажено сформулирована вся сущность бездуховного мирового мещанства, часто играющего в духовность. Понятие ”наестся” — этот идеал так называемого ”мещанина” — не следует понимать только физиологически. Современный мещанин, в отличие от Санчо, может быть подтянутым, стройным, с натренированными греблей и теннисом мышцами, избегать слишком жирной пищи, чреватой холестерином, и тем не менее главным для него остается хищный инстинкт ”наестся” — наестся личным благополучием, плотскими наслаждениями, детективными кинофильмами и книжонками и, наконец, властью над себе подобными — лишь бы досыта. Опасность для человечества состоит в том, что границы этого ”досыта” слишком неопределенны и что аппетит приходит во время съедания ближних. Но современный мещанин ловко скрывает свой аппетит под ханжеской маской диетика. Простодушие Санчо, только иногда обороняющееся лукавством, уже доказывает его моральное преимущество перед современными мещанами. Не будем забывать и того, что Санчо постоянно находится в борьбе с животным инстинктом самосохранения и мужественно преодолевает его, а если даже и спорит с ”рыцарем печального образа”, про себя называя его сумасшедшим, то вместе с тем необыкновенно предан ему и, может быть, в чем-то грустно завидуя, помогает искать несуществующую и тем более прекрасную Дульсинею.

По-крестьянски смекалисто ориентируясь в реалиях жизни, Санчо не может стать таким же идеалистом, как Дон Кихот, но разве не самый высокий идеалист — человек, наделенный безобманнным видением и, несмотря на это, ставший честнейшим оруженосцем обманывающегося благородства?

И Санчо Панса не более ли рыцарь, чем сам ”рыцарь печального образа”?

1973



## ТОМ СОЙЕР КРАСИТ РУССКИЕ ЗАБОРЫ

Летом 1981 года я въехал на машине в деревню, стоящую между Черным морем и Кавказским хребтом, величественно возвышающимся вдали. Цель моя была весьма прозаической — найти плотника, который бы сделал мне косовище и топориче — искусство, ныне почти исчезающее. Деревенку я прекрасно знал и вдруг ошарашенно затормозил. Мне показалось, что я брежу, и я даже вытер ладонью вспотевший от неожиданности лоб. Прямо перед носом я увидел деревянные старомодные строения, на которых были надписи по-английски "Салун", "Стор", "Тобакко-шоп". Покуривая трубки, стояли непонятные личности с винтовками в американских широкополых шляпах и высоких сапогах явно не советского пошива, лениво похлестывая по голенищам плетками и держа в поводу коней. Единственное, что привело меня в чувство, были советские колхозные клейма на лошадях и то, что неведомо откуда возникший на Кавказе негр читал газету "Известия", на которую падали черные капли краски с его вспотевшего от жары лица. Я расхохотался, наконец-то поняв, что это — киносъемка.

Это был фильм Одесской студии о Томе Сойере. Как мне объяснили рабочие, со съемкой произошла вынужденная задержка из-за того, что не могли достать вовремя краски для забора, который красит Том Сойер. Это было лишним подтверждением того, что снимался советский фильм.

Книги о Томе Сойере и о Гекльберри Финне были переведены в России задолго до революции и немедленно вошли в знаменитую Золотую Серию для детского чтения — роскошное иллюстрированное издание из красного коленкора с золотым тиснением и золотым обрезом. После революции книги были переведены на все языки народов СССР и по сей день являются наиболее часто переиздающимися иностранными книгами. Впрочем, слово "иностранная" тут не совсем подходит. Образы этих двух мальчиков принадлежат к тем мировым сокровищам, которые воспитали многие поколения в нашей стране. Перед войной одним из самых популярных советских писателей был Аркадий Гайдар, создавший знаменитую книгу "Тимур и его команда". Гайдар не по-опекунски, а с полным уважением к необходимости красоты тайны и сказки любил детей и славился тем, что после получения очередного гонорара шел на Пушкинскую площадь и покупал сразу гигантское количество воз-

душных шаров, выпуская их в воздух к детскому всеобщему восторгу. Герой книги Гайдара — школьник Тимур, во многом напоминающий повзрослевшего русского Тома Сойера, и его адъютант Гейка — отдаленно похожий на Гека Финна, организовали детскую команду, помогающую семьям тех, кто находится в армии. Деятельность этой команды окружена таинственностью. У них есть свой веревочный телеграф, объявляющий звоном пустых бутылок тревогу. Чьи-то невидимые руки пилят и колот дрова во дворах одиноких женщин. На воротах домов, находящихся под защитой команды, эти руки рисуют красные звезды. Гайдар прекрасно понимал, как и Марк Твен, силу великого волшебства детства — Игры. Именно поэтому во время войны в разных концах нашей страны были созданы бесчисленные "тимуровские команды", и литературные герои стали героями жизни. Как шутивно писал Марк Твен: "Если бы Том был великим и мудрым человеком, как автор этой книги, он бы сделал вывод, что Работа — это то, что человек обязан делать, а Игра — это то, чего он делать не обязан. И это бы помогло ему понять, почему делать искусственные цветы и носить воду в решете — есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан — игра".

Во время войны я жил на маленькой станции Зима в Сибири, и мне не раз приходилось красить заборы. Когда это случилось слишком часто, я пытался прибегнуть к методу Тома, чтобы заманить других детей делать эту работу вместо меня. Но не тут-то было. Другие сибирские дети тоже читали Марка Твена и не поддавались на крючок моего деланного небрежного равнодушия, с которым я водил кистью по доскам. Когда мы ставили школьный самодеятельный спектакль по "Приключениям Гекльберри Финна", я безумно хотел сыграть или Тома или Гека, но был слишком высокого роста, и мне досталась роль негра Джима. Помню, что на меня ушло много печной сажки. Но я настолько иногда воображал себя Томом, что называл мою давнюю школьную любовь Бекки, а однажды повел ее в сибирские пещеры, убежденно показывая ей камень, в котором продолбил ямку индеец Джо, чтобы собирать в нее воду, капавшую со сталагмитов. Сталагмитов в наших пещерах не было, но это мне не мешало. Твен презирал морализаторство, но учил нас нравственности не поучениями, а игрой и тайной. У Гекльберри Финна прорывается однажды злость на совесть: "Прав человек или виноват, у совести нет никакого разума, и она все равно его мучит. Будь у меня дворняга такая же бестолковая, как человеческая совесть, я бы отравил ее. Совесть зани-

мает больше места, чем все остальные внутренности, а пользы от нее ни на грош. И Том Сойер говорит тоже так". Однако Гек только говорит так, а действует совсем по-другому. Можно даже сказать, что он во многом даже более совестлив, чем Том, когда Гека раздражают слишком сложные ухищрения Тома, чтобы помочь Джиму бежать.

Русские дети и дети других народов любят Тома и Гека, потому что они тоже осуществленные или неосуществленные Тома и Геки. Когда Твен пишет о Томе: "Он не был самым примерным мальчиком в своем городе. Зато он хорошо знал самого примерного мальчика во всем городе и терпеть его не мог", то эти чувства разделяет все детское большинство нашей страны и всего человечества, состоящее, слава богу, отнюдь не из "примерных" мальчиков. "Примерность" ребенка — это продукт ханжеского воспитания. Твеновский Сид и ему подобные школьные маленькие бюрократы впоследствии становятся взрослыми бюрократами, но что есть неестественней, чем бюрократ-ребенок! Таких бюрократов-детей я встречал и в своем детстве, и один из них в своем школьном сочинении назвал Тома Сойера "недисциплинированным учеником и лодырем". Зато к нему потом приклеилась кличка Сид. А одну школьную учительницу, неплохую, но иногда очень скучную, мы прозвали тетей Полли. Твен дал блестящее пародийное изображение школьных сочинений, в которых, по его словам, "особенно заметна и неприятна была навязчивая надоедливая мораль, которая помахивала отрубленным хвостом в конце каждого сочинения". Это его отношение я разделял и тогда, и разделяю сейчас, потому что с фальши школьных сочинений начинается фальшь взрослого человека. Том Сойер близок русским детям и всем детям, потому что нормальное состояние ребенка — это мятеж против ханжества. Это мятеж при помощи фантазии. Том Сойер не случайно советовал Геку прочесть Дон Кихота, когда Гек не увидел никаких вообразенных Томом арабов и слонов, груженных алмазами, а всего-навсего пикник воскресной школы. Том Сойер был маленьким Дон Кихотом провинциальной Америки, а сейчас стал маленьким всемирным Дон Кихотом. Люди, в том числе и дети, во многом изменились со времен Тома и Гека. Когда Гек заходит в дом незнакомой женщины, выдавая себя за девочку, женщина кидает ему на колени свинчатку, а когда Гек сдвигает ноги, она сразу узнает в нем мальчика. Не знаю, что произойдет теперь, если подобным образом захотят проверить, девочка это или мальчик. Девочки теперь привыкли к брюкам больше, чем к юбкам. Многие

смешные, но очаровательные предрассудки Джима исчезли, но появились новые, более наукообразные и более опасные. Два шарлатана, устраивающие шоу "Королевский жираф", совсем безобидны по сравнению с шарлатанами всемирного масштаба. Яростная речь Шерборна, где есть такие слова: "Самая жалкая на свете вещь — это толпа, и армия — это такая же толпа, но они дерутся не с врожденной храбростью, а с храбростью, которую им внушили их многолюдство и офицеры", была произнесена задолго до атомной бомбы, а то, наверно, была бы еще яростней.

Но две великие книги Марка Твена о Томе Сойере и Гекльберри Финне не устаревают, потому что в них заложены нравственные ценности, непреходящие, пока существует человечество.

Во время плавания по реке Амазонке мне попался плот, на котором плыли американские и японские студенты. На плоту была надпись "Гекльберри Финн". Значит, есть такая подземная река, которая незримо соединяет все реки мира. Имя этой реки — литература.

1979

## КАРТИНЫ, СВЕРНУТЫЕ В ТРУБКИ

Весной шестьдесят третьего года я был в гостях у Пабло Пикассо в его доме на юге Франции.

Маленький быстрый человечек со сморщенным лицом старой мудрой ящерицы, столько раз оставлявшей хвост в руках тех, кто пытался ее схватить, приручить, показывал мне свои работы. Сам он смотрел не на них, а на меня. Лукавые, искрящиеся любопытством глаза, казалось, раскладывали меня на составные элементы, а потом вновь складывали уже в каких-то иных, подвластных только воображению этого человека сочетаниях. Рама написанной в грязно-розовых тонах картины "Похищение сабинянок" покачивалась, поставленная на загнутый кверху эскимосский шлепанец из тюленьей шкуры, надетый на босу ногу. Руки, поросшие седыми, но какими-то веселенькими волосами, с молниеносностью фокусника показывали мне то мифологические композиции маслом, то иллюстрации тушью к Достоевскому, то условные карандашные наброски. Уверенные и небрежные взаимоотношения рук Пикассо с его работами были похожи на взаимоотношения рук кукольника с

его героями, выведенными на парад-алле при помощи еле видимых ниточек. Работы плясали в руках, кланялись, исчезали...

— Ну что, понравилось что-нибудь? Только честно... Что понравилось — подарю... — так и ввинчивался в меня Пикассо глазами, вращающимися, как у хозяина тира из книги "Белеет парус одинокий". Я чувствовал себя Гавриком, но честно пробормотал, что мне больше нравится "голубой период", а не эти последние работы.

Два молодых человека с напряженными оливковыми лицами подпольщиков, не представленные поименно, очевидно, по конспиративным причинам (Пикассо попросил фоторепортера из "Юманите" не фотографировать их), еще более напряженно переглянулись. Пикассо неожиданно для всех восторженно захохотал, потребовал шампанского, которое немедленно возникло на подносе в руках хозяйки, как будто было на наших глазах создано из ничего воображением гения.

— Жива Россия-матушка! Жива! — кричал Пикассо, размахивая бокалом. — Жив дух Настасьи Филипповны, бросающей в огонь деньги. Ведь каждая моя подпись даже под плохоньким рисунком — это не меньше десятка тысяч долларов!

Пикассо обнял меня и поцеловал. От него пахло свежими яблоками и свежей краской. Два молодых человека с напряженными оливковыми лицами тем временем скатали в трубки три холста, указанных жестом хозяина, и, не попрощавшись, растворились в огромном, наполненном тюрьмами и заговорами мире.

1981

## "РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ"

**В** 1964 году зверобойная шхуна "Моряна" продиралась сквозь льды к острову Диксон. Северный мираж создавал восхищавшую и пугавшую картину: казалось, что со всех сторон мы окружены голубовато светящимися стенами. Суденьшко было похоже на беспомощную чайку на дне ледяной чаши.

Из-за огромного неуклюжего айсберга показался траулер. Капитан траулера закричал в мегафон:

— Махнемся фильмами?

Наш капитан ответил положительно, но осторожно:

— Махнемся... А что у вас есть?

Выкрикнутые названия нашего капитана не впечатляли.

— А детектива нету?

Тут уж капитан траулера выразился с чувством морального превосходства:

— Что там твои детективы!.. У нас "Кабирия" есть. Правда, ребята отдавать не хотят. Но смотря что предложишь...

После долгого и хитроумного торга "Ночи Кабирии" все-таки переселились на "Моряну". Фильм крутили на камбузе, повесив простыню на стене. Сначала зверобой похохатывали, но постепенно история женщины захватила всех, и, когда мошенник, разыгравший влюбленного, похитил ее деньги, матросские кулачищи возмущенно загрохали по столу...

Так когда-то плавал с нами вместе Федерико Феллини, и не догадываясь об этом.

Его собственное плавание в небезопасное море искусства происходило не на яхте красного дерева и не на океанском лайнере с бальным салоном, теннисным кортом и сауной. Феллини сам построил свой корабль и сам стал его капитаном, мужественно проходя между Сциллой коммерции и Харибдой снобизма. Он принадлежит к немногим в странах Запада режиссерам, которые не уподобляются тем капитанам, кому все равно, кто их нанимает и какой груз они повезут. Корабль Феллини нередко блуждал в миражах, но крепкие руки профессионала, лежащие на штурвале, неизменно выравнивали курс от ложных маяков в сторону настоящего искусства.

Я видел Феллини во время съемок. Взмокший от пота, с галстуком, съехавшим набок, в брюках, запачканных краской от еще не успевших высохнуть декораций, он по-капитански держал в поле зрения все: и норовящего прикорнуть на диване главного героя, и массовку, во время перерыва мгновенно превращавшуюся в неуправляемую толпу, и прикладывающегося к бутылке осветителя, и костюмершу, кокетничающую с помощником оператора. При звуке хлопушки весь этот хаос Феллини властно превращал в гармонию, и включение мотора означало дальнейшее движение корабля.

Книга Феллини "Делать фильм" — блестящая проза как таковая, а вовсе не мемуары и не руководство к кинопроизводству. Маленький роман-эссе, где главный герой — кино. Стереоскопически выпуклые рассказы, которым мог бы позавидовать любой профессиональный писатель. Тончайший талант увидеть тайну мира даже в пасхальном яйце, лежащем на кружевной салфеточке. Вымытые дождем воображения предметы и образы детства, казалось бы, неминуемо запыленные време-

нем. Влюбленность в людей, в запахи, в краски, заставляющая задуматься о том, что лишенный дара любви никогда не смог бы воскресить силой искусства этих людей, запахи, краски. Погружение в глубь психологии творчества, как в батискафе, когда в иллюминаторе колышутся смутные водоросли замыслов и проплывают причудливые донные рыбы предчувствий...

Во время чтения этой книги я несколько раз — особенно в понравившихся мне местах — нервно ерзал: какого писателя мы потеряли! Но почему потеряли? Ведь книга есть... Она и побудила меня обратиться к режиссеру с письменными вопросами, уточняющими замысел этого непростого, как и сам автор, произведения. Феллини ответил не сразу, но с подкупающей серьезностью и глубиной.

Наши несколько встреч проходили с довольно большими временными интервалами, и, честно говоря, я кое-что подзабыл. А вот Феллини не забыл, и, наверно, это свойство незабывания людей и есть неиссякаемый источник его творчества.

**Ф.Ф.** Я рад, что ты решил взять у меня интервью, и все же у меня какое-то странное чувство растерянности, словно все это просто забава, — так бывает, когда школьные товарищи задают друг другу вопросы, чтобы проверить, хорошо ли выучен урок, и один из них берет на себя роль учителя, а второй выступает в роли ученика.

Говорю тебе чистую правду: всегда, с самого начала, мне казалось, что мы с тобой друзья со школьной скамьи. Я почувствовал это, увидев тебя впервые, когда в Москве мне вручали приз за "8½". Нас кто-то представил друг другу, и вокруг сгрудились журналисты и фоторепортеры: все ждали каких-то публичных заявлений, переводчики смотрели нам в рот, но мы не знали, что бы такое сказать исторически важное, веское, кроме того, пожалуй, что мы просто симпатичны друг другу.

А когда через несколько лет ты приехал ко мне в гости во Фреджене, то, за три дня ухитрившись заговорить по-итальянски, рассказал, как на затерявшейся среди льдов зверобойной шхуне без конца крутили "Ночи Кабирии"...

А помнишь, как мы шли вдоль берега моря, оторвавшись немного от друзей, голоса которых мы слышали где-то позади, в темноте? Стояла чудесная, правда, несколько холодноватая ночь, а ты вдруг разделся, пошел в воду и сразу скрылся в темноте. Тут подошли остальные, стали меня укорять, говорить, что я должен был тебя удержать, и все принялись хором звать тебя. Но перед нами была непроглядная темень и бескрайнее море, сливавшееся с небом... Мы уже думали о самом плохом и

даже решили начать поиски, как вдруг ты вынырнул из темноты. В этот момент тебя больше всего занимал вопрос: кто, на мой взгляд, более великий художник — Тассо или Ариосто?

Дорогой друг! Именно это глубокое чувство братской привязанности, эта свойственная нам обоим школярская беспечность меня немного смущают. Тебя действительно интересуют все эти вещи? Тогда ладно, давай попробуем...

**Е.Е.** Твоя книга завершается тем, что к тебе подходит девочка и просит что-нибудь написать на клочке бумаги. Ты берешь в руки бумажку и вдруг видишь, что она вся испещрена надписями. Тебе негде писать, и ты еле-еле находишь местечко, где вписываешь: "Я попытаюсь..."

История человеческой мысли подобна такому сплошь испанному листку. Иногда кажется, что нет уже места, чтобы вписать свое слово, которое что-то добавит ко всему остальному.

Является ли, по-твоему, сфера мысли неким замкнутым пространством, где вписать свое можно лишь за счет устранения прежнего, или этот листок обладает волшебным свойством саморасширяться? Что означает на этом листке феллиниевская надпись в твоём собственном понимании?

**Ф.Ф.** Кто-то сказал, что если человек выражает через сновидения самую сокровенную, неисследованную часть самого себя, то человечество выражает себя через искусство. Если такой взгляд на творчество приемлем, то отпадают разговоры об ограниченности творчества: художник всегда может отыскать для себя чистый уголок на том листке, который ты рассматриваешь метафорически.

Художественное творчество — это не что иное, как сновиденческая деятельность человечества. Может ли истощиться, иметь какие-то границы бессознательное? Могут ли истощиться сновидения? Эта деятельность мозга спящего человека носит автоматический, произвольный характер. (Тут я не согласен с Феллини. Сновидения — это самый реалистический кинематограф, и реализм бессознательного, автоматического не существует. — *Е.Е.*)

Но у художника эта деятельность сочетается с изобразительными приемами, с так называемой символикой. Художник отдает себе отчет в том, что творить — значит "упорядочивать" нечто уже существующее, проецировать это на восприятие других людей.

Творчество представляет собой переход от хаоса к космосу, от недифференцированного, запутанного, неуловимого — к чему-то, обретенному прекрасную, совершенную форму, от бес-



сознательного — к сознанию. Вот почему мне кажется, что в художнике ощущение творчества как процесса сильнее, чем ощущение его как конечной цели.

Погружаясь в этот процесс, художник получает и оправдание, и счастье. Всякая оценка, сбивающая с таких позиций, чревата опасной, затуманивающей разум самовлюбленностью, побуждающей человека тщеславно болтать о том, что и почему он сделал, почти всегда — нет, не почти, а всегда! — выдавая всю невозможность раскрытия явления как такового.

**Е.Е.** В своей книге ты убедительно показываешь, что в плазме твоих замыслов всегда существуют ядрышки собственных воспоминаний. Внутри каждого из нас — огромный субъективный мир, жаждущий исповедаться. Насколько ты позволяешь, чтобы твоя исповедь переходила в проповедь?

Тебя упрекают, что ты иногда повторяешься... "Город женщин", как и "8<sup>1/2</sup>", заканчивается парадом-алле в финале. Быть может, для тебя самоповторение — это некий рефрен, придающий жизни совершенную форму?

**Ф.Ф.** Трудно понять, каков он, этот объективный мир, стремящийся к самовыражению через искусство. Искусство объективизирует субъективный мир художника в том смысле, что через образ он обретает возможность сделать достоянием многих то, что раньше принадлежало только ему одному.

Именно потому, что моя исповедь никогда не стремится стать проповедью, в моих фильмах и можно увидеть эти парады-алле, эту, я бы сказал, умиротворяющую цирковую путаницу, о которой вежливо сокрушается определенная часть весьма внимательной ко всяким "посланиям" критики.

Самоповторение? А что же еще, собственно говоря, делают живописцы, музыканты? И за что еще мы так любим их индивидуальность? Определенный стиль — это разве не самоповторение? (Мне кажется, здесь Феллини переходит в напрасную оборону. Он ведь сам, повторяясь лишь в частности, все время ищет перехода в новое качество... — *Е.Е.*)

**Е.Е.** Ты почти избегаешь в этой книге разговора о том, какую роль сыграла в твоём формировании литература. И все-таки какие книги для тебя были самыми значительными в детстве, в ранней юности?

**Ф.Ф.** Попробую вспомнить. Итак, "Пиноккио", "Фортунелло", "Джабурраска", "Остров сокровищ", Эдгар По, "Арчибалд и Петронилла", Жюль Верн (правда, у него я пропускал целые главы, а иногда читал только начало и конец), Сименон (мы с ним стали друзьями). Потом, хотя нам и вдалбливали их

в школе, — Гомер, Катулл, Гораций... Нравился мне и "Анабазис" Ксенофонта, где солдаты на привалах "ели сливки и пили вино, опершись на длинные копья".

Позднее пришли русские писатели: Гоголь, Чехов, Гончаров... "Смерть Ивана Ильича" Толстого — что за поразительная вещь! А однажды — я уже был взрослым — один мой друг-писатель привез мне "Превращение" Кафки. "Проснувшись однажды утром после тревожного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое". "Бессознательное", которое у Достоевского было объектом тревожного и захватывающего исследования и установления диагноза, здесь становилось предметом повествования, как в забытых мирах, легендах.

Совсем иное я находил в американском романе. Стейнбек, Фолкнер, Сароян: наконец-то настоящая жизнь, наполненная приключениями, пульсирующая. Никакой парадности, никаких мундиров, коллективных ритуалов, триумфально-воинственной риторики, а подлинные человеческие чувства, повседневная борьба. Это была подлинная жизнь, так отличавшаяся от мрачного витализма фашистских иерархов, прыгавших в своей черной униформе сквозь огненные кольца...

**Е.Е.** Веришь ли ты в возможность скрупулезной экранизации как только в экранизацию "по мотивам"? Не приходила ли тебе в голову мысль экранизировать "Ад" Данте?

**Ф.Ф.** "Ад" Данте? Кто только мне не предлагал экранизировать его, и всякий раз, когда я отказывался, лица заказчиков вытягивались в сурово осуждающей гримасе: плохо, очень плохо, непростительно, что я отверг такое почетное предложение...

А вообще предложение заманчивое: я бы с удовольствием сделал часовой фильм, опираясь на Синьорелли, Джотто, Босха, рисунки душевнобольных. Получился бы этакий бедный, тесный, неудобный, перекошенный, плоский адик. Но продюсерам требуется Доре: клуб дыма, красивые голые задницы и вполне научно-фантастические драконы.

Произведение искусства рождается в своей единственной выразительной форме. Все экранизации, все переложения я считаю чудовищными, нелепыми, уродливыми. (Не перебарщивает ли Феллини? Ведь он сам снял "Сатирикон" по Петронию. Но во многих конкретных примерах он — увы! — прав... — *Е.Е.*) Считаю, что кино не нуждается в литературе — ему нужны лишь свои авторы-сценаристы, выражающие собственные идеи через ритмы и размеры, присущие лишь кинематографу. Кино — автономное искусство, и его нельзя превращать в

иллюстрацию. Что берется из книг? Какие-либо ситуации. Но ситуации сами по себе не имеют никакого значения. Главное — чувство, с которым они показаны, фантазия, атмосфера, свет. Интерпретации — кинематографическая и литературная — одних и тех же фактов не имеют между собой ничего общего. Это два совершенно разных способа самовыражения.

**Е.Е.** Ты необыкновенно жизнелюбивый человек. Считаешь ли ты мысли о смерти частью твоего жизнелюбия?

**Ф.Ф.** А как же! Начиная, по крайней мере, с определенного возраста человек свойственно думать о смерти: такие мысли делают нашу жизнь более загадочной, более заманчивой, более очаровательной. (Так ответить, пожалуй, мог только итальянец, и в этом весь Феллини. — *Е.Е.*) Давай я тебе лучше расскажу о другом. Когда-то давно я задумал один фильм. Сценарий я написал еще в 65-м году, как я обычно пишу все свои сценарии, похожие на этикие легкие наброски, на чемоданы, набитые случайными вещами. Но фильм выкристаллизовался сразу же в серию загадочных эпизодов, сцеплений, противоречий, недугов, исчезновений, так что у меня появилось к этой конструкции какое-то опасливое отношение, и я принялся за другие картины. Однако этот темный фильм-призрак, этот реликт, затонувший на огромной глубине, продолжает посылать радиоактивные импульсы, направлять и питать другие фильмы. Без него не было бы ни "Сатирикона", ни "Казановы", ни даже "Города женщин".

Самое странное, что история эта, обескровленная всеми остальными фильмами, до сих пор не истощилась, не усохла. Быть может, это что-то вроде уранового топлива творчества. Идея, родившаяся не для того, чтобы ее осуществили, а для того, чтобы позволить мне делать другие фильмы.

**Е.Е.** Ты талантлив во многих областях искусства — как рисовальщик и как писатель. Почему ты выбрал именно кино — этот, к сожалению, наиболее быстро стареющий жанр?

**Ф.Ф.** Но ведь кино — это превосходный способ рассказать о жизни, конкурируя с богом. Ни одна другая профессия не позволяет создавать мир, так похожий на мир, который мы знаем, и в то же время на другие миры, неведомые нам, параллельные или концентрические.

Для меня идеальное место — павильон № 5 в Чинечитта. Пустой. Волнение — абсолютное, до дрожи — я испытываю, оказавшись в пустом павильоне. Передо мной пространство, которое нужно заполнить, мир, который нужно создать. Мне бы хотелось родиться на много лет раньше и делать фильмы

вместе с пионерами кинематографии, дышать одним воздухом с акробатами и шутами. Это было бы куда благотворнее для человека с моим темпераментом, чем сейчас, когда специалисты уже овладели спецификой и семантикой кино. Специальные исследования — вещь неизбежная, они придают кино характер художественно-культурного явления, но лишают его того буйного и вместе с тем немножко жесткого веселья, которое роднит его с цирком, придавая ему привкус символики.

Чем проще, обнаженнее ситуация, тем глубже и увереннее мое дыхание. Появляется этакое самонадежное ощущение, что я — демиург. Да, верно, за пределами кинематографа существует жизнь, это ясная, яснейшая шутка, идя по ней, видишь смену времени года, море, Рим, улицы, женщин и друзей, которые понемногу стареют.

Работа — моя главная любовь. А все остальное: взаимоотношения с другими людьми, периодически заключаемые союзы — пропускается через этот перегонный куб. Для меня он — самое подлинное из всего, что есть в моей жизни: здесь я не задаюсь вопросами, не останавливаюсь, не сворачиваю в сторону. Я в абсолютном подчинении у этого своего призвания. Апогей в любви и высшее напряжение в творчестве, по-моему, одно и то же: вечная иллюзия, что вот-вот исполнится обещанное великое откровение и перед тобой возникнут огненные буквы некоего послания.

**Е.Е.** Насколько ты следуешь сценарию, сделанному до начала съемок, в период самой работы?

**Ф.Ф.** Сценарий мне нужен податливый, размытый — и вместе с тем очень четкий в тех местах, где идеи проявились окончательно. Я не сторонник такой системы, когда режиссер предстает перед актерами, заявляя: вот что мы написали за рабочим столом, и это должно быть выполнено. Кинематограф нуждается в известной доле колдовства, ворожбы. Решение придет само и будет правильным при условии, что ты сумеешь создать жизненную атмосферу, в которой может родиться то, что необходимо.

Все годится для создания этой атмосферы, которая вначале существует только для тебя одного, а потом уже захватывает и всю съемочную площадку. Когда я говорю все, то имею в виду и некоторые отрицательные моменты: непонимание, трудности, заторы. В какой-то момент я сам всегда начинаю чувствовать бесполезность дальнейшей работы в литературном плане. Но если с атмосферой все в порядке, если кислород начал циркулировать, можно спокойно менять и актеров, и мизансцены,

и реплики. На этом этапе бессмысленно строго придерживаться сценария. Теперь уже фильм управляет мной, а не я им.

Работа над фильмом — это путешествие, а путешествие совершается не в абстрактной среде. Нужна постоянная готовность что-то менять: положишься на нее и смотри, куда она выведет. А говоря точнее, надо уметь отдать всего себя рождающейся вещи.

**Е.Е.** Ты несколько раз замечаешь в своей книге, что искусство тебе было дороже всех предвзятых политических схем...

**Ф.Ф.** Я не способен к построению каких бы то ни было схем и изначально их не приемлю. Мне всегда казалось безнадежным делом добираться до политических предпосылок, устанавливая диагнозы, у меня для этого нет ни соответствующих инструментов, ни желания. Я отдаю себе отчет в том, что это какая-то детская ограниченность, но у меня нет ни способности к зрелым размышлениям, ни умения смотреть на вещи отстраненно, ни какой-то необыкновенной интуиции, без которой невозможно понять, кто управляет нашим обществом и какими темными и запутанными путями оно дошло до такого застойного состояния. Боюсь, что когда-нибудь все покатится кувырком. Быть может, раньше существовал какой-нибудь план, но потом о нем позабыли, как случилось с планами церкви относительно спасения человека. Остался один лабиринт, и никто уже не помнит, где вход, где выход и зачем этот лабиринт нужен.

Мне кажется, что я проявляю свою гражданскую сознательность тем, что не обманываю, не самоуспокаиваюсь, свидетельствую. Но прежде всего я отвечаю за цвет, свет, верную перспективу, схваченную в нужный момент.

Предлагая зрителю свой взгляд на вещи, я разделяю с другими свое доброе или мрачное расположение духа, приглашаю их принять участие в игре моей фантазии. Позиция эстетствующего человека? Возможно. Но только в изначальном смысле этого древнегреческого слова, без литературщины, прилипшей к нему в более поздние времена. Прекрасное было бы менее фальшивым и коварным, если бы прекрасным стали считать все, что дарует волнения, эмоции, независимо от "эстетических" канонов. Стоит затронуть сферу эмоций, как она высвобождает энергию, и это всегда факт положительный — как с этической, так и с эстетической точки зрения. Прекрасное не может не быть добрым. Ум — это добро.

Очень сильно искушение сказать, что будущее уже кончилось. Начитавшись научно-фантастических романов, я порой начинаю разделять чувство агрессивного страха, чудовищного

эгоизма, которое овладевает человечеством в связи с истощением естественных ресурсов нашей планеты. Даже когда я слышу сомнительные и неясные рассуждения о границах прогресса, мне кажется, что вся эта история обладает волнующей непоправимостью для человека, который, как я, безрассудно мечтает попасть на новый Ноев ковчег и попутешествовать на нем среди всеобщего краха.

**Е.Е.** В своей книге ты настойчиво подчеркиваешь, что никогда не встречал полностью взрослых и что все взрослые — это на самом деле дети. Мне тоже кажется, что, если человек полностью не застывает, его формирование может быть бесконечным... А что бы ты посоветовал в таком случае детям? Не становиться взрослыми?

**Ф.Ф.** Прежде всего я бы постарался им привить любопытство и научил бы их ничего не бояться.

Остерегайтесь спугивать или глушить в ребенке любопытство; это — прекрасное оружие защиты и исследования, это — чувство, которое надо сохранять во что бы то ни стало. Воспитание должно быть направлено на параллельное развитие сознательного и бессознательного. При этом следует уважать те или иные наклонности человека, вписывая их в довольно гибкие границы, поскольку эти границы не могут быть одинаковыми для всех (за исключением того, что угрожает самой жизни — твоей и твоих близких).

Мой моральный кодекс для ребенка был бы очень простым. Я бы попытался объяснить ему, что нельзя обижать других, нельзя навязывать им свои представления, потому что другие — это часть тебя самого, что-то вроде твоего отражения в зеркале. Может быть, где-то, когда-то произошла грандиозная операция по распылению единой психологической галактики, и есть еще возможность найти в других людях то, что нужно тебе самому.

Если бы у меня был сын, я прежде всего постарался бы сам поучиться у него. Родители, как правило, делают все наоборот: они навязывают ребенку несколько известных им самим глупостей, а у него не спрашивают ни о чем. Я ни разу не видел, чтобы родитель спрашивал у ребенка, каким представляется ему кот или дождь, что ему снилось ночью и почему он этого боится.

До какой же степени мы погрязли в своих собственных проблемах, в своих близоруких представлениях о жизни! Здесь присутствует даже какой-то собственный аспект, сначала мы считаем ребенка вещью, которую мы можем демонстрировать зна-

комым, как новое платье или автомашину, и тем отказываем ему в признании его индивидуальности; а потом мы считаем, что ребенок — это сплошная ошибка и мы обязаны вложить в него правильные взгляды на жизнь.

Но ведь мы говорим о человеке по меньшей мере необычном, о человеке "вновь прибывшем", который не знает того, что знаешь ты, и располагает очень малыми, но цельными средствами для вступления в контакт с действительностью, частица которой — он сам.

Ребенок — это часть четырех стихий, и хотя он не умеет высказать то, что думает, он знает уйму вещей, уже позабытых или сознательно зачеркнутых нами, взрослыми.

Фильм, которого я, к сожалению, не сделал, да и сделать его невозможно, — это история сотни детей двух-трехлетнего возраста, живущих в огромном густонаселенном доме на окраине большого города.

Я бы показал жизнь этого большого дома, увиденную и придуманную детьми, — с любовными историями, с ненавистью и несчастьями, и все это на тех же лестницах или в садике перед домом.

Из всех моих замыслов этот да еще тот первый фильм-призрак постоянно посещают меня с миной глубокого упрека. Тут мог бы получиться очень трогательный фильм, безумный и раскованный, ибо мне кажется, что именно ребячьи несет в себе огромное богатство, что у этих малышек внутри — в голове и в сердце — есть этакий сейфик с тайнами, которые постепенно раскроются.

Когда встречаю я на улице ребенка и он на мгновение останавливается на мне свой взгляд, потому что я улыбнулся ему и скорчил гримасу, а потом все оглядывается, хотя родители немолимо тащат его за собой, вот тогда-то мне и начинает казаться, что сценка эта могла бы стать началом, попыткой, пусть даже неуклюжей, излить свою душу.

Поддавшись очарованию феллиниевской задумки, я подошел к своему трехлетнему сыну Саше и спросил его: "Что такое кот?" И вдруг я заметил, что глаза моего мальчика обратились с вопросом к окружающим взрослым, и один из них начал объяснять ему то, что должен был объяснить он сам, и, возможно, каким-то особенным, наивно-мудрым способом. Я оборвал эту взрослую подсказку и подумал с горечью, что Феллини был прав. Мы нередко приучаем детей сызмальства к нашим подсказкам и убиваем в них творцов своего самостоятель-

ного мира. И не каждый из них может устоять перед услужливо предлагаемыми готовыми клише... Каждый должен открывать истину сам, и от этого истина, оставаясь собой, никогда не будет скучна...

Лишенное живых эмоций воспитание, основанное на назойливых подсказках, может дать совершенно противоположные результаты. Но я не считаю, что "стоит затронуть сферу эмоций, как она высвобождает энергию, и это всегда факт положительный". Разве лжепророки своей псевдопатриотической риторикой не затрагивали эмоций десятков тысяч людей? Но порожденная этим энергия вовсе не была положительной.

От нашего эпистолярного интервью с Феллини у меня осталось ощущение его постоянного упорства в отвержении каких-либо уже устоявшихся формул.

Для Феллини самостоятельность даже туманного, но собственного ответа или полуответа дороже самых ясных ответов, но выработанных другими людьми. Это упорство — не изворачивание, не нарочитая неуловимость, а мучительная работа собственной души, не перекладывающей ответственность за мир на чужие плечи. Феллини из инстинкта самосохранения не употребил бы, в отличие от меня, такого расхожего выражения, как "ответственность за мир". Но это не означает, что он этой ответственности избегает, — он избегает лишь громких слов об этой ответственности.

После интервью я перечитал еще раз книгу Феллини, и, несмотря на то что он на всякий случай со вздохом признался в своей "незрелости", я нашел у него любопытное определение одной из самых опасных темных сил человечества — фашизма: "Извечные предпосылки к фашизму именно в провинциализме, в неумении людей понять свои конкретные реальные проблемы, в нежелании углублять — из-за лени, предрассудков, самомнения и соображений личного удобства — свои связи и отношения с жизнью. В то, как они кичатся своим невежеством, как стремятся утвердить себя и свою группу не с помощью силы, которую дают знания, способности, опыт, уважение к культуре, а посредством всяких уловок, хитрости, хвастовства, демонстрации не подлинных, а фальшивых добродетелей... Невозможно сражаться с фашизмом, не отождествляя его с тем, что есть глупого, подлого, трусливого в нас самих..."

Надо иметь мужество, чтобы так сказать, не переадресовывая свои обвинения по далеким адресам. Впрочем, для людей трусливых самый далекий адрес — это свой собственный.



Чтобы выбраться из лабиринта, о котором говорит Феллини, нужна ариаднина нить, а она сплетена не только из тончайших волокон интуиции, но и из нитей социально-политических. Я полностью согласен с Феллини, когда он заявляет, что прекрасное не может не быть добрым. Но когда он говорит, что "ум — это добро", то, к сожалению, это вызывает сомнение. Злой ум в конце концов — это дикость. Но только добрый ум — это добро.

Среди миллионов километров развлекательных, а иногда разлагающих кинолент, опутавших весь земной шар, киноленты Феллини похожи на кардиограммы, запечатлевшие прерывистое, но постоянное биение большого, доброго сердца.

Сейчас Феллини — в предфильми.

Станет ли его новый фильм таким, что он будет трогать человеческие сердца — и в Италии, и снова на каком-нибудь суденышке, окруженном айсбергами?

1982

## ЖАН ВАЛЬЖАН МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Есть писатели, без которых невозможно представить историю литературы. Есть те, без которых невозможно представить историю как таковую. К таким писателям принадлежит Виктор Гюго.

В его романе "Отверженные" есть знаменательный эпизод — бывший каторжник Жан Вальжан, тщательно скрывающий свое прошлое и ставший так называемым уважаемым человеком, видит телегу, раздавливающую людей, и, сбросив свою респектабельность, поднимает ее нечеловеческим напряжением, тем самым выдавая себя и обрекая на узанность. Если мне не изменяет память моего детства, когда я читал этот роман, кажется, именно с этого момента инспектор Жавер узнает Жана Вальжана.

Таков был сам Виктор Гюго. Жизнь множество раз подсовывала ему разные варианты академического комфорта, и он искусно прятал свою мятежную сущность под комильфотной "признанностью" и "приемлемостью". Однако, когда он видел раздавливаемых людей, в нем срабатывал не спасительный инстинкт самосохранения, а великий инстинкт сохранения раздавливаемых. Равный Жаверу по настойчивости расследования, по скрупулезной методической принципиальности профессионала,

не гнушающегося опускаться в клоаку Парижа, лишь бы найти искомое, Гюго всегда тем не менее был не на стороне преследующего, а на стороне преследуемого. В нем был своего рода дуализм, нет — в нем был тысячелизм, когда автор одновременно был не только Эсмеральдой и Квазимодо, но и каждой из химер Нотр-Дам де Пари. Гюго, подобно Жану Вальжану, не мог не пытаться поднять телегу, даже если это и выдавало его.

Так он поднимал на своих плечах историю.

Его сентиментальность была сентиментальностью каторжника, купившего маленькой Козетте куклу.

Гюго упрекают в высокопарности, в мелодекламационности. Доля правды тут есть. Но лишь за спящего в слоне Гавроша можно простить Гюго все. Этим Гаврошем был сам Виктор Гюго. Да, иногда он спал во впечатляющем, но пустом внутри слоне собственной славы, но понимал, что этот слон изъеден мышами, и при выстрелах всегда умел вовремя выпрыгнуть из него, чтобы оказаться на баррикадах. До конца своей жизни он не потерял внутри себя гамена.

Он вправе был сказать в своем стихотворении "*Le proces à la revolution* ("Суд над революцией") следующие слова: "*O juges, vous jugez les de l'aurore*" ("Что ж, грозный трибунал, суди лучи рассвета"). Это была не только защита революции Франции, но и самозащита. В стихотворении "Надпись на экземпляре "Божественной Комедии" Гюго написал:

*Puis je fus un lion rêvant dans  
les déserts  
Parlant à la puit sombre avec sa  
voix grondante.  
Maintenant, je suis homme, et je  
m'appelle Dante.*

(...родился львом, мечтал среди  
пустынь,  
И ночи сумрачной я слал свой рев  
из прерий;  
Теперь — я человек;  
я — Данте Алигьери).

Гюго — Данте французской революции. Поэт показал не только романтику ее баррикад, но и, как Жан Вальжан, прошел сквозь ее клоаку, полную экскрементов и крови. Да, Гюго был сентиментален. Но обвинение в сентиментальности чаще всего исходит из уст неполноценных людей, лишенных этого вели-

кого человеческого качества и втайне завидующих тем, кто им обладает. Человек несентиментальный — это вообще не человек. Излишние слезы ценней патологического неумения плакать.

Кажется, Карлейль сказал: "Большой человек уносит на себе, как Самсон, ворота, которыми хотят его запереть". Таков был Гюго. Презрительное мнение о нем снобов, что его можно читать лишь в "тинейджерском" возрасте, — на самом деле комплимент. Именно в этом возрасте формируется психология человека, и — будем честными сами с собой — разве не все лучшее, что есть в нас, мы впитали именно подростками? Потом мы уже покрываемся коркой психологического отвердевания, теряем талант впитывания.

Есть прекрасные писатели, без которых я вполне могу представить себя как человека. Без Гюго — не могу. В гениальнейшей поэме Маяковского "Облако в штанах" "воют химеры собора Парижской богоматери". Тогда Маяковский еще не бывал в Париже, и, конечно, образ этот пришел к нему от Гюго. Маяковский был одним из детей Виктора Гюго — он тоже был гаменом революции с ощущением на ногах невидимых жан-вальжановских кандалов.

У Достоевского на поздних фотографиях — тяжелый каторжный взгляд Жана Вальжана. Неслучайна перекличка названий — "Отверженные" у Гюго и "Униженные и оскорбленные" у Достоевского.

Кто-то когда-то назвал литературу "сладкой каторгой". Не очень благозвучно, но точно... Гюго вынес эту каторгу с честью.

1985

## ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ!

"К убийству привыкнуть нельзя..." — это сказал он, человек, чьи руки привыкли к винчестерам, манлихерам, спрингфилдам не меньше, чем к писательскому перу. Это сказал человек, которого в конце концов убило собственное оружие. Когда-то он сказал оружию "прощай", но снова и снова к нему возвращался. "Прощай, Хемингуэй", — ответило ему оружие своим последним выстрелом, на этот раз в него самого. Оружие думало, что победило. На самом деле победил он, но это была пиррова победа. Ценой собственных ран, ценой попыток

самоутверждения, кончившихся горьким похмельем разочарования, он понял, что одно и то же оружие в тех же самых руках может быть разным.

Все зависит, во имя чего берутся за оружие. Но даже в случае нравственной вынужденности взяться за оружие "к убийству привыкнуть нельзя", ибо привычка к убийству сама по себе аморальна. Одновременно Хемингуэю был отвратителен пацифизм, ибо лицом к лицу с фашизмом долготерпение и непротивленчество не что иное, как трусость. А фашизм может взойти только на почве, унавоженной чьей-то трусостью перед фашизмом.

Конечно, страх есть в каждом как здоровый инстинкт самозащиты. Но когда страх превращается в трусость, заменяющую совесть, "...начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже". Внутри Хемингуэя, человека, о бесстрашии которого ходили легенды, всю жизнь жила уверенность в собственном бесстрашии, и он проверял свою личную смелость слишком часто, как бы непрерывно требуя от себя доказательств.

Первая мировая война, на которую он так рвался, всадила в его тело двадцать семь осколков. Но были и другие осколки, не извлеченные никакими хирургами и бродившие по его телу всю жизнь: осколки сомнений в необходимости мужества как такового, независимо от его цели. Ведь и убийцы бывают мужественными.

Первая мировая война была полностью лишена моральной цели, и это потрясло Хемингуэя. Дезертирство героя романа "Прощай, оружие!" выглядит более близким к мужеству, чем участие в бессмысленной войне. Тема "Фиесты" — это не поддающиеся подсчету нравственные потери войны, значительно превосходящие горы аккуратно подсчитанных трупов. Физическая неполноценность героя, искалеченного войной, становится символом духовной искалеченности. Бессилию перед женщиной, которую любит герой и которая любит его, в то же время изменяя ему то с мальчишкой-матадором, то с комплексующим собутыльником, — это бессилие перед действительностью, изменяющей герою с кем попало. Кому нужна такая любовь в жизни, если ты ничего не можешь дать ей, и кому нужна такая жизнь, если она ничего не может дать тебе? Героиня "Фиесты" Брет Эшли не то что безнадежно больна — она безнадежно мертва. А разве может мертвый помочь мертвому? "Шофер резко затормозил, и от толчка Брет прижало ко мне. — Да, — сказал я. — Этим можно утешиться, правда?"

Страшноватое утешение, ибо это всего-навсего прижатость двух трупов друг к другу. Где же выход? Как стать живым, если почти все в тебе убито? Выход для эпикурейца графа Миппипопуло прост: "Именно потому, что я очень много пережил, я теперь могу так хорошо всем наслаждаться". Хемингуэй отвечает этой нехитрой, трусливенькой философии, сначала как будто соглашаясь, но затем все опрокидывая убийственной иронией: "Пользоваться жизнью — не что иное, как умение получать нечто равноценное истраченным деньгам и понимать это. А получать полной ценой за истраченные деньги можно. Наш мир — солидная фирма. Превосходная как будто теория. Через пять лет, подумал я, она покажется мне такой же глупой, как все остальные превосходные теории".

Слоняние из кабака в кабак, самозапутывание в паутине компаний, полупьяное созерцание коррид, подстреливание львов и антилоп — все это лишь ложный ореол вокруг Хемингуэя, частично созданный им самим, частично авторами бесчисленных воспоминаний о нем. Главной трагедией Хемингуэя было несоответствие его жизненных идеалов и его жизненного антуража. К счастью, не всю жизнь. Вот что он сам писал про собственное окружение: "Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей, про самых богатых, что ты не из их племени: ты согласишься в их стане".

Хемингуэя ужасала возможность стать одним из тех писателей, о которых он говорил так: "Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил, изменяя себе и своим верованиям; загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством, снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами... Талант был, ничего не скажешь, но вместо того, чтобы применять его, он торговал им".

Понимая опасность оказаться раз и навсегда втянутым в карусель богемной жизни, Хемингуэй стал придумывать для себя другие опасности. Он изобрел себе вторую, охотничью, жизнь. Но в сущности вся его жизнь была охотой за смыслом мужества.

Ведь одно дело охота на большую рыбу нищего старика, для которого это вопрос жизни и смерти, и другое дело, когда это вопрос специально организованных опасностей. Конечно, это тоже познание жизни, но самое ее глубокое познание не принадлежит к числу организуемых. Обыкновенному человеку и в голову не придет изобретать опасности. Они ежедневно окружают его, куда более страшные, чем львиные когти. Невоз-

можность найти работу или страх потерять ее, ощущение себя лишь ничтожным звеном в индустриальной цепи, тоскливое однообразие быта — вот джунгли, зачем ездить в Африку на их поиски? Кстати, для проводников-профессионалов, сопровождающих белых охотников в африканских джунглях, охота — это вовсе не экзотика опасностей, а быт, из опасностей состоящий.

Есть еще одна из самых страшных опасностей, подстерегающая человека, где бы он ни был, — это одиночество. Для того чтобы проверить свое мужество в борьбе с этой опасностью, вовсе не обязательно гоняться за ней у снегов Килиманджаро — она всегда рядом. Грифы, ожидающие мгновения, когда мы сдадимся, чтобы выклевать нам глаза, невидимо восседают на всех городских светофорах, а не только на далеких от цивилизации скалах. Трагедия Френсиса Макомбера, случайно или не случайно подстреленного собственной женой на охоте, не страшнее трагедии глухого старика из рассказа "Там, где чисто, светло", одинокого, пьющего аперитив в кафе, из которого его в конце концов выгоняют. Хемингуэя тянуло к раскрытию жизни человечества через обыкновенного человека в обыкновенных обстоятельствах, что было свойственно, скажем, Чехову. Но то ли от неуверенности в интересности обыкновенного, то ли от собственной биографии, которая была коллекционированием необыкновенностей, Хемингуэй больше прибегал к исключительным характерам в исключительных обстоятельствах. Это приводило иногда к мучительным противоречиям. Однажды произнеся: "К убийству привыкнуть нельзя", можно ли привыкнуть к развлекательной охоте, ибо она тоже убийство?

Мужество, проявляемое в развлечениях, — это эрзац. Настоящее мужество проявляется лишь в условиях жизненной необходимости его проявления. Но что считать жизненной необходимостью? Гарри Моргана из "Иметь и не иметь" трусом не назовешь. Но он умирает ни за что ни про что. Его смелость лишена нравственности — это лишь инстинкт самозащиты. Можно ли борьбу лишь за собственное существование возводить в подвиг?

Переломным моментом в жизни Хемингуэя была гражданская война в Испании. Здесь ему не нужно было искусственно создавать ситуации для проявления мужества. Это был повод для достойного мужества, освященного благородством цели. Всех матадоров, львов и антилоп смел со страниц Хемингуэя ветер пожара. Личные несчастья людей, не находящих себе

места в жизни, отступили перед темой народа, не находящего себе места в собственной стране. Рядом с подвигом антифашизма охотничьи подвиги оказались игрушечными. Настоящему человеку наблюдать человеческую корриду из безопасной ложи стыдно. А Хемингуэй был именно таким настоящим человеком. Проклявший бессмысленность первой мировой войны, он заявил, что есть и другая война, "если знаешь, за что борются люди, и знаешь, что они борются разумно".

В облике шофера Ипполито он увидел сражающийся народ и пошел вместе с этим народом. "Пусть кто хочет ставит на Франко, на Муссолини, на Гитлера. Я ставлю на Ипполито". Ставка Хемингуэя на Ипполито была проиграна. Но только временно. Ставка на народ в конечном счете беспроигрышна.

Испанский народ был лицемерно предан. Интербригадовцы покидали Мадрид, размазывая слезы по небритым, прокопченным дымом пожарищ лицам. Но Роберт Джордан до сих пор тащит взрывчатку на спине, чтобы помочь народу. Старуха Пилар до сих пор жива и не умрет никогда, воздвигнутая Хемингуэем, словно каменное изваяние страданий и борьбы. Именно на яхте, названной "Пилар", Хемингуэй ходил во время второй мировой войны на поиск немецких подлодок.

Но это было уже не искусственным, а естественным проявлением исключительного характера в исключительных обстоятельствах. Личное мужество обрело смысл. Этим смыслом стал антифашизм. "Человек один не может быть. Нельзя теперь, чтобы человек один. Все равно человек один не может ни черта..." — вот что хрипел умирающий Гарри Морган, всю жизнь ставивший только на себя, но понявший перед смертью, что такая ставка обречена. Хемингуэй ставил на Ипполито.

Он не хотел быть только писателем. Большим писателем не может быть тот, кто только писатель. Гражданская уклончивость, социальное равнодушие или ложно сделанный выбор исторической ставки неизбежно ведут к саморазложению даже крупных талантов. "Разбогатев, наши писатели начинают жить на широкую ногу, и тут-то они попадают. Теперь уж им хочешь не хочешь приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, и прочая. А в результате получается макулатура... А бывает и так: писатели начинают читать критику. Если верить критикам, когда те поют тебе хвалу, то приходится верить и в дальнейшем, когда тебя начинают бранить, и кончается это тем, что теряешь веру в себя..."

Не надо верить легендам о Хемингуэе как об искателе при-

ключений. Он искал не приключений, а осмысленной точки приложения личного мужества. Возможно, момент, когда эта точка расплылась в его глазах, и стал его концом. Возможно, он почувствовал, что так и не написал своей главной книги, о которой думал всю жизнь. Но он успел написать самого себя, а это немало.

Хемингуэй врубил в сознание читателей, может быть, больше, чем собственные книги, — собственный образ автора этих книг.

С такими людьми, как Хемингуэй, не обязательно встречаться — все равно есть ощущение встречи. Он рассыпал свой образ по множеству своих героев, а его герои стали частью нас — значит, и он стал нами. В этом для него и была задача литературы, и он ее вышолнил: "Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и понять, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта".

Сейчас, когда вопрос сокращения, а затем полного уничтожения оружия массовых убийств является главным вопросом современности, слова "К убийству привыкнуть нельзя" звучат как завещание Хемингуэя. Но великие книги, являющиеся духовным оружием человечества в борьбе за справедливость, — это то оружие, которое сокращению не подлежит. Скажем таким книгам с благодарностью и надеждой, что они будут служить вечно: "Здравствуй, оружие!"

1980

## ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО МЕРТВЫЕ БЫЛИ...

Однажды на встрече с группой зарубежных писателей, приехавших к нам на очередной симпозиум, меня грустно поразило то, как представился один из гостей.

"Я написал двадцать два авантюрных романа, — бойко отрекомендовался он, — пять социальных и около десяти психологических..." Он так именно и заявил — "около десяти психологических".

Меня вообще повергает в недоумение попытка искусственного деления литературы на "рабочую", "деревенскую", "историческую", "военно-историческую" и т.д. Один критик даже



выдвинул формулу особой "интеллектуальной поэзии", не замечая очевидной тавтологии термина.

Большая литература не укладывается ни в какие рамки, ибо она является отражением живой, не укладываемой ни в какие рамки жизни. Разве "Капитанская дочка" или "Война и мир" — только военно-исторические полотна? Разве можно "Моби Дик", "Пьяный корабль" и "Старик и море" засунуть в разряд литературной маринистики? Разве можно "Приключения Гекльберри Финна" отнести к ведомству "абитуриентской" литературы?

Содержание большой литературы — это всегда не просто конкретный материал, а внутренняя тема, поднимающаяся над материалом.

Дать в руки Агате Кристи или Сименону материалы дела Раскольникова — и мы получили бы всего-навсего квалифицированный детектив. Те, кого можно назвать только "бытописателями" или только "романтиками", только "обличителями" или только "трубадурами", к большой литературе не относятся, даже если и выполняют временные положительные функции. Большой литературе свойственна если не тематическая, то обязательно духовная энциклопедичность.

Этим качеством большой литературы обладает удивительный роман колумбийского писателя Габриеля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

Книга Гарсиа Маркеса реалистична и фантастична, авантюрна и бытописательна, социальна и психологична, она и "деревенская", и "рабочая", и "военно-историческая", она и философская, и откровенно чувственная. В отличие от анемичной структуры современных "антироманов", книга Гарсиа Маркеса полнокровна и, кажется, сама изнемогает от собственной плоти. Если бы этой книге можно было поставить градусник, то бешено прыгнувшая ртуть расколотила бы ограничивающее ее стекло. Кажется, что после овсяной каши и диетических котлеток тебе наконец дали в руки сочную глыбу латиноамериканского "ломо".

В этой книге нет хилых, ковыляющих чувств, — даже, казалось бы, низменные страсти исполнены возвышающей их силы. В этой книге искусственная челюсть, опущенная в стакан, покрывается желтенькими цветочками, девушка возносится на небо, увлекая за собой чужие простыни и тем самым вызывая возмущение их владелиц, новорожденного со свиным хвостиком съедают рыжие муравьи, а мужчина и женщина любят друг друга в луже соляной кислоты. Веет проказами Тиля Уленшпи-

геля, буйством Франсуа Вийона, рассказами Мюнхаузена, пиршествами Гаргантюа, кличами Дон Кихота. Язвительные сатирические картины, напоминающие "Историю одного города" Салтыкова-Щедрина, сменяются возвышенными интонациями старинных испанских "романсеро", колабрюньоновский эпикурейский оптимизм перебивается кафкианскими видениями, а на эротические декамероновские сцены падают мрачные тени дантовских призраков. Но это не мозаика литературных реминисценций, а мозаика самой жизни, объединяющая Гарсиа Маркеса и его предшественников.

Эта книга, несмотря на то что она взошла на перегное всей мировой литературы, не пахнет бумагой и чернилами: она пахнет сыростью сельвы, горьким потом рабочей усталости и сладким потом любви, мокрой шерстью бродячих собак, дымящейся фритангой, амброй женской кожи и порохом. Эта книга матерится и молится, молодо горланит и по-старчески покряхтывает, устало мычит, как обессиленный буйвол, и вопит от горя, как мать над своими расстрелянными детьми.

"В те времена никто ничего не замечал, и чтобы привлечь чье-то внимание, нужно было вопить..."

Именно это и должно мучить любого художника — боль оттого, что столько страданий расплескано по планете, и страх оттого, если и вправду никто ничего не замечает. И долг художника — запечатлеть то, что не замечает никто.

Один из героев Маркеса, бывший свидетелем расстрела рабочих банановых компаний и чудом уцелевший, возвращается домой. Но жизнь идет своим чередом, как будто и не было расстрела. "Официальная версия", которую тысячи раз повторяли и вдалбливали населению всеми имевшимися в распоряжении правительства средствами информации: "Мертвых не было". И когда, потрясенный человеческим равнодушием, Хосе Аркадио Второй бормочет о том, что они все-таки были, то его не понимают или не хотят понимать.

— Там было, наверное, тысячи три... — прошептал он.

— Чего?

— Мертвых, — объяснил он. — Наверное, все люди, которые собрались на станции.

Женщина посмотрела на него с жалостью:

— Здесь не было мертвых...

В этом забвении, отчасти искусственно организованном, отчасти являющимся самозатуманиванием с целью не думать о чем-то страшном, что, не дай бог, может повториться завтра, Гарсиа Маркес видит одну из опаснейших гарантий возмож-

ности повторения кровавого прошлого. Люди, помнящие о вчерашних преступлениях, среди тех, кто забыл об этом или старается забыть, чувствуют себя изгоями, мешающими общей самоуспокоенности, и выглядят подозрительными маньяками в своем усердии напоминать.

Книга Гарсиа Маркеса — это попытка связать в единый узел все разорвавшиеся или кем-то расчетливо разъединенные звенья памяти. Память с выпавшими или устраненными звеньями — лживый учебник.

Как истинный художник, Гарсиа Маркес понимает, что история повторяется не только в политических сдвигах, поворотах или даже катастрофах, но и в быту, в самых интимных отношениях между людьми. Все философские концепции, так или иначе призывающие к изменению порядка вещей или к его сохранению, не ниспосланы откуда-то с заоблачных высей, а создаются дышащими, едящими, пьющими, любящими, ненавидящими людьми, и без изучения реалий бытия невозможно понять исходную точку человеческих заблуждений и надежд, надежд и заблуждений. Маркес лишен фрейдистского однобокого толкования любого человеческого порыва как следствия того или иного сексуального комплекса, но он справедливо ощущает духовное и физическое в неразрывной связи. И в этом тоже сила его книги.

Радиус действия романа ограничен вымышленным городком Макондо, но в этом капельном городке отражается не только история Латинской Америки, а в какой-то мере и история всего человечества.

Многое в романе может показаться слишком экзотичным для европейского читателя. Но крик какой-нибудь тропической птицы кажется экзотичным только тому, кто не привык к нему. Вслушайтесь в этот крик, европейцы, и вы услышите в нем ту же самую тоску, которая звучит в привычном для нас голосе серенького жаворонка или в голосе болотной выпи. У всех народов разные исторические судьбы, но у всех народов одна и та же жажда любви и справедливости, и у всех эксплуатируемых народов схожие преграды на пути к осуществлению надежд: неразвитость сознания, разъединенность, раздробленность на миллионы одиночеств и происходящая от всего этого беспомощность перед безличным лицом перемалывающей людей машины бесчеловечности.

В Латинской Америке двадцать стран, где люди говорят на одном языке — испанском, и в то же время народам этих стран еще не удалось объединиться против общего врага — лицемер-

ной эксплуатации, вооруженной до зубов военно-бюрократическими средствами. Это ли не символ того, какая титаническая работа предстоит всему разноязыкому человечеству, чтобы когда-нибудь заговорить на общем политическом языке и освободиться от общих угнетателей?!

Волей-неволей Гарсиа Маркес противопоставил свою сагу о семье Буэндиа саге о Форсайтах, ибо правда о человечестве не только в Сомсе, переживающем свое одиночество за игрой в гольф, но и в Хосе Аркадио Буэндиа, от одиночества мечтающим превратить лупу в победоносное оружие; не только в элегантно страдающей Флер, но и в бывшей крестьянке, теперешней проститутке со спиной, стертой до крови после стольких клиентов. Но Гарсиа Маркеса нельзя обвинить в таком вульгарном социологизме, когда народные массы идеализируются и первобытность их инстинктов, их неграмотность возводится в некий культ, выдвигаемый как противовес "разложению цивилизаций". Даже народную прославленную мудрость Гарсиа Маркес не превращает в фетиш. Гарсиа любит своих героев, но он беспощаден к их суевериям, к их невежеству, к их детской жестокости. И в этом смещении любви с трезвым пониманием необходимости духовной эволюции Гарсиа Маркес поразительно близок к такому вроде бы далекому от него писателю, как Андрей Платонов, которого он, может быть, и не читал. Но тропическая птица и русский жаворонок могут петь одну и ту же песню, даже не слыша друг друга...

Все существо Хосе Аркадио возмущено, когда в Макондо появляется представитель правящей бюрократии — коррехидор — и отдает свое первое распоряжение — покрасить все дома в голубой цвет в честь Дня независимости. Инстинкт свободы, заложенный в любом, даже самом неграмотном человеке, подсказывает Хосе Аркадио, что слепое подчинение бессмысленному распоряжению — это путь к потере самого себя. Но стремление неграмотного, не осознавшего себя человека к защите своей личности возможно лишь через познание самого себя и мира. Хосе Аркадио хочет перескочить через какие-то этапы познания непосредственно к действиям. Он пытается применить принцип маятника к плугу, к телеге, ко всему тому, что может принести пользу, но убеждается, что это безнадежно. Стараясь постигнуть тайну музыки, Хосе Аркадио разбирает пианолу и потом кое-как собирает ее. Но что же получается? "Колотя по струнам, натянутым как бог на душу положит и настроенным с завидной отвагой, молоточки срывались со своих болтов".

Хосе Аркадио отвратительна фальшь проведенных в Макондо выборов, подтасовка бюллетеней. Первое движение души — разбить пианолу политики, понять законы ее струн и молоточков и собрать ее заново так, чтобы она звучала, как ему хочется. Но не будет ли она играть еще более фальшиво, собранная заново неумелыми руками?

Впрочем, во все времена были люди, для которых главным было ломать пианолы. Таков доктор Ногера, один из многочисленных героев романа Гарсиа Маркеса.

”Ногера был сторонником индивидуального террора. Его план сводился к согласованному проведению ряда индивидуальных покушений, которые, слившись в единый общенационального масштаба удар, должны уничтожить всех правительственных чиновников с их соответствующими семьями и в особенности их детей мужского пола, чтобы таким образом стереть с лица земли самое семя консерватизма...”

”Никакой вы не либерал, — говорит ему один из героев. — Вы просто мясник”.

Я не могу не вспомнить о печальном конце воинственных замыслов доктора Ногеры:

”Доктора Ногеру волоком вытащили из дома, привязали к дереву на городской площади и расстреляли без суда и следствия. Падре Никанор пытался повлиять на военных своим судом вознесения, но один из солдат стукнул его прикладом по голове. Либеральные веяния исчезли, воцарился молчаливый ужас”.

Гарсиа Маркес показывает в своем романе все нарастающее ощущение невозможности жить в условиях экономического и духовного угнетения и в то же время ставит важную проблему человечества — проблему методов, при помощи которых человечество может изменить эти условия без жертв, становящихся бессмысленными, когда один вид несвободы заменяется другим.

А именно это и произошло, когда один из сыновей Буэндиа — Аркадио — после очередной победы повстанцев был назначен комендантом Макондо.

”С самого начала своего правления Аркадио обнаружил большую любовь к декретам... Он ввел обязательную воинскую повинность с восемнадцати лет, объявил, что животные, оказавшиеся на улице после шести часов вечера, рассматриваются как общественное достояние... Заточил падре Никанора в его доме, воспретив выходить под страхом расстрела, и позволял служить мессы и бить в колокола только в тех случаях,

когда праздновали победу либералов... Аркадио продолжал сильнее и сильнее закручивать гайки своей ненужной жестокости и наконец превратился в самого бесчеловечного из правителей, которых видел Макондо". "Теперь они почувствовали разницу, — сказал как-то дон Аполинар Москоте. — Вот он — их либеральный рай..." И справедливо поступила мать Аркадио Урсула, когда, явившись на городскую площадь в момент очередного расстрела, она отстегала просмоленной плетью своего зарвавшегося сына, чтобы ему было неповадно убивать людей под прикрытием красивых фраз.

Маркес показывает необратимый процесс перерождения руководителей повстанцев, если они позволяют своим адъютантам отделять их от народа символической меловой линией, если их борьба за свободу постепенно превращается в борьбу за власть. Такие руководители лишаются свободы сами, становясь узниками внутри обведенного мелом пространства. Таков один из центральных героев романа — полковник Аурелиано Буэндиа.

Полковник Аурелиано ужасался тому, что "приказы его исполнялись раньше, чем он успевал их отдать, раньше даже, чем он успевал их задумать, и всегда шли дальше тех границ, до которых он сам осмелился бы их довести". Его пугали молодые люди, которые верили в то, во что он давно потерял веру сам, и он "испытывал странное чувство — будто его размножили, повторили, но одиночество становилось от этого лишь более мучительным". Если когда-то его отцу являлся по ночам единственный убитый им человек — соперник в любви Пруденсио Агиляр, — то полковнику Аурелиано Буэндиа по ночам являлись сотни и тысячи убитых им или его солдатами, но все-таки он продолжал по инерции убивать, принося новые жертвы ненасытному молоху "пустой войны" и уже понимая, что он сам — будущая жертва. Расстреливая генерала Монкаду, полковник Аурелиано Буэндиа говорит ему, убеждая в этом и самого себя: "Помни, кум... Тебя расстреливает революция..."

Но генерал Монкада отвечает: "Если так пойдет и дальше, ты не только станешь самым деспотичным кровавым диктатором в истории нашей страны, но и расстреляешь и мою куму Урсулу, чтобы усыпить свою совесть".

Полковник Аурелиано Буэндиа все же находит в себе мужество, чтобы признать свой моральный крах.

"Как-то вечером он спросил полковника Херинельдо Маркеса:

— Скажи мне, друг, за что ты сражаешься?

— За то, за что я и должен, дружище, — ответил Херинельдо Маркес, — за великую партию либералов.

— Счастливый ты, что знаешь. А я вот теперь разобрался, что сражался из-за своей гордыни...”

Полковник Аурелиано Буэндия капитулирует. Он возвращается в ювелирную мастерскую и начинает делать для продажи золотых рыбок. Ему пришлось развязать тридцать две войны, уцелеть после четырнадцати покушений на его жизнь, семидесяти трех засад, расстрела, чашки кофе со стрихнином, порция которого могла бы свалить лошадь, вывалиться, как свинье, в навозе славы — и все для того, чтобы он смог открыть с опозданием на сорок лет преимущества простой жизни.

Но так называемая “простая жизнь” не спасение. Выйдя из порочного круга “пустой войны”, полковник попадает в другой порочный круг другой “пустой войны” — он превращает монеты в золотых рыбок и снова превращает их в монеты. И только иногда полковник позволяет себе написать презрительное письмо правительству консерваторов или прорычать: “Это правление убожеств. Мы столько воевали, и все ради того, чтобы нам не перекрасили дома в голубой цвет”.

Маркес убедительно показывает, что стремление разрушать без ясного осознания созидательных задач бесплодно. Но бесплодно и стремление сохранить “статус-кво”, ибо наступает страшный процесс саморазрушения и появляются всепожирающие рыжие муравьи. Бесплодно прятаться в древние пергаменты, выискивая там спасительную мудрость. Бесплодно выкрикивать веселый лозунг: “Плодитесь, коровы, — жизнь коротка!” — и устраивать лукулловы пиры. Бесплодно запирается от жизни, как Ребекка, и ожидать любого, кто осмелится нарушить ее покой, с заряженным пистолетом. Бесплодно ломать кровати, пытаясь спрятаться в секс от беспощадного времени, как это делают представители младшего поколения Буэндия — Аурелиано Третий и Амаранта Урсула. Бесплодно накопительство, ибо время пережевывает все накопленное, как мул Петры Котес в конце концов пережевывает перкалевые простыни, персидские ковры, плюшевые одеяла, бархатные занавески и покров с архиепископской постели, вышитый золотыми нитками и украшенный шелковыми кистями.

Бесплодно и самоотречение Урсулы, надорвавшейся в заботах по сохранению дома и рода. “Ей хотелось позволить себе взбунтоваться, хотя бы на один миг, на тот короткий миг, которого столько раз жаждала и который столько раз откладывала, — ей страстно хотелось плюнуть хотя бы один раз на все,

вывалить из сердца бесконечные груды дурных слов, которыми она вынуждена была давиться в течение целого века покорности”.

Маркес предостерегает от всех опасностей безответственного бунта, но в то же время и призывает людей “плюнуть хотя бы один раз на все”. В этом и двойственность, и одновременно цельность романа. Еще много политиканов подменяют подлинный социальный прогресс окраской домов то в один, то в другой цвет. Еще много Урсул корчатся от желания взбунтоваться хотя бы на миг, на тот короткий миг, который они столько раз жаждали и откладывали. Еще много зверских убийств совершается на земле, но рупоры лживой информации настойчиво вбивают в мозги граждан: “Мертвых не было”.

Человечество похоже на большую Фернанду, которая из-за невежества и ханжества боится открыть врачам истинную причину своего недомогания и поэтому ей так трудно помочь.

Маркес опасается выписать скоропалительный рецепт обществу, в котором он живет, но его диагноз беспощадно ясен: болезнь разъединенности. И все-таки Маркес верит в то, что человечество когда-нибудь вылечится от этой болезни и, духовно не сдавшись после столетий безостановочных ливней лжи и крови, размывающих фундаменты семейных крепостей, облегченно вздохнет.

“В пятницу в два часа дня глупое доброе солнце осветило мир и было красным и шершавым, как кирпич, и почти таким же свежим, как вода”.

Но для того чтобы эта пятница настала, будущие поколения должны помнить о том, что мертвые были...

1971

## **“НЕ СТАРАЙТЕСЬ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ...”**

**В гостях у Грэма Грина**

**Н**адо было, наверно, прожить долгую, почти восьмидесятилетнюю жизнь, чтобы написать о своей памяти так: “Память — как длинная прерванная ночь. Когда я пишу, я все время словно бы пробуждаюсь ото сна в надежде, что вот-вот схвачу образ, который потянет за собой целый, непрерывный



сон. Но фрагменты сна остаются фрагментами, а цельная, случившаяся во сне история ускользает...”

Это написал знаменитый англичанин Грэм Грин в автобиографической книге “Этакая жизнь”, вышедшей в 1971 году. В словах писателя — усталая мудрость и печальное осознание невозможности целостного реконструирования прошлого из хрупких разрозненных обломков памяти. Тем не менее Грин после длительного перерыва все-таки попытался сделать это снова и выпустил продолжение своей автобиографии под заглавием “Пути бегства”.

Почему книга названа так? Убедительного объяснения у меня нет. В своем нашумевшем романе “Рэгтайм”, смешивающем фактологические приемы Дос Пассоса и фантазмагорию, американский писатель Доктору упоминает человека, сделавшего “эскапизм” своей профессией, — фокусника Гудини. Гудини засовывают в банковские сейфы, заковывают в кандалы Синг-Синга, прячут в холодильники, но он отовсюду магическим образом удирает.

Грэма Грина, несмотря на название его автобиографии, эскапистом никак не назовешь. Блистательная язвительная сатира “Нашего человека в Гаване”, едкая горечь “Тихого американца”, трагическое состояние “Сути дела”, наконец, ужас гаитянской тирании в “Комедиантах” — разве это бегство от действительности?

В своем следующем романе “Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой” Грин, по его собственному выражению, производит безжалостное “исследование предела жадности” богатых. Моральная опустошенность миллионера, сколотившего себе состояние на зубной пасте и окружившего себя мафией приживал, описана с беспощадной иронией, перерастающей в гражданскую сатиру. Дочь Фишера находит убийственное определение для этой мафии — “жаба”. Доктор Фишер — это, по сути, послегитлеровский гестаповец, с извращенным сладострастием пытающий окружающих своими патологическими забавами.

Когда я прилетел в городок на юге Франции — Антиб, где сейчас живет и работает Грэм Грин, писатель после традиционного английского вопроса о здоровье моей жены и детей без каких-либо подталкиваний с моей стороны заговорил о ханжестве реакционных западных кругов, молчавших об ужасах полпотовского геноцида, а теперь ополчившихся на новое кампучийское правительство. На заглавном листе машинописной рукописи, лежавшей на столе писателя, я заметил

слово "Сомоса", но спросить Грина, его ли собственная это рукопись или чужая, я постеснялся, а сам он об этом не заговаривал.

Седой, сухощавый, высокого роста, с обсыпанным коричневыми крапинками лицом, с шелушащимся от загара носом, Грин вовсе не выглядел на свои 76 лет. Искорки, светящиеся в его неумоимо любопытных ярко-голубых глазах, отвлекали внимание от морщин у него на лбу и красновато-кирпичной шеи. Особая черта Грина — это, пожалуй, его любопытство к собеседнику и, в отличие от многих наших коллег, желание больше услышать, чем сказать. Без этой черты вряд ли удалось бы Грину создать такую галерею собирательных и документальных образов. Еще одна черта: он не любит говорить лишних слов. Говорит просто, только по делу.

Впрочем, так же он и пишет. Грин живет один в крошечной двухкомнатной квартирке с балконом, выходящим к морю. В квартире тоже ничего лишнего. Я заметил только одну картину — кисти его друга, кубинского художника Рене Портокарреро. Грин работает каждый день. Пишет в день, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга. Не любит давать интервью, но он когда-то сам был журналистом и скрепя сердце иногда мирится с этим, как с неизбежным злом.

А у меня случилась авария. Друзья подарили мне японский мини-магнитофон, чудо современной техники, и он никак не хотел включаться. Это, однако, не вызвало у Грина никакого раздражения. Он принял живейшее участие в кропотливом изучении инструкции и в нажимании на разнообразные кнопки, но, несмотря на свою службу в прошлом в военной разведке, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по "Нашему человеку в Гаване". Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяйин которой, дружески поздоровавшись с Грином, начал, несмотря на свое полное невежество, копать в магнитофоне. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяйин мебельного магазина, перемазанный известью маляр, зеленщик из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выручило незнание английского языка, и он, нажав кнопку с надписью "о", обозначающей выключение, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом сообразили, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал

КНОПКИ

— Лента движется, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать?

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уловить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью.

— В книге "Этакая жизнь" вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве "Школьной домашней газете". Тогда вам было семь лет, и на вопрос: "Ваша любимая цитата" вы ответили: "Мне бы двух товарищей — и я удержу врага..." Остается ли эта цитата любимой?

Грин недоверчиво глянул сквозь стеклышко магнитофона. Но лента крутилась.

— Это цитата из "Песен Древнего Рима" Маколея. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно...

Я продолжал:

— Много лет назад, в бытность оксфордским студентом, вы выпустили свою единственную книгу стихов, которую мне не удалось прочесть...

Грин улыбнулся уголками губ.

— Это было очень плохо. Теперь, правда, книга стала редкостью и у букинистов стоит около 250 фунтов стерлингов.

— А сколько экземпляров было продано?

— Триста... — Грин помедлил и добавил: — К счастью, это был весь тираж...

— Наш поэт Некрасов когда-то пытался скупить весь тираж своего научного сборника "Мечты и звуки". Если бы вам представилась возможность, согласились бы вы на переиздание?

— Забавно, что именно сейчас я подготовил избранные стихи для переиздания небольшим тиражом. В книгу войдут серьезные и шуточные стихи, написанные за многие годы.

— А вы бы могли предложить что-нибудь для русского перевода?

Грин задумался, покачал головой:

— Ну, пожалуй, стихотворения три... 'Одно из них про "русскую рулетку"'. (Описанная Лермонтовым в повести "Фаталист" игра со смертью, когда к виску прикладывается писто-

лет. — *Е.Е.*) Когда я учился в Оксфорде, я играл в "русскую рулетку"...

— Слава богу, вы живы... Почему, однако, вы оставили поэзию и перешли на прозу?

— Давайте закроем окно. Слишком шумят машины, и я боюсь за нашу запись... — деликатно предложил Грин. — Я бросил поэзию, потому что понял: я плохой поэт и никогда не стану хорошим.

— Если бы все посредственные стихотворцы поступили так в самом начале, то, может быть, было бы больше хороших прозаиков. Есть такое выражение: "Поэзия — это то, чего нельзя высказать прозой". Согласны ли вы с ним?

Грин кивнул:

— Совершенно верное определение. В том моем маленьком сборнике только несколько вещей, которые я не мог бы выразить прозой, и именно поэтому он так плох.

— А какие, на ваш взгляд, у поэзии преимущества перед прозой, и наоборот?

Грин задумался:

— У поэзии большая напряженность. Это как фотография, когда моментальной вспышкой создается очень четкий, ясный образ...

Я процитировал Пастернака: "Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром". Грин прокомментировал:

— Поэзия — это фотография невидимого.

— В литературе существует и ретроспективное фотографирование. В ваших двух автобиографических книгах вы сумели сфотографировать даже запахи, связанные с определенными периодами жизни. Таким образом, и проза, даже мемуарная, может обладать свойствами поэзии. Память настойчиво тянет нас к местам, где мы были. Однако эпитафией к своей автобиографии вы взяли слова Кьеркегора: "Только разбойники и цыгане говорят: человек никогда не должен возвращаться туда, где уже побывал". По-моему, это неточно, даже по отношению к преступникам. Вспомним хотя бы Раскольникова...

Грин пожал плечами:

— Но его возвращение на то место, где он убил старуху, лишь естественно доказывает страх вернуться туда. Когда Раскольников приходит на то же самое место, он страдает от своего возвращения, не так ли? Так что страх, можно сказать, тоже аргумент против возвращения...

— В ваших мемуарах вы написали: "Посмотрите, каким глупым я был в молодости". Но иногда мы можем быть пре-

ступно глупыми, а иногда очаровательно глупыми. Вспомним французское выражение: "О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла!" Мудрость, разум, опыт — это тоже своего рода мощь. Как вы считаете, в чем ваша сила сейчас по сравнению с юностью?

— Я думаю, в юности у меня была более развитая зрительная память. Зато теперь я развил в себе описательные способности. В юности я был склонен к догматическим представлениям. Теперь я стал более гибок, более склонен к внутренним изменениям...

— Значит, теперь вы стали снисходительнее и терпимее к людям, отличающимся от вас?

В голубых глазах Грина мелькнули лукавые искорки:

— Надеюсь, что да.

Я напомнил:

— Вы однажды процитировали Андре Бретона, написавшего в письме Жану Кокто: "Все мои усилия направлены на то, чтобы победить скуку". Не считаете ли вы, что скука — мать многих преступлений?

Грин неожиданно воскликнул:

— О да! Я думаю, что несколько раз в жизни я был спасен судьбой от того, чтобы стать преступником. К этому меня толкала именно скука, от которой я невыносимо страдал. Но я выбрал путь другой. А если бы не стал писателем, то, наверно, стал бы преступником. Только для того, — он засмеялся, — чтобы победить всеразъедающую скуку.

Я продолжал:

— Творчество — это всегда преодоление скуки. Не только своей, но и общественной. Вам принадлежит высказывание: "Писательский труд — это своего рода терапия"... Может ли литература, как психотерапия, спасти людей от потенциальных преступлений?

Грин не совсем уверенно ответил:

— Я не верю в такую мотивацию писательской профессии. Писатель пишет не для того, чтобы помочь человечеству, а для того, чтобы помочь себе самому...

Я возразил:

— Вы сами опровергаете этот тезис многими своими книгами. Ведь и сам писатель — это часть человечества.

Грин мягко, но твердо настаивал:

— Да, конечно, он часть человечества, но бессознательно старается помочь самому себе. Не в смысле делания денег, разумеется... Не остановился ли наш магнитофон?

Выражение Грина "наш магнитофон" меня тронуло. Ничто так не сближает, как общая борьба, — даже с магнитофоном.

— Не в смысле делания денег, а в смысле победы над нами... — уточнил Грин, убедившись, что лента потихоньку ползет.

— Может быть, вы боитесь четкой общественной мотивации писательской профессии, потому что боитесь дидактической литературы?

Грин неожиданно переспросил:

— Что это за дидактическая литература?

— Ну, скажем, напоминающая банальные лекции на темы нравственности... Такая литература при всех ее благих намерениях вместо преодоления скуки становится ее усугублением, — пояснил я.

— А, вот вы о чем... Ненавижу высокопарные моральные послания.

— Но само произведение может оказаться прямым посланием, независимо от воли его создателя. Так было со многими вашими книгами, — не сдавался я.

Грин согласился лишь отчасти:

— Да, читатели могут найти в произведении дух послания, но смысл писательства не в этом. Я считаю себя не создателем посланий, а просто рассказчиком. Есть и другие типы прозы — французский антироман, романы Вирджинии Вулф и прочая субъективная проза. Но я по природе — повествователь...

Я упорствовал:

— Мне кажется, вы несколько искусственно хотите себя изобразить неким объективизатором описываемых событий. Но вот возьмем вашу полную гражданской боли книгу "Комедианты". Я бы не назвал этот роман просто повествованием. В ней слышится крик души — и вашей собственной, и тех, кто вынужден молчать под пятой диктатуры Дювалье, ибо цена крика — жизнь. Эта книга могла вам дорого обойтись. Вас не пытались убить посланцы папы Дока?

Глаза Грина как будто перенеслись на далекие берега Гаити. Лукавые искорки сменились в глазах отблесками костров, сжигающих книги.

— Нет, не пытались. Но, скажу по правде, я очень нервничал, пока был там, пряча замысел своей книги. Я ведь там бывал и раньше — это не была для меня новая страна. Но атмосфера в 1963 году была страшной. Я еле-еле получил разрешение, чтобы выехать из Порто-Пренса на юг. Очень волновался, потому что убить меня было довольно просто.

— А сам папа Док читал вашу книгу?

— О да! Он на меня обрушился в одной из своих речей. По его указанию распространили брошюру про меня, где я был описан как наркоман, негрофоб, человек, позорящий благородную Англию, и даже как "палач". Особенно забавно было именно последнее определение. Эта брошюра показалась мне одной из самых увлекательных книг, какие я читал, и я очень был горд ею как наградой...

Я гнул свою линию:

— Значит, эта книга была все-таки своего рода посланием?

Грин, оценив мою настойчивость, улыбнулся и развел руками:

— Да, вы правы, в каком-то смысле она была посланием. Думаю, что иногда в моих книгах есть и прямые атаки. Атака — это тоже форма послания...

Я не упустил возможности зафиксировать мою маленькую победу:

— От выражения ненависти к "посланиям" вы пришли к признанию того, что иногда прибегаете к ним, и отнюдь не бессознательно... Достоевский говорил, что все виноваты во всем. Когда вы видели страдания народа Гаити, или в пылающем Вьетнаме, или в какой-нибудь африканской колонии, чувствовали ли вы себя обозревателем страданий, в которых вы лично не виноваты, или вас преследовало чувство собственной вины?

В своем ответе Грин был четок:

— Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость "посланий".

Я напомнил:

— В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, оледеневшее от дыхания Снежной королевы...

Грин засмеялся:

— Я совсем позабыл эту мою статью. И сказку почти тоже... Хотя нет... Припоминаю...

— Фашизм — это своего рода оледенение сердец. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм?

Грин посерьезнел:

— Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта тень ощущалась тогда гораздо больше,

чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютно неизбежной тенью, как между тридцать третьим и тридцать девятым...

— Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать?

— Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было...

Я задал вопрос, на который нелегко ответить:

— Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн?

Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ошупью.

— Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передавалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас всасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного...

Я не совсем согласился.

— Но ведь втягивание народов в войну — хотя бы "холодную" — все-таки существует. Ныне "холодная война", как Снежная королева, — она тоже поневоле ведет к оледенению сердец. Что мы, люди, принадлежащие к разным системам, в силае предпринять для того, чтобы уничтожить "холодную войну", за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война?

Грин не был настроен пессимистически.

— Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы...

Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонки вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за сущее.

— А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимоотношению народов? Или мы ошибаемся и слишком преувеличиваем свою роль в предотвращении войн?

— Сказать, что мы всемогущи, действительно значило бы преувеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин.

— Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и полити-



ка — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему.

— Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша работа — писать о любом случае несправедливости, когда мы в состоянии хоть чем-то помочь. Я не думаю, что мы должны выдвигать себя, по выражению Шелли, в "непризнанные законодатели мира" или что-то в этом роде...

— Мне кажется, что великие писатели, независимо от того, выдвигали они себя на эту должность или нет, все-таки становятся нравственными законодателями, — ответил я. — Хотя среди писателей, к сожалению, есть и законодатели безнравственности... Вы когда-то с презрением процитировали слова детективного романиста Эдгара Уоллеса: "Я ненавижу британского рабочего. У меня нет никакой симпатии к нему. Жив он или умер, голодает или страдает от жажды — это не представляет для меня никакого интереса". Как мог человек, называющий себя писателем, быть таким бессердечным, таким высокомерным к трудящимся людям?

Грин брезгливо поморщился при уоллесовской цитате.

— Он был очень посредственный писатель. Я бы даже сказал, писатель низкого качества. Он написал единственный хороший роман "Четверо справедливых".

— К сожалению, такие уоллесы существуют. Вы точно когда-то определили их: "Вместо настоящих художников в литературе у нас еще есть... живые книжные фабрики". Есть, например, целая промышленность порнографии.

Грин усилил мою реплику:

— Существует порнография не только тела, но и насилия, которую мы часто видим в кино, по телевидению. Та по сравнению с этой даже безобидна. Порнография насилия страшно развращает: люди, которые видят на экранах порнографию насилия вперемешку с кровавыми событиями в Сальвадоре или Северной Ирландии, приобретают опасную привычку к созерцанию убийств.

Я переменял тему:

— Существует литературная мегаломания, попытка создания сверхчеловека. Вспомним хотя бы Ницше или гиперболизированные страсти по Габриэле д'Аннунцио. Противоположное

направление — это защита так называемого "маленького человека" — например, Чехов. Но можно ли называть одних людей великими, а других — маленькими?

По ответу Грина было ясно, что он и раньше много думал об этом.

— В слове "маленький" по отношению к человеку есть нечто унизительно опекуновское. Надо защищать людей, которые не могут защитить сами себя. Но называть людей "маленькими" очень опасно. Неожиданно они могут оказаться весьма способными.

Я вспомнил маляра, догадавшегося нажать ту кнопку магнитофона, которую не догадался нажать знаменитый писатель, и невольно улыбнулся.

— Но помимо так называемых "маленьких" и "великих", — продолжал я, — существуют посредственности. Представляют ли они, на ваш взгляд, опасность?

Грин ответил спокойно:

— Я не думаю, что посредственности могут принести столько вреда, как фальшивые "великие". К сожалению, Гитлер включается некоторыми историками в число великих из-за тех великих трагедий, которые он натворил. Он далеко не был так огромен — просто в руках у него была сосредоточена огромная власть. Даже Черчилль совершил некоторые весьма неприятные поступки с позиций той власти, которой располагал...

— Значит, вы согласны с выражением "абсолютная власть разлагает абсолютно"?

— Согласен, — кивнул Грин.

— Но слова — это тоже своего рода власть. Называли ли вы себя когда-нибудь гением? Хотя бы в ранней молодости?

— Я маленький человек в сравнении с гигантами. Маленький рядом с Достоевским, Чеховым, Диккенсом, Бальзаком. Очень маленький. У меня гораздо более острое ощущение моих неудач, чем так называемой высоты успеха.

Я спросил:

— Опасно ли для писателя ощущение собственного величия, даже если оно не мнимое?

Грин был последователен:

— Думаю, да. Для Д. Лоуренса было губительно то, что он все время думал о своей гениальности. Он был испорчен сознанием своего величия. Он был бы гораздо лучшим писателем, если бы не ощущал на своей голове диадему...

— Наверно, то же можно сказать о Скотте Фицджеральде?

— Да, наверно. На самом деле он написал только один прекрасный роман...

— А каких писателей вы предпочитаете? Мастеров отточенной фразы или тех, кто ворочает большие глыбы?

Грин ответил без промедления:

— Мой идеал — Чехов. Он умел и то, и другое.

— Каково, на ваш взгляд, сейчас положение в английской литературе?

Грин на сей раз долго раздумывал:

— У нас есть несколько хороших писателей. Не думаю, чтобы в любом поколении их существовало больше, чем несколько. Я уважаю Энтони Пауэлла, хотя он, как выражаемся мы, англичане, не моя чашка чаю. Нравится мне Брайан Мор — ирландский писатель, живущий теперь в США. Очень трудно говорить о живых, когда невольно думаешь о тех, кто еще только вчера был жив. Я очень высоко ценил Ивлина Во...

— А английские поэты?

— Многим не нравится книга Теда Хьюза "Вороны". А вот мне понравилась. Люблю Филипа Ларкина. Но никто еще не заменил ушедших Одена и Элиота.

— Почему английские читатели так мало покупают поэтические книги?

Грин вздохнул:

— Видимо, потому, что они не считают поэзию частью своей жизни.

— А кто виноват в нечитаемости английской поэзии — сами поэты или читатели?

Грин помедлил:

— Думаю, что и те, и другие. Видимо, это связано с системой образования... Я пришел в поэзию, потому что я из читающей семьи. В нашем доме было очень много книг. Мой отец любил Брунинга, и я перенял от него эту страсть. Она была началом моей любви к поэзии. Впрочем, некоторые люди не хотят читать даже прозу. Я думаю, что во многом тут виновато телевидение. Оно отучает от самостоятельного чтения...

— Довольны ли вы экранизациями ваших книг?

— Те сценарии, которые писал я сам, были все-таки лучше чужих сценариев по моим книгам. "Брайтонский леденец" был сильно искорежен английской цензурой. "Комедианты", "Павший идол", "Наш человек в Гаване" получились на экране сносно. А вот "Тихий американец" по чужому сценарию — ужасный фильм. Они изменили буквально все. Англичанин пре-

вратился в одураченного коммунистами. Американец стал героем. Совершенно бесчестная версия...

— Какие писатели мира интересуют вас сегодня больше всего?

— Латиноамериканские, недавно умерший кубинец Алехо Карпентьер, Борхес, Маркес, Кортасар...

Пленка подходила к концу. Я боялся перевернуть ее на другую сторону, ибо ждал всяких неприятностей от нового соприкосновения с японским чудом.

— Я замучил вас своими вопросами, — сказал я Грину. — Последний вопрос, а вернее, просьба. Закончим интервью вашим "посланием" начинающим писателям. Я думаю, им был бы важен ваш совет...

Грин пытался вежливо уклониться:

— Я же вам говорил, что не люблю "посланий"... Кроме того, не чувствую себя вправе давать советы молодым русским писателям, потому что недостаточно знаю условия их жизни.

— А начинающим писателям вообще?

Грин понял, что моя просьба неумолима, и сосредоточился. Вот что сказал он в заключение нашей беседы:

— Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек изо всех сил старается, одновременно сознавая, что ему мало что удастся. Одно из самых болезненных ощущений — когда перестаешь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Очень опасно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушало. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень любил венгерского писателя-коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: "Страдаете ли вы в такие минуты?" Он ответил: "Еще как! Мне не пишется уже десять дней". Я засмеялся: "Боже мой, мне не пишется уже полгода". Он мне тогда посоветовал: "Садитесь в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выпейте большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову..." Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь быть писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: "Не старайтесь им стать". Не пишите без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди

очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортабельной, но никакой внешний комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от внутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пленка, кстати, кончилась...

— Назовем интервью так: "Не старайтесь стать священником", — предложил я.

Грин засмеялся:

— Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте... А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось?..

Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский вперемешку с гриновским оксфордским произношением. Но с кассетой продолжали происходить чудеса. При расшифровке текста в связи со слабостью звука, зашумленного машинами, была допущена невероятная путаница. Понадеявшись на то, что японский магнитофон наконец-то смирился, я взял его с собой на Кавказ и скрупулезно вместе с женой расшифровывал по слову три дня. Наконец магнитофон сыграл новую шутку — исчез звук. Я был вне себя от страха, что запись стерлась, ринулся в соседний дом отдыха, откуда раздавались оглушительные звуки записей из репродукторов, установленных на пляже над облупленными носами отдыхающих. Да, магнитофон здесь был, но, к сожалению, он стоял прямо на кухне, рядом с раскаленной плитой, пахнущей шашлыками. Духота была невыносимая, шипение сковородочных шашлыков заглушало голос Грина, и без того еле слышный за ревом антибских автомобилей. Кроме того, появившийся некстати замдиректора выставил меня из кухни как антисанитарное явление.

Я чуть не плакал от отчаяния, пока не нашелся один местный грузин, владелец "Жигулей" с кассетным советским магнитофоном. Я вставил туда японскую кассету и — о, чудо! — из нее раздался отчетливый голос Грина. Гордый за отечественную технику, я дорасшифровал интервью в машине, стоящей на пустынном пляже, в то время как грузин и его друзья мирно распивали бутылку "Цинандали" на прибрежной гальке, озаренной величаво опускающимся в море солнцем. Грузин — жестянщик по профессии — подошел ко мне.

— Это кто? — спросил он, услышав голос Грина.

— Грэм Грин, английский писатель.

— А кто другой?

— Это я...

— А ты знаком с ним?

— Как видишь.

— Я читал его "Наш человек в Гаване". Хорошо пишет... Сколько ему лет?

— Семьдесят шесть.

— Скажи ему, пусть приезжает в Грузию. У нас он проживет до ста пятидесяти.

1981

## ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПАЗОЛИНИ

**М**ожно ли быть итальянцем, не имея в истории Древнего Рима генетически закодированного двойника? Я иногда невольно вздрагивал, видя монетный профиль императора Веспасиана у официанта, ставящего на стол в траттории жареные тыквенные цветы, или замечая тяжелую походную поступь легионера у идущего по набережной Тибра одинокого старика с черным зонтиком.

Если у Пьера Паоло Пазолини был двойник в римской истории, то он наверняка был христианином из катакомб. Лицо Пазолини было испито-бледным, словно после долгого пребывания без дневного света в подземелье, а в закоулках скул попеременно играли то тени, то блики от невидимых факелов. "Когда родился Христос, перестало биться сердце Рима. Организм монархии был так огромен, что потребовались века, чтобы все члены этого тела перестали судорожно двигаться: на периферии почти никто не знал о том, что совершилось в центре. Знали об этом только люди в катакомбах" — так писал об этом времени Блок.

Пазолиниевский Христос из фильма "Евангелие от Матфея" — это заговорщик из подземелья, мятежник, изгоняющий торгашей из храма, а не сентиментальный всепрощенец, подставляющий под удары то одну щеку, то другую. В роли матери Христа Пазолини не случайно снял собственную мать. У Пазолини не было никого ближе Христа, но Христа еще не канонизированного, не превращенного в предмет всемирной коммерции гвоздями, вытасченными из ладоней. Пазолини когда-то предложил эту роль мне, исходя не из физической фактуры, не из моих актерских способностей. Опальный молодой поэт, выкрикивающий свои проповеди на аренах русских коллизеев, был для Пазолини символом новой зарождающейся надежды,

вышедшей из катакомб на развалины распадающейся сталинской империи. Когда наши власти не разрешили мне сняться в роли Христа, Пазолини пригласил на эту роль левого испанского студента, и на его гневные разоблачительные речи наложилась ненависть к франкизму. По Евангелию "от Пазолини" Христос был рассыпан по тысячам униженных и оскорбленных людей, и каждый раз его распинали вместе с ними, и каждый раз он воскресал, когда нравственно воскресали они, восставая против несправедливости. Пазолини отдал много сил политике, но разочаровался в ней, ибо с грустью видел, что многие заговоры против несправедливости превращаются просто в заговоры. Книга римского историка I века до н.э. Саллюстия "Заговор Катилины" для своего времени была чем-то похожа на "Бесов" Достоевского. Катилина был древнеримским Петенькой Верховенским, подбивающим других людей на убийства во имя так называемой высшей справедливости. Сначала падают нравы, а потом колонны империй. Историк так описывал этот упадок нравов: "Честолюбие многих сделало лжецами, заставило в сердце таить одно, вслух же говорить другое... Начиналось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расплодлась, как чума, народ переменялся в целом..."

Пазолини всю жизнь сражался с двумя призраками — с призраком Римской империи и с призраком Катилины — заговорщиком против несправедливости, несущим новую несправедливость.

Призрак Катилины отомстил ему, подослав торговавшего своим телом мальчишку, который убил Пазолини на мрачном ночном пустыре.

В характере Пазолини была обреченность на трагическую гибель — он сам всю жизнь искал ее. В 1964 году он водил меня по таким "кабириевским" трущобам, что лишь чудо спасло и его, и меня. Почему его так тянуло к тем, кого Этторе Скола назвал "некрасивые, грязные, плохие..."? Потому что катакомбное христианство Пазолини начиналось с принятия на себя вины за всех безвинно виноватых. Некоторые насмешливо считают такую "всевиноватость" интеллигентским комплексом, а по-моему, это и есть христианство. Пазолини любил трущобы еще и потому, что жизнь трущоб была лишена лицемерной риторики.

Отвлечение к риторике пришло после милитаристского ораторства Маринетти и других итальянских футуристов, после площадных мелодекламаций д'Аннунцио во время фашизма, после балконного мессианства Муссолини. Маленький Бруно

из "Похитителей велосипедов" Де Сики, ныне держащий за руку отца на итальянских почтовых марках, когда-то был Гаврошем восстания против риторики. Но великая эра неореализма прошла. Дерево итальянского кинематографа, казалось, начало безнадежно усыхать, но вдруг выбросило три мощные ветви — Феллини, Пазолини, Бертолуччи. Это было блудное дитя неореализма — метафорическое кино, визуальная поэзия, бесстрашно рифмующая высокий и низкий штиль, лирическая исповедь, смешанная с рваной эпикой.

Все они были очень разные. Феллини — это существо ренессансное, сангвиническое, волшебник-повар. Бертолуччи — великий комбинатор, меланхолический хулиган, насмешливый ремесленник. Пазолини — самый беззащитный из этой троицы, не ставший, а родившийся несчастным. У него лермонтовское безрадостно одинокое мироощущение, роднящее Пазолини с Тарковским. Даже когда в "Тысяче и одной ночи" Пазолини переходит к узорчатой, почти параджановской живописи, то на всех ярких цветовых пятнах лежит тень трагической судьбы. Показывая в фильме "Сало" содом и гоморру, устроенные фашистскими провинциальными катилинами, Пазолини превращает это отвратительное зрелище в авторский садомазохизм, похожий на глубокую, терзавшую его душевную болезнь. Сквозь гомерический средневековый гогот "Кентерберийских историй" с экрана слышится сдавленный плач заэкранного одинокого человека.

Пазолини начинал как поэт. Его перу принадлежат высочайшие гражданские шедевры "Плач экскаватора", "Пепел Грамши". Но поэзия в Европе — Золушка. В поисках массовой аудитории Пазолини обратился к экрану. Но экран жесток и требует жертвоприношений. Даже восстание против коммерции экран превращает в коммерцию. Нравы киноимперии не менее кровавы, чем в Римской империи. Но Пазолини и в киноимперии остался катакомбным христианином.

Федр писал в басне "Две сумы":

Звалил Юпитер на людей по две сумы:  
свои пороки — за спиной у каждого,  
а чужих пороков груз подвешен спереди.  
Вот мы и не видим погрешений собственных,  
зато чужим — всегда мы судьи строгие.

При жизни у Пазолини было множество судей, осуждавших его за существующие и несуществующие пороки. Но у него никогда не было самого страшного порока — презрения к людям.



Пазолини не возненавидел людей за свою собственную несчастьность.

Но талант — это не преодоление несчастья.

Талант — это осознание того, что счастье само по себе — не единственное счастье в жизни.

Таково Евангелие от Пазолини.

1989

## “ОМИССАР” АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Ален Гинсберг сказал мне однажды: “Женя, ты все время напряжен... Расслабься! Я научу тебя одному секрету!” Он закрыл глаза, вздохнул полной грудью и медленно выдохнул, закончив это медленным блаженным “Ом-м-м!”. Я попробовал, и мне, кажется, помогло. Не всегда, но во всяком случае в тот момент. Мы сидели на моторной лодке, покачивавшейся на волнах напротив одного из самых красивых городов мира — Сан-Франциско. Ален играл на крошечной гармонике, и под ее аккорды я лег на спину, вдыхая небо вместе с чайками и выдыхая его, но когда я произносил это спасительное “Ом-м-м!”, то мне казалось, что одна из чаек, попавшая в мои легкие, не улетела, а все еще кружится там, и ей просторно, потому что легкие, впусившие в себя все небо, расширились, стали величиной с него. Я, помнится, тогда пошутил и назвал Алена “омиссаром американской поэзии”. В этой шутке есть доля правды.

Роль поколения битников в американской литературе была близка по своему значению к появлению футуристов во главе с Маяковским в России. Это была художественная и духовная революция, взорвавшая покрытые мхом бастионы академизма. После мрачной эры маккартизма, охоты на ведьм в Голливуде появление битников и было тем вздохом, тем магическим свободным “Ом-м-м!”, которое не могло не вырваться из груди американского общества. В Англии откликнулось этому вздоху, как эхо, поколение “сердитых”. В России подобным вздохом после смерти Сталина была поэзия моего поколения. Не случайно мы так ловили малейшие отголоски этого вздоха. Номера “Эвергрин ревью” ходили по рукам молодых поэтов Москвы. Поколение битников и наше поколение в России неразделимы, да и само слово “битник”, видимо, лингвистически рождено русским словом “спутник”.

Голос битников — это протест против агрессии масскульту-

ры, против империализма телевидения. Было такое чувство, как будто восстал мусор окраин, как будто пустые консервные банки, поломанные велосипеды, заржавевшие автомобили лавиной Везувия, грохоча, двинулись на сытую Помпею бездуховности, и верхом на каком-нибудь мусорном баке, сумасшедше скачущем мимо "Плазы" и "Хилтона", как еврейский Маугли каменных джунглей, восседал Ален Гинсберг — пророк этой лавины, отбивая ритм своих стихов по бокам взбесившегося бака и исторгая из еще молодого луженого горла свой "Вопль". Но извержения всех везувиев не бывают вечными. Перманентных революций не бывает и в искусстве. Лавину поймали в капкан, разделили единый поток на ручейки. Алкоголь и одиночество сломили Керуака, и спасенные, к несчастью, кадры его последнего интервью показывают нам разжиревшего, озлобленного волка, в которого он превратился, поливая грязью Ферлингетти и других своих старых товарищей. Поколение битников оказалось, по лингвистическому пророчеству своего названия, разбитым. Так произошло и в Англии с Кингсли Эмисом, проделавшим позорный путь оппортунизма от "Счастливого Джима" до продолжения Джеймса Бонда. Так произошло и в России с некоторыми поэтами, которые предпочли казенные машины взбесившимся мусорным бакам.

Но не все продались тому, против чего восставали когда-то. И среди них — Ален. Он изменился, но не изменил. Он сбрил бороду, но страницы его стихов по-прежнему колотятся, как небритые щеки "хобо". Он надел галстук, но галстук не удавил его. В нем стало меньше внешнего эпатажа, по характеру он стал гораздо толерантнее, но это все тот же волчонок каменных джунглей, только теперь в овечьей шкуре. При имени Ален Гинсберг сразу возникает ностальгия по задушенной лавине.

"Хиппи" — это парфюмерный вариант битников, не боявшихся, что их стихи пахнут, как мусорные баки. Но в "хиппи" была оставшаяся в наследство от битников антивоенная идея. "Панки" — результат духовного малокровия, а может быть, и лейкемии, — это пародийные внуки-уродцы битников. "Панки" — это уродливый протест против уродства. Не случайно "панки" не родили своих великих поэтов. Когда-то Мопассан написал великий рассказ "Мать уродов" — о женщине, рожавшей на продажу уродов. Для этого она специально перетягивала живот во время беременности или запихивала новорожденных в фарфоровые формы, чтобы из детей получились забавные карлики, у которых лопатки торчали, как крылья. Наша эпоха — мать уродов. Но Ален, с рождения усаженный эпохой

в фарфоровую форму "американской мечты", разбил ее и вышел на свободу. Именно поэтому — он великий американец.

Он именно потому и надел галстук и сбрил бороду, ибо почувствовал, что хитрая эпоха уже смирилась с его прежним образом и ловко академизировала его, навязывая поэту только одну роль. Но великий поэт, как великий актер, способен на тысячи ролей. Возможности великого поэта безграничны, но, к сожалению, небезгранична жизнь. А может быть, нам только так кажется. Если после смерти поэту суждено быть не всадником взбесившегося мусорного бака, а самим мусорным баком, то этот бак все равно взбесится, поскачет по сонным улицам, будя своим грохотом всех тех, кто спит почти непробудным сном. Разламывать эту "почти непробудность" — и есть задача поэта.

1986

## БОБ РАУШЕНБЕРГ И ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

**В** 1925 году в американском провинциальном городке Порт-Артур, штат Техас, родился мальчик, которого родители назвали Мильтоном, а сам будущий знаменитый художник позже назвал себя Бобом. В его жилах был причудливый американский коктейль — немецкая рассудительная кровь с бунтарской кровью индейцев племени чероки. Если вы приглядитесь к его живописи, то увидите, что свои картины он пишет именно этим коктейлем, ибо расчетливость аналитика сочетается в нем с буйством индейца, вставшего на тропу войны с регулярной армией производителей скуки.

В 1942 году, поступив на фармацевтические курсы при университете Техаса в Аустине, семнадцатилетний Боб был исключен за то, что отказался препарировать живую лягушку в классе анатомии. Кто знает, может быть, он увидел в ней потаенную царевну и пожалел ее, и именно это поэтическое воображение сделало его художником. Многие его картины как будто нарисованы не на холстах, а на сброшенной коже лягушки, превратившейся в прекрасную царевну. Есть художники, препарирующие действительность, как лягушку, разрезающие своим ловким и жестоким скальпелем на части живое тело жизни. Но есть другой тип художников — рассеченную, искромсанную жизнь они собирают воедино, склеивают ее по кусочкам, как разби-

тýй чýими-то варварскими руками старинный прекрасный сосуд. Раушенберг принадлежит именно к этим склеивателям разбитого. Одна из статей о нем точно называлась "Из мираида материалов мастер творит мир". Сам художник так говорит о понимании задач искусства, которые выработались у него с юности: "В моем самом наивном периоде, в моей первой нью-йоркской студии меня всегда раздражали те художники, которые воображали, что мастерская — это какое-то специальное место, где они защищены от внешнего мира. Я всегда хотел, чтобы мои работы выглядели больше как внешний мир, чем мир, замкнутый четырьмя стенами. Моя дверь была всегда открыта, телевизор был всегда включен, и окна были всегда распахнуты".

Спасенная мальчиком Раушенбергом от вивисекции царевна-лягушка спасла его от скуки ремесленничества — она подарила ему вечное детство, оставив его навсегда мальчишкой. Раушенберг стал визуальным сказочником, не уставая играть, изобретать, выдумывать. По неистощимости фантазии его можно сравнить в двадцатом веке, пожалуй, только с Пикассо.

Он перепрыгнул занудство механического конвейерного производства, позволив себе роскошь понимания искусства как детской игры. Остаться ребенком в мире цинизма — это героический подвиг. Он плещется, как голое дитя, в радужном океане красок, и поднятые его озорными ладошками брызги — это и есть неуловимая феерия его стиля. Один из китайских студентов Главной Академии Искусств сказал после выставки Раушенберга в Пекине в 1985 году: "Сначала мы устали спрашивать снова и снова — что означает то или иное на его картинах... Затем мы просто начали наслаждаться живописью..." Крупнейший поэт испанского языка Октавио Пас посвятил Раушенбергу поэму "Ветер, называющийся Боб Раушенберг". Многие его скульптуры — это ветряные мельницы, движущиеся от ветра его энергии, но он сам — Дон Кихот с копьём. Вместе со своими товарищами — Джексоном Поллоком, Арчилом Горки — Боб — бывший хулиган, "инфант террибль" американской живописи ныне стал общепризнанным классиком. После недавно ушедших таких гигантских фигур, как Пикассо, Макс Эрнст, Генри Мур, Марк Шагал, все, что сделано Раушенбергом, выросло по своему значению в образовавшемся вакууме. Величину таланта поэта нередко можно определить по одному признаку: если на стиль поэта легко писать пародию, только тогда он самостоятелен. Величину таланта художника можно определить по узнаваемости стиля его картин даже с

дальней дистанции. У некоторых художников (Ив Танги, де Кирико, Фонтана) узнаваемость работ происходит благодаря единообразию. Но Пикассо, например, несмотря на все его разные периоды, узнаваем за километр. Таких легко узнаваемых, но в то же время разнообразных, все время меняющихся художников в сегодняшнем мире совсем мало. Раушенберг — один из них. Собственная детская влюбленность во все, что он делает, гипнотизирует и влюбляет в него других.

Мы невольно начинаем любоваться его фантазией, как с оттенком зависти любуемся играми детей, верящих в игры как в единственную реальность. Раушенбергу никогда не скучно играть в себя самого. Вот как он пишет об этом:

”У меня есть некоторые коллеги, которые относятся к искусству так, что они должны это делать профессионально и все. Я знаю некоторых выдающихся художников, которые в частной жизни признаются, что их работа для них это скука, но это все-таки их работа или еще нечто. Я никогда не бываю счастливее, чем тогда, когда я работаю, и это все усугубляется. Я думаю, что я успокоюсь когда-нибудь, но кажется, что чем больше я делаю, тем больше это выглядит так, что я должен сделать еще больше!”

Раушенберг наслаждается всем — своими ”*combines*”, являющимися чем-то средним между живописью, скульптурой и коллажами. Он обожает любые материалы, превращая их в слуг своих фантазий, — краски, металлы, дерево, камень, мех, ткани, консервы, банки, автопокрышки. Он любит фотографию, и его неосуществленная мечта — снять Америку дюйм за дюймом. Он создал *ROCI* — ”*Raushenberg Overseas Culture Interchange*” и разбросал свои материализованные фантазии по многим странам — с невиданной щедростью человеческого общения. Думаю, если бы Маяковский был жив — они бы подружались с Раушенбергом и что-нибудь придумали бы сообща. Мало ли у кого на Земле есть всяких фантазий, но мало кто обладает талантом реализатора фантазий, как Раушенберг. И вот Раушенберг — в Москве.

Что это означает для него и для нас?

Раушенберг прошел не только суровую школу Альберса, одного из пионеров американского абстракционизма, о котором он писал так: ”Альберс был прекрасный учитель и невозможная личность”. Возникновение Раушенберга и других сходных авангардистов XX века было безусловно генетически связано с великим русским авангардом, из которого ближе всего Раушенбергу, по-видимому, Кандинский. Таким образом, в ка-

ком-то смысле приезд Раушенберга в Россию — это возвращение к истокам. Для нас его выставка — это один из символов духовной перестройки нашего общества, когда те, в чьем ведении находятся выставочные залы, уже не могут закрыть их двери ни для Филонова под предлогом "искажения образа наших советских людей", ни для Раушенберга под предлогом борьбы с "растлевающим влиянием Запада".

Мы не имеем права отставать в познании всего нового, что делается на Западе в технологии и в искусстве. Иначе — последствия будут катастрофические, и из бывшей страны авангарда мы превратимся на долгие годы в арьергардную отсталую страну с ракетами, неестественно гиперболизированными по сравнению со всем остальным. Профильтовав через себя все лучшее на Западе, что было отобрано у нас на долгие годы, мы, надеюсь, не станем на путь имитаторства, но зато и не будем изобретать деревянные велосипеды.

Западу тоже есть чему поучиться у нас — и в литературе, и в музыке, и в театре, и в кино, и в пластическом искусстве. Только мафиозность западного "маршанства" не позволяет нашим современным художникам попасть в постоянные экспозиции крупнейших музеев современного искусства. К сожалению, многие так называемые законодатели мод в искусстве пытаются искусственно разделить земной шар путем политической вивисекции на отдельные части, как лягушку. Но отдельных искусств не бывает. Мировое искусство, даже рассеченное на части, все равно волшебным образом срастается, как царевна-лягушка.

1989



**ТАЛАНТ  
ЕСТЬ ЧУДО  
НЕСЛУЧАЙНОЕ**

---

**5**

Может, смысл существования  
в том, чтоб смысл его искать?





”А вдруг есть психологические канцерогены? Почему канцерогенами не являются, например, наши подавляемые в себе мысли? Древние называли рак ”желчной болезнью” — болезнью мрачного ощущения жизни. Разве пессимизм не может быть канцерогеном?

Я знаю одного до идиотизма розового оптимиста, но он умер от рака. Никто не знает, какое лицо было у этого оптимиста, когда он оставался наедине с самим собой. Часто те, кто пыжится, изображая оптимистов, на самом деле изъедены тайными червями... Рак, видимо, инфекция. Но инфекции легче пробиться в теле, которое слабо защищено психологией. А если усталость — это тоже канцероген? Любая инфекция — яд. Природа настолько гениальна, что против каждого яда в ней есть противоядие. Но иногда это противоядие может оказаться рассыпанным по разным местам — его только нужно собрать, смонтировать и догадаться, что с чем. Природа разгадывает себя нашими головами”.



”На теле крест носить не обязательно. Главное, чтоб он внутри был”.



”Земной шар большой, а жизнь человеческая маленькая. Она маленькая и без войн и болезней, но войны и болезни еще больше уменьшают ее”.



”— А разве в истории есть хотя бы один человек, который все успел? Все, кто умер, чего-то не успели. Не успел Христос, чтобы все люди стали братьями. Гитлер не успел засунуть всех евреев в газовые камеры”.



”Почему вокруг столько хамства, расталкивания других локтями, какого-то озверения? Жизнь нелегкая? Но разве это оправдание? Зачем же делать тяжелую жизнь еще тяжелей? Нельзя забывать о том, что мы народ, человечество...”



”Врач не имеет права привыкать к смерти. Привык — надо уходить из медицины. Вот какой обычай на похоронах у эвенков. Они ломают ружье покойного, его лыжи, его нарты, разбивают его посуду, его зеркало, разрывают в клочья его одежду и все это бросают в могилу. Этим они хотят сказать, что вещи не имеют смысла без человека”.



”Врачам к смерти привыкать нельзя, а разве нам можно? Я так рассуждаю: болезни — это убийцы, а убийцы — это болезни. Не больные, а именно болезни”.



”Если йог может лежать на гвоздях, значит, могут лежать все на гвоздях. Только нужно уметь сконцентрироваться. Если абхазские старики могут жить по сто пятьдесят лет, значит, все могут жить по сто пятьдесят лет. Надо только уметь жить. Мы еще очень мало знаем сами себя, собственные силы. Сначала мы должны научиться не болеть. А потом мы должны научиться не умирать”.



”Пока будет хулиганство, будет поножовщина. Пока будет поножовщина, и война будет. Война — это тоже болезнь”.

1981

Слово "народ". Слово изрядно замусоленное, затертое, столько раз употребляемое всуе, а все-таки могучее. Слово это нельзя слишком часто говорить — его надо думать.



Народу надо напомнить, что он — народ. Напоминает война, но цена за такое напоминание слишком дорогая. Литература напоминает. Литература и есть напоминание народу о том, что он — народ, человечеству, что оно — человечество.



Циолковский здорово сказал: "Все наши знания — прошлые, настоящие и будущие — ничто по сравнению с тем, что мы никогда не будем знать". Это не печально. Это прекрасно. Когда есть бесконечность непостижимого, то и у самого знания есть надежда на бесконечность. У человека тоже есть такая надежда, потому что человек — это знание, которое познает самое себя. Высший разум Вселенной не есть нечто отдельное от человека. Человек — его часть. Возможно, даже главная. Значит, если мы глупеем, то глупеет и высший разум... Знание само по себе может быть и бессердечным. Есть нечто выше бесконечности знания — это бесконечность сердца...



А может быть, это плохо, когда сердце в полном порядке? Пушкин носил железную трость, чтобы рука, прицеливаясь, не дрогнула, ванны со льдом принимал, а вот сердце у него умело болеть... У скольких людей духовное здоровье подорвано физическим! "В здоровом теле — здоровый дух". Так ли? Укрепляющая тело, но разрушающая душу спортивность. Миллионы людей в разных странах манипулируют гантелями, бегают трусцой... А вот побегут ли они на крик другого человека? Понимают ли они, что означает "мальчики кровавые в глазах"? Нет, для многих "мальчика не было"... Зачем помнить? Историческая память не способствует общему состоянию организма. Многие думают, что прежде всего необходимо железное здоровье. Но опасная штука — железное здоровье вместе с железной душой. Готовы к любым космическим перегрузкам, а у самих явная недогрузка души. Недогрузка знанием истории

собственного народа. Многие вообще не соображают, в какой стране они живут. Недогрузка собственными мыслями. Зато полная перегрузка желанием хорошо жить. А что такое — хорошо жить? Опять Циолковский приходит на ум: "Нельзя осуждать это желание себе величайшего возможного добра. Но беда в том, что человек заблуждается и вместо добра делает себе зло". Вечный вопрос о себялюбии истинном и мнимом. В Библии сказано: полюбите ближних, как самого себя. Но чтобы полюбить ближнего, надо сначала научиться любить себя самого. А полюбить себя по-настоящему — это любить не только себя. Тех, кого нет, кто есть, кто будет... Взлететь над Землей мало, важно, с какими мыслями взлететь. Иначе мы только собачки в космосе. Да собачки — это еще хорошо, а ведь в космос могут попасть и свиньи. Опасно вооруженные свиньи, которые подрыют своими рылами корни галактик.



Да, просто быть ни в чем не виноватым. Просто, а подло. В России можно только верить. Неужели, кроме веры, ничего не осталось? Хвататься за веру, как за соломинку? А если соломинка сломается? Верили в бога, в царя... Все это сломалось... А все-таки нельзя веру подменить знанием. Наука прекрасно может сочетаться с безграмотностью души. Прежде чем создать мыслящие машины, нужно создать этику мыслящих машин. Иначе они будут образованными убийцами. Но кто заложит в машины этическую программу, если у их создателей не будет никаких моральных устоев? А "гений и злодейство есть вещи несовместные". Но это — в искусстве. А в технике — совместные. Вернер фон Браун, может быть, был гениален в своей области. Но есть люди, которые будут работать на любую власть, лишь бы она была властью. Забрали бы его в плен русские, работал бы на русских. На любую политическую систему, лишь бы она позволила быть хорошо оплачиваемым гением. Науку, как музыку, заказывают те, кто платит. Нет, неверно. Смотря какая музыка, какая наука. Но есть негодяи, которые используют любую музыку, любую науку. Гитлер аплодировал из правительственной ложи Вагнеру, Сталин — Булгакову. В Хиросиму превратили гениальное открытие выделения энергии из ядер атомов. Современные врачи нашли способ воздействовать на нервные центры, чтобы подавлять агрессивность. Но ведь можно подло манипулировать этим открытием, превратив его в средство подчинения...

● Слишком много не верящих ни в какие моральные ценности... Чем больше они знают, тем они опаснее. Откровенные циники не так страшны, страшнее те, кто притворяется, что верит. Разумеется, в то, во что выгодно верить в данный момент. Какое лицемерие — убеждать, когда сам ни в чем не убежден. Но разве не было и нет тех, кто искренне верит в недостойное веры? Несчастливы блаженные, думающие, что они счастливы. Нужна вера, соединенная с познанием, вера, ставшая делом. Не только верить в Россию, и верить — не только в Россию. Все национализмы — бесчеловечны. Верить в свою страну отдельно от человечества нельзя. От этого войны и прочая дикость. А ведь будущая мировая война особенно страшна тем, что в атомном костре могут сгореть все — и праведные, и неправедные. Прежде чем создавать веру во что-то, надо поверить друг другу. Но как поверить подлецу, как поверить реальному и потенциальному убийце? Убивать убийц мало, надо убить возможность появления убийц. Земля всего-навсего огромный космический корабль, человечество — его экипаж. Разве возможны ссоры и убийства внутри экипажа? Что же будет тогда с космическим кораблем? Что же будет с человечеством?

● "...Ежели ты мой начальник и я тебя боюсь, твои приказы выполняю, а сам тебя не уважаю, это плохой страх, вредный. Он и для тебя, начальника, плохой, потому что я тебя никогда не полюблю, а умрешь — и ухом не поведу, и добрым словом не помяну. Он и для выполнения приказов плохой, потому что от страха я твои приказы буду по-глупому выполнять, и даже если твои приказы умные, я все от страха спорчу. Он и для меня самого плохой, потому что я сам от страха никаким цветком не распушусь, никаким груздем не взойду, а ржавым листом свернусь. Он и для народу плохой, потому что, когда один начинает бояться, на другого это перекидывается, и получается великий страх, вроде незаметного пожара. Будто ничо не горит, а все пеплом кончается. А вить есть другой страх, не насильно внушенный, а самим человеком возвращенный — страх оказаться перед страшным судом, когда никакой свой грех от глаз всевидящих не спрячешь. Этот страх человека человеком делает".

● "— В деда седобородого, на облаке сидящего, не верю. Я и

сам дед, а ишо всевидящим не стал и других дедов всевидящих не встречивал.

Ежели вокруг себя глядеть и все видеть, таких глаз ни у кого нету. А чтобы внутрь себя заглянуть и все увидеть, таки глаза у каждого должны быть, и каждый должен от самого себя этого страшного суда бояться. Так что совесть наша и есть бог наш”.

●

”Это уже и есть нехорошее дело — хороших дел не сделать”.

●

”...И добрый человек бывает жесток под горячую руку. Мало ли жестокостей понаделано в мире под горячую руку вовсе не жестокими людьми! Доброе дело можно превратить в жестокость, а вот жестокость уже ни во что доброе не превратится”.

●

”Люди почему-то стесняются свою доброту обнаруживать, как будто доброта — это стыдная человеческая слабость. Сильными хотят выглядеть люди, несомневающимися, не роняющими себя до жалости, а ведь, может, сомнение в себе, жалость к другим и есть человеческая главная сила...”

●

”...Верно, учит страх, только чему? Подчинению тому, с чем ты не согласен. А ежели подчиняешься тому, что ненавидишь и презираешь, ты тем самым, что презираешь, и становишься. Нету тогда тебе пути назад из твоего страха. Только в одном страхе надо детей держать — в страхе совести. Этот страх, можно сказать, смелый страх”.

●

”Хорошие учителя — они часто скучными бывают, оскучившими. А иногда, ежели хорошего, нескучного учителя встретишь, из него бога начинаешь делать. Но увидишь какой-нибудь его малый порок, с его словами высокими не сочетающийся, и рассыпается твой бог, как ствол трухлявый. Страх высоких слов появляется — все они обманными кажутся. Занудство лицемерное, под которым грешки собственные кроются. А плохие учителя — они всегда интересными кажутся, необычными, свободными от занудства. Вот и начинаешь им подражать.

Если бы все люди задались только одной целью — воспи-

тать своих детей в смелом страхе, в страхе совести, то и произошла бы самая наивеликая революция”.

●  
 ”...Настоящий интеллигент с народом никогда не заигрывает, не подлаживается. Он с народом сурьезно говорит, как с собой, потому что он и сам народ. Народ — это лучшие люди народа”.

●  
 ”Душа добрая самое главное, но без образования она слабая. А душа злая чем образованней, тем страшней”.

●  
 ...Курс древней истории сейчас непозволительно сокращают. Я понимаю лозунг ”Отречемся от старого мира”. Но надо ли отречься от всего того, что было порождено старым миром? Старый мир — это не только рабство и тирания. Это еще и культура. Публий Овидий Назон писал:

Если от малых забот перейти к делам поважнее,  
 Если продолжить наш путь, круче раздув паруса,  
 То постарайтесь о том, чтоб смотрели приветливей лица.  
 Кротость людям к лицу, гнев подобает зверям.

Я вижу вокруг слишком много гнева и слишком мало кротости. Отрекайтесь от Нерона, от Калигулы, но не от Назона. Кроме того, для того чтобы даже отречься, надо изучить предмет отречения. Недостаточно изученные исторические трагедии переползают из эпохи в эпоху. Трагедия может повториться фарсом. Какой-нибудь новый Калигула может явиться вовсе не в роскошной тоге. Он может носить самый скромный френч и спать на жесткой постели. Изучение истории — это самопредупреждение человечества.

●  
 Лишних знаний на свете нет. Люди часто изматываются именно от незнания. Еще будут открыты новые виды энергии, которые освободят любого человека для энергии духовной.

●  
 ”Но что меняют денежная честность, физическая смелость, трудолюбие, если люди — циники? Надо ли хвататься за отдельные неплохие качества циников, чтобы их оправдывать тем, что они не ”абсолютно плохие”? Те хорошие люди, которые терпят так называемых неабсолютно плохих людей, не могут быть сами ”абсолютно хорошими”.



●  
"Каждый русский человек — это собрание всех сразу героев Достоевского".

●  
"Если бы это зависело от меня, я бы везде ввел должность человека, перед которым стыдно".

●  
Больше всего он страшился показаться неудачником, и главное, не в чьих-то, а в собственных глазах. Боязнь быть неудачником начинала делать его неудачником. Он беспрестанно "выковывал волю", для того чтобы преодолеть все на свете, и незаметно для себя преодолевал все самое лучшее в себе.

●  
"Вера — это недостаток знания. Достаточного знания все равно никогда не будет, поэтому люди всегда будут цепляться за веру".

●  
"Не помешайтесь на совершенствовании мира. Занимайтесь совершенствованием стихов".

●  
"Совершенствование надо начинать с себя, а не с других. В поэзии есть профессиональные совершенствователи мира, которые, оплаченно страдая за угнетенные народы, рифму слепить как следует не научились..."

●  
"А что такого плохого сделал в жизни Есенин? Десяток столов перевернул, десяток морд набил, да кто его знает, может, все морды — за дело... Если в чем виноват был, так покаялся и сам себя наказал. Слишком жестоко наказал, незаслуженно. А есть люди, которые ни стола не перевернут, ни морд не набьют никому, а весь век по одной половине ступают, и тихими, скромными людьми считаются, но ведь предадут в любой момент, раздавят. Их никто хулиганами не называет. Конечно, можно писать плохие стихи и быть хорошим человеком. Но писать хорошие стихи и быть плохим человеком нельзя".

●  
"Сладострастие разоблачений отвратительно. Даже правда, если она злобствующая, перерастает в кривду".

●  
"Когда не хватает таланта, то прибегают к общественным унижениям. Желание пробиться к славе, к власти над умами прямо-таки разъедало их. Они не способны были этого добиться с помощью истинной литературы и поэтому играли в разные, но одинаково грязные игры. У настоящего писателя на такие игры просто-напросто нет времени: он занят делом. А все эти бесы и бесенята — не писатели, а только порожденные пургой времени нечистые видения, завистливо кружащиеся над тройкой, мчащейся в завихренную, почти невидимую, но все-таки существующую даль".

●  
"Не занимайтесь литературной жизнью. Занимайтесь просто жизнью. Не лезьте ни в какое стадо, ни в какую стаю. Импотенты, как бы они ни прижимались друг к другу, все равно ничего не родят".

●  
"Никакой отец не может научить своего сына быть гениальным. Этому не учат. Но если отец не подлец, он по крайней мере может научить своего сына не быть подлецом".

●  
"Наши карьеристы лицемернее, чем капиталистические. Для того чтобы делать карьеру, им нужно казаться нравственными".

●  
"Карьеризм — это единственная идеология бюрократии. Вернее, креслеология. Раньше бюрократы были другими, более примитивными. Я ненавидел этих тупиц в габардиновых плащах и велюровых шляпах, совавших носы в производство, в котором они ни бельмеса не петрили. Но сейчас вместе с технологией и бюрократия модернизировалась. Она не такая провинциальная, как раньше. Подучилась. Подприделась. Подглобалилась. Подциничилась..."

●  
"Нечего пугаться той войны, которая прошла, как нечего пугаться пули, которая просвистела мимо. Просвистела — значит не убила. Кроме того, после войны оказалось, что у каждого была своя война, не похожая на войну другого. Такое уж у войны свойство".

●  
"Не уверен, насколько справедливо жестокостью платить за жестокость и можно ли самому устанавливать законы расплаты... От этого справедливость может ожесточиться и перестать быть справедливостью".

●  
"Разговоры, конечно, не книжки, на них подписки нету, но разговоры, однако, тоже большими тиражами расходятся. Разговоры от одного человека к другому идут, и правда сама по себе, независимо от книжек, в народе держится. Пора уже науку такую заводить — разговороведение..."

●  
"Самый лучший героизм — вынужденный, а не изобретаемый. Кстати, не унижайте быт. Он уже давно стал героизмом. Вынужденным героизмом".

●  
"Задним умом все самые умные. Легкая это штука — заднеумная философия".

●  
"Разве те немногие, кто умеет любить по-настоящему, не борцы за любовь? Многие, себя называющие борцами, и не знают, что такое любовь. Черствеют от постоянной готовности защищаться или нападать. Кожа панцирем становится. Это, конечно, от чужих ударов спасет. Но когда чья-то рука хочет нежно погладить такого человека, то он сквозь приросший панцирь ничего не чувствует. Самоубийственный это панцирь. Да и какие это борцы, если с собственной бесчувственностью не борются!

Мы почему-то подразумеваем в слове "борьба" некую подчеркнутую общественную публицистику. Борьбой с хамством, например, считается только разоблачение чужого хамства. А разве самому быть нежным — не борьба против хамства? Разве самому быть правдивым — не борьба с ложью? Почему ощущение борьбы у многих только какое-то военное, а не духовное?"

●  
"Война определяет многое. Но не все. Я знаю людей, которые на войне не боялись рисковать жизнью, пулям не кланялись. А в мирное время угодливо кланяются так называемым

нужным людям, бояться рисковать ступенькой карьеры. А что такое ступенька карьеры или вся ее лестница по сравнению с одной-единственной жизнью! Я долго думал — почему так бывает. Пришел к выводу: на войне иногда смелым быть легче. Конечно, страшно идти под пули, но ведь рядом с тобой под эти пули идут и другие. Кроме того, за твоей спиной — приказ. А в мирное время иногда бываешь одинок, никто тебя не поддерживает своей смелостью, за спиной никакого приказа, и за собственную смелость ты можешь быть не награжден, а наказан”.



”Дураки только думают, что их мысли — свои. Они у них фабричного производства”.



”Земля — ведь она тоже наподобие картины. Всех картин картинней... Значит, и у нее свой художник был. Значит, земля, прежде чем стать землей, была мыслью о земле... Только вот чьей мыслью?”



”Я думаю, что люди называют богом природу, потому что не могут ее до конца объяснить.

Многое вообще называют так или иначе от незнания”.



”Если человек произошел от обезьяны, почему тогда все обезьяны не стали людьми?”



”Говорят, о мертвых нельзя говорить плохо. Но правду надо говорить всегда. Со лжи о мертвых начинается ложь о живых”.



”Прогресс — это гений плюс заказчик”.



”Если бы война была делом только бесприбыльным, поверьте, никто бы и воевать не стал. Подумать, сколько людей на свете делают порох, патроны, снаряды, ружья, орудия. Если войну отменить, куда всех этих людей девать? Сколько россиян сразу безработными окажутся!”

●

”Когда нет войны, то во всех неурядицах обвиняют евреев. Помашет раззудившаяся рука кистеньком на погроме — и вроде на душе полегчает. Но постепенно в башку влезает: от погромов жизнь лучше не становится. Тогда на кого раззудившаяся рука с кистеньком может обернуться? На царя. А царь, не будь дурак, чтобы от себя недовольство отвести, нового врага, который во всем виноват, подсовывает — японца или немца... А в Японии или в Германии власть тоже врагов изобретает, чтобы удержаться, — только они называют их русскими...”

●

”Само существование полиции — это грабеж”.

●

”Мой бог — это человек, хотя он еще очень несовершенен. Но совершенствовать человека надо не с кого-то, а с самого себя. Я верю в мир без государств, без пограничных столбов, без армии, полиции, эксплуатации, денег... Их заменит справка о труде. А может быть, и таких справок не будет, потому что любая справка — это признак недоверия к людям... Люди так разобщены, что им не хватает общей цели. А ничто так не помогает чувству общей цели, как чувство общего врага. И этот общий враг есть у всего человечества. Смерть. Если все средства, которые люди сейчас тратят в борьбе против друг друга, они отдадут на борьбу друг за друга, то они победят не только болезни, но и саму смерть. Может быть, смерть — это тоже болезнь, только ее вирус нам неизвестен. Может быть, научатся даже воскрешать наших далеких предков. Скажите, разве вам не хотелось бы позавтракать с Сократом, пообедать с Александром Македонским, поужинать с Пушкиным?”

●

”А все-таки есть вопрос всех вопросов: зачем все это? Зачем существуют мир, Вселенная, космос? Зачем? Наши философы об этом не думают. Либо не хотят или просто боятся. Философ, который не думает! Демокрит, который трусит! Немыслимо! Научно все, что мы держим в руках, ненаучно все, что мы не понимаем? С таким ярлыком далеко не уедешь, а не то что не взлетишь...”

●

”На черта бессмертие, если мы будем бессмертными стариками. Веселой старости нет, как нет приятной смерти. У веселящейся старости скребут на сердце кошки... А может быть, старость — это просто-напросто болезнь, которую тоже можно вылечить? Жизнь оскорбительно коротка... Жалкая крошка на ладони вечности. Человек часто умирает несчастливым только потому, что не успевает стать счастливым. Я сам ничего не успеваю. Меня приводит в бешенство то, что я вынужден спать. Если человек в среднем живет семьдесят лет, то из них он спит целых двадцать три года! Черт знает что! А сколько пребывают в духовной спячке! А потом смерть — этот проклятый вечный сон?!”

●

”Нет ничего неестественной такой профессии, как политика. ...Политика — это порождение человеческих слабостей. Сознательному человеку не надо, чтобы им управляли. Он никогда не употребит свою свободу против свободы других. Такие люди есть, но их мало. А попробуйте дать свободу подлецу — и он немедленно превратит ее в свободу других, в насилие — в эксплуатацию. Впрочем, подлецов тоже не так уж много. Они просто лучше организованы, чем сознательные люди. Основная часть человечества — это несознательные или полусознательные массы, которые не всегда понимают, как обращаться со свободой. Их легко обмануть. А обманутый народ — это уже не народ”.

●

”Государство — слишком дорогостоящая штука. Сколько денег уходит на президентов, министров, всякую крупную и мелкую бюрократию, на армию и полицию!.. Полиция никому не нравится, но попробуйте представить мир без нее — что будет твориться! Государство пока еще, к нашему несчастью, необходимо... Но смотря какое государство! Страшно, если государство превращено в сдерживающее, а не в созидательное начало. Функция сдерживания отупляет людей, оказавшихся у власти даже с первоначально созидательными целями. Те, кто только сдерживает других, а не созидает, начинают неумолимо разлагаться. В идеале государство должно отмереть. Но это случится только тогда, когда сознательность станет всеобщей, когда исчезнет не только эксплуатация, но даже ее моральная возможность. Что же может помочь этому? Анархия? Она

только напугает обывателя, и на его трясущихся плечах, как на белом коне, въедет фашизм. Отмиранию государства может помочь само государство, если оно будет государством нового типа — подлинно народным. Когда такое государство почувствует, что оно более не нужно как средство управления, оно отменит само себя. Но это — задача даже не завтрашняя, а послезавтрашняя. Сегодня нужно убедить людей, разуверившихся в самой идее власти, что власть должна и может быть народной!”



Когда начинаются аресты, они превращаются в снежный ком, а он — в лавину, сметающую и виновных и невиновных. Жестокость, даже вынужденная, превращает справедливость в несправедливость. Но если справедливость слишком мягкотела, жестокость ее подминает, раздавливает. Мягкотелая справедливость невольно становится причиной стольких же жертв, отданных без борьбы на расправу, и разве тогда она — справедливость? Как найти ту единственную грань, когда справедливость будет не настолько жестока, чтобы стать своей противоположностью и чтобы она одновременно не была неспособной защитить сама себя?

1981

## Министр культуры Екатерина Фурцева

Дубовая мощная дверь приемной, выходящая в коридор, была открыта и зафиксирована снизу тщательно оструганной деревяшечкой. Величественная, как сфинкс, опытная секретарша в пышном ярко-оранжевом парике контролировала взглядом, благодаря этой мудрой деревяшечке, мраморную лестницу с обитыми красным бархатом перилами, по которой ее начальница могла подняться к себе, используя вторую, непарадную дверь.

— Напрасно ждете... — сказала секретарша. — Я же вас предупредила, что она сегодня занята с иностранной делегацией.

— Ничего, я подожду, — кротко сказал я, заняв такое стратегическое место в приемной, с которого прекрасно просматривалась лестница.

— Что-то дует... — передернула плечами секретарша, поплыла к двери и носком изящной итальянской туфельки, в которую, очевидно, не без героических усилий была вбита ее могучая нога футболиста, легонько выпихнула деревяшечку из-под двери. Дверь, прорывчав всеми пружинами, захлопнулась, перекрыв лестницу.

— А теперь стало душно, — все так же кротко, но непреклонно сказал я, поднявшись со стула. Я открыл дверь и, подогнав ногой деревяшечку, снова вбил ее на прежнее место.

Секретарша выплыла из приемной, оскорбленно возведя глаза к потолку. Вошел помощник, вернее не вошел, а целенаправленно застрял в дверях.

— Ох, не жалеете вы своего времени, Евгений Александрович, ох, не жалеете... А ведь оно у вас драгоценное... Я же вам объяснил, что ее сегодня не будет. Не верите нам, за бюрократов считаете, а я ведь о вашем времени пекусь, — ласково приговаривал он, стоя лицом ко мне, в то время как его левая нога, слегка уйдя назад, неловко выковыривала деревяшечку из-под двери.

— Оставьте в покое деревяшечку... — ледяным голосом сказал я.

— Какую деревяшечку? — умильно заулыбался он, продолжая в балетном пируэте действовать левой ногой.



— Вот эту... — в тон ему умильно ответил я. — Сосновенькую... Крепенькую... Симпатиченькую... — И, подойдя к двери, задвинул деревяшечку поглубже.

Помощник, ослабев всем телом, подавленно охнул, ибо именно в этот момент на лестнице показалась Она, явно направляясь к непарадной двери. Увидев меня, Она мгновенно оценила ситуацию и повернула к приемной, пожав мою руку крепкой теннисной рукой, на которой под кружевной оторочкой рукава скрывался шрам.

— Извините, что заставила вас ждать, — сказала Она с гостеприимной, четкой улыбкой и сделала приглашающий жест в сторону кабинета, на ходу снимая норковое манто. Я успел ей помочь, и Она оценила это молниеносным промельком женственности в озабоченных государственных глазах. Я восхитился ее выдержкой и физкультурной стройностью ее фигуры.

Вплыла секретарша, по-прежнему оскорбленно не глядя в мою сторону, и поставила поднос на краю длинного стола заседаний, обитого зеленым бильярдным сукном.

— Как всегда — откровенно? — спросила Она, вытянув из дымыщегося стакана с чаем пакетик "Липтона" и раскачивая его на весу.

Она вдруг взяла мою руку в свою, так что шрам все-таки выскользнул из-под кружевной оторочки, и спросила с искренней тоской непонимания:

— Женя, ну объясните мне, ради бога, что с вами? Вас печатают, пускают за границу. У вас все — талант, слава, деньги, машина, дача... У вас, кажется, счастливая семья. Ну почему вы все время пишете о страданиях, о недостатках, об очередях? Ну чего вам не хватает, а?

### **Фашист-золотоискатель**

Около остановленной на перерыв золотопромывочной драги, над которой развевалось переходящее Красное знамя, на траве, рядом с другими рабочими, сидел старичок в латаном ватнике, еще крепенький, свеженький, с веселенькой бородавкой на кончике носа. Старичок аккуратно разрезал юкагирским ножом с обшитой мехом ручкой долговязый парниковый огурец, но не темный, с полированными боками, а нежно-зеленый, с явно несовхозными пупырышками. Старичок взял щепотку соли из спичечного коробка с портретом Гагарина, посолил обе половинки огурца и не спеша стал потирать одну о другую, чтобы соль не хрустела на зубах, а всосалась в бледные влаж-

ные семечки. Затем старичок достал из холщовой сумки с надписью "Гагры" бутылку с отвинчивающейся пробкой, где, несмотря на этикетку югославского вермута, в явно непромышленной жидкости плавали дольки чеснока, веточки укропа, листики петрушки, красный колпачок перца, и налил рассудительной струей в фарфоровую белую кружку, не предложив никому.

— Удались у тебя огурцы, Остапыч... — со вздохом сказал один из рабочих, однако глядя с завистью не на огурец, а на бутылку, нырнувшую снова в субтропики.

— А шо ж им не удастся! — осклабился старичок, индивидуально крякая и хрумкая огурцом так, что одно из семечек взлетело и присело на бородавку. — Стекла у меня в парничке двойные... Паровое отопление найкращее — на солярке... Удобреньицами не брезгую... Огирок, вин, як чоловик, заботу кохае...

— Знаем, как ты, Остапыч, людей кохал — на немецкой душегубке в Днепропетровске, — угрюмо пробурчал обделенный самогоном рабочий.

— Кто старое помянет — тому глаз вон!.. — ласковенько ответил старичок и обратился ко мне, как бы прося поддержки. — Я свои двадцать рокив отбыл и давно уже, можно сказать, полностью радяньский рабочий класс. Так шо вони мене той душегубкой попрекают? Хиба ж я туды людей запикивал — я ж тильки дверь у той душегубки захлопывал...

— К сожалению, наш лучший бригадир... — мрачно шепнул мне начальник карьера. — В прошлом году его бригада по всем показателям вперед вышла. Красное знамя надо было вручать. А как его вручать — в полицейские руки? Наконец нашли выход — премировали его путевкой в Гагры, а знамя заместителю вручили... Такой коленкор...

### **Когда я был пионером**

В бытность мою пионером неподалеку от метро "Кировские ворота", в еще не снесенной тогда библиотеке имени Тургенева, шла читательская конференция школьников Дзержинского района по новому варианту романа "Молодая гвардия".

Присутствовал автор — молодоседой, источенно красивый. Переделка романа, очевидно, далась ему нелегко, и он с заметным напряжением вслушивался в каждое слово, ввинчивая кончики пальцев в белоснежные виски, как будто его скульптурную голову дальневосточного комиссара мучила непрерывная головная боль.

Мальчики и девочки в пионерских галстуках, держа в руках шпиргалки, на сей раз составленные с горячим участием учителей, пламенно говорили о том, что если бы они оказались под гестаповскими пытками, то выдержали бы, как бессмертные герои Краснодона.

Я незапланированно поднял руку. В президиуме произошел легкий переполох, но слово мне дали.

Я сказал:

— Ребята, как я завидую вам, потому что вы так уверены в себе. А вот у меня есть серьезный недостаток. Я не выношу физической боли. Я боюсь шприцев, прививочных игл и бормашин. Недавно, когда мне выдирали полипы из носа, я страшно орал и даже укусил врача за руку. Поэтому я не знаю, как бы я вел себя во время гестаповских пыток. Я торжественно обещаю всему собранию и вам, товарищ Фадеев, по-пионерски бороться с этим своим недостатком.

Величественная грудь представительницы гороно тяжело вздымалась от ужаса. Но она мужественно держалась, в последнее мгновение заменив крик общественного возмущения, уже высунувшийся из ее скромно накрашенных губ, на глубокий педагогический вздох.

— Этот мальчик — позор Дзержинского района... — сказала она скорбным голосом кондитера из "Трех толстяков", когда в любовно приготовленный им торт с цукатами и кремовыми розочками плюхнулся влетевший в окно продавец воздушных шаров. — Надеюсь, что другие учащиеся дадут достойный отпор этой вражеской вылазке...

Неожиданно для меня из зала выдернулся Ким Карацупа, по кличке Цупа, который сидел на парте за моей спиной и всегда списывал у меня сочинения по литературе. Цупа преобразился. Он пошел к трибуне не расхлябанной марьинощинской походочкой, обычной для него, а почти строевым шагом, как на уроках по военному делу. Цупа пригладил рыжие вихры и произнес голосом уже не пионера, а пионервожатого:

— Как сказал Короленко: "Человек создан для счастья, как птица для полета". Но разве трусы, боящиеся наших советских врачей, могут летать? Таких трусов беспощадно заклеил Горький: "Рожденный ползать летать не может". Трусость ужей не к лицу нам, продолжателям дела молодогвардейцев. Мы, пионеры 7-го класса "Б" 254-й школы, единодушно осуждаем поведение нашего одноклассника Жени Евтушенко и думаем, что надо поставить вопрос о его дальнейшем пребывании в пионерской организации...

— Ну почему единодушно? Говори только за себя, — услышал я голос моего соратника по футбольным пустырям Лехи Чиненкова, но его выкрик потонул в общих аплодисментах.

— Постойте, постойте, ребята... — вставая, сказал неожиданно высоким, юношеским голосом Фадеев. Лицо его залило неестественно яркий, лихорадочный румянец. — Так ведь можно вместе с водой и ребенка выплеснуть... А вы знаете, мне понравилось выступление Жени. Очень легко бить себя в грудь и заявлять, что выдержишь все пытки. А вот Женя искренне признался, что боится шприцев. Я, например, тоже боюсь. А ну-ка, проявите смелость, поднимите руки все те, кто боится шприцев!

В зале засмеялись, и поднялся лес рук. Только рука Цупы не поднялась, но я-то знал, что во время прививки оспы за билет на матч "Динамо" — ЦДКА он подsunул вместо себя другого мальчишку под иглу медсестры.

— Не тот трус, кто высказывает сомнения в себе, а тот трус, кто их прячет. Смелость — это искренность, когда открыто говоришь и о чужих недостатках, и о своих... Но начинать надо все-таки с самого себя... — сказал Фадеев почему-то с грустной улыбкой.

Зал, только что аплодировавший Цупе, теперь так же бурно зааплодировал писателю.

Величественная грудь представительницы гороно облегченно вздохнула.

— Наш дорогой Александр Александрович дал нам всем пример здорового отношения к своим недостаткам, когда он учел товарищескую критику и создал новый, гораздо лучший вариант "Молодой гвардии", — сказала она.

Фадеев снова ввинтил кончики пальцев в свои белоснежные виски...

”История — это миледи. Она убивает и убивает лучших людей — ядом, пулями, шпагами, интригами, предательствами. Если бы я мог, я бы повесил историю”.

●

”Я простой человек и в политике не разбираюсь, но уже давно сообразил, что почему-то врагами государства чаще всего называют его лучших людей. Дружба — это тоже государство, и вы не беспокойтесь — этого государства я не предаю”.

●

”Ну какие же вы граждане! Вы думаете, что быть настоящим гражданином — это выполнять приказы? Какие вы дураки! Я тоже был когда-то таким дураком и таскал по чьим-то приказам из огня, как мартышка, каштаны и бриллиантовые подвески... Самый большой подвиг — это неисполнение преступных приказов... Все самое лучшее в мире не нуждается в приказах. Нельзя приказать дружбу... Нельзя приказать любовь... Вышолняйте только один приказ — то, что вам приказывает ваше сердце... Ну что же вы меня не слушаете? Зачем же вы хотите убить меня и заставляете меня убивать вас? Неужели так будет всегда? Неужели люди всегда будут убивать друг друга? На черта такая жизнь!”

●

”Системе нужны люди, подобные жидкости, которая принимает форму сосуда, в который нам будет угодно ее налить”.

●

”— Вы свободны... Разумеется, лишь в том смысле, как может быть свободен управляемый человек, идеал которого вы представляете...”

●

”Несчастно то государство, где все честные шпаги сломаны”.

●

”— Зачем преждевременно арестовывать тех, кто еще не успел арестовать всех, которые должны быть арестованы?”

●  
"Государство меняет только маски, но не лицо. А оно изъедено червями! Червями! Червями!"

●  
"Половина так называемых героев истории — убийцы!"

●  
"Меня тошнит уже давно. Тошнит от лицемерия, от продажности, от разврата, от жестокости. Когда к власти пришли вы — молодой, казалось бы, не отягощенный грехами прошлого, я начал надеяться. Но потом меня снова начало подташнивать. Я блюю не от пьянства. Я выbleвал всю эту так называемую великую историю — весь ее яд, все последние осколки надежд, все бриллиантовые подвески, все обломки сломанных шпаг моих друзей. У меня уже ничего нет внутри — все выbleвано... Арестуйте меня, ибо я по приказам вашего отца и вашим арестовывал и убивал столько, что лишен приятного заблуждения относить себя к чести нации..."

●  
"Я сам — сплошной донос на себя".

●  
"Любая власть не от бога, а от дьявола. Власть нельзя улучшить, как нельзя улучшить дьявола".

Люди, даже не писавшие книг, сами по себе — книги. Мировое пространство не что иное, как огромная библиотека духа, где на невидимых полках стоят жизни всех, когда-то живших людей. Многие книги жизнью покрыты пылью забвения, другие — презрительными плевками, а иные жадно перелистываются и будут читаться и перечитываться, пока живо человечество. Большинство этих книг нераскрыто нами, и до всех, возможно, никогда не дойдут руки.

Но в золотом фонде этой библиотеки — жизни всех честных людей, пусть даже не знаменитых ни в прошлом, ни сейчас, и обреченных на незначительность в будущем. Впрочем, о будущем рано гадать — и кто знает, возможно, мысль человеческая будет способна открывать в прошлом оставшиеся незаметными вершины человеческого духа, выразившиеся не только в войнах, революциях, искусстве, но и просто в ежедневном нравственном поведении. Героями такого будущего могут неожиданно оказаться доселе никому не ведомые люди, не совершившие никаких громких подвигов, но чья жизнь была таким подвигом, "рассредоточенным во времени". В разные жизненные переплеты может попадать человек, но сам человек в любых переплетах может и должен оставаться необязательно гениальной, но честной сокровенной книгой бытия — т.е. остаться человеком.



Можно плутать в тайге, в пустыне, жевать сосновую хвою или вцепляться зубами в кажущийся водой песок, почти одичать, но не дойти до одичания духовного, до озверения, и можно незаметно для себя потихоньку озверевать, хватая, загребая, ступая по трупам.

Война — одна из самых страшных, самых преступно дорогостоящих проверок человека на человечность. Среди героизма, самопожертвования, бескорыстного труда, ожидания весточки от пропавшего без вести мужа были и предатели, и подголоскипалачи, и жалкие трусы, и шкурники-спекулянты, и потаскухи. Война — это, скорее всего, черно-белое, резко контрастное кино. Добро и зло проявляются на войне без акварельных цветных нюансов. Такой война запомнилась мне, хотя я был тогда еще ребенком и, возможно, многого не улавливал. Проверки

атомной войной человечество еще не прошло, и кто знает, останется ли хоть одна живая душа, способная проанализировать такую проверку, если такая война, не дай бог, стряется.

Но такую проверку можно и нужно делать воображением искусства. Проверка на человечность нуждается и в предпроверке — пусть при помощи интуиции, фантазии, гипотезы. Превентивное проигрывание экстремальной ситуации в фильме или романе, к счастью, бескровно. Конечно, нагнетаемый коммерческими кошмарами пессимизм по отношению к будущему может способствовать проникновению пессимизма, подготавливать накарканные черные события. Но необоснованно беспечный оптимизм не менее опасней пессимизма. Не грех разбудить при помощи апокалипсических труб людей, преспокойно спящих на бомбах, прежде чем их разбудят бомбы.



Футурология в каком-то смысле всегда неточна — иногда к счастью, иногда к несчастью. Утопии Томаса Мора и Кампанеллы, идеализировавших будущее, явно не сбылись. Но не сбылся и так зловеще описанный Джорджем Оруэллом 1984 год. Догадываться о будущих достижениях науки, как, например, в случае с Жюлем Верном, оказалось легче, чем предположить милитаристское использование этих достижений — например, шпионство из космоса или "звездные войны". А вот Алексей Толстой, описав лазерное оружие в руках глобального проходимца инженера Гарина, не предвидел, что лазер может быть спасительно использован в медицине.

Начиная с момента Хиросимы, неизбежно возникла футурология потенциальной ядерной катастрофы. Эта футурология породила и политическую спекуляцию, и искренние, но слабые произведения. А все-таки родилось и настоящее искусство, выходящее за рамки алармистских плакатов. В кинематографе первым сильным фильмом такого рода была лента американца Стэнли Крамера "На последнем берегу", к сожалению, показанная у нас только в творческих клубах. Сенсацией стал американский телевизионный фильм "На следующий день", показывающий нашу планету, разрушенную ядерной катастрофой. Художественно он слабее крамеровского, но публицистически действенней.

В моей памяти детства сохранился советский предвоенный фильм "Если завтра война", лучезарно рисовавший нашу молниеносную победу в случае фашистского нападения. Картина была запоздало раскритикована после сурового урока много-



миллионных потерь. Не помешала ли нам эта картина, заодно с другими проявлениями беспечности, должным образом подготовиться к войне, не подействовала ли она размагничивающе не только на так называемых "простых зрителей", но и на тех, по чьему заказу она была сделана?

Наше искусство правильно не встает на путь нарочитой "кошмаризации" будущего, мы порой впадаем в другую крайность, избегая говорить о тех ужасах, которые ожидают нас всех в случае, если угроза войны из плакатного символа станет опустошительной реальностью. Щажение нервов наших соотечественников может превратиться в моральную неподготовленность. Неподготовленный знанием или предзнанием оптимизм ведет к результатам самым пессимистическим. Заметим, что многие наши кинозрители избегают смотреть фильмы и о прошедшей войне, предпочитая им коммерческие развлекательные поделки. Нежелание знания страданий прошлого, нежелание предзнания возможных страданий будущего расслабляет, разрушает и сегодняшнее гражданское мужество, и мужество завтрашнее.



Все микробы зла, живущие внутри людей в мирное время, при экстремальной ситуации могут вырасти до размера Змея Горыныча. Бюрократия пожирает людей и в мирное время, а при апокалипсисе ее прожорливость может еще более увеличиться.



Не оставить человека в беде — вот что такое остаться человеком. Проверку на человечность выдерживают тогда, когда страх за самого себя не отбирает у человека страх за других.



Писем в никуда нет. Нет писем мертвых людей. Пока все написанное нами, или хотя бы что-то из написанного, звучит в чьей-то памяти, переходит из рук в руки — мы живы. Смерть не состоялась, если дух не истлел. Кусочки нашего духа, ставшие книгами, тетрадными листками, реют, как птицы надежды, свивая свои новые гнезда даже на руинах. Бездна надежды нет, пока есть надежды. Кто-то не выдерживает — стреляется, кто-то уходит в мрачное мазохистское самоедство, кто-то амбициозно ораторствует в пустоту, а немолодая женщина ищет спасения в полубезумном нудизме, надеясь, что тело таким образом привыкнет к мировому холоду. Но спасение от внеш-

него холода — это внутренняя человеческая теплота, а не что-то иное.



Думание — есть великое действие. Нельзя сводить думание только к ежедневной текучке, только к семейным и рабочим заботам. Судьба человечества должна быть тоже нашей семейной и рабочей заботой. Если случится мировая катастрофа, она будет катастрофой всех семей сразу.



Для того чтобы атом не сошел с ума, надо не сходить с ума нам самим.



Многие сейчас не досматривают, не дочитывают, не додумывают. Искусство во всем мире сейчас резко раздвоилось на два русла. Первое русло — нравственно усыпляющее, второе — нравственно пробуждающее.

В этом русле — русле гражданского равнодушия — достойно быть не только большим пароходом, но и предупредительным бакеном.

**Я** начинал как волчонок-одиночка. В детстве и ранней юности у меня не было ровесников, которые писали бы вровень со мной, и я всегда тянулся к старшим. Но когда меня, несмотря на отсутствие аттестата зрелости, все-таки чудодейственно приняли в Литинститут в 1952 году, я начал писать совсем по-другому, во многом благодаря спасительной иронии моих ровесников по отношению к моему самонадеянному жонглерству рифмами. О, какое это драгоценное чувство — боязнь мнения товарища! Сколько эта боязнь дарует, от скольких болезней — и в первую очередь от самомнения! — вылечивает. Я очутился под градом целебнейших дружеских издевательств и стал постепенно вылечиваться от газетщины. Говорю без идеализированного преувеличения: нас выковывало не беспринципное чувство "стаи", а прежде всего любовь к поэзии, соединенная с любовью друг к другу. В нашей среде не было ни зависти, ни подсиживания, ни взаимопроталкивания, что сейчас характерно для многих начинающих... Смерть Сталина нас еще больше соединила, потому что мы и плакали вместе, но и вместе мучительно задумались, когда постепенно приоткрывшаяся завеса над прошлым поставила нас лицом к лицу со столькими

трагедиями, преступлениями. В день смерти Сталина арестовали одного из наших преподавателей — поэта А. Коваленкова. Мы с Владимиром Соколовым потрясенно обсуждали это и по закону нашего воспитания невольно выискивали в нем черты "врага", вспоминали то одну, то другую его фразу, теперь, после ареста, начавшую казаться нам подозрительной. И вдруг Володя сказал резко и гневно:

— Какие мы с тобой сволочи. Вместо этого надо поехать к его жене... разделить ее горе...

Так мы и сделали. Коваленкова через несколько месяцев освободили. Жизнь менялась. Гипноз сталинизма постепенно ослабевал. Студенческий курс первого послесталинского года был уже совсем другой, чем мы, — более раскованный, радикально настроенный: Б. Ахмадулина, Ю. Казаков, М. Рошин, Ю. Мориц. Слово "мы" начало расширяться. Приехавший в Литинститут тогдашний секретарь СП СССР А. Сурков в своем выступлении разнес первую антибюрократическую ласточку — роман Дудинцева и кричал, показывая на свежeweбеленную стену: "Вот видите — на этой, в целом чистой, стене есть пятно. Если мы, как Дудинцев, уткнемся носом в это пятно, тогда она вся будет казаться нам грязной..." Еще совсем юный Рошин спокойно возразил Суркову под наши общие аплодисменты: "Да, но если отойти от стены слишком далеко, то тогда пятна совсем не будет видно..." Сурков уехал, грозно бурча, что Литинститут — это рассадник нигилизма...



...Что нового внесли поэты-шестидесятники в нашу жизнь?

Первое — резкая антисталинистская направленность. На этом, несмотря на разницу индивидуальностей, мы все сходились. Второе — детабуизация всех тем, на которые были наложены писанные или неписанные табу. Третье — отвращение к барабанному патриотизму, к национальной ограниченности. Четвертое — новый поэтический язык, включавший в себя свежую ассонансную рифмовку, новые ритмы, безбоязненное употребление современных, самых "непоэтических" слов. Пятое — расширение аудитории до дворцов спорта и площадей. Наконец, шестое — триумфальный выход русской поэзии на международную арену.

Это неправда, что нам было многое "позволено". Свои права мы не "качали", а вырывали. Демократизация поэзии началась раньше демократизации жизни, но ее предопределила поэзия. Единственная реклама, которую мы получали в ранней

молодости, была ругань. Но за такую рекламу мы недешево платили.

Мы прорвались в крепость во время общественного катаклизма, когда в стенах этой крепости образовались бреши. Внутри крепости мы продолжали вести войну, иногда разъединенно, слыша где-то на отдаленных улицах выстрелы наших товарищей. Бреши искусно замуровывались, отсекая нас от молодежи. Вокруг крепости вырыли ров с водой, чтобы следующее поколение не прорвалось к нам на помощь. Мы смертельно устали, патроны и силы кончались. Над головами начали кружиться иностранные вертолеты, гостеприимно сбрасывая заманчиво покачивающиеся над головами веревочные лестницы. Но по ним карабкались только те, кто потерял надежду. Перестройка — дитя тех, кто не потерял надежды.

Мне рассказывали, как однажды известный кибернетик проигрывал профессиональным композиторам музыку, сочиненную электронной машиной. Композиторы иронически слушали, снисходительно посмеивались: "Ну что ж, вполне прилично... Но все-таки это не Бетховен и не Чайковский". Кибернетик улыбнулся и с мягкой язвительностью развел руками: "Позвольте, а разве среди присутствующих есть Бетховен или Чайковский?"

Не так трудно обнаружить законы мышления посредствомности, ибо часто под декоративными завитушками скрываются привычные логические конструкции. Формулу гениальности вывести невозможно, потому что гениальность есть нарушение формул. "Поверить алгеброй гармонию" пытались, пытаются и будут пытаться, но искусственно расчлененная гармония если отчасти и поддается изучению, то ни в коем случае — умозрительному моделированию. Читая стихи Пушкина, стоя перед полотнами Эль Греко или иконами Рублева, мы прежде всего испытываем, если только наша душа не отчуждена от искусства неподготовленностью или снобизмом, ощущение чуда.

Что бы ни толковали биологи о генах, я тем не менее предполагаю, что "изначально гениальны все". Но с первых наших шагов в жизни многое мешает воплощению заложенной в нас талантливости, и талант есть не что иное, как воплощенный человек, преодолевший сопротивление нивелирующих личностных обстоятельств. Талант есть чудо не случайное. От истинного таланта не исходит запах натужного пота совсем не потому,

что якобы существует некая дарованная богом легкость. Надо, чтобы с тебя сошло семь потов, наконец пришел восьмой пот, который не пахнет.

Тайные законы таланта, видимо, одинаковы для всех областей, где бы талант ни проявлялся, и та же самая область, которая для холодных умельцев просто серая утица ремесла, под прикосновением таланта превращается в белую лебедь творчества.



Если писатель в начале работы находится перед чистой бумагой, а художник — перед чистым холстом, то актер всегда — перед уже написанной ролью и под властью режиссера. Конечно, в каком-то смысле даже написанная роль — это еще почти чистый лист бумаги, но тем не менее работа актера уже вторична, и актер, как бы он ни боролся, наподобие Лаокоона, с липкочешуйчатыми фразами чужой ему роли, не всегда виноват в том, что не может выйти победителем. А ведь, к сожалению, чаще всего не сами актеры выбирают роли. Положение Чаплина, который и задумывал сценарий, и ставил фильм, и играл в нем главную роль, конечно, исключительно. Орсон Уэллс не смог подняться выше роли в "Гражданине Кейне", так наложилась на его внутренний темперамент. Если мы видим таких посредственных актеров, как Джина Лолобриджида или Бриджит Бардо во множестве посредственных ролей, то в этом есть своя закономерность. Но Жан Габен в дешевых детективах — это уже пахнет чьим-то надругательством.

В том, что замечательные актеры лишены возможности проявлять все грани своего таланта, виноваты часто не они сами, а прежде всего бедность сценарного материала и эгоизм режиссеров, не чувствующих внутренних устремлений актера.

Бывают, к счастью, и обратные случаи.

Так произошло, например, с Элизабет Тейлор, которая после ранней неплохой роли в фильме "Место под солнцем" долгое время подвизалась в качестве выставочной красавицы экрана. Однако молодой режиссер Майк Николс, сам замечательный актер, профессиональным и человеческим чутьем угадал нераскрытые возможности в актрисе, постепенно превращаемой из-за несчастливо красивой внешности в полуманекен, и Тейлор создала в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?" ошеломляющий своей пронзительностью образ опустившейся, раздираемой большими страстями женщины. Образ открыл подлинный талант актрисы, который и менеджеры, и режиссе-

ры так искусно скрывали от зрителей и, может быть, от нее самой.

Режиссер-диктатор и режиссер-подхалим одинаково убивают актера. Творческое содружество — всегда взаимораскрытие. Примеры взаимораскрытия — это хотя бы содружество Феллини с Джульеттой Мазиной или Крамера со Спенсером Трэси, Панфилова с Чуриковой.

● Ханжествуют те, кто успокоительно отвечают на сетования о трудностях актера: "Ничего... Истинный талант всегда пробьется".

Конечно, зеленый росток, вобравший в себя силу земных соков, может разворотить и асфальт. А что, если росток, все-таки пробив асфальт, наткнется затем на стальную бесстрастную поверхность асфальтового катка?

● Есть мелодрама низкосортная и есть мелодрама высокая. Часто мелодраматична сама жизнь, и искусственные попытки избежать мелодраматичности в отражении жизни есть не что иное, как искажение реальности. Но мелодрама становится высокой только тогда, когда помимо событий самих по себе есть духовная сверхзадача, поднимающая творцов над земным притяжением внешнего сюжета. Банален внешний сюжет "Преступления и наказания", но главное в этом романе — его духовный сюжет. Это же, пожалуй, можно сказать и об "Анне Карениной", и о "Мадам Бовари". Сила искусства не в освещении поверхности факта как такового, а в освещении его самых темных глубин.

● Интриговать внешней некрасивостью не нужно, как и красотой, — это не имеет отношения к задачам искусства. Внешность — это случайность природы, а красота внутренняя есть чудо не случайное.

**П**одделка пишется не своей, а заемной кровью или подкрашенной под кровь жидкостью. Такая подделка может быть даже талантливой и действовать на чьи-то слезные железы. Французы называют это "шантаж сентиментальностью". Но, по Баратынскому, такая муза "подобна нищей развращенной, молящей лепты незаконной, с чужим ребенком на руках". В мо-

лодости я дружил с одним способным художником. Он хорошо чувствовал колодцы дворов большого города, влюбленных на железной кровати, когда в окнах дымятся фабричные трубы... Но потом, ища успеха любыми путями, он создал из самого себя другого художника, полностью противоположного собственным лучшим задаткам, видимо, развивая не лучшие. Смешал в одно Нестерова и Рериха, стал писать какую-то оперную Русь, напоминающую иллюстрации к дореволюционному журналу "Нива", начал штамповать конвейерным способом страдающие глаза. Печально поучительный пример, как человек, способный к настоящему, переходит к подделкам.

Существуют в искусстве прирожденные фальшивомонетки. Они были, есть и — увы! — всегда будут. Но самое обидное, когда талантливый поэт начинает заниматься подделкой собственных эмоций. Мысль: "Это я сейчас, когда в трудном положении, а вот потом грохну что-нибудь настоящее..." — обманчива. Рука привыкает к подделкам, и в ней образуется страх настоящего, как будто страх подписания смертного приговора. Между тем история литературы доказывает, что смертные приговоры писатели подписывают себе при жизни, когда начинают бояться самих себя. Хитроумное уцеление становится смертью, а трагическая смерть может обратиться в бессмертие. Так стоит ли быть хитроумным?

Но бывают и такие не менее печальные случаи, когда настоящее произведение кажется многим современникам подделкой. Так было, например, с "Евгением Онегиным", когда эту поэму называли "мыльными пузырями", пускаемыми затейливым воображением". Литературный приговор может быть приговором самому критику. С литературными приговорами следует быть осторожней.

**К**ино существовало за многие века до его изобретения. Человеческое сознание и даже подсознание — это не что иное, как созданный природой кинематограф. Этот кинематограф то возвращает нас к тому, что уже случилось, однако не механически воспроизводя, а творчески преображая прошлое, то иногда предугадывая, что случится, пророческой силой духовного инстинкта, секрет которого еще до сих пор не разгадан медициной. Рука, тормозящая нас, чтобы мы проснулись, способна в одну секунду прокрутить в нашем якобы спящем сознании мно-

госерийный фильм, искусно подводящий нас в своем финале именно к этой тормозающей руке.

Все писатели в каком-то смысле кинематографисты, даже если не пишут сценарии и даже если умерли задолго до того, как на экранах мира впервые задержались человечки, еще не умевшие говорить так, чтобы их слышали. С тех пор кино обрело звук, цвет, объемность и, как предсказывают кинофутурологи, обретет даже запахи.

Несомненно, существовали фильм "Война и мир" в сознании Толстого, фильм "Братья Карамазовы" в сознании Достоевского, ибо великие произведения литературы, видимо, есть не что иное, как сценарии, написанные в обратном порядке, — запечатлевающие на бумаге уже снятый сознанием фильм. Все экранизации — это, в сущности, попытки восстановления безвозвратно потерянных фильмов, когда-то поставленных творческим воображением писателей.

Сила поэзии в том, что после отблеставшего спектакля она осмеливается жить подаванием и с шапкой в протянутой руке идет к людям, не стыдясь просить великой милостыни участия, сопереживания. Это не попрошайничество версификатора с "чужим ребенком на руках", как писал Баратынский, а извечная доверчивость настоящего искусства к тем, ради кого оно существует, даже если порой платится за излишнюю доверчивость. Искусство, лишенное доверчивости, обречено на моральное бесплодие.



Внутренняя культура — лучшая вакцина от эпидемии равнодушия. Внутренняя культура — залог вечной молодости. На чистых эмоциях, на запахах и красках первых впечатлений нельзя долго продержаться, если инстинкт жизни не будет подкреплен знанием жизни. Из неумных рук время ускользает, даже если эти руки поначалу обладают юношеской хваткой.



Поэту необходимо соединение трех качеств. Студенческое — это вечная негибкая мятежность, ищущая бури; монашье (сказано это, разумеется, символически) — иноческая отрешенность, пименовское бесстрашие в оценке событий; и, наконец, воинское — это бесстрашная готовность защитить то, что исповедуешь и проповедуешь.





Мастерство всегда тактично.



Снобизм — это прибежище замаскированного бескультурья.

**Б**лок в письме к С.А. Богомолу с тактично приглушенной иронией посоветовал: "Вы не думайте нарочито о "крошечном", думайте о большом. Тогда, может быть, выйдет подлинное, хотя бы и крошечное".

Заметим, что Блок писал это в то время, когда часть писателей под влиянием поверхностно понятого образа Заратустры уходила в эгоцентрические абстракции, пытаясь выглядеть сверхчеловеками и стесняясь быть просто людьми. Блок не относил, как мы имеем смелость догадываться, гигантоманию к понятию "большого" в искусстве — гигантомания всегда не что иное, как жирное дитя худосочного комплекса неполноценности. Но нарочито "крошечное" есть такое же воплощение неполноценности, как и нарочито "большое" — то есть то уничтожение, которое паче гордости.



Я начал свою литературную жизнь в то время, когда наше искусство было больно гигантоманией. Пышные фильмы с многотысячными банкетами на фоне электростанций, волгодонские или целинные поэтические циклы, построенные по принципу пластилинового монументализма. Я был дитя своего времени и болел его болезнями вместе с ним, — слава богу, что корь гигантомании перенес в литературном младенчестве, а не в зрелости, хотя и бывали затянувшиеся осложнения. Но мне кажется, что в последние годы наше искусство вообще и поэзия в частности заболели другой, не менее чреватой осложнениями болезнью, а именно "крошечностью", поэтому совет Блока "думать о большом" приобретает сейчас оттенок вопиющей насущности. В искусстве появилась некая боязнь исторического пространства, пространства духовного. К сожалению, некоторые критики, вместо того чтобы быть вдумчивыми лечащими врачами, помогающими избавиться от этой болезни, поддерживают крошечность намерений.

В западной поэзии было и есть немало значительных поэтов "герметического" направления. В русской поэзии этого не бы-

ло. Русская поэзия с самого начала своего существования взяла на себя функцию совести народа. Функция совести невозможна без боли, без сострадания. К сожалению, рядом с оставляющим желать лучшего прогрессом обезболивания в медицине происходит катастрофически прогрессирующий процесс обезболивания поэзии. Но все-таки было однажды сказано Герценом: "Мы не врачи, мы — боль".

“Дайте мне точку опоры, и я переверну землю...” — может быть, реально существовавшая, а может быть, приписываемая довоображением легенд гениальная шутка Архимеда. Землю, конечно, вряд ли стоит переворачивать, и профессиональные переворачиватели земли в конце концов ложились в нее, так и не перевернутую. Но жажда точки опоры — одно из самых прекрасных качеств человека, если эта точка опоры не зиждется на чьих-то костях, на подавлении человека человеком. Есть ложные точки опоры: власть, деньги, эксплуатация, насилие — такие точки опоры аморальны. Искусство представляет собой нравственную точку опоры человечества. Всему лучшему, что есть в нас, чувству красоты, например, мы обязаны искусству. Люди, лишённые общения с искусством, сами придумывают его, инстинктивно стараясь на него опереться. В одном из документальных фильмов я видел гениальные кадры, как африканцы какого-то обойденного образованием племени слушают магнитофонную запись Бетховена, потрясенные непонятным, но завораживающим чудом. Эти люди не читали Сервантеса, не видели Эль Греко, ни разу не были в театре, но, даже изолированные от мирового искусства, все-таки изобретали свое: фольклор, наскальные рисунки, песни, танцы. В человечестве спасительно живет инстинкт необходимости искусства. Искусство — это еще не открытая химическая составная часть воздуха, без которой человек бы задохнулся. Легкомысленное отношение к искусству как к средству развлечения пагубно. Искусство — не средство развлечения, а средство спасения. Искусство — поле боя, а не танцплощадка. Для точки опоры оскорбительно быть торговой точкой.



Спешка, как известно, поэзии не помогает. Но есть и та спешка, когда хочется высказаться, пока тебя не убили, потому что завтра высказаться будет уже поздно.

●

Настоящий поэт понимается не только через свою поэзию, но и через отношение к другим поэтам.

●

Один врач-онколог, подвыпив и потеряв контроль над собой, однажды исповедался в моем присутствии: "А на черта я буду передавать свой опыт молодым врачам, помогать им? Чтобы они отобрали у меня мое место?" Я был потрясен, услышав это из уст человека той профессии, которая, казалось бы, подразумевает благородство. Этот врач прожил нелегкую жизнь, многое выстрадал, но оправдания ему все равно нет. Встречал я таких людей и среди поэтов и никак не мог смириться с ощущением совместимости нашей профессии и зависти.

●

Прописные истины — это те киты, на которых стоит нравственность человечества. Нельзя все время квалифицировать нравственность как банальность. Поэзия поддержания моральных устоев имеет такое же право на существование, как и поэзия экспериментальная. Но если эксперименты заходят настолько далеко, что моральные устои подрываются, тогда так называемое новаторство перестает быть поэзией.

Отвратительно, однако, когда стихотворцы, которые тшатася быть педагогами чувств, сами в своей личной жизни весьма далеки от прописных истин, которые они проповедают. Конечно, личность поэта складывается из его стихов, потому что каждое стихотворение — это тоже поступок. Но есть еще просто поступки, и никакому, даже большому поэту непростителен человеческий эгоизм. Поэзия покидает самых талантливых поэтов, если у них нет таланта равнодушия. До личности большого поэта поднимаются только те, кто любит чужие строки больше, чем свои.

Подражательство с умыслом похоже на искусное подбирание отмычек к двери поэзии. Подлинный поэт всегда пытается открыть эту дверь собственным честным ключом. Если дверь не поддается, то подлинный поэт вышибает ее, но опять же собственным, а не чьим-то одолженным телом.

● Матери никогда искусственно не подделывают своих детей с расчетом на то, чтобы они нравились, — матери их просто рожают.

Версификаторы не рожают — рожать небезопасно. Версификаторы химически конструируют неких гомункулов в стеклянных колбочках. В душах версификаторов не священный огонь, а переносная спиртовочка расчетца. При помощи этого расчетца версификаторы математически выводят формулу чужого успеха и пытаются на ее основе рационально выработать свой голос. Но голос версификаторов не трогает — тронуть может лишь голос, у которого выстраданный, а не выработанный тембр.

● Говоря о живых поэтах, мы чересчур боимся высоких эпитетов и определений. Трезвого, взыскательного к себе человека не может испортить похвала, а вот легкомысленному и ругань вскружит голову.

● Ценность некоторых людей как бы заявляется их присутствием, ценность других людей запоздало понимается нами через их отсутствие.

● Если справедливо называют духовным вандализмом неуважение к историческим памятникам древности, то так же справедливо можно назвать духовным вандализмом и пренебрежение многими сложнейшими проблемами современности, ибо сегодняшняя современность — это будущая древняя история.

**И**стинный поэт — это особого рода хирург, которому моральную лицензию на вскрытие тела эпохи дает лишь бесстрашие самовскрытия.

● Если творчество не мучительно, то мы вправе относиться к поэту с моральным подозрением. Трагедийное начало есть в жизни каждого человека, и поэт без трагедии либо недочеловек, либо человек малодушный, по слабости характера боящийся самобезжалостности.

●  
Переводить рекомендуется только поэтов сильнее тебя или равных тебе. Лишь в этих случаях донорство бывает двусторонним.

●  
Одиночество одиночеству рознь. Одиночество превращается иногда в атрибут культа, а вовсе не в причину страдания. Но существует одиночество иное: одиночество творца, вынашивающего свой, понятный пока еще только ему замысел; одиночество юноши или девушки, находящихся в предсостоянии любви; одиночество воина, оказавшегося один на один с врагами. Мужество сражаться в одиночестве выше мужества в общем строю. Кроме того, есть один бой, который может происходить только в одиночестве, — это бой с самим собой. Моменты такого одиночества суть не что иное, как моменты тайной связи внутреннего мира с внешним или моменты поисков этой связи. Поэты, высокопарно декларирующие свое постоянное слияние с обществом, на поверку часто оказываются одиночками, а поэты, не боящиеся сказать о том, что они бывают одиноки, гораздо более связаны с обществом — хотя бы в силу исповедального доверия к нему. Писать правду о своем одиночестве — это уже преодоление одиночества.

●  
Поэтическую смелость иногда понимают как применение озадачивающих метафор, сногшибательных рифм, ритмической супермодерной какофонии или, наоборот, как ”простоту, мужественно противопоставленную модернизму”, которая на деле хуже воровства. Поэтическую смелость понимают иногда только как умение врезать кому-то по морде.

Но подлинная поэтическая смелость начинается не с безжалостности к традициям, не с безжалостности к нарушителям таковых, вообще не с безжалостности, направленной вовне, а именно с самобезжалостности.

●  
Блуждание в элегическом тумане никогда еще не спасало от впутывания в грязные дела.

●  
Слишком мастерски сколоченный стих бывает иногда оскорбителен по отношению к чужой и собственной боли, и в ряде случаев я предпочитаю недостаток профессионализма, не-

жели его избыток. И, может быть, иногда забвение о собственном умении и есть проявление высшего уровня мастерства, ибо мастерство неотделимо от нравственного такта.



Главное в искусстве — точность.



Некоторые поэты наряжают каждое стихотворение, как новогоднюю елку, отяжеляя смысл етеклянными шарами метафор, ватой сентиментальности, канителью изящных рифм, так что самой елки почти не видно. Но есть иная сила — сила ненарядности, неприкрашенности.



Только тот, кто самобезжалостен, может понять и жалеть других.



Не будем забывать, что поэзия обладает не только полезностью благонамеренной овсяной каши, но и магией колдовского приворотного зелья.



Поэт презирает нерешительность и в то же время понимает, что слепая разрушительность может быть еще страшней. Безрассудная шпага, пробивая портьеру, может попасть и не в Полония, а в кого-то невидимого. В кажущемся раздвоении вся сложность, но и цельность отношения поэта к истории, к ее полониям, скрывающимся за тяжелыми портьерами лжи.



Мудрость мешает абсолютной беспощадности, но снисходительность презрительной жалости может быть еще убийственной.

**П**оэт — это выше умения писать в рифму. Поэт — это свойство души, поднимающее мастера над ремесленником, человека над недочеловеком. Когда-то в детстве я любил ходить в крохотную подлестничную мастерскую, где работал зиминский инвалид-сапожник. Материал, который ему доставался от клиентов, был убог: протершиеся на внутренних складках кирзовые сапоги, матерчатые танкетки на деревянных каблуках, ботинки на резине со скошенными подметками. Не был богат и

ремонтный материал: старые автомобильные покрышки, из которых он вырезал косячки, голенища отдавших богу душу сапог, но все-таки годящиеся для заплаток к другим, еще полуживым сапогам. И так аккуратно были нарезаны белые спичечные гвоздики, лежавшие в коробке из-под монпансье, так вкусно и надежно пахло просмоленной дратвой, так яростно и осторожно колдовало шило в кривых и тяжелых, но одновременно прекрасных и легких пальцах, что это и было поэтическим свойством души мастера, побеждавшим обстоятельства, — т.е. преобразившим действительность, представшую перед ним в виде развалившейся обуви.



Западные социологи утверждают, что только двадцать процентов людей зарабатывают на жизнь любимым делом. Если это правда, то как несчастны остальные восемьдесят процентов населения человечества, ибо они навсегда лишены ни с чем не сравнимой радости творчества — радости, которая делает человека любой профессии поэтом. Многие молодые стихотворцы, тщаь стать поэтами, думают, что секрет величия — в усвоении суммы технических приемов, и стремятся к так называемому "росту мастерства", забывая вырастить собственную душу. Что стоит мастер метафор, если он равнодушен к людям, что стоит ювелир тонких эпитетов, если кружевное жабо формы скрывает грудь, в которой не бьется настоящее человеческое сердце, что стоит кузнец звонких рифм, высекающих искры из эстрад, если он трус и боится заступиться за товарища, когда тому плохо! Нет людей, которые рождались бы бездушными, но растить собственную душу для трусливых — это накладно. Еще, чего доброго, вырастишь ее слишком большую, и она будет лишь предметом неудобства или насмешек, как слишком большой нос Сирано де Бержерака.

Рассудочности здорово досталось на ее веку от критиков поэзии. Но нередко бывало, что рассудочность критиковали с рассудочных позиций. Возводя эмоцию на трон королевы поэзии, некоторые ее апологеты упускают из виду, что такая королева хороша лишь тогда, когда по ее правую руку с королевским скипетром будет восседать ум. Принято ссылаться на Есенина как на сугубо эмоционального поэта, но вся поэзия Есенина, избегающая холодного поучительства, дидактических схем, в то же время является развернутой метафорической фи-

лософией отношений к природе, Родине, людям, и применить к Есенину такую сомнительную похвалу, как недостаток ума, невозможно. Эмоция, основанная на постулатах совести, переходит в состояние мысли, но и мысль, рожденная глубоким чувством, становится эмоцией.

●  
Поэзия — это всегда перевод с темного, запутанного, сбивчивого подстрочника собственной души, и в этом смысле любой поэт — переводчик. Абсолютно точный перевод языка души на язык слов столь же невозможен, как и опасен слишком вольный перевод — он чреват тем, что от первозданности души ничего не останется. Но что же делать? Тютчев, автор афоризма "Мысль изреченная есть ложь", остался в нашей памяти все-таки именно благодаря изреченности, а не молчанию. Если следовать тютчевской логике, то его строка о том, что мысль изреченная есть ложь, уже сама является ложью.

●  
Одно из наших тончайших чувств — это осязание. Но формула осязания объемна. Осязание не только на кончиках наших пальцев, которые у слепых подобны десяти зрачкам. Осязание не только во вкусовых ощущениях. Можно осязать и слухом.

●  
Иные поэты наполняют свои стихи громоподобным шумом индустрии, грохотом батальных взрывов, бравурным шипением павлинообразных фейерверков, но когда читаешь их стихи, то они похожи на немое кино: по страницам скачут молнии, а настоящего грома не слышно.

●  
Есть поэты, все время громогласно заявляющие, что они говорят от имени народа. Присмотришься к ним, и вдруг станет их жалко — до чего они на самом деле одиноки. Есть другие поэты: они больше говорят об одиночестве, чем о народе, но присмотришься к ним и поймешь, что именно они говорят от имени народа.

●  
Поэт без фольклорного начала невозможен. Но бывает, что в фольклоре застревают, начинают тащить поэзию назад, умиляясь патриархальщиной, которая была прелестна в свое время, да, впрочем, и не так уж прелестна, как нам сейчас ка-



жется, потому что и в самые патриархальные времена лилась народная кровь.

**О**ткрытое признание в собственном стыде — гораздо большее мужество, чем воззвание к чужому стыду. Это мужество зрелости, которое позволило Пушкину написать: "И с обратением читая жизнь мою..."

●  
Застывшее представление о живом и, следовательно, развивающемся поэте так же близоруко, как, однажды занеся фарватер реки в лоцию, считать, что русло реки всегда будет соответствовать прежней топографии.

●  
Внезапное осознание того, что жизнь не бесконечна, или заставляет человека жалко суесться, хватаясь за все первопопавшие соломинки, или освобождает от суеты, приводит к самоочищению. Понятие смерти, кажущееся в юности абстракцией, вдруг оборачивается реальностью, и становится страшно, что после тебя останутся лишь твои маски, а не твое истинное лицо. Поэт живет, отражаясь в тысячах зеркал: в чьих-то глазах, в окнах домов и трамваев, в надраенных трубах траурных оркестров, в столовых ножах на банкетах, но был ли он сам зеркалом мира и нелицеприятным зеркалом самого себя? Или он был похож на зеркало в комнате смеха, где отраженное им уродство выглядело как красота, а трагическое лицо эпохи — как гогочущая рожа скомороха? Или он был декоративной тканью, наброшенной на зеркало?

**К**огда крошечный человек находится внутри своей матери, он связан с ней надежно защищающей его пуповиной. Появление человека на свет божий неизбежно связано с рассечением этой пуповины — ее либо перерезают хирургическими ножницами, либо перекусывают зубами, как это делают во многих странах крестьянки, до сих пор рожающие в поле. Рождение есть разрыв первой нити, связывающей человека с природой. Когда я видел в роддоме появление ребенка, я был потрясен. Рождение ребенка — это и чудо, и опасность одновременно. Женщина работает, напрягая все силы, чтобы вытолкнуть свое дитя. Женщина в этот момент одинока, лишь чья-то рука, глядящая ее руку, может дать ей ощущение нити, связывающей

ее с человечеством. Когда голова ребенка в моем присутствии появилась из матери, мне стало страшно — у него были закрыты глаза, тело было голубоватого безжизненного оттенка, и он показался мне мертвым. Но через миг от открыл глаза, сморщился и заплакал, как будто протестуя против его отделения от матери, частью которой он только что был. А теперь он стал самим собой, только беззащитным. Жизнь каждого человека есть попытка преодоления одиночества, попытка восстановить разрезанную пуповину, связывающую его с остальным человечеством, которое сначала было только его матерью.

Искусство есть соединение человека с человечеством.

**И**ногда мы наблюдаем раздувание в групповых целях малозначительных стихотворцев, умиленность духовным провинциализмом под видом расширения географии поэзии, под видом борьбы со "столичностью". Настоящее произведение, родившееся где-то даже в малозаметной деревушке, может само, независимо от критиков, стать столицей литературы.

●

Иногда перестаешь верить даже, может быть, в правдивые слова, если их слишком много. Ежесекундный вернисаж, что может быть утомительней?

●

Стихи о смерти — это проверка таланта поэта, не меньшая, чем стихи о любви.

**С**уществует такая мнимо красивая фраза: "Никто никому ничего не должен". Все должны всем, но поэт особенно.

Стать поэтом — это мужество объявить себя должником.

Поэт в долгу перед теми, кто научил его любить поэзию, ибо они дали ему чувство смысла жизни.

Поэт в долгу перед теми поэтами, кто были до него, ибо они дали ему силу слова.

Поэт в долгу перед сегодняшними поэтами, своими товарищами по цеху, ибо их дыхание — тот воздух, которым он дышит, и его дыхание — частица того воздуха, которым дышат они.

Поэт в долгу перед своими читателями, современниками, ибо они надеются его голосом сказать о времени и о себе.

Поэт в долгу перед потомками, ибо его глазами они когда-нибудь увидят нас.



Мне часто пишут письма начинающие поэты и спрашивают: "Какими качествами нужно обладать, чтобы сделаться настоящим поэтом?" Я никогда не отвечал на этот, как я считал, наивный вопрос, но сейчас попытаюсь, хотя это, может быть, тоже наивно.

Таких качеств, пожалуй, пять.

Первое: надо, чтобы у тебя была совесть, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Второе: надо, чтобы у тебя был ум, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Третье: надо, чтобы у тебя была смелость, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Четвертое: надо любить не только свои стихи, но и чужие, однако и этого мало, чтобы стать поэтом.

Пятое: надо хорошо писать стихи, но, если у тебя не будет всех предыдущих качеств, этого тоже мало, чтобы стать поэтом.

Поэзия, по известному выражению, — это самосознание народа. "Чтобы понять себя, народ и создает своих поэтов".

**П**оэт — это не штрихи, это линия, складывающаяся из всех строчек, из всех стихов, — своя линия отношения к слову, к жизни.



"Непечатаемость" иногда создает завышенное представление о некоторых поэтах, и первые публикации порой безжалостно развеивают фосфоресцирующую туманность легенд.



Нашей поэзии сейчас не хватает мужского духа — слишком многие пишут как-то subtilно, женственно. Но если женственность хороша у женщин, то у мужчин это духовная бесполость.



Желание избежать "проклятых вопросов" — это известная человеческая слабость, и тот, кто притворяется, что этих вопросов не боится, лжет.



Попробуем представить, к примеру, Микеланджело, когда одна нога его скульптуры сделана из каррарского мрамора, а другая из первопопавшейся глины.

**З**лопамятность и память — разные вещи. Злопамятность узка, мизантропична, потому что из потока разнообразных явлений она отбирает только зло, становясь слабопамятной по отношению к добру. Злопамятность — это забвение добра. Идеальная память вбирает в себя зло, но не забывает и добро. Память перерастает в совесть.



В литературе существуют подделки памяти, иногда даже искусные. Некоторые писатели, говоря о прошлом, умеют ловко подстроить его под свою сегодняшнюю концепцию, или излишне негативизируя, или слишком позитивизируя прошлое — в зависимости от того, что им надо. Это — спекуляция памятью. Некоторые писатели пытаются расчлнить свою память на составные части, не прибегая к спекуляции, но будучи честными лишь в частностях, робея перед памятью в целом. Это — страх перед памятью. Но большая литература выше и спекуляции, и страха.



Порой нам кажется, что литература умирает, и критики даже пишут статьи, похожие на преждевременные некрологи, а литература не хочет умирать, не может умереть. Именно — не может. Литература любой страны может временно впасть в летаргический сон, иногда напоминающий смерть, но если умрет литература — умрет душа народа. А душа народа бессмертна, значит, бессмертна и литература.



Если существует выражение "муки совести", то почему не может быть и другого — "муки памяти"? Искусство — это доска с гвоздями, а не мягкий диван. Искусство — это главная память человечества. А кто бежит от памяти человечества — человек ли он?

**Н**е люблю слова "поэтесса". Сразу возникает нечто при-

зрачно-бесплотное, шуршащее бутафорскими крылышками, неловко держащее в пухленькой ручке карандашик, выводящий трогательности в альбомчике с золотым обрезаем. Договоримся называть женщин, пишущих настоящие стихи, поэтами, ибо мастер есть мастер, и в искусстве не бывает скидок на слабость пола.



Многие поэты сейчас даже декларируют тягу к высокопарности, забывая, что высокое и высокопарное — это разные вещи.

Я понимаю, что стремление к высокопарности — это реакция на нарочитую приниженность языка. Но все-таки зачем переходить с осиновых котурнов даже на хрустальные?

Поэзия — это чувство земли босой ногой.

Сказанное впервые всегда звучит как полновесный мужской удар кулаком среди уютного постукивания доминошных костяшек литературного "козлозабывательства". Но удар кулаком по столу, заявляющий: "Я пришел!", оправдан только тогда, когда пришел не только ты сам, а вместе с тобой пришло нечто большее, чем ты.



Молодой писатель без хотя бы намерения сказать что-то никем до него не сказанное — явление противоестественное. На свете нет людей, которым нечего сказать. Каждый новый человек в человечестве обладает своими единственными тайнами бытия, и каждому человеку есть что сказать именно впервые. Продерешься к собственной душе — найдешь и собственные слова. Эпигоны — просто-напросто слабовольные люди, по трусости или по лени не пробившиеся к собственной душе. Внутри каждого человека, будь то приемщица химчистки, увенчанный лаврами генерал, дворник или космонавт, крестьянка или балерина, живет и чаще всего погибает хотя бы одна потенциально великая книга их жизни, где все неповторимо, все единственно. Даже жизнь любого закоренелого бюрократа по-своему уникальна, как эволюция человеческого невинного существа, торкавшегося ножонками во чреве матери, до расчеловеченной, обумаженной особи. Но нам еще неизвестна книга "Исповедь бюрократа". А жаль. Было бы поучительно. Порой самые замечательные люди, рассказывая истории из своей жиз-

ни, становяся косноязычными, путаются во второстепенном, а если и оказываются прекрасными застольными рассказчиками, то, прикасаясь пером к бумаге, невыносимо ускуняют жизнь. К счастью, есть и хорошие мемуары, но они принадлежат, за редкими исключениями, перу знаменитостей, а приемщицы химчисток, дворники и многие другие мемуаров не пишут.



Большая литература — это художественные мемуары человечества. Большие писатели — это писатели людей. Большая литература — это победа над смертью, достигающая до уровня еще недоступного медицине человеческого воскрешения.



Есть такое глазное заболевание — "сужение поля зрения". Это заболевание, к сожалению, распространено сейчас в поэзии, и не только молодой. Сужение поля зрения приводит к тому, что мир попадает в стихи только крошечными кусочками, раздробленно, без чувства взаимосцепляемости явлений. Боязнь гражданственности есть слагаемое многих болезней: боязни себя, боязни сильных чувств, боязни острых, ножевых тем, боязни мыслей, боязни поисков новой формы для нового содержания. Вместе с тем сумма этих боязней иногда сочетается с беззастенчивой боязнью быть незамеченным, толкающей не на построение храмов Дианы Эфесской, а на закомплексованный литературный геростратизм. Молодой поэт может добиться признания читателей только собственными стихами, но никогда — попыткой поджигательства чужих репутаций. Зависть к чужому успеху превращается в того самого лисенка, который выел внутренности самонадеянного юного спартанца, прятавшего его за пазухой.

**Р**ецептуры искусства нет и не может быть, как не может быть рецептуры чуда. Научить быть талантливым нельзя. Преимущество нового поколения — с детства усвоенное презрение к ложной гражданственности. Недостаток — это то, что презрение пассивно и что боязнь впасть в ложную гражданственность приводит к боязни гражданственности вообще. Подмена фальшивой романтики общественной отчужденностью — это подмена подделки другой подделкой.

●  
Печально, когда духовно здоровое — бессильно, а нездоровое — полно сил. Когда я вижу двадцатилетнего молодого человека — умного, доброго, способного, но зараженного общественной инертностью, а рядом с ним — его ровесника, завидно искупающего малоталантливость деловитостью, полного сокрушительной пробивной силы и сомнительной энергии, мне хочется воскликнуть: "Талантливые добрые люди, не отдавайте гражданственность в руки бездарных недобрых людей, доведите бездарностей до того, чтобы они, а не вы, были вынуждены стать общественно пассивными!"

●  
Молодые, вы вдохнули в себя новый воздух истории. Но внутри ваших легких этот воздух перерабатывается. Завтрашний воздух будет таким, каким будет ваш выдох.

●  
Человек, называющий себя писателем, хотя явно не может писать, уже этим нескромен. Тем более такой человек нечестен, если он ожидает похвал и наград за эту свою нескромность, которая иногда ханжески притворяется скромностью. Нельзя требовать от каждого писателя, чтобы он был гением. Но следует все-таки требовать от каждого писателя, чтобы он не был воинствующей посредственностью, хотя в ряде случаев это необратимо поздно. Посредственность чаще всего происходит от невежества. Оставим в стороне невежество застенчивое, простодушное, незлобное, происходящее часто не по собственной вине. Но не простим невежества самодовольного, торжествующего, превращающегося в нравственный лилипутизм, озлобленный на всех, кто выше ростом.

●  
Торжествующее невежество порой неплохо мимикрирует, играя в образованность.

●  
Усредненность языка неизбежно ведет к усредненности чувств, потому что только сильными словами можно выразить сильные чувства.

●  
Достоевский писал не фразами, а замыслом.

● Классика, будь она самой пророческой, не бывает полностью свободна от заблуждений и ограниченности своего времени, хотя бы из-за недостатка тех знаний, которыми располагает будущее. Но в классике есть инстинкт, превышающий знания, и классика иногда оказывается умнее будущего, когда оно становится настоящим.

● Гражданственность в русской классике никогда не скатывалась до "идолизации" народа. На лице любого идола можно только вообразить человеческие чувства, но нельзя их увидеть. Гражданственность не есть слепое поклонение народу, гражданственность — это уважение, которое выше поклонения. Уважение со стороны, с дистанции по отношению к народу недопустимо. Гражданственность — это не только чувство народа как отдельной от себя реальности, но ощущение самого себя народом. На Западе среди левой интеллигенции сейчас в ходу выражение: "Патриотизм — это последнее прибежище негодяев". С этим термином можно согласиться лишь при одной существенной поправке: "Лжепатриотизм — это последнее прибежище негодяев".

● Долго тянулся спор между славянофилами и западниками, но практика решила этот вопрос по-своему. Не подражая, не обезьянничая, русская классика впитала все лучшее, что было на Западе, и, переплавив это в горниле русской совести, пришла и завоевала Запад Толстым, Достоевским, Чеховым, определив на много лет вперед все развитие мировой литературы.

● Опасна не только разобщенность с живыми, но и разобщенность с мертвыми.

История написания стихотворения "Наследники Сталина" была такова. Когда я написал это стихотворение после выноса тела Сталина из Мавзолея, то долго толкался по разным редакциям. Даже Твардовский сказал мне (разумеется, иронически): "Знаете что, спрячьте лучше эту антисоветчину в стол и не накликайте на свою голову неприятностей". Слово "антисоветчи-



на” он, конечно, употреблял в том смысле, что кое-кто может использовать его как ярлык.

Я начал публиковать стих единственным доступным мне способом — голосом. Первый раз я его читал в телевизионном театре. После того как я прочитал, было то же самое, что и после первого исполнения ”Бабьего Яра”. Стояла мертвая тишина. Но первые возникшие звуки были не аплодисменты, а хлопанье стульев, производимое людьми, уходящими из зала. Человек 50 вышли в знак протеста.

Так я продолжал несколько месяцев читать эти стихи в разных аудиториях. Твардовский как в воду глядел, когда говорил, что стихи назовут антисоветчиной. Это сделал Соболев — председатель Союза писателей РСФСР. Он выступил на одном совещании, сказав: ”Вот до чего дошла анархия! Евтушенко на всех эстрадах читает антисоветские стихи, оплевывающие память товарища Сталина и все годы Советской власти”.

Что делать? Я пришел к моему старому другу — редактору ”Литературной газеты” Владимиру Алексеевичу Косолапову, человеку, который когда-то напечатал ”Бабий Яр”, и спросил его совета. Он предложил показать стихи Хрущеву. Но как это сделать? Косолапов и тут помог — дал телефон помощника Никиты Сергеевича, попросив, впрочем, не ссылаться на него.

Я позвонил помощнику Хрущева, и неожиданно он сразу же меня принял. Потом выяснилось, что он хорошо знал мои стихи, был неплохим фотографом, сделавшим уникальную коллекцию фотографий Хрущева. Одну из них я так и вижу перед собой: Хрущев, слушающий соловья. Кроме того, помощник учился у моего деда Рудольфа Евгеньевича Гангнуса. Мой дед, помимо преподавания в школе, вел часы математики в высшей школе ГПУ (так, кажется, она называлась). Помощник попросил меня сделать несколько поправок: вставить два четверостишия о Турксибе и Магнитке и заменить слово ”Родина” на слово ”партия”. Я не считал, что он прав, потому что тема первых пятилеток и так была в стихах, а два включенных четверостишия утяжеляли стихотворение. И с моей точки зрения, слово ”Родина” более уместно. Но в интересах напечатания стиха я согласился. Он мне сказал: ”Только, Евгений Александрович, не надо спешить, я передам его Никите Сергеевичу в удобный момент”.

Прошло несколько месяцев. Я уехал на Кубу. Назрел карибский кризис. Мир висел на волоске. На Кубу прилетел Микоян. Прилетел единственным самолетом, который пересек (по договоренности с американцами) блокированное воздушное

пространство. Он прибыл на переговоры. И на приеме в его честь Микоян, беседуя с Фиделем Кастро в моем присутствии, сказал, что за несколько дней до его приезда на Кубу в "Правде" вышло стихотворение Евтушенко "Наследники Сталина", что неплохо бы его напечатать на Кубе, — и протянул с этими словами Кастро газету. Микоян, очевидно, уверенный, что я в курсе событий, был немало изумлен тем, что я почти вырвал номер из рук Фиделя и, не веря своим глазам, увидел стихотворение напечатанным.

Как же оно все-таки было опубликовано? Об этом мне рассказал Микоян. Незадолго до этого Хрущев был в Абхазии в гостях у председателя одного из тамошних колхозов. И этот председатель рассказал ему о беззакониях, творившихся в Абхазии в тридцатые годы. Плакал председатель — плакал и Хрущев. И в этот момент он сказал, что Сталина нельзя оправдать, даже если бы он сделал только это. А ведь он сделал не только это!

Тут помощник Первого секретаря показывает ему мое стихотворение со словами: "Никита Сергеевич, вот у меня есть стихи на эту тему, написанные Евтушенко. Разрешите, прочту". Так Хрущев в присутствии Микояна и этого председателя колхоза впервые услышал мои стихи, после чего сказал: "Немедленно нужно это напечатать". Самолетом стихотворение было отправлено в Москву, в редакцию "Правды".

Когда оно было напечатано, то группа работников ЦК и МК написала коллективное письмо Н.С. Хрущеву с жалобой на редактора "Правды" П. Сатюкова, требуя призвать его к ответу за это, "антисоветское" стихотворение. Они даже не догадывались, что именно Хрущев направил стихотворение в редакцию для опубликования.

И на одном из заседаний Секретариата ЦК Хрущев привел это письмо как образец отсталости в мышлении. "Если это стихотворение антисоветское, — говорил он, — то кто же тогда я? Я тоже антисоветский?"

Вот история этого стихотворения, которое вполне могло и не быть напечатано. Решающую роль сыграли случайное стечение обстоятельств и воля полновластного руководителя...

**Б**ольшое искусство — это вавилонская живая башня на груди, построенная из людей.

Страшно подумать, скольких людей, написанных ими, дер-

жали на своей спине Шекспир, Данте, Достоевский, и сколько гвоздей впивалось от этой страшной тяжести в их спины...



К сожалению, можно летать в "Конкорде" и быть духовно бескрылым...



Излишняя любовь к себе всегда есть признак комплекса неполноценности. Любовь к себе — от страха презрения к себе.



Ненавижу сладкие песенки лицемерного воспитания, тайная цель которого — лишь подчинение так называемой культуре. Насилюемые даже культурой — это всего лишь насилюемые. Разве это культура — снобистское смакование, поглаживание древностей? Разве можно ставить все древности мира выше сегодняшних человеческих страданий? Страдания — это самые вечные человеческие ценности, выше которых нет ничего.



Не понимающий собственного ребенка уже этим некультурен, какие бы "гонорис каузы" ни висели на его стенах.



Нарциссизм и мазохизм прекрасно дополняют друг друга. Самовлюбленный человек нуждается в издевательствах, чтобы еще больше любить и жалеть самого себя, страдающего, униженного, оскорбленного... Любому эгоизму необходим чей-то другой эгоизм, чтобы в борьбе с ним ценить самого себя еще больше.



В 1845 году Герцен писал в "Письмах об изучении природы": "Из поколения в поколение передаются схоластические определения, разделения, термины и сбивают чистый и прямой смысл начинающего, закрывая ему надолго — часто навсегда — возможность отделаться от них".

Схоластика воспитания — самозащита внутренней пустоты, когда отцам нечего преподавать детям, кроме банальностей. Тогда дети переходят к своей самозащите — к смеху над отцами. Эта самозащита может стать самоубийственной, если смех из невинного станет циничным. Самозащита от цинизма цинизмом похожа на наследственную болезнь, передаваемую из поколения в поколение.

Есть два вида приспособленчества.

Первый вид — это приспособленчество к современности, когда, ловко мимикрируя, карьеристы пытаются сделать карьеру на борьбе с карьеризмом, пытаясь ввести, как Калигула в сенат, коня собственных амбиций.

Второй вид приспособленчества — это приспособленчество к вечности, когда отворачиваются от нужд своего народа, смотрят поверх времени. Но вечность сама отворачивается от тех, кто отвернулся от современности.

Все виды приспособленчества — лишь эрзац искусства. Настоящее искусство ориентируется не на категории времени, а лишь на совесть. Совесть человека двуедина — она сразу и современность и вечность.



Я не идеализирую наше поэтическое поколение. Все мы писали, а иногда и пишем до сих пор плохие стихи — поспешные, со вкусовыми сбоями, а иногда и те, за которые бывает стыдно. Мы совершали не только смелые поступки, но иногда и боялись, шли на компромиссы. Иногда отмалчивались, а это уже компромисс. Но все-таки поэты нашего поколения были первыми заговорившими — до Солженицына, до Сахарова, до правозащитного движения.



Есть поэты особого склада — одновременно и скрытные, и беззащитно открытые. Такая скрытная открытость — инстинктивная самозащита в борьбе с цензурой. Хочешь не хочешь, а цензура заставляет быть тонким, метафоричным.



Полугласность — это все равно что полукляп во рту. До крови закусенные губы, прячущие крик боли, больше говорят о боли, чем сам крик.



Протест может быть не обязательно криком, но и стоном, и шепотом, и молчанием. Участие в демонстрации протеста на несколько часов или даже минут несравнимо по героизму с неучастием во лжи в течение всей жизни.



Делить мир на верующих и неверующих так же глупо, как

на партийных и беспартийных. Мир делится на нравственных и безнравственных людей. Вот и все.

Когда мне было 9 лет, куда-то уезжавшая мама предупредила: "Вот этот шкаф — с детскими книгами, а тот — с книгами для взрослых. Я его запираю на ключ, и ты не смей совать сюда нос". Разумеется, первое, что я сделал, — это вооружился волнистым ножом для масла и, пользуясь его гибкостью, вскрыл запретный шкаф. Моим любимым писателем в девятилетнем возрасте стал Мопассан, и я восторженно проглатывал любовные авантюры Жоржа Дюруа, элегантно раскрывавшего завитыми кончиками своих усов двери высшего общества. Тогда я еще не понимал, что Жорж Дюруа был несчастным человеком, обделенным даром любви. Тот, кто знаток любви, — любви не знает.

Было не то что жажда любви, а любопытство, причем скрываемое. В этом любопытстве было что-то стыдное, сырое, грязноватое. Чем острее тянуло к девочке, тем сильнее хотелось подергать ее за косички, чтобы самого себя убедить в презрении к ней. А девочки были такими же неопытными, их больше всего тянуло к взрослым женщинам — за их плечами стояла тайна незнакомого опыта. Но лихорадочный жар любопытства — это еще не любовь.



Плоть — это то, что любопытствует, душа — это то, что ищет. Плоть — интересно, душе — противно. Плоть мешает душе, и она может съесть, в конце концов, душу, если дать волю аппетиту инстинктов. Надо, чтобы душа понимала плоть, а плоть уважала душу. Тогда — все целомудренно, все чисто.



На свете много несчастных людей, которые продали плоть душу. Скрип миллионов кроватей — это еще не Песнь Песней.



С кем из нас не происходило так: возвращаешься домой поздно ночью. Устал как собака. Переполнен отвращением к миру и себе самому. Чувство, точно срисованное Блоком:

---

Фрагмент из предисловия к книге стихов "От желания к желанию", изданной в США в 1974 г.

И, встретившись лицом с прохожим,  
 Ему бы в рожу наплевал,  
 Когда б желания того же  
 В его глазах не прочитал.

И вдруг видишь две юные тени, обнявшиеся так целомудренно, как будто в мире нет ни похоти, ни цинизма, ни крови, ни грязи. Даже если в мире было бы всего-навсего два любящих друг друга человека, мы не имели бы права терять веры в возможность любви.



Не так давно я встретил на улице поэта Х. Распорядок его дня обычно таков (по его собственным словам): "Встаю в семь. 45-минутная зарядка с гантелями, обтирание холодной водой. Легкий витаминозный завтрак: сок свежих апельсинов, тертая морковь. Чтение газет. На все это 15 минут. С восьми до двенадцати — творчество. Прочел, что Хемингуэй писал только стоя. Попробовал. Помогает. В 12 часов выключаю сознание. Часовая прогулка до обеда". Итак, я его встретил в священный момент прогулки — в момент выключенного сознания, которое он, весьма вероятно, забывает включить, снова садясь за письменный стол. Поэт шел, горделиво стуча суковатой тростью в асфальт, и, как ни странно, заметил меня. "Это случилось..." — сказал он хриплым голосом Тантала мировой лирики. "Что случилось?" — несколько испуганно спросил я. "Закончил свой цикл — сто сонетов о любви. Закрыл тему!" Вот счастливец!



Почему настоящая любовь и трагедия — это как два каторжника, скованные одной цепью? Потому что любовь есть такое совершенство, которому завидует все несовершенство мира и стремится его задушить.



Идеальным было отношение к женщине у Пушкина. "Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим". Никакого собственничества. В пушкинских стихах о любви — дикая прелесть чувственности и вместе с тем смущенная прелесть сдержанности.



В любви мужчины к женщине, женщины к мужчине — нача-

ло христианства, попытка победы над смертью. Ребенок — это совместная победа женщины и мужчины над собственным исчезновением.



Любовь и искусство равны — ибо только они побеждают время.



Кажется, только в русском языке есть такое обращение к любимому человеку "Родной, родная...". На других языках так можно сказать только о месте, где ты родился. Но любовь это и есть то, где мы рождаемся.



А в северных русских деревнях и до сих пор по-старинному вместо "Я тебя люблю" говорят "Я тебя жалею...". Кто-то создал нелепую теорию о том, что "жалость унижает человека" своим существованием. Жалость унижает только не умеющих жалеть других.



Вчера столкнулся лицом к лицу с одним подонком. Уши, как у летучей мыши, трупный цвет лица, а вместе с тем исполнен самодовольства — видимо, только что сделал кому-то удачную гадость. Про него ходят нехорошие слухи. Да он сам — воплощенный нехороший слух про себя. Главное выражение лица — это постоянная готовность к подлости. Сладковато-ядовитые глазки. Губы тонкие, почти невидимые, но всегда облизывающиеся. Про таких говорят: "Гиена в сиропе". Как можно такого типа обнимать, целовать, лежать с ним в одной постели! А ведь обнимают, целуют, лежат...



Неисправимых мужчин полно — иные так "оносорожили", по выражению Ионеско, что никакой цветок на них не вырастет. А вот женщины, даже самые падшие, всегда — ожидающая чего-то земля, готовая покрыться зелеными ростками, лишь прикоснись к ней нежно...



Пастернак написал: "Всю жизнь удаляется, а не длится любовь — удивленья мгновенная дань". Но действительно ли любовь — это мгновение? У человека можно отнять все, раздеть его догола, бросить его на холодный пол в одиночной ка-

мере, где нет ни одного солнечного зайчика, но кто может выдрать из-под его кожи воспоминания о лучших мгновениях? Мгновения не сжимаются, а, наоборот, растягиваются во времени, как наоборотная шагреневая кожа Бальзака.

● Не зависть, а брезгливую жалость у меня вызывают люди, старающиеся все время показываться в так называемом обществе только с так называемыми красивыми женщинами. Есть в этом какая-то духовная неполноценность, жажда мелкого самоутверждения: "Смотрите, я опять с новой красивой женщиной, значит, я и сам чего-то стою!"

● Вошла высокая, обдавшая всех белым светом своей кожи женщина. Она была похожа на Венеру Милосскую, если бы к ней приросли отбитые руки. На нее было больно смотреть — так она была красива. Потом она села и стала есть — и вдруг в том, как она держала вилку, в ее хищных мелких движениях, в хихиканьи проявилась такая некрасота, что руки как бы снова отвалились, да еще и вместе с головой. А сидевшая рядом, казавшаяся только что некрасивой другая женщина вдруг так хорошо, мягко улыбнулась, что вся, казалось, только что развалившаяся красота мира приросла к ней. Заболоцкий не потому ли спросил:

А если это так, то что есть красота  
И почему ее обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

● Давным-давно я шел часа в три утра по улице Горького один, под крутящимися снежными хлопьями, и вдруг замер. Прямо на меня из метели шел Пастернак. Одной рукой он придерживал за руку голубоглазую, раздумывавшуюся от ветра и счастья женщину в белом пуховом платке, только вернувшуюся из далеких мест, а сам боком забегал немножко вперед, чтобы видеть не только ее профиль, но ее всю, и сцеловывал снежинки с ее лица, и смеялся, как мальчишка. Ему тогда было, если не ошибаюсь, лет 65.

● У некоторых читателей особое, вынюхивательное отношение к стихам о любви: они хотят воспринимать лирику как ма-



териал для сплетен о личной жизни автора. Когда я опубликовал стихотворение "Я разлюбил тебя...", то моей жене звонили незнакомые люди, возмущались: "Он тебя опозорил на всю страну..." Когда я написал стихотворение "Маша", один уважаемый старый поэт даже махал над моей головой своей тростью, говоря, что я скомпрометировал не только бедную девочку, но и ее маму — честную писательницу. Между тем — дело давнее! — я, к сожалению, был безгрешен. Благороднее всех был брат героини моего стихотворения "От желания к желанию". После вечера, где я в его присутствии читал это стихотворение, я спросил его, что ему больше всего понравилось, с некоторой опаской поглядывая на его молодые крепкие бицепсы. Он с улыбкой ответил: "К несчастью, стихотворение, посвященное моей сестре".



Один картинно обожающий свою супругу муж сказал мне однажды, заговорщицки склонившись над моим ухом: "А знаете, когда мы с ней получаем наибольшее наслаждение?" "Когда?" — затаив дыхание, спросил я, наконец-то ожидая приоткрытия занавеса над загадочным для меня явлением их любви. "Когда мы остаемся с ней совершенно одни, выключаем телефон, запираем дверь и едим чеснок". Опять счастье!



Презираю пары, отгораживающиеся своим личным счастьем от несчастий мира. Это похоже на заговор двоих против человечества. Абсолютно счастливы могут быть только абсолютные идиоты.



Если на лицах некоторых людей вы заметите какую-то особую суховатую надменность или, наоборот, что-то сальное, подленькое, то задумайтесь: а любили ли они? И, кстати, спросите себя: а любили ли вы?

# ФРАГМЕНТЫ СТИХОВ

---

# 6

Быть вечно узнанным певцу  
по голосу,  
как по лицу!



1950

Ну, ничего, дружок, пиши, пиши —  
ведь главное, чтоб это — от души!

1951

Мне мало всех щедростей мира,  
мне мало и ночи и дня.  
Меня ненасытность вскормила  
и жажда вспоила меня.



Не буду спать я в тишине,  
опять догадки делаю;  
кто в мире этом скажет мне,  
где черное, где белое?  
Нам жизнь ответа не дала,  
и даст его не вскорости:  
ведь нет добра и нету зла —  
есть радости и горести.

1952

Не надо говорить неправду детям.  
Не надо их в неправде убеждать.  
Не надо уверять их, что на свете  
лишь тишь да гладь, да божья благодать.

Отравная сладинка в манной каше.  
Писк лживый не прощайте у кутят,  
и нас потом воспитанники наши  
за то, что мы прощали, не простят.

1953

Завязывается характер  
с тревоги первой за себя.

1954

Наделили меня богатством,  
не сказали, что делать с ним.



При каждом деле есть случайный мальчик.



Когда порою, без толку стараясь,  
все дело бесталанностью губя,  
идет на бой за правду бесталанность,  
талантливость, мне стыдно за тебя.

1955

Границы мне мешают...

Мне неловко  
не знать Буэнос-Айреса,  
Нью-Йорка.



Быть злым к неправде — это доброта.



Нежностью только за смерть награждают.



Неправдой к правде не придешь.



Есть молодежь, а молодости нету.



А что сейчас писатель?  
Он не властитель, а блюститель дум.



Да, перемены, да, но за речами  
какая-то туманная игра.  
Твердим о том, о чем вчера молчали,  
молчим о том, что делали вчера...



Великое не может быть обманом,  
но люди его могут обмануть.



Есть у банд один закон:  
кто не в банде, тех в загон.  
Что там — шито-крыто.  
Бьют свинчаткой в зубы, в бок.  
Каждый вместе с бандой — бог,  
а отдельно — гнида.



●  
Во мне уже осатанённость!  
О, кто-нибудь,  
                                приди,  
  нарушь  
чужих людей соединенность  
и разобщенность близких душ!

●  
А вот идет на пальчиках Уланова,  
и это тоже для меня народ!

●  
Это что же такое, что?  
У меня не умер никто,  
и немного прожито лет,  
а уж столько товарищей нет.

●  
Я делаю себе карьеру  
тем, что не делаю ее!

●  
Как же это,  
                                что тебе сейчас  
есть с кем спать,  
                                а просыпаться не с кем?

●  
О, если бы все морды, что я видел,  
соединились бы в одну большую морду,  
о, если бы...  
                                То мне бы так хотелось  
дать ей разá —  
  за все,  
  за все,  
  за все...

●  
Опять прошедшее собрание  
похоже было на соврание.  
...Вы —  
                                не солдаты революции,  
а вы —  
                                солдаты резолюции.







●  
Мы опоздали. Пробил страшный час.  
Глядим мы со слезами потаенными,  
как тихими суровыми колоннами  
уходят наши матери от нас...

●  
Цари,  
                    короли,  
                                    императоры,  
властители всей земли  
командовали парадными,  
но юмором —  
                                    не могли.

●  
Советы подлеца,  
услужливые демоны.  
Вы столько дел наделали,  
советы подлеца.

Как ты пошел на это,  
как ты им поддался?  
Уже твои советы —  
советы подлеца.

●  
О, вспомнят с чувством горького стыда  
потомки наши, расправляясь с мерзостью,  
то время, очень странное, когда  
простую честность называли смелостью!

●  
Моя поэзия, как Золушка,  
забыв про самое свое,  
стирает каждый день, чуть зорюшка,  
эпохи грязное белье.

●  
От всех трагедий, обыватели,  
вы заслонились животом.  
Вы всех поэтов убиваете,  
чтобы цитировать потом!

1961

Еврейской крови нет в крови моей.  
Но ненавистен злобой заскоружлой  
я всем антисемитам,

как еврей,

и потому —

я настоящий русский!



Двадцатый век нас часто одурачивал.  
Нас, как налогом, ложью облагали.  
Идеи с быстротою одуванчиков  
от дуновенья жизни облетали.  
И стала нам надежной обороною,  
как едкая насмешливость мальчишкам,  
не слишком затаенная ирония,  
но, впрочем, обнаженная не слишком.  
Она была стеной или плотиною,  
защиту от потока лжи даруя,  
и руки усмехались, аплодируя,  
и ноги ухмылялись, маршируя...  
Напрасно мы расстаться с нею пробуем.  
Пути назад или вперед закрыты.  
Ирония, тебе мы душу продали,  
не получив за это Маргариты.



Все жестоко — и крыши, и стены,  
и над городом неспроста  
телевизорные антенны,  
как распятия без Христа.



Людей неинтересных в мире нет.  
Их судьбы, как истории планет.



Но сегодня нельзя убежать никуда  
от стыда за историю,  
как от суда.



Говоришь ты — эпоха мне кровная мать?  
Разве мать, она может калечить, ломать?  
Как коня, хомутали меня хомутом.



●  
Ванька-встанька остался,  
как остался народ,  
и душа ваньки-встаньки  
в каждом русском живет.

●  
Не запальчивых форм старомодность  
и не формы, что взяты взаймы.  
Совершенство есть просто природность.  
Совершенство есть выдох земли.

●  
Я на пароходе "Фридрих Энгельс",  
ну а в голове — такая ересь.

●  
Я не хочу ни половины счастья,  
ни половины горя не хочу!

●  
У любви есть рождение и смерть.  
У любви не бывает зрелости.

●  
Пришли иные времена,  
взошли иные имена.

Шуршат кисетики истертые,  
шуршат до самых петухов.  
Опять работает история  
на самокрутки мужиков.

*1964*

И все тревожней год от году  
кричат, проламывая мрак,  
душа — душе, народ — народу:  
"Зачем ты так? Зачем ты так?"

●  
Но по ночам подспудно  
твердит какой-то бес,  
что будет крик "Полундра!",  
что будет главный бенц!



Сколько нищий в своей жизни медяков,  
столько видели мы ложных маяков.

К порошковому привыкнув молоку,  
мы не верим никакому маяку.



Волны, словно волкодавы...

Ты такой, двадцатый век:  
вправо-влево,  
влево-вправо,  
вверх-вниз,  
вниз-вверх.

Качка!

Все инструкции разбиты,  
все портреты тоже — вдрызг.  
Лица мертвенны, испиты,  
под кормой — крысиный визг,  
а вокруг сплошная каша,  
только крики на ветру,  
только качка, качка, качка,  
только мерзостно во рту.



Я, как поезд, что мечется столько уж лет  
между городом Да

и городом Нет!

Мои нервы натянуты,

как провода,

между городом Нет

и городом Да!



Артисты просто жалко мямлят  
в сравненьи с басом бурь и битв,  
когда и шар земной, как Гамлет,  
решает:

”Быть или не быть?”



Есть божий суд, наперсники разврата,  
и суд поэта — это божий суд!

●  
Поэты в России рождаются  
с дантесовской пулей в груди...

●  
Любимая, спи...  
Мы на шаре земном,  
свирепо летящем,  
грозящем взорваться,  
и надо обняться,  
чтоб вниз не сорваться,  
а если сорваться —  
сорваться вдвоем.

●  
Спешим. Давая лишь полуответ,  
поверхностность несем, как сокровенья,  
не из расчета хладного — нет, нет! —  
а из инстинкта самосохраненья.  
Затем приходит угасанье сил,  
и неспособность на полет, на битвы,  
и перьями домашних наших крыл  
подушки подлецов уже набиты...  
Боязнью мести мы не отомстим.  
Сама возможность мести убывает,  
и самосохранения инстинкт  
не сохраняет нас, а убивает...

●  
Так что ж, напрасно гениям горелось  
во имя изменения людей,  
и, может быть, идей неустарелость —  
свидетельство бессилия идей?!

●  
О, шар земной, не лги и не играй!  
Ты сам страдаешь — больше лжи не надо.  
Я с радостью отдам загробный рай,  
чтоб на Земле поменьше было ада.

●  
Плетка —  
лекарство,  
хотя она не мед.

Основа государства —  
надсмотр,

надсмотр.

Народ без назидания  
работать бы не смог.

Основа созидания —  
надсмотр,

надсмотр.

И воины,

раскиснув,

бежали бы, как сброд.

Основа героизма —  
надсмотр,

надсмотр.

Опасны, кто задумчивы.

Всех мыслящих —

к закланью.

Надсмотр за душами  
важней, чем за телами.

Вы что-то загалдели,  
вы снова за нитье?

Свободы захотели?

А разве нет ее?

И звучат не слишком бодро  
голоса:

”Есть!

Есть!”

То ли есть у них свобода,  
то ли хочется им есть.



Да, цепей старомодных нет,  
но другие на людях цепи:  
цепи лживой политики,

церкви

и бумажные цепи газет.



Ладно,

плюйте,

плюйте,

плюйте —

все же радость задарма.



Вы всегда плюете, люди,  
в тех, кто хочет вам добра.

Голова моя повинна.  
Вижу, сам себя казня:  
я был против —  
половинно.

Надо было —  
до конца...

●  
О, только те благословенны,  
кто, как изменники измены,  
не поворачивая вспять,  
идут на доски эшафота,  
поняв, что сущность патриота —  
во имя вольности восстать!

●  
В каждом русском настоящем  
где-то спрятан декабрист.

●  
Бомба мир не перестроит:  
только мысль, и только мысль!

●  
Кому-то памятник  
подготавливается...  
А баба пьяная  
в грязи валяется.

●  
Он долго бродит...  
Вокруг все пасмурней.

Охранка —  
белкою в колесе,  
но как ей вынюхать —  
кто опаснейший,  
когда опасны в России все.  
Охранка бедная,

послушай, милая,  
всегда опасней, пожалуй, тот,  
кто остановится,  
кто просто мимо  
чужой растоптанности не пройдет...

●

Господин жандарм,  
 как вам хочется —                    господин жандарм,  
    кузькину мать  
 показать вольнодумцам и прочим жидам,  
 да трудненько теперь показать!

●

Я, конечно, в детали не влажу,  
 что нам в будущем суждено,  
 но сердечком своим его мажу,  
 чтобы было без трещин оно...

●

Они сказали, усмехнувшись: "Ладно!"  
 На стул пихнули, и в глаза мне лампу,  
 и свет меня хлестал и добивал.  
 Мой мальчик, не забудь вовек об этом:  
 сменяясь, перед ленинским портретом,  
 меня пытали эти суки светом,  
 который я для счастья добывал!

●

Оба Изи в этой самой коже.  
 Жарко одному. Другой — дрожит.  
 Одному кричат: "Здорово, кореш!",  
 а другому: "Эй, пархатый жид!"

●

К нему не подступиться с меркой собственной,  
 но ощущая боль и немоту,  
 могу представить все,  
    но Маяковского  
 в тридцать седьмом представить не могу.

●

Жажда мелких самоутверждений  
 к саморазрушению ведет.

1965

Быть бессмертным не в силе,  
но надежда моя:  
если будет Россия,  
значит, буду и я...

●

Кто кричит нам про идеи,  
про народ,  
а сам на деле  
враг трудящихся людей —  
это, значит, прохиндей.

●

В моменты кажущихся сдвигов  
не расточайте силы зря,  
или по глупости запрыгав,  
или по трусости хандря.

●

Предощущение стиха  
у настоящего поэта  
есть ощущение греха,  
что совершен когда-то, где-то.

●

Искусство — съемка трюковая,  
та трюковая, роковая,  
где выжимают полный газ.  
От нас — поэтов и актеров —  
оно, как Молох, — ждет повторов —  
все совершенней каждый раз!  
И все смертельней каждый раз!

●

Я человек — вот мой дворянский титул.  
Я, может быть, легенда, может, быть.  
Меня когда-то называли Тилем,  
и до сих пор я тот же самый Тиль.

●

Нет истечения срока преступлений,  
как нет оплаты крови или слез.

●  
 Пусть я буду разбитым и смятым —  
 не за то, что хотел бы тиран,  
 рычаги  
     вырывая  
             с мясом,  
 я пойду на последний таран.

Но как страшно себе показаться  
 погибающим в небе не зря,  
 а, погибнув уже,  
                     оказаться  
 обманувшимся смертником зла...

●  
 Итальянские, русские слезы  
 и любые — все это одно.

●  
 По-немецки овчарки рычали  
 на отечественных поводках.

●  
 И куда ты негаданно делась  
 в нашей собственной кровной стране,  
 партизанская прежняя смелость?  
 Или, может, приснилась во сне?

●  
 К чему парламент созывать,  
 вести маневры?!  
 Шедевры надо создавать,  
 шедевры!

●  
 Постигает всегда бескровие  
 все, что зиждется на крови.

●  
 Расщепляют, конечно, атомы,  
 забираются в звездный простор,  
 но на зрителей  
                     и гладиаторов  
 разделяется мир до сих пор.

●  
Но верить вере я не вправе,  
хоть лоб о плиты разможжи,  
когда — почти как правда правде  
ложь исповедуется лжи.

●  
Мы все носильщики, отец,  
своих и старостей и детств,  
любвей полузабытых,  
надежд полуубитых.

●  
Так вот и живу — необрученным  
и уже навеки обреченным  
где-то между девочками в белом  
и седыми женщинами в черном.

●  
Спасение в стыде, но он забыт,  
и мне порою хочется воскликнуть:  
"О где же, человечество, твой стыд —  
единственный твой двигатель великий?"  
Вокруг бесстыдство царствует в ночи,  
а чувства и мельчают и увечатся,  
лишь пьяниц жилковатые носы  
краснеют от стыда за человечество...

●  
Бездейственно следить — чужой разврат  
не хуже откровенного разврата,  
и, проклиная свысока распад,  
мы сами — составная часть распада.

●  
Газетчики, кто вы?  
Вы — призраки Гойи?  
Вы пишете кровью,  
но только чужою.  
Считать чепушинкой  
привыкли вы, судьи,  
когда пишмашинкой  
расстреляны люди.  
Над горестным прахом  
казненных наветами:

”убиты газетами...”

”убиты газетами...”



И гений тоже слабый человек,  
и гению альков лукаво снится,  
а не одни вода и черный хлеб,  
и роковая ласка власяницы.



И он подвержен страху пропастей,  
подвержен жажде нежности властей,  
подвержен тяге с быдлом быть в комплоте,  
подвержен поножовщине страстей  
в неосвященных закоулках плоти.



Какие стройки,

спутники в стране!

Но потеряли мы в пути неровном  
и двадцать миллионов на войне,  
и миллионы —

на войне с народом.

Забуть об этом,

память отрубив?

Но где топор,

что память враз отрубит?

Никто, как русские, так не спасал других.

Никто, как русские, так сам себя не губит.

Когда румяный комсомольский вождь  
на нас, поэтов,

кулаком грохочет

и хочет наши души мять, как воск,

и вылепить свое подобье хочет,

его слова,

Есенин,

не страшны,

но тяжело быть от этого веселым,

и мне не хочется,

поверь,

задрать штаны,

бежать вослед за этим комсомолом...



Но покуда на свете, на белом,  
где никто не безгрешен, никто,  
в ком-то слышится: "Что я наделал!" —  
можно сделать с землей кое-что.



Не надо обещать... Любовь — неисполнимость.



За то, что разлюбил, я не прошу прощенья.  
Прости меня за то, что я любил тебя.



Хотел я счастье дать всему земному шару,  
а дать его не смог одной живой душе.



Мы невольники века,  
невольники наших правительств и рас.

Всюду —  
пути.

Настоящей свободы —  
ее ни у вас, ни у нас —  
лишь минуты!



Что любовь?  
Это только минута свободы.

Потом

даже хуже.



Мыслим — значит живем?  
Нет, страдаем — и значит живем!



Мы — карликовые березы.  
Мы хитро придумали позы,  
но все это — только притворство.  
Прижатость есть вид непокорства...  
Но если изменится климат,  
то вдруг наши ветви не примут  
иных очертаний — свободных?  
Ведь мы же привыкли — в уродах.



1967

И всем палачам-дорогам,  
и всем дорогам-тиранам  
да будет высоким итогом  
высокая плата бурьяном!

●

А скольких женщин ты сослепу  
в пути растоптал, как распятыя.  
Ведь женщины —

твои сестры,  
а это больше, чем братья.

●

Каин во всех таится  
и может вырасти тайно...  
Единственное убийство  
священно — убить в себе Каина.

●

Я ворую свободу, ворую,  
и в святой уворованный миг  
счастлив я, что хотя б в поцелуе  
бесцензурен мой грешный язык.  
Даже в мире, где правят фашисты,  
где права у людей так малы,  
остаются ресницы пушисты,  
а под ними иные миры.

●

Люди так устали. Людям туго.  
Все, срывая злость на мелочах,  
палачами стали друг для друга,  
позабыв о главных палачах.

●

Борьба за мир преступников всех стран  
под вечер переходит в ресторан.  
Талоны на питание в руках  
растят друзей на всех материках.

●

Эх, вы, орудие соплюшки, сопляки,  
вы все — грядущие старушки, старики.





Кто сажает людей — кто деревья.  
Но деревья — они победят.



В ичигах бродит, как будто бы тать,  
сумрак шагами несътыми.  
Время, когда еще можно читать  
свободно, — хотя относительно.



О, лишь от страха монолитны  
они, прогнившие давно.  
Меняются митрополиты,  
но вечно среднее звено.



Пойми всей шкурой и костями,  
как это трудно — воспевать,  
когда от виденного тянет  
не воспевать, а лишь блевать.



Невежлив  
и жёсток наш век,  
а помягче, и вы бы запели?  
Но ежели  
ты с бабой не можешь,  
виною —  
не жесткость постели.



Проклятье века — это спешка,  
и человек, стирая пот,  
по жизни мечется, как пешка,  
попав затравленно в цейтнот.



Когда шагаешь к цели бойко,  
как по ступеням, по телам,  
остановись, забывший бога,  
ты по себе шагаешь сам!



Отобраны роли.  
Ролишки суют.



И под безмолвным белым снегопадом,  
объединявшим тайною своей,  
Америка со мной садилась рядом  
на место для потерянных детей.



Дитя неволи — для свободы слаб...



Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет,  
и с ужасом я понял, что люблю  
ту клетку, где меня за сетку прячут,  
и звероферму — родину мою...

Хотел бы я наивным быть, как предок,  
но я рожден в неволе. Я не тот.  
Кто меня кормит — тем я буду предан.  
Кто меня гладит — тот меня убьет.



Ты думаешь, ты бог?

	Рисковая нескромность.
Гарпун получишь в бок	расплатой за огромность.
Огромность всем велит	охотиться за нею.
Тот дурень, кто велик.	Кто мельче — тот умнее.
...Почти не простонав,	по крови, как по следу,
уходит Пастернак	с обрывком троса в Лету.
И промысловики,	которым здесь не место,
несут китам венки	от Главгарпунотреста.



Есть лишь убийства на свете — запомните.  
Самоубийств не бывает вообще.

1968

Россия наша держится на бабушках...

●

Твержу я — бог, а думаю — искусство.

●

Я еще жив! Я чувствовать хочу  
все, как впервые, — в счастье и на казни,  
но повторяюсь, если ввысь лечу,  
и повторяюсь — мордой в кровь о камни...

●

Познание не спешит, умудрено:  
ведь бывшее неведение оно.

●

А что такое счастье вообще?  
Страдание, которое устало.

●

Я с теми, кто вышел и строить и месть, —  
не с теми, кто вход запрещает.

Я с теми,  
кто хочет в трамвай влезть,  
когда их туда не пускают!

●

Я знаю — что такое слава.  
Она — ошейник из цветов.

●

Мы женщину сместили. Мы ее  
унизили до равенства с мужчиной.

●

От века своего свободным быть позорно,  
позорней во сто крат, чем быть его рабом.

●

И, может, буду тем любезен я народу,  
что прожил жизнь, борясь, — не попросту скорбя,  
что в мой жестокий век восславил несвободу  
от праведной борьбы, свобода, за тебя...

●  
Хорошо,  
  если стыдно хотя бы кому-то,  
но бессмысленно,  
  если не всем.

●  
И никто не лучше рожею  
на портретах стольких рож,  
и такие все похожие,  
никого не разберешь.

●  
Мы за этот день обросли паршой,  
нам обрыдло все,  
  но зато  
мы, мой друг большой,  
  отдохнем душой  
в ресторанчике "Это-то".  
Там цыган-певец,  
  и поэт-мертвец,  
лилипут-циркач,  
  и скрипач.  
Там и ад и рай,  
  там и мат и лай,  
а сидит стукач —  
  свой стукач.

●  
Наш век я взять пытался под опеку,  
за что он опекал меня вдвойне.  
Бесплодно я читал морали веку.  
Бесплодно век читал морали мне.  
Век заклею кровавою печатью.  
Разодран я когтями воронья.  
Каков итог борьбы? Итог печален —  
мы оба аморальны — век и я.

●  
Есть в каждом мятеже,  
в поднявшем длань на брата,  
в поджоге и ноже  
опасная неправда.

Единственный прогресс  
без горьких жертв ненужных —  
протест, протест, протест,  
оружье безоружных...



Но стукачу и палачу,  
и трусам, и кастратам,  
не то, что даже не хочу, —  
я не могу быть братом!



Идею дайте хоть одну,  
и я на власть-подлюку  
с руками голыми пойду —  
на атомную суку!



После бунтов большой зажим.  
Кризисы рождает каждый бум.  
В глупости смешной на режим,  
как сексот, работает бунт.



Мир культурным стал. Добился.  
Жаждет мир духовной пищи.  
Кто такой сейчас убийца?  
Зритель, слушатель, подписчик.



Вот он, корень всемирного горя:  
человечество — это одно,  
ну а жертва, как данность, другое,  
и жива или нет — все равно.



Всадники обитых кожей кресел  
победили всадников коней.



Даже в революции чиновник  
побеждает. Вот какой он черт!



Как в лотке для промыва

серость души отсеивает:



Самородки — с обрыва!  
 Наше золото — серость!  
 Населенье, не слушай  
 уговоры болота:  
 все же серое лучше,  
 чем кровавое что-то.  
 Вздрогни, мертвенно съежась  
 за уютным обедом:  
 ведь коричневый ужас  
 прет за серостью следом...

●  
 Границы эпохи не между народами —  
 между  
 всех стран гулливерами  
 и лилипутами.

●  
 У нас,  
 у политиков,  
 время бывает подумать —  
 когда нас убрали.

●  
 Но верно ли ученье, если все-таки  
 учитель предан был учеником?

●  
 Лик свободы — предательский лик.  
 Чья-то кровь -- не ее забота.  
 Шапки в воздух — свобода на миг,  
 а коснутся земли — несвобода.

●  
 А массы лезут,  
 массы страждут...  
 О, ложь святая!  
 Я был внутри свободы — страшно...  
 Она — пустая.

●  
 То, что люди свободны,  
 им статуи ловко соврали.  
 Монумент — это призрак.  
 Свободу еще не собрали.



Мы устаем от всяческого сброда.  
Тех, кто устал, — безверье ловит в сеть.  
Но все-таки на свете есть свобода —  
хотя бы за свободу умереть.

1969

Я тоже потерял в себе ребенка.  
Не омрачайся, чудо соверши,  
поэзия моя — моя клеенка,  
дитя базара и дитя души!



Мы все когда-то начинаем лгать,  
но сколько бы в грядущем и прошедшем  
мы с вами ни обманывали женщин,  
есть первая обманутая —  
мать.



Ты скажи слезам своим "спасибо",  
их не поспешая утереть.  
Лучше плакать, но родиться — ибо  
не родиться — это умереть.



Мир предстает разоблаченный  
в глазах усталого шута,  
когда на лоб разгоряченный  
снежинка падает, шипя...



Равновесия полон  
мир, двойкий фатально.  
Ты взлетаешь, "Аполло".  
Мы сидим капитально.  
Предреканья  
отводили, бахвалясь: "Мы сами с усами!"  
Мы на камне,  
который себе мы подсунули сами.

●  
Где обещаловка —  
там обнищаловка.

●  
Все за меня сама решая,  
ушла, и только и всего,  
но просьба самая большая,  
когда не просят ничего.

1970

У славы и опалы есть одна  
опасность — самолюбие щекочут.  
Ты ордена не восприми, как почесть,  
не восприми плевки, как ордена.

●  
Эпохи судья,  
осуди беспощадным судом  
сначала —  
                                себя,  
а эпоху —  
                                потом.

●  
Так старит проклятая гонка,  
тщеславия суетный пыл,  
и каждый — могила ребенка,  
которым когда-то он был.

●  
Поэт — политик поневоле.

●  
Мне совсем умереть не под силу.  
Некрологи и траур — брехня.  
Приходите ко мне на могилу,  
на могилу, где нету меня!

●  
Бездумное ”вперед!” толкает вспять,  
и вдаль толкает трезвый ход обратный.

●  
 Суть попечительства в России  
 сплелась в одну паучью нить:  
 топи котят, пока слепые.  
 Прозреют — поздно их топить.

●  
 Ни вицмундира и ни бала,  
 и ни котлетки де-воляй...  
 Какая редкая опала,  
 когда в опале негодяй.

●  
 Как будто крысу запах сала,  
 в опале дразнит прежний сан.  
 Палач "левеет" запоздало,  
 когда он жертвой станет сам.

●  
 Как одно из темных преступлений  
 для убийц недоказуем гений...

●  
 Легко в студентах прогрессивничать,  
 свободомыслием красивничать,  
 но глядь-поглядь — утих левак,  
 и пусть еще он ерепенится,  
 уже висят пеленки первенца,  
 как белый выкинутый флаг.

●  
 Либо подлость, либо честность —  
 получестности в мире нет.

●  
 О, гений, сам себя спроси:  
 "Неужто, право, непреложно  
 лишь при холере на Руси  
 ты, демократия, возможна?"

●  
 Ты открой глаза —  
        черно в них.
 Погляди — по всей России  
 на чиновнике  
        чиновник,
 как бацилла на бацилле.

●  
Самосожжение — не выход.  
Горенью вечному хвала!

●  
На светильники и гасильники  
человечество разделено.

●  
Горек мед быть за границей признанным,  
ежели на родине хулят.

●  
Слепота в России, слепота.  
Вся —  
от головы и до хвоста —  
ты гниешь,  
империя чиновничья,  
как слепое жалкое чудовище.

●  
Как Катюшу Маслову, Россию,  
разведя красивое вранье,  
лживые историки растлили —  
господа Нехлюдовы ее.  
Но не отвернула лик фортуна —  
мы под сенью Пушкина росли.  
Слава богу, есть литература —  
лучшая история Руси.

●  
Ледяной расчет,  
коварство,  
и все царство-государство —  
ледяной проклятый дом.  
Если держится,  
то льдом.

Новой оттепели свыше  
ждать наивно.  
Только тот  
все Отечество отдышит,  
кто продышится сквозь лед.



Бессмысленна удаль строптивая,  
но часто, когда мы хитрим,  
красивое имя "стратегия"  
для трусости

лишь псевдоним.



Нет,  
этот прогресс понемножечку  
такой же, простите, смешной,  
как йодом намазывать ножечки  
кровати,

где стонет больной.

Негоже быть медику олухом.  
Что весь этот гнойный режим?  
Злокачественная опухоль,  
а ею мы так дорожим.



"Да где вы живете, Петр Францевич?  
Забыли, наверное, где.  
В России —

о братстве и равенстве?!

Попросит сама о кнуте.  
Цензура размякнет хоть чуточку —  
что будет печататься?

Мат?

Распустим полицию?

Чудненько!

Все лавки в момент разгромят.  
И стукнет вас,

крякнув озлобленно, —

очки ваши вроде не те! —

ваш брат угнетенный

оглоблею,

как символом "фратерните".

"Я вижу Россию особенной —  
Россию без власти кнута,  
без власти разбойно-оглобельной —  
мне чужды и эта и та.













В дни, духовно крепостные,  
в дни, когда просветов нет,  
тюрьмы —

совести России  
главный университет.

Что ломает стены? Вера  
в то, что стены упадут!

История России есть борьба  
свободной мысли с удушением мысли.

1971

Поэзия, будь громкой или тихой, —  
не будь в тихонях лживых никогда!

●

Мужчина, разыгравший все умно,  
расчетом на взаимность обещен.  
О, рыцарство печальных Сирано,  
ты из мужчин переместилось в женщин.  
В любви вы либо рыцарь,  
либо вы  
не любите.

Закон есть непреклонный:  
в ком дара нет любви неразделенной,  
в том нету дара божьего любви.

●

Станет вина перед ближним — виной  
передо всем человеческим родом.  
Так же грешно, словно горе — народам,  
горе семье принести хоть одной.

●

Искусство, как тонюсенькая нитка,  
связует разведенные мосты.  
Единственная, может быть, попытка  
смерть победить, — искусство, это ты.

●

Потерялись палачи.  
Мир, об этом не молчи,  
потому что в палачах  
опыт мести не зачах.

●  
Эпоха петь нас подбивала.  
Толкает вспять.  
Не подпевалы-запевалы  
нужны опять.

1972

Мир — большая деревня,  
и за столько веков  
бабам так надоели  
драки их мужиков.

Есть в деревне придурки,  
жлобы есть и шпана,  
потаскухи и урки,  
но деревня одна.  
Это счастье, даренье,  
это мука моя  
быть поэтом деревни  
под названьем — Земля.

●  
Таков проклятый круг:  
ничто не сходит с рук,  
а если даже сходит —  
ничто не задарма,  
и человек с ума  
сам незаметно сходит...

●  
Ребенок, будь отцом отцу —  
ведь твой отец — ребенок тоже.

Боже! — кричу я всей болью глубинной. —  
Что мне бессмертья сомнительный рай! —  
Пусть я умру, но не позже любимой —  
этою карой меня не карай!

●  
До сорока, до сорока  
схватить удачу за рога  
на ярмарку мы скачем,

а в сорок с ярмарки пешком  
с пустым мешком бредом тишком.  
Обворовали — плачем.

Когда мужчине сорок лет,  
или распад или расцвет —  
мужчина сам решает.  
Себя от смерти не спасти,  
но, кроме смерти, расцвести  
ничто не помешает.

●

Жизнь перед Смертью —  
как девочка перед женщиной.

●

Одиночество — чудо.  
Оно означает — ты жив.

●

Есть у любого гения предел —  
лишь подлость человечья беспредельна.

●

Какой же толк тогда в литературе  
и в жизни обеззубевшей такой,  
когда не бури ищешь ты, а тюри,  
хотя, конечно, в тюре есть покой?..

●

Тот мещанин убогий,  
кто мещанством счел семью,  
кто, ставший мужем и отцом,  
не муж и не отец.

●

Благослови, господь, семью —  
творения венец.

На головеночках детей  
покоится семья.

Святая троица земли —  
Ребенок, Мать, Отец,  
и человечество само  
не что-нибудь — семья.

●  
О, почему, предчувствиям не вняв,  
любимых сами в пропасть мы бросаем,  
а после так заботливо спасаем,  
когда лишь клочья платьев на камнях?

●  
Как играют пузырьки внутри бокала!  
Но лежит уже в Помпее кабака  
черный пепел раздраженного вулкана  
на распятых цыплятах табака.

●  
Миллионы приятелей  
означают — нет друга.

●  
Люди сильны бессильем  
мертвых друзей забыть.

●  
Детский крик раздражает? Он прав.  
То же самое литература.

●  
...тот, кто не ребенок — мертв.

●  
Стесняются, чья совесть нечиста  
не стать Иудой, не продать Христа,  
стесняются быть сами на кресте —  
неловко как-то там, на высоте.  
Стесняются карманы не набить.  
Стесняются мерзавцами не быть,  
и с каждым днем становится страшней  
среди таких "застенчивых" парней.

●  
Поэты относились все века  
к борьбе за власть как будто свысока,  
но тщились быть духовными отцами.  
Мне, вроде, никакой не нужен сан,  
но между тем я — властолюбец сам:  
борюсь за власть над чьими-то сердцами.



Все женщины входят вневременно  
в искусство особым путем.  
Вдвойне они сразу беременны:  
искусством и просто дитем.



Компромисс Компромиссович,  
”друг”, несущий свой крест,  
мягкой, вежливой крысочкой  
потихоньку нас ест.



Когда все молятся портрету  
того, кто давит мысль и честь,  
единомышленников нету —  
лишь соумышленники есть.

В аду казарменного рая,  
где заморочили народ,  
литература вымирает,  
но, вымирая, не умрет.

Народ никто не уничтожит.  
Проснется он когда-нибудь,  
пока еще хоть кто-то может  
по-человечьи подмигнуть.



В том обществе, где слава —  
яд,

литература — странный ад,  
где среди гомона и визга  
поджаривает брата брат  
на постном масле гуманизма.

В этом странном аду  
кое-кто так поставил задачу:  
помогать —

лишь попавшим в беду,  
загрызть —

всех попавших в удачу.  
Крикнуть хочется, чуть не плача:  
разве слава — это удача?!





Любовь —  
лицензия великая  
нам на отстрел инстинктов темных,  
всех обездоленных религия,  
и партия всех угнетенных.

Когда мы любим,  
мы неповинны,  
что жажда меда танцует в горле,  
и все, кто любят, —  
Гекльберри Финны  
с усами меда,  
который сперли.

Несчастливы те, чье тело  
с душой разведено.  
Любить — как сделать дело:  
вот все, что им дано.  
Быть бабником — скучища.  
Кто Дон Жуан? Кастрат.  
Монахом быть не чище,  
монахом быть — разврат.

Выше тела ставить душу —  
жизнь, достойная уroda.  
Над душою ставить тело —  
это ложная свобода.



Я хотел бы родиться во всех странах,  
быть всепаспортным к панике бедного МИДа,  
всеми рыбами быть во всех океанах  
и собаками всеми на улицах мира.  
Не в элите хотел бы я быть,  
но, конечно, не в стаде трусливых,  
не в овчарках при стаде,  
не в пастырях, стаду угодных,  
и хотел бы я счастья,  
но лишь не за счет несчастливых,  
и хотел бы свободы,  
но лишь не за счет несвободных.  
Я хотел бы любить всех на свете женщин,  
и хотел бы я женщиной быть — хоть однажды...

Мать-природа, мужчина тобой преуменьшен.  
Почему материнство мужчине не дашь ты?  
Если б торкнулось где-то под сердцем дитя беспричинно,  
то, наверно, жесток так бы не был мужчина.

1973

Что новые друзья?

Уж лучше старый враг.

Враг может новым быть.

А друг — он только старый...

●  
Почему иду я по руинам  
самых моих близких дорогих,  
я, так больно и легко ранимый  
и так просто ранящий других?

●  
Всегда в опасности любовь...

●  
Прикручен шар земной ко мне.  
Я, как усталая японка,  
весь мир таскаю, как ребенка,  
рыдающего, на спине.

●  
Есть глупость негодяя и скота,  
есть подвиг безрассудства у обрывов.  
И человек — не человек, когда  
в нем нет блаженной глупости порывов.

Не уважаю поглупевший ум,  
а глупость поумневшую жалею.

●  
Лезут гордо черви вверх.  
Трус кричит: "Я храбр!"  
Лишь свободный человек  
думает: "Я — раб".

●  
Моих иллюзий ржавых груда  
нимало мне не дорога,  
и понял я, что зависть друга  
страшней, чем ненависть врага.

●  
 Бессодержательность — это сытость.  
 Стыдно подслащивать чью-то боль.  
 Сахар на раны кричащие сыпать,  
 может быть, даже большее, чем соль.

●  
 О, как ты страшен, горек  
 в продмагах и пивных  
 наш русский треугольник —  
 поллитра на троих.

●  
 Как дорóга может быть прямая,  
 если даже техника —  
 кривая?

●  
 Философы столькие трудятся,  
 но вновь предлагают не то...  
 Пока в нас ничто не пробудится,  
 мы будем и вправду никто.

●  
 Ты, бесхозяйственность наша,  
 стала хозяйкой страны.

●  
 Я бы сделал некрасивых всех —  
 красивыми.  
 Мы потом бы разобрались —  
 кто красив.

1974

Если мы живы, зачем умирать прежде смерти?

●  
 Может быть, главный противник уродства  
 сам дух человеческий в чистом виде,  
 а не бездуховные негодованья  
 против засилья бездуховности.

●  
О, как любому художнику нужно,  
чтобы его назвали художником  
не малограмотные невежды  
и не восторженные идиотки,  
писающие кипятком,  
а старики, что объелись краской, —  
непробиваемые знатоки.  
Мы оба художники, значит, друзья и враги,  
и нежная наша вражда сбережет  
любого из нас, но убьет обоюдное обожанье.

●  
Жизнь — восстание против смерти,  
а искусство — восстание против жизни,  
если жизнь становится слишком похожей на смерть.

●  
Проклятая жизнь, где глотаешь несчастья  
кусками живой змеи  
в то время, как жизнь  
и тебя незаметно проглатывает кусками.

●  
Не уставай в тех ожиданиях,  
каким вовек не сбыться въявь.  
Не уставай в своих страданиях,  
но состраданье выше ставь.

Не уставай искать ответа  
на то, на что ответа нет.  
В неотвечаемости этой  
уже содержится ответ.

●  
Меня не станет — солнце встанет  
и будут люди и земля,  
и если кто меня вспомянет,  
то это Родина моя.

●  
Став кратким, не избежнешь драм.  
Представьте, если буду прям,  
то выйдет неприлично,

когда мужик, а не слабак  
все сразу в русских трех словах  
скажу я лаконично.



О, как себя в разгуле мнимом  
мы предаем!  
Черты любимых нелюбимым  
мы придаем.

Блуждая в боли,  
будто в поле,

когда пурга,  
мы друга ищем поневоле  
в лице врага...



В нас детство нераскрытое таится,  
и запоздало дарят нам больницы  
уже под старость — наших первых нянь.



Смеха много —  
эха нет.

Чувство беззховности.



И в детях правды нет...  
В них тоже есть притворство.



Мальчик-лгальчик, подлипала,  
мальчик-спальчик с кем попало...

1975

Убейте ведьму-безнадежность.  
Надежду все-таки спасите.  
Ведь, как сказал когда-то Пушкин:  
"Надежда — верная сестра".



Ты смотришь на меня, как неживая,  
но я прошу, колени преклоня,  
уже любимой и не называя:  
"Мой старый друг,  
не покидай меня".

●  
Ничему не говорю: "Воскресни!"  
но шепчу с последнею мольбой:  
"Как же нам с тобой расстаться, —  
если  
мы еще не встретились с тобой?"

●  
Распятье, ты похоже на распутье.  
Один конец — в огне, другой — в распутстве.  
Но ты, Христос, и этот мир прими.  
Не допусти, чтоб для простого люда  
все начиналось ожиданьем чуда,  
а кончилось закрытыми дверьми.

●  
Если люди в меня входят,  
не выходят они из меня.

●  
Штурмуйте паузу!

●  
Поэтическое бесстрашие —  
это страх перед чистым листом.

●  
С кем ты —  
с Мастером или с Воландом?  
С кем ты —  
с маслицем  
или с голодом?

●  
Сережка ольховая,  
легкая, будто пуховая,  
но сдунешь ее —  
все окажется в мире не так,  
и в общем-то жизнь  
не такая уж вещь пустяковая,  
когда в ней ничто  
не похоже на просто пустяк...





●  
Не в первый раз и не в последний раз  
страдаешь ты...  
Так что же ты страдаешь?

●  
Можно в рот залезть, калеча, —  
в уши хлопотней залезть.  
Если нет свободы речи,  
то свобода слуха есть.

Можно выбить ум с мозгами  
из любой башки дурной,  
но не выбьешь батогами  
мозг, когда он мозг спинной.  
Ум рождается народный  
не под чубом, не во лбу,  
а в хребтине изнуренной,  
во исхлестанном горбу...

Ум в петле и с шеей набок  
выручать я не берусь.  
На Руси ума не надо.  
Хитрость — вот что ценит Русь.

Тайный ум всего умнее,  
чем умишко напоказ,  
как порой вина хмельнее  
в ноздри бьющий злющий квас...

Это тяжело — притворяться  
мужичком да простачком  
и опасно притворяться —  
вдруг да станешь дурачком,  
но зато потом заставишь  
горько каяться в веках  
всех, кого ты сам обставишь  
и оставишь в дураках...

●  
Государство, ты всегда холопство, барство,  
царство лести, доносительство, вражда.  
Чувство родины и чувство государства  
не сольются в человеке никогда.



Грязь, всюду грязь, как землю ни меси.  
Свобода подозрительно острожна.  
Жить невозможно русским на Руси,  
а без Руси и вовсе невозможно.



...Но и в своей неграмотности гнев —  
уже народной грамоты начало.



Все эти потные попытки  
толкать Россию, навалиясь,  
возможны только через пытки,  
а пытки — это снова грязь.



Любой Иван в России —  
грозный...



Тот, кто понял, поднатужась  
и башкою, и спиной,  
то, что жизнь такая —  
ужас,  
тот уже не крепостной.



Я умру,  
и ты умрешь.  
Будет в поле та же рожь,  
а у власти, что же,  
те же будут рожи?



Есть на Руси сластены,  
а есть еще властены,  
и любят — просто страсть! —  
страсть хитрозадых —  
власть.



Мы власть,  
а мы не бунт уже.  
Нас пулям не покласть.

Кого сажают?  
Будущую  
они сажают власть.



Рукосуи водку дуют,  
продают народ спьяна.  
Словно бабу, Русь мордуют,  
а ведь женщина она!



Так народ, ладонью стукнув,  
порешил с далеких лет:  
"На Руси поэт —  
заступник.  
Не заступник —  
не поэт".

Лжербочие —  
черная сотня,  
лжесвидетели,  
лженарод.  
Все, чей тухлый удел —  
подворотня, —  
те на страже прогнивших ворот.



Неужто надо целых триста лет,  
чтоб сила власти сделалась бессильем,  
чтобы, прогнивший строй сводя на нет,  
гудками забастовки забасили?  
Все выродилось,  
все сплошной бардак,  
все разложилось,  
все проворвалось.  
Арестовать Россию всю?  
Но как?  
В полицию и то проникла вялость.  
Империи тогда конец,  
когда  
сложились все ходынки и цусимы  
в такую концентрацию стыда,  
что этот стыд сносить невыносимо...

●  
 Безвременье  
 беременно  
 началом будущих времен...

●  
 Да здравствует,  
 да властвует  
 великий государь — народ!

●  
 Кто не историк — это не поэт.

●  
 В истории трусливые пустоты  
 рождают в наших детях пустоту.

1977

Плюнуть в ближнего легче, если  
 не доплюнуть до тех, чья вина.

●  
 На том и выстоит Россия,  
 что у нее душа болит.

●  
 Какая забота мне, право,  
 что чей-нибудь слух услажден.  
 Добро победит — я оправдан,  
 а зло победит — осужден.  
 Но есть и такое мошенство  
 при литературном дворе,  
 похожее на двоеженство —  
 жениться на зле и добре.  
 Не вырастет гений из хлюста.  
 Еще никогда не была  
 большая победа искусства  
 хоть малой победою зла.

●  
 Не может лгать старик у гроба?  
 Есть, кто и в гробе завралась.

●  
 Явление гения — это природы усилье.  
 Вздываются всхолмья набухшим живым животом.  
 И Пушкиным новым беременно чрево России,  
 и страшно рожать, ибо страшно расстаться потом.



Не хочу я долгой жизни, — если  
кто любил, тот вряд ли долго жил.



Чувства жизни нет без чувства смерти.  
Мы уйдем не как в песок вода,  
но живые, те, что мертвых сменят,  
не заменят мертвых никогда.

В счастье есть порой такая тупость.  
Счастье смотрит пусто и легко.  
Горе смотрит, горестно потупясь, —  
потому и видит глубоко.

Счастье — словно взгляд из самолета.  
Горе видит землю без прикрас.  
В счастье есть предательское что-то,  
горе человека не предаст.



Высокопарность — это низкий слог.



Стать мертвым хоть на миг — неосторожно.



Тем и страшна последняя любовь,  
что это не любовь, а страх потери.



Но если среди оскопленных  
осталось лишь двое влюбленных,  
надеяться можно нежливо:  
еще человечество живо.  
Стоит на любви все живое.  
Великая армия — двое.



Так ли страшен злодей,  
если ясен злодей?  
Как спастись от неясных  
”прекрасных” людей?



Есть у любого трубадура  
от всех скрываема дура...



●  
 В поэзии, словно в траншее,  
 без локтя впритирку — страшнее.

●  
 Страшны скрываемые болезни  
 и неминуемо убивают,  
 но даже нежность смертельна,  
 если  
 ее скрывают...

Но я не верю в такую искренность —  
 в ней очевидная недоказанность,  
 когда простейшая трусость высказаться  
 играет в тонкую недосказанность...

●  
 Но тут и начинается поэт,  
 когда приходит отвлечение к слову.

●  
 Превращается знамя в лоскутья,  
 если вдруг променял кто-нибудь  
 в чистом поле величье распутья  
 на нечистый подсунутый путь...

●  
 Что все воинские успехи,  
 если нас прикрывают собой  
 раздавившие сердце доспехи?  
 Жизнь без сердца — проигранный бой.

●  
 Форма — это тоже содержание.

●  
 Психиатр — наемный друг.

●  
 Мой скромный проигрыш таков:  
 десятки тонн стихов,  
 весь шар земной,  
 моя страна,  
 мои друзья,  
 моя жена,  
 я сам, но ЭТИМ, впрочем,  
 расстроен я не очень.







Тоска по будущему —  
высшая тоска,  
гораздо выше,  
чем тоска по прошлому.  
Стыдней, чем бросить прошлые века,  
когда постыдно будущее брошено.  
Больнее, чем под веками песчинка,  
по будущему  
острая тосчинка.



Не сразу умирает человек,  
а по частичкам — от чужих болезней,  
таких, как равнодушие, жестокость,  
тихонько убивающих его.  
Но горе человеку, если он  
болезнями такими заразится, —  
тогда не только мертвым стал он сам,  
но, пребывая мертвым, умерщвляет...



Есть в слове "нужно" запах нужника,  
куда войдешь, да в что-нибудь и влипнешь.



О, подлое изящное искусство  
избегновенья что-нибудь решать,  
которое судьбу людей решает  
лишь тем, что не решает ничего.



Они, они... Спасительное слово  
для тех, кто слаб душой, а между прочим,  
сам для кого-то входит в часть понятия  
под кодом ненавидящим: "они".



На свете нет, пожалуй, человека,  
не думавшего о самоубийстве.  
Мне, правда, был знаком писатель песен,  
набитый, как соломой, жизнелюбьем,  
который как-то раз расхотался  
по поводу трагедии одной,  
закончившейся пулею банкротства:  
"Вот идиот... Мне в голову ни разу  
не приходила даже эта мысль..."  
К нему вообще не приходили мысли.



Проклятье — чем прекраснее страна,  
тем за нее становится больней,  
когда враги прекрасного — у власти.  
Прекрасное рождает зависть, злость  
в неизлечимых нравственных уrodaх  
и грязное желанье обладать  
хотя бы только телом красоты —  
насильникам душа неинтересна...



Сомнительны и девяносто девять  
процентов справедливости, когда  
один процент преступного в них вкрался.  
На правильной дороге кровь невинных  
меняет направление дороги,  
и правильной она не может быть.



...Есть руки про запас,  
готовые к предательствам, убийствам.  
Такие руки, если час не пробил,  
и кошек могут гладить, и детей,  
и даже аплодируют вовсю  
своим грядущим жертвам простодушным,  
как будто выражают благодарность  
за то, что те дадут себя убить.



...Самоубийственно все знать,  
но и незнание, как самоубийство,  
лишь худшее — трусливое оно...



История есть связь историй жизней.



Скучища — хорошо себя вести.  
Тоска — вести себя нарочно плохо.  
Не знать, как ты ведешь себя, — вот счастье.



Искусство страшно тем, что каждый смертный  
себя считает знатоком искусства.



Но кто привык в любви быть эгоистом,  
тот и в любви отцовской эгоист.

●  
Когда, забыв о третьем, двое взрослых  
ребенком бьют по голове друг друга,  
то разбивают голову ребенку.

●  
Страх постареть сам ищет этих молний,  
сам ими ослепляется, сам хочет  
стать хоть на время, но совсем слепым,  
чтобы не видеть ужас постаренья.  
За это ждет расплата — нас разлюбят,  
когда не в силах будем разлюбить.

●  
Есть в нашей первой женщине урок —  
он поважнее, чем урок для тела, —  
ведь тело в нем преподает душе.  
Когда я вижу циника глаза  
с пластмассовым отвратным холодочком,  
то иногда подозреваю я,  
что был такой цинизм ему преподан  
когда-то первой женщиной его,  
но женщину-то кто циничной сделал?  
Не первый ли ее мужчина-циник?

●  
Для женщины последняя любовь —  
надеждой притворившееся горе.

●  
Мы все сначала — дети превосходства  
властительного опыта чужого,  
а после — опыт наш — отец невольный  
неопытности, им усыновленной.  
Но вместе две неопытности — опыт,  
прекрасный тем, что нет в нем превосходства  
ни над одной душой, ни над другой.

●  
А вы любили в девятнадцать лет  
ту девушку, которой девятнадцать?  
Две юности прижавшиеся — зрелость,  
но эта зрелость — молодость вдвойне.

●  
У женщин есть звериный нюх на женщин.  
Когда у женщин вздрагивают ноздри,  
не отдерет с нас никакая пемза  
авральный запах женщины чужой...

●  
Ложь во спасенье — истина трусливых.

●  
Художник — это тот, кто строит взрывом.

●  
Мир так на подозрениях помешан,  
что можно, никого не предавая,  
казаться всем предателем двойным.

●  
...умер старый реализм,  
ценою смерти обретя бессмертье,  
и абстракционизм самоубийством  
покончил, прирученным взрывом став.

●  
Народ, народ... Затрепанное слово,  
которым очень любят спекулировать  
сидящие на шее у народа,  
привыкшие болтать с трибун о том,  
как нежно они любят эту шею.  
Всегда в любом народе — два народа:  
те, кто сидит на шее у народа,  
и те, кто эту шею подставляет.  
А надо разучиться подставлять.

●  
Какое наслаждение для ничтожеств  
доносчиком невинного назвать!  
Но есть еще и низость комплимента,  
внушающего: "Правильно донес".

●  
Смерть многолика... У самоубийства  
не может быть всего одна причина.  
Когда за что-то зацепиться можно,  
нам не конец. А не за что — конец.

У смерти может быть лицо любимой  
и даже нашей матери лицо.

●  
Одна душа дается человеку,  
но почему-то все другие люди  
хотят ее кусочками нарезать  
и каждый — лишь под собственным гарниром  
доставшийся кусочек хочет съесть.



Жить — это причинять всем ближним боль.



Мы все — убийцы всех самоубийц,  
но и самоубийца — сам убийца.



Несчастье иностранным быть не может.



Когда я молод был, преступно молод,  
один поэт великий — изумленно  
доживший до семидесяти лет,  
сказал мне:

”Маяковский и Есенин  
преступно предсказали свою смерть.  
В стихах — самовнушающая сила.  
Мой вам совет — пишите, что угодно,  
о чем угодно, только избегайте  
свое самоубийство предсказать”.  
Я с той поры поставил перед смертью,  
как баррикаду, письменный свой стол.  
Презренные пророки пессимизма,  
торговцы безнадежностью и смертью,  
нисколько вы не лучше, не умнее  
сующих нам поддельные надежды  
лжеоптимизма наглых торгашей.  
Вы в сговоре.

Пытаетесь вы вместе  
столкнуть все человечество с обрыва.

Пусть вешаются только те, кто вешал,  
и только те стреляются от страха,  
кто на земле свободу расстрелял.



У русского и у еврея  
одна эпоха на двоих,  
когда, как хлеб ломая время,  
Россия вырастила их.

Слабости — те детишки,  
которые душат нянек.

1979

Чье сможет внутреннее зреньё  
увидеть: что́ на волоске,  
чем забеременело время?  
Но роды сбудутся —  
в Москве.

●

И я понял, отбросив "ура" и "да здра...",  
я — придворный поэт проходного двора.

●

Россия без поэзии российской  
была бы, как огромный Люксембург.

●

Не дай нам бог, чтоб сыро было в кратере!  
И если вы среди других примет  
увидите в поэте бюрократинку,  
то успокойтесь — это не поэт.

●

Кричат: "Не вывертывайся!  
Держись!" —  
те, кто вывертывается всю жизнь.

●

Отвращение к литературе —  
той, которая просто стряпня, —  
словно к рвущейся в лидеры дуре,  
перекашивает меня.

●

Лодыри отечественной мысли  
с напряженным видом работяг...

●

Пальцем для других нешевелизм...

●

Классики в бессмертье не ломились —  
шло оно за ними, словно тень.  
Классики по-своему ленились —  
плохо написать им было лень.

●

Всегда, когда своих страданий нет,  
чтоб не тупеть, чужих страданий хватит.



●  
 Побойтесь жизнь спрямлять, не понимая,  
 что можно выпрямлением согнуть,  
 что иногда в истории прямая  
 меж точками двумя —  
 длиннейший путь.

●  
 Одного не пойму,  
 понимающий смелость, как русскость:  
 почему  
 никого  
 никогда не снимают за трусость?

●  
 Как упоительно запойна  
 всепожирающая страсть:  
 или не выпасть из обоймы,  
 или тайком в нее попасть.

●  
 Что стоит временная почесть!  
 Порой превыше всех времен,  
 всех упомянутостей пошлых  
 неупомянутасть имен.

●  
 Мне все равно —  
 я гений или нет.  
 Я —  
 неизвестных гениев поэт.

●  
 Недостойно слезе  
 возгордиться над чьей-то другою слезою.  
 Разве Жанне д'Арк  
 было менее больно, чем Зое?

●  
 Кто превыше всего?  
 Все народы превыше всего.  
 Вот мой бог —  
 человечество имя его.

●  
 Будет время —  
 поднимется до облаков  
 урожай из отрезанных языков!





Если получитающий мир —  
 значит, мир —  
   полумыслящий.



Только всечеловечное —  
   вечно.  
 Только национальное —  
   всечеловечно.



А жаль его.  
   Не вор, не спекулянт.  
 Порою в нем под скоморошьим скотством  
 попискивал малюсенький талант,  
 но был раздавлен дутым патриотством.



Самая великая антология —  
 это антология человеческих лиц.



На каждой свадьбе чуть-чуть страшновато,  
 потому что после  
   семейная жизнь  
 похожа на медленные похороны свадьбы.



Молодые танцуют так радостно, словно  
 после танца изменится к лучшему мир.  
 Старики танцуют так осторожно,  
 как будто от этого он разрушится.



Никто не хочет понимать, что стар,  
 но если понимает — молодеет.

1982

Но почему они сморщены —  
   новорожденные дети?  
 Они заранее морщатся  
   от гадостей всяких на свете.



Поэзия накапливается  
   не по строчкам —  
 по вбитым в ладони поэта гвоздочкам.

●  
Не будет за черепом череп  
опять громоздиться вверх.  
Не после войны, а перед  
последний грядет Нюрнберг.

Окончатся все негодяйства.  
Все люди поймут: мы семья.  
Последнее государство  
отменит само себя.

Последний трусливый цензор  
будет навек обречен  
читать по порядку со сцены  
все, что вымарывал он.

●  
Мои взаимоотношения с Иисусом Христом  
были сложными,  
как у любого советского ребенка,  
воспитанного на книге "Павлик Морозов".

●  
Сказать по правде,  
мне всегда казалось,  
что место Христа — в избе.

●  
Поднявший атомный меч от него и погибнет.

●  
Телебашни —  
гигантские шприцы,  
вкалывающие под кожу забвенью.

●  
Даже невинный зубной порошок —  
наркотик,  
если трусливый язык  
держат за вычищенными зубами.

●  
Бедности нет, где не существует богатых.

●  
Все трудней становилось "выделяться из масс",  
ибо массаами овладело желание "выделяться".



Сильные мира сего  
захватят особо избранных женщин в свои бункера  
и, побряхтывая, приступят к размножению  
исчезающей человеческой расы.

Но все это кончится пшиком.

Откроется грустный секрет:

все

так называемые сильные мира сего

законченные импотенты.

Они и не догадаются

захватить в бункера крестьян,

и будут сеять медали

и пуговицы от мундиров,

и будут жрать консервированным даже хлеб,

и будут слышать кудахтанье лишь

консервированных куриц.

Они и не догадаются захватить в бункера  
пролетариат,

и будут ковыряться серебряными вилками

в автомобильных моторах,

и будут колоть дрова — пилой,

а пилить дрова — топором,

и канализацию разорвет от особо избранных

экскрементов.



Мне страшно не то,

что не будет памяти обо мне,

а то, что не будет памяти.



Каждый должен быть церковью каждому.



Дайте мне хоть немножко Бога,  
но который бы был человеком!

1983

Уводя насовсем

в жизнь совсем не мою,

меня ест все, что ем,

меня пьет все, что пью.

●  
Семья — это слитые "я".  
Я спрашиваю — когда  
в стране под названием "семья"  
исчезнут и гнет, и вражда?

●  
Свобода смертельна, когда разделить ее не с кем.

●  
Все полуслучившееся — случилось.

●  
На мордах с медом на устах  
след окровавленности.  
Лицо, однажды мордой став,  
не восстанавливается.

●  
А стыд не страшен. Стыд — не смерть.

●  
Преступление против народа,  
если чья-то несчастная мать  
может разве лишь с черного хода  
для ребенка лекарство достать.  
Разве с черного хода когда-то  
всем народом вошли мы в рейхстаг?!

●  
Были беды, а сегодня бедки.  
Но ведь хнычем в каждом разговоре.  
Маленькие личные победы  
победили нас и раскололи.

●  
Я клеймом большинства заклеймен.  
Я хочу быть их кровом и пищей.  
Я — лишь имя людей без имен.  
Я — писатель всех тех, кто не пишет.

1984

Любовь — чудовище,  
что пожирает даже собственных детей.

●  
Несуществующим  
совсем не легче на земле существовать.



1985

Труба с чужой слюною врет.

●

Если вы есть, то вы останетесь.

●

Счастливыцы!

Страшно между тем  
быть понятым, но так превратно.  
Всю жизнь писать совсем понятно,  
уйдя непонятым совсем...

●

Но есть алкоголики трусости — особая категория.

”Кабычегоневышлисты” — по образному словцу.

●

Есть пропасть меж красным знаменем  
и красным карандашом.

●

Поэт в нашем веке — он сам этот век.  
Все страны на нем, словно раны.  
Поэт — океанское кладбище всех,  
кто в бронзе и кто безымянны.

●

Люди танцуют одной ногою,  
не зная, куда им ступить другою.

●

Как,  
из дерьма вырываясь рывками,  
драться отрубленными руками?

●

Голод — всегда результат обворовывания.

●

Единственная роскошь бедных  
есть роскошь ада,  
где нету лживых морд победных  
и врать не надо.

●

В каждом пограничном столбе есть нечто неуверенное.  
Тоска по цветам и листьям —  
влюбом.

Наверное, самое большое наказание для дерева —  
это стать

пограничным столбом.

На пограничном столбе отдыхающие птицы  
что это за дерево —

не поймут, хоть убей.

Наверно, люди сначала придумали границы,  
а потом границы начали придумывать людей.

Границами придуманы —

полиция, армия и пограничники,  
границами придуманы

таможни и паспорта.

Но есть, слава богу, невидимые нити и ниточки,  
рожденные нитями крови

из бледных ладоней Христа.

●

Мое правительство —

все человечество сразу.

Каждый нищий —

мой маршал, мне отдающий приказ.

Я — расист,

признающий единственную расу —

расу всех рас.

●

До чего унизительно слово "иностранец",

У меня на земле четыре с половиной миллиарда вождей...

●

Бардак в любой стране грозит обвалом,

хотя бы тем, что в чреве бардака

порой и мягкотелым либералам

с приятцей снится сильная рука...

●

Есть третий выбор — ничего не выбрать,  
когда две лжи суют исподтишка.

Не превратиться в чьих-то грязных играх

ни в подхалима, ни в клеветника.

Честней в канаве где-нибудь подохнуть,

чем предпочесть сомнительную честь

от ненависти к собственным подонкам

в объятия к чужим подонкам лезть.

Когда твой враг шакал, не друг — акула.

Есть третий выбор — среди всей грызни

сесть меж двух стульев, если оба стула

по-разному, но все-таки грязны.



●  
Вновь о вакуум бьюсь я мордою.  
Видно, вакуум — самое твердое.

●  
Если сил не хватает для крика,  
у людей остается вздох.

●  
Нет великих диктаторов —  
все они  
лишь раздувшееся ничто.

Нет диктаторов несвергаемых.  
Есть —  
свергаемые слишком поздно.

“Какие отвратные у государства слуги,  
какие симпатичные враги у государства”.

●  
Некоторые мечтают —  
хотя бы во сне навести  
полицейский порядок,  
чтоб каждому крикнуть: “Замри!”  
а я каждый день  
подыхаю от ненависти  
к любому полицейскому  
на поверхности земли.

●  
Достойны ли славы доносчики и лизоблюды?  
Зачем имена стукачей позволять языку?  
А вот ведь к Христу присоседилось имя Иуды...  
Фуку!

●  
Я был не на сцене —  
был сценой в крови эпохальной и рвоте.

●  
Поэт, как монета петровская, сделался редок.

●  
Неужели на космос  
хватило ума и отваги,  
а ума недостаточно  
для туалетной бумаги?



●  
Осыпается сараночка,  
как ее ни размахровь.  
Не в любви любовь,  
алданочка,  
есть еще неразлюбовь.

●  
Не обрекайте грядущую нацию,  
ждушую выплеска,  
на консервацию.

Разве водчищу менять на скучищу —  
путь, чтобы стали мы лучше и чище?

Будет безъядерное тысячелетие,  
если не выродится в бездуховное!

●  
То, что кажется жижей, — твердо.  
То, что кажется твердым, —  
жижа...

●  
В России жалеют лежачих —  
в гробу безответно лежащих.

●  
Подстригают в столице ногти —  
рубят в Глупове руки по локти.

●  
Запутался я, как светляк,  
но не в гриве Пегаса,  
а в гриве ракетной у атомных новых атилл.  
Запутаться —  
это не менее страшно, чем вовсе погаснуть,  
а я еще не насветился,  
а я еще не досветил.

●  
Немыслим извилистый лом.

●  
Не всякая сжатость бесценна.  
Рифмованный стих жестокотел.  
И чье-то квадратное сено,  
будь лошадью — я бы не ел...





И безо всяческой указки,  
и безо всяческой цепи  
прости за дерзость подсказки:  
"Войну, родимый, не проспи..."



Притворяются, что главная сила  
те,  
кого не перестроит и могила.



Народ вырастает во лбу,  
не пряча свой разум в кубышку.  
России и мира судьбу  
понять ли убогому лбишку?



На пике славы — убийств запашок.  
Быть гением — неосторожно.  
В нечистых руках жесток альпеншток.  
Им

и угробить можно.  
Когда, полускрытые в облаках,  
убийцы взбираются к власти,  
то спрятаны трупы в их рюкзаках,  
разрезанные на части...  
"Ты что настроенье нам портишь, старик?"  
"Для общего кругозора...  
Пик славы легко превращается в пик  
позора..."



Напраслиной вождя не обессудим,  
но суд произошел в день похорон,  
когда по людям к Сталину шли люди,  
а их учил ходить по людям он...



Не может быть перестройки  
без перестройки памяти.



1988

Где ты, мудрый город Удерж?  
 Ты когда в России будешь?  
 А не будешь никогда,  
 россиянам всем —  
 беда.

●

Но по счастью, инвалиды лагерей  
 инвалидов той войны  
 чуть-чуть мудрей.

●

Литературная Вандея,  
 пером не очень-то владея,  
 зато владея топором,  
 всегда готова на погром.

Вот где для родины опасность,  
 когда заправский костолом  
 заходит со спины на гласность  
 со шкворнем или с кистенем.

●

Нет событий важнее людей.  
 Каждый — это событие.  
 Если ты хоть немножечко Пушкин,  
 любая дыра — Петербург.  
 Быть поэтом — не самораскрытие,  
 а самовскрытие,  
 и поэт —  
 это самохирург.

●

Не хочу я презренного счастья притворщиков —  
 скромности.

●

Великое безумье доброты —  
 единственный спасающий нас разум.

●

Есть пик позора в нравственной продаже.  
 Нельзя в борделе вешать образа.  
 Жизнь только так и продолжалась дальше  
 с великого:

”так дальше жить нельзя”.



1989

Дай Бог слепцам глаза вернуть  
и спины выпрямить горбатым.  
Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть,  
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Не крест — бескрестье мы несем,  
а как сгибаемся убого!  
Чтоб не развериться во всем,  
дай Бог ну хоть немного Бога.



Стаду снова быть хочется кликой.



Эх, афганец, неужто, неужто  
даже во фронтовой полосе  
знать — за что умираем — не нужно?  
Но тогда — кто такие мы все?



Подавляющее большинство,  
Пахнешь ты, как навозная роза,  
И всегда подавляешь того,  
Кто высовывается из навоза.

Удивляющее меньшинство,  
Сколько раз тебя брали на вилы!  
Подавляющее большинство,  
Скольких гениев ты раздавило!

В подавляющем большинстве  
Есть невинность преступная стада,  
И козлы-пастухи во главе,  
И тупое козлиное: "надо".

Превеликое множество зла  
Удушает добро, не высовываясь...  
Счастлив я, что у слова "совесть"  
Нет множества числа.



О, Родина, —  
                                устан от слез и стонов,  
очередей,  
                                и тюрем,  
  и больниц,  
не привыкай  
                                после убийств миллионов  
к потере гениальных единиц.  
Народа стержень —  
это единица.  
Из личностей народ —  
                                не из нулей.

О, Родина, —  
                                чтоб не обледениться,  
будь наконец-то к гениям теплой.  
Мы слишком слиплись  
  с низким и нечистым  
и, сложности решая грубо,  
  в лоб,  
еще поплачем по идеалистам,  
которых мы вгоняем сами в гроб.

Сумеет ли,  
                                избегнув безучастья,  
ни совестью, ни духом не упасть  
и заслужить свободу полновластья,  
где власть — у всех  
  и только совесть —  
  власть?!

Сплотимся на смертельном перевале!  
Лишь бы сердца  
                                под тяжестью любой  
не уставали, не забастовали...  
Пока есть завтра,  
                                завтра будет бой.

**ПРЕЖДЕ-  
ВРЕМЕННАЯ  
БИОГРАФИЯ**

---

**7**

Злой гений жил в Кремле.  
В "Советском спорте"  
был добрый гений —  
Николай Тарасов.



## ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

(Фрагменты)

Автобиография поэта — это его стихи. Все остальное — лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.

Для того чтобы иметь право беспощадно правдиво писать о других, поэт должен беспощадно правдиво писать и о себе. Раздвоение личности поэта — на реальную и поэтическую — неминуемо ведет к творческому самоубийству.

Когда жизнь Артюра Рембо, ставшего работником, пошла наперекор его ранним поэтическим идеалам, он перестал писать стихи. Но это был еще честный выход.

К сожалению, многие поэты, когда их жизнь начинает идти вразрез с поэзией, продолжают писать, изображая себя не такими, какие они есть на самом деле.

Но им только кажется, что они пишут стихи.

Поэзию не обманешь.

И поэзия покидает их.

Поэзия — женщина мстительная: она не прощает неправды.

Но она не прощает и неполной правды. Есть люди, которые гордятся тем, что они не сказали за всю свою жизнь ни слова неправды. Но пусть каждый из них спросит себя — сколько раз он не сказал правды, предпочитая удобное для себя молчание.

...Умолчание о самом себе в поэзии неизбежно переходит в умалчивание о всех других людях, о их страданиях, о их горестях.

Многие советские поэты в течение долгого времени не писали о собственных раздумьях, собственных сложностях и противоречиях — и, естественно, о сложностях и противоречиях людей. Я уже не говорю о пролеткультовском "мы", которое барабанно грохотало со всех страниц, заглушая тонкие и неповторимые мелодии человеческих индивидуальностей. Но и многие стихи, написанные после распада "Пролеткульта" от первого лица единственного числа, все-таки продолжали носить на себе отпечаток этого гигантски-бутафорского "мы". Поэтическое "я" становилось чисто номинальным. Даже простое "Я люблю" бывало иногда настолько неконкретным, настолько декларативным, что звучало, как "Мы любим".

---

Впервые была напечатана в западногерманском журнале "Штерн" в 1962 г. На русском языке опубликована в "Неделе" в 1989 г.

Именно в это время и был выдвинут нашей критикой термин "лирический герой". По рецепту этой критики поэт должен был быть не самим собой в своих стихах, а неким символом.

Внешне стихи многих поэтов были автобиографичны. Там присутствовали и наименование места, где родился автор, и перечень городов, где он побывал, и некоторые события его жизни.

И все-таки эти стихи были бесплотны. Некоторых наиболее талантливых их авторов можно было различить по манере письма. Но по манере мышления различить их было довольно-таки трудно.

Авторы их не ощущались, как живые, реально существующие люди, ибо все реально существующие люди мыслят и чувствуют неповторимо.

Внешняя автобиография ничего не означает без автобиографии внутренней: автобиографии чувств и мыслей.

Творчество настоящего поэта — не только движущийся, дышащий, звучащий портрет времени, но и автопортрет, написанный так же объемно и экспрессивно.

То, против чего я борюсь, — ненавистно многим людям.

То, за что я борюсь, — дорого тоже многим.

Есть люди, которые вносят в общество свои личные идеи и вооружают этими идеями общество. Это, наверно, высшая ступень творчества. Я не принадлежу к таким людям.

Моя поэзия — лишь выражение тех новых настроений и идей, которые уже присутствовали в нашем обществе и которые только не были поэтически выражены. Не будь меня — их бы выразил кто-то другой.

Не противоречу ли я своим предыдущим словам о том, что поэт — это прежде всего индивидуальность?

Нисколько.

На мой взгляд, только в резко очерченной индивидуальности может соединиться и сплавиться воедино что-то общее для многих людей.

Мне бы очень хотелось всю жизнь выразить еще не высказанные идеи других людей, но в то же время оставаться самим собой. Да, впрочем, если я не буду самим собой, я не смогу их выразить.

...Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня повыше.

Я хотел увидеть Сталина.

И когда вознесенный в отповских руках над толпой я махал

красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня.

И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы своей знаменитой улыбкой.

Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием — по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием.

Многие настоящие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер "Да здравствует Сталин".

Понимал ли русский народ то, что на самом деле происходило?

Я думаю, что в широких массах — нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало его сердце. Это было бы слишком страшно.

Русский народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой. Он ожесточенно работал, заглушая грохотом станков, тракторов, бульдозеров стоны, доносящиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.

Но все-таки совсем не думать было невозможно.

Надвигалась самая страшная опасность в истории каждого народа — несоответствие между жизнью внешней и внутренней.

Это было заметно и нам, детям. Нас тщательно оберегали родители от понимания этого несоответствия, но тем самым еще больше подчеркивали его.

Мои отец и мать познакомились в геологоразведочном институте, где они вместе учились. Это были двадцатые годы.

Тогда в высшие учебные заведения принимались в основном дети рабочих и крестьян. Это было совершенно естественной реакцией на то, что в годы царизма получали образование лишь дети обеспеченных родителей. Справедливость восстанавливалась. Но, как часто бывает, при слишком горячем восстановлении справедливости допускается новая несправедливость.

На русском языке это получило четкое и образное определение "перегиб".

При перегибе в системе приема дети интеллигентов выгля-



дели в высших учебных заведениях белыми воронами. Это случилось и с моим отцом.

Однажды на комсомольском собрании в институте его обвинили в буржуазных настроениях за то, что он... носил галстук.

(Отец, улыбаясь, рассказал мне это совсем недавно, когда мы с ним безуспешно пытались пройти вечером в один московский ресторан — безуспешно, потому что на нас не было галстуков.)

Однако галстук отца не помешал ему подружиться с худенькой девушкой, которая из революционной принципиальности носила мужскую красную косоворотку и сапоги, — моей матерью. Вскоре они поженились.

Моя мать, родившаяся в Сибири, не была такой начитанной, как отец, но она зато хорошо знала, что такое земля и что такое труд.

И я благодарен отцу за то, что он привил мне с детства любовь к книгам, а матери за то, что она привила мне любовь к земле и труду. Наверно, до конца моей жизни я буду ощущать себя полуинтеллигентом-полукрестьянином.

Я знаю, что первое обстоятельство, может быть, ограничивает меня, но зато я уверен, что второе всегда спасает меня от недостойной формы интеллигентности — снобизма.

Как я уже сказал выше, отец мой был человеком начитанным. Это относилось и к истории. Отец мог часами рассказывать мне, еще совсем несмышленому ребенку, и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой розы, и о Вильгельме Оранском...

Отец читал мне много и стихов наизусть — у него была потрясающая память! Особенно он любил Лермонтова, Гёте, Эдгара По, Киплинга. "Завещание сыну" Киплинга он читал мне так проникновенно, как могут читать только свои собственные стихи. Отец и сам писал стихи. Без сомнения, он обладал подлинным дарованием.

Четыре строчки, написанные им в четырнадцать лет, до сих пор поражают меня своей отточенностью:

...Отстреливаясь от тоски,  
я убежать хотел куда-то,  
но звезды слишком высоки  
и высока за звезды плата.

Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать и в восемь лет залпом читал без разбора — Дюма, Флобера,

Шиллера, Бальзака, Данте, Мопассана, Толстого, Боккаччо, Шекспира, Гайдара, Лондона, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечая никого и ничего вокруг.

Я даже не замечал, что мой отец и мать разошлись и только скрывают это от меня...

...В сорок четвертом году мама и я возвратились из Сибири в Москву.

И я впервые увидел наших врагов. Если не ошибаюсь в цифре — около двадцати тысяч немецких военнопленных должны были пройти по улицам Москвы в одной колонне.

Все мостовые были заполнены народом и оцеплены солдатами и милицией.

В основном это были женщины.

Русские женщины с руками, потрескавшимися от тяжелых работ, с губами, не привыкшими к помаде, с худыми сутулыми плечами, на которых они вынесли полтяжести войны. Наверно, у каждой из них немцы убили или отца, или мужа, или брата, или сына.

Женщины с ненавистью смотрели туда, откуда должна была вот-вот появиться колонна военнопленных.

Наконец она появилась.

Впереди шли генералы, надменно подняв массивные подбородки. Углы их губ были презрительно поджаты. Они всем своим видом старались показать аристократическое превосходство над победившими их плебеями.

— Одеколоном пахнут, сволочи! — ненавидяще сказал кто-то в толпе.

Рабочие руки русских женщин медленно сжимались в кулаки.

Солдаты и милиция уже из последних сил сдерживали их.

И вдруг я увидел, как одна немолодая женщина в грубых сапогах положила руку на плечо милиционера:

— Пропусти!

И что-то в ней такое было, в этой женщине, отчего милиционер отодвинулся.

Женщина подошла к колонне, вынула из-за пазухи что-то обмотанное в ситцевый платок, развернула. В платке была горбушка черного хлеба.

Женщина неловко сунула хлеб в карман измученного, еле держащегося на ногах солдата.

И вдруг со всех сторон к солдатам бросились женщины и стали им совать хлеб, папиросы...

Это были уже не враги.

Это были люди...

...С фронта приехала мама.

Она выглядела очень странно — худенькая-худенькая, с черными, непохожими на прежние светлые, волосами.

Сначала я думал, что она покрасила волосы. Я спросил у нее об этом.

Мама грустно улыбнулась и сняла с себя парик. На ее голове топорщился мальчишеский ежик. Мама заболела на фронте тифом, а в военных госпиталях стригли наголо. У мамы что-то случилось с голосом. Она пела на фронте по нескольку раз в день, стоя то на грузовике, то на танке перед солдатами, которые после этого шли умирать.

Мама рассказывала, что это были самые благодарные слушатели.

Мама пела им и в дождь, и в метель, согреваясь иногда только водкой из чьей-нибудь солдатской фляжки.

И ее голос, такой красивый и сильный, стал слабеть. Голос не выдержал.

По возвращении мама нашла работу — где — она мне не говорила.

Потом мальчишки из нашего класса спросили меня:

— Твоя мама певица?

— Певица, — гордо ответил я.

— А где она выступает?

— Я не знаю, наверно, в театре...

— В театре... — хмыкнули мальчишки, — она в кино поет, в "Форуме"...

Был День Победы.

Ракеты одна за другой взвивались в небо. Мальчишки бегали по тротуарам, стараясь поймать их ослепительные брызги.

Инвалиды, торгующие папиросами, раздавали свой товар даром.

Какой-то генерал купил у продавщицы целую коляску мороженого и угощал им детей.

Люди обнимали друг друга, плакали и смеялись. Людям казалось, что все испытания остались позади и теперь начнется удивительно безоблачная жизнь.

А я пошел в кинотеатр "Форум".

Фойе было набито битком солдатами и женщинами. Пахло пивом и дешевыми духами. Из рук в руки ходили принесенные с собой бутылки водки. Пили прямо из горлышек, закусывая жадными поцелуями... Сегодня разрешалось все.

Никому не было дела до оркестрика, игравшего бравурные марши на крошечной эстраде.

Я вздрогнул.

На эстраду вышла женщина в платье, осыпанном блестками, в позолоченных туфлях и с густыми черными волосами, под которыми — я уже знал — был только застенчивый мальчишеский ежик.

Это была мама. Мама подошла к микрофону и стала петь. Голос ее был не уверен, и лишь временами можно было догадаться о его прежней красоте.

Никто не слушал маму.

Предпочитали целоваться и пить, пить и целоваться. Ведь была Победа! И за эту Победу 20 миллионов человек отдали свои жизни, а моя мама — свой голос.

Потом мы шли с мамой по ночной Москве сквозь крики, смех и музыку. Я нес мамин чемоданчик, в котором были сложены ее платье с блестками и позолоченные туфли. На маминих ногах снова были солдатские сапоги.

— Я плохо пела? — спросила меня мама.

— Нет, что ты — очень хорошо, — торопливо ответил я.

Мама посмотрела на меня долгим взглядом и грустно погладила по голове.

Вскоре она сошла со сцены и стала работать рядовым концертным администратором. Это была нервная, изнуряющая работа, а денег она приносила очень мало — 700 рублей в месяц. И вот на эту зарплату мама воспитывала меня и мою сестренку Елену, появившуюся во время войны.

Маме приходилось трудно со мной.

Характер у меня был ужасный — меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории.

То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами.

И отовсюду меня выволакивала мама.

Мама хотела от меня, чтобы я учился, учился и учился.

А учился я необыкновенно плохо.

К некоторым предметам я вообще был не способен — например, к физике. Я до сих пор, кстати, не могу понять, что такое электричество и откуда оно берется.

Плохие отметки у меня были всегда по устному русскому. Писал я почти без ошибок, и мне казалось бессмысленным заучивать грамматические правила, если я и так пишу правильно.

Уже в школе начиналась — конечно, только в зародышевой

форме — дифференциация моего поколения. За школьными партами сидели маленькие правдоискатели, маленькие герои, маленькие циники и маленькие догматики.

Я уже тогда не любил бездельничающих циников, иронически издевающихся надо всем и всеми, и также терпеть не мог бессмысленно трудолюбивых тихонь, принимающих все на веру.

Сидя за партой, под портретом Сталина, я жадно вглядывался в окно, где в воздухе медленно кружились белые хлопья.

И я удирал в другую школу — шумную школу города, где пахло снегом, сигаретами, бензином и дымящимися пирожками, которые продавали раскрасневшиеся от мороза лоточницы.

Возвращаясь домой, я садился за письменный стол, прилежно раскладывал ученические тетради, и, как только довольная мной мама оставляла меня, я писал стихи, пытаюсь придумать в них себе какую-то другую жизнь. Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала. В день иногда я писал по 10 — 12 стихотворений. Я бомбардировал своими стихами все редакции и неизменно получал отказы. Представляю себе, что подумала редакция "Пионерской правды", получив от школьника такого рода стихи:

Текла моя дорога бесконечная.  
Я мчал, отпугивая ночи тень.  
Меня любили вы, подруги встречные,  
Чтоб позабыть на следующий день.

Однажды я собрал все свои стихи в большую тетрадь и послал их в редакцию издательства "Молодая гвардия".

И наконец получил ответ с просьбой зайти. Подписано письмо было поэтом Андреем Досталем. Я зашел.

Андрей Досталь, худошавый молодой человек с повязкой на глазу, делавшей его похожим на пирата, удивленно спросил:

— Вы к кому, мальчик?

Я показал ему письмо.

— А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти? — спросил Досталь.

— Это я написал, а не мой папа, — нервно ответил я, судорожно сжимая в руках школьный портфель.

Досталь недоуменно посмотрел на меня. Потом расхохотался:

— Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убежденного сединой мужчину, прошедшего огонь и воду и мед-

ные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания, и любовные трагедии...

Находившиеся в комнате люди тоже смотрели на меня и улыбались.

Мне казалось, что надо мной потешаются. Мои глаза медленно наливались слезами.

Но Досталь, почувствовав это, обнял меня, усадил рядом и стал говорить мне о присланной тетради. Впоследствии мы подружились с ним. Он сам был небольшим поэтом, но любил поэзию и хотел видеть во мне то, что не смог осуществить сам. Вообще, в моей поэтической биографии мне помогли именно небольшие поэты. Они часто внимательнее, нежнее "больших". Но напечатать стихи мне все же не удавалось.

Однако на моем столе всегда лежал "Мартин Иден" Джека Лондона, и его первые страницы были для меня вдохновением и помощью. Тогда самым главным в "Мартине Идене" для меня были первые страницы. Теперь — последние.

Мама не хотела, чтобы я стал поэтом.

Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт — это что-то неустроенное, неблагоприятное, мягущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о смертях многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным.

Но самым серьезным мне казалось именно это.

И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего.

...Я сражался в школе с ябедами, подхалимами, любимчиками.

Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.

Однажды кто-то, взломав ночью кабинет директора, похитил все классные журналы.

Состоялось общее собрание.

Несколько часов подряд директор пытался узнать то при

помощи просьб, то при помощи угроз имя виновника. Но все молчали.

Тогда пухлый палец директора, уже пришедшего в ярость, ткнул в меня:

— Это сделал ты!

Я встал и ответил, что он ошибается.

— Ты! Ты! Ты! — повторил директор.

Я понял, что возражать бесполезно.

На следующий день я был исключен из школы.

Только семь лет спустя, когда меня пригласили на вечер всех выпускников этой школы, как уже более или менее известного к тому времени поэта, раскрылось, кто был истинным виновником.

Конечно, меня заподозрить было естественно, потому что учился я вообще из рук вон плохо и в день происшествия получил 1 (кол) по немецкому.

Но на вечеру ко мне подошел парень, который был редким в нашей школе круглым отличником, и сказал, неловко улыбаясь:

— А ты знаешь, журналы-то ведь украл я...

Выяснилось, что он был тогда недоволен тем, что получил 5 с минусом.

Я с горечью подумал тогда, как часто в жизни преступления совершают "круглые отличники" и никому в голову не приходит их заподозрить, а вместе с тем отвечают за это почти всегда невинные люди со сложившейся репутацией "двоечников" и хулиганов...

Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.

Я поссорился с мамой и бежал в Казахстан, к отцу, на крыше поезда.

Мне было пятнадцать лет.

Я хотел стать самостоятельным человеком.

Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций.

Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал:

"Ну, вот что... Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец".

Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции.

Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.

Я вернулся к маме загорелый и возмужавший.

После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то.

Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет.

Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непередаваемые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания.

Но мама плакала.

И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда...

Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.

— Что ты будешь с ними делать? — спросила мама, всплеснув руками.

— Прежде всего я куплю пишущую машинку, — ответил я. — Остальное тебе.

И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова бомбардировать редакции стихами. Но пишущая машинка не помогла — стихи не печатали. Кроме того, у меня была еще одна страсть — футбол.

Ночью я писал стихи, а днем играл в футбол — во дворах, на пустырях. Я возвращался с изодранными ботинками, с разорванными брюками и кровоточащими коленками. Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу.

Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить "мертвый" гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря — все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию.

Футбол меня многому научил.

Впоследствии я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны.

Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе...

В футболе во многом легче. Если ты забил гол, то есть



прямое доказательство — мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно.

И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами.

Спорт, несмотря на все махинации и грязь, вообще более чистая штука, чем литература.

И мне иногда очень жаль, что я не стал футболистом.

А я им чуть-чуть не стал.

В одном из матчей мальчишеских команд я особенно отличился. Я взял подряд три пенальти. После матча ко мне подошел тренер одной знаменитой команды и попросил меня зайти "на пробу". Все мальчишки отчаянно завидовали мне.

Но произошло одно событие, которое определило мою судьбу.

Я давно собирался отнести свои стихи в редакцию газеты "Советский спорт". Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов.

Я пришел туда после матча в выцветшей синей майке, спортивных шароварах, в рваных тапочках. В руках у меня было стихотворение, где подвергались сравнительному анализу нравы советских и американских спортсменов. Стихотворение было написано "под Маяковского".

Редакция "Советского спорта" помещалась в большой комнате на Дзержинке, где в табачном тумане несколько мистически вырисовывались какие-то стучащие на машинке, скрипящие авторучками, шуршащие гранками фигуры.

Я робко спросил, где отдел поэзии. Из тумана мне рявкнули, что такого отдела вообще нет.

Но вдруг из тумана высунулась рука, добро легла мне на плечо, и чей-то голос спросил:

— Стихи? Покажите мне, пожалуйста...

Я сразу поверил этой руке и этому голосу.

И не ошибся.

Передо мной сидел черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами. Звали его Николай Александрович Тарасов. Он заведовал сразу четырьмя отделами: иностранным, партийным, футбольным и литературным.

Тарасов посадил меня рядом, пробежал глазами стихи.

Потом спросил:

— Еще есть?

Я достал из-за пояса замусоленную тетрадочку и стыдливо сказал:

— Только это не о спорте...

Тарасов улыбнулся:

— Тем лучше...

Он стал читать вслух стихи, не обращая внимания на трескотню пишущих машинок. Потом позвонил какую-то женщину и прочитал ей строчку, где виноградная гроздь сравнивалась со связкой воздушных шаров.

Потом он стал снова читать стихи вслух.

Вокруг стола столпилось уже много людей — журналистов, фотографов, машинисток. Они слушали.

Наконец Тарасов обвел глазами всех и спросил:

— Ну как — будет писать?

— Будет! — хором ответили все.

Чья-то рука хлопнула меня по плечу:

— Будет!

— Я тоже так думаю, — сказал Тарасов, улыбаясь.

До сих пор я удивляюсь, как эти люди могли угадать во мне поэта. Видимо, им помогло то, что они не занимались собственно литературой и их головы не были захламлены всякого рода предвзятостями.

Все разошлись к своим столам.

Мы остались одни с Тарасовым.

Он взял мое стихотворение "Два спорта".

— Это самое плохое. Но оно для нас...

И написал на нем магическое, столь долгожданное мной: "В набор". И оно уплыло куда-то.

— Не думайте, что другие стихи очень хорошие. Но в них есть строчки — крепкие строчки.

Я глубокомысленно сделал вид, что понимаю выражение "крепкие строчки".

— Кого вы любите из поэтов? — быстро спросил Тарасов.

Я выдавил:

— Маяковского...

— Хорошо, но мало... Пастернака знаете?

— Знаю.

— Врете! А если и знаете, то знаете...

И он стал на память читать мне строки Пастернака, действительно неизвестные мне.

— Николай Александрович, опять вы Пастернака читаете...

те! — шутливо пригрозила ему машинистка, иронически показывая на дверь, где крупно было написано "Редактор".

— Слава богу, мы все-таки в спортивной редакции, — усмехнулся Тарасов.

Он склонился со мной над тетрадкой и стал объяснять мне, что хорошо и что плохо. Особенно он не выносил вялости, водянистости. Все экспериментальное, находящееся иногда даже на грани безвкусицы, хвалил.

Потом спросил меня:

— Вы куда-нибудь торопитесь? Я хочу познакомить вас с одним моим другом, физиком.

Тарасов позвонил куда-то. Через некоторое время в редакцию пришел бледный человек тоже лет тридцати, с огромным лбом, судорожными движениями. Под мышкой он держал шахматную доску.

— Это мой друг — физик Володя Барлас, — сказал Тарасов. — А это поэт Евгений Евтушенко...

Тарасов был первым человеком, который назвал меня поэтом.

— Поэт? — недоверчиво поднял брови Барлас. — Это, знаете ли, многое...

И недоверчиво хмыкнул.

Мне он сначала почему-то показался ненормальным.

Мы вышли втроем из редакции в шумящую молодой июньской листвой Москву 1949 года.

— Поэт, — задумчиво повторил Барлас. — Ну, а что же вы хотите сказать миру?

— Он хочет сказать миру, что он поэт. Это уже кое-что для начала, — защищал меня Тарасов.

Он волновался.

Видимо, этот странный человек, с шахматной доской под мышкой и с огромным марсианским лбом, многое означал для него. И, видимо, для Тарасова уже кое-что означал и я.

Продолжая идти, я стал читать стихи: одно, второе, третье.

— Ну, вот что, — наконец сказал Барлас, пронзительно глядя на меня, — конечно, вы талантливы... У вас есть напор, есть какой-то звон и гуденье в строчках... Но я пока не вижу за вашей душой ничего, кроме желания убедить мир, что вы талантливы. Мир еще, разумеется, не убежден в этом, и сделать это будет не так легко. Но, предположим, мир поверит в вас. Мир будет ждать от вас каких-то очень важных слов. Что вы скажете?

— Володя, ему же только пятнадцать лет... — снова вступился за меня Тарасов.

— Надо об этом думать уже сейчас. Потом поздно будет, — жестко сказал Барлас.

— Все придет само собой. Главное для него — писать и ни о чем не думать. Ты слишком преувеличиваешь рациональное начало в поэзии, — возражал Тарасов.

— Само собой ничего не приходит... Эмоции — это прекрасно. Но только эмоции — это все-таки очень мало.

Я навсегда благодарен судьбе за то, что она послала мне встречу с этими людьми, во многом определившую мой дальнейший путь. Оба они хотели когда-то стать писателями, и у них это пока не получилось. Они видели во мне как бы свою неосуществленную молодость и хотели, чтобы надежды их молодости осуществились во мне. Мы бродили втроем всю ночь. И, расставаясь уже на рассвете, Тарасов ласково сказал мне, глядя на часы:

— Ну, через час газета с вашими стихами уже выйдет.

— Помните, что вы уже перестаете принадлежать только себе, — продолжал Барлас.

Но я не обратил внимания на его тревожные слова.

Я расстался со своими новыми друзьями и плутал по московским улицам, с трепетом ожидая мгновения, когда откроются газетные киоски, вместе с пьяницами, ожидавшими открытия пивных ларьков.

В семь часов утра я выхватил из рук продавца еще пахнущий типографской краской "Советский спорт", распахнул его и увидел стихотворение и свою фамилию под ним.

Я купил все экземпляры в киоске — штук пятьдесят! — и, размахивая ими, зашагал по улице.

Земля гудела у меня под ногами.

Я казался себе гением.

— Почитайте, тут есть кое-что интересное, — говорил я, даря газеты незнакомым прохожим, таращившим на меня глаза.

Я пришел к маме и торжественно раскрыл перед ней газету. Не сказал бы, чтобы мама реагировала радостно.

— Да, с сегодняшнего дня ты окончательно погиб, — вздохнула мама.

Может быть, она и была права.

Днем Тарасов устроил мне, чтобы я получил гонорар — 350 рублей.

Паспорта у меня еще не было, и я получил гонорар по метрическому свидетельству.

Девушка из бухгалтерии еле сдерживала смех, разглядывая мою майку, рваные тапочки и нелепо облупленный солнцем нос.

— Он похож на гадкого утенка, — услышал я за своей спиной хихикающий голос. Но я засунул деньги в шаровары, вежливо попрощался и ушел с видом лебедя, которого еще поймут.

Я слышал от мамы и читал в книгах, что все поэты пьяницы.

Поскольку теперь я был поэтом, то я решил пропить свой гонорар. Я посоветовался, как это лучше сделать, со своим другом — пятнадцатилетним сыном нашего дворника. Он солидно сказал, что надо, конечно, пойти в ресторан и, разумеется, с женщинами.

На роли женщин мы пригласили двух семнадцатилетних девочек, одна из которых работала в парикмахерской, другая — фрезеровщицей на заводе, и отправились по их рекомендации в ресторан "Аврора".

Этот крикливый и безвкусный ресторан, с гигантскими кариатидами и амурами, порхающими по потолкам, казался мне каким-то иным, волшебным миром.

Я рассматривал меню и, увидев надпись "сухое вино", немедленно потребовал его. Когда принесли бутылку, я страшно разочаровался. Я был уверен, что это вино в таблетках.

В общем, девчонки доставили меня к маме только под утро. Меня выворачивало наизнанку после волшебного мира.

Мама плакала. Я совсем забыл, что в десять часов утра у меня была назначена проба на стадионе.

Я поднялся с разламывающейся головой, кое-как оделся и поплелся туда.

Я встал в ворота, ничего не соображая.

Мяч двоился и троился в моих глазах.

Я не мог отразить ни одного удара.

Тренер подошел ко мне и участливо спросил:

— Ты болен? — Но, наклонившись ко мне, он потрясенно отшатнулся.

Тренер простер руки и, обращаясь к замершим футболистам, произнес:

— В десять часов утра! Пятнадцатилетний ребенок совершенно пьян! Мне стыдно жить в этом растленном веке!

Так бесславно закончилась моя футбольная карьера.

Как я уже сказал, эти два человека, встреченные мной в со-

рок девятом году, сыграли огромную роль в моем человеческом и поэтическом формировании.

Я просто не понимаю, как им не надоело нянчиться со мной при моем непоседливом характере.

Барлас был для меня живой библиотекой. Он открыл мне первоосновы современной философии. Он открыл мне, что существует Хемингуэй. Это только сейчас Хемингуэй издается в России миллионными тиражами. Тогда его книги были библиографической редкостью. "Прощай, оружие!", "Фиеста", "Иметь и не иметь", "Снега Килиманджаро" потрясли меня своей предельной сжатостью, концентрированной мужественностью.

Позднее моей любимой книгой Хемингуэя стал роман "По ком звонит колокол". На Западе некоторые считают, что этот роман второстепенен. Может быть, я слишком пристрастен, но образы старухи и девушки мне кажутся до сих пор одними из самых пронзительных образов в мировой литературе. А образ Марти, гениально ставящий проблему того, что фанатики, даже при всей их объективной честности, часто становятся преступниками! В этом образе предугадано многое, что случилось потом в истории...

Барлас открыл мне бывшие тогда тоже библиографической редкостью книги таких разных писателей, как Гамсун, Джойс, Пруст, Стейнбек, Фолкнер, Экзюпери...

Я был зачарован почти библейской метафоричностью Ницше "Так говорил Заратустра" и был потрясен, когда узнал, что книгами Ницше пользовались как идейным оружием фашисты.

Я был подавлен духовной высотой "Волшебной горы" Томаса Манна, сложенной, как из камней, из страданий человечества. Упивался размахом Уитмена, буйством Рембо, сочностью Верхарна, обнаженным трагизмом Бодлера, колдовством Верлена, утонченностью Рильке, жуткими видениями Элиота...

Классики русской литературы, казавшиеся мне скучными из-за неумелого преподавания в школе, становились для меня близкими, живыми людьми. Тяжелые, как гранитные глыбы, фразы Толстого, мягкие, как осенние листья, фразы Чехова, вздрагивающие, как стонущие ночью провода, фразы Достоевского впервые раскрывались мне в красоте своего языка и в глубине своей насыщенности.

Надоевший в школе, как ежедневная гречневая каша, Пушкин разбил молодым веселым кулаком стекло своего официального портрета и вышел ко мне из рамы лукавый, дерз-

кий, пахнувший снегом и шампанским. Его трагический антидвойник — Лермонтов вынесся ко мне из страниц хрестоматий на взмыленной лошади, в дышащей Кавказом и порохом бурке. Обведенные темными тенями провидческие глаза Блока, растерянно кричащие детски-голубые глаза Есенина, мятежно насмешливые и в то же время горько обманутые глаза Маяковского взглянули на меня в упор.

Пастернака я тогда не понимал. Он был для меня чересчур усложненным, и я терял нить мысли в хаосе его образов. Барлас по несколько раз читал мне его стихи, с огромным терпением объясняя, растолковывая. Я необыкновенно переживал, что ничего не понимаю. Мне всегда была чужда высокомерная поза людей, которые, не понимая того или иного художника, обвиняют в этом не себя, а его.

И однажды со мной случилось чудо — Пастернак вдруг обрел для меня прозрачность, и с тех пор он мне кажется одним из самых простых, как небо и земля, поэтов.

Итак, это время было временем начала моего литературного образования с подаренным мне судьбой прекрасным учителем. На том, что я писал тогда, это еще не отражалось. Мое литературное образование и моя литературная жизнь развивались параллельно, не совмещаясь. После первой публикации я начал печататься в газете "Советский спорт" чуть ли не ежедневно. Я писал стихи, посвященные футболу, волейболу, баскетболу, боксу, альпинизму, гребле, конькобежному спорту, а также стихи к различным датам: к Новому году, к Первому мая, к Дню железнодорожника, к Дню танкиста и т.д. Этот вид газетной поэзии к датам был весьма распространен в нашей стране и, к сожалению, по сей день не изжит. Но для меня это вовсе не было холодной халтурой.

Писал я лихо, с задором.

Мышление мое еще созревало, я просто наращивал поэтические мускулы. Как гантелями, я играл аллитерациями, рифмами, метафорами.

Тарасов был прекрасным тренером в этом смысле. А то, о чем я писал, мне было неважно.

Но невинная ребяческая забава грозила незаметно превратиться в самораствление.

Я помню, как однажды Тарасов вызвал меня по телефону в редакцию. У меня шли в номере очередные первомайские стихи.

— Женья, главный редактор в панике, — неловко улыбаясь,

сказал Тарасов, — обнаружилось, что в ваших стихах нет ни слова о Сталине... А снимать стихи уже поздно.

— Что же делать? — спросил я.

— Знаете, Женя, чтобы вас не мучить, я сам за вас написал четыре строчки.

— Ладно, валяйте, — весело сказал я. Мне было все едино — со Сталиным или без Сталина.

Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине. Это мне казалось даже естественным.

Теперь мне уже не надо было вписывать эти строчки — я писал их сам.

Я стал заправским газетным поэтом.

Уже все московские газеты в праздничные дни пестрели моими звонкими и пустыми, формальными упражнениями.

Мне показалось, что я продолжаю Маяковского. Но это мне только казалось.

На самом деле я учился не у Маяковского, а у Семена Кирсанова, удивительно талантливого поэта-экспериментатора, у которого были и настоящие вещи, но который тогда печатал в газетах массу эффектных, но пустых стихов...

— Женя, вы уже научились тому, как писать, — сказал мне как-то Тарасов. — теперь нужно думать о том, что писать.

Барлас неодобрительно покачивал головой:

— Женя, хватит баловаться... Неужели я вам зря давал все эти книги?

Тогда я решил пойти к моему тогдашнему кумиру — Кирсанову, надеясь получить у него внутреннюю поддержку.

Уже седеющий поэт грустно посмотрел на меня:

— Вы думали, наверно, что мне понравятся ваши стихи, потому что они похожи на мои? — спросил он. — Но именно поэтому они мне и не нравятся. Я, старый формалист, говорю вам: бросьте формализм. У поэта должно быть одно непеременимое качество: он может быть простой или усложненный, но он должен быть необходим людям... Настоящая поэзия — это не бессмысленно мчащийся по замкнутому кругу автомобиль, а автомобиль "скорой помощи", который несется, чтобы кого-то спасти...

Меня задела до глубины души слова Кирсанова, но сила инерции была слишком велика. Я не мог остановиться.

В 1952 году вышла моя первая книжка "Разведчики грядут".



щего”, изданная в голубенькой обложке, соответствующей ее содержанию.

Пресса встретила книгу весьма похвально, но, зайдя в книжный магазин, я увидел ряды моих ”Разведчиков грядущего” в целомудренной неприкосновенности.

Вдруг какой-то парень, перебиравший поэтические сборники на прилавке, дошел и до моей книжки. Я с надеждой замер. Парень полистал книгу, потом, вздохнув, положил ее в общую гору.

— Не то, — сказал он продавщице. — Да все это разве стихи — барабанный бой!

И парень ушел, растворяясь в снежной метели.

Это меня потрясло.

Вернувшись домой, я перечитал заново книгу и вдруг с предельной отчетливостью понял, что она никому не нужна.

Кому может быть дело до красивых рифм и броских образов, если они являются только завитушками вокруг пустоты? Что стоят все формальные поиски, если из средства они перерастают в самоцель?

Я вышел из дома и побрел, одинокий, сквозь огни. По улицам шли люди, возвращавшиеся с работы, усталые, неся в руках хлеб и картонные коробки пельменей. Годыстроек и войны, годы великих побед и великих обманов наложили на их лица свою трагическую тень. В их усталых взглядах и сутуленных спинах было сознание невозможности что-то понять. Им нужно было нечто совсем другое, чем мои красивые рифмы.

Некоторое время я вообще ничего не мог писать. Я поступил в Литературный институт и жил на стипендию. Меня приняли в Литературный институт без аттестата зрелости и почти одновременно в Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу. Но я знал ей цену. И я хотел писать по-другому. Я писал о своих сомнениях в себе, о своем ожидании большой любви и о разнице между подлинным и ложным, о страданиях и о горестях людей.

Когда я стал приносить в редакции свои новые стихи, то там не верили своим глазам. ”Что с тобой случилось!” — недоуменно воскликнул зав. отделом поэзии одной из газет. Молодой поэт К., который всегда восторженно печатал мои прежние стихи на международные темы или стихи к праздникам, сказал: ”Меня тревожит твоя грусть. Не стал ли ты преждевременно стариком, Женья? Нам нужны бодрые, зовущие вперед стихи”.

Я не стал стариком. Я просто повзрослел. Этому человеку не было дано самому ощутить состояние повзросления, и он

принимал повзросление других за преждевременную старость. Раздумья с оттенками грусти ему казались опасным пессимизмом. Но разве подлинное раздумье вообще возможно без грусти! Люди, видящие в грусти нечто опасное, сами представляют собой огромную опасность для человечества. Бодрячество лишь создает видимость того, что оно куда-то зовет. Бодрячество, вместо того чтобы двигать вперед людей, заставляет их плясать на месте. Как прекрасно сказал наш мудрый поэт Светлов: "Не надо уподобляться одному моему знакомому паровозу, который, вместо того чтобы расходовать пар на движение, тратит его на восторженные свистки!" Назойливо румяное бодрячество, выставляющее напоказ бицепсы, на самом деле демобилизует и разлагает. А кажущаяся беспомощным сознанием грусть, если она чиста и благородна, а не мелкосентиментальна, зовет нас вперед и своими тоненькими хрупкими руками создает величайшие духовные ценности человечества.

И поэт К. ошибался, встревоженный грустными нотками моих стихов, что я стал пессимистом.

Я остался оптимистом, как и прежде. Но раньше мой оптимизм был розовый. Теперь в нем были все существующие цвета спектра, включая и черный. И от этого он стал полноценным, а значит, подлинным.

Но за это мое понимание оптимизма надо было бороться.

Я столкнулся с довольно ощутимым сопротивлением и почти ничего не мог напечатать. В нашей литературной критике господствовала тогда пресловутая теория бесконфликтности. Ее авторы договорились до того, что в нашей советской жизни не может быть конфликта хорошего с плохим, а только хорошего с лучшим.

С обложек книг глядели бездушно улыбавшиеся рабочие и колхозники.

Почти все повести и романы оканчивались счастливыми развязками.

Темами полотен художников все чаще являлись правительственные банкеты, свадьбы, торжественные собрания и шествия.

Апофеозом этого направления явился один фильм, где в финале было изображено грандиозное пиршество тысяч колхозников на фоне электростанции.

Недавно я разговаривал с режиссером, поставившим этот фильм, — человеком умным и талантливым.

— Как вы могли поставить такой фильм? — спросил я. —

Правда, я тоже писал такого рода стихи, но ведь я был сопливом, а вы — уже серьезным, сформировавшимся человеком.

Режиссер грустно улыбнулся:

— Видите ли, самое страшное для меня самого, что я был совершенно искренен. Мне казалось, что все это нужно для строительства коммунизма. И потом — я верил Сталину.

И когда мы говорим о периоде культа личности, не надо слишком поспешно обвинять всех людей, так или иначе причастных к этому культу, в подхалимаже. Разумеется, были и откровенные подхалимы, спекулировавшие на конъюнктуре. Но то, что, например, иногда люди искусства воспевали Сталина, было не их подлостью, а трагедией.

Почему же обманывались даже умные, талантливые люди?

Во-первых, Сталин сам по себе был фигурой сильной и выразительной. Сталин умел очаровывать людей. Он очаровал и Горького, и Барбюса. В 37-м году — году самых страшных репрессий — он сумел очаровать даже такого выдавшего виды и не склонного к романтизации человека, как Лион Фейхтвангер.

Во-вторых, имя Сталина в сознании советского народа было неразрывно связано с именем Ленина. Сталин всячески содействовал фальсификации истории, где его отношения с Лениным выглядели более дружескими, чем на самом деле.

Эта фальсификация зашла так далеко, что, может быть, и самому Сталину уже начинала казаться правдой...

Пастернак тоже поставил два эти имени рядом.

И смех у завалин,  
и речь от сохи,  
и Ленин, и Сталин,  
и эти стихи.

Сталинская теория, что люди — это винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты.

Слова, записанные в сталинской конституции, "труд в СССР является обязанностью и делом чести" использовались иногда так, что сам труд, как символ, становился выше тех, кто трудится.

Великое и благородное понятие "труд", без вины виноватое, опошлялось во многих книгах, где вся духовная жизнь сводилась к производственному процессу.

Герои многих книг варили сталь, строили дома, сеяли пшеницу, но не думали, не любили, а если и делали это, то как-то безжизненно, неестественно.

Русская поэзия, так замечательно проявившая себя в годы войны, потускнела. Если иногда и появлялись хорошие стихи, то опять же о войне, о ней писать было проще.

Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов. Поэтому все магазины были завалены никому не нужными поэтическими книгами. Покупались только "Строки любви" Щипачева и переиздания военной лирики Симонова.

Простое, трогательное стихотворение молодого поэта Ваншенкина о первой мальчишеской любви, появившееся на фоне индустриально-колхозной поэзии, вызвало чуть ли не сенсацию. За первые книги молодого поэта Винокурова, вихрasto непричесанные среди общей причесанности, тоже жадно ухватились — в них была теплота. Но это общего положения не меняло. Поэзия была непопулярна. Старые поэты молчали, а если иногда и писали — это было хуже молчания. Поэтическое поколение, родившееся на гребне войны и подававшее большие надежды, сникло. Мирная жизнь оказалась сложнее фронта.

Крупнейшие русские поэты — Заболоцкий и Смеляков — были в лагерях. Выслан был и молодой поэт Мандель (Коржавин). Не знаю, останется ли его имя в русской поэзии, но оно останется, безусловно, в истории русской общественной мысли.

Это был единственный после Мандельштама поэт, который при жизни Сталина написал и открыто читал стихи против Сталина. То, что Мандель читал их, его, видимо, и спасло, ибо поэта, по всей вероятности, сочли ненормальным и всего-навсего выслали.

Цитирую по памяти:

А там в Москве, в пучине мрака  
встал воплотивший трезвый век  
непонимавший Пастернака  
суровый жесткий человек.

Замечательного поэта Леонида Мартынова после опубликования о нем статьи под заглавием "Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов" несколько лет не печатали. Пастернак и Анна Ахматова занимались переводами. Поэтические вечера были редкостью и не привлекали внимания публики.

Некоторые поэты писали стихи, рассчитанные не на успех у читателей, а на получение Сталинской премии.

Однажды случайно я попал на заседание президиума правления Союза писателей, посвященное выдвижению кандидатов

на премию. Меня потрясла почти коммерческая основа обсуждения.

Мне показалось, что здесь забывают о самом главном в литературе — нужны ли обсуждаемые книги людям? Я помню, как вдруг поднялся с места Твардовский и с раздраженностью пристыдил ораторов, славословящих по адресу одного поэта:

— Да на что вы время тратите! Такие стихи я могу любого деревенского теленка обучить писать!

Обсуждавшийся поэт "не прошел". Что он испытывал после таких уничтожающих слов? Стыд? Сомнение в самом себе? Ничуть! Злобно посверкивая глазами, он сказал так, чтобы никто не слышал и в то же время слышали все: "Ничего, я еще ее получу!" Вечером после обсуждения я видел другого поэта, который тоже "не прошел". Напившись, он кричал на весь ресторан: "Ее дали мертвому! А на что она ему! Я живой — она мне нужна!"

Сталинская премия означала многое: немедленное переиздание огромным тиражом, портреты и восторженные статьи во всех газетах, какой-нибудь официальный пост, получение вне очереди машины, квартиры и, может быть, дачи.

А в то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканно военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатушку. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать.

И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча выдвинул свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.

— Я воевал, — сказал он, — и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!

Я понял.

Я продолжал писать, думая о дне, который придет, а не о том — напечатают стихи или нет.

Я не только писал стихи, но и выступал на различных литературных дискуссиях, ниспровергая фальшь и ложный пафос. У меня не было никакого ораторского опыта. Однажды попетушиному сорвался мой голос, в зале стали смеяться, и я, залившись краской, скомкал конец речи. Во второй раз, когда я стал резко критиковать одного дважды лауреата, напечатавшего дрянные стихи в "Правде", председатель, уже седой известный поэт, грубо оборвал меня, сказав, что мое время истекло.

Я остолбенело посмотрел на него — у меня еще оставалось пять минут по регламенту... Я не мог представить, что этот седой человек, знакомый мне с детских лет по портретам, лжет. И я подавленно сошел с трибуны.

В Союзе писателей я увидел, что его большинство — это честные, хорошие люди, и в то же время я не мог не столкнуться с тем, что некоторые руководящие посты в нем занимали люди бездарные, неблагородные. Достаточно упомянуть драматурга Сурова, который был председателем драматургической секции, был увешан лауреатскими медалями, а за него писали, как выяснилось позже, литературные "негры".

Такие люди, к сожалению, делали иногда "литературную политику", привнося в нее всевозможные дурно пахнущие элементы, включая антисемитизм.

Поэт К., с которым по прихоти судьбы меня связывала юношеская неразборчивая дружба, не был лишен этого, мягко говоря, недостатка. Он меня пытался убедить в том, что вся история оппортунизма, начинавшаяся с Бунда, а затем продолжавшаяся в Троцком, имеет определенную национальную подоснову. Я спорил с ним до хрипоты. Он упрекал меня в политической близорукости.

Однажды после такого спора он ночевал у меня. Утром он разбудил меня радостными криками.

В одних трусах он отплясывал чуть ли не африканский танец торжества, размахивая газетой, где было опубликовано сообщение об аресте врачей-отравителей:

— Видишь! А что я говорил? Это все евреи!

Надо сказать, что я поверил этому сообщению. Оно меня необыкновенно удручило, но все-таки не вызвало во мне антисемитизма, и радость поэта К. была мне неприятна.

В тот же день мы с поэтом К. пошли в кинотеатр, где шел старый фильм о революции. Один из эпизодов был о еврейском

погроме в Одессе. И вот когда по экрану шли лавочники и уголовники под лозунгами "Бей жидов, спасай Россию!", с булыжниками, к которым прилипли окровавленные волосики еврейских детей, наклоняясь к поэту К., я сказал:

— Неужели ты хочешь быть похожим на этих?!

И вдруг, отстранившись от меня, он холодно ответил с металлических нотками в голосе:

— Мы — диалектики. Не все из прошлого надо отбрасывать, Женя.

Его глаза светились гитлерюгендским блеском.

На отвороте пиджака мерцал комсомольский значок.

Я смотрел на него в ужасе, не в состоянии понять, что за человек сидит рядом со мной.

Теперь, когда с той поры прошло десять лет, я понимаю, что главное преступление Сталина вовсе не в том, что он арестовывал и расстреливал. Главное преступление Сталина — моральное растление душ человеческих. Конечно, сам Сталин теоретически не проповедовал антисемитизм, но это проповедовала сталинская практика. Сталин теоретически не проповедовал карьеризма, угодничества, жестокости, ханжеского лицемерия. Но все это тоже проповедовала сталинская практика.

Пятого марта 1953 года произошло событие, которое потрясло страну, — умер Сталин. Представить его мертвым было почти невозможным — настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни.

Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее.

На писательском митинге поэты прерывающимися от рыданий голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского — большого и сильного человека — дрожал.

Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина.

Я был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое, фантастическое зрелище. Люди, вливающиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, что меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленькую

девушку. Ее лицо исказилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и столах. Меня притиснуло движением к этой девушке, и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в состоянии видеть ее безумно выкаченные детские голубые глаза. И меня пронесло мимо. Когда я открыл глаза, то девушки уже не было видно.

Ее, наверно, подмяла под себя толпа. Прижатый к светофору, корчился какой-то другой человек, простирая руки, как на распятии. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с одной стороны стенами зданий, с другой стороны — поставленными в ряд военными грузовиками.

— Уберите грузовики! Уберите! — истошно вопили в толпе.

— Не могу, указания нет! — растерянно кричал молоденький белобрысый офицер милиции с грузовика, чуть не плача от отчаяния. И люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борты грузовиков были в крови. И вдруг я ощутил дикую ненависть ко всему, что породило это "указания нет", когда из-за чьей-то тупости погибали люди. И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог быть не виноват в этом. И именно это "указаний нет!" и породило кровавый хаос на его похоронах. Но отныне и навсегда я понял, что нечего ждать указаний, если от этого зависят жизни человеческие, — надо действовать. Не знаю, откуда во мне явились силы, но я, энергично работая локтями и кулаками, стал расшвыривать людей и кричать им:

— Делайте цепочки! Делайте цепочки!

Меня не понимали. Тогда я стал всовывать руки людей друг другу, ругаясь самыми страшными словами из моего геолого-разведочного лексикона. Несколько крепких парней стали помогать мне. И люди поняли. Люди стали браться за руки, образовывая цепочки. Эти парни и я продолжали действовать. Водоворот стал утихать. Толпа перестала быть зверем.

— Женщин и детей в грузовики! — заорал один из парней.

И над головами, передаваемые из рук в руки, поплыли в кузова грузовиков женщины и дети. Одна из передаваемых на руках женщин билась в истерике, что-то выкрикивая. Офицер милиции гладил ее по голове, неумело успокаивая. Вдруг женщи-



на вздрогнула несколько раз и затихла. Офицер снял фуражку с белобрысой головы и закрыл ею застывшее лицо женщины, заревел как ребенок. А я увидел, что где-то впереди продолжается водоворот.

Мы пошли туда с этими парнями. При помощи мата и кулаков мы снова стали организовывать людей в цепочки, чтобы спасти их.

Милиция наконец тоже стала нам помогать. Все успокоилось.

Мне уже почему-то не хотелось идти к гробу Сталина. Я взял одного из тех парней, которые организовывали цепочки, мы купили бутылку водки и пришли ко мне.

— Ты видел Сталина? — спросила мама.

— Видел, — необщительно ответил я, чокаясь с этим парнем граненым стаканом.

Я не соврал маме. Я действительно видел Сталина, потому что все произошедшее — это и был Сталин.

Этот день был переломным в моей жизни, а значит, и в моей поэзии.

Я понял, что за нас больше никто не думает, а может быть, за нас никто и не думал раньше. Я понял, что надо много думать самим, думать, думать, думать... Я не хочу сказать, что тогда я мгновенно осмыслил всю степень вины Сталина. Я еще продолжал некоторое время несколько идеализировать его. Многие сталинские преступления были еще неизвестны. Но для меня стало ясно одно: в стране созрело огромное количество проблем и не участвовать в разрешении этих проблем — преступление.

Арестованных врачей реабилитировали.

Это известие потрясло народ, в общем поверивший в их виновность. Доверчивый наш народ приходил к пониманию того, что доверчивость может стать опасной.

Я видел по-ястребиному хищное лицо Берия, закутанное в кашне, когда он принимал к стеклу машины, медленно ехавшей вдоль тротуара в поисках очередной женщины. После этого тот же самый человек обращался к народу, патетически говоря о коммунизме.

Пуля, всаженная в Берия, была справедливостью, но такой запоздавшей! Справедливость, перефразируя Цветаеву, это тот поезд, который почти всегда опаздывает.

Появлялись первые реабилитированные люди из дальних лагерей.

Они привозили с собой вести о гигантских размерах совершенных несправедливостей.

Народ напряженно думал. Это напряжение чувствовалось во всем.

Это напряжение не могли ослабить речи Маленкова — человека с бабьим лицом и хорошо поставленной дикцией, говорившего о том, что надо улучшить проблему питания, костюмов и галантерей.

Я был растерян.

Но, может быть, эта смятенность существовала только в Москве — в центре захлестывающих друг друга, как волны, политических событий? А может быть, где-то в глубинах России царило духовное равновесие? Я поехал на станцию Зима. Я хотел уехать от моих раздумий, иногда меня пугавших. Но мои собственные раздумья я узнавал в разговорах соседей по вагону — инженеров, агрономов. И мои собственные раздумья я встретил на станции Зима. В первых вопросах моих двух дядьев — начальника местной автобазы и слесаря. Я приехал в родной край за ответом на все мучившие меня вопросы, а родной край ожидал от меня этих ответов. И в Москве, и на станции Зима думали об одном и том же. Вся Россия была, как одно огромное раздумье, простиравшееся на тысячи километров от Балтики до Тихого океана...

Но многих подстерегала огромная опасность — от слепой веры перейти к безверию. Особенно молодое поколение.

В 1954 году я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка мрачным голосом шестидесятилетней чревоущательницы сказала:

— Революция умерла.

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

— Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой.

Интимная поэзия, бывшая чуть ли не запретным плодом при Сталине, заполнила все газеты и журналы, прорвав плотину. Но она уже не пользовалась особенным успехом. Перед лицом гигантских исторических процессов, происходящих в стра-

не, интимная поэзия выглядела несколько инфантильно. Флейты уже были.

Нужна была боевая труба.

Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова была, если разобраться, флейтой, но молодежь услышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо больше, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, "удивительно мощное эхо — очевидно, такая эпоха!"

Действительно, даже тихо произнесенная правда приобретает мощь и грохот политического эха.

Один маститый, обращаясь к молодым писателям, однажды поучающе заявил:

— Зачем вы все куда-то так далеко ездите — в Сибирь, на Камчатку! Это все очень дорого стоит государству. Садитесь на трамвай, купите билет за 15 копеек и поезжайте на московский завод.

Тогда встал один молодой писатель и, грустно глядя на маститого, сказал:

— Дорогой товарищ, уже почти десять лет, как трамвайный билет стоит не 15 копеек, а тридцать!

Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и воочию увидел это страшное место, Бабий Яр.

Я отнес стихотворение в редакцию "Литературной газеты" и прочитал его своему приятелю, работавшему там. Он немедленно побежал в соседние комнаты и привел коллег и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил:

— Нельзя ли было бы копию сделать? Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение...

— И нам, и нам копии, — стали просить коллеги.

— То есть как копии? — недоуменно спросил я. — Я же принес его печатать...

Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило.

Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал:

— Вот он, проклятый Сталин, как в нас еще сидит...

И подписал стихи в номер.

— Ты не уходи, — сказал мне мой приятель. — Еще редактор не читал. Может быть, вопросы будут...

Часа два, нервничая, я сидел в одной из редакционных комнат. Поминутно заглядывали журналисты из всех отделов, говорили какие-то успокаивающие слова, но весьма неуверенными голосами. Машинистки приносили конфеты. Вдруг открылась дверь и появился старичок-наборщик в рабочем халате:

— Ты Евтушенко будешь? Дай руку, сынок. Я набрал твой "Бабий Яр"... Правильная вещь! Все рабочие у нас в типографии читали и одобряют... Я, брат, в молодости в рабочей дружине участвовал. Евреев от погромщиков защищали.

Старичок что-то еще говорил, и мне как-то спокойнее становилось на душе.

Наконец меня попросили зайти к редактору. Редактор — немолодой уже человек — поглядел на меня своими хитрыми крестьянскими глазами из-под седых клочковатых бровей. Эти глаза много повидали на своем веку.

— Хорошие стихи, — с расстановкой сказал редактор, испытующе глядя на меня.

По своей практике я знал, что когда начинают с этой фразы, го стихи затем обычно не идут.

— Правильные стихи, — также с расстановкой продолжал редактор. Ну теперь-то уж я совершенно был уверен, что стихи не пойдут.

— Будем печатать, — сказал редактор.

Обычная хитринка вдруг исчезла из его глаз. Его глаза по-су ровели.

— Конечно, может быть всякое... Ты это учти.

— Я учитываю, — ответил я.

Я снова возвратился в редакционную комнату. Завтрашний номер выходил обычно в семь вечера. Все журналисты, уже окончившие свою работу, остались — тоже ждали номера. Пробыло семь часов. Редактор еще не подписал номера. Пробыло восемь. Редактор зачем-то послал машину за своей женой на дачу. Пробыло девять. Ко мне зашла молодая красивая женщина — главный инженер типографии — и молча показала уже готовые листы, только на том месте, где должно было стоять мое стихотворение, зияло белое пятно. Пробыло одиннадцать. К редактору приехала его жена. В 11.30 редактор попросил меня зайти.

— Я пойду с вами! — нервно сказала женщина-инженер. — Если что-нибудь не так, я скажу, что уже невозможно не напе-

чатать... Сошлюсь на какие-нибудь технические причины. И потом рабочие — что я им скажу?

Мы зашли.

Редактор и его жена уже в пальто стояли над листами.

Женщина-инженер, увидев, что листы с моим стихотворением подписаны редактором, схватила их и весело, как девчонка, припрыгивая, помчалась в типографию.

— С женой я решил посоветоваться, — сказал редактор. — Она мой большой друг... Видите, и она одобрила... Идите смотреть, как сейчас стихи из-под машины будут вылетать.

Я спустился в типографию. Рабочие пожимали мне руку. Женщина-инженер махнула рукой, и машина заработала. И вдруг что-то затрещало, грохнуло и машина остановилась. Я был настолько взвинчен, что совершенно оцепенел. Старичок-наборщик ласково тронул меня за плечо:

— Одну минуточку потерпи еще, сынок...

И машина снова заработала, и первые экземпляры газеты один за другим стали падать к моим ногам.

— Завтра эта газета станет библиографической редкостью, — сказала женщина-инженер, протягивая мне охапку номеров. Я расцеловался и с ней, и с рабочими. Мне казалось, что мы вместе написали эти стихи.

На следующий день все номера "Литературной газеты" были распроданы в киосках молниеносно. Уже в первый день я получил множество телеграмм от незнакомых мне людей. Они поздравляли меня от всего сердца. Но радовались не все.

Через несколько дней газета "Литература и жизнь" опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на "Бабий Яр", где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду между народами. Чудовищнее и нелепее этого обвинения было трудно представить! И стихи А. Маркова, и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны.

Однажды утром ко мне пришли два молодых человека, роста примерно 1.90 м со значками "Мастер спорта" на пиджаках, и объяснили, что их прислала меня охранять комсомольская организация их института.

— Охранять? От кого? — удивился я.

Молодые люди смущенно пояснили мне, что, конечно, народ очень хорошо принял мое стихотворение, но у нас и сволочи тоже попадают. Так они сопровождали меня, как тени, не

сколько дней. Я потом поближе познакомился с ними, и выяснилось, что они сами вовсе не являются большими знатоками поэзии. Комсомольская организация выделила их по принципу физической силы — один из них был боксером, второй — борцом. Это было немножко смешно, но в общем необыкновенно трогательно.

...Один студент в парижском кафе, далеко не лучший из внуков Французской революции, сказал мне:

— Я вообще за социализм... Но я хочу подождать, пока у вас появятся такие магазины, как наш "Галери де Лафайет". Тогда, может быть, и я буду бороться за социализм...

Ему, видите ли, подавай будущее на серебряном блюде, хорошо поджаренное, подрумяненное, да еще с веточкой укропа, торчащей изо рта, тогда он, может быть, поковыряет его вилочкой\*.

Мы делали будущее сами, отказывая себе в самом необходимом, мучаясь, ошибаясь, но делали сами.

И я горд, что я не наблюдатель, а участник в этой героической борьбе моего народа за будущее.

---

\* Постскрипtum 1989 года: А все-таки хорошо, если бы у нас были такие магазины, как "Галери де Лафайет". — *Е. Е.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

К читателям .....	5
<b>КОЛЫБЕЛЬ ГЛАСНОСТИ</b>	
Колыбель гласности .....	9
Пропасть — в два прыжка? .....	11
Манифест "Мемориала" .....	12
Мы не можем исправить прошлое .....	16
Цинизм — тормоз перестройки .....	18
Партия беспартийных .....	22
Личное мнение .....	27
Инвалиды и Сталин .....	31
Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. М.С. Горбачеву .....	33
Опорочить опороченных? .....	34
Жизнь слишком коротка .....	35
Собственное счастье на чужой крови? .....	38
О чем звонит колокол Чернобыля? .....	40
Религия как часть культуры .....	43
Притерпелость .....	47
Не бойтесь бюрократов .....	59
Верхушки и корни .....	63
О пользе здорового консерватизма .....	64
Чего хотят русские? .....	65
Страх гласности .....	67
Право на неоднозначность .....	68
Предренессанс .....	73
Кто сильнее на этой картине? .....	74
Магнитофонная гласность .....	87
Память — это тоже медицина .....	91
Ложечка жизни .....	92
Из общей помощи — общую надежду .....	94
Взаимогуманность — взаимоспасение .....	95
Юность и смелость — сестры .....	96
Ложь умолчанием .....	99
Изуродованный рояль .....	102
Казнь собственной совестью .....	105
Контрамарка на процесс .....	109
Лженабат .....	115
Победы и шутки демократизации .....	117
Невоспитанность воспитания .....	122
Выбор будущего ... ..	137
Деревянная Москва .....	142
С женщин начинается народ .....	160
Безнаказанность насилия .....	167
Речь на I Съезде народных депутатов СССР .....	168

## **КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — СВЕРХДЕРЖАВА**

Хорошая политика выше политики .....	177
Разделенные близнецы .....	183
Что в русском чемодане? .....	204
Каждый человек — сверхдержава .....	206
Наследники Чингисхана .....	218
Политика — привилегия всех .....	219
Оскомина библейского винограда .....	225
Ворон с колокольчиком .....	226
Война — это антикультура .....	229
Палачи с чистой совестью .....	239
Свеча в лотосе .....	242
Сколько стоит "фантазия"? .....	243
Выставка на вокзале .....	252
Из поэмы "Под кожей статуи Свободы" .....	256
Из поэмы "Фуку!" .....	265

## **РУССКИЕ ГЕНИИ**

Короткие эссе .....	285
Восстание Анны .....	288
"Поэт — величина неизменная" .....	300
Почерк, похожий на журавлей .....	307
Огромность и незащитность .....	321
Самый русский поэт .....	330
Стихи не могут быть бездомными .....	335
Возвращение Гумилева .....	343
Психоз пролетариату не нужен .....	348
Гений выше жанра .....	371
"...И голубь тюремный пусть гулит вдали" .....	378

## **ЗАПАДНЫЕ ГЕНИИ**

"И в Санчо Панса живет Дон Кихот" .....	383
Том Сойер красит русские заборы .....	384
Картины, свернутые в трубки .....	387
"Работа над фильмом — это путешествие" .....	388
Жан Вальжан мировой литературы .....	400
Здравствуй, оружие! .....	402
Помнить о том, что мертвые были... ..	407
"Не старайтесь стать священником..." .....	415
Евангелие от Пазолини .....	429
"Омиссар" американской поэзии .....	432
Боб Раушенберг и царевна-лягушка .....	434

## **ТАЛАНТ ЕСТЬ ЧУДО НЕСЛУЧАЙНОЕ**

<i>(Фрагменты прозы, статей, выступлений и интервью)</i> .....	439
--	-----

<b>ФРАГМЕНТЫ СТИХОВ</b> .....	497
-------------------------------	-----

## **ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ**

<i>(Фрагменты)</i> .....	587
--------------------------	-----



**Евгений Александрович Евтушенко**

**ПОЛИТИКА — ПРИВИЛЕГИЯ ВСЕХ**

Заведующий редакцией *К.Г. Ликатов*

Редактор *И.С. Гайдамович*

Художник *Д.А. Суима*

Художественный редактор *А.И. Хисиминдинов*

Фоторедактор *И.В. Картушина*

Корректоры *Е.А. Тихонова, Л.В. Устинова*

Технические редакторы *А.С. Денисова, И.М. Лагутина*

Технолог *В.Ф. Егорова*

ИБ 10243

Сдано в набор 23.08 89 г. Подписано в печать 23.01.90 г.

Формат издания 84x108/32 Бумага офсетная 70 г/м<sup>2</sup>.

Гарнитура таймс Офсетная печать

Усл. печ. л. 34,44.

40,65 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. (II завод 100 001 — 200 000).

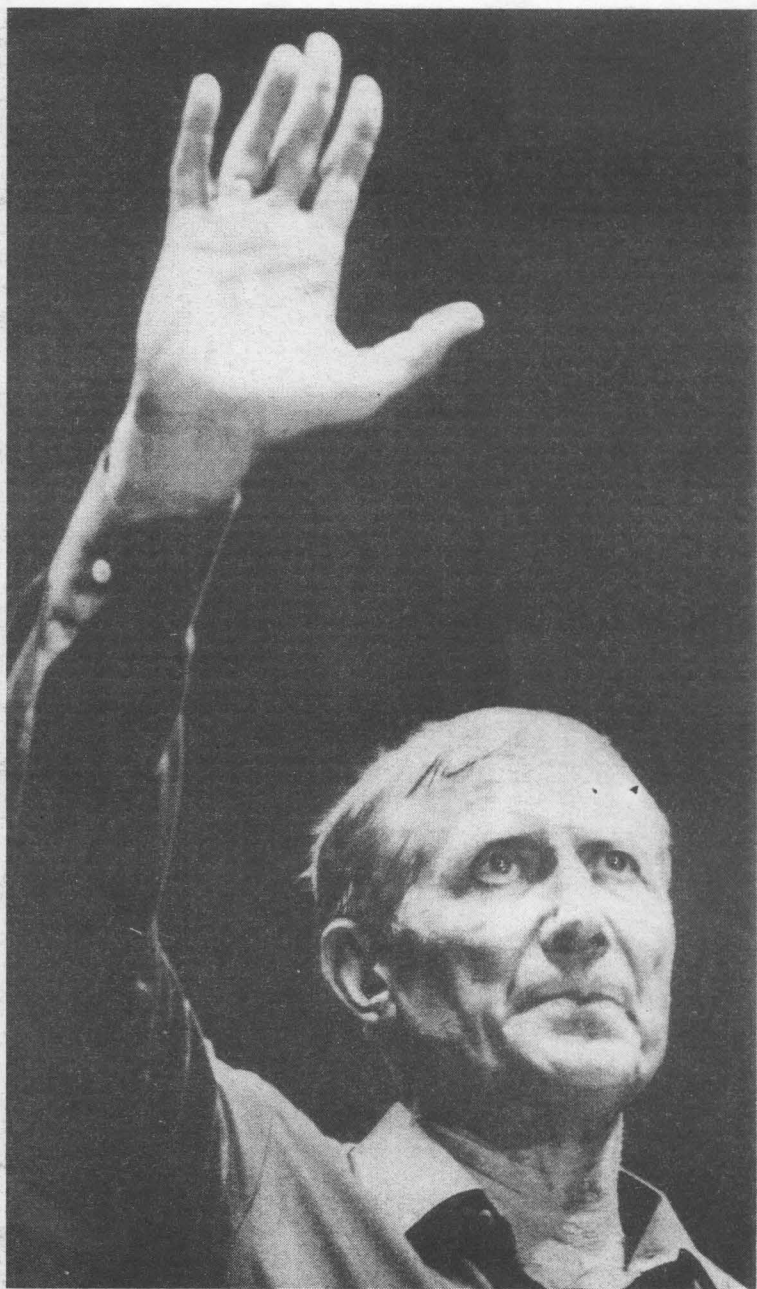
Заказ № 2357. Изд. № 8484. Цена 3 р. 50 к.

Издательство Агентства печати Новости

107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

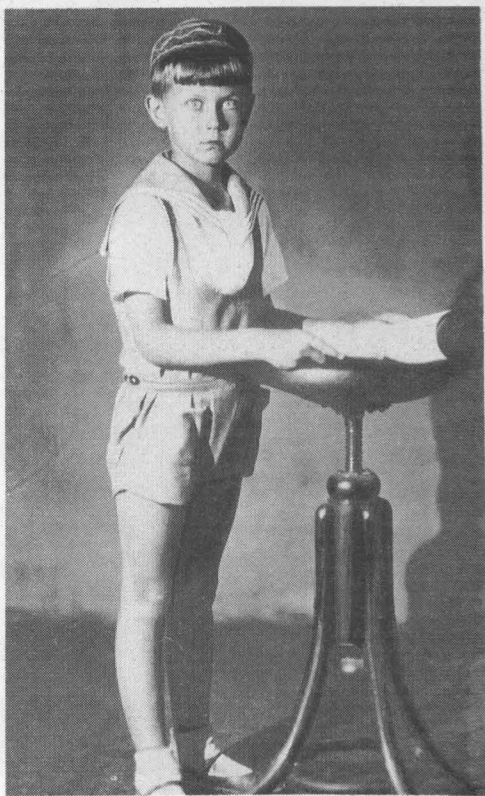
Типография Издательства Агентства печати Новости

107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46





*С матерью и отцом.  
1933 г.*



*1936 г.*



*С футболистами Литинститута — поэтами Егором Полянским и Солбоном Ангабоевым. 1952 г.*



*В Колонном зале  
Дома союзов. 1956 г.*



*На моем первом  
авторском вечере в  
Литературном музее.  
Мест не хватало, и  
молодежь лезла в  
окна. 1955 г.*



*День поэзии на площади Маяковского. 1960 г.*

*Встреча с турецкими студентами в Анкаре. 1985 г.*





*С американским поэтом Робертом Фростом. 1962 г.*



*С Дмитрием Шостаковичем на премьерe Тринадцатой симфонии. 1962 г.*



*В мастерской Пабло Пикассо. 1963 г.*

*С Генрихом Бёллем в Кёльне. 1963 г.*





*С кинорежиссером  
Федерико Феллини.  
Рим, 1964 г.*



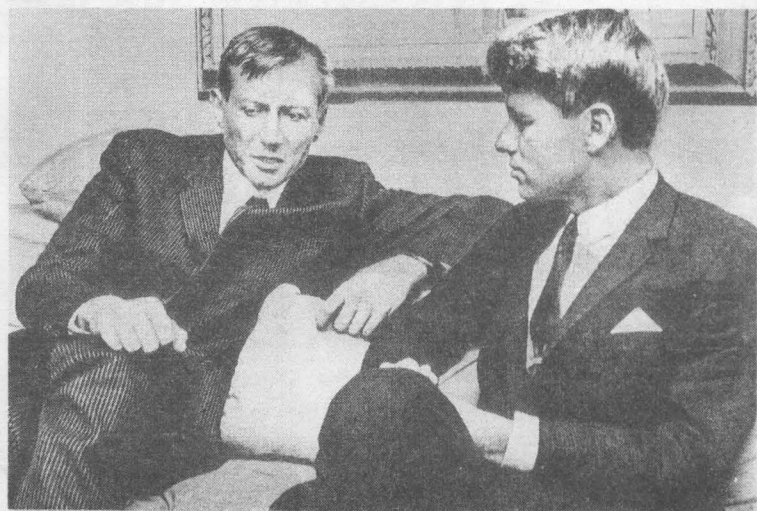
*С американскими  
писателями Джоном  
Андрайком (слева) и  
Артуром Миллером.  
1966 г.*





*С генеральным секретарем ООН У Таном в Нью-Йорке. 1966 г.*

*С сенатором Робертом Кеннеди в его нью-йоркской квартире. 1966 г.*

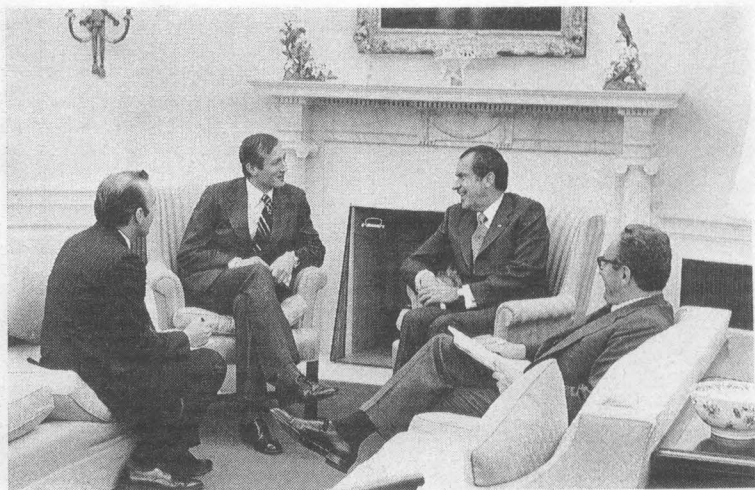




*На вечере поэзии с  
Пабло Нерудой в  
театре "Кауполикан".  
Сантьяго-де-Чили.  
1968 г.*



*С американским  
королем джаза  
Луи Армстронгом.  
Мехико. 1968 г.*



*В Овальном кабинете Белого дома с президентом США Ричардом Никсоном и государственным секретарем Генри Киссинджером. Вашингтон. 1972 г.*

*С американскими рабочими-сталелитейщиками в Буффало. 1966 г.*





*С режиссером Юрием Любимовым на премьере спектакля "Под кожей статуи Свободы" в Театре на Таганке. 1972 г.*

*С американским  
композитором Полом  
Винтером.  
Переделкино. 1984 г.*



*С Булатом  
Окуджавой. 1965 г.*





*В сенегальской  
деревне. 1966 г.*

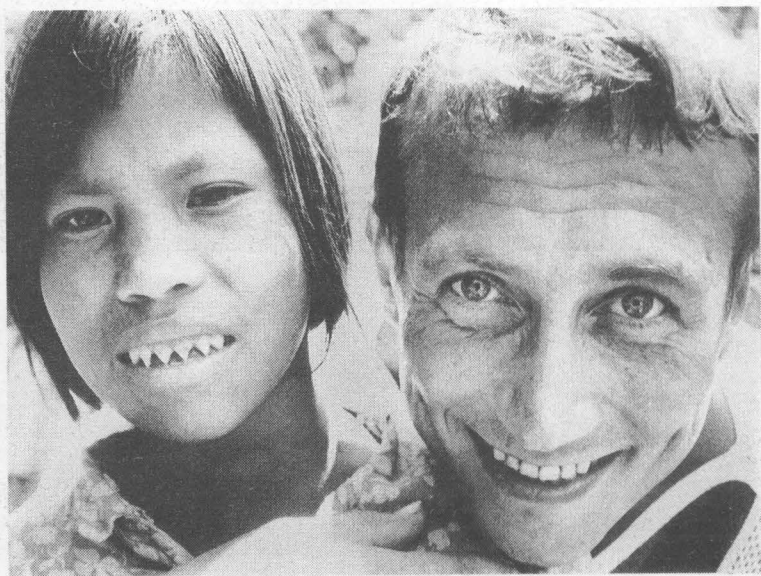


*На Аляске. 1966 г.*



*На реке Амазонке с охотниками за анакондами. 1968 г.*

*В Колумбии с девочкой-индианкой. 1968 г.*







*В экспедиции по Витиму на карбасе "Чалдон". 1969 г.*

*Во время экспедиции по Вилюю на моторных лодках. Слева направо: геологи Г. Белакшин и В. Шукин, художник О. Целков, спецкор "Известий" Л. Шинкарев. 1973 г.*

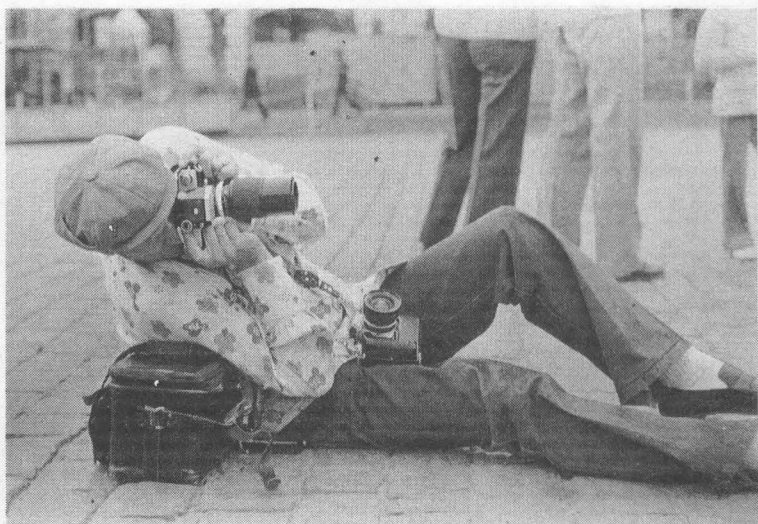




*У дома-музея Черского. 1977 г.*

*Коллаж Л. Шинкарева на тему моих путешествий по сибирским рекам и Байкалу. 1967 — 1980 гг.*

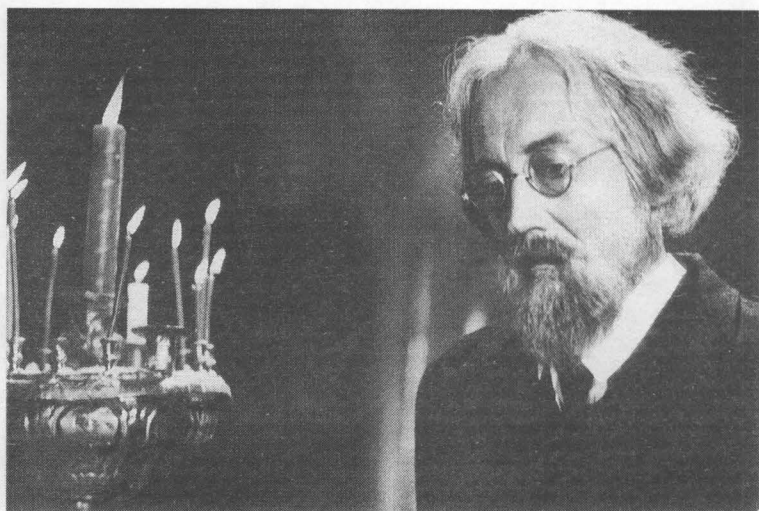




*Фотосъемка на Красной площади. Москва. 1979 г.*

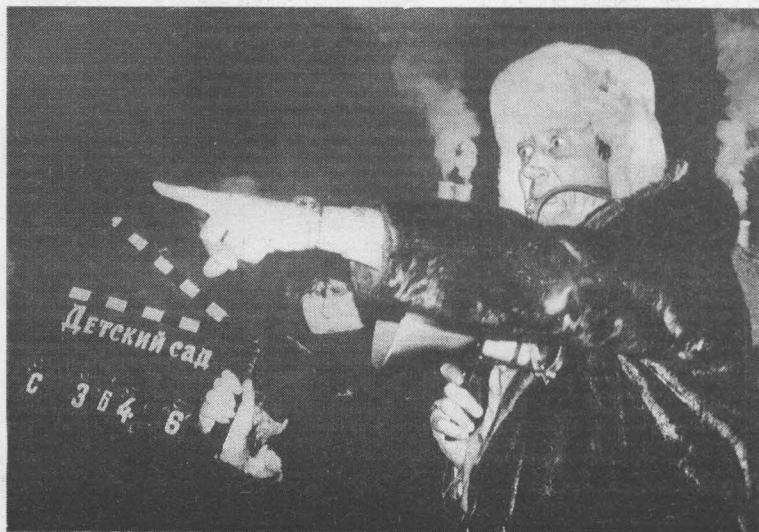
*Проба на роль Д'Артаньяна по сценарию "Конец мушкетеров". 1984 г.*





*В роли Циолковского в фильме С. Кулиша "Взлет". 1978 г.*

*Сибирские съемки фильма "Детский сад". 1983 г.*





*Во время съёмки "Детского сада". В церкви на станции Зима.*

*В зиминской школе.*





*С мамой Зинаидой  
Ермолаевной после  
концерта. 1975 г.*



*С женой Машей.  
1988 г.*



*Уже после смерти Высоцкого я получил от его друга В. Туманова эту фотографию. Проезжая станцию Зима, Володя просил, чтобы его сняли на фоне станционной вывески и послали это фото мне.*

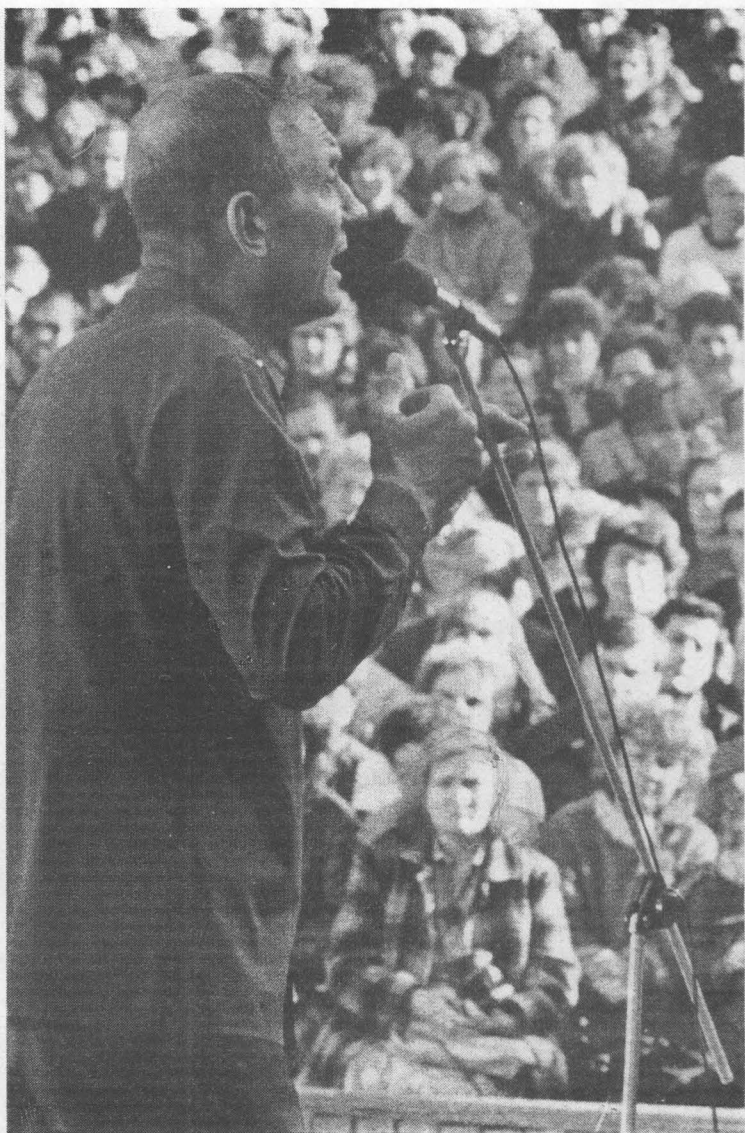






*Перед концертом в спортивном зале стадиона "Олимпийский" в связи с 50-летием. 1983 г.*

*Если люди в меня входят, не выходят они из меня...*



*На одном из выступлений.*



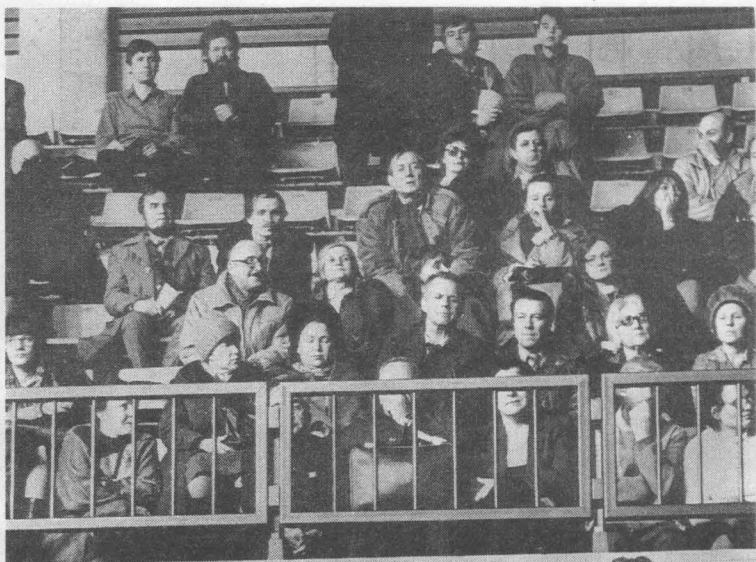
*На блоковском празднике в Шахматово. 1970 г.*

*С поэтом Павлом Антокольским, всегда поддерживавшим меня.  
1976 г.*





*Дворец спорта в Лужниках. Авторский вечер в Фонд патриотов Чили.  
1982 г.*

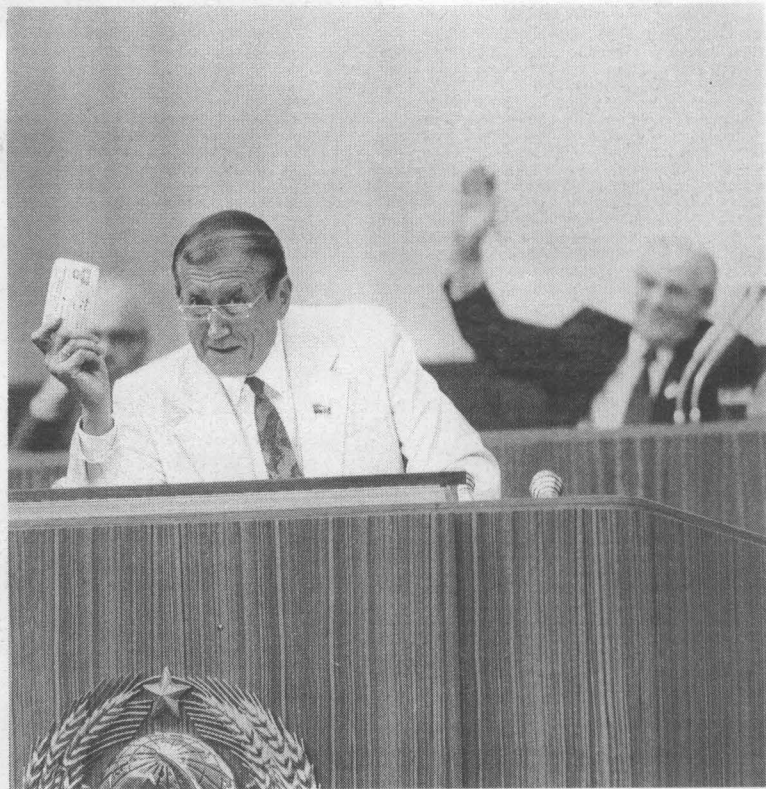


На вечере журналов "Москва", "Наш современник" и "Роман-газеты".  
Мое присутствие объяснялось не только пустым любопытством. После антисемитского шаша, устроенного там обществом "Память", я написал статью "Лженабат". 1988 г.

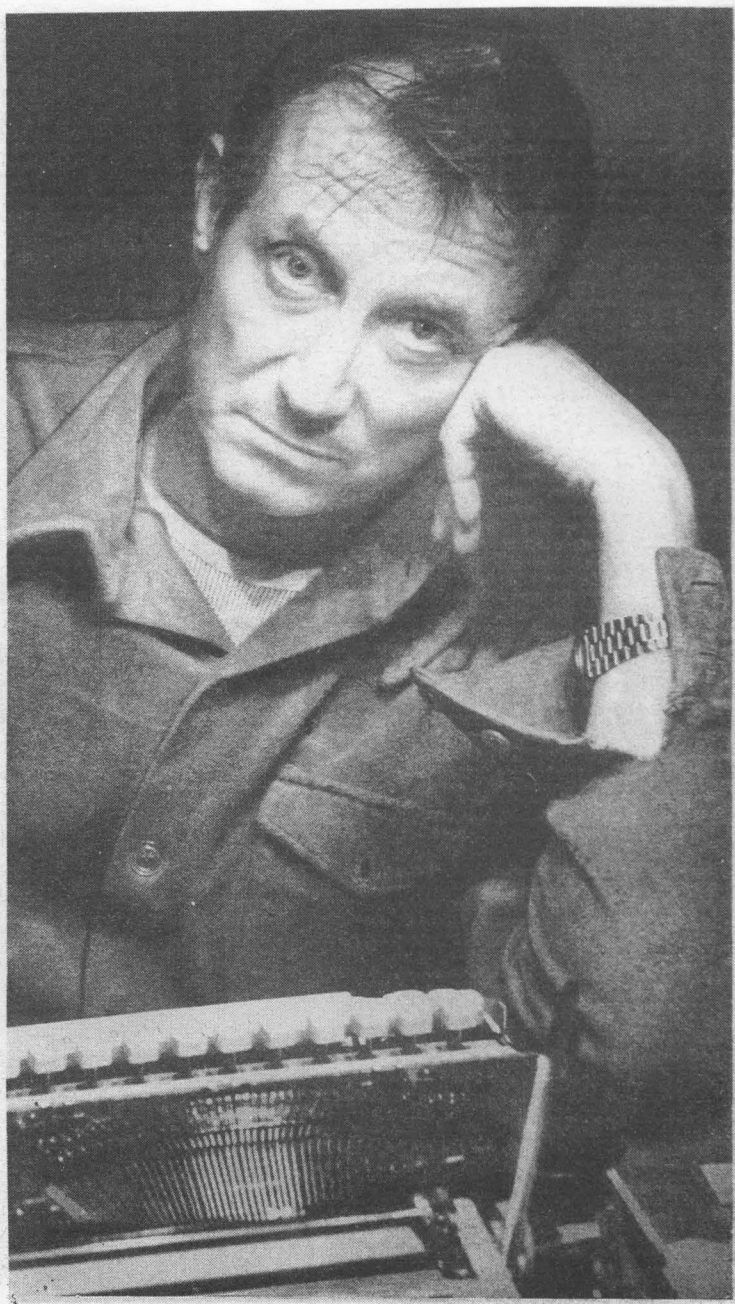


*Выступление на предвыборном митинге в Харькове возле магазина "Поэзия" весной 1989 года. На этой же площади я выступал в 1964 году, когда был в опале, и несколько тысяч харьковчан поддержали меня. Тогда милиция отобрала у меня микрофон, и я сорвал голос. Вдруг с балкона здания, в котором был книжный магазин, на веревке опустили термос с горячим молоком. В 1989 году харьковчане повторили это. Как по волшебству, молоко оставалось теплым 25 лет.*

*На I Съезде народных депутатов в Кремле я проголосовал за отмену депутатских комнат в аэропортах и на вокзалах. В зале поднялось явное меньшинство мандатов. Я подумал, что мое предложение не прошло. Однако вдруг, после паузы, дружно поднялся лес рук. Я сначала не понял, в чем дело. Оказалось, что Горбачев поднял руку, поддерживая мое предложение.*









«Евтушенко рехнулся,  
он просто пацц» —  
так цедят сквозь зубы.  
Что ж, Евтушенко,  
не будем судить и рядить,  
мы уже всё обсудили  
до пришествия в этот мир,  
и в стихах у тебя —  
сияние новой луны,  
электронные лепестки,  
локобилы,  
слёзы,  
а время от времени — ае-оп!  
под купол! и вниз головой! —  
твои кульбиты,  
твоё возвышенное штукарство...

Чем не пацц?

В нашем мире нужны  
и Наполеон, фигляр-баталист  
(заблудившийся в русских снегах),  
и Пикассо, космический клоун,  
отплясывавший на алтаре  
чудес,  
и Колумб, тот печальный пацц,  
осмеянный повсеместно,  
который некогда нас открыл.

Лишь поэту хотят это всё запретить,  
хотят помешать ему кувыркатся,  
лишают права на сальто-мортале.  
Я встаю на его защиту  
против новейших филистеров.  
Вперёд, Евтушенко,  
продемонстрируем в цирке  
наше уменье и наше унынье,  
нашу потеху: играть с огнём  
так, чтобы истина просверкала  
между мраком и мраком.  
Ур-р-ра!..  
А теперь выйдем ещё раз,  
пусть выключат свет, и прожектор  
озарит наши лица,  
и явятся людям  
два крылатых шута,  
готовых рыдать заодно со всем миром.

ПАБЛО НЕРУДА